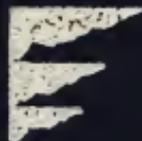


БЕЛЫЙ ГЕНЕРАЛ



*Отважные
важные
сыны*

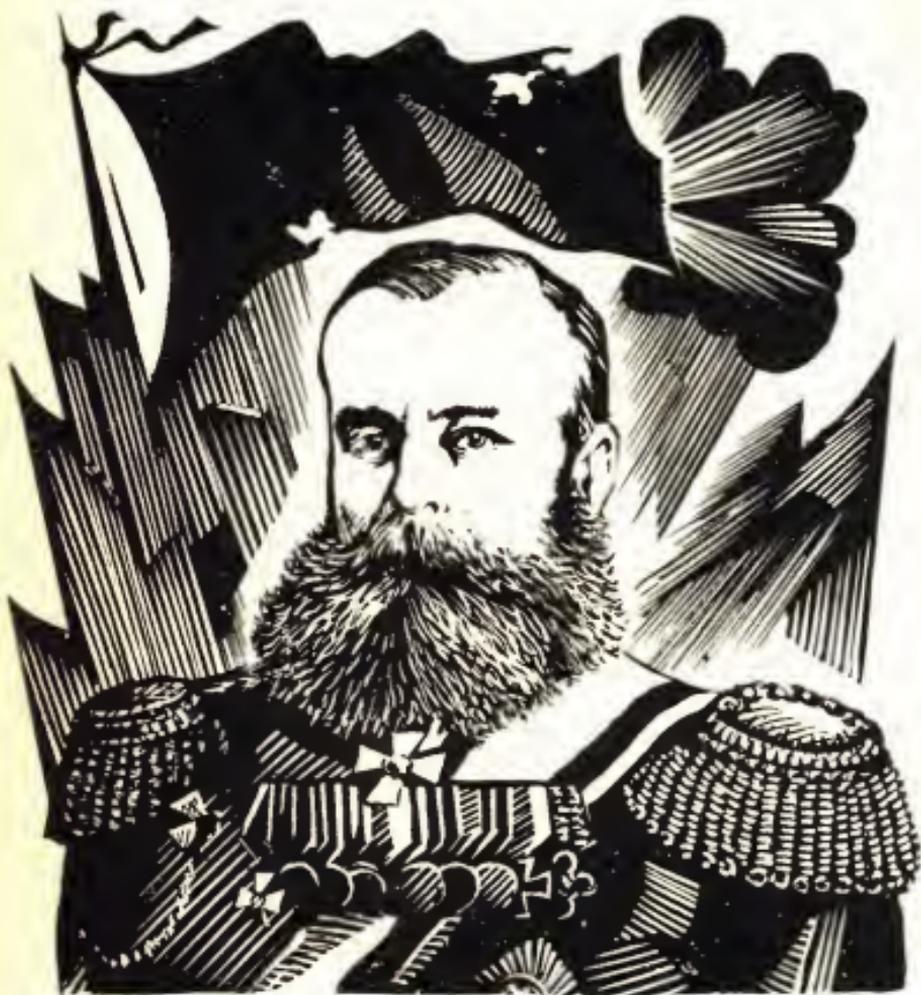






Библиотека
" Отчизны верные сыны "





Михаил Дмитриевич
СКОБЕЛЕВ
(1843—1882)

БЕЛЫЙ ГЕНЕРАЛ



МОСКВА
«ПАТРИОТ»
1992

ББК 84.Р7
Б43

Редакционная коллегия
библиотеки «Отчизны верные сыны»

М. Н. АЛЕКСЕЕВ
(председатель),
Д. М. БАЛАШОВ,
В. И. БУГАНОВ,
В. Н. ГАНИЧЕВ,
Ю. М. ЛОЩИЦ,
А. Л. МАМАЕВ,
О. Н. МИХАЙЛОВ,
А. В. ОСТРОВСКИЙ,
С. Н. СЕМАНОВ

Редактор
Т. А. СОКОЛОВА

Предисловие
В. В. ДРОБЫШЕВА

Оформление библиотеки
В. А. ТОГОБИЦКОГО

Оформление тома, иллюстрации
Н. К. КУТИЛОВА

Печатается по изданиям: Кнорринг Н. Н. Генерал Михаил Дмитриевич Скобелев.— Париж, 1939; Немирович-Данченко В. И. Скобелев.— СПб., 1903.

Б $\frac{4702010201-001}{072(02)-92}$ 55—92

ISBN 5-7030-0534-5

© Н. К. Кутилов (художник), 1991.
© В. В. Дробышев (предисловие), 1991.

Человек показал, как много он мог
сделать, показал, сколько гордой силы
и гения дано ему... А знала его вся
Россия!

В. И. Немирович-Данченко

СУВОРОВУ РАВНЫЙ...

Удивительные судьбы отечественной истории, трагические ее повороты не оставляют равнодушными наших современников, будто вышедших из глубокого оцепенения. Но и сегодня, когда многое из прошлого для нас уже открыто, вдруг поражаешься самому страшному забвению: забвению великих свершений прошлого, забвению великих имен, забвению великого исторического предназначения России. Не странно ли: в печати уделяют огромное место негодям типа Свердлова и Троцкого, но почти молчат о великих людях России; их имена (уж не намеренно ли?) погружены в безмолвный и вязкий омут забвения... К таким почти забытым ныне людям относится и народный герой, большой русский патриот, замечательный полководец Михаил Дмитриевич Скобелев.

Еще при жизни о нем слагали легенды, после внезапной и во многом загадочной смерти тридцативосьмилетнего генерала появилось множество воспоминаний и книг, рассказывающих о яркой, понтийской звездной личности полководца; на народные пожертвования ему был поставлен памятник в самом центре столицы Российской империи — Москве. Причем создан был этот замечательный памятник не профессиональным скульптором, а русским офицером. И был этот памятник вонстри украшением столицы. Но где он сейчас? Где могила героя? Многие ли помнят? А ведь в 1992 году исполнится 110 лет со дня смерти генерала Скобелева. А еще спустя год — 150 лет со дня рождения народного героя, гордости России, русской армии и русского народа. Сделаем ли мы, современники, все необходимое для восстановления и достойного почитания славного имени? Будем надеяться...

Будем надеяться, дорогой читатель, что книга, которую вы держите в руках, — первый кирпичик в восстановлении

бастиона народной памяти о легендарном человеке. Книга эта, собственно, состоит из двух самостоятельных книг. Первую написал также совсем забытый ныне русский писатель Василий Иванович Немирович-Данченко. Называется она «Скобелев. Личные воспоминания и впечатления». В свое время она выдержала три издания. Так что сегодня издательство «Патриот» вносит свой вклад в воскрешение из забвения сразу двух имен — полководца и писателя. Вторую книгу ее автор Николай Николаевич Кнорринг назвал историческим этюдом, выходила она в Париже на русском языке в 1939 и 1940 годах (по одной части в год), и появлению ее на свет мы, по-видимому, обязаны случайной случайности: русский офицер-эмигрант женился на дочери племянника прославленного генерала Скобелева, князя С. К. Белосельского-Белозерского, проживавшего в Лондоне. Князь сохранил часть архива Скобелева. Н. Н. Кнорринг, по всей видимости, воодушевился документами уникального архива и начал работать над своим историческим исследованием, конечно, привлекая и другие печатные материалы, посвященные генералу Скобелеву.

Нет сомнения, что эти книги, объединенные в сборник под названием «Белый генерал», не оставят равнодушными читателей, которым дорога судьба Отечества. Обе книги в какой-то мере дополняют друг друга.

Это преуведомление к изданию необходимо дополнить двумя краткими биографическими справками, которые помогут полнее воспринять содержание книги.

Михаил Дмитриевич Скобелев, прославленный генерал русской армии, был четвертым военным в славном роде. Прадед его, крестьянин Самарской губернии, дослужился до сержантского чина, что давало по тем временам право стать помещиком-одиндворцем, то есть получить надел земли без крепостных душ. Дед Скобелева Иван Никитич, сподвижник Кутузова, также прошел путь от солдата до генерала и коменданта города Санкт-Петербург; известен он был и своими мастерскими рассказами из солдатской и народной жизни, имевшими в свое время довольно большую популярность. Отец полководца, генерал Дмитрий Иванович Скобелев, был военным заурядным, ничем особо не прославился, но помог сыну в русско-турецкую войну получить должность в действующей армии.

В ноябре 1861 года восемнадцатилетний Михаил Скобелев начинает свою службу в кавалергардском полку. Через два года получает первый офицерский чин.

Всю свою жизнь стремился Михаил Дмитриевич к знаниям, читал военную литературу на трех языках — немецком, французском, английском. В 1866 году он поступил в Академию Генерального штаба, которую окончил с отличием через два года. Было ему в ту пору двадцать три года.

Боевое крещение и первое ранение Скобелев получил в 1873 году в Хивинском походе генерала Кауфмана. Был отмечен за храбрость и умение руководить войсками в нелегких условиях пустыни. В 1875—1876 годах вновь участвовал в боях, в Кокандской экспедиции. После окончания боевых действий был назначен военным губернатором и командующим войсками Ферганской области. Это он, Михаил Дмитриевич Скобелев, отменил в Ферганае рабство. И недаром пользовался огромной популярностью и уважением коренного населения, оценившего его справедливость и понимание местной жизни. Молодой, тридцатидвухлетний генерал-майор, в белом кителе, с русской разлетистой бородой, получил в народе прозвище Ак-паша — Белый генерал. Так впоследствии звали его и русские солдаты, и простые крестьяне.

В 1877 году М. Д. Скобелев, не имея назначения, добровольно отправился в армию. Русские готовились к переправе через Дунай — операция эта поразила всех военных Европы. Скобелев помогал генералу Драгомирову, чрезвычайно высоко ценившему военный талант Михаила Дмитриевича. Драгомиров оставил интересные воспоминания о своем боевом соратнике, отмечал его прямоту, решительность, умение завоевать солдатскую любовь, нетерпимость к лихоимцам-поставщикам (главные из них — Коган и другие — попали на скамью подсудимых, но вывернулись).

В июле 1877 года во главе казачьей бригады Скобелев участвовал во втором штурме Плевны. В августе ему поручили отряд из десяти батальонов, трех эскадронов и пятидесяти шести орудий. Скобелев одержал блестящую победу под Ловчей, за что был произведен в генерал-лейтенанты. С этим же отрядом он участвовал и в третьем штурме Плевны. Войска видели своего генерала всегда впереди атакующих цепей в самых горячих точках боя. Солдаты и офицеры, воодушевленные его храбростью и хладнокровием, смелой атакой захватили важнейшие укрепления обороны турок. Но развить успех и ворваться в крепость Скобелев не смог, ибо не получил подкреплений от командующего штурмом генерала Зотова. Отряд Ско-

белева отвлек на себя две трети осажденных турецких войск, хотя в количественном отношении составлял лишь пятую часть штурмовавшей крепость русской армии. Войска Скобелева понесли значительные потери и отступили. Тяжело переживал генерал случившееся, но действия его были верны и принесли бы несомненный успех, если бы не бездарность высшего командования.

Скобелеву поручают командование 16-й пехотной дивизией, и генерал в кратчайший срок превращает ее в первоклассное по боевым качествам соединение. В обход турецких позиций на Шипке отряд Скобелева в тяжелейших зимних условиях совершает переход через Балканский хребет. Здесь проявилось умение Скобелева продумать и организовать поход так, что войско его понесло минимальные потери. Генерал позаботился о теплой одежде для солдат, об усилении питания и даже о топливе для костров. Вместе с отрядом находился и друг Скобелева замечательный русский художник В. В. Верещагин, на многих батальных полотнах которого мы можем увидеть Белого генерала.

27 и 28 декабря 1877 года в районе Шипка — Шейново развернулось сражение русских войск с турецкой армией Вессель-паши. Скобелеву принадлежала основная роль в разгроме турок. Сам Вессель-паша сдался в плен. После этой победы Скобелева назначают начальником авангарда русских войск. В авангард входили две пехотные дивизии, две стрелковые бригады, кавалерийская дивизия, казачий полк, артиллерия и вспомогательные части. Меньше чем за двое суток Скобелев совершает стремительный, почти стокилометровый переход, выходит к Тырнову, берет Адрианополь и Сан-Стефано. В последнем местечке 12 февраля 1878 года и заканчивается война — турки просят мира. Очень болезненно Скобелев переживал после Берлинского конгресса итоги войны (Россия так и не получила Константинополь), считая их совершенно не соответствующими тем военным победам, которые одержала русская армия.

С окончанием войны М. Д. Скобелев командует 4-м корпусом, расквартированным в Белоруссии, деятельно занимается обучением войск, особое внимание уделяя умению преодолевать водные преграды. Выполняет поручения Генерального штаба за границей, принимает участие в инспекции войск на территории России.

Он разработал и осуществил Вторую Ахалтекинскую военную экспедицию в Средней Азии в 1880—1881 годах с целью присоединения Туркмении к Российской империи.

чему, кстати, способствовало и правительство тогдашнего Афганистана. Скобелев тщательно подготовил и провел военный поход, результатом которого было падение 12 января 1881 года, после короткого штурма, главного оплота текинцев — крепости близ селения Геок-Тепе. За организацию операции М. Д. Скобелеву присваивается звание генерала от инфантерии. Это — последние его военные действия. Через полтора года в расцвете сил Михаил Дмитриевич Скобелев внезапно умирает...

Современники справедливо называли генерала Скобелева Суворову равным. В этой оценке заключено все — полководческий талант, храбрость, отвага и, вместе с тем, холодный расчет, глубокие военные знания, которыми генерал пользовался творчески, нешаблонно и не знал поражений. В этой провидческой оценке — любовь солдат к своему полководцу... Михаил Дмитриевич Скобелев был всей душой предан великому делу объединения *всех* славян в единое федеративное славянское государство под главенством сильной, могучей России. Свои взгляды он не раз выражал открыто, вызывая этим недоброжелательство правительственных кругов. В Париже он выступал перед сербскими студентами и польскими эмигрантами с горячим призывом к славянам оставить свои распри и работать на благо объединения. Без всякого сомнения, Скобелев обладал государственным мышлением, пониманием народных нужд, был передовым военным деятелем, на много опередившим свое время. У себя в имении он устроил богадельню для увечных солдат, все деньги своего немалого генеральского жалования он раздавал нуждающимся офицерским семьям и раненым солдатам.

Архив Скобелева, его интересная переписка не собраны и не изучены. Памятник ему в Москве на Скобелевской площади (ныне Советской) снесен и уничтожен после революции, город Скобелев Ферганской области — переименован. Так уничтожалась память о любимом национальном герое. Пришла пора возрождать ее.

Нужно сказать несколько слов и о забытом русском писателе, авторе воспоминаний о Скобелеве, Василии Ивановиче Немировиче-Данченко, который тоже происходил из военной среды. Родился он в Тифлисе в 1848 году, 24 декабря, в семье пехотного офицера, детство провел в военных гарнизонах, окончил Александровский кадетский корпус в Москве. В январе 1860 года напечатал с разрешения корпусного начальства первые свои стихи в «Журнале для

чения воспитанников военно-учебных заведений». С окончанием в 1863 году кадетского корпуса подался в Петербург поступать в университет, но тут в журнале «Модный магазин» опубликовали его первый рассказ «Чего хотела», и Немирович-Даиченко посвятил себя литературе: печатал в многочисленных мелких журналах свои статьи, рассказы, очерки и стихи, продолжающие некрасовские традиции.

В 1868 году Василий Иванович Немирович-Даиченко совершает путешествие на Север — по Карелии, Кольскому полуострову, Норвегии, печатает путевые заметки. В 1870 году они выходят отдельной книгой «Страна холода», принесшей ему известность. С тех пор он стал печататься в лучших петербургских журналах — «Отечественные записки» и «Вестник Европы».

Летом 1875 года В. И. Немирович-Даиченко совершает путешествие по Кавказу. Богатая природа Грузии, Чечни и Дагестана, своеобразные обычаи горских племен и народов дали ему материал для романа «Горные орлы». Зимой того же года писатель едет на Урал, где в быте и жизни старателей, охотников и лесорубов находит не меньше экзотического, чем на Кавказе, и запечатлевает увиденное в очерке «Река лесных пустынь».

Русско-турецкую войну Немирович-Даиченко проводит в действующей армии корреспондентом суворинской газеты «Новое время», что дает ему возможность осветить боевые действия всесторонне, не тенденциозно. Война отозвалась в творчестве писателя множеством военных типов, схваченных с натуры, любовно и правдиво выписанными военными сценами, жанровыми зарисовками и эпизодами. Романы «Гроза» (1879), «Плевня и Шипка» (1880—1881), «Семья богатырей» (1890), повести «Вперед» и «Сторожевые огни» (1883), множество рассказов и очерков — это целая летопись русско-турецкой войны, войны за освобождение болгарского народа от османского ига.

С 1882 года писатель опять много путешествует, посещает страны Европы, Ближнего Востока и Южной Америки. Все увиденное он быстро передает читателям в очерках и корреспонденциях, которые регулярно появляются на страницах отечественных газет и журналов, выходят отдельными книгами. В те же годы им написано более тридцати (!) романов из жизни буквально всех слоев русского общества («Кулисы», «Волчья сыть», «Вечные миражи», «Контрабандисты» и другие). Романы свои писатель строил на злободневном материале, что способствовало их неизменному

успеху у читателей. Думается, пришло время переиздать лучшие произведения писателя, особенно его романы о войне.

Русско-японскую войну Немирович-Данченко проводит корреспондентом газеты «Русское слово» на Дальнем Востоке. Статьи его, посвященные этому периоду, были изданы отдельной книгой «Слепая война». После этого он почти ничего уже не написал, революцию не принял, годы эмиграции прожил в Праге до самой смерти, последовавшей 18 сентября 1936 года.

Таковы краткие сведения о герое книги и ее авторах. К сожалению, почти ничего, кроме вышеупомянутого, мы не можем сказать о Николае Николаевиче Киорринге. По смутным сведениям, следуя примеру писателя Куприна, дипломата Игнатьева, артиста Вертинского, он вернулся в Россию, но вскоре был арестован и пропал в одном из многочисленных концлагерей...

Владимир ДРОБЫШЕВ



Н. Н. КНОРРИНГ

ГЕНЕРАЛ

МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ
СКОБЕЛЕВ



ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭТЮД

ОТ АВТОРА

Прошло более пятидесяти лет со дня смерти Белого генерала, притом таких лет, в которые военный гений этого полководца имел возможность найти достаточно оправданий, и, таким образом, слава, которая создалась вокруг его имени, которая так страстно оспаривалась при его жизни и не менее страстно после его смерти, в настоящее время, пройдя через тяжкий военный опыт начала XX века, может почитаться упроченной.

В этой книге военные эпизоды занимают, конечно, очень большое место, ибо без них не может быть портрета Скобелева как полководца, администратора и, следовательно, государственного деятеля вообще. Не будучи военным, автор, однако, должен сказать, что его оценка военного гения Скобелева не является оторванной от отзывов в этом отношении авторитетнейших представителей русской военной истории. Но автора интересовал ген. М. Д. Скобелев не только как полководец, но и как военный деятель вообще: сама по себе оригинальная и крупная личность этого генерала и недолгая, но яркая политическая роль его достаточно сильно оттеняют существенные стороны этой переходной — на рубеже двух царствований — эпохи, очень короткой по времени, но необыкновенно важной для объяснения дальнейшей судьбы России.

Эта тема, сама по себе, для историка в эмиграции представляет огромные, почти непреодолимые трудности. Ведь большая часть Скобелевского архива находится в Военно-учебном архиве Главного Штаба. Сейчас же после смерти ген. Скобелева все его документы и материалы, находившиеся в Минске, в его квартире (всего по описи 28 июня 1882 г. 36 номеров всевозможных паке-

В публикуемых произведениях сохранены особенности авторского написания отдельных слов, в частности — географических названий. — *Ред.*

тов, папок, свертков и т. д., десяти записных книжек, которые Скобелев называл «мерзавками»), — все эти бумаги, найденные на столе, в столе, в шкафах и т. д., были «опечатаны в деревянном сундуке, соломенном ящике и отдельном тюке» и, по словам ген. Духонина, начальника штаба 4 корпуса, которым командовал Скобелев, были отправлены в Петербург. (Об этом — письмо ген. Духонина к гр. Адлербергу в Архиве кн. Белосельско-Белозерского.) Впоследствии туда же были отправлены и документы, затребованные от редактора «Руси» И. С. Аксакова, «Московских Ведомостей» — М. Н. Каткова, гр. В. Адлерберга и др. Зная, с какой подозрительной поспешностью собирались и отбирались скобелевские бумаги, можно предположить, какой огромный интерес представляет этот Скобелевский архив, до которого до сих пор, по странному недоразумению, еще не дошла рука историка. Было бы очень значительным вкладом в историю общественных течений России собрание и издание обширной переписки ген. М. Д. Скобелева, но она до сих пор еще не собрана, находится в частных архивах (напр., В. И. Немировича-Данченко и др.) и недоступна изучению.

Но, в мое оправдание и на мое счастье, в Лондоне, у кн. С. К. Белосельского-Белозерского, племянника М. Д. Скобелева, оказался небольшой, но очень интересный архив подлинных бумаг Скобелева: писем, записок, черновиков. Несмотря на всю краткость и отрывочность этих материалов, сама подлинность их дала мне значительную точку опоры для этой работы и возможность сделать выводы со всею осторожностью историка.

Приношу искреннюю благодарность кн. С. К. Белосельскому-Белозерскому, давшему мне возможность использовать его Скобелевский архив.

1. РАННИЕ ГОДЫ М. Д. СКОБЕЛЕВА

ДЕД И ОТЕЦ

С именем Скобелева связано три поколения военных — дед, сын, внук*, — три генерала, заслуженных георгиевских кавалера. Если про Дмитрия Ивановича Скобелева говорили, что он только «сын знаменитого

* Скобелевы: Иван Никитич (1778—1849), Дмитрий Иванович (1821—1879), Михаил Дмитриевич (1843—1882).

отца и отец знаменитого сына», то про Ивана Никитича нужно сказать, что в его лице воплотились черты эпохи,— хорошие и дурные,— и самый облик его, как военного, писателя и человека,— является очень оригинальным. Сын сержанта, однодворца Ставропольского уезда (впослед. Самарской губ.), он провел детство в тяжелых условиях в Оренбургской губ. Его происхождение и кровная связь с простым русским народом, особенно солдатом, отчетливо отмеченные в его деятельности, в том числе и писательской, вероятно, имели значительное влияние на его внука, несмотря на то, что взгляды деда и внука на многие вопросы военного дела и особенно политики не только разнились, но были иногда диаметрально противоположны. Если Дмитрий Иванович, воспитанный уже не как сын сержанта, а как сын генерала, был близок к придворным сферам и по привычкам и по склонностям был барин, то у Михаила Дмитриевича, жившего в другую эпоху, связь с народом доходила до отталкивания от аристократических элементов, среди которых он жил и воспитывался.

В лице деда был пример усердного и добросовестного служаки. Участник Отечественной войны, бравший Монмартрские высоты под Парижем, выскочивши под Реймсом из ловушки, устроенной самим Наполеоном, старший адъютант фельдмаршала Кутузова, проводивший его к месту последнего успокоения, И. Н. Скобелев на войне обнаружил изумительную храбрость и огромное самообладание. Когда во время польского восстания под Минском ему раздробило левую руку, он имел в себе мужество во время операции, сидя на барабане, продиктовать свой знаменитый приказ по полку, в котором писал, что для его службы ему и «трех оставшихся пальцев с избытком достаточно» (два были оторваны ранее, при Кирке Коуртане).

Иван Никитич признавался, что, помня хорошее и плохое в своей жизни, он не помнит «ничего лучше русского солдата», и потому любил его какою-то особой, сладкой любовью. Несомненно, за свою долгую службу И. Н. Скобелев хорошо узнал русского солдата и его быт. Язык Ивана Никитича, которым он обращается к солдату, всегда образен, оригинален. Может быть, местами он впадает в трескучую, ходячую риторику («закипела кровь, ратная, молодецкая, заворковало сердце, русское, богатырское» и т. д.),— это в писаниях для сцены, а в жизни у Скобелева был язык более простой, но не менее образный и сильный. Трудно сказать, что

передалось из этого лексикона внуку, может быть, только лаконичность стиля приказов, их практический смысл,— у М. Д. Скобелева в приказах, не менее образных и понятных народу, был также свой стиль, и необходимо отметить, что М. Д. Скобелев никогда не прибегал к имитации, не перенимал интонаций ни своего деда, ни Суворова, чем вообще грешат многие полководцы.

Возвратясь из Франции уже в чине генерала, Иван Никитич в 1821 году был назначен генерал-полицеймейстером 1-й армии. Служака он был исправный, но политического чутья не имел и смотрел на многие вещи, волновавшие русское общество, весьма упрощенно*. После истории в Семеновском полку он имел мужество заступиться за опальный полк и высказывал главнокомандующему 1-й армией, что, по его мнению, «полиция собственно в армии не надобна и что она была бы явным оскорблением честолюбию ревнующих к пользам службы воинов». Скобелев полагал, что армия, и в особенности гвардия, не повинна в симпатии к «вредным шалунам», получившим богомерзкое, «французско-кучерское воспитание» и проч. Подобное мнение И. Н. Скобелева не попало в цель. Лишившись места, И. Н. немного упал духом и, чтобы поправить свою репутацию, занялся доносом на некоторых лиц, напр., ябедничал Бенкендорфу на Балашова, обвиняя того в парламентаризме и вообще в сочувствии английским порядкам, предлагал «вертопраху» Пушкину за его «мысли о свободе» содрать «несколько клочков шкуры»**. Все это не особенно способствовало упрочению его репутации, и И. Н. Скобелев в военно-полицеймейстерском усердии как будто «проштыкнулся», но в 1828 г. он опять выплывает, его назначают дивизионным командиром, а через два года, израненный, без руки, И. Н. уже был не годен для действительной службы и, удалившись на покой инвалидом, почувствовав призвание к литературе, сделался писателем.

Обращаясь к своему прошлому, И. Н. никогда не забывал, что на плечах его была когда-то солдатская шинель, что его «лучшие годы» прошли в казармах, сре-

* В одном из своих приказов И. Н. Скобелев писал: «Каждому определено свыше свое дело; мужики поют и землю пахут; у цыган земли нет, так они поют и плачут. У нас все есть,— мы должны петь и служить». — «Рус. Арх.». 1878. № 2. Стр. 229.

** «Рус. Ст.». 1871. XII; «Рус. Ст.». 1886. Т. 52. Стр. 581, а также 1881. Т. 30.

ди солдат. «В сотоваришестве с солдатами отцвели лучшие дни моей жизни, при явной опасности уцелевшей. Рука солдата, и не делил горькое и сладкое, с ним умирал, торжествовал победы и на кровавом поле, обливаясь слезами умиления, воссылал к Царю царей искренние молитвы за спасение жизни, при явной опасности уцелевшей. Рука солдата и не однажды отражала смертельный удар, в грудь мою направленный». Любовь И. Н. Скобелева к русскому солдату была кровной, органической. «Русского солдата хоть распили, а правды врагам он не скажет». «Невозможность для русских солдат еще не придумана... невозможность — мечта. Невозможность — чужое слово. Где же невозможность? Высылай ее к нам на волах или на кораблях, у нас она тотчас заплещет вприсядку». Разумеется, здесь кое-что от Суворова, но не отсюда ли знаменитый афоризм его знаменитого внука, вне этих фраз звучащий несколько загадочно: «На войне только невозможное возможно?»

В своих очень характерных приказах И. Н. Скобелев постоянно рекомендует начальникам «радеть только о пользе солдат», вникая в их нужды, стараясь «пролагать путь к сердцу солдата словом, а у заблудившихся согреть сердце религией», потому что «рожденный быть начальником простого воина должен уметь развернуть понятие солдата, украсить ум и сердце его военными добродетелями и приучить в мирное время к труду, в военное — к мужеству и славной смерти». Конечно, всякое нерадение о солдате — позор для начальника, а «гнусная и блудная поживишка солдатской собственностью» — вина, равная уголовному преступлению*.

Вполне возможно, что эта крепкая любовь к солдату перешла к знаменитому внуку именно от деда и в качестве семейной традиции. Возможно, что отсюда же идет и уважение к солдатской религиозности, вера — это слово, «манящее героев в объятия смерти». Можно отметить и эволюцию взглядов в отношениях между начальником и солдатом. Как известно, М. Д. Скобелев был сторонником строгой дисциплины, — для него безграничная вера в начальника есть необходимое условие победы. М. Д. Скобелев, как Суворов, как всякий подлинный полководец, делал всегда огромные усилия для овладения сердцами солдат. Но ему пришлось иметь дело с солдатами новой эпохи, и он уже к требованию

* Кубасов. Ив. Ник. Скобелев. — «Рус. Стар.». 1900. III.

«слепого повиновения» вносил элемент разумности и сознательности — вспомним привлечение унтер-офицеров к выполнению сложных военных диспозиций, применяемое им с большим успехом и в турецкую войну, и в Ахал-Теке.

В личной жизни Ив. Ник. Скобелев, как видно из его писем, был очень расчетливый скопидом-хозяин, умевший строить свое земное благополучие. Привыкший к постоянным поучениям, при склонности в воспитательной методике к «спасительным, великороссийским, полновесным, гренадерским фухтелям», в семейной жизни он был довольно тяжел. В своих десяти заповедях сыну он с гордостью подчеркивает, что тот вступает в жизнь, в сущности, «не употребляя собственного труда», — опираясь на белый полусостав грешного тела отца своего, пролившего всю кровь за честь и славу Белого царя и положившего фунтов пять костей на престол милого отечества». Однако не нужно гордости, соблазна, «могущего учинить тебя индийским петухом, — пишет старик сыну, — советую не забывать, что ты не более, как сын русского солдата и что в родословной твоей первый свинцом означенный кружок вмещает пороховоняющую фигуру отца твоего, который потому только не носил лаптей, что босиком бегать ему было легче». Любопытно, как сам, повинный в картежной игре*, отец рекомендует сыну «плюнуть на эту гибельную страсть», имея в виду, конечно, азартные игры, — от скуки «приличнее играть в дураки: на несколько минут и притом же шутя, очень весело быть дураком; бывает и обратно — крепко побитые глупцы, также играю случая попадая в умники, вовсе не скупают сею ролью, оставаясь в оной и по несколько лет». В общем, эти советы, местами остроумные, довольно литературны, по содержанию довольно банальны и написаны, между прочим, по словам их автора, из опасения преувеличения любви матери к сыну, ибо «немного надобно, чтобы двинуть слабую бабу в восхищение».

Обладая несомненным литературным талантом, Ив. Ник. Скобелев был человеком малограмотным, до конца жизни не научившимся писать сколько-нибудь сносно, его письма полны ужасающих ошибок в орфо-

* Нелишне отметить, что М. Д. Скобелев терпеть не мог карточной игры среди своих подчиненных.

графии, а сочинения обычно поправлял Греч. Званием литератора он очень дорожил, и в его квартире регулярно собирались представители литературного мира,— таким образом, в семье Скобелевых не было узости в смысле духовных интересов. К чести Ив. Никитича Скобелева нужно сказать, что он никогда не забывал своего происхождения демократического, даже гордился им, хотя, дослужившись до больших чинов и заняв в петербургском обществе видное положение, вышел в знать. Не то было в его сыне.

Дмитрий Иванович Скобелев по традиции был тоже военный, проделал свою карьеру частью в военных походах (в Венгрии, на Кавказе), частью исполняя различные административные поручения. Имея значительные средства, будучи наследником большого состояния, он сначала вел жизнь не без разгула, не считаясь особенно с отцовскими заповедями, почему между отцом и сыном не раз возникали резкие столкновения. Через свою жену он породнился с рядом аристократических фамилий (Адлербергами, Барановыми) и впоследствии, будучи командиром конвоя, был близок ко двору. Несмотря на то, что, как и отец, имел два Георгия, военные доблести этого среднего Скобелева не пользовались известностью. Это был, скорее, военный по положению, а не по званию, исправный служака, но не воин. Вхождение в ряды русской знати сделало его в общественных отношениях эластичным, вполне покладистым, куртуазным человеком. Быть «сыном знаменитого отца и отцом знаменитого сына» создавало много благополучных позиций, которыми Дм. Ив. Скобелев при своем характере умело пользовался. От своего отца он унаследовал большие хозяйственные способности и богатое наследство и, сильно умножив, передал своему сыну огромное миллионное состояние. Расчетливый и скупой, он не любил излишних трат в семье, но когда его жена жила за границей и вела широкий образ жизни, с большой неохотой оплачивал ее счета «магазинным шлюхам» в Париже*.

Мать Мих. Дмит.— Ольга Николаевна**, урожденная Полтавцева, была очень интересная женщина, с характером властным и настойчивым. Она очень любила своего единственного сына, посещала его даже в походной об-

* Арх. Бел.-Бел.

** См. Русский Биогр. словарь.

становке и своей широкой благотворительной деятельностью поддерживала его политику в славянском вопросе. По смерти мужа (1879 г.) она решила посвятить себя делу помощи больным и раненым и отправилась на Балканский полуостров, где и стала во главе болгарского отдела Красного Креста. Ею был открыт в Филиппополе приют для 250 детей, приюты и школы в других городах Болгарии и Вост. Румелии. В 1880 г. она была убита под Филиппополем разбойниками. По печальной случайности в числе убийц оказался капитан румелийской полиции русский поручик А. А. Узатис, служивший под начальством ген. М. Д. Скобелева в турецкую войну и очень многим ему обязанный. По-видимому, Узатис не знал точно, на кого напала его шайка, — в тот же день он покончил с собой.

МОЛОДОСТЬ

Эпоха, в которую пришлось родителям воспитывать своего сына — середина XIX века, — была в истории новой России своего рода единственной. Великие реформы стояли на очереди во всех сторонах жизни. Трудно сказать, кому из родителей принадлежала мысль дать своему единственному сыну невоенное воспитание, во всяком случае оно было в полном согласии с общественными настроениями того времени. Сначала молодой Скобелев должен был получить домашнее воспитание, выучить языки и т. д. Некоторое время у него был какой-то незадачливый немец. С ним у вспыльчивого мальчика вышла какая-то история, в результате которой мальчик на грубое оскорбление своего гувернера ответил пощечиной и немец был уволен. После этого инцидента О. Н. Скобелева увезла своего сына в Париж и здесь отдала его в пансион Дезидерию Жирарде (Girardet), пансион которого (или его отца) тогда помещался в Сен-Жермен на 3, рю де Полонь. Выбор воспитателя оказался на редкость удачным. Жирарде очень привязался к семье Скобелевых, был преданным пестуном своего воспитанника и его другом на всю жизнь, часто сопровождал его в походах — был с ним в Туркестане, в Ахал-Теке и неутешными слезами проводил его тело в могилу. По-видимому, влияние Жирарде на Скобелева было очень благотворно, по крайней мере, Ольга Ник. говорит, что Жирарде очень удавалось смягчать несдержанный ха-

рактер своего воспитанника. Влиянием же Жирарде, а также пребыванием во Франции можно объяснить, в значительной степени, и неизменную преданность Скобелева французской культуре и его постоянное франкофильство, сыгравшее в его политических взглядах и выступлениях такую большую роль.

Несмотря на военные традиции в семье, Скобелевы своего единственного сына стали готовить в университет. Впрочем, это решение отнюдь еще не означало, что родители предпочитали для своего сына штатскую карьеру военной, но говорят о том, что в эту эпоху всеобщего подъема в стране высшее образование было в большом почете в русском обществе, в частности среди военных кругов. Скобелевы обратились к акад. А. В. Никитенко с просьбой рекомендовать какого-либо учителя для занятий, и он рекомендовал молодого преподавателя Т. И. Модзалевского (отца известного пушкиниста). Занятия предполагались с 1858 по 1860 г. Никитенко принимал в них большое участие. Осенью 1860 г. молодой Скобелев должен был держать экзамен в университет, а 21 мая он выдержал «предварительный» экзамен, вроде проверки, обставленный очень торжественно в квартире гр. Адлерберга, сын которого был товарищем по урокам Скобелева. Судя по письмам самого Модзалевского, экзамен был в присутствии некоторых профессоров и попечителя уч. округа и прошел «с большим успехом»*. Занятия с Модзалевским продолжались и после этого испытания. Скобелев поступил в университет на математический факультет**, но в университете не остался. Осенью 1861 года в университете вспых-

* «Рус. Ст.». 1898. VII.

** По воспоминаниям А. Ф. Коии, этот последний вступительный экзамен в университет происходил 26 мая. Коии рассказывает, что перед экзаменом математики он помог просмотреть два билета из тригонометрии какому-то молодому человеку, который признался, что этих билетов он не успел пройти. Этот молодой человек оказался М. Д. Скобелев (он сам потом напомнил об этом Коии), которому как раз и достался на экзамене этот последний билет. Коии дает портрет Скобелева того времени: «В университете из толпы ко мне вышел навстречу молодой, стройный, высокого роста человек с едва пробившейся пушистой бородкой, холодными глазами стального цвета и коротко остриженной головой. На нем, по моде того времени, были широчайшие серые брюки, длинный белый жилет и черный одиобортный сюртук, а на шее, тоже по моде того времени, был повязан узенький черный галстук с вышитыми на концах цветочками. Манеры его были изысканно-вежливы и обличали хорошее воспи-

нули студенческие беспорядки и университет был закрыт. Как известно, в этих беспорядках принимали участие и военные. Причины, почему Скобелев вышел из университета, точно не установлены. Немедленно по выходе из университета он поступил юнкером в Кавалергардский полк. Очевидно, к военной службе у него была непреодолимая тяга. К моменту выхода Скобелева в корнеты подоспела небольшая война — польское восстание, в которой и он принял участие. Заболев от частого падения с лошади, чувствуя боли в груди, Скобелев должен был перевестись в легкую кавалерию, в Гродненский полк. По-видимому, корнет Скобелев служил очень ретиво, не щадя себя. Отправляясь в двадцативосьмидневный отпуск, он по дороге примкнул к Преображенскому полку, преследовавшему одну банду, и так, в качестве волонтера и частного лица, провел в деле почти весь свой отпуск. Уже здесь было замечено в нем «прямое и отличное исполнение приказаний и мужество», и он получил свою первую награду «за храбрость»*.

О жизни молодого Скобелева за ранний период его офицерства мы знаем сравнительно мало. Это был очень живой офицер с каким-то беспокойным характером. В гусарских попойках всегда был первым на разные смешные выдумки, но часто его проказы принимали жестокий характер. Играли в пьяные грубые игры, в «пятнашки», в «кукушку», и однажды его товарищ, которого он «запятнал», разбился в лесу и остался калеккой. Раз Скобелев выбросился из окна второго этажа, но каким-то чудом остался жить; как-то во время ледохода бросился с товарищем в Вислу, без пари, «соп атоге», и оба переплыли реку. Впоследствии этот трюк с переправой кавалерии вплавь через реки Скобелев проделывал не раз в своей военной практике. В этих его проделках, сопровождаемых обильным пьянством и безобразиями, видна прежде всего какая-то жажда сильных ощущений. Но в нем уже сказывались и стороны духовной экзаль-

тание, которое, впрочем, в то время не было редкостью.— На жизненном пути. Т. III. Ч. 1.

По воспоминаниям А. Ф. Коии выходит, что Скобелев, по собственному признанию, был «вообще слаб по этой части (математика)» и собирався поступить на юридический факультет, на самом же деле он поступил именно на математический и, судя по другим данным, был очень хорошо подготовлен.

* Панчулидзеv. Биография кавалергардов.

тации. Один крестьянин деревушки на берегу Финского залива, куда летом часто приезжал Скобелев, будучи в Академии, рассказывает, что однажды Скобелев увидел его больным и говорит: «Давайте помолимся Богу, зажги-ка свечу перед Спасителем, стань на колени и прочитай «Верую», «Отче наш» и «Богородицу». Потом он взял в чашку воды, перекрестил ее крестиком, что у него на груди висел, и дал мне напиток, потом вспрыснул меня три раза и велел лечь спать... Все как рукой сняло». В этой же деревне Скобелев поехал в лес за жердями, заткнувши топор за пояс, и чуть было не утонул в трясине, но вытащила лошадь. «Я ее налево забираю, а она меня направо тянет. Я ее никогда не забуду,— сказал Скобелев,— если где придется мне на лошади ездить, так чтобы твою сивку помнить, всегда буду белую выбирать*. Этим рассказом как будто объясняется легенда о тяготении Скобелева к белым лошадям, хотя свидетели его жизни в Новгороде, где он был дивизионным адъютантом, сообщают, что «лошади у него были вороные и гнедые»**. Те же новгородцы дают и некоторые подробности его частной жизни. В комнате у Скобелева было сильно надушено, страсть к духам он сохранил на всю жизнь. Спал на двух подушках и наволочки менял ежедневно, одеяло было кумачное, с подбоем из розового шелкового глясе. У изголовья висел образок Божией Матери***. Любил много читать, часто и засыпал с книгой, при свечах, потому что не любил керосину. Крепких вин не любил, а пил кавказские вина и особенно шампанское. Немножко играл на рояле и немного пел маленьким красивым баритоном.

При видимой общительности в эти годы Скобелев имел характер довольно неприятный, невыдержанный, запальчивый и заносчивый. Этим объясняются, вероятно, и его служебные блуждания по всей России. Из Петербурга в Туркестан, оттуда в Павловск, затем на Кавказ, потом в Красноводск, оттуда в Новгород, в Пермь, в Москву, опять на Кавказ и т. д.****. И это все на протя-

* С. И. Глебов. Белый генерал.— «Ист. В.». 1894. № 3.

** «Разведчик», 1902. № 620.

*** Эти детали имеют некоторое значение для характеристики молодого Скобелева, имея в виду общую тенденцию молодежи той эпохи, склонной к опрошению.

**** См.: Панчулидзева. Сборник биографий кавалергардов,— а также некоторые документы Арх. Бел.-Бел.

жении немногих лет, по несколько месяцев на одном месте, причем только зиму прожил на Сев. Кавказе, командуя батальоном Ставропольского полка, где и читал лекции по тактике и военной истории. Историю, особенно военную, Скобелев очень любил, это был один из трех предметов, по которым у него в академии было 12.

В 1866 году Скобелев поступает в Николаевскую академию Ген. штаба. Судя по тому равнодушию и небрежности, с которыми он там занимался, можно было судить, что академия — какой-то формально необходимый этап в скобелевской карьере. Он пошел туда как бы по инерции, может быть, по желанию отца, может быть, вообще чтобы легче пробраться к командным высотам, куда его фатально тянуло. Вел себя Скобелев в академии довольно странно. Науками интересовался мало, на лекции не ходил, практическими занятиями манкировал. Одно время он совсем забросил занятия, перестал посещать академию и даже рапорта о болезни не присылал, а только гулял по городу. В конце концов о нем составилось общее мнение, что он «просто шалопай и авантюрист и никакого прока из него не выйдет», и его решили исключить из академии. По-видимому, в это время в душе молодого, неуравновешенного и в то же время честолюбивого офицера происходил какой-то перелом. Это отражалось и на его внешности. «В юности, — говорит проф. Витмер, — это был далеко не тот 36-летний красавец с пышной светлой бородой, увенчанный ореолом славы, каким приехал он после войны». Он «удивительно похорошел» впоследствии, когда возмужал и отпустил себе великолепные светлые бакенбарды. В академии Скобелев был какой-то тусклый, с сероватым цветом лица. В его лице, — говорит Витмер, — не было красок юности, ее свежести, ее очарования, отсутствие которых как-то шло вразрез с очевидной молодостью лица, едва покрытого растительностью». Витмер отмечает и любопытную черту Скобелева того времени — он «никогда не видел его ни смеющимся, ни даже улыбающимся, пожалуй даже веселым»*. Вызванный на откровенный разговор с Витмером, Скобелев признался, что «решил бросить академию, оттого и не ходит на лекции», но

* Очевидно, отсюда и идет выражение проф. Е. Тарле о ген. М. Д. Скобелеве как о «никогда не смеявшемся красавце». См.: «Кр. Арх.». № 27.

бросать военную службу не намерен, потому что, по его словам, «для него жизнь без военной службы невысказана». Но Витмеру удалось уговорить Скобелева не делать этого, сыграв на честолюбии, что академия — лишняя возможность на службе и может пригодиться. Скобелев остался, стал посещать лекции, но энтузиазма к наукам не прибавилось. По-прежнему он небрежничал с задачами, и про его летние съемки под Ораненбаумом ходили довольно темные слухи; по-прежнему он вел рассеянный образ жизни и его часто можно было встретить на рысаке, в «статском платье», в шотландской шапочке. Неудивительно, что Скобелев окончил академию по 2-му разряду — она его не захватила. Его ответы были несерьезны. Так, напр., ему была дана задача по карте Бавария: он должен был прикрыть Аугсбург против неприятеля, идущего с севера. Скобелев решил, что так как, по его мнению, прикрыть невозможно, то нужно вести бой наступательный. На вопрос, почему же он на карте не проделал эту работу, он сказал: «Что же я буду вычерчивать, когда решаюсь атаковать противника?» Едва ли можно признать остроумным и «ответ» Скобелева на практических занятиях, приведший в восхищение ген. Леера, когда вместо решения задачи Скобелев бросился в воду и переплыл реку. Впрочем, и Витмер не отрицает, что Скобелев вообще отличался очень большой индифферентностью, хотя она и бывала не всегда логичной и — часто граничила с упрямством и озорством. Только один раз ответ Скобелева поразил его учителей. Ему досталась по военной истории битва при Рымнике. Проф. Витмер всегда считал это сражение неинтересным с точки зрения военного искусства, но Скобелев на экзамене так увлекся, что «прочел целую профессорскую лекцию просто, ново и с огромным увлечением». Видно было, добавляет Витмер, что «самый механизм боя, его поэзия» близки его сердцу. Это показывает, между прочим, что Скобелев, будучи в академии, не был безучастным к военному делу, только, видимо, он не очень рьяно относился к рутинному преподаванию. В эти же годы Скобелев пытался выступать в печати. Так, при переходе на старший курс он вошел в сношения с редакцией «Военного Сборника» и напечатал статью «О военных учреждениях Франции». Об этом факте он, между прочим, сообщает своему отцу. Характерна деталь этого письма — обращение: «Многоуважаемый отец!», она говорит очень

много о душевных настроениях как самого Скобелева, так и молодежи той эпохи вообще*.

В 1868 году Скобелев окончил академию с очень бледными отметками в аттестате. Если не считать иностранных языков, которые он знал с детства, только по стратегии и по военной истории было по 12, остальные отметки были немногим выше среднего. Не причисленный к Генеральному штабу, Скобелев начинает свою служебную карьеру блужданием по всей России, нигде не заживаясь подолгу, исполняя разные поручения. Между прочим, он был назначен заведующим съемкой Заревшанского округа, которую и закончил благополучно, но в 1870 г., при обследовании у Сарокомыша, проявил по обыкновению какую-то инициативу, которая очень не понравилась начальству, и в результате — строптивый офицер был откомандирован обратно в Петербург**.

Однако, несмотря на служебные трения и репутацию неуживчивого человека, служебная карьера его шла своим чередом. Надо думать, что огромным связям, которыми располагал Скобелев в Петербурге, удавалось не без труда сглаживать многочисленные трения в сферах, возникавшие вследствие скобелевских выходов, однако трудно объяснить только одними родственными связями сравнительно быстрое повышение по службе Скобелева, — очевидно, способности молодого офицера заставляли о себе говорить и были предметом внимания со стороны товарищей. Впрочем, мнение о скверном поведении и поступках молодого Скобелева (да и не только молодого) является довольно распространенным, но прямых конкретных указаний на какие-либо порочащие факты почти не встречается в довольно обширной литературе о Скобелеве. Надо думать, что это были обычные армейские проделки, свойственные вообще заносчивым, самолюбивым и невоздержанным молодым людям того поколения. Впрочем, один эпизод, рассказанный проф. Витмером, нам дает многое для характеристики скобелевского своеуравия. Дело было в 1872 году (т. е. после первой командировки Скобелева в Туркестан) на маневрах в Тацах. Нач. штаба гвардии К. Левицкий отослал

* Арх. Б.-Б.

** Характерна склонность Скобелева ко всякого рода разведкам, рекогносцировкам и проч., которая дала ему первый Георгиевский крест и, возможно, определила некоторые стороны его оригинального метода подготовки боя.

Скобелева, тогда капитана Ген. Штаба, с каким-то поручением и очень волновался, что тот долго не возвращался. Наконец Скобелев приезжает с огромным опозданием и на разнос начальника приносит извинение, сказавши, что опоздал по собственной вине, отказавшись назвать причины. Когда же Левицкий стал настаивать, то Скобелев чистосердечно признался, что опоздал потому, что его задержал в. к. Юрий Максимилианович, с которым тот в уланском полку и пропьянствовал всю ночь. Левицкий стал распекал Скобелева и по существу, разумеется, был прав, но он, по своему характеру, всегда делал это как-то обидно и нудно, так что Скобелев вскипел и бросился к Левицкому с намерением его ударить. Тогда Витмер, свидетель этой сцены, кинулся к Скобелеву и, взявши за локти, увел его из комнаты, уговаривая. Скобелев был очень благодарен Витмеру за вмешательство, иначе дело могло бы кончиться для него очень плохо. Любопытна и удивительная для будущего Скобелева фраза, сказанная будто бы Скобелевым на реплики Левицкого. «Когда дело было действительно серьезное, в Средней Азии и я служил серьезно, себя не жалея, а ведь это же маневры...»* Разумеется, при такой репутации, которая создалась у Скобелева среди начальства, ему трудно было пробиваться, тем более в условиях мирного времени. Скобелеву нужна была настоящая война, а не маневры, для мирной деятельности в его годы он не мог развернуться, ему нужны были подвиги. Если не было возможности воевать в России, он искал возможности понюхать пороху за границей, чем и объясняется его поездка к Карлстам, в Испанию и т. д. В этом отношении туркестанские командировки сразу определили место Скобелева. В пороховом дыму он обнаружил качества и способности, которые заставляли забывать неприятные свойства его натуры.

Конечно, более всего хлопот доставлял Скобелев своему отцу. Между ними никогда не было большой близости, это были разные люди, но Дм. Ив. очень любил своего сына и очень болел за его судьбу. Его письма к сыну, относящиеся к 1874 году, когда Скобелев, после получения флигель-адъютантства, уехал в Париж, дышат крайней осторожностью и боязливостью. «Если бы я мог полагать,— пишет отец из Спасского,— что слова

* Витмер. Казимир Левицкий.— «Рус. Ст.»

мои принесут плоды, я бы кой-что поговорил с тобою. Но в настоящую минуту скажу одно — успокойся, живи себе тихо, — агитация к делу не приведет, не скрывай от меня ничего — один в поле не воин, ум хорошо, два много лучше. Мой совет — сиди в Париже, не ездь в Англию». Женитьба на княжне М. Н. Гагариной, вероятно, входила в планы родителей как умиротворяющий элемент. По крайней мере, отец, очевидно, вскоре после женитьбы сына пишет ему письмо, полное нескрываемой радости и надежд. Отец доволен уже тем, что сын пишет ему письма, значит, он «внутренне спокоен, а спокойствие есть почти целое счастье на земле». Характерны его, отцовские, рассуждения: «Радуюсь твоему настоящему степенству, невольно думаешь, какие нелегкие заставляют иногда человека не пользоваться теми талантами, которыми природа наградила. В тебе столько хорошего, что позавидовать другому не грех — и сердце, и ум, теперь ты переродился, готовясь на дело, останься таковым всегда — ты всех полюбишь, и тебя любить будут — опять земное спокойствие и счастье. Говорить тебе, как жить и быть тебе вдали нечего — чем дальше, тем смотрят на твои вензеля более осторожно. Целую и милую тебя, мое сердце. Твой отец». Попутно отец делает комплименты его молодой жене. «Твоих я проездом видел и радовался радостью твоей жены, она накупила удачно тебе в кабинет ковров — едут искать квартиру — мать в восторге, что ты просил ее заняться этим делом. Как мало нужно, чтобы сделать и других счастливыми»*.

Но радость родителей приманкой тихой пристани для сына оказалась очень преждевременной. Уже через несколько месяцев после свадьбы началось охлаждение Скобелева к своей жене; хотя, судя по его последующим письмам к сестре, о какой бы то ни было любви тут не было и речи. Судя по воспоминаниям современников, Скобелев женился не по любви, а по каким-то другим соображениям и вел себя даже в дни свадьбы более чем странно. После венчания новобрачные должны были приехать на Английскую набережную в дом кн. Меншикова, дяди жены Скобелева. Но приглашенные нашли там только одну молодую, а сам Скобелев куда-то исчез; так гости и разъ-

* Арх. Б.-Б. В письме любопытные хозяйственные новости и приписка сбоку: «Здравия и долгоденствия желаю. С дозволения его превосходительства слуга покорный С. Скородумов».

ехались, не дождавшись его. По рассказам близких, жена Скобелева обладала очень ровным, уживчивым характером и должна была бы быть подходящей женой; между прочим, она была хорошей наездницей, и как-то, вскоре после свадьбы, зимой, Скобелев с женой приехали верхом из Петербурга в Царское Село. Бар. Врангель рассказывает в своих воспоминаниях, что чуть ли не через несколько дней после женитьбы Скобелев уже крайне иронически говорил об этом эпизоде своей жизни*.

Таким образом, Скобелев и после женитьбы не остепенился и доставлял своим родственникам немало всякого рода огорчений. Нужно при этом добавить, что он привык жить широко и расточительно. Он делал много долгов, которые отцу надоело оплачивать, и тот предложил сыну, чтобы между ними «никогда не пробегало такое темное недоразумение», ежемесячную выдачу в 1250 рублей в месяц, с получением по третям. Причем расчетливый старик добавлял, что все, куда надо, «будет упрочено и вычтено». «Не прими из этого, что не душевно,— но думаю, что содержания этого тебе с жалованием довольно. А мне надоело слушать, что тебе ничего не даю»**.

Таким образом и материально вполне обеспеченный молодой Скобелев метался в поисках приложения своих способностей. Было совершенно ясно, что дарования его могли развернуться только в боевой обстановке. Вот почему его так тянет туда, где гремят пушки и пахнет порохом, и это не из простого любопытства, а серьезно. Он верит в себя и ищет боевой школы. Нелегко попасть в Туркестан — в первой пробе было не все гладко, но он нажимает все пружины и почти бежит в Туркестан. «Или меня убьют, или вернусь генералом», — говорит он своим товарищам.

II. В ТУРКЕСТАНЕ

ХИВИНСКИЙ ПОХОД

В жизни ген. М. Д. Скобелева Туркестан сыграл совершенно исключительную роль. Для многих военных того времени Кавказ, как и Туркестан и Закаспийская

* Врангель Н. Е. Воспоминания.— Берлин, 1924.

** Арх. Б.-Б.

область, явились, так сказать, практическими военными академиями, боевой школой, где в своеобразных условиях колоннальных войн вырабатывались не только военные таланты, но и специфические административные навыки, а Скобелев принадлежал к тому типу полководцев, которые вместе с военным гением соединяют крупные организационные способности.

Скобелев приехал в Туркестан молодым 26-летним офицером, спокойным и честолюбивым. В маленьком уездном городке Чинназе, недалеко от Ташкента, командир сотни уральцев Скобелев производил довольно необычное впечатление. Офицер генерального штаба, с огромными связями в Петербурге, сын придворного генерала, очень образованный, свободно говорящий на многих иностранных языках, красивый, холерный, с изящными манерами, Скобелев мало подходил к обычному типу армейского служаки отдаленной окраины, он производил впечатление не только своим умом — в этом офицере было что-то пытливое и вызывающее. Можно было его невзлюбить, но не заметить его было невозможно, — о нем всегда (хорошо ли, плохо ли, но) говорили. Всем бросалась в глаза его какая-то напористость, устремленность в службе. На свое счастье, в генерале К. П. Кауфмане, командующем областью, Скобелев встретил человека, который сквозь внешнюю шелуху умел распознавать в человеке и подлинные способности; в нем Скобелев нашел очень хорошего учителя и прекрасно сумел воспользоваться опытом этого выдающегося администратора-завоевателя. В начале службы в Туркестане Скобелев энергично поддерживал свою репутацию гуляки, был склонен к бесшабашной удали, много пил и проч. У него было две дуэли. Виновником их был некто Герштенцвейг, молодой гвардейский офицер, сосланный в Ташкент, как говорили, по просьбе матери за любовное увлечение какой-то актрисой. Герштенцвейг был общим любимцем и был в большой дружбе со Скобелевым. Причиной их размолвки была одна карательная экспедиция против племени мачинцев под начальством ген. Абрамова. Скобелев был в отряде Герштенцвейга. Бунтовщиков нагнали, усмирили и проч. Какие при этом были подробности — в точности неизвестно, — по одним — Скобелев в стычке «струслил», по другим — пьяный Герштенцвейг полетел в атаку на мирных жителей и что Скобелев, заметивший ошибку, пытался удержать

приятеля. О «неудачном» эпизоде в реляции умалчивалось, но слухи о «трусости» Скобелева втихомолку передавались. Конечно, через несколько лет подобные слухи о нем были бы немислимы, но в ту пору упрек в недостатке храбрости лишал военного всякой возможности сделать боевую карьеру. Слухи дошли и до дома ген.-губернатора, гувернером детей которого был тот же Жиранде, страстно любивший своего бывшего воспитанника, обидевшийся за него и сообщивший ему об этих слухах. Скобелев вызвал на дуэль одного из «болтунов». Дуэль состоялась, но была безрезультатной, и Скобелев потребовал от самого Герштенцвейга признания его ошибки в экспедиции, грозя разоблачениями. Приятели дрались, и Герштенцвейг был ранен. Эта дуэль не прибавила доброжелателей Скобелеву, наоборот, большинство туркестанского общества было на стороне Герштенцвейга (...)

После этого Скобелеву не оставалось ничего, как уехать,— этого, вероятно, желал и сам ген. Кауфман, однако, заметивший недюжинные способности этого беспокойного офицера, который никак не может в жизни найти своей «линии».

Начинается новый скитальческий период жизни Скобелева — опять Кавказ, затем Красноводск, потом почти годовой отпуск с отчислением в полк и прикомандированием к Главному штабу. Но карьера не останавливается. Через несколько месяцев с производством в подполковники он назначается в штаб Моск. округа, затем в Ставропольский полк командиром батальона для прохождения строевой службы. В это время Скобелеву не было и 30 лет.

В это время началась подготовка к походу на Хиву. Поход на Хиву явился логическим этапом по пути захвата края и укрепления русской колонизации в Средней Азии. После взятия Бухары Хива неумолимо стояла на очереди. Кроме того, здесь были и моменты скорейшего реванша за безуспешные попытки пробраться в глубину пустыни и за неудачи всех попыток взять Хиву. В Петербурге, куда в 1872 г. ездил ген. Кауфман, Александр II это выразил в известной фразе: «Возьми мне, Константин Петрович, Хиву!» На Хиву должны были двигаться три колонны — от Оренбурга, с Кавказа и Туркестана. Во главе ташкентских войск должен был стать сам Кауфман.

Скобелев никак не мог примириться с тем, что не участвует в Хивнском походе: на это он имел некоторое право. Опыт двухлетнего пребывания в Туркестанском крае не прошел даром. В бытность свою в Тифлисе, в авг. 1871 г., Скобелев представил в штаб Кавказского округа записку о занятии Хивы, «на которую, по его словам, в свое время никто не обратил внимания»; в ней очень много дельных замечаний и верных прогнозов. Предостерегая от трудностей завоевания Хивы, Скобелев рекомендует занять на Амударье какой-либо опорный, укрепленный пункт, который бы позволил нам угрожать Хиве (он упоминает при этом Шурахаи, будущий Петроалександровск), вводя поиемному ханство в русло русской политики. По его мнению, поддерживать того или другого претендента дешевле и выгоднее, нежели занимать страну. А главное — «не захватами достигнем мы прочного положения в Ср. Азии, а основательным изучением страны, выяснением действия при различных возможных политических обстоятельствах, в особенности же подготовлением средств для исполнения наших планов со всевозможными шансами на успех, если можно так выразиться, наверняка». Так как «условия степной войны в Ср. Азии, где природа страшнее неприятеля, требуют прежде всего возможно всестороннего знакомства со страной, в которой предстоит воевать», то Скобелев предлагает свои услуги — двинуться из Туркестана в Хиву с купеческим караваном и пройти, в качестве купеческого приказчика, путями, ведущими из русского Туркестана к Хиве и далее к Каспийскому морю, из Хивы же, соображаясь с обстоятельствами, пройти к Красноводскому заливу. Скобелев составил большой список вопросов, на которые должны быть ответы — тут и количество воды в степи (ручьи, колодцы, ямы), и оазисы с их населением, растительность, вопрос о корме для лошадей и т. д. и т. д. Это предприятие почему-то не состоялось, хотя, кажется, и велось по этому поводу переговоры*.

Теперь, когда началась военная экспедиция в значимых местах, Скобелев не мог усидеть на месте. Однажды он явился к командиру полка с просьбой уволить его в продолжительный отпуск; прикомандированные отпуском не пользуются. После усиленных просьб коман-

* См. «Записку» Скобелева: «Ист. В.», 1882. № 10.

дир все же дал это незаконное распоряжение. Тогда обрадованный Скобелев, подойдя к стоявшим в зале у командира полка знаменам, взялся за знамя 3 батальона и торжественно заявил: «Клянусь этим знаменем, что если буду жив, то через год я буду стоять на этом месте с Георгиевским крестом». Скобелева в полку нет и ... по газетным известиям, он находится в Средней Азии и участвует в отряде Ломакина*.

Скобелев просился в отряд Кауфмана, но, очевидно, сам Кауфман был против этого, и Скобелев был прикомандирован к кавказскому отряду, который выступил двумя колоннами, Одна под командой полк. Маркозова — из Красноводска, а другая, полк. Ломакина, — из Мангишлака. В последней и участвовал подполковник Скобелев. Отряду полк. Маркозова не повезло — пустыня встретила их сурово. При колодце Игды, разбив туркмен, отряд взял большую добычу, около 300 пленных, 1000 верблюдов, 5000 баранов, но добыча не облегчила тяжелого положения отряда, который должен был продвигаться при 50-градусной жаре. Глубокие пески и безводье измучили людей совершенно — неприятель портил колодцы и тревожил отряд днем и ночью. Начались болезни и падеж лошадей в кавалерии. Самый роковой переход был к колодцу Имды-Кудук, которого проводники с передовыми казаками не могли найти, и колонна, не имея целые сутки ни капли воды, принуждена была повернуть назад и с громадным трудом и лишениями дотащилась до Каспийского моря. Один из участников этого отряда, флигель-адъютант А. Д. Милютин, сын военного министра, посланный Маркозовым в Тифлис для донесения, был отправлен в отряд Кауфмана в Хиву. Рассказы Милютина о неудачах экспедиции Маркозова, как увидим далее, сыграли важную роль в судьбе Скобелева...

Отряд полк. Ломакина сравнительно благополучно прошел 700 верст, усеяв свой путь верблюжьими костями, и в Караболье, южнее Кунрада, соединился с войска-

* — Ровно через год, — рассказывает ген. Шак, б. командир Ставропольского полка, — я услышал в своей квартире, что кто-то играет на рояле его любимый Даргинский марш. — Проснувшись, он узнал от своего человека, что играет какой-то приезжий офицер. Оказалось, что это Скобелев: он сдержал свою клятву и явился с Георгием в петлице. «Разведчик» 1897. № 362.

ми ген. Веревкина, сделавшего свой поход благополучнее всех.

Необходимо вообще остановиться на условиях борьбы в Средней Азии. Здесь самый главный неприятель была природа. Приходилось преодолевать огромные пространства при палящем зное, а зимой при стуже с морозами, при сильнейших буранах, заметавших снежным покровом целые караваны. Сыпучие солончаковые степи были труднопроходимы именно для военной экспедиции — ноги увязали в песках, а приходилось с собой везти и нести военное снаряжение, запасы продовольствия, воду, дрова для людей и фураж для лошадей. Бесчисленное количество верблюдов, нужных для перевозки всех войсковых грузов, превращало войска в огромные и громоздкие караваны, в которых приходилось всегда быть наготове отражать неприятеля, очень смелого и отлично знающего местность. От безводья, скверных гигиенических условий начинались эпидемии — тиф, малярия, цинга. Немало гибло от солнечных ударов, несмотря на ряд предохранительных мер вроде надзатыльников, по которым всегда легко узнать на картинке туркестанского воина. Нередко были случаи полного отчаяния, приводившие к трагической развязке. Так, в Казалинском отряде в экспедиции Кауфмана инженерный полковник Романов раскроил себе череп, оставив записку, в которой писал, что он «не может пережить овладевшей им тоски в степи, а потому прощается с семьей и кладет конец этой пытке». Разумеется, сохранить дисциплину в таком, полном лишений, походе представлялось делом очень трудным. Очевидцы описывают жуткие картины полнейшей деморализации войск при нахождении колодцев после нестерпимых пыток жаждой. Нередко вода струилась на глубине 27 аршин, но люди не хотели ждать правильной организации доставки воды, бросались в беспорядке к колодцам, вырывали друг у друга воду, топтали ногами раненых и больных, которые буквально приползали к колодцам. Все старания водворить порядок были тщетны — люди сбивали караулы, бросались с кулаками друг на друга, царапались, грызлись, кусались, надеясь поскорее утолить свою жажду...

За 250 верст до Хивы отряды ген. Веревкина и Ломакина соединились, и 28 мая 1873 года они уже были у стен Хивы. Предстоял последний акт вступления по-

бедоносных войск в заветный город, предмет вожделий многих поколений военных. В тот же день главнокомандующий ген. Кауфман принял депутацию от хивинцев с письмом хана, который, признавая себя «нукером» Белого царя, сдавал столицу без боя и всяких условий. Но в тот же день оренбургско-мангишлакский отряд произвел рекогносцировку хивинских стен, которая превратилась почти в атаку, причем было довольно много раненых офицеров, в том числе и сам ген. Веревкин. Что заставило ген. Веревкина предпринять эту диверсию, в точности неизвестно. Возможно, что ему хотелось поскорее вступить в обреченный город и он, не рассчитав силы, хотел сделать это с налета. Это ему не удалось, а вечером 28-го он получил от ген. Кауфмана письмо, в котором точно устанавливалось время и порядок вступления в город, причем ген. Веревкину рекомендовалось быть у моста Сыра-Купрюк. «Если из города против вас не стреляют, то и вы до разрешения вопроса о войне и мире также не стреляйте», — писал ген. Кауфман.

На другой день за две версты до города соединились представители всех отрядов экспедиционного корпуса. Это была торжественная минута — обнимались, поздравляли друг друга. У моста Сыра-Купрюк была принята депутация во главе Эмира Уль-Омара, старшего посла хана, накануне покинувшего город и бежавшего к иомам. Пока происходила эта церемония предварительной сдачи столицы, со стороны оренбургского отряда раздались пушечные выстрелы, из Хивы примчались люди с известием, что русские вновь открыли огонь. Это подполковник Скобелев штурмовал Шах-Абатские ворота. Этого эпизода долго не могли простить Скобелеву. Даже Верецагин передает это дело с явным осуждением Скобелева. Теперь можно сказать совершенно точно, что в этой истории Скобелев сыграл весьма пассивную роль. Он исполнял лишь приказание ген. Веревкина. На письменный запрос Кауфмана Веревкин ответил письмом, которое Кауфман прочел уже в самой цитадели города. «В Хиве были две партии — мирная и враждебная, — писал ген. Веревкин. — Последняя ничьей власти не признает и делала в городе всякие бесчиния. Чтобы разогнать ее и иметь хоть какую-нибудь гарантию против вероломства жителей, я приказал овладеть с боя одними из городских ворот, что и исполнено. Войска, взявшие

ворота, заняли оборонительную позицию около них, где и будут ожидать приказа вашего превосходительства. Всякие грабежи мною запрещены». В этой записке, написанной раненым генералом в 1 ч. дня, — много неясного. Приказание «не стрелять по городу, если не будут оттуда стрелять», стояло в письме Кауфмана, полученном накануне — там же сообщалось и о мирных переговорах и т. д. Затем колонна полк. Саранчева, направленная на соединение с Кауфманом, прошла мимо городских стен Хивы без выстрела — народ, высыпавший смотреть, запрудил весь крепостной вал и был настроен уже совершенно мирно. Что мирная партия в это время в городе была в силе, говорит и то обстоятельство, что в то время, как Скобелев с Шуваловым брали штурмом на «ура» Шах-Абатские ворота, в одной версте правее, под стенами, стоял отряд подп. Терейковского, мирно переговариваясь с туземцами, которые даже сходили со стен и выходили к отряду. Вообще же с крепостных стен у Шах-Абатских ворот не могли открыть огонь, потому что еще накануне была с них сброшена пушка по требованию русских. О чем говорили при свидании Кауфман с Веревкиным, мы точно не знаем, но Кауфман заметно остался недоволен Скобелевым. В стрельбе по мирному населению недоброжелатели Скобелева увидели наивную выходку сорвать дешевые лавры... Видимо, явившись козлом отпущения, покрыв собою какие-то неясные замыслы ген. Веревкина, Скобелев был очень смущен. Предстояло реабилитироваться. Случай представился скоро.

ПЕРВЫЙ ГЕОРГИЙ

«Подвиг», за который получил свой первый Георгиевский крест Скобелев, был для него очень характерен, и, пожалуй, символичен. С именем Скобелева связано обычное представление о блестящих штурмах на белом коне и проч. Такие моменты были у Скобелева, создавшие ему славу, но заветные белые кресты военного ордена он заслужил не за эти подвиги. Сила военного гения Скобелева была двойная, с одной стороны — в изумительной по тщательности подготовке боя, а с другой — в вдохновенном водительстве во время самого боя. Второе завершало первое — в этом и был успех скобелевских операций. Храбрость Скобелева в бою,

сопряженная с огромным нервным напряжением и хладнокровием, стоит той рассудочной смелости, с которой он производил свои рекогносцировки.

В лагере Ильялы, в нескольких десятках верст от Хивы, стоял отряд, возвратившийся из экспедиции против юмудов. В лагере господствовали «бездействие, скука, жара и мухи. Мухи лезли в лицо, глаза, нос, рот, в чай и суп и в таких массах, и с таким остервенением, что ничего подобного себе и представить невозможно. Их невозможно было уничтожить ни огнем, ни мечом, ни водой, ни дымом. Вечером только и дышалось...» В один из таких вечеров, рассказывает полк. В. А. Полторацкий*, один из членов только что организованной Георгиевской думы А. Д. Милютин обратился, между прочим, к Скобелеву, про заветную цель которого — заслужить Георгиевский крест — было всем известно, с указанием, что, возможность эта у него под рукой, а он ее не хватает. Скобелев вскочил. Тогда Милютин предложил ему исследовать путь, не *пройденный* отрядом Маркозова, до колодцев Имды-Кудук и этим разрешить очень важный для всех, а для кавказских войск в особенности, вопрос, — был ли этот путь доступен движению отряда или нет. Приблизительно от Ильялы до Имды-Кудука, судя по карте, было около 150 верст степи, проезд через которую, конечно, был чрезвычайно опасен ввиду блуждающих там отрядов иомудов. Милютин, сам участник неудачного похода Маркозова, был очень заинтересован в расследовании этого вопроса и сумел так обосновать свое предложение, что оно всецело захватило молодого подполковника. По словам очевидцев, Скобелев готов был немедленно кинуться в рекогносцировку, но это было не так просто. Необходимо было прежде всего получить согласие командующего. Кауфман «сначала и слышать не хотел об отпуске Скобелева и только спустя некоторое время согласился на наши просьбы», — говорит Полторацкий. «С утра Скобелев летал по всем направлениям и только мельком успел сообщить, что уже был у начальства и что к вечеру все будет готово к его отъезду. У меня, — продолжает Полторацкий, — взял он лошадь, моего маленького Серого. В ту же ночь, во время нашего ужина, послышался топот коня. Я вышел и в темноте не мог разобрать, кто остановился у нашей палатки, —

* Воспоминания. — «Ист. В.». 1895. VI.

и только по голосу узнал всадника. Скобелев в туркестанском костюме, высокой шапке и вооруженный с головы до ног, стоял перед нами и просил благословения на дальний путь, опасный путь... Мы вынесли ему стакан красного вина, чокнулись, он толкнул коня и был таков. Дай ему Бог успеха, но увидимся ли с ним? — подумали, вероятно, все». Через неделю, когда Кауфман был уже в Хиве, в прежнем лагере по плитам двора того дома, где жили приятели Скобелева, к утреннему чаю раздался топот лошади — приехал Скобелев, загорелый, весь в пыли. Соскочив с лошади, он бросился в объятия товарищей и затем, приводя в порядок свой туалет, умываясь и за утренним чаем, наспех рассказывал свою эпопею. Скобелев предпринял свою экспедицию вшестером: он взял с собою трех туркмен, льготного казака оренбургского войска и *ex*-крепостного форейтора, служащего по найму. Вооруженные, все они были одеты туркменами с соблюдением всех местных условий до тонкости и имели, конечно, добрых лошадей. Вот как рассказывает об этой экспедиции Полторацкий, записавший рассказ Скобелева. «Выехав ночью, группа направилась на запад и осторожно вперед, в первый день благополучно достигла колодца, очень скудного водой, за 32 версты от нашей позиции. Скобелев измерял расстояние быстротой хода лошади и на всем пути заносил на план все, что встречал по дороге или видел по сторонам на горизонте. В несколько листов склеенные кроки всего пройденного пути до самых колодцев Имды-Кудука отчетливо указывали на кряжи, возвышенности и барханы, заносившиеся Скобелевым с поверстным указанием их от избранного им направления. На второй день проехали 37 верст, и хотя на горизонте, слева от себя, заметили несколько человек конных, но добрались до колодцев и переночевали на них без всяких происшествий. Третий переезд в 34 версты совершился благополучно; но только что напоив коней, они расположились на отдых, вдаль показалась партия иомудов, направлявшаяся прямо к их колодцу. Туркмены-проводники Скобелева немедленно уложили его на землю и, накрыв кошмами, категорически потребовали от него не подавать признаков жизни и недвижимо ожидать, пока непрошеные гости не уедут в степь. Врагов оказалось до 30 человек. Они тоже напоили лошадей из колодцев и, усевшись кругом, завели разговоры и расспросы: куда и зачем едут встре-

ченые туркмены? Бойко отвечая на всякую небылицу и указывая на человека, скрытого грудью кошм, проводники объяснили любопытным, что это их караван-баши, жестоко заболевший лихорадкой. По признанию этого больного, его действительно в то время около пяти часов сряду бросало и в жар и в холод, не от одного удущья, под войлоками, но и от меча Домокла, висевшего над головой его... Но вот иомуды отдохнули и, слава Богу, подобру и здорову удалились в степь. Скобелев вздохнул свободно. На четвертый день не видели никого, но на ночлеге нашли очень плохую воду и заметили утомление коней по причине глубокого песка. На пятом переходе встретили на перепутье пять иомудов, с которыми обменялись пустыми вопросами и разъехались без последствий. На шестой день очень большой перегон в 40 верст наши всадники совершили с великим затруднением, так как их лошади до того измучились, что последние двенадцать верст до цели им пришлось тащить их в поводу. Но на следующее утро, когда они были так далеко от возможности трагической развязки и спокойно отдыхали у Имды-Кудука, перечисляя все опасные минуты, испытанные ими на пройденном пути, едва не случилось происшествие, могущее иметь страшные последствия... Окрепнув после продолжительного сна, спутники весело и беспечно болтали между собою на природных языках и увлеклись до того, что не обратили внимания, как молодой пастух, отделившийся от своего стада баранов, подошел к колодцу, зачерпнул воды и, отойдя от них несколько шагов, растянулся на солнце — не спать, а внимательно слушать их речи. Прошел час или более, как беззаботно глядевшая наша группа увидела мальчишку, во всю прыть бегущего мимо своего стада в степь, оглашая воздух пронзительными криками. Встревоженные туркмены в один миг сообразили грозившую им опасность, и вся кампания, не теряя минуты, вскочила на коней и в карьер бросилась в обратный путь. Терять времени было действительно невозможно, потому что пастух, добежав до ближайшего кочевья иомудского, поднял там тревогу и более сотни врагов понеслись по пятам беглецов. Скобелев говорил, что они обязаны своим спасением единственно резвости своих коней, вдоволь напившихся воды и съевших накануне усиленную порцию ячменя».

Сверив свое кроки с общей картой хивинской степи, Скобелев явился к начальнику штаба ген. Троицкому, а потом и к самому Кауфману. Результаты рекогносцировки Скобелева были очень благоприятны для отряда Маркозова. Местность около колодцев Кизиль-Чакир, Нефес-Кули, по мнению Скобелева, была действительно непроходима для отряда с тяжелыми вьюками и артиллерией. Даже сильные верховые лошади их шестерки едва ли тащились здесь по глубоким пескам. Необходимо прибавить, что многие колодцы во время пути Маркозова были намеренно завалены неприятелем, и нам станет понятна тяжелая необходимость Маркозова вернуться*.

Участники рекогносцировки были, каждый, награждены знаками отличия, а Скобелев был представлен Кауфманом к Георгию 4 ст., и Думе было предложено утвердить это представление. Георгиевская Дума, однако, довольно долго оттягивала свое решение. Старая неприязнь к Скобелеву поднялась опять. В самой Думе возникли трения, и только большинством голосов Скобелев был признан достойным по § 15 Статута. Есть основания предполагать, что большую роль в этом отношении сыграл ген. Кауфман, любивший и ценивший в подчиненных инициативу, но и он, если верить Верещагину, поздравляя Скобелева, сказал ему: «Вы исправили в моих глазах ваши прежние ошибки, но уважения моего еще не заслужили». В офицерских кругах имя Скобелева встречало еще неприязненное отношение; так, кавказский окружной штаб отчислил его от армии и отказал ему, уже флигель-адъютанту, в ходатайстве дать ему эскадрон в Тверском драгунском полку в Тифлисе. В конце года, по возвращении из Средней Азии, Скобелев был принят государем довольно благожелательно — видимо, соответствующие отзывы Кауфмана сделали свое дело. Интересен отзыв о Скобелеве, относящийся как раз к этому времени и принадлежащий Полторацкому (между прочим — члену Георгиевской Думы, присудившей Скобелеву орден), — человеку, относившемуся

* Карту обследованного Скобелевым с 4 по 12 авг. 1873 г. пути с объяснит. прим. см.: «Известия Кавказ. Отд. И. Р. Гвар. Об.», № 4. Нелишне прибавить, однако, что через несколько лет этим же путем (только в обратном направлении), не пройденным Маркозовым, прошел с несколькими ротами в отряд Скобелева под Геок-Тепе Куропаткин.

к Скобелеву более чем сдержанно. «Скобелев,— пишет Полторацкий,— бесспорно, умный и очень образованный человек, природная даровитость и выдающиеся способности которого, конечно, ставят его гораздо выше многих. Он деятелен, предприимчив и очень энергичен, но для достижения своих целей не останавливается ни перед какими средствами. Поэтому неудивительно, что Скобелев, с выдающейся красивой внешностью, а особенно талантливостью и умом, нигде не мог ужиться, перессорившись и восстановив против себя многих, чему явным доказательством служит его скитальческая служба. Сначала кавалергард, потом гродненский гусар, академик, строевой и штабной офицер, он переходил из одного военного округа в другой, нигде не удовлетворяя себя, но и наживая массу врагов. Николаевская военная академия, признав блистательные (?) его успехи в науках, вместе с тем пять лет тормозила перевод его в Генеральный Штаб, и все это из-за его строптивости и безграничной предприимчивости к удовлетворению страстей своих. С подобной настойчивостью он, вероятно, добьется очень многого... Ненасытная натура его начинает снова (после получения Георгиевского креста) работать, и он для удовлетворения чудовищного честолюбия лбом пробьет стену, чтобы изобрести путь к дальнейшему ходу своей карьеры».

ЗАВОЕВАНИЕ КОКАНДА

После Хивинского похода многие из его участников вернулись в Европейскую Россию. На некоторое время приехал в Петербург и ген. Кауфман. Ему пришлось кое с кем говорить о Скобелеве, и в его отзывах уже было заметно теперь то теплое чувство, которое сквозит у хороших начальников к своим талантливым подчиненным. Ген. Кауфман не был завистником и умел распознавать военные таланты. Когда его просили об одном офицере, который будет «почище вашего Скобелева», Кауфман вспыхнул и после резкого ответа добавил: «А что мой Скобелев себя вам покажет — за это я ручаюсь». Кауфман учитывал в Скобелеве не только храброго офицера — в колониальных войсках храбростью никого не удивишь, — он видел в нем, кроме того, широкообразованного военного. Именно такие офицеры и нужны были на окраинах, где требовалось не только

личное мужество, но и умение и желание ориентироваться в местных условиях. Кауфман достаточно присмотрелся к Скобелеву и дал свое согласие на приезд его в Среднюю Азию в третий раз.

«В мае 1875 г.,— пишет Скобелев в своей автобиографии*,— я прибыл в Ташкент, в распоряжение ген.-ад. Кауфмана, в чине полковника и флигель-адъютанта. Возвращение в Туркестанский край после неприятностей в 1870 г., вынудивших меня два раза драться на дуэли, не могло быть названо ни легким, ни приятным. Боевое братство под стенами Хивы войск 3-х округов, можно было предполагать, должно было ослабить присущую туркестанскому военному округу зависть и вражду ко всему прибывающему в край, в особенности в таком положении, в каком был я, но на деле все оставалось по-старому... Действительно, только одна надежда на выстрел могла побуждать терпеливо выносить все и служить в таком вертепе, каким был Ташкент в 1875 году».

В политическом отношении в крае было тихо: и Бухара, и Хива были замирены, соседнее Кокандское ханство было тоже спокойно, но это спокойствие было перед бурей. «Ханство,— пишет Скобелев,— стонало под непомерным гнетом свирепого Худояр-Хана, и русская администрация на него полагалась. Чрезвычайно интересно и поучительно это предисловие к кровопролитной кокандской войне и в смысле политическом и в смысле административном. Оно доказывает всю нашу беспомощность и близорукость, всю ежеминутную опасность для нашего владычества, пока мы в Средней Азии будем продолжать там держать худшие элементы нашей бесчисленной гражданской и военной бюрократии и не будем стремиться рядом экономических и воспитательных преобразований создать из туземцев надежный и преданный оплот. Возрастающий ропот народонаселения на правительство Худояр-хана не мог, конечно, не обратить внимания на себя туркестанского ген.-губернатора. Тотчас после прибытия из Петербурга, после весьма продолжительного пребывания вне края, ген.-ад. Кауфман обратился к Худояр-хану письменно с советами, в которых выражалась необходимость более справедливого отношения хана к своему народу, причем даже намекалось, что волнения в Коканде могут дурно отразиться

* См.: Маслов. Завоевание Ахал-Теке. 2 изд. Приложение.

на спокойствии русского Туркестана. Но что, конечно, не приходило тогда в голову ни ген. Кауфману, никому из них, что в нашей собственной Сырдарьинской области народонаселение было задавлено поборами не менее, чем в соседнем ханстве, что сотни семейств хищнически стогнялись с родной земли самим правителем канцелярии туркестанского ген.-губернатора (С-м, ныне преданным суду), что уездные начальники как П., Г., Н-е, пользуясь правом административной ссылки, уже довели народ до отчаяния, что безобразия дошли до того, что постановлением мусульманского совета старшин в городе Ходженте собрано 24.000 рублей сер., якобы на устройство бала в честь русских дам... и что в пределах Сырдарьинской области уже образовался обширный тайный заговор с целью ниспровержения русской власти, которую народ обвинял в хищничестве и неправде».

Кокандский хан относился к России вполне корректно и даже покорно. Возможно, что это русофильство независимого государства при деспотическом характере хана сильно способствовало внутренним неурядицам в стране. Неурядицы эти происходили от острой вражды одной части населения — жителей городов и селений к другой — кочевникам, расселившимся по горным долинам и склонам гор, где они кочевали. Кочевники — кара-киргизы и кипчаки — ханскую власть признавали лишь номинально и рады были каждому замешательству. В 1873 г. Худояру уже пришлось раз спасаться из своего ханства в Ташкент и, таким образом, свою личную власть хана сразу ставить под покровительство России, оставаясь номинально независимым. Нарастание внутреннего брожения в ханстве заставило ген. Кауфмана насторожиться. В это время Скобелев, по его словам, «томимый жаждой деятельности, отчаяваясь на скорое начало военных действий, решил предложить ген.-губернатору двинуться в Кашгар, через все ханство кокандское и представить ему военно-статистическое описание Ферганы и Кашгара». Сначала Кауфман на это не соглашался, но в это время родной племянник Худояр-хана Абдул-Керим почти на границе русско-кокандских владений поднял бунт и, разбитый ханскими войсками, бежал в русские пределы, где и был схвачен. Кауфман, стремясь сохранить с Худояром дружественные отношения, снесся с Петербургом, решил выдать Абдул-Керима хану. Этим случаем и воспользо-

вались, чтобы вновь посоветовать хану изменить свои отношения к народу, а также доставить нам возможность изучить на месте политическое положение в ханстве. Для этого решено было послать в Коканд нечто вроде посольства, во главе которого Кауфман поставил чиновника по дипломатической части Вейнберга, свободно говорившего на туземных наречиях. Но вместе с этим Кауфман принял и мысль Скобелева обследовать доступы в Кашгар через Алтайский Тянь-Шань и попутно ознакомиться с кашгарскими делами, тем более что Кашгарский эмир был под влиянием английских эмиссаров. Под предлогом урегулирования границ с Кашгаром имелось в виду исследовать не только внутреннее положение страны, но и определить ее военную силу и боеспособность. Ввиду заинтересованности Англии в этих делах миссия эта была довольно щекотливой и требовала значительного дипломатического такта. Очевидно, что подобная задача могла быть поручена только человеку серьезному, с положительными данными, отнюдь не легкомысленному, и то, что Кауфман выбрал для этого полк. Скобелева, бесспорно, говорит о том, что Кауфман был о нем в это время очень высокого мнения, дав ему такое ответственное поручение. Скобелев должен был сначала отправиться в Коканд вместе с Вейнбергом. Попутно он должен был сделать необходимые съемки и в Коканде, а потом уже отправиться в качестве специального посланника к Кашгарскому эмиру Якуб-беку-Бадаулету. Свиту обоих послов составили 22 казака и шесть джигитов.

11 июля 1875 года послы выехали в Коканд и уже 13-го были в столице, но дальше Скобелеву ехать не пришлось ввиду восстания против хана, которое охватило всю страну. О поездке по стране не могло быть и речи. Объезжая улицы Коканда, Скобелев наблюдал настроение жителей, особенно в публичных местах, на площадях, на базарах и т. д., и в этом отношении при определении признаков враждебного настроения толпы у него выработался ряд приемов, которые он впоследствии даже ввел в инструкцию начальникам частей. Враждебное настроение толпы, подогреваемое диванами и дервишами, которые на перекрестках открыто проповедовали ненависть к русским, делало положение небольшой группы русских очень угрожающим и требовало от Скобелева огромного самообладания и такта.

Положение осложнилось еще и тем, что Худояр-хан твердо заявил о своем желании бежать вместе с миссией на русскую границу. Таким образом, русскому отряду пришлось в гражданской войне в Коканде встать на сторону хана. Когда мятежники уже подступили к самому городу, хан выступил из своей столицы. Скобелеву с своим маленьким отрядом пришлось взять под свое покровительство и русских торговцев, находившихся в городе, и пройти центральной частью города на соединение с ханом. Горсть русских протискивалась среди возбужденной, местами бушующей толпы, вооруженной камнями и палками, державшей себя крайне вызывающе. Один кокандец ударил хлыстом уральца, и Скобелеву стоило большого усилия успокоить казака, взявшегося было за шашку*. Подавляя в себе волнение, Скобелев медленно ехал на своем красивом коне и, возможно, импонировал толпе своей внушительной фигурой. Соединившись с войсками хана, Скобелев заметил среди них враждебное отношение, были случаи даже покушения, и, по предложению хана, взял два легких орудия на случай личной защиты отряда. Рассказывают, что Вейнберг очень просил Скобелева не горячиться и не поддаваться никакой провокации. Это было особенно трудно сделать в самый последний момент, когда часть ханских войск, изменив хану, открыто стала на сторону мятежников, и Скобелев уже скомандовал стать в ружье, ожидая нападения. Стиснутый в лабиринт улиц огромного кишлака, отряд, благодаря белому сибирскому казаку Евграфу, долго проживавшему в Коканде, с большим трудом вышел из тяжелого положения. Люди пробыли без пищи 36 часов, из них 6 шли с непрерывным боем. Убитых было двое.

24 июля миссия вместе с ханом прибыла в Ходжент. Худояр, измученный волнениями, уклонялся от всяких приемов и через два дня прислал ген.-губернатору письмо, в котором, отдаваясь под покровительство России, писал: «Дорогие мои гости г. Вейнберг и полк. Скобелев... выехали вместе со мной и, несмотря на несколько раз повторявшиеся преследования бунтовщиков и перестрелку, не отставали от меня. На подобный поступок способны лишь русские. Когда мои собственные

* Это отступление очень красочно описано Мирзо-Хакимом, кокандским посланником в Ташкенте, присоединившимся в Коканде к русскому посольству.— См.: Маслов. Назв. соч. Приложение.

приближенные изменяли и бежали, они стойко следовали за мной и, не будь их, может быть, я не добрался бы до русской границы. Офицеров* этих прислала мне судьба — никогда не забуду услугу, оказанную мне русскими людьми».

За этот кокандский эпизод Скобелев по представлению ген. Кауфмана был награжден «за геройское, достойное русского имени поведение» золотой саблей с надписью: «за храбрость». По поводу этой награды было тоже немало враждебных комментариев — здесь, как и при получении первого Георгия, была «храбрость» т. ск. дипломатического свойства, не в открытом бою, тем не менее задача, которая стояла перед Скобелевым, была очень серьезная, и то, как он с ней справился, показывает на уменье рассчитывать, наблюдать и действовать сообразно обстановке с наибольшим успехом. Эти качества, столь необходимые в администраторе, были Кауфманом в Скобелеве подмечены, и он дал им применение, а последующие военные эпизоды прибавили новые, уже чисто боевые, лавры в бурной карьере Скобелева.

Едва успели кауфманские послы вернуться в Ташкент, как пришло донесение, что кокандцы вторглись в наши пределы, бросились на пути сообщения, жгли станции, резали проезжающих и т. д. Кауфман действовал энергично. В ту же ночь было велено ген. Головачеву (исполнителю жестокого приказа Кауфмана в 1873 г. при подавлении иомудов) выступить с небольшим отрядом навстречу врагу. К штабу этого передового отряда и был прикомандирован Скобелев. В кокандском походе Скобелев действует как кавалерист-разведчик. С тремя сотнями казаков и ракетным взводом он в течение двух дней обошел северо-восточную часть Кураминского уезда, сделав около 175 верст, из них 50 по очень трудной горной дороге, причем ни одна лошадь не пострадала. Невольно припоминаются теоретические рассуждения Скобелева первых лет службы, когда он, обнаружив плохую подготовку кавалерийских войск, учитывал важность кавалерии в военных действиях того времени. Многие из того, что он тогда говорил, особенно касательно сохранения конского состава, он применял на деле теперь, в условиях степной войны, где кавалерия играет существенную роль. «Образование

* При Скобелеве состоял подп. Руднев.

рекогносцировочных отрядов служило как бы экзаменом для их начальников, и действия Скобелева заслужили ему назначение командовать кавалерией отряда». Хотя под Махромом главная задача и тяжесть штурма пала на пехоту, но и кавалерия, которою командовал Скобелев, сыграла значительную роль прежде всего своим конно-артиллерийским дивизионом, помогавшим подготовке общей атаки, а главным образом — при отступлении значительной массы (до 6 тысяч) неприятеля, который был атакован «стремительно без выстрела», а затем был преследуем более десяти верст. В условиях среднеазиатской войны преследование разбитого неприятеля имело огромное значение и было делом нелегким вследствие высоких качеств местной конницы.

Со взятием Махрома дорога в Коканд была открыта и после набега Скобелева на Мин-Тюбе, когда казаки сделали в течение десяти часов около 70 верст с небольшими промежутками для отдыха, были очищены пути к Намангану, который и сделался аванпостом русского движения к Кашгару. Начальником русского управления в Намангане и командующим войсками Кауфман назначил Скобелева, получившего за бой под Махромом генерал-майора с зачислением в свиту. Назначение тридцатидвухлетнего генерала на ответственный административный пост при наличии бесконечного количества кандидатов, наводнявших Ташкент, говорило о большой прозорливости ген. Кауфмана,— ему нужен был человек смелый, наблюдательный, верно оценивающий события. Кроме того, Кауфману нужен был сотрудник, разделяющий его точку зрения на систему управления края. Она была проста, эта программа, все зависело от метода управления и честности правителей. «Русский закон требует,— сказал Кауфман представителям туземцев,— чтобы каждый жил мирно, по совести, молился, работал и богател. Пусть каждый из вас живет так, как того требует закон, и молится Богу так, как его научили отцы. Бог един, и русские, и мусульмане — все молятся единому Богу: и русский закон не насилует ничьей совести, не требует, чтобы Богу молились так, а не иначе. Он только требует доброй, справедливой жизни»*.

* Толбухов. «Скобелев в Туркестане.— И. В.». 1916. № 10, 11 и 12.

Но прежде чем приступить к административной задаче управления краем, предстояло его еще завоевать, потому что кипчакское восстание в Андижане все разрасталось. В этой экспедиции, под начальством ген. Троицкого, Скобелев уже проявлял свои будущие черты полководца: он произвел смелые, характерные для него разведки, определяя направления и условия штурма, сам водил войска в атаку, не теряя хладнокровия в ожесточенных боях на маленьких и кривых улочках, в саклях, во дворах, наконец, под Андижаном Скобелев в ночном набеге разгромил огромный лагерь, за что и получил Георгия 3 ст. Эти два месяца восстания были для Скобелева едва ли не самым бурным временем — это были сплошные бои. В них он добился больших успехов, усвоив быстроту действий для решительных ударов, которую вскоре применил при подавлении новых кокандских волнений.

Ген. Кауфману было ясно, что Коканд — очень опасное ханство и является постоянной угрозой русскому влиянию в Туркестане. Уезжая в Петербург для уяснения дипломатических вопросов в этом направлении, он оставил в распоряжении начальника вновь образованного Наманганского отдела ген. Скобелева довольно значительный отряд — свыше 16 рот и 8 сотен, — составлявший около 10% всех войск Туркестанского края вообще. Вероятно, Скобелеву были преподаны и некоторые инструкции на случай ближайших событий, во всяком случае, возможность занятия Коканда была Кауфманом предусмотрена.

Положение на границах с Кокандом было очень тревожно. Самый новый военно-административный центр Намангана оказался в центре восстания и, в то время как Скобелев был в нескольких верстах от Намангана, в городе вспыхнуло возмущение и город оказался отрезанной, осажденной крепостью. Восставшие кипчаки сгруппировались вокруг Абдуррахмана-Автобачи (туркестанского Шамиля, как его иногда называют), а затем кара-киргиза Пулат-бека. Условия войны в Туркестане выработали тактику своеобразную. Здесь трудно было оперировать большими войсковыми массами, а потому за боевую единицу были приняты даже не батальоны, а роты, затем имели огромное значение быстрота и натиск и действие сомкнутым строем против бурного и смелого, но недостаточно выдержанного не-

приятеля, который обладал в высокой степени пассивной храбростью,— смертельный огонь он выдерживал храбро, умирал, а не сдавался, но смелого удара выдержать не мог. Скобелев, по получении сведений о скоплении неприятеля, действовал стремительно. Весь ноябрь и декабрь 1875 г. прошел в непрерывных боях, причем Скобелев, учитывая азиатскую психологию, действовал террористически — кишлаки восставших, по которым он проходил, нередко сжигались. Эта мера, нечасто применяемая в Туркестане вообще, ему всегда ставилась в укор. Нужно иметь в виду, что здесь Скобелев имел дело не с регулярными войсками, но им руководили и определенные соображения. В беседе с Марвином Скобелев высказался, что «предпочитает бунт целой области казни одного туземца. Если вы их победите силою в бою и нанесете жестокий удар — они этому подчинятся, как воле Божией. Моя система — сразу сильно ударить и наносить удар за ударом, пока не сломлено сопротивление. Но с наступлением этого момента вводится строжайшая дисциплина, кровь перестает литься — с побежденными обходятся мягко и гуманно». По мнению Скобелева, казнь порождает в туземцах ненависть, и он прибегал к ней в исключительных случаях, обставляя ее торжественно.

Уже по отъезде Кауфмана Скобелев 11 января 1876 года двинулся в Андижан, который был взят после упорного сопротивления, и через две недели Абдурахман-Автобачи, после личного свидания со Скобелевым, сдался ему на слово, что побежденного «не пустят на несчастный путь». Оставались несломленные вожди вроде Пулат-бека, ликвидация которых уже была на очереди. Сдачей Автобачи была решена и судьба Коканда. В стране образовалась сильная и влиятельная партия, тянувшая к подданству России. 5 февраля 1876 г. ген. Колпаковский, заместитель Кауфмана, получил телеграмму о присоединении Коканда к России с переименованием в Ферганскую область, военным губернатором которой назначался ген. Скобелев. В результате должно было быть немедленное занятие Коканда. Строго говоря, Кауфман это предвидел и, уезжая, дал подробные инструкции в Ташкент, наметив воинские части для занятия страны. По получении телеграммы Кауфмана в Ташкенте штабные надели походную форму, показываясь в ней даже в театре, но с наступлением, видимо, не спешили. А Ско-

белев, получивши своевременно уведомление из Петербурга, немедленно образовал два отряда и 8 февраля занял Коканд. Бывший хан, захваченный врасплох, не мог оказать никакого сопротивления, и Скобелев вошел в столицу ханства, заняв цитадель, установив гражданские власти и приняв меры к предупреждению всякого рода возможностей, о чем и телеграфировал ген. Колпакову. Впечатление от этого донесения Скобелева в Ташкенте было ошеломляющее. Очевидцы рассказывают, что многие рассчитывали на более длительную экспедицию и мечтали о лаврах, связанных с легкими усилиями. Кричали о превышении власти, о дерзком самовольстве, раздавались даже голоса, что подобное преступление карается смертной казнью и т. д. Но официально можно было только принять к сведению рапорт военного губернатора, занявшего край, согласно директивам свыше, во исполнение своих обязанностей. Только 8 февраля отряд из Ташкента выступил в Коканд, встреченный с большой помпой,— Скобелев любил в Азии устраивать подобного рода зрелища, поражавшие воображения туземцев. По возвращении из Петербурга Кауфману все-таки была подана жалоба за своевольное занятие Коканда,— это была попытка дискредитировать Скобелева, но Кауфман открыто встал на его сторону и в письме к ген. Троицкому раскрыл карты. «Скобелев одновременно с вами,— писал Кауфман,— получил мою телеграмму и, как знакомый с положением дел в крае, тотчас же поторопился исполнить план сосредоточения войск под Кокандом, предполагая, вероятно, что и вы не станете терять времени. Я был прав, посылая телеграмму в Ташкент и к Скобелеву: этим я обеспечивал успех дела. Если бы вы, придя десятью днями позже, встретили сопротивление в Коканде, всем пришлось бы вести осаду, терять людей и проч., и Бог знает, чем это кончилось, а Скобелев понял, в чем дело, занял Коканд без потери одного человека и сделал хорошо. Ясно, что вы опоздали, а не он упредил вас»,— писал Кауфман, и на вопрос правителя канцелярии ген. Галузина, «не рискованно ли было назначать на ответственный пост слишком ретивого кавалериста», ответил: «Сделаем опыт, авось этот кавалерист нас не осрамит». Впрочем, этого Галузина сам Скобелев обезоружил, обратившись не без иронии за помощью к его административному опыту.

С этого времени Кауфман не только примирился со Скобелевым, но и явился его горячим защитником повсюду. В нем Скобелев нашел того начальника, пройдя школу которого, он нашел себя. Приехав из Кавказа с репутацией повесы, Скобелев под руководством Кауфмана сделался серьезным человеком. Проф. Витмер рассказывает, что на его вопрос: «Пьет ли Скобелев», — ген. Троцкий ответил: «Нет», — и объяснил почему — «Кауфман терпеть не может пьяниц, а Скобелев, человек с характером, это учел и бросил пить».

В ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ровно год губернаторствовал Скобелев в Ферганской области. Молодой, малоопытный по управлению генерал за такой короткий срок едва ли мог выдвинуться настолько, чтобы составить себе имя. Кроме того, Скобелев был связан общей политикой Кауфмана, которую и должен был принять за руководящую. Наши материалы за этот период, однако, указывают на большие личные способности Скобелева в этом отношении, на умение быстро схватывать обстановку и учитывать не только близкие возможности текущего момента, но и заглядывать вперед, в широкие исторические дали. Необходимо отметить, что административный такт Скобелева был связан с широким пониманием общественных задач, со стремлением насаждения в населении чувства законности и подбора честной администрации края.

Устройство Ферганской области определялось общим политическим курсом, применяемым в крае. Необходимо было подбирать людей, кадры сотрудников. В этом отношении Скобелев действовал как администратор новой школы, уже приобщившийся к новым веяниям эпохи. На новые места можно было набирать сколько угодно чиновников, жаждавших или сделать карьеру, или нажиться — о злоупотреблениях «господ ташкентцев» в то время писалось немало. Скобелев подбирал себе чиновников, не из залетных птиц, а из тех, главным образом, которые имели намерение пустить в крае более или менее глубокие корни. Русская колония была немногочисленна, жили все на виду друг у друга. По натуре общительный и простой, Скобелев был всем до-

ступен. Дом его был гостеприимен — большие личные средства давали ему возможность жить весьма комфортно и широко*, за завтраком обычно бывало человек пятнадцать. Учитывая натуру азиатов и дорожа широкой народной репутацией, Скобелев вывесил около своего дома, а затем на площадях и базарах, объявления о приеме просителей каждый день. Таким образом, каждый в крае знал, что он может лично, без особого труда, подать жалобу губернатору. Надо думать, что, поднимая престиж русской власти, Скобелев создавал, не без некоторой рекламы, которую вообще он любил, себе репутацию не только грозного воина, но и справедливого правителя. Некоторые обычаи в крае сами давали повод к злоупотреблениям. К таким относился, напр., «достархан» — местный старый обычай даров населения хану при его выезде в местность, а затем и всякому чиновнику. Этот патриархальный обычай иногда очень дорого обходился населению — простой казак, вестовой, располагаясь в каком-нибудь селении на отдых, тоже требовал себе достархан. В Андижане, напр., Скобелеву преподнесли не только барана, кишмиш и проч., но и ковры, меха и т. д. Скобелев приказал все это продать с аукциона и на вырученные деньги — три тысячи рублей — купил землю, провел в нее воду и построил киш-

* Одно время Скобелев почувствовал себя настолько прочно привязанным к Ферганской области, что думал было о создании вновь своего семейного угла. 18 сент. 1875 г. он пишет дяде, А. Адлербергу: «Совершенно был бы счастлив и еще более уверен в себе, если бы моя жена прнехала ко мне, на зиму, немедленно. Теперь, в октябре месяце, лучшее время для переезда из России в здешний край. Г. Жирарде мог бы, как человек, бывавший в Ташкенте, сопровождать ее до самого Намангана. Уже в Оренбурге Марья Николаевна встретила бы от меня посланных людей, и все удобства ей возможно спокойного переезда к месту назначения. Не откажи, добрый дядя, сказать все это тете Кате, которая питает большую симпатию к моей жене; откажи ей также добавить, что я инкого насловать не хочу и не буду — сумею обойтись и один и, что, конечно, пока я имею счастье носить мундир, служба и по возможности боевая служба, будет всегда безусловно руководить моими действиями. Из этого можно, казалось бы, сделать одно правильное заключение — быть или не быть для меня семейному счастью — не в моих руках. Жить моей жизнью, сознаюсь, для женщины не лестно, но я честно предупреждал, что так будет, и до свадьбы, а теперь, конечно, не изменяю. Особенно важно для Марьи Николаевны долго не колебаться; если не выехать из России в октябре с расчетом быть в Ташкенте к концу ноября, то и думать нечего до будущей весны ехать в Туркестанский край». Арх. Б.-Б.

лак, названный именем Кауфмана, куда было поселено несколько семей туземцев, наиболее пострадавших от Андижанского погрома. Обычно во время объездов Скобелев брал из достархана несколько веточек винограда, платя за него втридорога.

Скобелев обладал огромной работоспособностью. Вставал рано, уже в семь часов, напившись крепкого, как кофе, чаю, принимал начальника штаба и вообще должностных лиц и просителей. По вечерам работал нередко до глубокой ночи. На нездоровье не жаловался. Будучи малознакомым с канцелярской частью, видимо, очень смущался; иногда даже, малодушно уклоняясь от докладов или прерывая их, вскакивал и уезжал верхом на четверть часа, но потом привык, и когда оставлял край, то не было бумаги без его резолюции. Во время своего кратковременного управления область свою объехал несколько раз. Переходы верхом он вообще делал поразительные. «30 верст приятно, 60 — неприятно, 90 — тяжело, 120 верст — крайность», — говорил он. Приемы для форсированной езды рекомендовал следующие: «На рассвете выезжать, легко закусив, но водки и вина не пить; приехав на станцию, тотчас же садиться на свежую лошадь и скакать немедленно далее, так как всякий отдых разламывает; всю дорогу ничего не есть». Соблюдая эти правила, Скобелев по приезде на ночлег чувствовал себя настолько свежим, что мог еще работать, принимать доклады и писать*.

В конце 1876 года Кауфман посетил Ферганскую область. Скобелев любил помпу и приемы генерал-губернатору устраивал блестящие, по-азиатски (впоследствии говорили даже о потемкинских деревнях!), но Кауфман был стреляный воробей и, в частности, всегда настороженный в отношении Скобелева, и его отзыв был сдержан, но очень серьезен. «Общее впечатление, — писал он ген. Троцкому, — самое хорошее. Михаил Дмитриевич занимается серьезно своим делом, вникает во все, учится и трудится. Народ подает «арсы» (просьбы) с полным доверием и, кажется, доволен своим теперешним положением... Можно быть спокойным за Фергану». По переписке Скобелева с Кауфманом можно проследить, на что обращено было преимущественное

* Маслов. Завоевание Ахал-Теке. Изд. 2, прил.

внимание первого ферганского губернатора. Огромное, доминирующее место в ней занимают вопросы гигиены. Коканд оказался городом с нездоровой местностью, сырой, лихорадочной. В госпитале по стенам трава выросла и т. д. Необходимо было подыскать местность, более здоровую для русского центрального поселения. Такой уголок был найден в так наз. Новом Маргелане (который впоследствии и был переименован в «Скобелев»). Письма наполнены мелкими хозяйственными вопросами,— то о печах идет речь, то о выпечке хлеба; большое место отведено появлению зобатости у русского населения, принявшей одно время почти эпидемический характер.

Разумеется, много внимания уделяется Скобелевым войскам: они не только его любимая сфера, но и действительная опора русского влияния в крае. Помимо чисто воинских упражнений, применительно к местным условиям ведения войны, было обращено особое внимание на грамотность. Некоторые офицеры явились и учителями, в каждой воинской части были заведены чайные, а при них библиотеки. Скобелев стремился сделать солдатскую жизнь в далеком крае насколько возможно легкой и привлекательной. Устраивались частые праздники с состязаниями в стрельбе, гимнастике, скачках, составлялись планы спектаклей и т. д. Среди мер, способствовавших обрусению края и его культивированию, в Туркестанском крае практиковалась военная колонизация. «Среди служебных привилегий было разрешено за едущими туда на службу солдатами следовать их семьям. Семьям этим отводились помещения в слободках, и на каждую семью выдавалось пособие для обзаведения, чем, при баснословной в то время дешевизне жизни, достигалось удобство и довольство. Эти семейные очаги были чрезвычайно благодетельны, предохраняя нравственность солдат и предупреждая всегда возможные столкновения с мусульманским населением, строго оберегающим свою замкнутую жизнь. Это было тем более важно, что в новой области малейшее недоразумение могло вызвать фанатизм, и Скобелев с особенной заботой устраивал молодые хозяйства, помогая им даже из своих личных средств»*.

* Толбухов. Скобелев в Туркестане.— «Ист. В.», 1916. Стр. 10—12.

Многие солдаты оставались в крае и после службы, усиливая таким образом русское влияние на окраине. Скобелев особенно подчеркивал подобное внедрение русского элемента в инородческие массы и, намечая план пограничных укреплений на Кашгарской границе, предлагал в некоторых пунктах устроить казачьи станицы. Он допускал опасность, что как бы «вновь переселяемое христианское население, в известный период времени не подчинилось мусульманской окружающей среде» (что, между прочим, оказалось в Сибири, вследствие весьма слабой реальной связи казаков с русской культурой), но, указывает Скобелев: «Гребенские казаки 400 лет боролись с мусульманским влиянием довольно успешно. И уральские казаки, по твердости своих религиозных убеждений и вследствие вообще неподвижности, представляют тот надежный русский элемент, могущий с полным успехом послужить ядром для образования будущего Ферганского казачьего войска. К тому же станицы эти не будут изолированы: близость войск, беспрестанное сношение с русскою властью и, наконец, сознание безусловного превосходства, которое теперь, благодаря ряду побед, сделалось достоянием всякого русского человека». Можно отметить, что процесс ослабления русских бытовых связей русского населения, имевший место, напр., в Сибири, теперь, во второй половине XIX в., едва ли представлял опасность, и скобелевские аргументы в этом отношении были очень сильны.

Стремясь к установлению в крае русского влияния, Скобелев, разумеется, очень ревниво оберегал репутацию русской армии, но не был мелочен в поддержании ее престижа. Следующий случай показывает, как Скобелев умел ценить человеческое достоинство в самом низшем из туземцев. Летом 1876 г. в Фергане один «дивана» (странствующий монах, юродивый) на базаре ударил палкой офицера. В только что завоеванном крае этот поступок не мог, конечно, пройти безнаказанным. Диване грозила смертная казнь. Но Скобелеву это казалось совершенно ненужным. Свои соображения он высказал в специальном письме к начальнику гражданской части. «По-моему, дивана диваной и останется. Взыскание, казалось бы, должно соответствовать ничтожности личности... Я видел Бобанова (дивану) — это животное скорее, чем человек». Скобелев пишет, что не остановился бы перед смертной казнью

при уверенности, что «строгая мера послужит к упрочению русских интересов в крае, в данном случае,— пишет он,— боюсь обратного: как бы строгостью чрезмерной не возбудить сочувствие к беспомощному, бессмысленному страдальцу», и он предлагает наказание гораздо меньшее, оговариваясь, что оно должно быть произведено «не столько жестоко, сколько торжественно»*.

Лучшим способом вообще привлечь туземное население к русским Скобелев считал внедрение чувства законности и безопасности жить под русским владычеством. В этом отношении очень интересен эпизод с ханшей Курман-Джан-Датха, «алайской Марфой-Посадницей», пользовавшейся среди кара-киргизов очень большим влиянием. Следуя обычному в колониальной политике *divide et impera*, Скобелев всячески поддерживал эту алайскую царицу во время своей рекогносцировки в Кашгар. Ограбленная своими конкурентами, она довольно легко поддалась русскому влиянию. При встрече с нею Скобелев одарил ее богатыми халатами и золотой кружкой, долго с ней беседовал, советуя повлиять успокоительно на своих сородичей. Изъявившая полную покорность, Курман-Джан получила право свободно жить, где она хочет. Эта политика принесла свои плоды. Сыновья Курман-Джан (из которых один — Абдулла-бек — поднял в это время восстание в алайских горах против русской власти) вскоре сделались ревностными сторонниками России, волостными старшинами и без недоимок собирали кибиточную подать для русского казначейства, да и вообще кара-киргизы Алая оказались самыми мирными русскими подданными.

В своих письмах-рапортах Скобелев всегда уделял много места своим помощникам и подчиненным. Он был из тех начальников, за кем служба не пропадала. Он умел подбирать людей и брать от них все по их способностям, он подмечал различные черты — у одних честолюбие, у других скромность — и в зависимости от этого представлял к наградам, постоянно напоминая о скорейшем утверждении его представлений. Учитывая местные условия, Скобелев и в Коканде очень поощрял службу русскому делу, хлопоча о всевозможных по-

* «Разведчик». 1896. Стр. 305—306.

ощрениях и наградах туземцам... Насколько внимательно относился Скобелев к настроениям и нуждам туземцев и какие требования предъявлял в этом отношении к русской администрации, видно, напр., из следующего приказа. «Областная администрация,— пишет Скобелев,— обязана весьма чутко следить за всякими попытками взбунтовать кипчакское население — этот народ честный, воинственный, способный наделать нам много хлопот в будущем. С ними необходимо обращаться твердо, *но с сердцем* — это должен помнить начальник Андиганского уезда». Вскоре Скобелев подтверждает свою резолюцию и просит «принять ее к руководству, *и не на одной только бумаге*». «Мною высказанное,— добавляет Скобелев,— основано на знании исторических особенностей Ферганы, на понимании характера кипчаков, с которыми я воевал несколько месяцев; повторяю, кипчакский контингент, в случае волнений, самый опасный по своей воинственности и способности, выработанной преданиями, быть *дисциплинированным*. Когда Абдуррахман-Автобачи сдался в Инду-Кишлаке, то он, по моей просьбе, послал приказание всем кипчакским шайкам от Андигана до Шум-Кургана около Махрама остановить свои грабежи и возвратиться в Икс-Су-Арасы, где и разойтись по домам. Приказание вождя было беспрекословно исполнено в 8-дневный срок. С этих пор ни один из влиятельных кипчаков не был замешан в преступной политической агитации. Кипчаков, как всякий честный народ, можно привлечь к себе честным управлением и вниманием к ним в обширном смысле этого слова. Начальник Андиганского уезда недостаточно понимает всю важность кипчакского вопроса»,— настойчиво подчеркивает Скобелев. Таковы были требования его к своим подчиненным, среди которых в те времена царили всевозможные интриги, и Скобелеву приходилось по многу раз производить расследования. Служащих, разделявших его точку зрения по управлению краем, Скобелев в обиду не давал и всячески ценил и поддерживал. Так, напр., за полк. Королькова, который, несмотря на происки «многочисленных врагов», заслуживал доверия «своим светлым взглядом на обязанности службы и также многолетней, хотя и не азиатской, опытностью», Скобелев усиленно ходатайствовал перед Кауфманом, выхлопывая средства для лечения ребенка и поездки семьи за границу.

Целый ряд вопросов, в том числе об установлении будущей южной границы Ферганской области, вызвали необходимость для Скобелева лично осмотреть эти места, ознакомиться с условиями жизни населения в южной горной области туркестанского Тянь-Шаня. Так возникла интереснейшая экспедиция-рекогносцировка Скобелева к Алайскому хребту и границам Памира. Экспедиция приурочивалась к июлю и августу, когда горные пастбища кишели киргизскими кочевьями. В это лето, по слухам, в Алае было раскинуто около 15 тысяч кибиток, следовательно, кочевало не менее 45 тысяч человек. Хотя военных столкновений не предполагалось, но отряд, с которым выступил Скобелев, был довольно значителен — 8 рот, 4 сотни, 3 горных орудия, ракетная батарея и т. д. Экспедиция вступала в малоисследованные области, и Скобелев обставил ее даже научными силами — ее сопровождали несколько специалистов для барометрических наблюдений, сбора естественно-исторических коллекций, для статистических исследований и топографических работ. Экспедиция выступила 15 июля тремя отрядами, которые к началу августа должны были соединиться в нагорной части долины Алая, в урочище Арча-Булак. Сам по себе поход при морозах, на горных высях в 11—15 тысяч футов был очень труден. Вот как описывается переход Гульчинской колонны, в которой находился и сам Скобелев. «Перейдя сравнительно легкие Суфи-Курган и Кызык-Курган, направились к перевалу Аочат, в 12 тысяч фут. высоты. Подступы к нему, незаметно повышаясь, ведут к ущелью Ак-Бугры, где бежит горная речка и живописно раскинулись кусты боярышника, барбариса, группы тополей и арчи. Широкие зеленые луга, как затейливый ковер, усыпаны цветами альпийской флоры: белоснежный эдельвейс, голубой подснежник, разных колеров тюльпаны, лиловые генианы, красные маки... Теплый воздух напоен ароматами, солнце блестит и греет, и все веселит и радует. Но с подходом к подошве картина быстро меняется: исчезают луга и рощи; мягкая почва заменяется каменистым грунтом, и вдруг вырастает кажущийся почти отвесным крутой, скалистый подъем. Высланы саперы исправлять опасные места. За ними следует кавалерия, которой приходится часто спешиваться: лоша-

ди спотыкаются о крупный булыжник, рискуя сорваться в обрывистые скаты; медленно идет пехота; с вьюками большие затруднения... Между тем воздух свежеет, солнце перестает греть, поднимается холодный ветер, и температура падает до 3° мороза. Отдается приказ надеть теплые полушубки, заготовленные начальником. С передышками и остановками отряд преодолевает тягостный путь, где кругом видны только серые камни да кости павших животных. Так идут пять-шесть часов. Но лишь только поднялись на вершину — мигом исчезла усталость, сбегали унылые, серые впечатления ввиду открывшейся панорамы: с северо-востока на юго-запад раскинулось громадное луговое пространство, прорезанное вдоль и поперек горными ручьями; они сбегают со всех сторон и, переплетаясь прихотливой сетью, несутся к широкому руслу Кызыл-Су. А с юга эту цветущую долину окаймляет непрерывная цепь вечноснеговых гор Заалайского хребта с его отдельными грандиозными пиками. На восточной стороне этой снежной 140-верстной стены выделяется группа Курунды с ее несколькими головами; на западной — конусом поднимается Кизил-Арт, а еще западнее — подобно гигантскому шатру раскинулся своей 23-тысячной высотой пик Кауфмана. Множество групп гор теснятся в живописных очертаниях и общей громадой прикрывают женственные Памиры. Солнце играет яркими отливами изумруда и опала на ледяных вершинах этих исполинов, застывших в их великолепном и гордом величии. Картина так великолепна, что, начиная со Скобелева, все воины сами как бы застыли в молчаливом восхищении»*.

Этот двухнедельный переход через огромный горный массив военной экспедиции с разного рода оружием, вьючными животными и т. д. дал Скобелеву отличный опыт, который он использовал через год при переходе через Балканы. По своему обыкновению Скобелев очень внимательно отнесся к материальной части похода. Из письма к Кауфману видно, какие средства и в каких размерах принимались Скобелевым для снабжения своего отряда. Так как к 9-му августа во всех колоннах Алайского отряда состояло провианта, сухарей и проч. всего на 11 дней, то для снабжения отряда еще на 12 дней Скобелевым были сделаны следующие распоряжения:

* Толбухов. Скобелев в Туркестане.— «И. В.», 1916. № 12.

«В Гульчу мною отправлено,— пишет Скобелев,— 298 вьючных лошадей для доставления к отряду из Гульчинского продовольственного магазина: 550 пудов сахарей, 100 четв. круп, 7 пуд. чаю, 22 пуда сахару и 1000 пудов ячменя. Так как для поднятия названных тяжестей требовалось 355 лошадей (полагая на лошадь вьюк в 6 пудов), то в помощь вышеуказанному числу вьючных лошадей мною сделано распоряжение об употреблении для перевозки сих запасов всех строевых и вьючных лошадей от 1¹/₂ сотен, назначенных для конвоирования транспорта». С той точностью и аккуратностью, которые всегда отличали Скобелева, он отмечал самые мелкие подробности географии местности, намечая наиболее удобный путь из Ферганской области к Кашгару,— такой путь им и был установлен и спроектирован. Встречая на своем пути отряды чужой страны, он был с ними очень корректен, точно выполняя все требования и присматриваясь к вооружению и состоянию войск вообще. «Люди все сидят на добрых конях,— пишет он,— которые содержатся в ячменном теле, что служит доказательством, что сипаи в пограничных постах получают исправное содержание». Вооружение у передового отряда довольно разнообразное.

Свои мысли о возможной границе здесь Скобелев развивает на основании соображений, которые основываются на отношениях между жителями гор и долин. «Вопрос этот сводится к следующему,— пишет Скобелев,— на стороне горных жителей большее развитие нравственной и мускульной силы, что делает их сравнительно воинственнее; племенная разделенность, способствуя беспрестанным междоусобным распрям, порождает в них боевые наклонности: весьма часто горный народец, бедный и по числу и по средствам, лишенный воинской организации, с успехом делался вечно беспокойным, иногда страшным соперником для несравненно более могущественных обитателей смежных долин. В характере горных жителей преимущественно действовать набегами с целью грабежа, покидая только на время свои неприступные твердыни, спускаясь, подобно бурному потоку, на богатые оседлые центры долин. Их привычка к личной самобытности, недостаток единства и дисциплины делают их, впрочем, не способными к сколько-нибудь правильному образу ведения войны. Положение жителей долины совершенно

противоположное; народонаселение их многочисленно, они не затрудняются путями сообщения; правительство у них обыкновенно организовано и сильно, оно редко страдает, сравнительно, недостатком средств войны, которые ведутся жителями долин, бывают значительны, а следовательно, и армии их бывают сильны.

Из вышесказанного истекает то положение, которое, как показывает история, всегда существовало между жителями долин и их горными соседями: если пограничные долины по преимуществу подвержены внезапным набегам и разорению, то, напротив того, значительные экспедиции всегда предпринимаются из долины в горы, и можно с уверенностью сказать, что вред для жителей гор от подобных экспедиций всегда превосходит вред, который они своими набегам наносят жителям долин; экспедиционные колонны проникают вовнутрь гор, опустошая все; набег же на долину редко предпринимаются далее двух дней конного хода от горной полосы. Вообще горные жители, за немногими исключениями, вызванными целым рядом племенных и исторических особенностей, в конце концов *всегда* подчиняются власти, существующей в одной из смежных с ними долин, разумеется, сильнейшей или более искусной,— так было во все времена и на наших глазах на Кавказе и в Алжирии. Наконец, тот же принцип, совсем недавно, снова освещен поучительным историческим примером — поражение Дона Карлоса и поражение Баскских провинций. Можно смело сказать, что горные жители не способны к продолжительной самобытности».

Исходя из этих теоретических и исторических соображений, Скобелев не сомневается, что ферганским Тянь-Шанем завладеет китайская власть, «не стесняясь водораздельными линиями», если только русские не захватят его прочно, пользуясь, между прочим, племенным тяготением туземцев к Кокандскому ханству. Скобелев довольно обстоятельно, поскольку позволили ему данные экспедиции, установил целую скалу родов и племен, кочующих в горах. Необходимость занять горные перевалы, установить через них пограничную линию Скобелев мотивирует кроме соображений торговых и административных и соображениями чисто военного и оборонительного свойства. Кашгар — государство мусульманское, очень воинственное, с фанатическим проявлением мусульманского духа. Необходимо владеть

горным массивом, чтобы предупредить и обезвредить вовремя возможные набеги горных жителей. «Вдумываясь во входящие и исходящие углы этого неприступного, Богом данного нам снегового бруствера,— говорит Скобелев.— Как возможно будет дебушировать из-за него во фланг и даже тыл противника; как трудно будет неприятелю обезопасить свои сообщения». Словом, по мнению Скобелева, «признав весь Ферганский Тянь-Шань нашим, мы: 1) обеспечиваем спокойствие в горах и увеличиваем государственный доход; 2) владеем «les issnes des frontiéres»; 3) во всякую данную минуту можем дебушировать во фланг и на сообщения противника; 4) все выгоды, сопряженные с внезапностью действий,— инициатива в наших руках; 5) вынуждаем неприятеля несоизмеренно дробить наши силы или отойти к центру»*. Но не только местных кашгарских ханов или правителей китайского Туркестана имел в виду здесь Скобелев как противников России. Он касается «вопроса будущего, *быть может, не нашего поколения*» (курс. мой), «но который не может не быть признан венцом наших усилий в среднеазиатском вопросе,— способности нашей (при известной доле беззаветной решимости, которая будет вполне оправдана результатами, могущими быть завоеванными для величия отечества) занять у азиатских Британских владений такое *угрожающее* положение, которое облегчило бы решение в нашу пользу трудного восточного вопроса,— другими словами, завоевать Царьград своевременно, политически и стратегически верно направленною *демонстрацией*».

Эта мысль Скобелева в связи с решением ближневосточного вопроса, ввиду возможных осложнений с Англией, чрезвычайно интересна. Она говорит не только об одной простой смелости пылкого, увлекающегося генерала,— теперь мы можем отнестись довольно объективно к самой возможности похода в Индию, которым грезили многие пылкие и просто больные умы, но который обычно почитался по общему признанию окончательной утопией.

В России, в ее разных слоях, поход на Индию представлялся как завершение нашей среднеазиатской политики. После того как Россия встала прочной ногой

* «Военно-Историч. Сборник». 1914.— «И. В.». 1882. 10.

в Средней Азии, к Индии обращались взоры военных, как возможность нанести удар Англии в случае войны с ней в самом чувствительном для нее месте. В этом отношении не лишена интереса фантастическая попытка имп. Павла I под влиянием Наполеона двинуться на Индию. 12 янв. 1801 года имп. Павел отправил атаману войска Донского ген. от кавал. Орлову I-му приказание немедленно выступить в поход на Индию. Император не совсем точно представлял себе расстояние и всю трудность этого пути. Карты его шли «только до Хивы и до Амударьи-реки», но на другой день он послал ген. Орлову «подробную и новую карту всей Индии». В рескрипте указано было, что «от нас ходу до Индии от Оренбурга месяца три, да от вас туда месяц, а всего четыре месяца». «Пошлите своих лазутчиков приготовить или осмотреть дороги» и идти прямо «любою из трех дорог прямо через Бухарию и Хиву на реку Индус и на заведения английские, на ней лежащие». Впрочем предполагалось даже не брать пехоту: «Если бы нужна была пехота, то вслед за вами, а не иначе прислать будет можно,— писал император,— но лучше, кабы вы то один собою сделали».

В походах выступили всего 22.507 чел. при 12 единокорых и 12 пушках. Первым эшелоном командовал ген. Платов, освобожденный для этой цели императором из Петропавловской крепости, куда был посажен за сепаратизм. 1-го марта ген. Орлов донес, что полки «со всех пунктов выступили в поход минувшего февраля 27—28 чисел и продолжать будут марши от 30 до 40 верст в сутки». Не говоря уже про малую подготовленность похода, морозы и метели страшно затрудняли движение, особенно артиллерии. Затем началась ранняя весна, реки стали вскрываться, и при переправе полка Денисова через Волгу лед не выдержал, и с большим трудом удалось спасти казаков. 18 марта (когда императора уже не было в живых), ген. Орлов сообщал в Петербург, что «из числа войска, в поход следующего, одни, имея деньги, издерживали оные на продовольствие, другие, заимствуя друг у друга, задолжались; прочие, не имея денег и не могли занять, уделяли продовольствие подъемным от строевых, чем одних привели в усталь, а других и вовсе лишились упальными и брошенными». На р. Иргизе казаков застала весть о кончине императора и приказ о возвращении. За три недели похода из 41.424

лошадей общего числа, бывших в походе, вышло из строя 886*.

Разумеется, в таком виде этот поход на Индию не мог иметь никакого успешного завершения, однако необходимо отметить, что при всей его фантастичности и легкомыслии демонстративная сторона его произвела на Англию огромное впечатление.

Всякий раз впоследствии, когда поднимались осложнения с Англией, возникал вопрос о возможностях похода на Индию как на самое уязвимое для англичан место в Азии. В 1856 г. С. А. Хрулевым была подана военному министру записка**, в которой экспедиция в Индию рассматривается не как «завоевание нами этой страны, а лишь как уничтожение там английского владычества и восстановление независимости туземных владений». Некоторые события, бывшие после этой записки, как, напр., восстание сипаев, только подтвердили соображения и надежды на помощь туземцев, ненавидящих своих поработителей. В записке разработано несколько маршрутов, в том числе и через Афганистан и через Персию, через Астрахань, через Астрабад до Герата, а потом Пешавара. Это будет около 2177 верст. По расчетам наполеоновского плана, это расстояние можно было пройти в 55 дней, а по расчету Хрулева — в 79. Всего же на эту экспедицию он клал 109 дней. Экспедиционный корпус не должен быть огромным, «надо стараться, — говорилось в записке, — образовать туземные войска, наши же должны составлять только резерв, но все же, по мысли Хрулева, он должен состоять не менее как из 35.000 чел., причем, в противоположность павловскому походу, он должен состоять почти исключительно из пехоты, так как кавалерию трудно довольствовать в пути, да к тому же она могла быть набрана из туземцев. (По плану Наполеона число войск в походе должно быть вдвое более.) Стоимость этой экспедиции высчитывалась приблизительно в 25 миллионов рублей серебром. Для более прочного обеспечения и снабжения экспедиции предполагалось основать русские колонии по восточному берегу Каспийского моря в Балхашском заливе и вообще установление

* Шильдер. Император Павел I. Стр. 417—420. Баторский. Проект экспедиций в Индию, предложенных Наполеоном имп. Павлу I и Алекс. I. — «Сборник материалов по Азии». 1886. Вып. 23. СПб.

** «Рус. Архив». 1882. III. Стр. 42.

торговых отношений с среднеазиатскими владениями. Помимо пути Наполеона I через Персию С. А. Хрулев разработал путь из Астрахани, через Балхашский залив, через Хиву и Балх на Кабул. После наших степных походов в Средней Азии при завоевании ханских владений, выкладки Хрулева теперь кажутся довольно легкомысленными, здесь не учитываются трудности пустыни, так предполагалось «заяв (?!) Хиву, подчинить ее нашему влиянию, а хана оставить на жаловании, в виде вассала России, для приучения же хана к цивилизации нужно поставить гарнизоны» и т. д.

Что же касается пути из Сибири на Кашгар, то Хрулев его специально не изучал — он только указывает на него как на желательный, с разрешения Пекинского правительства.

Подобные планы борьбы России с Англией возникали, разумеется, в эпохи соперничества двух держав — если при консульстве план войны с Англией уже начал приводиться в исполнение, то при второй империи он остался лишь в проекте, на бумаге, потому что России не удалось сделать себе друга из Наполеона III. Впрочем, автор так верит в незыблемую действительность своего проекта, что видит в нем какое-то универсальное средство: заставить Англию (под угрозой похода на Индию) сделаться союзницей России, если же это не удастся, то через тот же поход предоставить Франции несравненные выгоды в международном положении. На нескольких страницах автор изображает английскую политику в Персии и в Средней Азии, которая неминуемо, по его мнению, должна привести когда-нибудь к столкновению английских интересов с русскими. Благодаря нашим продвижениям в Азии мы, естественно, имеем в англичанах соперников, а с французами нам делить нечего, то отсюда прямой дипломатический путь России, вытекающий из ее истории, — сближение с Францией. «Возвратить Францию к идеям Наполеона I дело дипломатов», — заканчивает С. А. Хрулев свою записку, которая показывает, что уже в эпоху Крымской войны в России намечались течения коренного поворота в русской внешней политике в сторону уничтожения антагонизма между двумя государствами.

Рассматривая этот вопрос в его истории, мы видим, что в старой дипломатической тяжбе России с Англией этот пресловутый поход в Индию рассматривался его

инициаторами, главным образом, не в его конечной цели, о которой, строго говоря, не думали, вернее, и не пытались даже представить себе конкретные результаты его успехов, но рассматривали его как демонстрацию, могущую влиять на вес британской политики.

Так, мы видели, на это смотрел и ген. Скобелев, находившийся в совершенно других, несравненно более благоприятных условиях для разработки плана похода на Индию*. К его эпохе русские владения уже подошли к Гималаям, так что направление, обследованное им, являлось наиболее близким и удобным. Что же касается Каспийской базы, то после Ахалтекинского похода и она была для нас совершенно обеспечена.

Выкладки Скобелева основаны на личном изучении местности. Скобелев оговаривается, что это может быть сопряжено с риском и не иметь реального конечного результата, но, как политический ход, этот предполагаемый набег на Индию через Кашгарскую границу, спроектированный им, заслуживает пристального внимания. «Я в этом твердо уверен,— пишет Скобелев,— в политике, как и на войне, только невозможное — действительно возможно». Скобелев вполне верит в реальность русской угрозы. «Англичане слишком трудолюбивы и практичны, чтобы озабочиваться неисполнимым», и современная английская литература все более и более свидетельствует, какого страха англичане набрались с тех пор, как русские интересы вверены ген. К. П. Ка-

* Впоследствии, в разговоре с Мавриным, Скобелев намеренно затушевывал свои индийские планы. «Я бы сделал только демонстрацию похода на Индию, но бился с вами у Герата»,— сказал он. Говоря о занятии всей Индии, как об этом трубили все английские газеты, Скобелев намеренно преувеличивал его трудности. «Я не желал бы командовать такой экспедицией,— трудности были бы огромны. Чтобы победить Ахал-Теке, нужно было 5.000 человек и 20.000 верблюдов. Чтобы получить этот транспорт, мы должны были послать за верблюдами в Оренбург, Хиву, Бухару и Мангышлак. Чтобы занять Индию, мы должны были бы иметь 150.000 человек, 60.000 чел.— чтобы войти в Индию. 90.000 — чтобы охранять сообщения. Если для 5.000 чел. потребовалось 20.000 верблюдов, то сколько нужно было для 150.000. Где бы мы достали перевозочные средства, так как Афганистан страна бедная и нам пришлось бы воевать с афганцами, как и вам». Таким образом, о завоевании Индии не может быть и речи. Но Скобелев тут же подчеркивает, что если бы Россия захотела, она могла бы действительно бросить свои войска на Индию, но это была бы дипломатия. «Все возможно для хорошего полководца»,— сказал Скобелев в заключение Маврину О. К.

уфману, самое имя которого становится для них страшным». Скобелев полагает, что Ферганская область и Восточный Туркестан по богатству средств «вполне в состоянии содержать значительную армию — не только самостоятельный демонстративный отряд», и хотя пути, ведущие из владений Бадаулета в провинцию Ле (Ладак), принадлежащую Кашмиру, до крайности пустыни, труднодоступны и страдают местами бескормидей, пролегают через самые высокие перевалы на земном шаре, но для туркестанских войск их нельзя признать «окончательно недоступными». Скобелев уверяет, что появление русских войск в Ле, признание всех английских военных авторитетов, повлекло бы за собой немедленное восстание всей северной горной, воинственной, ненавидящей англичан полосы Индии от Муссеферабата до Патны, что, в свою очередь, принудило бы «английскую армию, сосредоточенную в Пейшауре, *отойти, а шаг назад для них так же, если не в сильнейшей степени, как и для нас, повлечет за собою неисчислимыя бедствия*». Этот путь, которым в 1543 году вторгнулись в Кашмир полчища Мирза-Хандера и Сепундер-Хана Кашгарского, идет из Ферганской области через Терек-Даван, Мустанг к Яркенду, потом через Каракорумский перевал к Ле и далее через проход Дзоджилла к Кашмиру. Что могли сделать азиатские полчища, то, очевидно, могут сделать и русские войска*. А потому «заключаю,— пишет Скобелев,— и в выгодах отдаленного будущего, а также и в настоящую, многозначительную историческую минуту вполне возможных самых непредвиденных политических неожиданностей нам необходимо владеть Ферганским Тянь-Шанем, без чего своевременно выдвинутая, как громом поражающая весь Индийский мир быстротою наступления *демонстрация* к Яркенду немыслима».

* Делая указание на коницу азиатских завоевателей, Скобелев, в сущности, повторял слова Наполеона, который говорил, что там, где громадные массы войск древних и позднейших полководцев свободно проходили с своими громоздкими вооружениями и бесчисленными транспортами, там, бесспорно, может пройти европейский корпус со своей артиллерией и обозом, и то, что могло совершить македонское или персидское войско, то, конечно, еще возможнее для русской и французской армии. Развитие военной техники должно в конечном счете облегчать переходы, а не затруднять их. Пример итальянской экспедиции в абиссинских «непроходимых» горах подтверждает это очень красноречиво.

Хотя Скобелев пользовался правом «свободы выражения всех своих мыслей», данной ему Кауфманом с первого дня назначения его начальником Наманганского отдела, но мысли, развитые в этом длинном письме, написанном местами довольно нескладно (наспех, в неудобной обстановке), не составляли приоритет одного Скобелева. Этот «исполинский», по выражению Скобелева, вопрос об отношениях с Англией в связи с нашей восточной политикой, должен был встать во весь рост уже со времени нашей колониальной политики в Туркестане. Кауфман прекрасно учитывал ахиллесову пяту Англии в Индии и еще в 1876 году, в бытность свою в Петербурге, говорил кн. Горчакову и Д. Милютину, что если борьба завяжется в Балканах, то для разрешения этого вопроса для России, чтобы сломить упорство незримой союзницы Турции — Англии, необходим чувствительный и эффектный удар в очень уязвимое место англичан, и чем сильнее будет эта демонстрация, тем будет для России выгоднее. Скобелев личной рекогносцировкой в Кашгаре подвел деловой и реальный фундамент под эти планы, казавшиеся всегда такими фантастическими.

Через несколько месяцев, уезжая в действующую армию на Балканы, Скобелев пишет Кауфману об общем политическом положении, в связи с войной, снова напирая на значение наших «военных средств в Азии». «Как бы счастливо ни велась кампания в Европе и в Азиатской Турции, на этих театрах войны трудно искать решения Восточного вопроса. Чистосердечное поведение Англии, согласно видам нашего правительства, насколько я понимаю вопрос, конечно, повело бы к удовлетворению законных требований наших, а потому, мне кажется, не следует разделять понятие о войне с Турцией с понятием о войне с Англией; эта последняя, не объявляя нам формальной войны, но посылая своих офицеров в турецкие ряды и помогая Турции средствами, тем самым находится с нами в войне. Не лучше ли, — пишет Скобелев, — воспользоваться нашим новым могущественным стратегическим положением в Средней Азии, нашим гораздо лучшим против прежнего знакомством с путями и со средствами, в обширном смысле этого слова, в Азии, чтобы нанести действительно нашему врагу смертельный удар в том случае (сомнительном), если явные признаки того, что мы решились действовать по самому

чувствительному для англичан операционному направлению, не будут достаточны для того, чтобы побудить их к полной уступчивости». Скобелев предлагает вполне конкретный план. «Почему бы,— говорит он,— не высадить 30-тысячный корпус в Астрабаде и не наступать к Кабулу совместно с войсками Туркестанского военного округа!? Если вторжение в Индию с 18-тысячным корпусом при современном состоянии английской власти в Азии представляется делом хотя и рискованным, но, при известных обстоятельствах, даже желанным, возможным, то таковое же вторжение с 50-тысячным корпусом обещает успех почти наверняка*. На Каспийском море мы обладаем всеми средствами к быстрому сосредоточению 30-тысячного отряда в Астрабаде и обеспечению его там необходимым продовольствием; страна от Астрабада к Герату и далее представляется во всех отношениях удобною для движения значительных сил; затруднение капитальное встретится в своевременном сборе необходимых перевозочных средств, но трудности эти *побороть можно*; под рукою Закавказье, Астрахань, Персия, наконец, сама Закаспийская степь, после Хивинского похода несравненно более нам подчиненная; весь риск предприятия заключается именно в этом — *mais, enfin, Excellence, Paris vaut bien une messe*».

Те же мысли Скобелев высказывал и в письме к кн. Черкасскому из Коканда в янв. 1877 года. «Знакомство с краем и с его средствами,— пишет Скобелев,— непременно приводит к заключению, что присутствие наше здесь, во имя русских интересов, может быть лишь оправдано стремлением способствовать отсюда разрешению в нашу пользу восточного вопроса, иначе овчинка не стоит выделки и затраты на Туркестан будут непроизводительны**». Последний вывод несколько удивителен

* В письме к кн. Черкасскому имеется фраза, характеризующая способы этого предполагаемого набега: «Главное, организовать массы азиатской кавалерии, которую во имя крови и грабежа направить в пределы Индии, в виде авангарда, возобновив времена Тимура». Как бы ни критиковали этот способ войны с Англией в Индии, с точки зрения морали, с азиатской точки зрения (а ведь это все должно было происходить в самом сердце Азии) — его демонстративное значение едва ли подлежит сомнению. — «Ист. В.», 1863. XII.

** Эту фразу, которая встречается в письмах Скобелева неоднократно, Верещагин связывает со своим влиянием на Скобелева в смысле отхода от среднеазиатских тем и приближения к сла-

для администратора края. Скобелев, несомненно, очень мало учитывал экономическое значение новых областей. Впрочем, в то время еще не ставились в нашей государственной политике вопросы широкого использования колоний в хозяйственном отношении, разрешение которых так заставило в наше время дорожить ими. Туркестанский край до самого конца XIX века приносил дефицит, и только в последнее время его доходы стали превышать над расходами.

Экспедиция Скобелева имела большое значение. Желанная граница была занята, и если на востоке нам пришлось уступить Китаю Улукчай, то к югу граница русских владений продвинулась значительно вперед, к Памиру. Походы-разведки в направлении Афганистана и самой Индии сподвижника Скобелева, Ионова, в 90-х годах, который, поборов все препятствия природы, повторил не только скобелевские пути, но, перевалив через Памир, спустился в самую Индию и, пройдя по ней около сотни верст по индийскому склону Гиндукуша, повернул на Памиры,— выяснили с достаточной убедительностью полную возможность военного набега на английскую Индию и, таким образом, подтвердили полную реальность предполагаемой Скобелевым «демонстрации» против Англии в наиболее политически уязвимых для нее границах.

Экспедиция имела и научное значение. Были открыты совершенно неведомые европейцам страны и до 26 тысяч верст нанесено на карту с определением 11 астрономических пунктов; произведено 42 барометрических измерения от Коканда до перевала Уч-Бел-Су, определено магнитное отклонение на 5 пунктах, собраны богатые естественно-исторические коллекции и проч.

В сентябре 1876 года Скобелев был уже в Коканде. Здесь было не особенно спокойно — близ Андижана вспыхнуло восстание Джитым-хана, жестоко подавленное Скобелевым — несколько человек были казнены на базаре в Уренте. Осенью край посетил ген.-губ. ген. Кауфман, оставшийся, в общем, очень довольным по-

вянской политике. Верещагин говорит, что Скобелев только в последние годы своей жизни отдался всецело славянской идее. В Верещагин в своих записках очень многое путает и приписывает себе, как, напр., и эту фразу, между тем, как она уже встречается в письме из Кокайда.

литическим тоном, взятым Скобелевым в новозавоеванном крае.

Общность взглядов с Кауфманом открывала Скобелеву пути к дальнейшей колониальной карьере, и он выразил желание быть начальником штаба при Кауфмане, на что тот высказал, что «будет рад такому начальнику штаба, если ген. Троцкий, находившийся в Петербурге, не возвратится к своей должности».

Как ни кипуча была деятельность Скобелева в Ферганской области, его тянуло к родной стихии. В Европе чувствовалось приближение большой войны. На Балканах скоплялись тучи, группировалась действующая армия, и Скобелев писал Кауфману, что «будет служить, где он потребует, но должен предупредить, что душа его и мысли будут там, где будут греметь наши пушки». В конце концов, он настойчиво просил самого Кауфмана похлопотать о разрешении поступить в действующую армию. Кауфман понимал Скобелева. «Михаил Дмитриевич,— писал он Троцкому,— трудится и винкает во все, но любит он только военное дело. Он любит его страстно, он ничего не любит так, как военное дело. Он весь проникнут мыслью полететь в армию, которая, по-видимому, собирается на берегах Дуная. Если война будет в Европе, его нельзя будет удерживать». Ценил боевые качества Скобелева, Кауфман писал военному министру ген. Милютину, убеждая его воспользоваться этим талантом. В ответ пришла шифрованная телеграмма: «Государь не соблагволил на перевод Скобелева». Скобелев стал нажимать на все свои петербургские пружины, и прежде всего, конечно,— родственные связи. Уже, после назначения в Фергану Скобелев признается Адлербергу, как ему «трудно сколько-нибудь устроиться и жить полною жизнью при быстроменяющейся обстановке, бездне разнообразных занятий, многих заботах и некоторой неопределенности в круге действий». В извинение своих жалоб он говорит, что это «несколько уклоняет» его от «исключительно военной дороги, которой он все-таки более всего предан». «Призвание к военному делу заставляет меня несколько опасаться, чтобы почетное мое назначение не послужило бы причиною тому, чтобы при решении великих вопросов нашим оружием на нашей западной или юго-западной границе я бы не оставался зрителем с далекой окраины».

«Подобный удар судьбы,— говорит он в следующем письме,— надломил бы весь мой нравственный строй». «Тебе, с детства меня знающего, будет понятно, что жизнь для меня сложилась так, что, только продолжая действительную боевую службу, я могу найти удовлетворение моих личных потребностей, а также принести наибольшую пользу. Если я сознаюсь в честолюбии, то оно такого рода, что может найти себе удовлетворение лишь в буре военной. Такой службе я предан всецело, без мелких расчетов — скажу без расчета и нахожу, что, казалось бы, при приобретенном мною условном боевом опыте, здоровье, главное, готовности, без всякого себялюбивого расчета, жертвовать всем для славы наших знамен я полагаю, что созрел для того периода, чтобы с наибольшей пользой служить в военное время». Во многих письмах Скобелева того времени повторяется этот мотив и просьба не забыть о нем, когда разразится военная гроза на Балканах. При этом он боится, что это могут понять как желание «воспользоваться предлогом, чтобы отклонить от себя выпавшие ему на долю громадный труд и ответственность». «Нет,— пишет он,— я считаю предложить себя на какую бы то ни было чистую должность в действующих войсках логическим последствием всего моего прошлого, и поступить иначе я относительно себя самого не могу». И высказывает пожелание: «Командовать бригадою, если возможно, то пехотною, в бою было бы для меня верхом счастья»*.

В результате всех этих иеремиад получилось приказание: «Генералу Скобелеву высочайше повелено немедленно прибыть в Петербург для направления в действующую армию».

Проводы Скобелева в Фергане были очень сердечны — там ценили его беспристрастие, отзывчивость и отсутствие рутины. В теплом прощальном приказе по войскам он с особенным чувством говорит о туркестанском солдате, для которого «нет ничего невозможного». Вероятно, лучшей оценкой деятельности Скобелева в Фергане были слова приказа Кауфмана, который вспоминал «ряд блестящих военных подвигов» и «энергичное и точное исполнение указанного ему плана военных действий в 1875—76 гг. и быстрые и полные успехи

* Арх. Б.-Б.

в гражданском устройстве покоренного края». Скобелев не остался в долгу. В его письме, написанном в пути в Казалинске от 16 фев. 1877 г., наполненном сплошь горением война и политического деятеля, есть строки, обращенные к Кауфману, дышащие теплотой и искренностью. «Позвольте,— пишет Скобелев Кауфману,— еще и еще раз выразить вам мою глубокую и сердечную признательность за все, вами для меня сделанное; служба под вашим начальством навсегда останется лучшим воспоминанием моей жизни; не говоря уже о положении, известной репутации, которыми всецело вам обязан, но я в особенности должен никогда не забывать, каким человеком я прибыл в вверенный вам край в 1869 г. и каким человеком я теперь еду от вас в действующую армию. Я в полном смысле слова ваше создание, сознаю это, всегда буду сознавать и горжусь этим». Эти строки, много раз цитированные в печати, говорят сами за себя. Скобелев умел работать, главное — он умел работать над собой.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПЕТЕРБУРГ

Петербург встретил Скобелева неласково. Прием у государя отличался странною двойственностью: с одной стороны, благодарность, а с другой — резкий выговор в грубой и обидной форме. Чрезвычайно ярко этот момент описан в письме ген. Троцкого к Кауфману неделю спустя после приема.

«Приехал сюда Михаил Дмитриевич Скобелев,— пишет Троцкий.— Он поражен, да и я вместе с ним, приемом у государя. Не подав руки, его величество сказал Скобелеву: «Благодарю тебя за молодецкую боевую твою службу, к сожалению, не могу сказать того же об остальном» (о чем именно — ни слова). Затем, волнуясь и возвысив голос, государь продолжал: «Я помню, я знал твоего деда, и я краснею за его славное имя». Это место из слов государя так сразило Михаила Дмитриевича, что он говорит, что и не помнит, так ли именно была произнесена его величеством фраза, но что в его, Скобелева, ушах особенно тягостно отозвалось слово «краснею». Была еще и такая фраза: «Я осыпал тебя милостями». Государь закончил свое обращение словами: «Я надеюсь, что на новом назначении, которое я тебе

дам, ты покажешь себя молодцом». С этим Михаил Дмитриевич был отпущен из дворца. Теперь он как ошпаренный допытывает Адлерберга и всех, кого может, что все это значит и откуда ветер дует; по выражению Скобелева, он жаждет света. Вместе с тем он просит защиты вашего высокопревосходительства. По всем признакам, выяснившимся пока, все это крупная интрига, имеющая началом личные доклады X и письма Z к W., доведенные и читанные. Военный министр принял его очень сухо и, не объясняя ему и не указывая, в чем собственно, он, Скобелев, провинился, говорил о беспорядках у нас в крае, об открытых злоупотреблениях. Вообще тон всего, что говорил военный министр, не понравился Скобелеву и произвел на него тяжелое впечатление. Еще раз повторяю, ваше высокопревосходительство, что все изложенное написано мною *со слов* Михаила Дмитриевича, который пока, на первых порах, находится в каком-то чаду. Но все-таки нельзя не заметить, что что-то недоброе тут делается и интрига работает. Впрочем, все это не новость. P. S. Сегодня (т. е. 12 марта) Скобелев был дежурным. Государь был с ним уже милостивее...»

Слава давалась с трудом. Если Кауфман в свое время разносил за мальчишеские выходки неуравновешенного и заносчивого молодого офицера, то здесь уже был хотя и молодой, но покрытый боевыми заслугами и наградами бывший военный губернатор огромной области. Трудно установить конкретные подробности обвинения против Скобелева, но в том же письме ген. Троцкий пытается их формулировать. «Обвинительные против Скобелева пункты,— пишет Троцкий,— распушенность войск, панибратство с офицерами, демократизация, умышленное непривлечение к себе помощников с громкими именами и проч.». Далее: «Военный министр пополнил свои объяснения, что на государя произвели впечатление письма о Скобелеве из Коканда, что он фамильярничает с офицерами, в штабе его слишком свободно критикуют правительство и что, наконец, Скобелев будто бы мечтал устроить поход на Кашгар».

Теперь, более чем через полвека, эти «обвинительные» пункты против Скобелева, приведенные в частном письме, приобретают особо значительный интерес именно своею правдивостью и свидетельствуют о качествах молодого

талантливого генерала, который имел возможность раз-
вертывать свои исключительные военные дарования в
условиях, очень далеких от старых военных традиций,
чуждых мертвящей рутины и создавших впоследствии
славу Скобелеву как полководцу. На этих обвинениях
необходимо остановиться подробнее. «Распушенность»
войск... Мы знаем, что Александр III, принимая Скобе-
лева после Ахалтекинской экспедиции, первым делом,
не найдя ничего лучшего, спросил: «А какова была у
вас, генерал, дисциплина в отряде?» И эти вопросы и
обвинения и потом и теперь задавались генералу-побе-
дителю, покорителю и умиротворителю целого огромного
края! С своей точки зрения, те, кто так спрашивали Ско-
белева и делали ему упреки, были правы — они в силь-
ной степени были «парадными» генералами, близко
стоявшими к той психологии военной среды, в которой
говорилось, что «война портит войска». В том же упре-
кали когда-то Кутузова, а затем Ермолова на Кавказе,
а потом и вообще колониальные войска. Между тем
местные географические особенности, вооружение и
повадки противника заставляли наши войска, как на
Кавказе, так и в Туркестане, придерживаться совсем
других бытовых привычек, чем в России. Условия борьбы
не только с противником, но и с природой в минуты пре-
одоления длительных опасностей ставили солдата на
одну доску с офицером, сближали их. Это сказывалось,
несомненно, во внешних отношениях. Стоит только при-
помнить убийственные картины многодневных походов
по безводной степи, сцены у колодезев, непрерывные
бои, где солдаты и офицеры бились плечом к плечу друг
с другом, чтобы понять, что при этих условиях невоз-
можно безусловное соблюдение, напр., внешних форм
дисциплины и т. д. В частности, в войнах с азиатами,
где солдат был не только «регулярным» воином, но и
колониистом-завоевателем, в самых военных действиях,
в средствах устрашения и проч. применялись приемы,
не свойственные обычным регулярным кадрам армии,
как, напр., грабеж взятого города и т. под. Лишения,
поневоле для всех одинаковые, сближали солдатскую
массу с офицерской в их отношениях друг с другом, ко-
торые делались проще, без стеснения внешних формаль-
ностей. Припомним, напр., на Кавказе, даже в суровое
никалаевское время, офицеры не носили погон, солдаты
звали офицеров по имени и отчеству и т. д. Наконец,

необходимо прибавить, что завоевание Туркестана и Закаспийской области началось в середине прошлого столетия, в эпоху великих реформ, когда военные круги были носителями либеральных и гуманитарных идей, и не без влияния этой передовой молодежи выросли кадры русских военных деятелей-администраторов на окраинах. Ген. Куропаткин, который принадлежал к этой плеяде, в своем письме к Ашенбреннеру* как нельзя лучше подчеркивает это общее настроение и направление в офицерской среде на окраинах. При всех оговорках и ссылках на время, в которое оно было написано Куропаткиным, оно в своей основе искренно и правдиво. И Скобелев принадлежал к этой категории офицеров, академических выучеников 60-х годов, для которых солдат уже был «освобожденным» человеком и в поднятии личности которого, его человеческого достоинства заключался, по их мнению, залог военных успехов. Отсюда и забота Скобелева о солдатском обучении — в Фергане он заводит всюду школы, в которых учителями являются офицеры, и известная «демократизация» отношений — Скобелев в Туркестане, как и впоследствии, прислушивался к голосу солдат, устраивал целые военные советы с унтер-офицерами и проч.

Нечего уже говорить о том, что Скобелев, сделавшись генералом в 32 года, продолжал еще быть «молодым человеком», близким по настроениям к офицерской среде, видевший в нем не только своего начальника, но и товарища, а служебная карьера Скобелева прошла на боевых полях, в борьбе, в тяжелой обстановке, где некогда было думать о внешних условиях, где в постоянных опасностях приходилось полагаться не столько на авторитет чинов и происхождения, сколько на спасительную силу реального опыта и таланта.

Кто были эти петербургские недруги Скобелева, отчасти можно расшифровать перепиской ген. Троцкого с Кауфманом. По-видимому, один из главных интриганов был полк. кн. Витгенштейн, который, после возвращения Скобелева в Коканд из экспедиции в горы, был оставлен в качестве заместителя Скобелева. Кауфман очень много иронизирует над донесением

* «Каторга и ссылка». № 32. См. ниже главу VII.

Витгенштейна, в котором подвиги были расписаны в явно преувеличенных тонах: несколько офицеров показаны ранеными — «оказывается, все здоровы». Тяжело раненных нижних чинов 8, в «лазарет поступил только один» и т. д. «Вот они, хваленые герои,— заканчивает Кауфман,— а еще говорят, что Витгенштейн не чета Скобелеву!»

Свою «неудачу» в Петербурге, в связи со всеми обвинениями по своему адресу, Скобелев, однако, не считал только своим личным делом. Через три месяца после злополучного приема в Петербурге и после месячного пребывания в армии Скобелев пишет Кауфману о своих «грусти и незаслуженных испытаниях... вследствие клеветы» как другу, как «компетентному судье», могущему «произнести сознательный и справедливый приговор». По-видимому, Скобелев не писал Кауфману из Петербурга, зная, между прочим, что это сделает Троцкий, но он убежден, что «случившееся» с ним «в известной степени имеет более чем личное значение», потому что, по его мнению, «в Туркестанском крае, быть может, более чем где-либо необходимо полное доверие к лицам, облеченным властью на различных ступенях служебной иерархии. Если подобная, относительно фактов, совершенно беспочвенная интрига может иметь и в будущем успех в подобных размерах, без ведома главного начальника края, то вряд ли авторитет власти от этого выиграет». В письме к Кауфману с отчетами о Плевне Скобелев признает, что своими успехами и славой обязан туркестанской школе и вообще — «в настоящую кампанию в глазах общества значение Туркестана, как боевой школы, значительно поднялось». Этому способствовало не только геройское поведение туркестанских офицеров, но и чрезвычайно боевое самолюбие нижних чинов Туркестанского военного округа перед неприятелем, всеми начальниками частей сознаваемое и, наконец, отчасти и несостоятельность различных аранжиров мирных маневренных увеселений, на всех ступенях военной иерархии слишком рельефно высказывавшаяся*. И, «туркестанский воспитанник», как он себя называет, Скобелев сохранил все свои туркестанские привычки, с которыми он явился непрошеным гостем на театр военных действий на Балканах.

* Арх. Б.-Б.

III. НА БАЛКАНАХ

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Турецкая война 1877 г. создала Скобелеву мировую славу; здесь сказался его военный гений, и хотя не развернулся вполне, но уже с Балкан Скобелев возвратился народным героем и общепризнанным военным авторитетом, который еще более оттенялся скептическим отношением к нему многих, иногда небоевых, военных.

«Война родит героев», но редко так бывает, чтобы им ставилось столько препятствий, как Скобелеву. Начать с самого назначения. Боевого генерала, с двумя Георгиями, влюбленного в войну, долгое время к ней не допускали. Если бы Скобелев не имел своих влиятельных родственников, он так бы и просидел всю войну в своей Ферганской области, устраивая казармы для казачьих сотен и проч., в то время как в самой армии было много лишнего элемента. По признанию Газенкампа состояние «для поручений» и «в распоряжении» предпочиталось должностям командным. Один состоящий для поручений генерал открыто и громко роптал на свое назначение бригадным командиром как на незаслуженную обиду. Один из состоящих при штабе полковников (только что произведенный) испугался, когда ему предложили стрелковый батальон, и уклонился от этого назначения». При таком настроении верхов появление тридцатипятилетнего генерала с очень подозрительной репутацией, красивого, изящного, всегда надушенного, безусловно умного, но очень строптивного и заносчивого, очень многих шокировало. Как известно, он был назначен начальником штаба казачьей дивизии, которой командовал его отец. Самое это назначение мало соответствовало пылким планам молодого Скобелева. Возможно, что при назначении к отцу высшее командование имело свои виды — отдать не столько под начало, сколько под присмотр отца. Молодого генерала встретили очень недоверчиво. То, что он управлял огромной областью, — в расчет не принималось, а насчет Георгиев недвусмысленно говорили, что их-де еще заслужить надо. В этом отношении Скобелев-отец недалеко ушел от других — бывший кавказец, он относился очень иронически к заслугам сына, называя Туркестанские войны «ба-

раными». Молодой Скобелев считал себя связанным и как будто осматривался в новой обстановке. В. В. Верещагин, наблюдавший его как раз в это время, очень много говорит о его крайней нервозности, и, по словам Верещагина, он даже горевал, что не остался в Туркестане, где, по слухам, готовилась демонстрация против Англии, план которой, как мы знаем, разрабатывался Скобелевым. «Дураки мы с вами вышли,— говорил он кап. Маслову, оставившему Туркестан вместе со Скобелевым,— что сюда приехали»*. Вероятно, это была одна из тех фраз, которые он часто бросал на ветер,— едва ли его покидала уверенность в себе: «Я умею ждать и свое возьму». Судя по отзывам Верещагина, Скобелев вел себя в это время как-то странно, несерьезно, по-мальчишески, гуляя по Бухаресту, хорошеньким барышням показывал язык и проч. Много и резко говорил о всевозможных предположениях и военных планах, так что многих приводил в совершенное недоумение. «Он какой-то шальной,— говорил Сахаров Верещагину,— чуть не каждый час новый план; возьмет под руку, «знаете, что я вам скажу» — и начнет, и начнет, да такую чушь». Верещагин — не глубокий наблюдатель, он не уловил в Скобелеве одной черты — мистификации. Скобелев иногда очень любил озадачить своего собеседника каким-нибудь несуразным рассказом или проектом. Иногда он хотел казаться легкомысленным намеренно. Это был его как бы защитный цвет. Но на службе, когда он соприкасался с войсками, он всегда становился деловитым. Когда он, во время отсутствия отца, командовал отрядом, он быстро заслужил уважение воинской массы, сумевши осведомиться о многих порядках в отряде, и, между прочим, обратил внимание на песню, осмеивавшую одного серьезного деятеля, и просил ее не петь. Свою тоску по «командной» должности Скобелев выразил довольно искренно: «Вы думаете, мне легко не иметь права поздороваться с людьми после того, как я водил полки в битву и командовал областью?»

Но уже при первом соприкосновении с военными действиями, напр., при бомбардировке Журжева, стали говорить о «невозмутимом» спокойствии и доблести туркестанского героя**. Его умение ориентироваться

* Верещагин. На войне.— М. 1912. Стр. 16.

** Сидельников. Турецкая кампания 1877—78. Т. 1.

помогло ему отвести разгром шлюпок лейт. Скрыдлова, атаковавшего турецкий монитор. Наконец, в переправе через Дунай Скобелев заслуживает общее признание умением ориентироваться и направить наиболее рациональные удары. В Турецкую войну 1877 г. в русской стратегии изучение обстановки боя было очень слабым местом. Усвоив в Туркестане свои навыки в этом отношении, получивши первый военный орден за храбрость не в бою, а в холодных условиях рекогносцировки, Скобелев подошел к Дунаю одним из первых, выдержал бомбардировку у Журжева, показавши пример, как следует себя держать под огнем, в дальнейшем тщательно изучил берега реки на случай переправы (его собеседники считали его проекты в этом отношении болтовней), и, наконец, в день переправы 14 июня оказался «первым помощником ген. Драгомирова, принимая на себя с полной готовностью все назначения, не исключая и ординарческих, и оказывая самое благотворное влияние на молодежь своим неизменным спокойствием». Очень значительную роль в оценке Скобелева сыграл Драгомиров, который усиленно выдвигал Скобелева в это время. «Если бы Скобелев был плут насквозь,— пишет Драгомиров одному генералу,— то не стерпел бы и пустил бы гул, что удача этого дела (переправа) принадлежит ему, а между тем, сколько мне известно, такого гула не было. Нужно тебе сказать, что напросился он сам на переправу*, и я его принял с полною готовностью, как человека, выдавшего уже такие виды, каких я не видел; принял, невзирая на опасения, что Скобелев все припишет себе, и, как видишь, не ошибся, а между тем его помощь действительно была велика. Он первый меня поздравил с «блестящим», как он выразился, «делом», и притом в такую минуту, когда я был глубоко возмущен безобразием творившегося; он же пешком (лошадей у нас тогда ни у кого не было) передавал приказания как простой ординарец, набиваясь сам быть посланным, а не ожидал предложения сходить туда или сюда. Ему во мне нечего искать, ибо как же я могу его подвинуть? Почему я полагаю, что во всем этом он явил себя человеком даже весьма порядочным»**.

* За этот самовольный поступок Скобелев даже был подвергнут взысканию главнокомандующим.

** С. А. Драгомирова. Скобелев.— «И. В.». 1915. № 3.

Между тем первые впечатления от войны в новой обстановке у Скобелева были очень сильными. В Журжеве ему пришлось впервые испытать настоящую бомбардировку из орудий крупного калибра. В письме к Никсу Адлербергу он пишет: «Снаряды в пуд и более весом ложились от меня в 30 шагах. Впечатление весьма и весьма сильное и нервы страдают». Характерно окончание этого письма: Скобелев не может забыть старые огорчения и с горечью говорит, что, будучи с Георгием на шее, находится «ни при чем», но он рассчитывает твердо «взять свое»... «А как война кончится,— меланхолически заключает он,— можно будет и на покой, заниматься хозяйством. После всего пережитого во мне угасло всякое честолюбие»*. По-видимому, это было лишь временное уныние. Слалсь «слезные» письма, особенно к дяде Адлербергу, в результате которых наконец удалось Скобелеву бросить отцовский отряд и принять участие в активных боевых операциях.

Скобелев всегда придерживался мнения, что «только война учит войне». Несомненно, условия туркестанских войн, как и кавказских, были совершенно иные, нежели на Балканах, и многим боевым генералам приходилось приспособляться к новой обстановке, в том числе и Скобелеву 2-му.

Но война велась со стороны русского главного командования очень неблагоприятно. Уже с самого начала кампании план войны, разработанный ген. Н. Н. Обручевым, был нарушен,— за Дунай переправились не 6^{1/2} корпусов, как предполагалось, а только 4, а на Балканы брошено было в 10 раз меньше предполагаемого. Нарушение плана грозило большими осложнениями, потому что, по общему мнению историков, Ставка главнокомандующего была очень далека от совершенства в своей работе. Инерция высшего командования иногда совершенно путала действия командующих частями, что при ослаблении «частного почина» в XIX в. вообще в русской армии приводило нередко к очень тяжелым последствиям. Вместо нанесения сильнейшего удара на Константинополь огромной армией получилась лишь демонстрация-набег ген. Гурко с 11.000-м отрядом. Как известно, его неудача при отступлении поставила рус-

* Арх. Б.-Б.

скую политику на Балканах под сильные удары. Прежде всего наблюдалось отсутствие разведки, как дальней, кавалерийской, так и ближней, пехотной. Ген. Крюднер, занявши Никополь, как будто не знает, что делать дальше, бездействует два дня и совершенно игнорирует сообщение Румынского князя Карла о выходе большой турецкой колонны из Видина по шоссе к Плевне. Какое-то скопление турецких войск на Западе было очевидно: и по сообщению русского консула в Черногории, что турки уводят оттуда свои войска; и по сообщениям посланника в Греции, что к берегам Далмации пришел турецкий транспортный флот, но все эти телеграммы где-то затерялись в штабе. Таким образом, ген. Крюднер, направляя в сторону Плевны ничтожные силы, ничего не знает о приходе в Плевну Османа-паши и об его значительном усилении. Ген. Шильдер-Шульднер, не имея хороших, проверенных карт, без предварительной рекогносцировки подошел к Плевне на день раньше и атаковал слабейшими силами. В результате — отступление, которое рассматривалось даже как поражение, между тем, как говорят современные исследователи, здесь было не поражение, а только неудачная атака. Десять дней спустя решено было повторить атаку Плевны, но ген. Крюднер уже не верил в успех, хотя, как оказалось, наша артиллерия превосходила по численности турецкую, хотя и уступала качественно врагу. Атака турецких позиций происходила в лоб, а задачу охвата выполняла, хотя и очень энергично, очень маленькая группа ген. Скобелева. В противоположность первой Плевне мы здесь имеем огромные резервы, но они не вводятся в действие на нужном участке, а иногда «являются только зрителями». Из 120 орудий против северного фронта стреляют одновременно только 32—48, остальные молчат — роковой недостаток, выразившийся в гипертрофии бережения артиллерии, уже начинал сказываться. Среди начальства происходило настоящее местничество, и в конце концов даже не было установлено, кто является старшим во время ведения боевой операции, поэтому части во время боя не были согласованы между собою, в атаку шли разрозненно, «ибо корпусные командиры действовали врозь, без связи и системы, даже ничего не зная друг о друге. Словом, темный беспорядок. Неудивительно, — говорит летописец этой войны, — что после этих боев доверие ко всем начальствующим людям было

сильно подорвано»*. Да и немудрено, если во время паники теряли голову высшие начальники. Командир 30 дивизии ген. Пузанов даже бросил свою дивизию, сел в коляску и, удирая в тыл, по дороге велел обозам поскорее укладываться и отступать. Бегство отступающих войск с этим генералом докатилось до Дуная и на переправе у Систова «обратилось уже в настоящее столпотворение, и ген. Рихтеру, начальнику переправы, пришлось чуть ли не ружейными выстрелами и штыками отстаивать мост, который обезумевшие беглецы могли потопить, устремясь на него сплошным ошалелым стадом». «Одного Скобелева,— замечает Газенкамф,— все единогласно восхваляют. Многие убеждены, что если бы его поддержали на левом фланге, то сражение решилось бы в нашу пользу; будто бы турки уже приготовились к отступлению и даже начали вытягивать свои обозы на софийскую дорогу». Любопытно, что то, чего не могли охватить в главном штабе, сделал английский корреспондент Форбс, поместивший в ночь с 18 на 19 в «Daily News» телеграмму в 2000 слов, передавши очень правильно общий ход военных операций. Газенкамф, делавший сводку военных действий, даже выхлопотал за эту телеграмму Форбсу орден с мечами.

Во вторую Плевну обратили внимание на молодого генерала, командовавшего «левым боевым отрядом» (12 сотен при 12 орудиях), к которому потом кн. Шаховской прибавил еще один батальон пехоты, этот генерал неожиданно выказал огромную инициативу: он не пассивно прикрывал своим отрядом фронт кн. Шаховского, но и переходил в атаку с одной ротой против неприятеля, силы которого доходили до восьми батальонов. Один момент этого боя был особенно характерен для Скобелева. С 10 ч. до 4 дня кипел бой на высоте под Плевной. Скобелев не подкреплял войска, а держал 3¹/₂ роты в резерве, твердо помня про диспозицию: удерживать неприятеля в случае появления его со стороны Ловчи. Но, узнав, что войска кн. Шаховского переходят в наступление, и убедившись, что со стороны Ловчи неприятеля не оказывается, он бросил в бой весь резерв и тем самым предотвратил наступление турок, которое могло быть очень опасным для русского левого фланга.

* Газенкамф. Мой дневник. Изд. 2. Стр. 69.

Скобелев сумел задержать неприятеля в восемь раз сильнейшего в течение 12 часов, имея в своем распоряжении главным образом казачьи части, действовавшие и в пешем бою. Тогда-то и говорили, что если бы его поддержали, можно было бы выиграть сражение. Были отмечены и глазомер Скобелева, сразу определившего положение и выбравшего надлежащий образ действий, и его «блистательное спокойствие и распорядительность в адском огне», и его личные храбрость (одна лошадь под ним была убита, другая ранена), и умение воодушевить войска, и эффектность этого генерала, красиво бравярующего в бою. В заключение Скобелеву, как человеку с творческой инициативой, решено было 22 июля дать небольшой отряд из 3 батальонов пехоты, 22 эскадронов и 22 орудий для самостоятельного действия. Это назначение имело для Скобелева огромное значение. Он был вылеплен из того теста, из которого делают полководцы. Его творческая способность все время просилась наружу, и поэтому ему было чрезвычайно трудно быть у кого-нибудь в подчинении — в таких случаях выступали постоянные, иногда непрошенные, советы, резкая, едкая критика и, возможно, интрига. Характерно, что у нас почти нет фактических данных для установления этой отрицательной черты Скобелева*, но в отзывах о нем об этом говорится довольно много. Вероятно, неосторожность в разговоре, резкие, хотя бы и верные, отзывы о других со стороны честолюбивого и молодого генерала бросались в массу и создавали обстановку и настроение, неблагоприятное для него. Любопытны отзывы о нем его старших сослуживцев. «Отрядом командует ген. Скобелев,— пишет Тотлебен под Плевной,— герой, каких редко встретить, *mais un homme sans foi, ni loi*, но и Тотлебен должен был признать, что «для нас было бы большой потерей, если бы ему пришлось отказать от боевой деятельности, что можно предвидеть». А вот что пишет ген. Зотов, командир 4 корпуса и начальник войск под Плевной. «Скобелев, как военный генерал, стоит далеко выше Шнитникова и по распорядительности, по энергии и смелости: честолюбие и самолюбие в нем развиты до бесконечности, до болез-

* Ген. М. Драгомиров говорит как раз обратное — по его мнению, Скобелев для общего дела не брезговал никакими поручениями.

ненности. Чужого мнения, хотя и полезного, не признает. Обиделся за то, что я приказал ему выдвинуть батарею для обстреливания редута, вновь устраиваемого на правом берегу Радишевского оврага, и только потому, что не сам предложил эту мысль. Как человек ненадежен, обманет, продаст, оклеветает, чтобы лучше самому обрисоваться». Зотов был в курсе домогательств Скобелева получить самостоятельное назначение. Зотов в свое время поддержал Скобелева и предложил дать Скобелеву 16 дивизию вместо Померанцева, которого лягнула лошадь, он выбыл временно из строя. Таким образом, по выражению одного коллеги Скобелева, «жеребец Имеритинского, как орудие судьбы, устроил дело так, что Скобелев был утвержден в звании начальника дивизии». Растущая у всех на глазах карьера Скобелева беспокоила его товарищей. Имеритинский вскипел, когда услышал о своем подчинении Скобелеву, как младшему. «Разве ты не понимаешь,— говорил он Паренсову,— что Скобелев сразу же отнимет у меня все... да ему иначе и нельзя. При чем же я останусь?» Но Имеритинский имел мужество признать превосходство Скобелева*, другие не были так благородны. Получивши 16 дивизию, Скобелев, по мнению Зотова, «что-то хитрит и, кажется, стремится к сепаратизму. Всеми способами, дозволенными и недозволенными, стремится к славе и к приобретению популярности. Кажется,— признается Зотов,— в моих отношениях с ним повторяется известная басня о крестьянине и змее. Вследствие заявленного мною подозрения, что Скобелев стремится быть отделенным от корпуса с 16 дивизией, Скобелев пришел со мною объясняться, причем клялся, обнимался, целовался и уверял, что он ничего подобного не желал и не добивался.

* Намечая свои операции под Ловчей, Скобелев просил кн. Имеритинского «снисходительно смотреть на некоторую его самостоятельность», на что князь ответил ему: «Михаил Дмитриевич, было бы странно, если бы я вздумал строить из себя человека, знающего больше, чем ты; ни от кого из идущих теперь с нами не сегодня-завтра в бой не секрет, что я в предстоящем для нас деле неуч сравнительно с тобой, а потому, оставаясь старшим над тобой и над попавшим под мое командование отрядом, я вполне сумею подчиниться тебе в эти дни при всех обстоятельствах, когда скажется или обозначится к тому необходимость. Ты своим большим умом поймешь, где и насколько тебе надлежит пользоваться тем *plein pouvoir*, который я тебе охотно предоставляю» (Е. К. Андреевский, Из записок за 47 лет.— «Истор. Вест.», 1916. V).

Не верю я людям, которые любят лобызаться». В конце концов Скобелев ушел со своей дивизией за Балканы, но все это уже устраивалось как-то само собой.

БОЕВАЯ ШКОЛА

Получивши отдельный отряд, а потом и дивизию, Скобелев прежде всего занялся их боевым воспитанием. В целом ряде боев под Ловчей, на Зеленых Горах, под Плевной и далее, в переходе через Балканы, в сравнительно короткое время Скобелев создал целую школу, если и не новую по своему существу, потому что она ведет свое начало от Суворова, то, во всяком случае, свежую и на фоне плевненской эпохи необыкновенно яркую. То, что солдаты говорили: «мы скобелевские», т. е. совсем особые,— является очень отчетливым выражением значительности и популярности не только их командира, но и тех военных порядков, которые проявлялись там под его командованием. В этот короткий промежуток времени — со второй Плевны до Шейнова — Скобелев проверил сам себя и крылья его окрепли. Прежде всего он подошел к солдату не по старине, а именно в духе эпохи. Русская армия в турецкую войну состояла в большинстве случаев из старых службистов, но эта армия уже была пореформенная — в нее были влиты новые всеобщие элементы всеобщей воинской повинности. Состав рядовой массы должен был поневоле измениться. Что это был за состав, можно видеть, напр., по «Запискам рядового Иванова» Гаршина. Люди старшего поколения, делавшего реформу, новый порядок принимали более теоретически, оставаясь часто при старых бытовых навыках, а Скобелев, по своим годам, сам был дитя этой эпохи, отсюда его страстное желание видеть солдата-гражданина, поднять его солдатское достоинство и создать дисциплину, построенную на сознании служебной ответственности. Отсюда его заботы о солдате. В этом отношении у него был очень зоркий глаз — по свидетельству современников он как-то умел и солдат накормить, и офицерам кое-какой комфорт доставить. Он решительно выгонял из своих частей офицеров, «чистящих солдатские зубы». «Дисциплина должна быть железною,— оборвал раз Скобелев полкового командира, ударившего солдата,— но достигается это авторитетом начальника, а не кулаком. Срам, пол-

ковник, срам! Солдат должен гордиться тем, что защищает родину, а вы его, как лакея, бьете... Гадко! Нынче и лакеев не бьют... А что касается до глупости солдата — вы их плохо знаете... Я многим обязан здравому смыслу солдата. Нужно только уметь прислушиваться к ним». Если добавить, что эта фраза была произнесена публично, с явным намерением огласки, то становится понятным влияние Скобелева на солдатские массы. Подчеркивают, что в скобелевских частях понятие чести было развито сильнее, чем в других частях армии. Когда был занят Адрианополь, то ни в городе, ни в окрестностях не случилось ни одного грабежа и наблюдалось гуманное обращение с пленными. Известен случай, как резко обрушился Скобелев на солдата, ударившего прикладом пленного турка. Полковник Панютин, служивший в скобелевской дивизии, приводит любопытный пример, когда солдаты отказались снять с убитых турок мундиры и омулеты для картин художника Верещагина, считая, что обирать убитых позорно. «Дисциплина заключается не в рабском исполнении желаний начальника. Она не только допускает, но требует рассуждений. Дисциплина не в форме, а в духе». Эти простые истины сам Скобелев прочувствовал еще в Туркестане, в своеобразных и тяжелых условиях колониальных войн. Скобелев умел просто и душевно говорить с солдатами и упрощал формалистику, приказав, напр., солдатам не вставать при обходе им траншей и т. д. Впоследствии во время утомительной до болезненности осады Геок-Тепе, Скобелев особенно заботился о солдатских развлечениях, полагая, что у нас «солдат молодой, впечатлительный, требующий серьезного за ним ухода». Почти небывалое явление — скобелевские военные советы из фельдфебелей и унтер-офицеров*. Со стороны это казалось очень опасным для дисциплины и немало создавало врагов смелому генералу.

Одним из самых важных моментов в дружной спайке между командиром и солдатами Скобелев считал личный пример. С этого он всегда начинал сам и даже не

* «Начальник части обязан выяснить гг. офицерам и фельдфебелям смысл того, что ему приказано по диспозиции делать... Еще раз напоминаю: не забывать объявлять перед делом, что собираемся делать; всякий солдат должен знать, куда и зачем он идет; тогда, если начальники будут убиты, смысл боя не потеряется». Из приказа Скобелева по 16 дивизии, 21 дек. 1877 г. у Габрова.

всегда рационально. Таков, напр., его известный трюк при переправе через Дунай вплавь на конях. Эту штуку Скобелев когда-то проделал в молодости, переправившись через Вислу, повторял потом и на маневрах, будучи уже корпусным командиром. Сам по себе этот дунайский эпизод малоубедителен — в массе он привел бы к катастрофе, — ведь на пробу переплыли только сам Скобелев с казаком, а его лошадь пала через несколько часов, но самая возможность преодоления невозможного производила на войне должное впечатление.

«Начальник должен сам водить свою часть в бой, а не посылать ее». Это было правило, от которого Скобелев не отступал. Под Шейновым болгарские части пошли в атаку, и ген. Столетов подошел к Скобелеву с каким-то замечанием, на что Скобелев резко ответил старику-генералу: «Подите прочь от меня!» На вопрос Верещагина, в чем дело, Скобелев сказал: «А за то, что он не на месте: колы его часть идет в атаку, так его место там, а не здесь около меня; я этого не люблю». В этом отношении Скобелев был без упрека, мало того, в этом искусстве вести в бой солдат видели чуть ли не единственное качество Скобелева-полководца. С того времени его образ, особенно для широкой публики, был неразлучно связан с героем на белом коне, с обнаженной шашкой ведущим войска в атаку. Надо думать, что это подлинное искусство, очевидно, было действительно редким среди генералов того времени, недаром Газенкампф записывает в своем дневнике: «У нас только один Скобелев и умеет водить войска на штурм». Здесь, конечно, нужно иметь в виду не одну храбрость, в которой в русской армии недостатка не было и которая сама по себе у начальника еще не так много и значит (храбро умирать могут и не герои), а умение создать успех, заразив людей решимостью овладеть конечной целью. Вероятно, в этом и заключается величайшее искусство полководца, его талант и гений. В конечном счете это свойство приращенное, но, как все гениальное, оно требует школы и имеет свою выучку. Конечно, у Скобелева, как и у всех военных, были перед глазами великие образцы, но в своем деле он был индивидуален и создал свои, типично-скобелевские методы боя. Впоследствии он сам изложил свои правила в немногих формулах. Прежде всего «нужно, чтобы даже небольшая часть выстрела не делала, не рекогносцируя». Этот завет крайней осторожности очень характерен

для Скобелева и как-то долгое время ускользал от оценки. Между прочим, эта присущая Скобелеву осторожность, очевидно, сберегла жизнь многим солдатам и, в частности, в последнюю экспедицию в Ахал-Теке дошла до гипертрофии. Но Скобелеву обычно бросают упрек как раз обратный, что он-де не жалел людей во время боя. Формально в этом есть доля правды. Но при каких обстоятельствах это почиталось Скобелевым необходимым? При штурме, в атаке. В этих упреках Скобелеву заключается более недоразумений, чем справедливых замечаний. Правда, Скобелев, будучи прирожденным воином, любящим войну, как спорт, видел в атаке ее высочайшее завершение и любил штурм, как моряки любят бурю. Но в атаке есть своя логика и внутренняя правда, она завершает целую операцию, и с выигрышем ее именно сохраняются жизни. Потери при штурме иногда бывают гораздо меньшими в общей сложности, чем при длительной осаде. И уже штурм, не доведенный до конца, — чистый проигрыш и бесцельная трата жизней, как, напр., под Плевной. Возможно, в этом смысле и говорил Скобелев Имеретинскому, что сдача Плевны «позорное дело», если только гр. Градовский, настроенный вообще враждебно к Скобелеву, не внес искажающих нюансов в этот разговор при первом знакомстве с генералом. Стоит только прочесть в записках худ. Верещагина про скобелевские слезы на Зеленых Горах или на панихиде по защитникам Скобелевского редута, когда он, «указывая на канавку, рытую пальцами, буквально залился слезами и потом, во время панихиды, опять горько плакал». Но самое важное свидетельство — это свидетельства солдатские. Знаменательно, что сами-то солдаты, видевшие к себе со стороны Скобелева так много забот, во время атаки у Скобелева жизни своей не жалели, понимая своим чутьем, что полководец их зря не бросит. Конечно, так водить войска в бой, как водили их большие полководцы и как водил Скобелев, можно только с опытными в этом отношении частями. И мы видим, что Скобелев, получивши дивизию в самостоятельное командование, начал регулярно и неуклонно воспитывать подчиненные ему войска по-своему. Это касалось прежде всего офицерского состава. По замечанию Паренсова, «быть при Скобелеве — это значило пройти целую школу теории, применяемой тут же на практике». Паренсов рассказывает про характерные мелочи. «При отдыхе, на

походе, в антрактах боя, даже при первоначальной артиллерийской подготовке боя — указывал на свойства местности, на положение своих и неприятельских войск, делал иногда меткие сравнения, вспоминал подходящие примеры из военной истории и т. д. Однажды он прочитал мне целую лекцию об условиях стоянки войск на бивуаке, о важности ассенизации бивуака и различных способах это устроить, в особенности если предстоит долгая на нем стоянка, прибавляя, что этому он научился у К. П. Кауфмана в Туркестане... В другой раз поучал он меня насчет того, когда начальнику колонны на походе не в предвидении боя полезно быть позади, чтобы по порядку в хвосте колонны и по количеству отсталых судить о благоустройстве и внутреннем порядке части, а также о состоянии обуви в пехоте и т. д. Поучительные рассказы его часто начинались: «Я помню...» И тут оставалось только слушать, не перебивая, разве только изредка, в случае прекращения рассказа, чтобы подзадорить его продолжать, на что он очень легко поддавался». Через эти мелочи шло изучение людей, с которыми приходилось идти в бой. Сражение — это своего рода театральное представление или спортивное состязание, к которому Скобелев приступал после очень тщательной подготовки. Его собственная роль здесь очень индивидуальна и, как у всех великих полководцев, неповторима — можно воспользоваться его некоторыми приемами, но пародировать его манеру, очевидно, невозможно; «генерал на белом коне» — явление единственное, Скобелев готовился к бою, как к судному дню: одевался в чистое, нарядное платье (и солдаты его надевали чистые рубахи). По его собственному признанию, он всегда думал, что теперь идет к смерти и что «на этот раз дело кончится худо», и если в бою он выказывал так. наз. «чудеса храбрости», то у него это было не слепое увлечение, а точный и тонкий расчет, как у актера, который во время самых патетических мест прекрасно сознает, что он на сцене. Скобелевым в бою владела только одна мысль — победы. Поэтому он делался словно каменным, сдерживал себя до последней степени и, характерно, не любил докладов во время боя об индивидуальных потерях, «не хочу знать» — были его резкие слова в таких случаях. Разумеется, это происходило не от жестокости. Поведение Скобелева в бою создало величавый, легендарный образ, разукрашенный в значительной степени и рекламой.

Из рассказов очевидцев мы знаем много случаев, как Скобелев, зная психологию толпы, умел в критический момент — ни раньше, ни позже — магическим словом, действием, а иногда впоследствии самым своим появлением поднять упавшие духом войска и дать им моральную зарядку, необходимую для боя*. Этот критический момент знают все полководцы. «Отсталые и кучки — не упрек,— очень разумно замечает Паренсов,— человек в бою звереет, но, выйдя из пекла, зверь исчезает, человек возвращается к своему настоящему образу, нервы начинают действовать, и является то, что французы называют «la détente des nerfs», и это перед лицом «безвестной смерти». Впоследствии, будучи командиром корпуса в Минске, на маневрах, Скобелев, повторяя наполеоновский принцип, что нравственный элемент на войне относится к физическому как 3:1, высказал свои взгляды на «поддержание нравственного элемента части, этого труднообъяснимого понятия, называемого духом части, как на походе, так и в бою». «Трудно дать указание,— признается Скобелев,— как подметить, в каком настроении часть в данную минуту. Это, как все на войне, зависит от обстоятельств. Ибо на войне только обстоятельства — сила. Несомненно, раз офицер подметил, что пульс части бьется слабее, он обязан принять меры во что бы то ни стало к восстановлению духа части. Какие средства он подыщет? Это дело каждый молодец решает на свой образец... Насколько я понимаю,— продолжает Скобелев,— в русской армии для этого можно опереться или на сердце, или на дисциплину в строгом ее проявлении» (после записки Скобелева о военных округах — см. далее — можно говорить и о гражданском сознании). «Мы видели в подобную минуту Суворова, который велит рыть себе могилу на Альпах. Но Суворов имел за собою измайльских ветеранов

* «Выдающиеся начальники тем и сильны, что они умеют потребовать от войск для расхода весь тот запас сил, которым войска обладают. Могущественною помощью для них служит сама природа человека. Почти нет положения, с которым бы человек не освоился. Так и в бою возможно свыкнуться с опасностью, особенно если вызываемое им моральное напряжение не растет crescendo, а ослабевает по временам и дает нервам время успокоиться». (Куропаткин. Ловча и Плевна). В этом отношении Скобелев всегда был в контакте со своими частями — в бою он не покидал их, зорко следя за развертыванием боя, готовый в любую минуту оказать личное влияние то шуткой, то своим показом, то резким окриком и т. под.

и был Суворов. Полагаю, что нам разумнее обратиться ко всей строгости уставных форм, применяя их тем строже, чем усталость и нравственная расшатанность части больше. Требовательность не только прилична, но даже в военное время и возможна лишь начальнику, подающему пример личной доблести. Применять же строгость уставных форм следует, однако ж, непременно *накоротках*. Вот почему в русской армии служебную придирчивость следует сохранять в запасе и применять ее только в минуту действительной надобности. Из моей служебной практики и лично виденного могу гг. офицерам сообщить следующее: 1. В 1873 г. в авангарде Мангишлакского отряда... не было воды и т. д. Последние десять верст были пройдены церемониальным маршем с барабанным боем. 2. 18 июля 1877 г. под Плевною один из батальонов приведен в порядок производством учения... Когда неприятель находился не далее 45 шагов, батальон держал на караул. 3. При Ловче одному из батальонов пришлось произвести «ученье ружейных приемов». Словом, не поблажкою, не попусшением беспорядков на марше и в бою достигается нравственная напряженность, которая служит залогом победы, а железною твердостью и, скажу главное, умением начальника произвести внезапное впечатление на нервы части. Средством к этому можно назвать: А. Молодецкое слово молодца. В. Музыка и песни. С. Поддержание уставного порядка, хотя бы *ценою крови*, но накоротках и без продолжительного пиления».

Примеры, приводимые здесь, взятые из боевой деятельности Скобелева, говорят отнюдь не об ослаблении дисциплины в частях, которыми он командовал, как о том ходила молва в некоторых официальных кругах. В своей «науке побеждать» Скобелев берет многое у великих полководцев, у Наполеона, еще более у Суворова, но он чужд простой подражательности и всегда умеет найти свою линию.

На Балканах Скобелева рассматривали как «победителя халатников» и ставили под большое сомнение его способность вести войну на европейском театре. Ген. Дмитриевский, являясь сторонником ген. Радецкого, впоследствии писал, что школа Радецкого является более серьезной, потому что он воевал на Кавказе, что горцы великолепные стрелки, а кокандцы

народ маловоенственный и т. д.*. Едва ли здесь большая разница — трудности войны в Туркестане не менее значительны, чем на Кавказе, — пустыня стоит гор, кроме того, туркестанцы отличные наездники и очень меткие стрелки. Но события показали, что Скобелев тем и силен, что умел ориентироваться в любой обстановке. И впоследствии, после поездки в Германию, в своем докладе он оказался на высоте своей военной задачи, и его военные прогнозы вполне оправдывали то назначение, которое предполагалось дать ему в случае нашего конфликта на западной границе.

Скобелева всегда упрекали в популярничанье, в позе, в честолюбии и проч. Все эти «грехи» ему были свойственны в высокой степени, и, вместе с тем, как много в этих упреках лишнего, бьющего мимо цели. Конечно, и белая лошадь и его обычный костюм создавали вполне определенный образ генерала-полководца, это своего рода «треугольная шляпа и серый походный сюртук», но этот образ Белого генерала, запечатленный навеки в памяти, в описаниях, в картинах, овеян легендой, сотканной из доброго материала: в нем нет места низменным чувствам, он символизирует красоту подвига, талант, личную храбрость и жертвенность, подъем человеческого духа и волю к победе. В какой степени этот образ создавался искусственно? Несомненно, Скобелев был человек с огромным честолюбием, шел к славе сознательно, расчетливо и настойчиво, создавая себе и врагов и друзей. Он был очень ревнив к своей военной репутации, искренно огорчился и страдал, когда его военные подвиги не оценивались в должной степени, не прочь был иногда перехватить и чужую славу, вероятно, его реляции были не без преувеличений, как и большинство военных реляций всех времен и народов — таково их свойство вообще, но они составлены мастерски и есть в них одно качество — при чтении их вы не видите героя-вождя, на сцену выдвигается всегда войсковая сила — от солдат до офицеров. Утверждают, что его представления к наградам были всегда так убедительно составлены, что не было возможности в них отказать. В искании наград своим подчиненным Скобелев был очень настойчив. В одном из писем к Д. С. Скалону он просит об уско-

* В. Дмитриевский. Радецкий и Скобелев.— «Р. Ст.». 1901. VI.

рении наград трем офицерам. «Вы знаете,— пишет он при этом,— я крайне редко решаюсь беспокоить главнокомандующего. Из-за себя лично никогда. В данном случае, однако, вынужден просить вас помочь и доложить его высочеству — мне трудно будет приискать себе таких офицеров в бою, доверие ко мне уменьшается, а вы знаете — «один в поле не воин»*. В противоположность многим большим людям, Скобелев не боялся возле себя талантов — из них он умел извлекать свою пользу; гораздо труднее ему было подчиняться, тут выступало не только сознание своего дарования, но и несдерживаемое, по молодости лет, самолюбие. Разумеется, он искал популярности, в этом, может быть, и заключаются те несимпатичные черты его характера, о которых упоминают многие, лично знавшие его, был склонен вообще к некоторой аффектации — переходил на «ты», целовался, менялся крестами и оружием. По словам Верещагина, на Балканы Скобелев привез множество собственных портретов, которые и раздавал довольно щедро. Возле него всегда толпилась туча корреспондентов, из которых многие не жалели красок, и, может быть, в его легенде пылкие строки В. И. Немировича-Данченко сыграли немалую роль. Но, в сущности, этот корреспондент-писатель не создал, а только пытался разгадать тайну военного дарования Скобелева, и Скобелев вовсе не побледнел после его романов, потому что оказался сложнее фигуры, нарисованной пылким беллетристом. По-видимому, подлинное дарование не боится рекламы — она его неизбежная спутница, а не необходимость... Что же до упреков в честолюбии, то само по себе это свойство не совсем отрицательное, — весь вопрос, кому и чему оно служит, и скобелевское честолюбие вполне оправдывалось той целью, которой он служил.

Театральность и аффективность Скобелева тоже были служебного свойства, они не были ему присущи по натуре и проявлялись лишь в необходимой обстановке, напр. в бою. Умевший эффектно показаться войскам и произнести в бою театральные фразы, он очень смущался всяким парадом и очень терялся, конфузился на официальных приемах. Так, напр., очевидцы рас-

* «Р. Ст.», 1908. VIII.

сказывают, что после Шейнова при встрече в. к. главнокомандующего, Скобелев весьма мучительно разучивал церемониал встречи, соответствующие слова команды и проч. Он совершенно не был плац-парадным генералом, даже к маневрам относился с некоторым смущением. Что же касается его приказов, писем, записок, докладов и проч., то они поражают своей деловитостью, даже сухостью и совершенно лишены пустой фразеологии.

ТРЕТЬЯ ПЛЕВНА

Вероятно, за всю скобелевскую жизнь не было более яркого и патетического момента, как атака Плевенских редутов 30 августа. До сих пор нельзя читать без волнения об этих моментах, полных высокого трагизма и внутренней силы. И чем короче описание этого боя, чем оно суше, тем сильнее выступает все напряжение подвига полководца. «Я был до 30 августа молодым, а после 30 августа сделался стариком»,— говорил Скобелев.

Этот бой в настоящее время изучен в мельчайших подробностях, и едва ли теперь найдутся охотники защищать ту невероятную бестолковщину, диспозицию, которая была разработана главной квартирой. Нет сомнения, что и тогда, накануне боя, южное направление считалось одним из главных, на котором турки могли оказать отчаянное сопротивление, и что, следовательно, на этом направлении всякий успех должен был быть особенно замечен и развит. Из дневника Газенкампа видно, что ген. Левицкий прекрасно это учитывал. Накануне он ездил в отряд Скобелева. Об этом имеются свидетельства Паренсова. Левицкий отнесся к своей поездке очень формально, а когда Скобелев предложил ему поближе ознакомиться с позициями, то Левицкий быстро уехал, отговорившись, что ему некогда и проч. Много говорили, что Левицкий терпеть не мог Скобелева,— это была будто бы старая вражда, которая сказалась и здесь. Действительно, остается и теперь непонятно для военных авторитетов, как не было понятно и тогда, как можно было Левицкому, сделавшему из всего виденного те выводы, которые он сделал, совершенно забыть о них во время самого штурма. Левицкий доложил, что «турки не мо-

гут отдать те высоты, которые приходится атаковать Скобелеву, потому что с них обстреливается и город Плевна и весь турецкий укрепленный лагерь, в котором стоит их резерв. Атака этих высот поведет к самому кровопролитному бою: не следует делать себе иллюзий на этот счет». Эти слова Левицкого Газенкамф записал тогда же, и Левицкий имел мужество от них не отказаться. Таким образом, для главной квартиры не могло быть неожиданностью, после успеха Скобелева, упорное сопротивление турок в этом пункте. О штурме 30 августа много писали и тогда и после. В настоящее время суждение о нем, и о действиях ген. Скобелева можно считать сложившимся и сданным в историю. Для немецких стратегов, зорко наблюдавших за карьерой Белого генерала, этот штурм был своего рода классическим и вошел в учебники. Исследованию Куропаткина, который писал свою «Ловча и Плевна» при ближайшем просмотре самого Скобелева, не противопоставлено серьезных возражений. Штурм Плевны, по его словам, велся без общего резерва пехоты. На главном пункте действовало 22 батальона, а на второстепенном 84. Выработав диспозицию, главное командование совершенно не умело ориентироваться в создавшейся обстановке и развить успехи. В свое оправдание в штабе говорили, что-де Скобелев взял не тот редут, который надо и т. д.*. Словом, общее заключение — Скобелеву нужно было не так уж много для того, чтобы удержать редуты за собою, по мнению Куропаткина — какую-нибудь бригаду с 30 орудиями, и Осман-паша, по отбитии пятой атаки, ночью должен был бы отступить. Во всяком случае брешь, пробитая Скобелевым в Плевну, была настолько значительна, что высшее командование должно было ей воспользоваться. Но этого не было, и молва не без некоторого основания упрекала Левицкого, сводящего якобы старые счета со Скобелевым**.

* Не только теперь, но и тогда прекрасно было известно, что Скобелев овладел самой уязвимой для турок позицией, которую, впрочем, так же оценивал и Левицкий.

** Характерно, что Левицкий получил, в конце концов, за Плевну Георгиевский крест за то, что... отсоветовал снять блокаду Плевны. Этот крест дал ему сам император, статут тут был ни при чем, и это было очень характерно для военной среды, шившей, что Скобелеву его крест еще заслужить надо.

Самая диспозиция штурма была достаточно хитроумна. Штурм был назначен на 3 часа с умыслом: «легче будет удержать за собою занятые позиции, когда смеркнется», совершенно забывая, что темнота может обратиться и против атакующих, что и случилось. С темнотой живая связь через ординарцев сделалась чрезвычайно затруднительной. Один из них, посланный известить государя о взятии Гривицкого редута, проплутал целую ночь; в темноте не смогли подвести батареи и т. д. Напуганный неудачными сведениями, государь поехал в Радоницу, и целых четыре часа блуждали, ехали шагом, едва находя дорогу. Общая канонада, начавшаяся с рассветом, была с перерывами, причем на нее турки не отвечали, и она была малодействительна — многие снаряды не разрывались. Демонстративный характер канонады откровенно выдвигался вперед. Самое направление штурма не на наиболее уязвимые и важные пункты на левом фланге, как признавал и сам Левицкий, а по общему фронту, чтобы потом обрушиться на левый фланг, вызвало даже замечание ген. Зотова: «Да ведь это и смысла не имеет». Однако благодаря Левицкому остановились на этом «бесмысленном» решении.

Штурм 30 августа описывался бесконечное количество раз; в романах Немировича-Данченко ему посвящены сотни страниц восторженных, пылких описаний, — в значительной степени создавших скобелевской Плевне особую популярность в России. Но, присмотревшись ближе, пройдя день за днем, час за часом по сухим реляциям и рапортам, мы восстанавливаем картину боя, в котором Скобелев встает во всей своей величавой простоте и силе. Атаки 1 и 2 редутов Плевны не требуют пышных описаний — самые простые слова здесь говорят сами за себя.

Стоял туманный полудожливый день. Вязкая, мокрая почва. Не только по пахотной земле, но даже по дорогам с трудом могли двигаться люди и кони, скользя по грязи и падая. Войска скобелевского отряда, утомленные боями на Зеленых Горах, с 11 ч. утра 30 августа уже вели бой за третий гребень, овладеть которым предварительно было необходимо для нанесения последнего удара по Плевне с южной стороны. Отстреливаясь от напавших турецких стрелков, войска залегли в закрытиях, ожидая общей атаки. Вскоре,

согласно общей диспозиции, огонь русских батарей прекратился, и это на войска, уже введенные в бой, подействовало очень тягостно — в работе артиллерии для пехоты всегда чувствуется поддержка*. Ровно в 3 часа дня Скобелев двинул вперед Владимирский и Суздальский полки с распущенными знаменами, музыкой и барабанным боем. Предстояло спуститься с горы, густо поросшей виноградником, перейти ручей, текущий в крутых берегах, взобраться на каменную крутую высоту, тянущуюся сажень на 400, и овладеть находящимися на этой высоте двумя редутами, связанными между собою ложементами.

Первая линия атакующих, достигнув ручья, приостановилась, и только густая стрелковая цепь, продвинувшись далее, залегла на голом скате, терпя сильные потери. Скобелев послал револьверов поддержать атаку. Револьверы двинулись в атаку, как на параде, дошли до ручья, перешли его и стали взбираться по скату голой высоты, увлекая за собой владимирцев и суздальцев. Но и револьверы, дойдя до середины ската, остановились, а оставшиеся вблизи ручья части владимирцев и суздальцев и стрелки 9 и 10 батальонов, отделившись кучками и одиночными людьми, повалили назад. Минута была критическая. Необходимо было или бросить весь последний резерв в боевую линию и сломить турок или, ввиду неудачи атаки 4-го корпуса, под прикрытием резерва отступить. О третьем решении — сменить атакующих свежими частями — не могло быть и речи — «что не могли сделать 11 батальонов, было бы безрассудно возлагать на 5». И Скобелев пишет в своем донесении: «Подкрепив атакующих 12 свежими ротами либавцев и 11 и 12 стрелковыми батальонами, я двинул эти части вперед, поднял владимирцев, суздальцев, револьверов, остатки стрелков и двинулся на редут № 1. При приближении нашем к первой линии неприятельских ложементов мы бросились на них с криком «ура». Турки не выдержали и бежали

* По словам Гр. Градовского, один командир батареи просто душою выразил мнение начальства, штурмовавшего Плевну: «Мы стреляем скорее беспокойства ради, чем для серьезного вреда. Ведь Плевну мы думаем взять не бомбардированием». Невольно вспоминается песня про «именинный пирог из начинки людской» и о выражении, записанном Газенкампом, что «нынешняя война — неудачный пикник дома Романовых».

в редуты». Как изумительно просто сказано подчеркнутое курсивом! А между тем это целая эпопея, изложенная в нескольких скромных словах. Минуты, о которых сказано в таких скромных выражениях, составили то, что передавалось из поколения в поколение и стало легендой, разукрашенной на многих страницах романов. Куропаткин описал этот момент сжато и выразительно. С третьего гребня, на скате которого стоял Скобелев, было видно, как туманная долина поглощала атакующие полки один за другим. Неподвижно, не спуская глаз с редутов, стоял Скобелев верхом, окруженный штабом, с конвоем и значком. Скрывая волнение, он старался бесстрастно-спокойно глядеть, как полк за полком исчезали в некле боя. И когда успех боя окончательно поколебался, когда уже кучки солдат с противоположного ската стали подаваться назад, тогда Скобелев «решил бросить на весы единственный оставшийся в его распоряжении резерв — самого себя... Давши шпоры коню, Скобелев быстро доскакал до оврага, спустился, вернее, скатился к ручью и начал подниматься на противоположный берег». Появление любимого командира, бесстрашно идущего на врага, подняло дух усталых и павших духом солдат. Атаки шли густыми цепями, полки перепутались, но это здесь уже не имело места — войска бросались кучками, поодиночке, в общем, нестройной массой, но у всех была одна-единственная цель — следовать за полководцем к победе... Скобелев не только воодушевил войска («поднял», как он выразился), но был впереди до конца, одним из первых добрался до редута и скатился с лошастью в ров. В рукопашном бою у солдат внезапно появилось сознание безмерной ценности этого человека, которого нужно охранять, как символ, как знамя, и, редкий случай, во время жаркой рукопашной схватки солдаты и офицеры окружили Скобелева, умоляя его уйти из опасного места; тяжело раненный майор Либавского полка тащил Скобелева за ногу; генерала посадили на лошадь насильно и вывели из редута...

Всего этого, конечно, в официальной реляции Скобелева нет, даже глухо упомянуто, что войска ворвались в редут под его личным предводительством и что генерал был при этом одним из первых. Характерна для Скобелева и обстоятельность его рапортов-донесений. Его рапорт от 3 сент. кн. Имеретинскому составляет 8 стр., а Зото-

ву — 19 стр. печатного текста, тогда как донесение самого Зотова обо всем штурме занимает 4 стр., командира 4 корпуса о действиях 18 батальонов, потерявших $4\frac{1}{2}$ тыс. человек, — 1 стр. (и то с неточностями в обозначении полков). Скобелев любил обстоятельно подводить итоги — ведь война учит. И сравните запись у Газенкампа от 8 сент., т. е. после Плевны, о командирах вообще: «Чрезвычайно характерно, что после каждого сражения — начальствующие лица на несколько дней складывают руки. И не только ничего не делают, но даже перестают думать и заботиться о будущем».

После Плевны Скобелев был признан героем. В штурме хотели найти светлые стороны, и они, в большинстве случаев, вели к Скобелеву. Против напора общественного мнения, идущего из воинской толщи, идти было невозможно — на фоне тусклой посредственности главного командования генералы вроде Скобелева горели, как звезды. Отношение к нему изменилось. Государь его благодарил и даже пил за его здоровье, оказывая ему за обедом особое внимание. Вел. кн. главнокомандующий приезжал к больному Скобелеву на позиции, наследник «тоже очень смягчился» и проч. В середине сентября Скобелев получил в командование 16 дивизию, о которой на всю жизнь сохранил теплые воспоминания. При обложении Плевны на Зелених Горах упорные бои, которые многие считали ненужными, вызывавшимися лишь личною прихотью храброго генерала, который будирует неприятеля, вызывая его на постоянные стычки и пр. Слухи эти задевали Скобелева и заставили его, больного, из Брестовца обратиться к гр. Адлербергу. «Мои доброжелатели, — пишет Скобелев 9 ноября 1877 г., — обратили будто бы внимание государя на то, что с выбытием меня из фронта все вдруг успокоилось на Зеленой Горе. Между тем дело вот в чем: я выбыл из фронта в ту ночь, когда были закончены все работы по линии огня внешних траншей; с того дня мы занимались исключительно укреплением внутриности позиций, обеспечением расположения резервов и доступов к ним. Поистине, что неприятель, 7 раз с большим для него уроном отброшенный, когда мы еще не успели укрепить на позиции, теперь оставляет нас в покое, тем более что мы с этого времени ни шагу не продвинулись траншеей вперед. Прошу тебя, добрый дядя, обратить внимание на мое объяснение: было бы слишком горестно, если мою

беспредельно преданную службу успели бы представить государю опять в превратном смысле*. Старые душевные раны опять задеты. Получивши письмо от К. П. Кауфмана, Скобелев пишет Адлербергу: «Я желаю, чтобы ты видел еще раз, в каких отношениях я с ним был и остался. Как-то странно кажется тон этого письма с невыясненными для меня до сих пор причинами смены из Ферганской области. Неужели представитель государя так слеп, или я так преступно вел свои дела, что 8 месяцев спустя после того, как я лишился власти в крае, ген.-губернатор не успел напасть на след моей отрицательной деятельности, и отрицательной настолько, что вынудило государя меня так сильно наказать».

Лечась от раны, в тылу, Скобелев просматривает газеты, знакомится с политическими новостями и высказывает опасение, что англичане попытаются вооружить новейшими ружьями среднеазиатцев, так же как и турок успели вооружить. В этом отношении военная сила азиатцев очень усилится. Теперь, после Плевны, Скобелев пишет, что, «хорошо зная нашего среднеазиатского неприятеля, уверен, к несчастью, что сволочь Бухарского эмира, вооруженная скорострелками, отсидится в каком-нибудь Кермине (главная крепость Мусса фар-Эддина-хана) не хуже турок под Плевнами». Скобелев очень опасается, что Турция после войны снабдит ненужным ей оружием среднеазиатцев**.

ШЕЙНОВО

Переход через Балканы, спуск в долину и разгром под Шейновым армии Весселя-паши — новые страницы военной карьеры ген. Скобелева. Как и многие страницы

* Арх. Б.-Б.

** Арх. Б.-Б. Во время сидения под Плевной Скобелев получил телеграммы от своей жены с просьбой о разводе. «Какой смысл теперь в этих разговорах,— пишет Скобелев сестре Надежде 29 ноября «Devant Plevna»,— когда смерть над нами витает ежеминутно, когда между нашей передовой цепью и турецкой немного более 100 шагов. Я, право, не думаю ни о чем другом, как умереть за веру и отечество и, конечно, нашел бы в себе силу отвернуться в настоящую боевую минуту даже от образа страшно любимой женщины. Но, как ты знаешь, мне до сих пор этого и делать не приходилось»,— не без иронии прибавляет Скобелев. В этом же письме он говорит об огромных потерях в его дивизии (прося не сообщать этого никому постороннему) и просит прислать для него теплых вещей.

его биографии, и эти были описаны и расписаны и писателями, и корреспондентами в самых восторженных тонах и увековечены в знаменитой картине Верещагина «Скобелев под Шейновым»*. Но и эта, блестящая по внешности, победа Скобелева вызвала очень резкий отпор, во всяком случае некоторые оговорки, не только среди противников, но даже среди лиц, вполне ему сочувствующих. Так, ген. Леер, один из бесспорных почитателей Скобелева, в Военной энциклопедии в статье о Скобелеве говорит, что Шейново — единственно темное пятно во всей военной деятельности Белого генерала. Скобелеву тогда было брошено в упор обвинение в преследовании своих личных целей в бою, в иерархическом выполнении приказаний и, наконец, в уклонении ради своекорыстных соображений от помощи товарищу в бою. Определенное отношение к этому моменту его участников составилось уже во время самого боя, выразилось в довольно резких столкновениях, охлаждении и проч. и перешло в последующие годы. Ген. Радецкий впоследствии, в академии, сказал Скобелеву: «Вы пришли к шапочному разбору — лавры пожинать». Газеикампф рассказывает, что нач. штаба Радецкого ген. Дмитриевский много и горячо выговаривал Скобелеву за его позидию помощь Святополк-Мирскому, взявшему на себя всю тяжесть борьбы с турками. 1-го января 1878 г., после обеда у Радецкого, Скобелев горячо оспаривал перед Дмитриевским свое первенство в пленении Весселя-паши и жаловался на Святополк-Мирского, который не только этого не признает, но еще возводит на него «разные напраслины». Газеикампф записывает после этой беседы, что, по видимому, «пререкания между Скобелевым и Мирским начались еще во время сражения и что, кажется, виноваты оба».

Фактически пленил армию Весселя-паши, конечно, Скобелев, который, будучи ревнивым в отношении своих успехов в Ставке, мало к нему расположенной, усилению, и не всегда успешно, добивался этого признания. Каждый старался представить дело в своем освещении. Узнавши от Святополк-Мирского, что едет в

* На выставке картин Верещагина в Берлине, которая для военных была почти запрещена, перед этой картиной долго стоял Мольтке, оценив, как пафос самого момента, так и грозную силу будущего главнокомандующего в грядущей русско-германской войне.

Ставку полк. Скобелев, не склонный приписывать успех Скобелеву, Скобелев командировал в Ставку Верещагина обрабатывать верховное командование. Наверху немного надулись на Скобелева и, после оаций, которых удостоился Радецкий от вел. князя главнокомандующего («Федору Федоровичу — ура!»), Скобелев получил только кивок в то время, как целовал вел. кн. в плечо.

Здесь, как нигде, так ярко не обнаружилась вражда двух русских стратегов — Радецкого и Скобелева, причем Скобелева обвиняли именно в том ужасном в военном отношении проступке, в чем упрекал высшее командование за третью Плевну и Скобелев, — в неподаче помощи соседу при атаке. По-видимому, по этому вопросу среди военных историков нет полного единогласия, но перед читателем возможно восстановить всю картину этого эпизода, в сущности, окончательно переломившего всю кампанию. Но уже наперед, разбирая этот эпизод, необходимо сделать оговорки и прежде всего напомнить, что самый упрек Скобелеву брошен не как генералу, проигравшему сражение, нет, — как генералу-победителю, в том что он будто бы отсрочил эту победу, по крайней мере, на один день из-за своего честолюбия и т. д. «Победителя не судят». Скобелева, и как победителя, всегда судили. Но все-таки посмотрим, насколько это справедливо.

19 дек. 1877 г. было решено войскам генералов Радецкого, Святополк-Мирского и Скобелева 2-го двинуться через Балканы, спуститься в долину Казанлыка, охватить с обоих флангов Шипку и отрезать войска Сулеймана-паши. Надо сказать, что операция, вызванная действиями авангарда ген. Гурко, встречена была далеко не единодушно. Оборванная и плохо снабженная армия должна была перенести тяжесть зимнего перехода через Балканы. В донесении в. к. главнокомандующего государю этот переход описан в самых удручающих тонах. Предполагалось, что правая колонна ген. Скобелева пойдет от Зеленого-Древа на Имэтли, левая — ген. Святополк-Мирского — от Теплиша на Гузово и Янину. Предполагалось, что обе колонны, соединившись у Имэтли, начнут охват Шипки и т. д. Движение предполагалось начать не ранее 24 декабря. Радецкий, проектируя переход через Балканы осенью, теперь был резко против дальнейшего продвижения

зимой: он-то уж знал, что такое зима на Шипке. В конце концов, после специальных уговоров, он решил начать обходное движение, хотя и с большим сомнением в успехе. Впрочем, по словам Газенкампа, он был «совершенно спокоен, говорит, «что Николай Чудотворец так прекрасно вел себя всю кампанию, что и теперь нас не оставит». Это далекое от бодрости и отваги настроение в отряде кн. Святополк-Мирского переходило почти в панику. Сам начальник вел себя странно,— «вслух ропщет, предрекает неудачу и заранее винит всех, кроме себя». Унылое настроение было распространено и во всей его (9-й) дивизии, в которой даже сложилось убеждение, что «князь — несчастливый: куда ни придет, несчастье случается». Против этого зимнего похода был и Куропаткин, начальник штаба Скобелева, считая этот маневр невозможным. Впрочем, этот переход считали невозможным и турки, и такие сторонние наблюдатели, как ген. Мольтке. Только один Скобелев был уверен в успехе и по своему обыкновению начал готовиться к нему заблаговременно. Как известно, он на это был большой искусник — у солдат оказались набрюшники, на ногах проваленные портянки, запасы сухарей, вареной говядины, чаю, дров для костров и т. д. Были приняты меры на случай замерзания и проч. Колонна Мирского начала движение 24 декабря с рассветом, потому что ей приходилось сделать переход больший, нежели Скобелеву, который выступил 24-го же, но вечером. Переход был очень трудным, в обеих колоннах принуждены были отказаться от перетаскивания полевых орудий. 26-го колонна Святополк-Мирского вся подошла и спустилась в долину Тунджи и с боем заняла селения Горний и Дольний Гузов. 27-го утром в 12 часов Святополк-Мирский развернул свои войска и повел их в атаку на турецкие позиции. В колонне же Скобелева произошла задержка. Он не мог подтянуть свои войска к указанному сроку. Утром 27-го отряд Скобелева, спускаясь по склону Балкан к Имэтли, был встречен сильнейшим огнем турок. При рекогносцировке, которую по своему обыкновению произвел Скобелев, огонь достиг огромной интенсивности (тогда был ранен Куропаткин), и пришлось выбивать турок из камней. Знаменательно, что полк. Панютин выбил турок ружьями Пибоди, которыми Скобелев вооружил после Плевны один батальон. С высот Скобе-

лев видел, как с другой стороны Шейнова Святополк-Мирский начал наступление. У Скобелева спустились только 2 полка из 16 дивизии и один казачий полк. Первой мыслью Скобелева было двинуть части к Шейнову и занять траншеи. Бой со стороны Мирского разгорался. Скобелевские части спускались крайне медленно — кавалерия в узких проходах совершенно загородила путь пехоты. Тем не менее Скобелев построил батальоны к атаке и открыл стрельбу из маленьких орудий, которые не всегда доставали до неприятеля. Начинало темнеть. Передовые войска полк. Панютина стояли совсем близко к неприятелю, и турки ожидали атаки, и, несомненно, это отвлекло некоторые силы от Святополк-Мирского. Скобелев переживал мучительные минуты. Ясно, что он должен был идти на «выстрелы», но он не без основания должен был предполагать, что неприятель стоит здесь давно и на продолжительных позициях, не говоря уже о том, что держался упорный слух о Сулеймановских авангардах. За поздним же временем Скобелев мог бросить только два полка, не имея более никаких резервов. В военном совете приняли участие ген. Столетов и полк. гр. Келлер, начальник штаба (вместо раненого Куропаткина). Мнение их было совершенно категорично. Впоследствии ген. Парнесов вспоминал, что гр. Келлер брал на себя всю ответственность за отсрочку наступления. Верещагин рассказывает, как мучился Скобелев этим положением, представляя себе будущие возможные упреки. В экспозиции было сказано, что обе колонны должны были атаковать неприятеля с обоих флангов, хотя день точно не был указан, но велено было собраться 26-го вечером, очевидно, день 27-го и был предположен днем атаки. Чтобы войти в обстановку, Скобелев послал ординарца к Радецкому, сообщив о положении в своем отряде. К утру 28-го уже получен был ответ Радецкого с одобрением скобелевских предположений (правда, задним числом). Всю ночь Скобелев нервничал, чувствуя какую-то свою внутреннюю неправду, но и утром не особенно торопился с атакой. Было серо, стоял туман, догорали солдатские костры, зажженные в увеличенном количестве для демонстрации. Было тихо, с обеих сторон готовились. Теперь весь отряд был в сборе. Первыми пошли в атаку стрелковая бригада и болгарское ополчение. Несмотря на огромный напор, атака

была отбита. Тогда был послан полк. Панютин с Углицким полком, с музыкой и развернутыми знаменами. «Если отобьют Панютина, я сам поведу войска», — сказал Скобелев. Очевидно, пахло третьей Плевной, пришлось подкрепить угличан, потерявших более 300 человек в этой атаке. В это время Радецкий решился, не дожидаясь занятия Шипки обеими колоннами, на фронтальную атаку: накануне потери у Мирского были огромны — он буквально изнемог в атаках 27-го и остался почти без патронов. Тем не менее 28-го Мирский возобновил атаки. Спротивление турок было очень упорно — во всех трех отрядах выбыло до 5000 человек, в том числе 130 офицеров. Весьма возможно, что удар Скобелева был последним, сломившим армию Весселя-паши. Для Радецкого, ведшего эту борьбу очень долгое время, и для Мирского, принявшего на себя всю тяжесть боев 28-го дек., решающее выступление Скобелева, закончившееся сдачей Весселя-паши, внешне вырывало у них победу. В этом отношении претензии Скобелева, что «именно он» пленил армию Весселя-паши, как упорно, задорно и, в условиях того времени, не особенно тактично добивался Скобелев, могли раздражать военное общественное мнение. Трудно произнести окончательный приговор по этому делу даже теперь. Упорство турок 28-го дек., перед сдачей, огромные потери у русских и неудача первой атаки Скобелева оправдывают осторожность Скобелева не бросаться, на ночь глядя, с малыми силами на неприятеля, несомненно, очень сильного. В конечном решении должна была стоять цель — нанести верный удар, что и сделал Скобелев, отложив решительный удар на 28 дек., ограничившись накануне лишь демонстрациями. В общем, расчет Скобелева оказался верным, и трудно думать, что его атаки со слабыми силами 27-го могли сломить турок — и время было позднее, и сам Радецкий не думал тогда еще выступать со своей лобовой атакой, которая стоила ему 1700 чел.

Упреки, которые делаются Скобелеву за Шейново, весьма принципиальны — его упрекали в том, в чем он сам упрекал высшее командование в третью Плевну, т. е. в недопустимом подчинении общественных задач личным интересам. Этот упрек следует снять со Скобелева окончательно. Не говоря уже о том, что во вторую Плевну свою задачу помощи он выполнил превос-

ходно, Скобелев принципиально преследовал точку зрения подобного рода сепаратных выступлений на войне. В этом отношении есть любопытное место в его письме к И. И. Маслову, старому другу семьи, управляющему его имениями, от 25 дек. 1881 г. Скобелев вспоминает о своем первом деле: «Зимою 64-го года, когда польское восстание было на исходе, отряду, в котором я состоял (полк. Зайкисова), пришлось действовать сообща с отрядом майора Бентковского. По разным, не зависящим от обстоятельств, причинам это *желанное* совместное действие не состоялось. Бентковский разбил банду Шемиота *наполовину*, но зато без нас, а сам по себе... Спустя несколько времени встречаюсь с Бентковским в Кельцах и жалуясь, как молодой офицер, что он лишил нас дела. «За кого вы меня считаете,— отвечал Бентковский,— ведь банда моя, *я ее два месяца воспитывал для себя, а не для чужих*» (подчеркнуто красным карандашом). Понятно, что самостоятельный бой при существующей пока у нас бессмысленной системе наград в военное время обеспечивает и самостоятельную награду. Не перевелись еще на Руси,— добавляет Скобелев,— ни такие майоры, ни такие ген.-майоры, ни даже выше»*.

Сейчас же после взятия в плен армии Весселя-паши поднялся вопрос о том, кто был виновником этого. По конечному результату заслуга как будто принадлежала Скобелеву — так думал и он сам, и все его сотрудники, за исключением, может быть, ген. Столетова, у которого об этом деле остались не особенно хорошие воспоминания (атака его частей была отбита, а затем Скобелев очень резко и грубо обошелся с ним во время боя за то, что тот не пошел в атаку вместе со своею частью). Передавая полк. Скобелеву материалы по этому бою для доклада государю, Скобелев, по словам Соболева, сказал: «Наконец, я желаю, чтобы ты констатировал перед государем императором, что, понимаешь, я взял армию Весселя-паши». На что Соболев будто бы ответил: «Никогда этого не скажу, так как это неправда», — и стал приводить аргументы в пользу Радецкого, войска которого вообще вынесли на своих плечах всю тяжесть шипкинских боев. На это будто бы Скобелев сказал: «Ты совершенно прав, и я

* Арх. Б.-Б.

с тобой вполне согласен». Такой ответ — к чести Скобелева, и тогда понятно его беспокойство за правильное освещение причин его запоздалой атаки, нанесшей турецкой армии последний удар. Мы знаем, какое бывало раздражение против Скобелева при распределении наград и проч. Данные, которые приводит Скобелев в своих записках об этом бое, не подтверждают выводов автора, что Скобелев был не прав, не атакуя турок 27 декабря. Соболев признает; что Скобелев не мог знать прежде всего положения вещей. О своих колебаниях он сообщил Радецкому, от которого в конце концов было получено одобрение атаковать турок всеми силами, а не отдельными частями. Не вина Скобелева, что в распоряжениях в этом бою была полная неразбериха. Признает это и Соболев, указывая, что всему виною был... телеграф. Приказание главнокомандующего о проведении телеграфной линии в отряд Святополк-Мирского не было исполнено, и колонна Скобелева не имела сообщения с Шипкою, на что горько жаловались и Радецкий, и Святополк-Мирский. «Даже за отсутствием телеграфа 27 декабря ввиду ясной солнечной погоды колонны могли переговаривать между собою и ген. Радецким, если бы в войсках имелся гелиограф. К сожалению,— говорит Скобелев,— гелиографы лежали где-то в складах на берегу Дуная»*.

Упреки Скобелеву падают, если мы вспомним некоторые факты и потери этих боев. Радецкий утром 28 дек. атаковал Шипку в лоб, спустившись с горы св. Николая,— это стоило 22 офицеров и 1700 солдат, но это удержало 22 табора и всю артиллерию. Колонна Мирского в двухдневных боях потеряла 70 офицеров и 2030 солдат, и только при этих условиях Скобелеву удалось вырвать победу при двух сильнейших атаках, потеряв 44 офицера и 1430 солдат. Можно предположить результаты, если бы он с наступлением ночи атаковал с двумя полками без всяких резервов и без атаки самого Радецкого, не говоря уже о том опасении, что за армией Весселя-паши стоит Сулейман!

* «Рус. Ст.», 1889. V. В Ахалтекинскую экспедицию гелиографы действовали с большим успехом — Скобелев не забывал опытов войны.

Вполне оправдывает в этом отношении действия Скобелева проф. Витмар («Р. Ст.». 1908. V). Наоборот, ген. Дмитриевский упрекает Скобелева не только в неподаче помощи вовремя, но и в том, что он медленно шел («Р. Ст.». 1901. VI). Последнее уже прямо невероятно — ведь не намеренно же замедлял свои шаги Скобелев в походе! Если отголоски этого отношения к Скобелеву с достаточной интенсивностью дошли до нашего времени, то можно себе представить, какая буря негодования обрушилась тогда на молодого и задорного генерала, авторитет и популярность которого в войсках росли неудержимо, невзирая на сердитые взгляды начальства. В окружении ген. Радецкого о ген. Скобелеве было составлено мнение как об интригане и проч. Любопытен отзыв о нем Дмитриевского в письме к Драгомирову. «Хотя Скобелев в душе и был плут, но, безусловно, человек талантливый, имевший способность к себе привязывать бескорыстно, одну свою симпатичную личность, лишь бы только тот не становился ему поперек дороги». Припомним и отзыв кн. Шаховского, после Ахал-Теке. «Скобелев был человек малосимпатичный, но обаятельный». И до сих пор трудно разобраться в этих несколько противоречивых характеристиках. Документы показывают нам его вдумчивость, а переписка — страдающую душу. Но нам важна оценка Скобелева как военного деятеля. В этом отношении чрезвычайный интерес представляет письмо ген. Драгомирова (к Дмитриевскому?) из Кишинева в 1878 г., возможно, вскоре после Шейнова. «Скобелева нравы знаю, но он военный до мозга костей и *c'est tout dire*. Ведь и Наполеон и Цезарь были мошенники, да еще какие. Не надуешь, не продашь, — говорит пословица. И помнится, еще Т. Мур (заметь — идеалист) хоть и с грустью, но не мог не признать: «*que pour parvenir dans ce monde il faut tricher*». А Скобелев хочет всем своим существом или, т. ск., брюхом. Я так тебе скажу: будь Скобелев главнокомандующим, охотно и не задумываясь пойду к нему под команду, невзирая на то, что он у меня в академии сидел на скамье; к Гурке, который старше меня и моим учеником не был, не пойду ни за что по воле. Скобелев именно все то имеет, что и ты признаешь за ним; предприятие, самое дерзкое в глазах толпы, у него является даже не рискованным: он себя не пожалеет, чтобы

осмотреть место, если нужно — и несколько раз, и, разумеется, после этого идет наверняка. На мой глаз, Скобелев — человек большой и с вполне заслуженной военной репутацией. Шарлатаны без содержания — явление возмутительное; но человек, способный, делающий дело и прибегающий к шарлатанству как средству, чтобы разблагостить об этом деле, право, заслуживает не столько упрека, сколько та среда, которая приводит умного человека к убеждению, что без этого нельзя. Правда, сделав на рубль, он покажет, что сделал на десять, и это, если хочешь, нехорошо, но есть нечто, более мерзкое: когда человек не делает ни на копейку, даже того хуже, путает и портит, а пускает сигналы, что сделал на десять рублей*. Это признание современника (впоследствии видного военного деятеля) — замечательно; оно важно не только для выяснения некоторых сторон Скобелева, но и для характеристики того военного общества, в котором пробивал себе дорогу генерал с исключительными способностями.

Кстати, о преувеличенных реляциях Скобелева. Что касается обрисовки в них собственной личности, то что может быть скромнее и обстоятельнее его большого рапорта — описания боя 30 августа под Плевной! Вообще же его реляции, по словам ген. Кладищева, были так толково и логично составлены, что с ними невозможно было не считаться. Скобелев любил награждать других — это была его тактика — и настойчиво добивался утверждения наград по его представлению**. Он подбирал, таким образом, спаянную группу офицеров-единомышленников в бою. Получивши самостоятельный отряд на Балканах, Скобелев немедленно же выписал к себе из Туркестана несколько офицеров. И впоследствии он применял ту же тактику — создавалась скобелевская школа.

* «Ист. В.». 1915. № 3.

** Выше я уже указывал на жалобы Скобелева в этом отношении в Турецкую войну, и впоследствии он не перестает жаловаться на медленность в этом отношении. Так, в одном письме к ген. Обручеву он пишет: «Скоро годовщина штурма Геок-Тепе. Если бы вверенные мне тогда храбрые и доблестные гг. офицеры также торговались своею кровью, как теперь это делается с заслуженными ими наградами, то вряд ли Геок-Тепе было бы теперь наше». Арх. Б.-Б.

1.

После разгрома под Шейновым война, в сущности, была окончена. Сопrotивление турок было сломлено. Остатки армии Сулеймана-паши спешно отступали, и 8 января 1878 г. набегом ген. Струкова уже был занят Адрианополь. На другой же день после занятия Адрианополя турецкие уполномоченные появились в Ставке главнокомандующего. Очень метко определил этот перелом в войне Скобелев в письме к гр. Адлербергу из Св. Георгия под Константинополем от 22 янв. 1878 г. «Бог дал нашему государю победу, какой еще не одерживали наши отцы и вряд ли увидят наши внуки. Кто мог бы ожидать этого по началу кампании! Азия и на этот раз оправдала себя: огромная сила сопротивления при обороне, относительно большая, против европейских масс, неуязвимость в смысле стратегическом, но зато впечатлительность огромная. Пошатнул их хорошенько раз, и наша взяла. Вот почему, воюя с Азией, сначала не следует разбрасываться и необходимо быстроту, этот первостепенный фактор успеха против европейского неприятеля, безусловно, подчинить уверенности в успехе. Наполеоновская аксиома никогда не делать на войне завтра то, что можно сделать сегодня, в Азии не всегда верна. Религиозный и общественный строй мусульманина не учит его дорожить временем: с ним всегда успеешь»*.

Пока дипломатия еще только нащупывала почву для своего выступления, русская армия, авангардом которой командовал Скобелев, продолжала продвижение к Константинополю. Скрещиваются пути военной истории с дипломатией, военные превращаются в политиков, дипломатам приходится опираться на военных. Здесь, под стенами Царьграда, по-особому билось сердце не одного Скобелева. Давняя, вековая мечта русских деятелей, роковой нитью связывающая лиц разных политических воззрений, подходила вплотную к осуществлению. То, к чему в Великую войну мы подошли дипломатически, в 1878 г. было связано с военной возможностью. Необходимо отметить здесь роль ген. Скобелева

* Арх. Б.-Б.

и его политические прогнозы — в них сказался не только военный специалист, но и вдумчивый политик.

Занятие турецкой столицы ставилось «целью войны» еще в докладной записке ген. Н. Н. Обручева от 1 окт. 1876 г. «Решаясь занимать часть Болгарии с долиной Марицы и Адрианополем включительно,— писал ген. Обручев,— надо быть готовым и к следующей, еще более энергичной мере побуждения турок, т. е. к удару на самый Константинополь». Мало того, эта заветная мечта овладения Константинополем рассматривается и в весенней (1877 г.) записке ген. Обручева*. «Только на берегах Босфора,— пишет он,— можно действительно сломить владычество турок и получить прочный мир, раз навсегда решающий спор с ними из-за балканских христиан». Ген. Обручев утверждает далее, что занятие Константинополя представляется нам совершенно необходимым для осуществления мирных переговоров, и здесь слова его записки являются пророческими. «Европейская дипломатия, если только ей удастся задержать нас в этом фазисе войны (т. е. до занятия столицы), не преминет пристать к турецкому воззрению и, за очищение турками Черного моря, начнет вымогать у нас такие уступки, которые все наше дело приведет опять к нулю. В положительном выигрыше останется, вероятно, только Австрия, которой Европа поспешит присудить Боснию и Герцеговину и которая, конечно, останется в них, несмотря ни на какие секретные с нами конвенции». Мало того, записка ген. Обручева не оставляет никакого сомнения, что вопрос о столкновении с англичанами, вследствие разгрома Турции, стоял перед русским командованием задолго до начала войны. «Нам, во всяком случае, не избежать столкновения с Англией,— пишет Обручев,— и лучше встретить ее в Константинополе, чем биться с нею у наших берегов». Через несколько месяцев, весной 1877 г., т. е. перед самой войной, в «Соображениях на случай войны с Турцией» тот же ген. Обручев пишет, что овладение Константинополем будет невозможно только в том случае, если он будет заблаговременно укреплен англичанами и с суши и с моря. А так как в начале войны Константинополь стоял еще неукрепленный,

* «Записки» ген. Обручева напечатаны в приложениях к «Дневнику» Газенкампа. Изд. 2.

то Обручев высказывает ряд оптимистических соображений на случай конфликта с Англией, учитывая затруднительность для нее этой операции. Но тот же ген. Обручев, настаивая на немедленном продвижении на Константинополь, не боясь оставлять турок в тылу (как Александр I шел на Париж), требовал подготовить не одну, а две армии — одну для принятия на себя борьбы в Придунайской Болгарии, другую для движения на столицу. Мы знаем, что этот план войны, в сущности, и начал было осуществляться — набегом ген. Гурко за Балканы, но недостаточность общей разведки о силах противника и плевненские неудачи (да и не одни плевненские, впрочем) сильно изменили исполнение этого плана. Но, во всяком случае, — для историка это важно, — захват Константинополя, хотя бы ценой войны с Англией, входил в планы русского командования. Поспешное предложение турками заключения мира, несомненно, выбило много козырей в русской игре. Тем не менее и в дальнейшем нам представлялись случаи занятия Константинополя, но уже по чисто политическим соображениям. Так хотел Петербург и, пожалуй, хотела Россия. Но в Ставке главнокомандующего, очевидно, к реализации вековечной мечты русских славянофилов относились довольно холодно, там просто опасались, что «развитие наших успехов может привести к низвержению султана и революции в Константинополе». «Такая катастрофа, — как записывает в своем дневнике Газенкамф, — очень нежелательна». А отсюда — «сохранение турецкого владычества в Константинополе — наш прямой интерес, ибо мы не в силах заменить его своим... Стоит только нам владеть им — возгорится европейская война» и т. д. Трудно думать, что Газенкамф занес в свой дневник только свое мнение — очевидно, на эту тему говорили в Ставке главнокомандующего много. Но разгром Сулеймана под Филиппополем и занятие Адрианополя нам открывали, однако, такие возможности быстрого движения к столице и к Галлиполи, что настроение в Ставке начинает несколько меняться и, несмотря на начавшиеся представления англичан по поводу Галлиполи, там собираются «поневоле решать Восточный вопрос, хотя мы к нему и не готовы». Вообще, по мере наших успехов, в Ставке главнокомандующего настроение повышается, но ясно, что в главной квартире определенного плана

относительно действий под Константинополем, особенно в случае осложнений с англичанами, не существовало. «Правда,— пишет Газенкампф,— у нас нет не только флота, но даже артиллерии, которая почти вся за Балканами. Но ни англичане, ни турки этого еще не знают (?!), следовательно, достаточно занять Галлиполи, чтобы англичане призадумались и замялись. Время выиграем,— вот что главное, а что делать дальше — видно будет». Нельзя сказать, чтобы деятельность главного штаба в этот ответственный момент русской истории находилась на значительной высоте.

Из телеграммы государя от 12 января 1878 г. уже видно, что мы почти капитулировали перед англичанами, обязавшись не занимать Галлиполи и Константинополь без согласия Англии. Но дело подходило к миру. 18 января турецкие уполномоченные заявили о согласии Турции на принятие предварительных условий мира. Это перемирие, безусловно, путало наши карты в игре при занятии Константинополя,— теперь занять его можно было только символически. Но теперь этот вопрос стоял обращенным к Англии. Разумеется, в конце концов, дело шло вовсе не о Константинополе — для разрешения Восточного вопроса в его, т. ск., программе-максимум России время было неподходящее: по словам Газенкампфа, «даже Скобелев 2-й сознает и признает, что нам еще под силу решить Восточный вопрос окончательно»*. Дело шло о более простом и несомненном — о сохранении результатов войны. В то время как в главной квартире пили за здоровье Вильгельма и принца Виртембергского, в Берлине уже готово было решение аннулировать наши достижения на Балканах, купленные такой дорогой ценой. Константинополь явился лишь местом приложения интересов России и Англии и на нем сосредоточивалось внимание всей Европы.

28 янв. лорд Дерби заявил в парламенте об отданном адмиралу Горнби приказании идти к Константинополю, якобы для защиты британских граждан. В ответ на это кн. Горчаков в телеграмме нашим послам главнейших держав уже прямо заговорил о занятии Константинополя, мотивируя это теми причинами, что и

* См. отчет государю о состоянии войск. Газенкампф. Дневник. Стр. 406 и 392.

другие державы,— защитой христиан и проч. В заключение, 30 января имп. Александр дал полную свободу действий главнокомандующему «на берегах Босфора и Дарданелл, с тем, однако же, чтобы избежать непосредственного столкновения с англичанами, пока они сами не будут действовать враждебно». Таким образом, вопрос этот передавался главному командованию, и Скобелев получил распоряжение «быть готовым захватить линию укреплений Дэркос-Чекменджи по первому приказу». Но приказа не последовало. Взоры всех были обращены с опаской на Англию. Гр. Шувалов в своих записках, написанных в оправдание своей политики в Англии и на Берлинском конгрессе, говорит, что всегда боялся губительного для нас конфликта с Англией. Но занятие Константинополя в ответ на угрозы Биконсфильда он считал «смелой политикой», которая не только не приведет к разрыву, но предупредит его. По разговору с Биконсфильдом Шувалову было ясно, что занятие Константинополя еще не приведет к войне, гораздо серьезнее было занятие Галлиполи. Поэтому, снимая с себя вину в этом вопросе, гр. Шувалов писал, что «если мы не вступили в Константинополь, то только потому, что главнокомандующий не решился на это и даже не верил в возможность подобного шага». В недавно опубликованной телеграмме гр. Шувалова говорится, что, несмотря на всеобщее возбуждение в Англии, самый факт занятия Константинополя там не рассматривался еще как *casus belli*; лишь движение наше на Галлиполи могло бы рассматриваться как возможность закупорки флота и могло бы повести к серьезным последствиям*. После прохождения английским флотом Дарданелл Горчаков в телеграмме от 3 (15) февраля 1878 г. писал, что и «занятие нашими войсками Константинополя, несмотря на протест Порты, и временное вступление наших войск в Константинополь неизбежно». Телеграммы, которыми обменялись султан и Александр II, не оставляли сомнения в том, что Константинополь будет занят. Очередь была за главным командованием, которое так и не решилось на этот шаг. Единственно, что сделал в. к. главнокомандующий, это занял с. Стефано, несмотря на всю шумиху, поднятую турками, и косые взгляды англичан. Неофициально

* «Красный Архив». 1933. № 59.

Константинополь уже был занят; в штатском туда можно было ездить и офицерам. В сущности, занятие столицы войсками, особенно после подписания перемирия и накануне мирного договора, очевидно, никого не пугало, сами турки осведомлялись, когда мы придем, а греки даже отложили свой костюмированный бал до вступления русских войск в столицу. Но так, даже до этого символического жеста, дело и не дошло. Передовые части авангарда Скобелева стояли почти у ворот Константинополя, и «солдатики,— пишет Скобелев,— каждый день ходят смотреть издали на заветный Царьград». Сам Скобелев, по словам солдат, ходил, как «кот около мышеловки», вокруг Константинополя, «то лапкой его пощупает, то так потрется». Скобелев ездил туда очень часто, но за всякого рода веселыми похождениями, свойственными его возрасту и натуре, он на забывал своей главной задачи: гуляя по Константинополю, он набрасывал кроки, намечая пункты для возможных военных операций, используя каждую улочку и переулок. В течение нескольких недель Скобелев, по словам В. И. Немировича-Данченко, так вошел в жизнь Константинополя, что знал не только его внешнюю сторону, но и его внутреннюю жизнь, «его партии, мусульманские кружки, глухой протест поселившихся там черкесов, сплоченную силу улемов, незаметное нарастание и наслоение новых начал в населении этого восточного города чиновников, военных сераскериата» и т. д. Он познакомился с редакциями газет, со взглядами греческих писателей. Один грек был так поражен познаниями Скобелева по поводу одного хозяйственного проекта в городе, что спросил Скобелева, не жил ли он ранее в Константинополе. Всего замечательнее, что Скобелев сумел войти в самую гущу английской жизни и политики в Константинополе, познакомился с английской колонией и с самим Лейярдом, душой антирусской английской политики в Турции. Не нужно думать, чтобы агрессивно настроенный генерал мог вызвать английского консула на большую откровенность, но, тем не менее, зоркий взгляд Скобелева сумел подметить очень многое в извилинах английской дипломатии. Его суждения о внутренней английской политике оказались очень верными — он предчувствовал роль оппозиции в парламенте, в котором, по его мнению, назревало недовольство агрес-

сивными намерениями Биконсфильда, и вообще был того мнения, что «англичане сами боятся, потому что сами не готовы к войне. Они, как азартные игроки, будут решительны, но только до решительного момента. Когда он наступит, они на все не пойдут». Тогда же, под влиянием наших дипломатических неудач, он высказал мысль, что победоносная война «гораздо более сильный удар нанесет нам, чем Севастополь... Севастополь разбудил нас... 1878 год — заставит заснуть». Через несколько лет эта философия уже будет формулирована более точно И. С. Аксаковым.

II.

Вопрос, почему мы не заняли Босфора и не вступили в Константинополь, вероятно, никогда не будет разрешен. Едва ли можно искать виновников в одном месте, в одном человеке. Бесконечная и бестолковая переписка между Петербургом и главнокомандующим конца 77 и начала 78 годов — время заключения перемирия и С.-Стефанского мира, а затем Берлинского конгресса — дает формальное основание упрекать в этом нераспорядительность главнокомандующего, как это и делает гр. Шувалов в своих воспоминаниях. Мы знаем, что и в России это мнение разделялось общественным мнением, и даже имп. Александр II примыкал к этому всеобщему негодованию на главнокомандующего*. Но это недовольство государя на своего брата едва ли было справедливо — в сущности, он негодовал на самого себя, потому что его распоряже-

* На прямой запрос из Петербурга в. к. Николай Николаевич отвечал, что не пошел на Босфор до 19 февраля, во-первых, потому, что не было достаточно сил на это и дороги были непроходимы. Во-вторых, потому, что приход на Босфор во время перемирия... повлек бы за собой неминуемый разрыв не только с Англией, но и вновь с Турцией. В первом случае в. к. ошибается — занять можно было, ибо передовой отряд Скобелева был к этому вполне готов и только ждал приказа. Что же касается второго, то, несомненно, здесь был риск разрыва и, во всяком случае, серьезных осложнений с Англией, но отсюда еще было далеко до самой войны, между тем как дипломатически занятие с «налета» в первое время, до перемирия, Проливов было бы для нас очень удобным маневром. Война с Англией не означала для нас немедленной катастрофы — мы имели бы возможность всегда торговаться с ней за очищение той или другой местности у турецкой столицы.

ния по занятию Константинополя и Босфора были очень противоречивы. Без сомнения, сам главнокомандующий, по своей личной воле, едва ли по совести мог решиться на это дело, которое могло повести за собою формальный разрыв с Англией. Как теперь становится это все более очевидным, этот вопрос был в то время не столько военным, сколько политическим. В этом деле политике должна была принадлежать решающая роль, и войска должны были быть у нее на службе. Другими словами, роль русской армии, стоявшей под турецкой столицей, была демонстративной. Этого не могли понять на месте, где должны были смотреть на военные действия всерьез, чего до подозрительной наивности в Петербурге не понимали. Главнокомандующий в конце февраля 1878 года телеграфировал военному министру, что в войсках «обоз пострадал до того, что его можно считать несуществующим», и если придется двинуть войска в бой, то надо предварительно «устроить выюки»; только восточный отряд наследника, стоявший все время на одном месте, имеет кое-что в этом отношении, что же касается передовых корпусов, то главное командование не могло представить себе, как мы можем себя просто пропитать, не то что воевать почти что голыми руками.

Среди высших чинов армии царило довольно подавленное настроение, все устало и стремились домой. Ген. Гурко, как школьник, просился в отпуск, представляя медицинское свидетельство,— и генерала пришлось вернуть с парохода «чуть не за 5 минут до его отплытия». Верхом непонимания обстановки были наивные расчеты государя на помощь Турции против Англии в случае конфликта с последней.

Но как бы то ни было, в стратегическом отношении против Англии у нас положение было не безнадежное — как-никак под Константинополем стояла армия, проделавшая победоносную кампанию и, во всяком случае, готовая к бою, хотя и с весьма несовершенным военным снаряжением. Во всяком случае, это был козырь, который можно было вполне успешно использовать в конфликте с англичанами. Это, разумеется, понимали и в Ставке, по крайней мере, у Газенкампа упоминается по поводу сосредоточения войск около Адрианополя, что, «занимая всю новую Болгарию и усилив войска в Румынии и Бессарабии, мы станем в совер-

шенно неуязвимое положение и по отношению к Англии и к Турции, парализуем неприязненность Румынии и Австрии и в короткое время можем устроить совершенно обеспеченное сухопутное сообщение с отечеством через Добруджу и Нижний Дунай. Не угодно ли тогда нас выкурить с Балканского полуострова? Задача для турок,— замечает Газенкамф,— непосильная, а для англичан невозможная». Этот план едва ли не был инспирирован Скобелевым, с которым Газенкамф незадолго до того виделся и провел у него целый вечер. Впоследствии Тотлебен осуществил стягивание войск к Адрианополю по мирному положению, что имело для нас огромное значение, как это видно из записки Скобелева от декабря 1878 года. Он, правда, исключал немедленное занятие Босфора, но ведь для нас тогда на первом месте было не это, а возможность удержать в конфликте с Англией наши дипломатические достижения, завоевания С.-Стефанского мира. Этот план был реальнее занятия Проливов при согласии «купленной Турции». Но мы не воспользовались ни тем, ни другим.

Вообще отношение нашего военного командования и дипломатии к факту занятия Константинополя и войне с Англией поражают своей растерянностью, как будто мы очутились перед ним совершенно неожиданно. Между тем еще до войны в записке ген. Н. Н. Обручева от 1 окт. 1876 г., поданной в военное министерство (которая уже цитировалась выше), был определен с абсолютной ясностью удар на Константинополь, причем тогда же предполагалось, что мы, «по всей вероятности, встретим здесь англичан, и если они не согласятся исполнить наши требования, а будут упорствовать в поддержке турок, нам придется биться и с англичанами. Как ни грозно это столкновение,— говорит ген. Обручев,— но таков естественный ход событий; надо его предвидеть и быть к нему готовым. Нам, во всяком случае, не избежать столкновения с Англией и лучше встретить ее в Константинополе, чем биться с нею у наших берегов. Если счастье поблагосклонно нам взять Константинополь, тогда раз навсегда отделаемся и от Турции, и от Англии. Было бы большой ошибкой излишне опасаться брать Константинополь и заранее намечать пределы развития успехов армии. Напротив, благоразумнее и предус-

мотрительнее, начиная дело занятия Болгарии, быть вместе с тем готовым к достижению самых решительных результатов войны. Пожертвования для нее принесутся громадные, они должны окупиться. Надо думать,— замечает ген. Обручев,— что если мы, взяв Константинополь, признаем его международным городом, то Европа не только не будет против нас, но будет даже рада, что нескончаемый, всех пугающий Восточный вопрос наконец решен».

В другой записке, составленной весной 1877 г., план захвата Константинополя и Проливов, как конечная цель войны, разрабатывается уже более детально. Здесь, между прочим, высказываются соображения относительно осложнений с Англией и учитываются возможности английской мобилизации и посылки войск на Балканы и проч. Но самое занятие Константинополя «никак не представляется абсурдом, а, напротив, весьма вероятно. Поэтому и отказываться,— пишет ген. Обручев,— от этой решительной цели, ради только предполагаемых и возможных, но еще не существующих препятствий, было бы величайшей стратегической и политической ошибкой».

Записки ген. Обручева представляли мнение военного министра Н. А. Милютина и, несомненно, были известны государю. Трудно предположить, чтобы главнокомандующий действующей армией не знал об их содержании, хотя лично в. к. Николай Николаевич терпеть не мог ген. Н. Н. Обручева, считая его революционером. Но, во всяком случае, к военному конфликту на берегах Босфора действующая армия должна была быть готова, если бы ее руководители стремились последовательно и единодушно к раз поставленной цели. Этих последовательных руководителей не оказалось. В конце концов каждый валил на другого. В. к. Николай Николаевич, колеблющийся до полного расстройств в командовании, был отозван. Он был бесконечно рад, что ему удалось уехать с театра войны, на котором он видел много славы, но еще больше огорчений. В Петербурге его встретили сурово*, и он явился козлом отпущения. Кажется, этот удар судьбы он встретил безропотно — было ясно, что на нем была доля вины. Время было упущено. Новый главнокомандующий ген. Тотлебен сначала было принял очень суровый тон по отношению к опальному вел. кн.; но потом дол-

* См. Татищев. Имп. Александр II. Т. 2.

жен был признать, что на Босфоре дело не так просто. Впрочем, ген. Тотлебен знал это давно — у него-то, во всяком случае, не было охоты по своей воле занимать Проливы и воевать с Англией. Ген. Тотлебен вообще находил, что эта война с Турцией была бессмыслицей, что «мы вовлечены в войну мечтаниями наших панславистов и интригами англичан» и что вообще «освобождение христиан из-под ига турок — химера». Познакомившись с бытом болгар, Тотлебен признал, что они «живут здесь зажиточнее и счастливее, чем наши русские крестьяне» и, размышляя над нашими русско-болгарскими административными неурядицами, он искренно полагал, что «задушевное желание» болгар — чтобы «их освободители по возможности скорее покинули страну». Генерал Тотлебен полагал, что болгары «платят турецкому правительству незначительную подать, несоразмерную с их доходами, и совершенно освобождены от воинской повинности». Да и сами «турки вовсе не так дуры, как об этом умышленно прокричали; они народ честный, умеренный, трудолюбивый. Только паши, как и наши чиновники, оставляют много желать»*.

При таком взгляде на национальные вопросы и на освободительную войну, ген. Тотлебен, конечно, склонен был пойти на очень многое, чтобы избежать войны с Англией. Для этого, по его словам, «Турция не должна быть слишком унижена, чтобы нам удалось прийти к соглашению и совершенно устранить Англию». Таким образом, на берегах Босфора осталось очень мало пламенных защитников идеи захвата Проливов и Константинополя. К числу последних принадлежал адмирал А. А. Попов, посланный с специальной миссией поставить заграждения в Проливах в противодействие английскому флоту. Между прочим, интересен его отзыв о ген. Скобелеве. «Молодой Скобелев назначен начальником авангарда для занятия Пролива, — писал Попов управляющему морским министерством в марте 1878 г., — следовательно, придется иметь дело с ним непосредственно. Я с ним спелся до такой степени, что совершенно уверен в успехе заграждения с берега, если теперь подумают о необходимых средствах и дадут их. Узнавши теперь его очень близко, я восхищаюсь не его храбростью, а умом, энергией, пре-

* Дневник ген. Тотлебена. Записи в Брестовце. — «Рус. Ст.», 1886, 1887. Т. II, IV, V.

дусмотрительностью в мерах, обеспечивающих успех; одним словом, всеми качествами, которыми обладал в такой высокой степени Наполеон I и которые я ставлю выше его побед»*.

Взгляды ген. Тотлебена по Восточному вопросу и на цели войны отнюдь не были в русском обществе исключительными. Русская политика в этом отношении была очень сбивчива, туманна, не высказана до конца и боязлива. Россия освобождала балканских славян. Самый вопрос встал не сам по себе, а возник исторически, в процессе продвижения к южному морю. Турция была в этом деле врагом, и на пути ущемления Турции стояли подъяремные славянские племена, освобождение которых от турецкого ига явилось очень удобным попутным моментом в этой традиционной русской политике,— он сопутствовал нашей отдаленной цели — изгнанию турок из Европы и занятию Россией ее места. Такая постановка вопроса была очень удобна как для внутреннего, так и для внешнего употребления, и так как русская политика не обладала достаточной отчетливостью в сознании своих задач и смелостью в их проведении, то иногда этот, собственно, русский вопрос переплетался со славянским, что вело к некоторой путанице. Император Николай I имел очень определенные взгляды по Восточному вопросу, но проводил очень неустойчивую политику, все же исходящую из русских интересов. Он то заявлял, что при дележе наследства «больного человека» он займет Константинополь, то уверял, что занятие этого города в его планы не входит, потому что это значило бы, что Россия перестанет быть Россией (его слова лорду Сеймуру) и т. д. В некоторых кругах русского общества под политику защиты угнетенных славян был подведен славянофильский фундамент, который вызывал раздражение не только в левых кругах, но и в правительственных, где вовсе не хотели делать русского царя всеславянским. Похоже было, что русское правительство ведет какую-то скрытую игру под формулой поддержки угнетенных славян в стремлении к их независимости. В сущности, защищать эту позицию бескорыстия было действительно трудно: можно было воевать за справедливость и великую идею, но все-таки трудно было предположить, чтобы интересы России, как государства, не выигрывали в этой борьбе.

* «Разведчик». 1912. № 1139.

Надо сказать, однако, что мысль об овладении Константинополем, как одна из целей войны, владела в России не одними агрессивными группами, она находила огромную и мощную опору в самых широких кругах русского общества. Не говоря уже о славянофилах, для которых завоевание Царьграда было завершением целой системы политических мечтаний, среднее, умеренное русское общество, в лице такого, напр., чуждого беспочвенных увлечений органа, как «Вестник Европы», очевидно, не могло себе представить, чтобы война с Турцией была начата Россией ради одной, хотя бы и высокой, цели, как освобождение славян, без определенных выгод для самой России. Перед самой войной в 1876 г. в «Вестнике Европы» появилась очень симптоматическая статья Леонида Полонского «Русский вопрос на Востоке Европы», в которой определяются политические задачи России на Балканах. Автор статьи совершенно определенно говорит, что все наши войны на юге, считая и польские из-за Малороссии, велись, имея в виду определенную цель занятия Константинополя и свободу Проливов. Путем географического аргумента (замкнутость наших рек, текущих к югу), автор приходит к выводу, что наша политика неминуемо должна идти к овладению «ключей от собственного дома». Как видим, эти старые аргументы о Константинополе и Проливах нас переносят в эпоху Великой войны, и политика М. Н. Миллюкова в этом отношении была лишь дальнейшим этапом в развитии этой традиционной политики России. Любопытно, что уже Л. Полонский подчеркнул, что вопрос этот перестает быть для России только Балканским, что всякого рода союзы с немцами — Пруссией и Австрией — нас неизменно отвлекают от наших турецких завоевательных планов, что вообще «завоевания в Европейской России ныне невозможны в союзе с Австрией и Германией и хотя бы с одной Германией»*. В этом отношении небезынтересно вспомнить фразу ген. Фадеева, что наш путь в Турцию ведет через Австрию**. Но в то время, как у славянофильствующих органов печати и политиков типа И. С. Ак-

*«Вест. Евр.», 1876. № 11.

** Через несколько лет Скобелев говорил, что путь в Константинополь идет через Берлин.

сакова (а с ним в данном случае и ген. Скобелева) была ярко выражена воля идти по намеченному пути завоеваний до конца, не считаясь с внутренним положением России, вернее, невзирая на тяжелое положение России, «Вест. Евр.», отражая настроения другой, менее зараженной воинственным азартом части русского общества, ставит в той же статье Л. Полонского вопрос: «Следовало ли России по состоянию ее внутренних дел решиться на войну в тех или других из указанных выше, но во всяком случае больших размерах с целью завоеваний в Турции такой или иной полосы и хотя бы самого Константинополя?» — и отвечает на это: «Нет». «Положение массы нашего народа, наших финансов, нашей торговли, нашего внутреннего развития, наших реформ не таково, чтобы мы могли с какою-либо тенью смысла помышлять о завоеваниях со столь огромным риском или желать завоеваний, хотя бы с риском войны только с Австрией и Англией, кроме Турции». Это писалось в 1876 г., когда германская дружба после испытаний 1871 г. еще не дала трещины, мало того, когда, по мнению автора, «союз с Пруссией и Австрией для нас неизбежен, а с этим союзом,— меланхолически добавляет Л. Полонский,— мы ничего не приобретаем в Турции». Трудно выразить более ярко беспомощную позицию русских германофильствующих кругов этой эпохи. В этих опасениях, конечно, было много правды не только благодаря нашей внутренней подготовке и внешних отношений, где автор опасался передержки в сторону излишнего русского давления в свободных и еще несвободных славянских странах. Но в то же время сказывался гипноз русско-немецкой дружбы, в русле которой мы заплатили за дипломатическую подготовку войны жесточайшей ценой Берлинского трактата. Из этого тупика русское общество было выведено самой войной, и обозреватель того же «Вестника Европы» в 1878 г. писал, что «никогда еще внутри государства не было у нас такого спокойствия и единодуший в общем народном чувстве, как ныне»*. В этом отношении публицист умеренно-либерального органа сошелся с Ив. Аксаковым.

В «Голосе» — оппозиционной газете — проф. А. Градовский высказался еще более решительно. Занятие

* «Вест. Евр.», 1878. № 1.

Константинополя — очередная задача, писал он, уступка Англии в настоящее время — «это нечто худшее, чем честный страх перед войною, ввиду великих жертв, ею требуемых. Это нравственное разложение, полная потеря сознания народного достоинства»*. Берлинский конгресс вызвал негодование и среди русск. политических эмигрантов. Женевская газета «Общее дело» (1878 г., № 13) в передовой статье под заглавием «Цена крови» говорит, что как ни притупились наши нервы «всевозможными унижениями и оскорблениями», но в известиях о русских уступках на Берлинском конгрессе «было нечто такое, перед чем не выдерживала никакая привычка и утомление». Газета скорбит, что надежды русского общества разбиты, что мы позорно отступили перед Англией, с которой могли помериться силами не без успеха, и что, «заяв Константинополь и Босфор и этим оттеснив турецкую власть в Азии, мы могли бы затем смело явиться на конгресс». Разумеется, газета по-своему объясняет слабость русской дипломатии в государстве, общество которого, «воодушевляясь стремлением к освобождению славян, искало в нем и собственной свободы...» «Бюрократически-деспотический режим наш просто связал и выдал врагу нашу родину, исполнив для нее роль, подобная которой исполнена для Турции ее султанами». Что же готовит нам будущее? «Мы вступаем в него с новыми ранами, которые прибавились, к незажившим еще севастопольским и растравили их... Нам необходимо излечиться от нашего маразма и стать сильными. Необходимо, чтобы Россия стала наконец тем, чем она может и должна быть — страной свободного развития своих материальных сил» и т. д. Газета, развивая свое политическое кредо, требует «свержения самодержавия, которое внутри истощает нашу родину, до степени маразма, а вне границ ее вызывает к ней только опасения, недоверие и вражду. Совершить такой переворот может только общество... Катилина стоит у ворот нашего дома — на Босфоре...»

Таким образом, правительство этого момента не могло жаловаться на отсутствие общественной поддержки, но оно само было непоследовательно и боязливо и не сумело не только вести национальной политики, но и

* См.: А. Градовский. Собр. соч. Публич. статьи.

выявить достаточно отчетливо ее линии. Вступая в войну, оно не обеспечило себя надлежащим образом союзами на случай будущих осложнений с Англией и не выработало никакого плана борьбы с этими осложнениями. Не было этого плана и у главного командования. И в этом отношении ген. Скобелев был одним из немногих русских генералов, который явился на войну не только с определенной политической программой, но и с готовым, достаточно разработанным планом если не войны с Англией, то, во всяком случае, реальной угрозы ей — набегом на Индию через Кашгар.

III.

За много месяцев стоянки перед Константинополем Скобелев очень тщательно изучал европейскую политическую обстановку, в которой находилась Россия после Берлинского трактата. Он был убежден, что «влияние Англии на Востоке нами глубоко потрясено. Ее падение в мнении Азии началось с 1868 года, с занятия Самарканда. С.-Стефанский мир переполнил чашу... вот почему,— пишет Скобелев,— я думаю, что война с Англией неизбежна». Последнее утверждение, конечно, отнюдь не было новостью в дни, когда вопрос о войне с Англией был предметом политических и военных обсуждений, но большинство видело ближайшие причины конфликта в Турции, вообще в Европе, и когда в Ставке главнокомандующего обсуждалась возможность войны с Англией, то обычно географические ее пределы относились к Босфору и Черному морю. Конечно, в случае войны Англии с Россией нам пришлось бы искать наиболее уязвимые места Британской империи, и тогда, вероятно, дошла бы очередь до Туркестана и до походов в Индию. Мы знаем, что Скобелев давно развивал и довольно подробно разработал этот химерический, по общему мнению, план набега на Индию. Он был убежден, что, «пока не будет окончательно решен Восточный вопрос, поход на Индию может быть на очереди со дня на день». По мнению Скобелева, «почти полное уничтожение Турции, как державы европейской», может отразиться и на наших среднеазиатских владениях усилением там значения «калифа Румского (турецкого султана), что повлечет

за собою снабжение Туркестана скорострельными ружьями со стороны наших врагов». В этом направлении и работают англичане. 4 июня 1878 г. была подписана конвенция между Турцией и Англией, по которой Англия обязывалась присоединиться к Турции в случае, если Россия займет часть азиатских владений Турции. Взоры всех были устремлены на Кипр — предмет английских вожделений, но Скобелев обратил внимание на то, что Англия стремится использовать Турцию для своих чисто империалистических целей в Средней Азии. В письме к гр. А. Адлербергу от 10 сент. 1878 г. из Чатаалджи Скобелев пишет, что он имел перед своими глазами секретный мемуар, представленный султану Лейярдом, в котором устанавливались общие границы возможности использования конвенции 4 июня 1878 г. Английский посол в числе прочих мер помощи Турции и поддержания порядка в ней очень настойчиво развивал мысль о вливании европейских капиталов, разумеется, в первую голову английских, в турецкие предприятия. В первую очередь Лейярд просит у султана концессии на постройку железной дороги, соединяющей залив «Isanderon» с Персидским через долину Евфрата, а несколько дней перед этим в беседе со Скобелевым по поводу миссии в Кабуле ген. Чемберлена в ответ на посылку туда кн. Столетова ген. Беккер не стал скрывать, что в данный момент «Le principe objectif de l'Angletterere était la construction d'un chemin de fer reliant à Herat le camp retranché de Quiette à l'entrée du Balap». Скобелев настойчиво указывает на движение английских капиталов к русским границам Средней Азии. «Не нужно забывать,— пишет он,— что под влиянием экспедиции гр. Перовского в 1839 году вице-король Индии лорд Auckland решился на завоевание Афганистана*. В 1841 г. под влиянием неустрашимого Ал. Бюруса (Burus) войска вторгаются в Афганистан и пытаются идти на Самарканд, причем полк. Гарби с артиллерией даже переваливает Гиндукуш и занимает Мамиан, но восстание в тылу, уничтожившее до последнего солдата отряд ген. Эльфингстона, останавливает предприятие. Тем не менее английское влияние в Герате было очень ощутительно для русских интересов в 40-х годах. Это было в эпоху наших не-

* См. письмо к гр. Адлербергу от 10 сент. 1878 г. Арх. Б.-Б.

удачных операций — экспедиций гр. Перовского в Хиву и ген. Столетова в Кабул. Тогда опасность, по мнению Скобелева, была мифическая, но англичане били тревогу, но в 1865 г. они были спокойны, хотя им действительно было из-за чего волноваться*. Теперь англичане прозрели и хотят наверстать потерянное. Конвенция 4 июня и дает им возможность использовать Турцию против России в ее среднеазиатских владениях, увеличив, таким образом, огромную сопротивляемость мусульманского населения. Следовательно,— говорит Скобелев,— «если наша позиция на Кавказе еще настолько крепка, чтобы не бояться английских козней в долине Евфрата, то нельзя того же сказать про эти козни в Туркестане, Коканде и Бухаре, не говоря уже про Туркестанские степи». И Скобелев вновь возвращается к своей записке ген. Кауфману 1876 г.; теперь, после нашей миссии в Кабуле, «необходимо ответить Англии тесным союзом с Персией и занятием ряда стратегических пунктов вдоль проектированной англичанами линии железной дороги на Герат и в важнейших пунктах центральной Азии. «Вообще,— по мне-

* По поводу беспорядков на западной границе Индии. На границах Пенджаба и Афганистана живут вольные племена, не признающие над собой никакого владычества. Со времени присоединения Пенджаба в 1849 г. по 1870 английской армии пришлось выдержать не менее двадцати трех небольших войн с этими горными племенами, в числе коих — африди, в соседстве с «Kohat-pass». В 1876 году это беспокойное племя вызвало целый ряд новых экспедиций против него.

Не успели успокоиться эти волнения, как в августе 1877 г. джаваки, незначительная отрасль африди, предприняли целый ряд нападений на границу. Ущелья Когата стали непроходимы. Беспорядок достиг своего кульминационного пункта в октябре, и пришлось послать экспедицию под начальством ген. Кея, чтобы положить конец положению дел, становившемуся нестерпимым. Но что гораздо важнее, так это предполагаемая причина этих волнений. Кажется, что образ действий Англии в русско-турецкую войну не особенно понравился мусульманам Ср. Азии и, несмотря на титул «Падишаха Индии», принятый королевой Викторией, Афганистанский эмир отказывался до сих пор смотреть на англичан, как на друзей и покровителей веры. Это он, по сказанию некоторых лиц, подстрекнул последние беспорядки. Впрочем, дело можно объяснить и более естественными причинами... Кроме того, при Биконфильде началась задирательная политика в Индии. Новый вице-король Индии заключил договор с ханом Келата, и город Кветта уже год как занят английскими войсками (на границах Афганистана и Белуджистана) при входе в Боланский проход — ключ к Индостану. Арх. Б.-Б.

нию Скобелева,— Среднюю Азию нам следует изучать серьезно и безотлагательно. Давно пора изучить в военном отношении все пространство от Босфора к низовьям Евфрата, на Астрабад, Герат, Кабул, Кандагар и оттуда на север, к Бамиану и Самарканду. Для этого недостаточно людей смелых и ученых, нужны люди бывалые на войне, командовавшие отрядами, способные на месте оценить, что возможно и что нужно для массы войск, при обстоятельствах, которые на месте покажутся вероятными и последствия которых во время войны опытный военный воспроизведет в своем воображении. Хоть часть столь обширного труда,— заканчивает Скобелев свое письмо гр. А. Адлербергу,— особенно во всем, касающемся Афганистана, я, быть может, решился бы взять на себя. Меня не пугает ни поход, ни труды, ни лишения — одно страшит: мирная обстановка без определенных обязательных серьезных занятий*.

Эти мысли Скобелев развивал, будучи глубоко убежденным, что «война с Англией неизбежна» и что «только движением на Индию мы можем потрясти в основании могущество Англии, сами рискуя лишь экспедиционным корпусом». Внимательно следивший за политической жизнью Англии, Скобелев полагал, что самая возможность нашего похода в Индию пугает англичан, и приводит выдержку из «Times» от 27 марта 1878 г., в которой имеется ссылка на индийские газеты, где пишут (и «это под кровавым гнетом ничем не потрясенной английской власти»): «If it ever comes war the English wille have no alternation but to flee far thein lives». «Каковы же будут последствия внезапного формирования действующих отрядов в Астрабаде и Самарканде? Решительно действуя в Средней Азии, мы лишаем английский флот всех преимуществ *безнаказанной* инициативы», но, проникательно добавляет Скобелев, «при счастии в самой Англии может возникнуть социальная революция, ибо за последние 20 лет развитие английской промышленности, а следовательно, и грозный рабочий вопрос теснее прежнего связали метрополию с ее индийскими владениями... Целесообразное, свое-

* «Ради Бога,— добавляет Скобелев в письме к А. Адлербергу от 15 марта 1878 г.,— прочти со вниманием мое письмо из Канда от 1876 года».

временное и смелое употребление нашей мощи в Средней Азии будет иметь решительное влияние на исход войны с Англией. Здесь у нас главное — преградить доступ в Черное море — это ключ к победе».

Рассматривая стратегические планы Скобелева в связи с проектируемым им походом на Индию, нужно признать, что в них далеко не все утопично. Прежде всего набег на Индию, по расчету Скобелева, требовал «риска» не более одного корпуса. Трудно было предположить, чтобы эта попытка, при наличии основного базиса и тыла в Средней Азии, могла кончиться полной катастрофой. Как попытка нанести сокрушительный удар английской Индии, план Скобелева можно оспаривать, но, как серьезная военная демонстрация, она должна была бы иметь исключительное значение. Предполагаемая экспедиция могла не вызвать немедленного восстания туземцев, но едва ли со стороны Англии можно было ожидать обеспеченной защиты и, во всяком случае, бурного отражения. Несомненно, что в случае трудной и затяжной войны с Англией России пришлось бы прибегнуть и к этому химерическому фронту, но в плане Скобелева заключались большие козыри для дипломатической войны с Англией, которые русская дипломатия того времени не использовала. Мало того, Россия все время старалась уверить и Англию, и себя самое, что она «не думает грозить интересам Великобритании в Константинополе, в Египте, на Суэцком канале или в Индии». В июле 1877 г. в беседе с английским военным агентом полк. Велеслеем имп. Александр II подтвердил, что «нападение на Индию он считает совершенно невозможным или безумием, если бы даже оно и было возможно»*. Для уверения в мирных намерениях по адресу Англии это, пожалуй, и годилось, но хуже всего было то, что само русское правительство, в лице его дипломатических представителей, по-видимому, так думало и мало обращало внимания на записки и мнения молодого генерала, к которому в высоких сферах было принято относиться подозрительно**.

Впрочем, нельзя сказать, чтобы соображения Скобелева по вопросу о нажиме на Индию в политической

* Татищев. Ист. имп. Александра II. Т. 2. Стр. 422.

** В одном из писем к тетке, в котором были общеполитические рассуждения, Скобелев просит не показывать «дяде Саше, а то он махнет рукой и скажет, что опять кутенок вздор мелет». Арх. Б.-Б.

распре с Англией оставались совершенно без отклика. 2 мая 1878 г., т. е. после того уже, как английский флот появился в Мраморном море и мы стояли перед проблемой войны с Англией, военный министр Д. А. Милютин предлагал отправить в Тибет экспедицию, чтобы, «изучив обстановку английского государства в Индии», завязать связи с тибетцами и оказать им против англичан «политическую и нравственную поддержку». Разумеется, это было бы в очень слабой степени демонстрацией против Англии, но и в таком виде она казалась министерству иностр. дел очень рискованным предприятием, но оно решило послать Пржевальского в Тибет во главе научной экспедиции.

Несколько более решительно действовал ген. Кауфман в Туркестане. В июле 1878 года он отдал приказ о формировании трех экспедиционных отрядов, которые должны были бы выступить по трем различным маршрутам в юго-восточном направлении. «Моск. Вед.» пояснили, что предстоит далекий поход «не для устрашения близкого среднеазиатского соседа», но «действия против неприятеля... не в Азиатских ордах». Любопытно, что угрозой похода на Индию был занят и «Голос». Так, в № 76 от 17 марта 1878 г. там совершенно определенно рекомендуется начать энергичное наступательное движение к Британской Индии. «Если же гр. Биконсфильд не смирится... будет еще лучше, потому что тогда и мы сможем действовать в Ср. Азии вполне открыто и... окончательным разрешением Восточного вопроса там, где он только может быть разрешен, т. е. у пределов Британской Индии»*.

IV.

После отъезда в. к. Николая Николаевича и назначения ген. Тотлебена на его место главная квартира была перенесена в Адрианополь, где и оставалась в течение пяти месяцев. Нахождение русской армии возле этой древней столицы имело очень большое значение — присутствие армии парализовало агрессию турок и их эксцессы по отношению славянского населения в зем-

* А. Попов. От Босфора к Тихому океану.— «Историк-марксист», 1934. III.

лях, занятых вновь оттоманами. От зоркого взгляда Скобелева не ускользнуло состояние турецких войск, расположенных на зимние квартиры в нездоровой местности; он не только отметил хищения подрядчиков, но и злоупотребления в лагерях по раздаче приварков и проч. Несмотря на то что англичане прилагали огромные силы, чтобы поднять боеспособность турецкой армии, по мнению Скобелева, вооружение читалджинской линии находится в очень слабом состоянии, и, таким образом, пишет он, «между нами и Константинополем нет серьезных преград». И вообще «столь могучий фактор, как присутствие в Адрианополе действующей армии и возможность во всякий данный момент, и теперь еще, занять с бою столицу Турции по всему, что я мог заметить, слишком мало принимается в расчет нашею дипломатиею». Но Скобелев заметил и нечто другое: по его мнению, дипломатическая защита англичанами турок ведет за собою английский протекторат, который у природных турок, и особенно по глухим углам, вызывает глухое неудовольствие в мусульманском мире. «Лично я мог заметить,— пишет он,— что все высшие чины, с которыми я говорил, оскорблены за живое усиливающимся значением должностных лиц британского происхождения и вообще открыто выражают сомнение в пригодности их вести в бой турецких солдат, в особенности теперь, когда почти все нравственные причины, которыми держится боевая сила армии, надломлены и неудачами и переносимыми теперь страданиями». Как бы мы ни подвергали сомнению искренность турецких собеседников Скобелева — «присутствие сильной, грозной, готовой к бою русской армии (как они хорошо знают), могущей со всеми данными на успех перейти в наступление, отчасти уже уничтожало плоды уступок, вырванных настойчивым умением английского премьера, и продолжает каждый день затруднять роль английского правительства». И прежде всего затрудняется занятие турками линии Балкан; не имея в Румелии прочного базиса и при наличии русской армии под Адрианополем это занятие Балкан турецкие генералы считают ловушкой. Внимательный наблюдатель европейской политической жизни, Скобелев почувствовал, что военное напряжение на Балканах при наличии там сильной оккупационной армии непременно окажет давление на английское об-

шественное мнение и что — в этом Скобелев оказался пророком — «консервативная партия своими увлечениями как будто начинает быть в тягость общественному мнению страны», указывая в этом отношении, как на симптом, на речь Биконсфильда на банкете лорда мэра. Скобелев думает, что Биконсфильд, «ныне испробовав все средства втянуть свою страну в войну с Россией, окончательно убедился, что большинство страны войны не желает». В Англии как будто даже начинают понимать необходимость соединения двух Болгарий, — примером чему служит либеральная «Daily News», в котором предлагалось даже Восточную Румелию начать именовать Южной Болгарией. Все эти дипломатические успехи, по мнению Скобелева, зависят именно от присутствия в Турции русской армии, готовой к бою»*.

Личное положение Скобелева в это время было несколько неопределенно. Фактически он был почти главнокомандующим, командиром оккупационного корпуса, но все это было временное. Ему же хотелось кое-какой прочности в собственном положении. В это время его мечтой было сделаться командиром 4-го корпуса, с которым он проделал всю кампанию. «Если бы государю не было угодно, — пишет он не без задней мысли гр. Адлербергу, — меня утвердить в ныне занимаемой мною должности, то сознаюсь, не знаю, что делать. Продолжаю командовать дивизией, когда в военное время командовал корпусом, как-то тяжело, а возвращаться под начальство ген. Зотова мне уже совсем неудобно». Далее Скобелев высказывает довольно откровенно, что «готовит корпус к войне для человека, любящего военное дело, может быть, целью всей жизни, в роли же начальника дивизии ничего подобного быть не может; придется исполнять мысль другого, и слишком зачастую, несочувственно к ней относясь». Впрочем, если прикажут, он останется в Болгарии с ротой, не только с дивизией; но он чувствует, что при данных обстоятельствах мог бы принести пользу в другом месте. Не забыты и старые обиды. В письме от 20 мая 1878 г. к его тетке, гр. Адлерберг, он высказывает твердое намерение «выяснить вопрос о виновности перед государем за 16-месячное покорение и управление Ферганской областью».

* Арх. Б.-Б. Письмо к гр. А. Адлербергу от 22 января 1878 г.

На этом пути своей реабилитации Скобелев ожидает встретить огромные затруднения. «Исход из моего теперешнего положения,— пишет он,— я сознаюсь, труден, почти невозможен, и попытка моя, по-моему, необходимая для очищения моего имени, по всей вероятности, поведет меня к черному фраку, а ты знаешь, как я всегда страстно был предан военной службе. В минуту самых тяжелых испытаний, когда не думал вернуться живым, я всякий раз спрашивал себя, виноват ли я настолько, чтобы краснеть перед государем, и всякий раз совесть говорила мне, что нет; в те дни, как и теперь, с таковым же ответом готов я предстать и перед Богом. Я, наверное, делал ошибки, но ведь мне выпало на долю управлять более чем миллионною по числу жителей областью в 32 года. Да, наконец, теперь говорит за меня и время. 1. До сих пор, а я сдал область полтора года тому назад, не поступило на меня ни одного местного, ни контрольного начета. 2. Административное деление осталось без изменения. 3. Личный состав администрации, скажу это с гордостью, мною избранный, остался по сие время в главных своих представителях, почти без изменения и при ген. Абрамове. 4. Инспектировавший войска округа ген. Нотбек нашел их везде без исключения в блистательном состоянии. Это было в свое время доложено государю. Мне слишком больно оправдываться, не догадываясь до сих пор, в чем меня обвиняют, но я твердо уверен, что если Бог не оставил меня своим благословением в минувшую трудную Турецкую кампанию, то это за пытку, вынесенную мною смиренно в Петербурге в марте месяце 1877 года»*.

Это письмо, рассчитанное, вероятно, на соответствующий резонанс, очень знаменательно. В частности, у государя со Скобелевым уже давно наладились отношения, император его очень ценил — это показывают позднейшие назначения Скобелева — и, надо думать, охотно забыл свои немилости к молодому генералу. Полностью причины этой немилости до сих пор не раскрыты, но, судя по тому, как помнил эту обиду Скобелев, надо думать, что здесь были задеты и оскорблены самые чистые и заветные стороны его деятельности. Несмотря на памятный прием с выговором, у Скобе-

* Арх. Б.-Б.

лева к государю не было плохого чувства, здесь был отголосок страшного непонимания и отчуждения в самой военной среде, что подрывало у талантливого генерала веру в возможность продолжать свою службу в прежних условиях. В августе 1878 года он пишет к родным меланхолическое письмо, мрачное, дышащее усталостью. «Я, быть может, расстроен нервами, но мне как-то невыносимо стало грустно. Отчего — не хочу отдавать себе в этом отчета». И опять старая рана. «Ты помнишь,— пишет он,— только война, любовь к родине и желание сложить за нее голову могли быть двигателями меня на службе с марта 1877 года». Он просит сохранить туркестанские бумаги, чтобы потом заняться выяснением «своей *честной* деятельности в Фергане». «Я устал, потерял веру, словом, я ищу «свободы и покоя», и его пугает «тяжелая служба в Восточной Румелии», где турки опять, по его мнению, будут резать...

В РУМЕЛИИ

После устройства дел с Турцией и Англией предстояло приняться за организацию Болгарии, народа, нами освобожденного и призванного к политической жизни после стольких лет рабства. Надо признаться, что в то время ни русская дипломатия, ни русское общество не обладали отчетливым сознанием, насколько этот вопрос имел великое значение, прежде всего для самой России. Несмотря на то, что в истории международных осложнений в России Балканы всегда занимали первое место, только в эпоху Великой войны стала совершенно ясна огромная роль в судьбе России, правильно понятая национальная политика по отношению к славянам и в особенности к Болгарии. Ошибки русской дипломатии, ее близорукость в эпоху Александра III и главным образом — в горькую пору Бухарестского мира 1913 года тяжелыми ударами обрушились на Россию с первых же дней Великой войны. Тогда, в 1878 г., на заре этих сношений перед нами в Болгарии было чистое, невзрачное поле дипломатической деятельности, на котором можно было культивировать самые добрые плоды дружбы двух государств. Но русская политика на Балканах была крайне неустойчива, разноречива и в обществе, и в прессе. Когда началось сербское восстание и особенно когда туда отправился ген. Черняев,

то интерес к славянскому вопросу всколыхнул все русское общество, которое в то время, по общему признанию современников, пребывало в апатии. Но народ в широкой массе узнал о существовании братьев-славян — сербов и болгар — в первый раз из воззваний славянских комитетов да из церковных воззваний — религиозный момент здесь играл очень большую роль. Немалое значение, конечно, здесь имело и официальное положение вопроса — сочувствие к нему высшего начальства. До того времени когда было выяснено это сочувствие, непонимание духовенства было проявлено не раз. В Казани и в Воронеже, напр., в сентябре 1876 г. «по распоряжению светского начальства оно запретило панихиды о русских, павших в Сербии, и молебны о даровании победы сербскому оружию». В Москве, у Иверской, вначале тоже запрещались подобные молебны.

Но вместе с добровольцами-энтузиастами в Сербию двинулись и «господа-ташкентцы». Этот авантюрный элемент сильно мешал престижу русского дела в Сербии и на Балканах вообще. Многие являлись в Сербию как в страну, находящуюся уже в орбите русского влияния, причем уже никакого другого, постороннего влияния в сербском обществе даже не допускалось. Сербов, тяготевших к Австрии, напр., считали определенно изменниками, отщепенцами и т. д. В самой Сербии начали опасаться, как бы Россия не превратила Сербию в «Сербскую губернию». Многие публицисты доходили до того (см., напр., «Послание к сербам из Москвы» — 60-х годов), что рекомендовали для всего славянства принятие одного языка — русского*.

Очень немногие в официальных сферах стояли на позиции «Вестника Европы», что дело объединения может быть произведено только при посредстве самих освобождающихся народностей. «Наша нравственная связь с южным славянством, — писал А. П. (Пыпин?)**, — внушаемая национальным инстинктом, может

* Уже в корреспонденциях из Сербии стали появляться призывы делать более строгий отбор добровольцев, ехавших в Сербию. Отправлялись очень часто подлинные отбросы, — так, напр., один корреспондент из Одессы, «описывая отправленне 130 волонтеров, простодушно замечал, что этим отправлением город освободился от многих негодных и пьяных людей».

** «Вести. Евр.», 1876. № 10.

укрепиться только на широком развитии нашей общественной образованности; наше влияние будет соразмерно нашим успехам в науке, литературе, общественной самодеятельности, успехам, которые поставили бы нас на европейском уровне». Иначе южные славяне могут обратить свои культурные требования к другим народам. (В этом отношении Австрия — наша соперница.) «Русская сила поможет балканскому славянству достичь первого необходимейшего — выбиться на Божий свет из-под страшного ига, но укрепление нашей нравственной и всякой другой связи с ним будет зависеть от взаимного понимания, наш авторитет определится нашим общественным содержанием».

Собственные взгляды Скобелева по славянскому вопросу и на взаимодействие славян были очень близки к мыслям, высказанным публицистом «Вестника Европы». В. И. Немирович-Данченко в своей книге оставил нам поэтическое описание одной беседы в С.-Стефано, когда в сумеречный час, в виду панорамы Царь-града и берегов, с которыми связано столько исторических воспоминаний, Скобелев заговорил о славянской политике. «Мой символ краток, — сказал он, — любовь к отечеству, свобода, наука и славянство». Несомненно, Скобелев, как и многие деятели, близкие к славянофильским кругам, смотрел на русско-турецкую войну с точки зрения провиденциальных славянских интересов, но он был далек от централистического течения по этому вопросу. «Никогда ни серб, ни чех не уступят своей независимости и свободы за честь принадлежать России». Но тем не менее он верил в возможность широкой славянской конфедерации — в «вольный союз славянских племен». Впрочем, едва ли особенно верил, скорее, мечтал о нем, представляя Россию великой заступницей и попечительницей мелких славянских народностей. Он процитировал стихотворение Хомякова, его «Орла».

Лети, но в горнем море света,
Где силой дышащая грудь
Разгулом вольности согрета,
О младших братьях не забудь...
На степь полуденного края,
На дальний запад оглянись:
Их много там, где брег Дуная,
Где Альпы тучей обвились,
В ущельях скал, в Карпатах темных,
В Балканских дебрях и лесах,

В сетях тевтонов вероломных,
В стальных татарина цепях.
И ждут окованные братья,
Когда же зов услышат твой,
Когда ты крылья, как объятья,
Простишь над слабой их главой...
О, вспомни их, орел полночи!
Пошли им громкий свой привет...
Пусть их утешит в рабской ночи
Твоей свободы яркий свет.
Питай их пищей сил духовных,
Питай надеждой лучших дней,
И хлад сердец единокровных
Любовью жаркою согрей...
Их час придет, окрепнут крылья,
Младые когти подрастут,
Вскричат орлы и цепь насилья
Железным клювом расклюют...

И это «будет, непременно», вскричал Скобелев: «когда у нас будет настолько много «пищи сил духовных», что мы будем в состоянии поделиться с ними ею, и, во-вторых, когда «свободы нашей яркий свет» действительно будет ярком и целому миру ведом»*.

Зная деятельность Скобелева в Болгарии, направленную именно на поднятие самостоятельности страны, можно установить прогрессивность его мыслей. Он был дитя своего времени и энтузиаст реформ. «Если мы запремся да от всех принципов новой государственной жизни стеной заслонимся — дело плохо». В славянской же политике Скобелев видел великую связующую силу, способную светить даже во тьме реакции. И в данное время для Скобелева, как военного, это была самая близкая по идее политика, скрашивающая, осмысливающая и оправдывающая его военное ремесло. К сожалению, далеко не все из русских администраторов в освобожденных славянских странах придерживались в этом отношении трезвой и здоровой политики.

С самых первых шагов вступления русских войск в Болгарию нам пришлось столкнуться с местными условиями народной жизни, сохранившей и при турецком иге известный общественный уклад. К сожалению, кн. Черкасский, начальник гражданского управления в Болгарии, с первых же шагов своей деятельности не пожелал считаться с волеизъявлением самих болгар, что

* Немирович-Данченко. Скобелев.

и повело впоследствии к ряду недоразумений между освободителями и освобожденными*. Энтузиазму, с которым русские солдаты умирали за Болгарию, соответствовал и энтузиазм населения, восторженные встречи освободителей. Но уже результаты первого забалканского набега с печальными днями Эски-Загры и т. д. поневоле заставили болгар быть более сдержанными в выражении своих чувств русским войскам со стороны некомбатантного населения. Эта понятная депрессия болгарских жителей была принята многими в России как признак черной неблагодарности. Прежний энтузиазм сменился реакцией — стали говорить, что, в сущности, какое дело, напр., русскому курскому крестьянину до болгарского селяка, который-де «так богат, что дай Бог русскому крестьянину быть таким через двести лет» и т. д. Очень ярко подобные настроения выразил в своем «Дневнике» Газенкамф, отражая, по обыкновению, настроения Ставки. «Полагаю,— пишет он,— что после первого же успеха (победа в открытом поле над значительными силами или взятие Рушука), турки запросят мира и война кончится, если они согласятся на образование из Северной Болгарии вассального княжества и на административную автономию Болгарии Забалканской. По всему видно, что мы этим удовольствуемся, так как у нас уже теперь заметно общее разочарование в болгарях, от самых высших сфер до простых солдат. Во-первых,— не оказалось пресловутого разорения, а, напротив, такое благосостояние, до которого, повторяю, русским крестьянам — как до звезды небесной далеко. Во-вторых,— расчет на активное участие болгар совершенно не оправдался. В высших сферах были убеждены, что добровольцы повалят массами отовсюду: только поспевай формировать новые дружины. Между тем даже на пополнение шести существующих не поступило из болгар ни одного человека. Вместо ожидаемой воинственности мы нашли робость, весьма естественную в народе, который 450 лет томится в непрерывном рабстве. Хорошие задатки (трудолюбие, бережливость, трезвость) в народе есть и на свободе разовьются очень быстро: но мы ведь нетерпеливы и всегда ждем, чтобы сдела-

* О деятельности кн. Черкасского в Болгарии см. ряд статей Утина в «Вестнике Европы». 1877.

лось по щучьему велению, сейчас же, — и по нашему хотенью»*. Рядом с этими голосами шли проекты, чуждые какого бы то ни было уважения к политической независимости болгар, говорившие уже без всякого стеснения об аннексии и проч. Меж тем нам предстояло политическое устройство освобожденного народа в соответствии, с одной стороны, с европейскими понятиями в этом отношении, с другой — с национальными интересами России. Надо отдать справедливость бескорыстной политике имп. Александра II в этом отношении — намерения у правительства были самые благожелательные. Географические рамки С.-Стефанского перемирия стоили того, чтобы за них упорно бороться, а не отдавать так легко на Берлинском конгрессе. Что же касается до гражданского устройства, то болгарская конституция, составленная комиссией, в которой были видные представители государственной науки, вроде проф. А. Градовского, была образцом передовых конституций, которой завидовало либеральное общество самой освободительницы. Не была оставлена и забота о текущем дне — средствах самозащиты болгарского народа, Россия же озаботилась о создании военной силы молодого государства.

Командующий оккупационной армией ген. Тотлебен являлся на театре военных действий только специалистом-инженером, идейно ничем не связанным с войной и ее целями. Наоборот, он принадлежал к той категории государственных деятелей, которые были убеждены, что мы «вовлечены в войну мечтаниями наших панславистов и интригами англичан», что самая идея «освобождения христиан из-под ига ислама — химера», что «сами болгары живут здесь зажиточнее и счастливее, чем наши русские крестьяне, и их задушевное желание, чтобы их освободители по возможности скорее покинули страну». Между прочим, Тотлебен стремился ликвидировать военные конфликты ценою уступок: по его мнению, «Турция не должна быть слишком унижена, чтобы нам удалось прийти к соглашению и совершенно устранить Англию». Конечно, при этих взглядах Тотлебена на самую войну и на наши славянские задачи болгарское население не могло видеть в командую-

* Газенкамф. Дневник. Изд. 2. Стр. 61.

шем своего надежного защитника, и сам он чувствовал себя малопригодным для роли арбитра в тяжелых обстоятельствах ликвидации войны и устройства нового порядка. Это понимал новый командующий, Скобелев, который во время отъезда Тотлебена 22 февраля 1879 г. сразу, не без театральности, продемонстрировал *славянскую* политику. Говорят, что Тотлебен, уезжая из Адрианополя, поцеловался с провожавшим его пастором, простился с другими представителями духовенства, за исключением православного митрополита, стоявшего где-то в стороне, как бы затертым в толпе. Этот митрополит сам по себе был малопопулярным человеком среди болгар, которые его мало уважали и третировали за его облыжную политику с турками, но все же он был представитель православного духовенства, и Скобелев сейчас же, по отходе поезда, поздравившись с почетным караулом, сейчас же, сняв фуражку, подошел к митрополиту под благословение, поцеловав у него руку. Это будто бы произвело на присутствующих большое впечатление. Тут же Скобелев резко оборвал Муфтар-пашу, который подошел к нему и довольно развязно стал говорить что-то о делах, в частности, об эвакуации Адрианополя. Скобелев громко на всю платформу ответил по-французски: «Императорская победоносная армия занимает Адрианополь, а я, ее главнокомандующий, принимаю просителей, имеющих дело до меня, от 9 до 11. Можете пожаловать в эти часы». Муфтар-паша отскочил как ошпаренный*.

Будучи горячим сторонником активности самих славян, Скобелев нашел блестящее применение своим организаторским талантам в деле основания болгарской армии. По инициативе России в Болгарии была введена всеобщая воинская повинность и образовано Земское войско в составе 27 пехотных дружин, 4 сотен кавалерии, 6 полевых батарей, одной роты осадной артиллерии, одной саперной и одной саперной учебной роты. Действующие войска были вооружены ружьями системы Кринка, отпущенными в количестве 27.000 штук, по тысяче на каждую дружину. Для вооружения запаса уступлено около 100.000 винтовок

* Оболенский Д. Д. Наброски из прошлого.— «Истор. Вестн.», Т. 59. Стр. 96.

разных систем и калибров, взятых у турок в минувшую войну... Осталось служить в армии в качестве инструкторов и проч. 344 русских офицера, из них 36 болгарского происхождения, а русских нижних чинов 2700. Во главе вооруженной силы княжества по образованию князем первого болгарского министерства был поставлен русский генерал в звании министра*.

В организации болгарской вооруженной силы ген. Скобелев принимал очень деятельное участие наряду с другими русскими офицерами болгарской службы этого времени. Искусственное отделение Вост. Румелии от Болгарии ставило русской дипломатии ряд очень тревожных вопросов сейчас же по уходе оккупационных войск. Этого момента на Балканах очень боялись, полагая, не без основания, что турки, вступив в Румелию, опять будут резать, как и в других местах оттоманской империи, напр., в Македонии и т. д. В Южной Болгарии дело осложнялось тем, что она, оставаясь турецкой провинцией, не имела права на регулярное войско. Но ген. Столыпин, будучи в то время ген.-губер. Румелии, нашел выход. Он стал с января 1879 года образовывать так наз. гимнастические общества, вооружая их ружьями Крынка и снабжая обильно патронами. Так было использовано около 80.000 ружей. Каждый город, каждое селение, люди в возрасте от 20 до 60 лет, должны были войти в состав гимнастических обществ — «дружеств». Ввиду невозможности при турецком ген.-губернаторе готовить целую армию в противность органическому статуту, который с аптекарской точностью определял войска Румелии, и притом как оттоманскую силу, действительную цель дружества пришлось замаскировать, и § I «Устава» гласил, что «цель дружества — развитие и усовершенствование физических и нравственных сил человека и подготовка учителей гимнастики и стрельбы для дружеств и школ». Кроме того, ввиду возможно скорого очищения страны нашими войсками Восточной Румелии, где можно было ожидать набегов хищных шаек башибузуков, для отражения их и гарантии от грабежей и разбоев были образованы из того же местного населения сельские караулы, в состав которых назначались более способные носить ору-

* Татищев. Ист. имп. Александра II. Т. 2. Стр. 528.

жие болгары по числу имеющих в селении ружей». «Два раза в неделю,— рассказывает б. сливенский губернатор Иванов,— эти болгары выходили на ученье, так что в эти дни в этих городах и селениях все пустело, так как другие возрасты и женщины шли туда же, чтобы любоваться рыцарством своих людей. Часто зывались на один пункт по несколько тысяч гимнастов с своим продовольствием на два-три дня для маневров. В это время они занимались и земляными работами, копали рвы, воздвигали редуты, строили курганы, часто под проливным дождем, и никогда не было случая, чтобы кто-нибудь из них бросил работу и ушел бы домой. Все это делалось с неимоверной любовью. Этим делом лично руководил ген. Скобелев, часто проводивший с гимнастами по два-три дня в поле. Подготовка болгар к самозащите составляла идею генерала, и он же в это дело вложил всю свою душу». «Теперь нам нужно поставить свое дело так,— говорил Скобелев,— чтобы вся Европа убедилась, что Берлинский трактат, составляющий не более как одну насмешку Запада над Россией, не заставит болгар подчиниться туркам». «И действительно,— прибавляет Иванов,— он этого достиг: южные

* В половине мая 1879 г. состоялась передача власти ген.-губернатору Богородису (Алеко-паше) и начальнику милиции ген. Виталису. Со вступлением в должность ген. Виталиса началась не работа, а уничтожение всего сделанного — дезорганизация как самой милиции, так и гимнастическо-стрелковых дружеств. При ген. Столыпине дружества подчинялись милиции. Со дня же передачи края новому правительству и перехода милиции в иноземные руки сельские караулы и гимнастические общества, не находясь уже более ни в какой связи с милицией, лишенные учителей и руководителей, естественно, должны были или распасться совершенно, или же организация их могла принять опасное для страны направление. Между тем это святое учреждение народной самообороны невозможно было не поддержать и допустить до принесения им обратных результатов. С этой целью желательно было признание этого учреждения и новым правительством за залог спокойствия в стране и дарование ему необходимой организации, дабы оно не осталось без управления и благоразумных руководителей. После всякого рода упорств был сменен ген. Виталис, а на его место назначен Штрекер-паша, родом немец, но упорядочивший организацию. Вслед за этим были легализованы и гимнастические — стрелковые дружества как залог спокойствия в стране. Эти силы, по мнению начальника милиции Розова, не допустят турок к занятию по Берлинскому трактату Балканских проходов, а затем, появившись на сливенских полях, решат кампанию с Сербией, укрепив соединение Восточной Румелии с Болгарским княжеством. (Розов. Очерк организации военных сил Южной Болгарии.— «Рус. Ст.». 1911. VI.)

болгары, по крайней мере, усвоили себе все необходимое для самозащиты, а главное — в стрельбе они сделали замечательные успехи, именно они достигли того, что слишком 70% выстрелов попадали в цель»*.

Хорошую выучку болгарских дружинников-гимнастов отметил и ген. Тотлебен, который назвал их «национальной гвардией болгар» и высказал пожелания, что южные болгары останутся свободными навсегда, и ген. Обручев, присутствующий на их маневрах.

Скобелев считал положение в Южной Болгарии очень серьезным, но, может быть, в душе, он надеялся на возобновление военного конфликта с турками — по крайней мере, когда возникли в Вост. Румелии беспорядки в связи с делом директора финансов Шмидта, и ген. Столыпин хотел было усмирить волиение военной силой, Скобелев от этого уклонился, под предлогом, что ожидает столкновения болгар с турками в другом месте.

Некоторое время спустя, по поводу командировки ген. Духоинина в Турцию и Болгарию, Скобелев в письме к военному министру гр. Д. А. Милютину высказал свои взгляды на положение дел в Вост. Румелии. Скобелев пишет, что болгарская масса населения Вост. Румелии вообще крайне раздражена, что они вообще «малоспособны... отличать более от менее существенного», что для них все — «одинаково важные точки» и что они в свое время обещали ген. Обручеву подчиниться органическому статусу при условии невпущения мусульманских беженцев, прибытия Алеко-паши в страну без фески и неперехода турецкими войсками границы. «При неисполнении этих требований население будет стрелять». «Положение Вост. Румелии, — пишет Скобелев, — тем более возбуждает серьезные опасения, что управление страной находится в руках ген.-губернатора, опирающегося на особую от гимнастических обществ и сельских караулов вооруженную силу — румелийское вой-

* Иванов. Из заметок о Болгарии. — «Рус. Ст.». 1892. IX. В письме к тетке гр. Адлерберг из Сливен 20 марта 1879 г. Скобелев приложил фотографический снимок Сливенского училища, которое составляет роту народного ополчения. «Здесь все берутся за оружие, даже дети и, несомненно, что польются потоки крови, как только турки по уходе нашем... вступят в пределы Вост. Румелии... Слава Богу, мы роздали им, несчастным братушкам, старые наши ружья! теперь забыто все; население массой готовится к вооруженному отчаянному отпору». Арх. Б.-Б.

ско,— крайне малочисленное и разнородное по численному составу как офицеров, так отчасти и нижних чинов, что им предводительствует всеми ненавидимый в крае Виталис» и что в этом войске «политическая интрига уже расшатывает ежедневно все более и более основания военной дисциплины». «Меж тем масса народонаселения в крае, возбужденная донельзя, весьма хорошо вооружена, даже отчасти организована и повинуетя руководителям, действующим вне сферы влияния и власти ген.-губернатора, преследующим цели, несовместимые с постановлениями Берлинского трактата». По мнению Скобелева, «несомненная настоящая сила страны — гимнастические дружества, от сближения с которыми правительства и будет зависеть установление порядка в стране. Эти дружества — созданная, вооруженная и отлично обученная русским правительством народная сила в 60.000 штыков и 20.000 ружей, всего 80 000 вооруженных людей,— утверждает Скобелев,— признает всецело и относится с доверием лишь к власти русского императора. С уходом русских войск и управления эта вооруженная масса раздраженных людей остается совершенно без сведущего и внушающего доверие руководителя, а потому, несомненно, сделается игрой партий, и, может быть, ген. Духонину предстоит руководить по возможности этою силою не во имя какого бы то ни было официального права, а во имя могущественного обаяния в стране русского правительства и слепого доверия ко всему, от него исходящему в какой бы то ни было форме». По мнению Скобелева, при «крайней сдержанности и даже скрытности надлежит войти в связь с болгарскими деятелями и удерживать партию действий от всяких несвоевременных вспышек, объясняя представителям этих дружеств, что по силе событий должно быть ими допускаемо без вооруженного сопротивления и протестов», действительная же опасность — это лишь «неминуемость перехода турецких войск через границы Восточной Румелии». Пользуясь возбужденностью болгар и их представителей, «далеко политически незрело воспитанных, наши враги могут возбудить преждевременную вспышку, которая повлечет за собою неисчислимыя бедствия». Эти соображения Скобелева, изложенные им в письме к Милютину, полны очень сдерживающих моментов и дают основание думать, что Скобелев в это время,

т. е. уже по возвращении из Болгарии, был сторонником «успокоения края, а не возбуждения» его, как предполагают многие, на основании вызывающих бесед Скобелева в эпоху пребывания его на Балканах. Правда, это письмо Скобелева было ответом на письмо Милутина, в котором говорилось, что «на всякие возникающие осложнения следует смотреть как на несчастье; необходимость же активного вмешательства нашего в настоящую минуту — было бы народным бедствием»*.

IV. КОМАНДИРОВКА В ГЕРМАНИЮ

I.

В апреле 1879 г. ген. Скобелев был уже в России. Впервые за последние годы ему пришлось очутиться в мирной обстановке, командиром большой воинской части и притом не только не в положении третируемого лица, но, наоборот, в сфере огромной популярности, которая становилась все более и более народной. В июле Скобелев вступил в командование 4-м корпусом. Его летние письма этой поры носят характер какой-то растерянности, какая бывает у человека, который закончил большое дело, привык к постоянному напряжению нервов и вдруг очутился в обстановке, лишенной всяких волнений. Предстояла совершенно непривычная для этого боевого генерала военная работа мирного времени. Привыкший к формуле, что «только война учит войне», он в своих письмах к гр. А. Адлербергу высказывает большое удовлетворение, что ему в этом отношении приходится иметь дело с командующим Вилейским военным округом ген. Альбединским, «который так толково и с любовью занимается образованием войск», так что служить у него действительно и поучительно и приятно. «В этом отношении я совершенно счастлив», — пишет Скобелев, — дай Бог, чтобы продолжалось так, как началось». Скобелев признается в известной неопытности в этом деле. «Как трудно прожить чуть ли не целый век на войне и сделаться воспитателем войск в мирное время. Одно дело создавать войска, другое — их расходовать. Это редко соединяется в од-

* Арх. Б.-Б.

ном человеке, — признается Скобелев и надеется, что все же у него «хватит характера сродниться с требованиями мирного положения и быть царю полезным не на одних только полях сражения». В словах этого письма, вероятно, очень много дипломатии. Скобелев умел готовить к войне, и теперь он начал прежде всего с себя, «принимаясь за изучение любимых военных наук»*. Через неделю он уже работает по приведению всего в порядок, «увы, по мирному положению» и тут, столкнувшись с военной средой мирного времени, он не может не поиронизировать и посмеяться над людьми, каких всегда немало, «которые, когда была возможность возобновления военных действий, были ниже травы и тише воды, вздыхая и охая от болезней, теперь вдруг оправились и вельми возрадовались». С точки зрения Скобелева, эти люди малопригодны для боевых целей, и он высказывает неудовлетворение нашей системой кандидатских списков». Положение его самого было очень затруднительно. Население его встречало овациями, которые очень беспокоили сферы. Зная бесконечное честолюбие Скобелева, едва ли можно сомневаться, что эти царские встречи со стороны не только войск, но и широких слоев населения, особенно в низах, ему были очень приятны, они давали удовлетворение за многие прошлые обиды, но Скобелев хорошо знал своих коллег, чтобы не принять меры против всякого рода кривотолков. Он всегда в таких случаях прибегал к письмам к дяде, зная, что тот всегда сумеет сделать из них соответствующее употребление при случае. И теперь он прежде всего пробует опровергнуть все возможно преувеличенные слухи, напр., о встрече, «будто бы сделанной в Полтаве». «Спешу тебя уведомить, — пишет он, — что ничего подобного и не было». Далее он уверяет, что, поскольку это зависит от него, он сумеет избежать все эти совершенно ненужные демонстрации, глубоко убежденный, что выражать представителям армии одобрение или осуждение есть исключительная принадлежность власти государя. «На этом основании, — говорит он, — по твоему совету воздержался от поездки в Москву, Витебск, Могилев и Бобруйск,

* Скобелев очень много читал вообще, имел значительную библиотеку, постоянно выписывал книги, особенно по истории и военным вопросам. В Петербурге он был постоянным посетителем больших книжных магазинов. См.: Либрович. На кинжном посту.

несмотря на присутствие в этих последних трех пунктах бригад вверенного мне корпуса», что, конечно, ставит его в служебном отношении в очень ложное и затруднительное положение, и он подчеркивает, что «очень счастлив иметь возможность еще раз на деле доказать тебе, мнением которого я очень дорожу, что основные начала, мною в жизни руководящие, ничего не имеют общего ни с популярничанием, ни вообще с чем бы то ни было вне строгой служебной исполнительности». Заканчивается это дипломатическое письмо несколько неожиданным и очень характерным для настроения Скобелева переходом: «Для большей правдивости всего вышеизложенного я должен, однако, сказать, что меня всегда продолжает тянуть туда, где ожидается выстрел, и что перспектива не быть в деле, если бы пришлось опять, была бы для меня слишком тяжелой», и он спрашивает, что делается в Восточной Румелии, Македонии и в отряде ген. Лазарева. Последний вопрос особенно интересен — ведь это было за месяц до разгрома Ломакинского отряда под Геок-Тепе.

II.

От всех этих дел внимание Скобелева было отвлечено на некоторое время его командировкой по высочайшему повелению в Германию на маневры 1 и 15 корпусов германской армии. Самый выбор Скобелева для этого поручения очень знаменателен: имп. Александр II знал германофобские настроения генерала и, однако, счел необходимым, чтобы именно он был представителем России на этих маневрах и поближе присмотрелся к возможному западному врагу. Разумеется, трудно предположить, чтобы генералу даже дружественной державы удалось в короткое время изучить все стороны могущественной армии, и надо думать, что немецкие коллеги вовсе не склонны были раскрывать перед Скобелевым свои карты; с ним были любезны, но не особенно щадили его самолюбие и патриотическое чувство. В сущности, они смотрели на Скобелева как на своего будущего врага. Император Вильгельм даже не счел нужным скрывать этого. Когда Скобелев после маневров подъехал к императору, окруженному блестящей свитой, проститься, тот сказал громко: «Vous venez de

m'examiner jusqu' aux mes boyaux, vous venez de voir deux corps, mais dites à sa majesté, que tous le quinze sauront au besoin faire leurs devoir aussi bien que ces deuxla». А принц Фридрих-Карл, похлопывая по плечу Скобелева, заметил фамильярно: «А ведь, любезный друг, в конце концов Австрия должна получить Салоники...»

Несмотря на короткое время и официальность положения, Скобелев из этой командировки вынес чрезвычайно много. Его отчет, посланный военному министру в ноябре 1879 г., представляет целую книгу. По крайней мере, в черновике он содержит около 4 тетрадей и более 200 стр. большого формата убористого почерка*.

«Я вложил все сердце в эту работу,— писал Скобелев из Минска 12 ноября 1879 г. гр. Адлербергу,— насколько хватило способностей, не мне судить». От зоркого взгляда Скобелева не ускользнули сильные и слабые стороны германской армии. К будущему врагу он отнесся с огромной внимательностью и осторожностью — о какой бы то ни было переоценке врага в сторону «шапками закидаем» здесь нет и помину, как и вообще во всех его отчетах. Это поручение, своего рода «рекогносцировка», было им выполнено именно «по-скобелевски», серьезно и основательно. «Поездка в Германию оставила во мне глубокий след,— пишет Скобелев дяде,— сознаюсь, я поражен разумной связью, существующей между командным кадром всех родов оружия. Войска приучены быстро решаться и проводить свои решения во исполнение, после принципа выручки своих — это главное». Особенно высокого мнения Скобелев об офицерском составе германской армии. «Едва ли может быть случай, где бы германские войска потеряли голову,— пишет он в своем отчете.— Во все время маневров мне не пришлось ни разу видеть какой-либо путаницы, которая происходила бы от неясно отданных или неясно понятых приказаний». В Германской армии я мало видел дилетантов, военного унтер-офицерского кадра, практика дела будет все более исклю-

* Арх. Б.-Б. Этот отчет, по-видимому не весь, был напечатан... в незначительном количестве экземпляров для «личного ознакомления начальствующих лиц» и был вновь перепечатан в «Воен. Сб.» за 1879 г. Отчет носит весьма специальный характер, и подробный его разбор в задачу настоящего очерка не входит.

чать подобных людей из числа способных командовать перед неприятелем в наше время. В особенности обращают внимание на себя кавалерия и артиллерия. Тяжело сознается, что германская кавалерия, по-моему, неизмеримо лучше нашей. Пехота, напротив того, весьма и весьма поотстала, мы им ни в чем не уступим в необходимом бою, а в этом почти вся суть. Все это немалое еще я с поликой ясностью старался выяснить в отчете. Знать соседние армии необходимо: ведь так мы обочились с турками»*.

Очень интересны мнения и наблюдения Скобелева по вопросу о дисциплине в германской армии, которым он всегда особенно занимался. «Дисциплина в германских войсках,— пишет он,— весьма строгая, и, что главнее всего, она соответствует складу народных понятий и симпатий общества. Я позволю себе назвать германскую дисциплину *вполне народной*, а потому к проявлениям ее нам следует относиться, как в смысле порицания, так и в смысле похвалы, с крайней осмотрительностью. Эта дисциплина не наружная только, а проникающая все существо, как офицера, так и солдата, не есть продукт какой-либо системы, а результат совокупности современных народных понятий, которые, в свою очередь, суть последствия истории этого народа. Иной взгляд на дисциплину ныне несовместим ни с принципами общеобязательной повинности, ни с кратковременными сроками службы, ни, наконец, с истекающей из этих начал неразрывною связью народа с армией в обширном смысле этого слова». Очень характерны эти строки для человека, слитого с эпохой и идеями великих реформ. Неудивительно, что и причины высокого сознания дисциплины в германской армии

* Обратил внимание Скобелев и на некоторые отрицательные стороны германского командования, напр., тенденцию командиров к расширению фронтов и «рутину наступательных охватов», причем отметил, что предания войны 1870—71 гг. в этом отношении послужат, скорее, к ослаблению, чем к усилению армии. Точно так же, по его мнению, «атака в лоб позиций самых труднодоступных, и притом в боевом порядке до крайности сгущением»,— крепко укрепились в германской армии, несмотря на опыты Плевны и Шипки, что может привести к большим затруднениям. Очень верно (судя по опыту последней войны), Скобелев оценил славянских солдат в австрийской армии, припоминая слова своего отца, участника венгерской кампании, что славяне и тогда «не стали стрелять, а, перекрестясь, дезертировали к нам».

он видит в «широком» развитии в народе высшего и среднего образования».

Возвратился Скобелев из Германии в очень мрачном настроении и в полном сознании, что в немцах мы имеем неизбежных врагов. Это он высказал вскоре по приезде, в беседе с неким Н. Воропаем: «Знаете ли, что такое война? Это такое несчастье, такое бедствие, что желать ее — величайший грех, и, напротив, ее надо избегать всевозможными способами. Сохрани меня Бог от войны с кем бы то ни было: но чтобы подраться с немцами,— готов отдать десять лет жизни... Худой народ, батенька, худой! Для того чтобы им было хорошо, ничего не пожалеют, а Россию ненавидят, потому что боятся, да и мешает она им много. Рано или поздно, наделают они нам хлопот. Нам ведь от них ничего не надо, а им давно хочется отхватить от нас Остзейские губернии да Польшу. Но трудно ожидать, чтобы они этим удовлетворили свой волчий аппетит. Вот, по моему мнению, и следовало бы сократить их теперь же*». Разве не кажутся эти слова пророческими?

V. АХАЛТЕКИНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

I.

Ахалтекинская экспедиция в жизни ген. Скобелева имеет очень большое значение. Здесь впервые он был главнокомандующим, хотя и небольшого отряда, ничем не связанным в своих планах,— он подготовил эту экспедицию с самого начала, тщательно обдумав всякую мелочь, и выполнил ее буквально согласно расписанию, т. е., разыграв как по нотам. В этом походе обрисовались все сильные стороны Скобелева как полководца-организатора.

* «Разведчик». 1901. № 545. См. также: А. Пушкин. Скобелев и его заветы славянству.— М., 1914. На собрании у Т. С. Морозова в Москве 2 апреля 1882 г. (по вопросу о торговых сношениях с Болгарией) Скобелев, между прочим, сказал: «Несчастье наше заключалось в прошлое царствование в том, что правительство не допускало мысли о возможности войны с немцами, почему мы и не обращали внимания на западную границу, тогда как Германия настроила ряд крепостей на нашей границе». И Скобелев настаивал на проведении железной дороги из Минска в Белосток.

За экспедицией ген. Лазарева и ген. Ломакина против туркмен Скобелев следил очень внимательно. Командировка в Германию его на некоторое время отвлекла от среднеазиатских дел, но по возвращении, после составления отчета, он занялся этим вопросом вплотную. Много было причин, почему Скобелев уделял так много внимания неудачной Ломакинской экспедиции. Она была одним из этапов той среднеазиатской политики, в которой он сам принимал деятельное участие, и понятно его негодование при известии о неудаче в деле укрепления нашей колонизации в Средней Азии. Но была еще одна причина, благодаря которой в неудаче Ломакинского похода Скобелев увидел как бы грозное мщение судьбы. Дело в том, что в числе участников этой экспедиции как раз находились лица, считавшие себя соперниками скобелевских лавров в Коканде и бывшие как раз теми информаторами о поведении Скобелева в Ферганской области, на основании докладов и рассказов которых построено было в Петербурге обвинение Скобелева в ряде поступков, вызвавшее суровую встречу Скобелева императором в марте 1877 года. В числе этих офицеров были, между прочим, кн. Долгоруков и гр. Борх. «Что говорят в Москве об Ахалтекинской экспедиции под предводительством героев Петербургского яхт-клуба? — спрашивает Скобелев И. И. Маслова в письме из Минска 18 ноября 1899 г. — Не возмутительно ли!? Неудача всегда на войне возможна: победу дает Бог, но грешно шутить войною, а коль дошутился, плати собственною кровью, а не кровью наших мучеников-солдатиков да молодцов армейских строевых офицериков! На месте Тергугасова, видит Бог, я бы всех виновников тут же, при отряде, предал суду». И, не останавливаясь более на своих личных чувствах, Скобелев переходит к своим мыслям о нашей среднеазиатской политике. «Вообще с Азией, — пишет он, — надо обходиться умеючи. Она и ничтожна и страшна... Средняя Азия до сих пор держалась, скорее, *обаянием*, соединенным с непрерывными славными успехами, чем *силою наличного числа войска*. Когда в 1866—68 гг. войска наши ходили на «ура», то азиатам казалось, что они плюют огнем. Победу европейцы понимают по-своему и впредь будут понимать так же, Азия же понимает победу совершенно иначе, а потому на рассматриваемые вопросы того или другого неудач-

ного дела в Азии следует прикидывать масштаб азиатский, а не европейский. Средняя Азия,— высказывает Скобелев свою старую точку зрения,— для нас даже не колония и по характеру своего завоевания, и по характеру занятия нами. Этот край не может быть назван ничем иным, как *официальною базой*, предмет же действий — Индия — указан Провидением. Не *дразнить* туземное население Ср. Азии пустыми экспедициями, не приучать их, по неспособности нашей, к виду русской крови следовало бы нам, а *организовать против Англии, пока не поздно, бухарцев, хивинцев, тех же туркмен*, Афганистан и, когда наступит время, поднять *сто-тысячную кавалерию* и двинуть ее, в виде авангарда, во время крови и *грабежа* в пределы Англо-Индии, возобновив времена Тимура»*. Сколько раз в записках и письмах Скобелева встречается эта фраза, как и мысль, выраженная им много раз, что «если не иметь в виду помощь Туркестана решить в нашу пользу Восточный вопрос, то незачем и стоять на Аму-Дарье,— овчинка не стоит выделки». Разумеется, как это и было отмечено, этот взгляд Скобелева на наши среднеазиатские продвижения был и неверен, и рискован, но практически он был очень выгоден: он прежде всего предполагал гуманную политику по отношению побежденных, способную превратить враждебные народы в дружественные,— потому что только при этих условиях управления можно было бы вести ту политику, которую преследовал здесь Скобелев. Свою политическую точку зрения на наши среднеазиатские дела Скобелев сохранил и во время Ахалтекинской экспедиции. На вопрос одного из участников штурма, почему он назначен на 12, в понедельник (Скобелев был суеверен), Скобелев ответил, что «исполнилось ровно 80 лет со времени знаменитого приказа Павла I, которым он повелел Донскому войску собраться в полки и, выступив в Индию, оную завоевать. Наполеон I очень рассчитывал на эту маленькую в его интересах любезность. Только внезапная смерть Павла остановила движение знаменитого Платова во главе его сорока полков. В память этого неудавшегося похода я устроил сегодня первый этапный пункт в направлении к Гинду-Кушу». — «А где же второй?» — «В Герат», — отвечал Скобелев. «И ко-

* Арх. Б.-Б.

гда?» — «При первой демонстрации Англии против России, при первом вторжении ее флота в Мраморное море. Так вы и отметьте в своих исторических записках, в виде завета моего наследника по оружию». — «Вы убеждены, что искренняя дружба между Россией и Англией невозможна?» — «Она желательна, — отвечал Скобелев, — скажу более — она необходима для правильного хода исторических событий, но доказательства этому должны идти со стороны Англии, а не России. Верьте, что Англия будет еще не раз называть Россию и великим, и славным... и даже просвященным государством, но все эти нежности более чем опасны»*.

Скобелев не отрицает огромности задач, стоящих, по его мнению, перед Россией в Средней Азии, но он «верит глубоко в нашу историю, в несокрушимость народа русского, в его мировое значение. Если забытые всем строем государственной жизни русские силы ходили к Парижу и Адрианополью, то почему задаваться меньшими целями теперь, когда державною волею государя 19 февраля 61 года созданся 80-миллионный русский народ. Конечно, беда, коль представителя России в Лондоне будет хвалить не свой государь, а агенты Биконсфильда...»

Турецкая война несколько отвлекла нас от закаспийских дел. Встреча с туркменами, воинственным и диким племенем, была подготовлена давней историей. Туркмены — племя, стремившееся все время к гегемонии над своими соплеменниками-иомудами, сарыками и проч. Их разбойничьи набеги сильно беспокоили не только ближайших соседей, но и персов — среди многочисленных рабов туркменской твердыни было всегда огромное число персидских рабов. Во главе наших закаспийских военных сил стоял ген. Ломакин, один из участников хивинского похода. Удивительно, что этот генерал, все время воевавший с текинцами, так и не научился побеждать их. План экспедиции был составлен на Кавказе, в ведении которого и находился Закаспийский военный отдел. Может быть, этим и объясняется, что главное командование над экспедицией было поручено ген. Лазареву, командующему корпусом на Кавказе. Лазарев, боевой генерал, тоже не оценил как следует обстановки — он даже думал, что «займет страну без

* Струсевиц. Оди из богатырей XIX века.

выстрела». Но текинцы стали готовиться к отчаянному сопротивлению и в песках создали крепость (Геок-Тепе), в постройке которой, как впоследствии, при Денгиль-Тепе, принимали участие англичане. Численность отряда ген. Лазарева доходила до 11.000 чел., при коннице и 34 орудиях. Но слабая подготовка похода сказывалась в отсутствии опорных пунктов, так что о прочном занятии оазиса нечего было и думать, все свелось к набегу на крепость с целью взять ее с налета. Ген. Лазарев уже с самого начала похода понял, что этот поход — «настоящая школа терпенья», и, может быть, он принял бы соответствующие меры для преодоления препятствий. Но он умер в начале экспедиции. Во время погребального салюта у орудия рассыпались колеса... Дурной признак!.. Сменивший Лазарева ген. Ломакин форсировал штурм до последней степени. 28 августа 1879 г. с последнего ночлега Ломакин прямо пошел на штурм крепости в походных колоннах, имея по комплекту снарядов на орудие и по 120 патронов на винтовку и продовольствия в обозах на 15 дней. Благодаря отсутствию рекогносцировки не было обнаружено, что крепость с некоторых сторон не была достроена. У штурмующих, как говорят участники, не оказалось даже штурмовых лестниц. Усталые, недостаточно укомплектованные войска в самом штурме выказали огромное напряжение, но, не ожидая ожесточенного сопротивления, отступили в лагерь с такой поспешностью и в таком беспорядке, что даже оставили на поле битвы убитых и раненых, которые были подвергнуты потом жестоким мучениям. В этом штурме отряд потерял около 500 человек. Победа туркмен подняла их престиж в степях на необыкновенную высоту и дала возможность англичанам еще более усилить свое влияние среди них.

Пока посланный на место катастрофы ген. Тергукасов поправлял дело Ломакина, на Кавказе и в Петербурге шла кипучая работа по снаряжению новой экспедиции, план которой был рассчитан на 4 года, требовал большого количества войск и 40 миллионов расхода. Намечались начальники. Хотя в окружении ген. Скобелева и в разного рода кружках и называлось имя героя Плевны, но в официальных списках он не значился. Его выбрал имп. Александр II.

10 января 1880 г. Скобелев был уже в Петербурге и 12-го был принят государем. Скобелев всегда говорил

с большим волнением об этой беседе с государем, который поразил его верной оценкой причины неудачи экспедиции, советовал не набирать лишних людей и не пренебрегать силами противника. Условием принятия начальства над экспедицией Скобелев поставил полную самостоятельность в командовании и, что очень характерно, отказывался вести экспедицию без организации фактического контроля.

II.

Отправляясь в экспедицию, «имея в виду предстоящие при этом боевые дела, в которых для каждого участвующего возможно найти смерть», Скобелев захотел сделать духовное завещание. В письме к И. И. Маслову от 2 апреля 1880 г. из Минска, куда Скобелев заехал проститься со своим 4 корпусом, он намечает содержание своего завещания. Оно очень интересно и говорит не только об его личных чувствах к людям, ему близким, но и об его общественных взглядах, характерных для своей эпохи. О содержании завещания мы знаем из письма к И. И. Маслову. После обеспечения матери на всю ее жизнь Скобелев говорит о «нравственных обязательствах, налагаемых памятью покойного своего отца и его дружбой к известной личности» (?), и очень трогательно — о своем «уважаемом наставнике и друге Жиарде, которому он назначает «пожизненную пенсию в 2400 рублей в год». Затем (это стоит сейчас же за упоминанием о матери) речь идет о «выделении села Спасского с домом, садом и земельным обеспечением на *инвалидный дом*, который тем более мне близок и к сердцу, и к совести,— грустно мотивирует Скобелев,— что на моей ответственности при постоянном боевом командовании, лежит много геройской крови да, к сожалению, и в предстоящих действиях еще ляжет. Я чувствую потребность сделать в пределах возможного для наших инвалидов доброе». В завещании этому инвалидному дому присваивается название «Скобелевского» и предоставляется «оному в собственность из состоящих при том селе удобных земель и всякого рода угодий потребное количество оных в таком размере, чтобы доходами с этих земель или угодий вполне обеспечивалось на вечные времена содержание и

существование предполагаемого инвалидного дома». Затем — «существующие в селе Спасском Рязанской губ. Ряжского, у. училища, как рассадники народного образования, должны быть поддерживаемы и обеспечены выдачею денежных сумм, потребных на приобретение школьных пособий, приличное жалование учителям и проч.». Здесь характерны для Скобелева не только самый факт заботы о народном просвещении, но и его соображения, высказанные им по этому поводу в письме к И. И. Маслову. «Потребность народного образования,— говорит он,— ощущается в нашем отечестве всеми людьми честными, совесть которых не заглушена инстинктами обжорства в обширнейшем и, скажу, худшем смысле этого слова. Я считаю делом добрым и русским, владея состоянием, в случае моей кончины обеспечить по возможности средствами великое дело народного образования. В такой постановке вопроса я даже вижу, хотя отчасти, исцеление тем ужасным бедствиям, которые всегда влечет за собою война. Вам, следовательно, понятно, многоуважаемый Иван Ильич*, с каким святым чувством я приступаю ко всему, могущему хоть сколько-нибудь подвинуть вперед это великое дело — краеугольный камень будущего величия нашей родины, которую, когда будет грамотна, уже не испугают какие-то негры, высаженные жидом** на о. Мальту, и не остановят никакие мудрые Берлинские соглашения». Эти мысли Скобелева, выраженные им не совсем складно стилистически (они взяты из черновых писем. См. Арх. Б.-Б.), не должны быть забыты при определении скобелевского мировоззрения — горячая, полная энтузиазма вера в спасительную силу просвещения.

III.

План экспедиции выковывался Скобелевым постепенно. Остановившись на среднем числе войск, почти таком же, как в походе Ломакина, Скобелев только

* К слову сказать, сам Маслов, умерший в 1891 г., оставил около полумиллиона рублей на народное образование в знак «глубокого сочувствия великим реформам Александра II». См.: Джаншиев. Эпоха великих реформ. Изд. 1.

** Биконсфильдом, конечно.

принял за единицы формирования не батальон, а роту, считая, что для степной войны это более рационально. Отряд Скобелев задумал оборудовать по последнему слову тогдашней военной возможности: здесь были рутьеры, гелиограф, пулеметы, ракеты, ручные гранаты, особый инженерный и артиллерийский парки, применены дековилька, опреснители и проч.*. Продовольственный режим он определил фразой: «кормить до отвала и не жалеть того, что испортится». Для огромного обеспечения экспедиции требовались перевозочные средства, и он настоял, чтобы верблюды были доставлены на базы в огромном (свыше 12.000) количестве — они сослужили свою службу, хотя почти все погибли. Скобелев учел и значение водных путей и железной дороги (в том числе переносной). С помощью кап. 2 р. Макарова (будущего адмирала) он использовал Михайловский залив как водную артерию в глубь страны, обследовал судоходную возможность каждой реки и усиленно занялся проведением железных дорог — обыкновенной и переносной.

Высадившись на восточном берегу Каспия, Скобелев начал объезд своего обширного тыла с Мангишлака, откуда установил более тесную связь с Туркестаном до самого Чикишляра, где применил без нужды и ради предрассудка театральные жесты — пустил своего коня вплавь за четыре версты от берега. Здесь через несколько дней после прибытия Скобелев уже определил главные этапы похода: от Красноводска и Чикишляра — от двух оснований треугольника он наметил вершину, базу для наступления — Кизиль-Арват. Эта операция была им намечена еще в марте в Петербурге, и тогда же были посланы на места соответствующие приказания о подготовке. Это дало возможность через 16 дней после высадки в Чикишляр двинуться в глубь страны для отыскания пересечения Красноводской и Атрекской дорог. Пройдя 300 верст, перевалив через Текинский

* Скобелев не пренебрегал никаким дельным предложением. Так, еще на Кавказе некий майор Ротчев заявил Скобелеву, что изобрел особую печь, которая отапливается нефтью, для печення хлеба. Скобелев, зная, как трудно доставать дрова в Закаспийской области, пригласил Ротчева для устройства этих печей на Атрекскую линию, где в некоторых местах и производилась выпечка хлеба и варка пшени. Бани тоже топились нефтью, которая там была очень дешева.

хребет, Скобелев взял Кизиль-Арват и облюбывал Бами, в ста верстах от Геок-Тепе, как базу для наступления на крепость противника. Прочное занятие этих пунктов на исконной земле противника произвело огромное впечатление; кроме того, оно было сделано во время жатвы в оазисах и дало огромные запасы продовольствия, не говоря уже о том, что Скобелев завел в Бами и свое сельское хозяйство. Один из этапов был пройден, и один из вопросов был решен — «пустыня уже кормила войну». Даже кавалерия во время осады питалась сбором фуража на месте. Полк. Гродеков, кроме того, удивительно оборудовал еще «боковую персидскую базу», которой, правда, не пришлось и воспользоваться до штурма, но зато после она дала возможность кормиться, несмотря на расстройство верблюжьих перевозок.

Перенесение подготовительных работ в глубь страны имело еще и то значение, что все предыдущие дела с текинцами были лишь набегам, и текинцы были убеждены, что русские могут жить только у моря.

Быстрое продвижение в глубину неприятельского оазиса с малыми силами (3000 штыков, 800 сабель, 22 орудия) по безводной пустыне само по себе было серьезным предприятием. Нужно было не только отражать неприятеля, но и занять всю линию. Трудности перехода увеличились и такими заданиями, как устройство телеграфа до Бами, а каждый столб привозился из Баку.

Наследство в крае, после неудач предыдущего года, Скобелев получил очень печальное, в хозяйстве и в военном деле была полная неразбериха, приходилось все начинать сызнова. Когда читаешь многочисленные приказы Скобелева-главнокомандующего, поражаешься предусмотрительности и огромному разнообразию предметов, которых приходилось касаться. Здесь и санитарное дело, и крепостное, и политические отношения и всякого рода мелочи служебной походной жизни.

Как всегда, заботы Скобелева о солдате стоят на первом месте. После осмотра тыла и заготовок в Хаджакале он пишет: «Мало заботливости о людях. Между тем офицеры построили себе отличные землянки в несколько комнат. Я ничего не имею против устройства землянок для офицеров, но требую, чтобы забота офи-

цера о солдате была на первом месте, т. е. чтобы офицеры строили себе землянки после того, как нижние чины действительно, по возможности, вполне обеспечены». Имея в виду тоскливую обстановку экспедиции, Скобелев много уделял внимания солдатским развлечениям, играм, театру и проч. «Солдата нужно бодрить, веселить и не киснуть с ним вместе. Прошу сделать распоряжение теперь же, в счет экстраординарной суммы, выписать скорее игры для солдат по числу укреплений на обеих коммуникационных линиях и в оазисе. Полезными играми я признаю игру в мяч, причем мячи необходимы различных размеров, прочные и красивые. Кегли можно устроить... Вообще я был бы рад, если бы начальники частей сами придумывали, как занимать солдат. Одно для меня очевидно: у нас солдат молодой, впечатлительный и требующий сердечного ухода за ним»*.

Эти приказы, написанные бодро и деловито, лишены пустой декламации, они всегда очень конкретны, изобилуют мотивировкой и историческими примерами из военной истории ближайших лет. В нем «все было наизнанку,— говорит о Скобелеве Арцишевский**,— наоборот, бюрократической мертвенности он не мог слышать, формализма без дела, без разума, без нужды... Вы могли у него спать и ничего не делать сколько угодно — лишь бы дело у вас от этого сна и бездействия не страдало». Строгий и требовательный к подчиненным, особенно если это касалось посягательств «на казенный сундук или же на солдатские крохи», ему нелегко было угодить. Но он и сам работал, не зная усталости, вставая с рассветом, стараясь лично контролировать исполнение и в самой тяжелой обстановке «никогда не расставался с книгами и учебниками, никогда не сидел дома без дела. То стол его завален фортификационными чертежами, то вы на столе увидите философию Куно Фишера, то всемирную историю Шлоссера, то физиологию Фохта».

Большое было дело — поднять упавший дух войск Закаспийской области. Служба здесь была тяжелая, несравненно тяжелее туркестанской. Некоторые части находились уже три года среди палящего зноя песча-

* Гродеков. Война в Туркмении. Т. II.

** «Р. Ст.». 1883. V.

ных пустынь. «Пытка ужасная, жизнь непонятная, — пишет один из военных, — тоска, скука и апатия заедают человека своею мертвенной монотонностью и однообразием, словно вся ваша жизнь отрезана навсегда от остального мира — особенно когда видишь пароходы на открытом рейде проходящими мимо, что бывает осенью и зимой, когда пароходы не могут приставать к берегу. Тогда, кажется, и жизнь, и мысль, и все далекое родное и все заветное уносится с этими пароходами в неведомую даль, в чужие края, чтоб еще больше истеранить ваше нудное и заболевшее терпение. А там между тем ясными точками на горизонте носится на своих архамаках неприятель, быстро и неожиданно нападает на наши транспорты и караваны и безнаказанно исчезает в своих степях, так как мы не всегда имели возможность его преследовать с успехом».

И когда среди этих пустынь и угнетенных людей появился молодой, энергичный, изящный по виду главнокомандующий, с заслуженной репутацией народного героя — началась кипучая жизнь, полная внутреннего смысла и бодрых ожиданий, всем стало ясно, что наступило движение вперед к победе. Слух о назначении Скобелева проник в туркменскую среду и вызвал большое волнение. Азия имеет пылкое воображение. «Гезкаклы» — кровавые глаза, как прозвали Скобелева туркмены, замороженный, неуязвимый для пуль генерал, картинно появлявшийся перед врагом, производил сильное впечатление на азиатские массы. Всполошились и англичане, послав ободряющее письмо и подарки текинскому хану и направив плеяду агентов для соответствующей работы в Персию и Мерв. Двинулись английские агенты и к Скобелеву, но он им резко отказал, и несколько англичан под разными предлогами оказались то в Мерве, то в Персии, то в самом Ахал-Теке сторонними наблюдателями действий русского отряда.

Перевалив Текинский хребет и обосновавшись в Бами, Скобелев признавался, что ему не хватает знания неприятеля. Для этой цели он предпринял «прогулку в осиное гнездо» — рекогносцировку, которая приняла вид набега. С небольшими силами (около 4 рот, 4 сотни, 10 орудий... продовольствия на 6—12 дней. Ни палаток, ни фуража, вместо водки — чай) 1 июля Скобелев вы-

ступил к крепости. Это было смелым, рискованным предприятием, его мог начать только искусный полководец — в случае неудачи отряд мог быть раздавлен текинской конницей. С этого набега началась боевая школа — Скобелев выработал подробную замечательную инструкцию и движением вокруг крепости старался показать рациональность «ротного» порядка — «русская рота» в Средней Азии — полевой Страсбург», — писал он. Отправляя на три дня небольшой отряд — сотню казаков — проверить линию и слухи о сосредоточении мелких мервских шаек, Скобелев в 3 часа ночи заботливо пишет для его начальника подробную инструкцию. Там предусмотрено, как располагать отряд на ночлег, как ставить юламейки, фургоны, вьючные седла и проч., как выбирать местность, имея в виду внезапность нападения (сейчас же историческая справка из местной войны!). Особенно строго рекомендуется ночью всем начальникам не спать. Как ставить секреты, причем эти секреты «обеспечивать» природным или искусственным валиком. Конным разъездам иметь трубачей или заставлять громко окликать и вообще принимать все меры, чтобы неприятель был убежден в нашей постоянной бдительности, ибо в этом враждебном крае даже самому опытному начальнику отряда невозможно быть уверенным, что он своевременно угадает всегда вероятное внезапное нападение. Очень любопытно указание на «приметы». «Таковыми, кроме обыкновенных, наиболее заслуживающими внимания, есть поведение населения туземных торговцев и служащих в отряде джигитов. Если население беспокоится, торговцы удаляются из отряда, базар слабеет, а джигиты, под разными предложениями, отказываются от служебных поручений, то следует усилить меры осторожности. Если джигиты частью самовольно исчезают, а частью до того лепятся к войскам, что, т. ск., мешает их движению или расположению, то опасность, значит, близка. Появление в окрестностях нашего лагерного расположения разных диванов (юродивых) тоже нехороший признак» и т. д. Вообще все распоряжения Скобелева и письма к своим сотрудникам показывают, что он менее всего был склонен к каким бы то ни было выступлениям, не взвесив их возможного риска.

Набег на крепость, продолжавшийся неделю, имел чрезвычайно важное значение. Скобелев дисциплини-

ровал войска*, хорошо осмотрел местность и поразил неприятеля огромной выдержкой своего отряда. Обойдя крепость, укрываясь от наседавших текинцев, которые то и дело бросались в шашки, и не без успеха, Скобелев начал отход от крепости, не торопясь, стройно, с музыкой. «Заря с церемонией» под огнем наседавшего неприятеля произвела огромное впечатление. «Нужно Азию бить не только по загревку, но и по воображению», — говорил Скобелев.

Из рекогносцировки были сделаны выводы. Текинцы лучше вооружены, чем мы думали, умеют воевать, перенимая русские приемы. Что же касается крепости, то оказалось, что с 1879 года текинцы не теряли времени даром и, пользуясь помощью англичан, довольно хорошо ее укрепили. Сама крепость была по пространству невелика — приблизительно одна верста в квадрате, но с высокими стенами на прочном и широком земельном базисе. В такой тесноте к началу осады в ней собралось до 45.000 чел. с семьями и около 10.000 коней. Понятно, что при таком количестве населения трудно было довольствоваться, и ряды защитников несколько поредели, но с продовольствием вообще обстояло неплохо, потому что Скобелев не имел возможности окружить цепью осады всю крепость, и текинцы имели возможность свободного сообщения со степью до самого падения крепости. Сильно затрудняло задачу Скобелева и то обстоятельство, что ему нужно было уничтожить живую военную силу текинцев, поэтому он очень боялся, чтобы они не ушли из крепости. В письме к гр. С. А. Милютину он откровенно опасается даже... преждевременной сдачи до штурма. Тогда, по его плану, пришлось бы всех текинцев отправить в качестве военнопленных к морю. Было видно по всему, что русским войскам будет оказано страшное сопротивление, что вылазки и нежи-

* Так, в одном бою, когда часть пехоты замялась, Скобелев применил свой старый прием — ружейные приемы под огнем. Однажды, когда одна ракета «закапризничала» и упала среди своих, Скобелев, чтобы предотвратить панику, наехал на нее своим конем. Лошадь была ранена, но эффект был большой. Перед боем в рекогносцировке 6 июля Скобелев был очень возбужден, потому что боялся, что его маленький отряд может быть раздавлен кавалерией текинцев. В приказе, который велено было прочесть, в случае его смерти, он писал откровенно, что «сознательно поставил отряд, по-видимому, в весьма трудное положение, но убежден, что при молодецком ведении он вернется с честью».

данные нападения вообще будут одним из видов тактики текинцев, действительно очень стремительных в рукопашном бою. Самым главным козырем у текинцев была природа: климат закаспийских степей войска переносили с невероятным трудом — достаточно сказать, что на 12.000 человек пришлось 29.000 заболеваний, несмотря на все серьезные меры, принимаемые в этом отношении Скобелевым*. Военный опыт Скобелевым был применен здесь в полной мере — «походно-боевой порядок, выработанный нами в Туркестане, здесь действовал очень успешно, причем в некоторых боях уже применялась система перебежек, вынесенная нами из Турецкой войны, из-под Шейнова**.

Даже в «отчетную тактику» была внесена новинка, давшая отличные результаты, — «предварительный контроль», особый вид полевого контроля при войсках***.

В Баши Скобелев пробыл довольно долго, до начала декабря, пока не подобрались все воинские части и не были собраны запасы. Здесь у него уже сложился план военных операций, который он подробно излагал в обширных письмах к гр. А. Адлербергу. Надо думать,

* См. об этом в воспоминаниях д-ра Гейфельдера. — «Р. Ст.», 1886. V; 1887. V; 1892. VII.

** История армий и флота. — М., 1913. Т. XII. Стр. 164.

*** Предварительный контроль был предусмотрен в период реформы, но в жизни не проводился, по словам М. Кремяновского («Государственный контроль в России за сто лет». — «Вести. Евр.», 1915. VII), исключительно по противодействию со стороны министерств вн. дел и финансов. Скобелев ввел этот контроль по докладу Черванского 19 июля 1880 г. Сущность его вытекала из полевого контроля, и заключается в том, что он предотвращает расходы, не согласные с законами или командующим войсками, и дает возможность своевременно обнаружить неправильные требования, не ожидая контроля, ревизирующего отчетность только по окончании военных действий, когда уже предотвратить неправильные действия является невозможным. Так, напр., выдача авансов по действительному количеству лошадей, а не по количеству по штату, требование прогонов при обыкновенных передвижениях, а не экстренных, требование фуражного довольствия по ценам другой местности, где находились требователи, требование довольствия на чинов, еще не вошедших в состав отряда, и т. д. Скобелев ввел «предварительный» контроль в отряде и написал на проект Черванского: «Во всяком случае, это могучая узда всему ворушащему». Впоследствии он говорил, что введение предварительного контроля «дало ему нравственное спокойствие» и вообще ему непонятно, «как можно вести военные действия без самого широкого участия контроля». — Гродеков. Наз. соч. Т. IV. Стр. 289.

что эти письма он писал очень тщательно и обдуманно до последней фразы, — он знал, что они в Петербурге будут использованы дядей как материал при случае, при докладе государю и проч. «Со дня прибытия моего к войскам 1-го мая, — пишет он из Каджи-Калы 3 июня 1880 г., — я занялся устройством базы, которая чем обширнее, тем лучше, но зато требует и больших затрат времени и средств. Действовать в глубь страны я решил по двум направлениям — оно безопаснее в такой стране, где все основано на верблужьих перевозочных средствах, которые требуют подножного корма в большом количестве, а следовательно, и простора». (На прилагаемой, тщательно составленной, как всегда у Скобелева, с применением цветных карандашей и проч., карте очень отчетливо изображены его стратегические намерения.) «Теоретически, — продолжает Скобелев, — предстоящую экспедицию, я думаю, правильно охарактеризовать: 1. Необходимостью, при современном *истощении* перевозочных средств враждебного нам края, перенести нашу базу с Каспийского моря на 300 верст вперед — что значит поднять и доставить около 800.000 пудов с Каспия к преддверью Ахалтекинского оазиса. 2. Действовать с возможно меньшими силами с целью сбережения столь драгоценного нам провианта, которого в пунктах прибрежных сколько угодно, но доставка которого войскам или совершенная невозможность, или вызывает расходы, огромные сравнительно. 3. Не дать неприятелю, многочисленному и храброму и, к сожалению, набалованному последним своим бесспорным успехом, еще более привыкнуть к победе и тем окончательно сделаться для нас серьезным. 4. Крайнею осторожностью в выборе боевых решений и настойчивым исполнением раз предначертанного, с одной стороны, не предоставить противнику случая одержать успех над каким-нибудь мелким нашим отрядом, а с другой — *вырвать* у него и удержать за собою инициативу действий, что всегда столь важно на войне; а здесь война, которая, после неудачного дела 28 августа 1879 г., уже перестала быть войнишкой, но, благодаря Бога, до серьезной, в смысле средств государства, войны не успела еще дорасти». Далее Скобелев полагает, что предстоящая «задача и административная и военная, в особенности вследствие столь противоречащих требований местных условий театра военных действий, его

военных и политических особенностей», и он несколько раз упорно подчеркивает трудность экспедиции, которая стоит ему огромных усилий и здоровья. «Ты не можешь себе представить,— пишет Скобелев Адлербергу от 21 авг.,— до чего затруднительна эта экспедиция в хозяйственном отношении. Не говоря про стоимость, напр., четверти овса в Бами — 24 р., начальник ежеминутно чувствует, что он зависит от случайности, которая все может нарушить сразу и загубить все сделанное. Напр., даже страшно вымолвить, пожар передовых складов, удачный набег неприятеля на наш тыл и т. д.»

Особенно Скобелев озабочен охраной своей самостоятельности как командующего экспедицией. «Нужно много силы, верь мне, добрый дядя,— пишет он,— чтобы без смущения нести всю тяжесть ответственности. Необходимо чувствовать за собою доверие свыше, а иначе непременно надломишься». Скобелев очень высокого мнения о качестве войск: «право, грешность такими молодцами не победить, и, определив количество своего отряда (3540 штыков, 1000 коней, 30 орудий), говорит, что хотя это немного по сравнению с прошлогодней экспедицией, но он решился с этими силами идти вперед. С занятием Бами достигается, по его словам, то, что «край разрезается на две части и воюющее население лишается возможности собрать в этом году урожай и что инициатива переходит в наши руки и неприятель должен терпеть мое присутствие или меня атаковать — а цель при скорострельном усовершенствованном вооружении заключается именно в том, чтобы, наступая стратегически, тактически обороняться».

Одновременно Скобелев действовал и пропагандою. К письму приложены копии с двух прокламаций на местном языке, посланных в Геок-Тепе. В них Скобелев намеренно «избегал говорить и о будущем устройстве страны, и о вековых отношениях их в Персии, и о неизбежном переустройстве по водворении порядка силою русских штыков, наконец, избегал упоминать обо всем, что так или иначе могло бы дать повод партии войны возбуждать против нас массу населения». Впрочем, Скобелев очень мало верил в силу этих призывов к добровольной покорности, потому что «партия газавата одержала окончательно верх».

«Как и на Балканском полуострове,— пишет Скобелев,— военные действия и здесь затрудняются сообра-

жениями политики», и он проявил в этом отношении не раз применяемый им способ — уступки прерогатив по принадлежности, не желая обременять себя излишними осложнениями, предпочитая умело и тактично использовать чужую силу. Но при этом он встал и на принципиальную почву. «Мне кажется,— пишет он,— нигде в деле политики не имеет такого важного значения изречение римлян, захвативших мир: «*Cedent arma togae*». Не желая повторять «прискорбных недоразумений» ген. Лазарева в ведении им политики самостоятельно и независимо от персидского посланника, Скобелев «всю инициативу сношений и направления их в вопросах, касающихся интересов вверенного дела, решил предоставить усилиям дипломатов, а следовательно, безусловно воздержаться от всякого непосредственного сношения с персидскими пограничными властями». И сейчас же по прибытии в Чекишляр просит русского посланника в Персии Зиновьева взять на себя «все дела и сношения с персидским правительством», что очень способствовало установлению хороших сношений между представителями русских интересов в Прикаспийском крае*. В отношении Персии Скобелев проявил крайнюю степень осторожности, стараясь ни одним жестом ни раздражить, ни подать повод к каким бы то ни было недоразумениям, пока не будет разрешен пограничный вопрос. «Теперь же требуется крайняя осторожность. Один дурак бросит камень в воду, десять умных не вытащат... От ласки к угрозам всегда можно перейти — обратное же не всегда удается**».

Далее Скобелев сообщает в очень осторожных, но твердых тонах о важной перемене в администрации его отряда. Он принудил начальника штаба полк. Гудиму-Левковича покинуть отряд, заменив его полк. Гродековым, «истинным, неутомимым и *опытным* в здешнем, столь своеобразном деле помощником». Скобелев объясняет официальную отставку Гудимы болезнью. «Он постоянно лежал больной, не мог следовать за мной верхом, а следовательно, отставал от моих распоряжений, наконец, по слабости здоровья не мог вынести 100 верст

* «Дела идут твердо,— пишет Скобелев из Бами 21 авг. гр. Адлербергу.— В основание положены честность, неторопливость и избежание всего, что могло бы вызвать ахалтекинский вопрос на почву международных вопросов». Арх. Б.-Б.

** «Рус. Ст.», 1883. V.

усиленных переходов по жаре, без воды и пищи, как того требует здешняя боевая служба». В одном из писем к гр. Адлербергу Скобелев рассказывает, как Гудима на переходе в 300 верст от Чикишляра в Бами должен был ехать не верхом, а в экипаже Кр. Креста и на первой же рекогносцировке, после 80-верстного перехода упал с лошади, совершенно обессиленный, и сказал: «Нет, я чувствую — я не воин...» И это в тот момент, когда ему из авангарда сообщили о появлении неприятеля, и Скобелеву пришлось сначала отправить своего начальника штаба в тыл за 20 верст, а потом уже заняться распоряжениями в кавалерийском бою, который требовал «de netteté, de précision et de rapidité».

Хотя Скобелев и называл Гудиму «очень порядочным и симпатичным», но он, по его мнению, вносил в штаб не согласие, а дезорганизацию*, и поэтому по его отъезде почувствовал себя «сильнее во всех отношениях». Конечно, Скобелев был рад отделаться от этого петербургского ока, но, чувствуя, что Гудима не явится в Петербург в числе друзей своего бывшего начальника, он заранее предупреждает гр. Адлерберга «никаким рассуждениям по поводу отъезда Гудимы не верить, хотя бы они исходили из столь правдивого источника, каковым оказался тот, который решился охарактеризовать перед государем мою ферганскую боевую и административную службу», — не без иронии добавляет Скобелев**.

Зная, что его деятельность будут критиковать в Петербурге со всех сторон, Скобелев особенно опасался вмешательства в его действия и распоряжения. Узнав, что многие «под видом участия» упрекают его, что он всегда впереди во время рекогносцировки и проч., он пишет гр. Адлербергу: «Верь, добрый дядя, что так в Азии нужно, пусть мне верят. Вот если бы я как-нибудь

* «Je n'hésite pas, — пишет Скобелев, — à classer Mr le colonel Goudima parmi les pauvres académiciens, dont parle le feldmaréchal Souvoroff».

** Опасения Скобелева были основательны — Гудима-Левкович вел себя в Петербурге без той скромности, к которой обязывала его последняя служба в Закаспийском крае. На вопрос имп. Александра II «Si c'était raisons de santé, qui l'avaient obligé à quitter son poste, il avait répondu non, mais, qu'il n'avait pas su convenir aux exigences du commandant des troupes». Узнав об этом, Скобелев перестал féliciter и в очень резких выражениях отметил всю боевую непригодность полк. Гудимы.

выбыл из строя насильственно, то необходимо меня *заменить* деятельным, *опытным* в среднеазиатских делах генералом. Не то все опять пойдет на смарку,— тут *надо кончать, а то понадобятся не отряды, а корпуса*. Личность начальника в Ср. Азии еще важнее, чем в Европе»*.

Осада и взятие Геок-Тепе (самая крепость называлась Денгиль-Тепе) явились довольно точным выполнением плана Скобелева. Его осторожность в этом отношении в этих операциях была изумительна, до некоторой степени можно сказать, что в осаде Геок-Тепе начала сказываться какая-то гипертрофия осторожности. «Осечка под Геок-Тепе будет преступлением, а потому, безусловно, надо идти наверняка»,— говорил он. Так, он требовал крайне бережливого расходования снарядов. Даже в день штурма Скобелев потребовал точного определения снарядов, ибо могли понадобиться второй и третий штурмы. Несмотря на то, что в общем туркменские войска были вооружены хуже наших, особенно это относилось, конечно, к огню, но большой численный перевес и преимущество великолепной кавалерии и необычная, чисто восточная, храбрость сильно осложняли задачу. Скобелев медлил со штурмом крепости, ожидая здесь отчаянного сопротивления. Он с большой постепенностью подходил к крепости, захватывая путем упорных боев окружающие ее предместья. Наконец укрепленный район подошел к крепостным рвам на расстояние нескольких сажен и начат был минный подкоп для облегчения атаки. Но сжатый в тисках неприятель оказался очень страшным в рукопашном бою. Замечательные вылазки об этом свидетельствуют особенно красноречиво. 28 декабря на рассвете около 4000 текинцев налегке, в одних рубашках с засученными рукавами, босиком бросились в охват наших позиций. Благодаря «необыкновенной быстроте и скрытности удара» текинцам удалось произвести значительный урон: у нас вышло из строя 127 чел., увезли несколько орудий и знамя. Несмотря на то что на другой день Скобелев ответил контрударом и еще большим продвижением к крепости, вылазки повторялись, хотя с меньшим успехом, нанося не только материальный ущерб осаждающим, но, главным образом, действуя угнетающе

* Арх. Б.-Б.

на войска, заставляя их изнемогать в огромном напряжении*. При удаче эти вылазки доведенных до отчаяния осажденных могли кончиться для нас катастрофой. В Петербурге они произвели очень сильное впечатление. Так, Паренсов** откровенно полагал, что потери 29 декабря явились в результате не вылазки, а отбитого штурма. В январе 1881 года уже выяснилось, что дальше откладывать штурм было невозможно, и как только закончились минные работы, которые Скобелев всячески торопил, на 12 января был назначен штурм. Это был понедельник, «тяжелый день», но Скобелев припомнил, что это годовщина знаменитого указа Павла I Донскому войску о походе на Индию, а кн. Шаховской, бывший при этом разговоре, еще прибавил: «Ничего, Михаил Дмитриевич, хотя сегодня и понедельник, но 12 января — Татьянин день, день основания Московского университета». Для убежденного сторонника просвещения и эта дата имела символическое значение.

Ночь перед штурмом Скобелев проводил и учил проводить серьезно. Сделав надлежащие распоряжения, он велел приготовить парадную форму, эполеты, ордена и проч. Д-р Гейфельдер, передающий эти подробности, был одним из частых собеседников генерала, они часто говорили по вопросам, очень отдаленным от боевой тяжелой действительности. Во время экспедиции Скобелев выписывал около 15 журналов и газет на разных языках, но корреспонденция часто застревала в Красноводске. Д-р Гейфельдер, очень образованный человек, был в Геок-Тепе одним из постоянных читателей этих журналов.

Канун боя — словно канун дуэли, всегда имеется возможность рокового исхода. После последних распоряжений наступает какая-то пустота, которая способна растравить напряженные нервы. И психологически понятны слова Скобелева Гейфельдеру: «Поговорим, доктор, не о том, что нас окружает, а о более приятном и интересном, перенесемся в заоблачные дали». Так, на отвлеченные темы, между прочим, о мечтах золотого века, о проблемах войны они и проговорили до глубокой ночи...

* «Никто не может сомневаться в моей храбрости,— говорил Скобелев д-ру Гейфельдеру,— но эти ночные атаки текинцев действуют на меня, как прием вод Киссингена». — «Рус. Ст.». 1886. XI.

** Из прошлого. Воспоминания.

В 7 часов утра 12 января (ст. ст.) 1881 г. полк. Гайдаров повел наступление на западную часть крепости, стараясь отвлечь на себя наибольшее внимание ее защитников. В 11 ч. 20 мин., точно по расписанию, взорвалась мина, сделав обвал в 15 сажен длины. На обезумевших текинцев в пролом бросилась колонна полк. Куропаткина, который должен был войти, уже за стенами крепости, в связь с колонной полк. Козеркова. В восточном углу крепости было оказано самое упорное сопротивление. Но войска Куропаткина прорвались к центру крепости, беря с боем кибитки и землянки. К 2 часам все было кончено, и Скобелев, взяв конницу из резерва, проведя ее крепостью к северным воротам, бросился преследовать уходивших в пески текинцев. Преследование продолжалось верст 15, и только к ночи отряд вернулся обратно.

Крепость представляла ужасное зрелище. Не успевали хоронить и просто сбрасывать в кучи трупы. Всю ночь продолжались схватки с притаившимися текинцами, умиравшими с фанатическим мужеством.

Мы потеряли около 400 человек. Экспедиция обошлась в 13 миллионов рублей и была закончена в 9 месяцев. Полководческому таланту Скобелева она была обязана и дешевизной, и быстротой, и относительно малой потерей человеческих жизней. Ахалтекинская экспедиция была проведена с той дальнозоркостью и расчетом, которая в наибольшей степени соответствует изречению Скобелева, записанному в его кожаной записной книжке еще под Мехрамом в 1875 году: «Избегать поэзии в войне».

Имущество Денгиль-Тепе, кроме оружия, муки и фуража, было отдано на четыре дня в общее пользование, другими словами,— на поток и разгромление. Это позволение отзывается сейчас чем-то средневековым. Так казалось и некоторым сподвижникам Скобелева, напр., д-ру Гейфельдеру, который и указал на это генералу. Скобелев ответил в том смысле, что хорошо знает Азию; что, с восточной точки зрения, это означает полную победу, без этого текинцы не считали бы себя побежденными. Старую крепость Скобелев велел разрушить до основания. «Постепенно опрокидывайте стены Геок-Тепе во рвы крепости,— пишет он коменданту

полк. Арцишевскому.— Этой работе я придаю огромное значение. Необходимо вспахать Геок-Тепе». Совсем как разрушение Карфагена.

Скобелеву очень хотелось, чтобы выстрелы 12 января 1881 г. были в крае последними. Он требовал умиротворения края к февралю. «Мы извлечем,— писал он,— несомненные выгоды, если сумеем сохранить в полности дорого купленное, ныне несомненное боевое обаяние, затем, вводя наши порядки, не поставим всего дела на чиновничью ногу, как везде, в обширном отрицательном смысле этого слова». В дальнейших словах Скобелева выражены принципы, на которых, по его предположению, должна строиться русская колониальная политика. «Наступает новое время полной равноправности и имущественной обеспеченности для населения, раз признавшего наши законы. По духу нашей среднеазиатской политики париев нет: это наша сила перед Англией. К сожалению, буйный нрав отдельных личностей не всегда на практике сходится с великими началами, корень которых следует искать в государственных основах великого княжества Московского. Ими только выросла на востоке допетровская Русь, в них теперь и наша сила. Чем скорее будет положен в тылу предел военному деспотизму и военному террору, тем выгоднее для русских интересов»*.

Все имущество, оставшееся от конфискации, Скобелев объявил собственностью населения, распределением которого и спорами о нем будут ведать туземные суды,— «мы в это теперь не входим». Все фуражировки в местностях, объявивших покорность, отменяются. «Обратите строгое внимание,— пишет Скобелев полк. Арцишевскому,— на то, чтобы джигиты и другие служащие туземцы не брали бы с народа взятки и самовольных поборов. Предупреждаю, что виновные в этом будут казнены мною моею властью». «Не допускайте войска до насилия». «Делайте все возможное для облегчения участи населения»,— в этом направлении даны очень подробные наставления вообще. «Конечно, желательно отобрать оружие, но настаивать и насиловать отнюдь не нужно». «Не затрагивайте вопроса об освобождении от военной службы,— любопытное замеча-

* Гродеков. Война в Туркмении. Т. IV. Стр. 18.

ние Скобелева, — текинцы такие молодцы, что несколько сотен такой кавалерии сводить под Вену — неплохое дело... Особенно нужно озаботиться выбором «надежных и честных офицеров для занятия должностей по народному управлению». «С возвращающимся населением обращайтесь честно, где выгодно — даже великодушно, в особенности опасайтесь стать на почву *чиновничьих придирок и бюрократических проволочек*; Азия этого не выносит. При всем том, как бы небосклон не представлялся радужным, тем крепче держите камень за пазухой. Помните Бековича-Черкасского, подполковника Рукина, наконец, весьма сходные с нынешними событиями предшествующие кровопролитному Чалдырскому делу 15 июля 1873 года. Не забывайте, что обстановка в Средней Азии изменяется не по часам, а по мгновениям. Осторожность, осторожность, осторожность*.

«Что мне было поручено, я сделал. О чем просили — честно постарался выяснить», — писал Скобелев И. И. Маслову, «своему второму отцу», намереваясь к первым числам мая 1881 года попасть в Москву. Все его мысли теперь уже направлены на отъезд, на отдых; он много думает о своем хозяйстве в Спасском, заботится о цветах в саду. Не забыт и конский завод — шесть кровных текинских жеребцов посланы в Спасское... «Здоровье мое поправляется, но я слаб. Покой мне необходим, даже небольшое лечение». Год, проведенный Скобелевым в экспедиции, оказался для него очень тяжелым**. Исключительные суровые условия походной жизни в очень здоровом климате Закаспий-

* «Рус. Ст.». 1883. V.

** Во время похода Скобелев пережил тяжелое личное горе — смерть своей матери. Она была убита в Болгарии, возможно, с целью грабежа. Атаманом этих грабителей оказался б. русский офицер Узатис, очень многим обязанный Скобелеву. Скобелев очень любил свою мать. Если он был сравнительно далек от отца, то в своей матери он видел всегда своего заботливого друга. Горе его было так велико, что он несколько смалодушествовал и «просился на похороны». Дело было в самый разгар экспедиции, в Баши. Александр II отказал Скобелеву в этой просьбе, и это его отрезвило. «Он хорошо понял, — пишет Скобелев про государя гр. А. Адлербергу, — что мне нельзя было отлучиться, мне же теперь стыдно, что скорбь, хоть на минуту, могла во мне заглушить чувство долга. Увы, случившегося не поправишь. Я чрезвычайно озадачен тем впечатлением, которое сделала на государя моя неуместная просьба — если будет возможно, успокой меня». Арх. Б.-Б.

ской области, давшие огромное количество заболеваний и закончившиеся повальным тифом, не миновали и Скобелева. Д-р Гейфельдер описывает некоторые недуги генерала, который иногда лежал больным по несколько дней. «Здоровье мое, к сожалению для меня, несомненно подорвано,— писал он 7 февраля 1881 г. гр. А. Адлербергу,— трудами и заботами этой трудной экспедиции. Ты знаешь, я привык делать, что мне приказывают, и буду тянуться через силу, но насколько хватит этих сил, я не знаю. Не думаю, чтобы я был бы в состоянии выдержать еще одно лето в этом убийственном климате. Хивинский поход 73 года был зародышем всех тех недугов, от которых теперь страдаю. Как только 7 лет спустя я попал в ту же страну и в обстановку схожую, совершенно схожее болезненное состояние возобновилось с значительно большей силой. Оно понятно, я стал старше на 7 лет, да и труды двух кампаний, Кокандской и Турецкой, тоже прошли недаром. В первый раз в жизни произношу слово «отдых», знаю, что это грустный признак, ибо это начало конца, но делать нечего». Вообще после взятия Геок-Тепе Скобелев почувствовал большую усталость и тот упадок настроения, который бывает после завершения большого и трудного дела. Уже на другой день после штурма Скобелев сказал в разговоре с Гейфельдером: «Ах, как я скучаю!» — «Как, вы скучаете на другой день после победы? Какая тому причина?» — «Потому что более нечего делать. Я скучаю, когда пули не свистят и когда более не предвидится никаких действий». Это была не фраза, а выражение состояния переутомленного человека, оно сказалось у Скобелева и в других явлениях, подмеченных его сподвижниками. Сейчас же после окончания дела у него переменилось отношение к окружающим. Об этом, не без некоторой горечи, рассказывает кн. Шаховской. Скобелев до штурма каждому прапорщику, даже простому канцелярскому служащему, подавал руку, запросто беседуя. «После же 12-го января 1881 г. всякий наблюдательный и внимательный человек тотчас же мог заметить перемену в обращении Скобелева при частных встречах, ибо уже надобности не было, чтобы его обожали»*. В этих словах звучит горечь обиды, но, по существу, дело объясняется проще.

* «Рус. Ст.». 1885. VII.

Скобелев всегда был доступен и демократичен по своей натуре и по своим взглядам, но во время военных операций в его обращении была известная доля подчеркнутости, политики, показа и др. Психологически понятно, что постоянное общение с массой, притом с внутренней постоянной оглядкой на себя со стороны, его тяготило, и после напряжения штурма вместе с упадком всей нервной системы привело к усталости и как будто к равнодушию со стороны генерала к другим. Что его нервы уже не выдерживали служебных этикетов и он все чаще и чаще стремился быть самим собой, показывает один эпизод, о котором рассказывает д-р Гейфельдер. Зная, что в Геок-Тепе ожидается персидское посольство с поздравлением, Скобелев неожиданно уехал в Асхабад, возможно, с намерением дожидаться его там. Шуджауд-Дауле-хан, узнав об отсутствии генерала, не хотел приехать в его отсутствие в крепость. Так прошло в церемониях некоторое время, и персам пришлось уступить. Послов приняли торжественно, но Скобелев заставил себя ждать (возможно, что здесь была некоторая политика). Во время торжественного обеда присутствовал флигель-адъютант Меллер-Закомельский, который привез Скобелеву Георгия 2 степени за взятие крепости. Скобелеву страстно хотелось поговорить со свежим человеком, приехавшим из далекого мира, полного для него исключительного интереса, но нужно было сидеть с послами и разговаривать с ними через переводчика. Наконец Скобелев не выдержал и под предлогом, что ему дует в спину, вышел из-за стола и подсел к Меллер-Закомельскому, а на свое место посадил одного полковника. Скобелев разговорился, а посол обиделся. Персы встали, и посол через переводчика сказал, что «он находит, что ему пора удалиться». Скобелев воскликнул: «Как, посреди обеда? Это невозможно!» Затем, заметив обиженное лицо посланника, он имел мужество откровенно признаться и сказал: «Я забылся, не мог устоять перед желанием поговорить о Петербурге с приехавшим флигель-адъютантом. Прошу меня извинить за это нарушение этикета». Когда смущенный переводчик замялся с передачей, Скобелев закричал: «Вы говорите совсем не то, что я сказал. Вы не можете переводить! Полковник Гайдаров, будьте любезны, передайте мои слова хану точно, без малейшего изменения». Гайдаров перевел, и хан, после минутного заме-

шательства, занял снова свое место. Скобелев сел против него, и обед закончился в самом приятном расположении духа»*.

VI. В ПЕТЕРБУРГЕ, В ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ НОВОГО ЦАРСТВОВАНИЯ

I.

Ген. Скобелев возвращался из Ахалтекинской экспедиции триумфатором. Везде, где только это было возможно, его встречали как народного героя. Чем ближе к центру, тем эти встречи были торжественнее и многоялюднее, овации на Волге уже начали беспокоить Петербург, но встреча в Москве затмила все. Площадь между вокзалами была залита народом — здесь были десятки тысяч, и сам генерал-губернатор кн. Долгоруков еле протискался в поезд, сопровождая Скобелева до Петербурга.

В Петербурге Скобелев прямо с вокзала поехал в Петропавловскую крепость на могилу имп. Александра II. Печаль Скобелева была искренней и непритворной. В покойном государе он потерял настоящего покровителя, в полном смысле слова «своего» государя**. Нет сомнения, что и Александр II любил молодого, талантливого и неуравновешенного Мишу, жестоко, иногда несправедливо распекал его, как мальчишку, но, в то же время, невзирая на всю клику придворных шептунов, он один из первых оценил дарования молодого генерала и своим чутьем подметил в нем те стороны, которые обычно не замечались, — осторожность и выдержку. Теперь в Зимнем дворце должны были встретиться два разных человека.

Надо думать, далеко не с легким сердцем подъезжал Скобелев к Петербургу. За короткое время его отсут-

* «Рус. Ст.» 1892. VII. Между прочим, для этого же персидского посольства Скобелев устроил маневры — точию копию штурма Деигиль-Тепе, причем сам командовал войсками. Во время битвы он, как даровитый актер, так вошел в роль, что увлек всех своим воодушевлением. Иллюзия битвы была полная, и зрители были очень взволнованы.

** Говорят, что, принимая отставку Д. А. Милютинна, Александр III спросил, что он намерен делать в будущем, на что Милютин будто бы ответил, что «будет писать историю своего государя».

ствия из Европейской России в стране произошли большие перемены. Не стало Александра II, с новым императором у Скобелева отношения были более чем холодные, бар. Врангель уверяет даже*, что Скобелев Александра «презирал и ненавидел», и тот платил ему той же монетой, как это видно, напр., из переписки с Победоносцевым.

Внутреннее положение в стране было чрезвычайно тревожно. Скобелев приехал в Петербург в то время, когда гр. Лорис-Меликов, после неудачи своего «конституционного» проекта, ушел в отставку. Но нельзя еще было сказать, что правительство уже встало на определенно реакционные рельсы. Новый министр внутренних дел гр. Н. П. Игнатьев был известен своими славянофильскими тенденциями. В его министерство вошли люди далеко не реакционного направления, напр., Бунге, бар. Николай. В манифесте 29 апреля 1881 г. было определенно выражено полное уважение к реформам минувшего царствования и было даже сказано, что эти реформы будут впредь развиваемы. В циркуляре 6 мая новый министр указывал на шаги, которые предполагалось предпринять к установлению живого общения между правительством и обществом. Это показывало, что, несмотря на мартовское заседание, приведшее к отставке Лорис-Меликова, его политические мысли не оставлены. Вскоре даже были созваны т. наз. «сведущие люди» с мест, правда, не выборные местными самоуправлениями, но по приглашению правительства, но из среды прогрессивных элементов. Попытки такого рода, в сущности, не прекращались. Вообще необходимо подчеркнуть, что смерть Александра II от руки революционеров вовсе не охладила конституционных течений в русском обществе. Наоборот, в кругах, причастных к администрации, вера в спасительность конституционных учреждений после трагедии 1 марта еще более усилилась. Гр. А. А. Бобринский, молодой губ. предводитель дворянства Петербургской губернии, записывает в своем дневнике 2 марта: «Окружающие императора Александра III будто бы отсоветовали ему всякие конституционные меры: «Нельзя уступать силе!» О, эти окружающие! О, ограниченные, несчастные, безумные люди! Осторожные люди боятся

* Н. Врангель. Воспоминания. Стр. 138.

теперь только одного — нового покушения, которое может последовать за вчерашним». Беспокойство это большое и общее. Бог да защитит государя и его бедную жену. Но чем защищаться против этой несчастной группы убийц, видимо, решившихся на все? Конституция или, по меньшей мере, народное представительство, по-видимому, есть средство защиты, указанное Провидением. Дай Бог, чтобы император не дал себя ослепить ужасным положением, в каком он находится». В записи следующего дня Бобринский отмечает жизненность этого вопроса. «Одна конституция может нынче спасти Россию». — «Никогда в жизни». — «Да, никогда». Таковы ежедневные разговоры всех и всюду*.

Под той или иной формулировкой мысль о созыве народных представителей находит себе место не только в проектах западников-конституционалистов, но и в проектах бюрократов-чиновников, связанных с высшими военными сферами. Так, очень любопытна в этом отношении записка гр. П. П. Шувалова, б. губернского предводителя дворянства Петербургской губ. Впервые эта записка подана Шуваловым до 1 марта 1881 г., причем ее первый пункт гласит: «Неизбежность введения представительных учреждений» и мотивирован довольно подробно и обстоятельно в развитии двухпалатной системы. После трагедии 1-го марта Петр П. Шувалов не отошел от основной мысли своего проекта, — он только был сильно переделан в связи с современным острым моментом. Совершенно отчетливо говорится в этой новой редакции, что по сравнению с эпохой Николая I, вступившего на престол подавлением мятежа и т. д., «ныне времена не те», потому что общество со времени великих преобразований прошедшего царствования, несомненно, «подверглось коренному перерождению и представляет ныне почву, едва ли удобную для приемов исключительно авторитетного характера». Остается та же мера — создание «постоянного представительного учреждения» и доказывается его совершенная необходимость для настоящего момента. Не лишено значения и то обстоятельство, что второй проект редактировал сын Петра П. — П. П. Шувалов, деятель Священной Дружины. Очень интересное свидетельство о радикальных взглядах гр. П. Шувалова мы имеем

* Воспоминания А. А. — «Каторга и ссылка». Кн. 3 (76). 1931.

в дневнике Переца. Автор записывает беседу с гр. П. А. Шуваловым на панихиде в Петропавловском соборе 20 марта 1881 г.: «Говоря о заседании 8 марта, граф высказал соображения, что и совещательное собрание не принесет истинной пользы. Нужно прямо приступить к конституционному устройству: учредить две палаты и предоставить им голос решительный. Если же этого сразу сделать нельзя, то нужно, по крайней мере, положить такое основание, из которого впоследствии развилось бы настоящее представительное правление». Поэтому Шувалову более нравится прежний, Валуевский, проект. Вероятно, пребывание в Англии и пристальное наблюдение там политического быта произвели на графа большое впечатление.

Если проекты графов Шуваловых восходят к аргументации западного конституционализма, то записка гр. А. Бобринского (будущего члена Государственной Думы), поданная 10 марта 1881 г., относится уже к игнатьевскому периоду и проникнута целиком славянофильскими тенденциями. Созыв народных представителей («выборных людей») в ней считается «прямым историческим» путем, начертанным и указанным Провидением к благоденствию и славе России». А «ставить преграды законному историческому развитию — безумие и грех». «Дело лиц, стоящих во главе правления, — прислушиваться к «глаголу времени», приглядываться к признакам эпохи. Когда же вопросы созрели, тогда правительства не запружать, а давать ход этим вопросам... Репрессивные меры в настоящее время могут повести к ужасному исходу, к опасному неудовольствию страны. Тогда снова пролита будет кровь... Она будет лежать на ответственности советников правительственного террора. Призовите Россию к ответу. Выборные люди послужат отечеству правдою» и т. д.*.

И у гр. Шувалова, и у гр. Бобринского доминирует мысль, что борьба с крамолой может быть только при поддержке общества. Это был лейтмотив всех проектов по созыву представительного собрания — от правых до левых, от западников до славянофилов. «Тревожит нас «нигилизм», — писал Кошелев в своей брошюре «Что же нам делать?», изданной в 1882 г. — Но эта язва поразила тело России только извне и только вследствие

* «Красный Архив». Т. 31.

других недугов, которыми мы действительно страдаем. Обеспечьте наш частный быт: осуществите местное самоуправление, согласно первоначальной мысли, его нам даровавшей, дайте земле русской возможность через людей, ею излюбленных, высказывать общественное мнение о пользах и нуждах страны и ведении ее общих дел, предоставьте русским людям то право, которым пользуются граждане всего образованного мира,— право свободно и за свою ответственность высказывать свои мнения и чувства, и не станет у нас «нигилизма» и, что еще важнее,— не станет и других недугов, так томящих, обессиливающих и убивающих».

Время министерства гр. Н. П. Игнатьева было наполнено бесконечными проектами для лучшего устройства России. Записки исходили как от выдающихся ученых вроде Чичерина, или таких дельцов, как фон Дервиз, или общественных деятелей типа Голохвастова и т. д., было много записок анонимных, иногда совершенно фантастического, болезненного содержания, в них предлагались разные меры для успокоения умов — от крайне репрессивных до конституционных. Очень многие из них были адресованы лично Победоносцеву, как временщику, или были ему пересылаемы другими адресатами по тем же причинам. Надо сказать, что огромное большинство их, разумеется, далеки от советов в подлинном европейском, конституционном смысле (да в таком духе и трудно было говорить после отвергнутого проекта Лорис-Меликова, если его можно назвать «конституционным»), но общий смысл почти всех их тот, что силами «гнилой и ненавистой бюрократии» невозможно установление прочного порядка в России. Ярче всех эту мысль высказал Чичерин, с неотразимой аргументацией предложивший создать народное представительство, в котором «правительство и общество будут соединены не внешним только, официальным путем, а органически». «Правительство, разобщенное с землей, бессильно; земля, разобщенная с правительством, бесплодна», — писал он 10 марта 1881 г. Победоносцеву, а 18 марта, несколько раздраженный ответом Победоносцева, писал ему еще: «Неужели думаете, что с существующими петербургскими элементами вы в состоянии сделать что-нибудь путное? Можно верить или не верить в то, что даст страна, но есть одно, во что нельзя не верить, это то, что петербургские сферы износились

совершенно и, кроме гнили, ничего в себе не содержат. А вы с этой гнилью хотите спасти Россию?»*. Консерватор английской складки Чичерин подходил к задаче здраво и реалистично, не боясь ни приостановки личной свободы — с одной стороны, ни возможного преобладания в предполагаемом парламенте «пустых болтунов» — с другой. Но Чичерин был западником и воспитан на корнях западной науки о праве. Но и со стороны славянофилов не прекращался определенный натиск на правительство. Земский Собор — это лейтмотив всех подобных обращений. В брошюре, изданной уже после назначения гр. Д. Толстого министром вн. дел., Кошелев писал: «Консерватора еще труднее удовлетворить, чем либералов. Правда, Катков и крамолу причисляет к либеральному стану; но ее также справедливо причислить и к консерваторам всех оттенков. Думаю, что последнее будет много справедливее, чем первое, ибо крамола зародилась на почве недовольных, ими питается и развивается. Все разряды населения недовольны нынешним положением, необъясненностью их прав, произволами администрации и законами, как прежним временем завещанными, так и ныне, как *Deus ex machina* появляющимися. Либералы проповедуют в том или другом виде предоставление народу, т. е. всем гражданам империи, участия в законодательстве и в администрации. Противники либералов это именно отвергают, а желают все это сосредоточить в своих руках. Следовательно, кто раздражает и усиливает общее недовольство, те и готовят и утучняют почву для развития крамолы... Единственное для нас спасение есть созыв общей земской думы. Еще ярче трагическая безысходность русских общественных кругов выражается в следующих словах Кошелева: «Я высказался вполне за самодержавие, против бюрократии и конституции и за прекращение той неизвестности и неопределенности, которые после 1-го мая (1882 г.) душили Россию»**.

Знаменательно, что оппозиционные и, в сущности, конституционные настроения в русском обществе наблюдались не только в так наз. либеральных кругах. По свидетельству Победоносцева и А. Ф. Аксаковой, великие

* Победоносцев. Переписка. Т. 1. 1923.

** Кошелев. Где мы? Куда и как идти? — Берлин, 1882.

князя, за исключением Сергия, были сторонники конституции. Это очень определенно высказал вел. кн. Алексей Александрович после речи И. С. Аксакова в заседании Славянского комитета 22 марта. «Что бы ни говорил ваш муж,— сказал он А. Ф. Аксаковой,— а России придется в конце концов прийти к конституции»; при этом он, по словам А. Ф. Аксаковой, пояснил, что имеет в виду конституцию, «соответствующую стране». Для установления подобного шага, по мнению Аксаковой, необходимо знать, «чего хочет страна», а для этого «нужно, чтобы она была правильно представлена». Таким образом, и по мнению человека, очень расположенного к новому императору и, наоборот, не особенно расположенного к покойному Александру II, каким была А. Ф. Аксакова, дело упиралось в какого-то рода «представительное собрание» русского народа, имеющее почти учредительные функции*.

В конце концов сам гр. Игнатьев предполагал к коронации созыв Земского Собора. По проекту манифеста 6 мая 1882 года этот Собор был бы созван «для выслушивания государем прямо от выборных о местных нуждах и вообще для совещания государя со всею землею». Словом, «Собор Земский, решение царское, по правде Божьей». К этой попытке гр. Игнатьева в тогдашнем обществе отнеслись беспощадно-насмешливо. В правых кругах, где даже слышать не хотели о подобии народного представительства, «манифест гр. Игнатьева был встречен как последнее звено в ряду законодательных предприятий этого министра, после чего ему ничего не оставалось делать, как уйти, уступив место гр. Д. Толстому. Катков, Победоносцев, Чичерин и др. злорадно высмеивали проект гр. Игнатьева, у каждого из них в критике была своя подоплека, но и в либеральной печати он не встретил сочувствия, так как это «нелепое» (термин Каткова) собрание было бы не похоже не на законодательные, ни на законосоветательные учреждения Запада. Поддерживали его лишь славянофильские круги.

Надо думать, что эта несколько аляповатая и кустарная затея гр. Игнатьева при честном и серьезном отношении к ней со стороны правительства вовсе не была нелепицей. Сам по себе факт совещания царя (прави-

* А. Ф. Тютчева. При дворе двух императоров. Т. II. Стр. 123.

тельства) с выборными людьми представлял бы из себя момент, невиданный в России со времен екатерининской Комиссии 176... г. При искреннем желании власти из этого Собора могло получиться какое угодно учреждение, так как контуры этого собрания были обозначены крайне неопределенно. Ясно, что был важен самый факт созыва Земского Собора, на котором сходились представители общественных течений, очень далекие от каких бы то ни было конституционных перестроек русского государства, так пугавших многих. От самого правительства, в данном случае от самого императора, зависело воспользоваться этим многочисленным собранием для организации «интеллигентной оппозиции», а не обращать его в простое «ура», как думалось Каткову. Что касается до отношения к этому вопросу самого Александра III, то, по крайней мере в бытность его наследником, он не был настроен принципиально против такого рода совещаний. Об этом, напр., очень красноречиво говорит разговор А. А. Половцова с ним в 1878 г. «Главная беда в том заключается,— сказал Половцов великому князю,— что у нас нет среди правительства государственного обсуждения серьезных дел; без сомнения, а я говорю не о парламентах, а разумею лишь собрание людей независимых, образованных, обменивающих мысли в прениях и представляющих различные стороны обсуждаемого вопроса. И в высших сферах правительства царствует полный разлад. Всякий режим опирался на какой-нибудь элемент предпочтительно». Так как после крестьянского освобождения опираться исключительно на дворянский элемент невозможно, то,— говорит Половцов,— правительство действует успешно, когда ему в помощь призываются лучшие люди страны, люди, наиболее богатые и просвещенные, что в смысле политическом почти то же самое»*.

II.

С уходом гр. Игнатьева и призывом гр. Д. Толстого началась та полоса реакции во всех областях управления, в том числе и военной, которая характеризует

* «Красный Архив». 1929. Т. 33.

вообще царствование имп. Александра III. Что в этом выборе пути России Александру III принадлежала руководящая роль, не было ни у кого сомнений, тем более что за год управления гр. Игнатьева, в этот период колебаний правительства и общественных проектов, личность императора и его симпатии выяснились вполне отчетливо. Таким образом, у недовольных, в частности сторонников реформ предыдущего царствования, их незыблемости и дальнейшего развития, в личности императора символизировалось препятствие к прогрессу страны. У людей экспансивных, подобно ген. Скобелеву, резких на язык, это сказывалось особенно ясно. Как бы мы ни были осторожны в выводах, но все свидетельства единодушны в том, что в первое время после приезда Скобелева в Петербург отношения между новым императором и генералом, возвращающимся из блестящей экспедиции, были очень натянутыми.

Кн. Долгоруков, свидетель царских встреч Скобелева, пустил в обращение крылатую фразу: «J'ai vu hier Bonaparte révenant d'Égypte»*. Весьма возможно, что эта фраза дошла до дворца и подлила масло в огонь. Каковы бы ни были личные отношения государя к Скобелеву, последний вправе был ожидать, что прием ему будет оказан по заслугам. Каково же было его удивление, когда Александр III высказал очень мало интереса к самой экспедиции, вместо похвалы высказал даже неудовольствие, что Скобелев не умел сберечь жизнь молодого гр. Орлова, павшего во время штурма, на что Скобелев, конечно, только пожал плечами, «приняв к сведению для будущего!» Кроме того, император

* Впрочем, это сравнение носилось в петербургском воздухе даже до экспедиции. По крайней мере, Мельхюр де Вогюз в своем дневнике отмечает обед у М. Анненкова, на котором были представители «элиты русского либерализма» — Тургенев, Градовский, Урусов, Валуев (?) и ген. Скобелев (перед отъездом в Ахалтекинскую экспедицию), и уже тогда Вогюз отметил Скобелева: «Что он или будет убит, или возвратится из Азии, как Наполеон из Египта».

Характерны замечания Вогюза вообще по поводу впечатления от бесед с этими людьми, представлявшими разные течения России. М. де Вогюз говорит, что словно это все происходило в салоне г-жи Неккер перед революцией, где-нибудь в Сен-Жерменском предместье. Между прочим, по словам Вогюза, насколько с энтузиазмом и сердечностью все говорили о Франции, настолько с горечью и насмешкой о России. Между тем в глубоком патриотизме этих людей не было сомнений. «Journal». P. 187.

спросил у генерала-победителя: «А какова была у вас, генерал, дисциплина в отряде?»*

Летом 1881 года в Париже Мельхиор де Вогюэ видел Скобелева и записал с его слов рассказ об этом приеме генерала императором в Гатчине. Скобелев, по его словам, пытался было говорить об общей политике, но «l'autre n'a pas pary comprende et l'a congedié après dix minutes». «Tout cela finira dans une boue sanglante», — сказал Скобелев, который, по словам Вогюэ, является «пессимистом до последней степени» и способным выступить в роли Бонапарта. Любопытна и другая запись Вогюэ — от 30 дек. — у Адлерберга, который был уже в отставке. Судя по тону записи, Скобелев настолько резко отзывался о положении вещей в России, что Вогюэ назвал Скобелева «опасным сумасшедшим», который может наделать много бед, если обстоятельства будут ему благоприятны. Это беспокойство усиливается после речей Скобелева в Петербурге и Париже. По записи Вогюэ, от первоначальной мысли об отставке Скобелева пришлось отказаться ввиду исключительной популярности этого генерала, «славянского Гарибальди». «Tous les affoiés de Petersbourg parlent des prétentions dynastiques, cherchent les remèdes et la maudissent». Во всяком случае, говорит Вогюэ, популярность Белого генерала неизмеримо выше самого царя**.

Впечатление о приеме генерала Скобелева императором вообще в Петербурге было самое гнетущее. Очень был удручен, напр., старик Строганов. Д. А. Милютин говорил об этом не без злорадства. Оппозиция получала в лице ген. Скобелева не просто человека, недовольного режимом, а генерала всероссийской известности, народного героя в полном смысле слова, человека волевого, готового на самые смелые действия. Его личная позиция в вопросах внутренней политики еще не была точно установлена, как не была установлена и впоследствии, но, во всяком случае, знали, что он был сторонником мероприятий Лорис-Меликова, поддерживал Игнатьева и, в некоторых вопросах, был близок к И. С. Аксакову. Все это вносило большое беспокойство в окружение императора и порождало множество слухов. Вероятно, один из этих

* Н. Врангель. Воспоминания.

** M. de Vaugé «Jurnal». P. 256, 286, 294.

слухов впоследствии кем-то был передан кн. П. А. Кропоткину, что Скобелев предлагал Лорис-Меликову и Игнатьеву арестовать Александра III. Не лишено вероятия, что в каком-нибудь частном разговоре это и было сказано,— это характерно для настроений того времени*.

Но что вообще беспокойство в сферах в отношении ген. Скобелева не было лишено оснований — об этом свидетельствуют письма К. П. Победоносцева к императору. «Я уже смел писать вашему величеству,— пишет Победоносцев с «назойливостью»,— о предмете, который почитаю важным,— о приеме Скобелева. Теперь в городе говорят, что Скобелев был огорчен и сконфужен тем, что вы не выказали желания знать подробности о действиях его отряда и об экспедиции, на кото-

* Об этом есть глухое упоминание в «Записках революционера» Кропоткина и очень подробный рассказ самого Лорис-Меликова, записанный тогда же А. Ф. Кони с соблюдением характерных особенностей речи собеседника.

«Летом 1881 г.,— рассказывает Лорис-Меликов,— он (т. е. Скобелев) телеграфировал мне в Эмс о желании видеть меня. Я назначил местом свидания Кельн, по пути в Париж. Там он меня встретил роскошным обедом, экстренным вагоном-салонном и т. д. Мастер был на эти вещи! Встретил на дебаркадере с напускною скромностью, окруженный все какими-то неизвестными... Умел играть роль!.. Когда мы остались одни в вагоне вдвоем со Скобелевым, я ему говорю: «Что, Миша? Что тебе?» Он стал волноваться, плакать, негодовать. «Он (т. е. Александр III), принимая Скобелева после Ахал-Теке — меня даже не посадил!» и затем пошел, пошел нести какую-то нервную ахинею, которую совершенно неожиданно окончил словами: «Михаил Тариелович, вы знаете, когда поляки пришли просить Бахламова о большей мягкости, он им сказал: «Господа, я аптекарь и отпускаю лишь те лекарства, которые предпишет доктор (Муравьев): обращайтесь к нему.— То же говорю и я! Дальше так идти нельзя, и я ваш аптекарь. Все, что вы прикажете, я буду делать беспрекословно и пойду на все. Я не сдам корпуса,— а там все млеют, смотря на меня, и пойдут за мной всюду. Я ему устрою так, что если он придет смотреть 4 корпус, то на его «здорово, ребята!» будет ответом гробовое молчание. Я готов на всякие жертвы, располагайте мною, приказывайте. Я ваш аптекарь...» Я отвечал ему, что он дурит, что все это вздор, что он служит России, а не лицу, что он должен честно и прямодушно работать, и что его способности и влияние еще понадобятся на нормальной службе и т. д. Внужал ему, что он напрасно рассчитывает на меня, но он горячился, плакал и развивал свои планы крайне неопределенно очень долго. Таков он был в июле 1881 года. Ну, и я не поручусь, что под влиянием каких-нибудь других впечатлений он через месяц или два не предложил бы себя в аптекари против меня. Это мог быть роковой человек для России — умный, хитрый и отважный до безумия, но совершенно без убеждений».

рую было обращено всеобщее внимание и которая была последним главным военным делом минувшего царствования. Об этом теперь говорят, и на эту тему поют все недовольные последними переменами. Я слышал об этом от людей серьезных, от старика Строганова, который очень озабочен этим. Сегодня гр. Игнатьев сказал мне, что Д. А. Милютин говорил об этом впечатлении Скобелева с некоторым злорадством. Я считаю этот предмет настолько важным, что рискую навлечь на себя неудовольствие вашего величества, возвращаясь к нему. Смею повторить слова, что вашему величеству необходимо привлечь к себе Скобелева *сердечно*. Время таково, что требует крайней осторожности в приемах. Бог знает, каких событий мы можем еще быть свидетелями и когда мы дождемся спокойствия и уверенности. Не надобно обманывать себя: судьба назначила вашему величеству проходить бурное, очень бурное время, и самые опасности и затруднения еще впереди. Теперь время критическое для вас лично: теперь или никогда,— привлечете вы к себе и на свою сторону лучшие силы России, людей, способных не только говорить, но, самое главное,— способных *действовать* в решительные минуты. Люди до того измельчали, характеры до того выветрились, фраза до того овладела всеми, что уверяю честно, глядишь около себя и не знаешь, на ком остановиться. Тем драгоценнее теперь человек, который показал, что имеет волю и разум и умеет действовать: ах, этих людей так немного! Обстоятельства слагаются, к несчастью нашему, так, как не бывало еще в России — предвижу скорбную возможность такого состояния, в котором одни будут за вас, другие против вас. Тогда, если на стороне вашего величества будут люди, хотя и преданные, но неспособные и нерешительные, а на той стороне будут деятели,— тогда может быть горе великое и для нас, и для России. Необходимо сделать так, чтобы это лукавое слово оказалось ложью, и не только к Скобелеву, но и ко всем, кто заявил себя действительным умением вести дело и подвигами в минувшую войну. Если к некоторым из этих людей, ваше величество, имеете нерасположение, ради Бога, погасите его в себе: с 1-го марта вы принадлежите, со всеми своими впечатлениями и вкусами, не себе, но России и своему великому служению. Нерасположение может происходить от впечатлений, впечатления могли быть навеяны

толками, рассказами, анекдотами, иногда легкомысленными и преувеличенными. Пускай Скобелев, как говорят, человек безнравственный. Вспомните, ваше величество, много ли в истории великих деятелей, полководцев, которых можно было бы назвать нравственными людьми, а ими двигались и решались события. Можно быть лично и безнравственным человеком, но в то же время быть носителем великой *нравственной* силы и иметь громадное нравственное влияние на массу. Скобелев, опять скажу, стал великой силой и приобрел на массу громадное нравственное влияние, т. е. *люди ему верят и за ним следуют*. Это ужасно важно, и теперь важнее, чем когда-нибудь. У всякого человека свое самолюбие, и оно тем законнее в человеке, чем очевиднее для всех дело, им совершенное. Если бы дело шло лишь о мелком тщеславии,— не стоило бы и говорить. Но Скобелев *вправе* ожидать, что все интересуются делом, которое он сделал, и что им прежде и более всех интересуется русский государь. Итак, если правда, что ваше величество не выказали в кратком разговоре с ним интереса к этому делу, желание знать подробности его, положение отряда, последствия экспедиции и т. п., Скобелев мог вынести из этого приема горькое чувство. Позвольте, ваше величество, на минуту заглянуть в душевное ваше расположение. Могу себе представить, что вам было неловко, несвободно, беспокойно с Скобелевым и что вы старались сократить свидание. Мне понятно, что чувство неловкости, соединенное с нерасположением видеть человека, и происходящая от него неуверенность... Но смею думать, ваше величество, что теперь, когда вы государь русский,— нет и не может быть человека, с ко-

А. Ф. Кони. На жизненном пути. Т. III. Ч. I.

Рассказ Лорис-Меликова очень правдоподобен. Он очень хорошо рисует душевное состояние Скобелева, лично обвиненного императором. В новой обстановке политических событий Скобелев еще не разобрался, кипел и волновался и, как это с ним бывало в частных беседах, давал волю своему раздражению, не стесняясь в выражениях. Не нужно забывать и того, что и темпераменты этих двух генералов были различны, и Лорис-Меликов далеко не был поклонником военных талантов Скобелева, что видно из его положительного отношения к книге Г. Градовского «Скобелев» (см. там же, у Кони). Что же касается общей характеристики Скобелева, как человека «без убеждений», то она ходульна вообще, а затем с такой меркой, конечно, можно подходить ко всем волевым деятелям переходной эпохи, не говоря уже о революционной.

торым вы не чувствовали бы себя свободно, ибо в лице вашем — предо всеми и перед каждым стоит сама Россия, вся земля с верховной властью и т. д. и т. д.»*.

Приведенное письмо, написанное с свойственною Победоносцеву вкрадчивостью и лестью, чрезвычайно показательно. В нем общественный и политический вес Скобелева котируется очень высоко, что в глазах Победоносцева, презиравшего людей вообще, приобретает еще большее значение — Победоносцев боялся Скобелева, питая к нему почтительный страх. После этого письма можно верить, что Скобелев, если не пытался играть роль в общественной жизни то, во всяком случае, фрондировал, чувствуя свое влияние, и, судя по отзывам лиц, знавших его в то время, не всегда был сдержан на язык. Отсюда и характерная ироническая кличка — «le grémier consul», пущенная кем-то по его адресу в Петербурге. Что настроение Скобелева в этот период было вызывающее, видно из многих рассказов. Как-то, вспоминает бар. Н. Врангель** свою последнюю встречу со Скобелевым, сидела у ген. Дохтурова в Петербурге большая компания — были Воронцов-Дашков, Черевин, Драгомиров, Щербатов и др. Говорили, между прочим, об императоре Александре III, отзываясь о «хозяине» не особенно лестно. Затем говорили о современном положении. Всем мало-мальски вдумчивым людям, по словам Врангеля, уже тогда становилось ясным, что самодержавие роет себе могилу. Воронцов оказался настроенным оптимистически, но можно было понять, что говорит он одно, а в душе не уверен, что все обстоит благополучно. Когда все уехали, Скобелев принялся шагать по комнате и расправлять свои баки. Пусть себе толкуют! Слыхали уже эту песнь. А все-таки в конце концов вся их лавочка полетит тормашками вверх... Мнение Дохтурова и Скобелева об Александре III я давно знал. Дохтуров, близко знавший государя, знал ему и цену, но, как человек крайне уравновешенный, старался к вопросу относиться по возможности объективно. Скобелев Александра презирал и ненавидел.

* Победоносцев и его корреспонденты. Т. I.

** Бар. Н. Врангель. Воспоминания. От крепостного права к большевикам. Стр. 138.

— Полетит,— смакуя каждый слог, повторял он,— и скатертью дорога. Я, по крайней мере, ничего против этого лично иметь не буду.

— Полететь полетят,— сказал Дохтуров,— но радоваться этому едва ли придется.— Что мы с тобой полетим с ним, еще полбеда, а того смотри, и Россия полетит...

— Вздор,— прервал Скобелев,— династии меняются или исчезают, а нации бессмертны.

— Бывали и нации, которые, как таковые, распались,— сказал Дохтуров.— Но не об этом речь. Дело в том, что, если Россия и уцелеет, мне лично совсем полететь не хочется.

— И не летай, никто не велит.

— Как не велит? Во-первых, я враг всяких революций, верю только в эволюцию и, конечно, против революции буду бороться, и, кроме того, я солдат и, как таковой, буду руководствоваться не моими симпатиями, а долгом, как и ты, полагаю?

— Я? — почти крикнул Скобелев, но одумался.— В революциях, дружище, стратегическую обстановку готовят политики, а нам, военным, в случае чего, предстоять будет одна тактическая задача. А вопросы тактики, как ты сам знаешь, не предрешаются, а решаются во время самого боя, и предрешать их нельзя.

Этот разговор, записанный Врангелем, происходил в июне 1881 года, очевидно, вскоре по приезде Скобелева из заграничного отпуска, в который он отправился после майской аудиенции у императора. В Париже Скобелев «бросился в веселый омут», стараясь по свойству своей натуры отвлечься и забыться в довольно острых удовольствиях. За границей Скобелев виделся с гр. Лорис-Меликовым, с Гамбеттой, с которым у Скобелева завязались очень прочные связи и с которым он говорил «довольно обстоятельно». В это время Скобелев был на распутье. Он колеблется,— «возвращаться ли ему в корпус и продолжать командовать или ехать обратно за границу, испросив продолжение отпуска до 11 месяцев. Тогда, само собою разумеется, с отчислением от должности». И он, по обыкновению, просит своего дядю, гр. Адлерберга, разузнать в сферах на строения по этому вопросу. В том же письме он высказывает мысли, очень характерные для той эпохи, рисующие автора очень вдумчивым наблюдателем.

«Жилось за границей неохотно,— пишет он*, а возвратился против воли. Эта двойственность чувств и стремлений присуща, думаю, не мне одному и, полагаю, есть результат наших общественных недугов, еще более прежнего, ныне затемняющих все. Впрочем,— прибавляет Скобелев,— очень может быть, что, надевая вновь известных зимничких зеленых очков, я, тем не менее, невольно смотрю через их тусклые стекла. Дай-то Бог... я охотно бы в данном случае ошибся. Тем не менее я верую, что не отделяюсь ни мозгом, ни сердцем от всего мыслящего на Руси. Крайне разнородны виды нигилизма — только цель единая. Тем хуже для тех, которые того не сознают... Мы живем в такое время, что люди склонны к крайностям. Если не с нравственной, то с психической точки зрения это вполне объяснимо». Между прочим, это письмо, «сердечное и совершенно интимное», дает право подчеркнуть, что взгляды Скобелева по внутренним вопросам нашей политики были далеки от крайностей славянофильской концепции и тем более от фразеологии И. С. Аксакова этого периода. «Время такое,— пишет Скобелев,— ведь мы живем теперь *недомолвками*. Невольно слышатся слова Грановского по случаю смерти Белинского: «Какую эпоху мы переживаем: *сильные* люди ныне надломлены. Они смотрят грустно кругом, подавленные *тупым равнодушием*. Что-то новое слышится... но где же правдивая сила?» Скобелев ищет исторических аналогий. «За последнее время,— пишет он,— я увлекся изучением, частью по документам, истории реакции в двадцатых годах нашего столетия. Как страшно обидно, что человечество часто возвращается лишь в белкином колесе. Что только не изобретал Меттерних, чтобы бесповоротно продвинуть Германию и Италию за грань неизгладимых впечатлений, порожденных французскою революциею. Тридцать лет подобного управления привели: в Италии — к полному торжеству *тайных* революционных обществ, в Германии — к мятежу 1848 года, к финансовому банкротству и, что всего важнее, к умалению в обществе нравственных и умственных начал, создав бессильное, полусонное поколение. В области

* Ср.: «Петербург — это не дом умалишенных, а дом слабоумных. А между тем он управляет огромным русским государством». — Кошелев. Что же теперь делать? 1882.

внешней политики ответом Меттерниху были Сольферино и Садова. Видно, правда, что есть моменты в истории, в которые: «Les dieux eux mêmes combattent en vain la sottise». В наш век,— заканчивает Скобелев свою историческую аналогию — более чем прежде обстоятельства, а не принципы управляют политикой».

Любопытны свидетельства гр. Валуева, который одинаково не любил ни Скобелева, ни правительство, «наскоро сколоченное,— по его словам,— из обер-офицеров, салонных политических *dilletants*, небоевых генералов, неумелых сановников и нескольких мудрецов из Московского Китай-Города с привлечением пономаря Победоносцева». Валуев, старый недоброжелатель Лорис-Меликова («ближнего боярина», как он его иронически называет в дневнике), злорадно подчеркивает, что Скобелев жалеет об уходе гр. Лорис-Меликова, «*carce que c'était un bon instrument pour de moudre*»*. По мнению Валуева, Скобелев настроен очень непримиримо против гатчинских порядков и высказывал мысль, что современное политическое положение, создавшееся в результате политики Берлинского конгресса, грозит даже династии. Эта мысль у Аксакова в «Руси» развита в целую систему, и в данном случае Валуев прав, записывая после речей Скобелева, что «все действия ген. Скобелева — результат соглашения с гр. Игнатьевым, г. Аксаковым и К^о». Валуев принадлежал к типу русских государственных деятелей европейского толка. К славянофильскому течению он относился чрезвычайно враждебно. Его шокирует этот псевдонародный стиль, который с воцарением Александра III стал входить в моду. Но в славянофилах Валуев видит очень опасный элемент вообще — они бунтари по натуре. «Вероломство этих славянофилов,— пишет он,— мне внушает такое отвращение, что если они истинная Русь, то я перестану быть русским. Они твердят о единении царя и народа; они кадят и льстят самовластию, а между тем мечтают об изгнании той династии, по-ихнему не-

* Ср. мнение о Лорис-Меликове в «Записках» Кошелева: «В нем русского духа больше, чем во многих русских... Хотя он провел свою жизнь преимущественно на военной службе, однако в нем замечательны способности государственного человека... Он не страдает общию болезнью наших сановников — всеведением — и очень внимательно выслушивает то, что ему говорят, и относится хотя критически, однако уважительно к высказываемому другому».

мецкой, перед которой они низкопоклонствуют». Валуев считает, что «у нас династия a perpetual puzzle», что Скобелев в марте 1882 г. был настроен против нее действительно враждебно. Очень любопытный разговор в этом отношении произошел между Валуевым и Скобелевым в Английском клубе, за обедом. Скобелев только что возвратился из поездки за границу — он побывал в Париже, Женеве, Цюрихе, где, по-видимому, имел свидание с некоторыми лицами из «нигилистического мира». Скобелев стал развивать аксаковскую мысль, которая в это время его стала особенно занимать, что «возбуждением воинственного патриотизма можно парализовать и даже подавить нигилизм». Когда Валуев высказал противное тому убеждение, Скобелев возразил, что «en ce cas la situation est encor plus facheuse qu'il ne le pensant». Что, по мнению Скобелева, война отклонила террористов от их дела. «Il faudrait s'enapaier» и т. д. Скобелев беседовал с Валуевым на третий день после казни Суханова и в день убийства Стрельникова в Одессе. События дня располагали к очень серьезным размышлениям и очень характерны для настроения Скобелева его разговоры о династии, которая утратила, по его мнению, свой престиж «вследствие ее роли в минувшую войну». При этом Скобелев предавался горестным воспоминаниям о боях под Плевной, о «закусочной горке» и т. д. Валуев заметил «насчет той партии», о которой намерен упомянул Скобелев (московско-игнатъевской), «qu'un homme qui va au feu, comme lui ne peut pas ne pas posséder des cordes généreuses, susceptibles de vibrer, mais que la particularité distinctive du parti en question était l'absence complète de tout sentiment ou mouvement généreux; que ce parti ne puisait sa force que dans certaines sympathies, qu'il exploitait ces sympathies et s' était toujours appuyé d'influences de ruelle ou d'escaliers dérobés, et qu'il ne repugnait d'identifier le général avec lui». Наконец, я сказал, в той области, до которой относились тезисы ген. Скобелева: «le système ou méthode du maxa menait à l'amputation»*.

Мысли о связи революционного движения с депрессией после Берлинского трактата высказывались Скобелевым давно. «Уже под Константинополем,— пишет

* Валуев. Дневник.

Скобелев, — слишком для многих из нас было очевидным, что Россия должна *обязательно* заболеть тяжелым недугом *нравственного* свойства, разлагающим, заразительным. Опасение высказывалось тогда открыто, патриотическое чувство, увы, не обмануло нас. Да, еще далеко не миновала опасность, чтобы произвольно недоделанное под Царьградом не разрушилось бы завтра громом на Висле и Бобре. В одно, однако, *верую и исповедаю*, что наша «крамола» есть, в весьма значительной степени, результат того почти безвыходного разочарования, которое навязано было России мирным договором, не заслуженным ни ею, ни ее знаменами... *Gaveant consules!*»

Вскоре после событий 1-го марта 1881 г. Скобелев пишет И. И. Маслову, что при правильном решении Восточного вопроса, в смысле «общеславянских, следовательно, русских интересов», не в уступках и колебаниях надо искать «величия и внешнего, так и *внутреннего* преуспевания отечества». «Печальное решение было бы, ввиду грозных внешних и внутренних врагов, отказываться от самого исторического призвания, от пролитой реками православной крови, от нашего природного *права бытия* во всем его размере — нравится ли это или нет германо-австрийским культуртрегерам, должно быть для России безразлично... Люди слабые, иногда неблагонамеренные, всегда сердцем нерусские будут, конечно, теперь проповедовать теорию необходимости внутренних преобразований в ущерб нашей политической и исторической самобытности. Повторяю, это поведет к пагубным последствиям. В монархической политике стояние на запятках враждебной Европы, как показал Берлинский трактат, особенно опасно. Невольно вспоминается столь резкий, но, увы, верный ответ Наполеона I кн. Меттерниху на дрезденские предложения: «*L'honneur peut conserver un couppe, mais l'infamie jamais*». Спасибо за все графу Шувалову-Берлинскому»*.

Это письмо написано Скобелевым вдали от центра русских политических событий. Но мысль о связи судьбы династии с внешней политикой выражена здесь очень ясно и весьма сходна с записями Валуева. С приездом в Петербург Скобелев узнал про конституционные проек-

* Арх. Б.-Б.

ты, исходившие как раз не из лагеря людей «неблагонамеренных», и об их крушении. С отставкой гр. Игнатьева надежды на благоприятный исход династической проблемы у Скобелева начали колебаться — отсюда его резкие настроения, которые он выражал довольно открыто. Связанный многолетним пребыванием с Петербургом, Скобелев его не любил. Как видно из писем к Адлербергу, его тянуло служить поближе к Москве, которая ему становилась все милее. «В Петербурге все по-старому, скука, холод и гранит». В рождественском письме к И. И. Маслову он пишет, что не весел Петербург на праздниках, и признается, что хотя он «далек от мысли бросать камень в избранных ныне правительственных деятелей, но факт остается фактом — живется душно». Не подлежит сомнению, что начавшаяся реакция и порядки нового царствования не встречали у Скобелева сочувствия. Как он ни был огорчен террористическими актами, однако такой способ защиты, как организация Священной дружины, вызывал в нем глубокое отвращение, которое он демонстративно не скрывал. Так, приехав в Петербург 23 дек. 1881 г., Скобелев в одной из гостиниц не мог найти требуемого им количества номеров, потому что они были заняты офицерами-кавалергардами. Тогда Скобелев проговорил иронически: «Ех-дружинниками». Его слова были немедленно переданы в. к. Владимиру Александровичу и государю, и Скобелева пригласили к военному министру Ванновскому для объяснений. На вопрос, правда ли, что он это сказал, Скобелев ответил: «Да, правда, и скажу при этом, что если бы я имел хоть одного офицера в моем корпусе, который бы состоял членом тайного общества, то я его тотчас удалил бы со службы. Мы все приняли присягу на верность государю, и потому нет надобности вступать в тайное общество, в охрану»*.

III.

Упоминание в письме к гр. А. А. Адлербергу о реакции у Скобелева не случайно. По всему ходу дел было вид-

* Ген. В. К. Смольский. Священная дружина: Воспоминания. — «Голос Минувшего». 1916. IV.

но, что внутренняя политика царствования Александра III вступает отнюдь не на тот путь, по которому шло правительство Александра II. Разумеется, здесь можно было говорить лишь об общих очертаниях мероприятий нового царствования, которые становились все более и более в резкие противоречия с принципами великих реформ. Как было указано не раз, Скобелев всецело примыкал к поколению, для которого общие принципы эпохи 60-х годов легли в основу их общественного правосознания. Скобелеву, по роду своей службы, пришлось иметь дело с армией, наполовину состоявшей из старого состава, как офицеров, так и солдат, и по всей деятельности Скобелева мы видим, как он учитывает новые требования в области создания новой армии, строившейся на принципах освобожденной личности и всеобщей повинности. То, что создало славу Скобелеву, что составляло сущность его морального авторитета не как полководца, а как генерала вообще, относится всецело к той стороне, которая имеет в виду нового солдата, заботы о котором у Скобелева шли именно в развитие личного достоинства солдата как гражданина. Об этом говорит его интересная записка, приложенная им к мнению о реформе окружных управлений, членом комиссии которой он состоял. Я цитирую ее по черновику, сохраняя в ней и стилистические исправления. «Реформы в Бозе почившего императора Александра II,— так начинает Скобелев,— в нашей армии сделали солдата гражданином. Всякий шаг по пути возвращения к старому будет поставлен против принципа всякого уважения к личности. Этот-то принцип составляет главную силу нашей современной армии, ибо он защищает солдатскую массу от произвола». Скобелев сам принадлежит к новому поколению, но, разумеется, он практически знает и старую армию и имеет право судить о ней. «Старые порядки в армии были ужасны, ибо сверху донизу царствовал произвол вместо закона, слишком тяжело ложившийся преимущественно на солдат. Эти порядки, по словам очевидцев, делали из нашей армии массу без инициативы, способную сражаться преимущественно в сомкнутом строю, между тем современные боевые условия требуют развития личной инициативы до крайней степени, осмысленной подготовки и самостоятельных порывов. Все эти качества могут быть присущи только солдату, который чувствует себя

обеспеченным на почве закона*. Я уже имел честь докладывать Комиссии о той важности, которую имеет неприкосновенность нынешней военной судебной системы для армии. Я возвращаюсь к этому великому вопросу, потому что считаю его нравственную цельность всей нашей армии в зависимости от неприкосновенности оснований ныне существующей судебной реформы.

Командуя войсками в мирное и в военное время, к сожалению, приходится сознаться, что привычки произвола и, скажу даже, помещичьего отношения к солдату еще не искоренились и проявляются в среде многих (отсталых) офицеров еще слишком часто. Между тем лучшая и самая интеллигентная часть наших молодых офицеров, а также и солдат совсем иначе смотрят на службу и на отношения к ним начальников, чем это было несколько лет тому назад. Я считаю эту перемену большим благом для отечества и гарантию успеха в будущих боевых столкновениях. Реформы минувшего царствования в нравственном отношении могут быть названы слишком безповоротными. Поэтому-то так страшно слышать заявления о необходимости возвратиться к старому, былому, как учит нас отечественная история, далеко не привлекательному. Учреждения, как бы их ни видоизменять, не могут отрешиться от своих исторических корней, и я твердо верю, что всякое колебание в армии коренных нравственных оснований великих реформ имп. Александра II, олицетворяемых окружною системою, и может найти сочувствие лишь

* Ср. в письме от 5 ноября 1881 г. к ген. М. М. Духонину заключения Скобелева по поводу военно-судебной реформы ввиду «ныне временно процветающего здесь направления», которое заставляет опасаться за судьбу реформ Александра II. «Ныне здесь принято известною партией толковать о каком-то преобладании элемента административного перед строевым, о каком-то упадке нашей армии и т. д., но я уверен, что люди, близко видевшие нашего солдата в бою, не поддадутся на эти жалкие слова, скрывающие иные цели. Они, эти серьезные боевые деятели, знают, что в народной армии, черпающей свою силу из принципа общеобязательной повинности, все должно быть основано на законности и уважении к личности служащих, в обширном смысле слова.— «Русь». 1883. № 18.

В декабре того же года Скобелев пишет по поводу распускаемых слухов об упадке дисциплины, имевших успех у нового государя и его окружения. Он горячо защищает армию от этого упрека, ссылаясь на опыты войны и т. д. «Залог прочной дисциплины надо искать не в переделке судебных уставов, а в утверждении справедливости, в общем духе воспитания войск и в разумных домашних порядках, способствующих поддержанию боевого духа армий».

в тех слоях армии, которым тяжело отвыкать от прежних помещичьих привычек»*.

Приверженность к реформам Александра II и опасение за их судьбу в новое царствование выражены Скобелевым в этой записке очень отчетливо и ярко. Нужно при этом вспомнить, что эта комиссия под предс. ген. Кобеко, собрала высший состав русского генералитета, в котором ген. Скобелев был хоть и равный по чинам, но, вероятно, в полтора раза моложе каждого из ее членов. Если в первой половине этой записки мы видим оценку предыдущего царствования, политика которого становилась уже опальной, то во второй уже звучат политические ноты, потому что высказывается совершенно определенно осуждение правительственных тенденций нового царствования. Как известно, политическое направление царствования Александра III не пощадило и военную область, столь дорогую для Скобелева. Его позиция в ряду других оппозиционеров нового царствования становилась очень резкой и опасной, и создала ему в русском обществе репутацию почти революционную.

VII. ГЕН. СКОБЕЛЕВ И РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ

I.

Говорить о близости ген. Скобелева, да и вообще кого-либо из генералитета, к революции, к общественному движению 70—80-х годов может показаться несколько смелым — настолько революционная среда последнего времени была далека от военных, в особенности от офицерства. Царствования последних двух императоров нас приучили к мысли, что в офицерской среде ни в какой степени не могут существовать не только революционные, но сколько-нибудь оппозиционные настроения. Для нашей эпохи это, пожалуй, верно (с некоторыми оговорками), но стоит нам углубиться назад, в нашу историю, и мы увидим, что взгляд на военных, как на незыблемый оплот правительства, ста-

* Арх. Б.-Б.

О военных реформах Александра II, в частности по вопросу об округах, см. статью неизвестного автора в «Вестн. Европы». 1882. № 1.

новится все менее и менее устойчивым. Нужно только оговориться относительно самого термина — революционер. Если этот термин имеет вполне определенное значение теперь, то по мере углубления в историю он меняет свое лицо, пока наконец в XVIII веке он становится неприменимым в нашем смысле этого слова: но остается — оппозиционер, бунтовщик, деятель дворцовых переворотов и т. д. Имея в виду ген. Скобелева, и нужно говорить не о революционере в подлинном смысле этого слова, но о военном с психологией участника дворцовых переворотов. В XIX веке у революционеров с подобными людьми иной раз не было ничего общего, кроме ненависти к режиму или лицу, его представлявшему, и методы борьбы здесь были различны. Настроение ген. Скобелева в эпоху Александра III было не столько революционным, сколько заговорщицким, приближаясь к психологии и настроению генералитета и офицерства XVIII в., которые, пользуясь своим личным престижем среди войск, поднимали гвардейские полки на бунт и сменяли царей на троне, династии, руководствуясь большею частью личной неприязнью к свергаемому монарху. Для подобного заговорщицкого настроения у Скобелева было очень много данных: большое честолюбие, некоторый авантюризм в натуре, огромная популярность в войсках и готовность брать на себя ответственность за решения в тяжелые минуты жизни. Если бы Скобелев жил в XVIII веке, то его трудно было бы себе представить вне какой-либо лейб-кампанской роты или спутников молодой Екатерины II, распорядившихся в Зимнем Дворце, как у себя в казармах... Впоследствии, пройдя через декабристов, когда с дворцовыми переворотами было покончено, тип подобного офицера-бунтовщика выродился в военного строптивного служаку, вроде ген. Ермолова. После крымской катастрофы в подготовке великих реформ военные вновь принимают участие в политической жизни страны — в этом отношении они плоть от плоти того общества, которое идет к пробуждению и настойчиво ищет путей обновления России, не останавливаясь в поисках радикального разрешения вопросов иногда перед перекройкой своего мирозерцания. С эпохи подготовки реформ Александра II офицеры, как отдельные «мыслящие личности», играют в русском общественном движении значительную роль, — отличаясь особенной

стойкостью благодаря их дисциплине и воспитанию. В 1861 г. Герцен писал из Лондона: «Говоря об офицерах, я должен сказать, что самые симпатичные и здоровые духом люди из посещавших нас — офицеры. Молодые люди из невоенных были по большей частью непросты, нервны, очень поглощены делами своих литературных кружков и не выходили из них. Военные были скромнее и проще; они чувствовали за собою недостаточное воспитание кадетских корпусов и, как бы зная свою дурную репутацию, рвались вперед и старались чему-нибудь научиться. В сущности, они вовсе не были хуже подготовлены, чем другие и, по великому закону нравственных противоречий, под гнетом деспотизма корпусов, воспитали в себе сильную любовь к независимости. В офицерском мире после Крымской войны начиналось серьезное движение», и Герцен ссылается* на участников «Великоросса» и проч.

После Крымской войны в офицерской среде началось усиленное движение, стремление к самообразованию, саморазвитию и т. д. Психологически понятное, как желание найти причины военных неудач минувшей войны и способствовать возрождению страны, движение это наблюдалось во всех слоях офицерства — политический воздух был насыщен предреформенными настроениями. В 1858 году был основан военным министерством журнал «Военный Сборник», отличавшийся своим передовым направлением. Характерно, что из трех его редакторов один был полк. Н. Н. Обручев, проф. статистики в Академ. Ген. Штаба, а другой — Н. Г. Чернышевский. Правда, эта тройка продержалась всего несколько месяцев, но остается все же поразительным фактом, что военное министерство не побоялось пригласить в число руководителей специального журнала заведомо левого, почти крамольно настроенного публициста. Разумеется, в статьях «Военного Сборника» не было ничего революционного, но они были насыщены тем гражданским чувством и свободой личности, которые создают воздух освободительной эпохи. В столицах и провинции стали образовываться офицерские кружки, малочисленные по составу, человек в 10—15 (не без

* Герцен. Сочинения. Изд. Лемке. Т. XIV. Стр. 377. См. также о настроениях молодых кадетов у Кропоткина в «Записках революционера» и у многих др.

влияния в этом отношении Н. Н. Обручева), потому что полагали, что одной из причин гибели декабристов была многочисленность их организации. Все помыслы молодежи вертелись около раскрепощения личности — эту тему было очень трудно затушевать, потому что освобождение крестьян было на очереди — к нему уже сделан был приступ, а за ним шли уже и другие реформы, в том числе и военная.

В 1861 г. было основано общество «Великоросс», в числе организаторов которого встречаем двух офицеров Ген. Штаба, двоюродных братьев — В. А. и Н. Н. Обручевых. Впоследствии, с провалом «Великоросса», его организация влилась в «Землю и Волю», которую поддерживал и Герцен. К нему в Лондон для переговоров направился бывший в заграничной командировке Н. Н. Обручев, при ближайшем участии которого и была написана прокламация «Что надо народу?» и, что особенно характерно для этого периода деятельности Н. Н. Обручева, — «Что надо делать войску?». Прочитывая сейчас эти прокламации, за распространение которых люди попадали на каторгу, мы видим, что их основное *политическое* устремление — созыв Земского Собора, причем в руководящих кругах рекомендовалось отнюдь «не проповедовать никаких абстрактных понятий о свободе и противоярризме, а только необходимость Земского Собора»*. Что же касается офицеров, то рекомендовалось составлять кружки в военно-учебных заведениях и потом с большою осторожностью переходить в восточные, кавказские и проч. войска. В прокламации «Что надо делать войску?», написанной в ответ на приказ от 4 сент. 1861 г. военным начальникам о применении оружия во время народных волнений, ставился вопрос о невозможности стрелять в народ. Здесь любопытно рассуждение о присяге. «Есть две присяги настоящие: одна, которую каждый человек принимает на себя, родившись, эта присяга — ограждать

* В прокламации «Земли и Воли» 1863 г., в которой близкое участие принимал Н. Н. Обручев, бессловный Земский Собор считается только одним возможным средством «осуществить право народа на землю и волю, областное и земское самоуправление... Настоящий Земский Собор надо нам себе завоевать. С этою целью составляйте офицерские кружки и примыкайте к нашему обществу, чтобы составить один строй и одну дисциплину» и т. д. — Герцен. Соч. Т. XVI. Стр. 41.

народ, в котором он родился, от всякого врага и насилия. Эта присяга природная. Другая присяга добровольная. Если кто даст обет Богу — сходить ли помолиться или помочь брату в несчастье, — такой присяги не сдержат — грех. Сам захотел ее дать, так и держи слово. А третья присяга — приказная. Ее дают со страху и против собственной воли. Человек или сам не знает, о чем клянется, или со страху лжет. Это не присяга, а обман...» В прокламации, написанной очень сдержанно и корректно, нет ненависти к офицерам. «Офицеров много хороших, которые любят народ и готовы отступить от всех своих барских выгод в его пользу, а потому любят и солдата». Среди солдатских несчастий бичуется жестокость, казнокрадство и вообще армейское воровство — все это бичи того времени, разъедавшие старую армию, против которых был открыт поход в самых широких слоях русского общества 60-х годов, в том числе в печати, как общей, так и специальной — «Военном Сборнике», «Морском Сборнике» и др. В другой прокламации, написанной Н. Шелтуновым (тоже военным), «К солдатам», — уже излагается целая программа воинской реформы: «Можно сделать, чтобы солдат служил только от 3-х до 5-ти лет и во время службы получал бы достаточное жалование... Можно сделать, чтобы его варварски не били, можно сделать, чтобы он не уходил далеко от семьи, а жил бы поблизости и после своей службы снова приходил бы на помощь семье своей, — одним словом, можно сделать, чтобы солдатское житье было хорошее и всякий с охотой бы шел служить солдатом». Конечно, эти мысли накануне реформ находили в среде передовых военных большое сочувствие. И хотя, по словам Ашенбреннера, «русская весна 60-х годов был так скоротечна, что не успела всколыхнуть хорошенько военные слои», однако тот же Ашенбреннер отмечает, что «сама жизнь подготавливала девственную почву к будущему посеву освободительных идей в общественных слоях, наименее доступных литературным или иным влияниям»*. Военная среда предреформенного периода, где было подавляющее большинство старых николаевских службистов с их жестокими методами солдатской муштры, не могла не быть затронута общим движением освободительной эпохи.

* Ашенбреннер. Воспоминания. — «Былое». 1907. № 6.

Личная крестьянская воля вела за собою и гражданское сознание солдата. Молодые офицеры, особенно приобщенные к высшему образованию, являлись в воинских частях проводниками этого влияния. В полковых библиотеках того времени можно было выписывать журналы и радикально-оппозиционного направления вроде «Отечественных Записок», «Слова», «Вестника Европы». Статьи на самые злободневные темы читались и комментировались, причем условия военной жизни того времени заставляли офицерство жить тесным товариществом, которое приводило к единомыслию. В такого рода кружках особенно было сильно влияние талантливых и убежденных товарищей — они не встречали обычно критического отношения к себе. «Вот почему, — говорит Ашенбреннер, — политическая пропаганда дала впоследствии, когда наступило ее время, такие неожиданные результаты — самые радикальные мысли принимались как самоочевидные». Нужно отметить, что рост этих кружков и их удельный вес, вероятно, увеличивался от столиц к окраинам. Служба где-нибудь на Кавказе или Туркестане, в боевой обстановке, в которой сглаживались социальные различия, уже сама по себе поднимала значение личности, в этой же обстановке постоянной боевой страды гуманное направление некоторых офицеров давало самые благоприятные результаты. В этом отношении можно указать на того же Ашенбреннера, который в Туркестане оставил по себе очень хорошую память. В полку ходили слухи, что он распустил своих солдат, но на смотрах сами солдаты подтягивались, чтобы не подвести своего батальонного командира, и смотры проходили с похвалой и наградами. Ген. Куропаткин в очень трогательных выражениях вспоминает свою службу под начальством «дорогого Юльича» — он поступил в роту Ашенбреннера 18-летним юношей. «Вы научили нас свято хранить каждую солдатскую копейку, — пишет Куропаткин*, — вы дали нам пример исключительно гуманного отношения к солдату в то время, когда кругом еще солдат били и обкрадывали. Вы внесли в товарищеские отношения молодежи нашего батальона нравственную чистоту. Вы в среднеазиатской глуши, в походной обстановке не давали нам, молодежи, опускаться: пьянство-

* «Каторга и ссылка». 1927. Кн. 32.

вать, играть азартно в карты, но не требовали от нас и монашеской жизни». Далее Куропаткин упоминает про «кружок» из 7 молодых офицеров и как эти «туркестанцы славного баталиона» всегда с особенной любовью вспоминали полковника Ашенбреннера, несмотря на их разную судьбу и карьеру.

Не будем забывать, что деятельность таких командиров, как Ашенбреннер, далеко не всегда приводила к Шлиссельбургской крепости и почти совпадала с туркестанским периодом Скобелева, и без всякой натяжки можно сказать, имея в виду приведенные выше слова Куропаткина, что то, что было ценного в деятельности Ашенбреннера, было воспринято и Скобелевым, и не удивительно: и тот и другой были детьми одного и того же направления в военно-бытовом деле, и солдатская слава Скобелева питалась из тех же источников «весны 60-х годов».

Вообще эта эпоха была исключительной в смысле сближения людей разных классов, воспитания, мировоззрения на почве общественности. Студенческие волнения 1861 года имели очень много офицеров — участников уличных демонстраций*. В сущности, такую же политическую молодость отдает и движение «Великоросса». Его конституционные проекты через два десятка лет уже не представляют ничего революционного, совет созыва депутатов для выработки конституции рядом с проектами законодательных палат гр. Шувалова или Земским Собором гр. Игнатьева — совершенно невинные соображения, но молодежь, как всегда, забегала вперед и за это платилась тяжелыми карами. Молодой офицер Ген. Штаба Влад. Обручев за распространение идеи «Великоросса» поплатился каторгой. Но для нас важно не только то, что капитан Генерального Штаба В. Обручев был осужден — этого требовало формальное право, — но важно, как отнеслось к этому факту осуждения, а следовательно, до некоторой степени и к самому преступлению само общество. Если мы вспомним позицию русского общества в деле декабристов, то увидим, что в 60-х годах уже можно было не так бояться всемогущей власти. Проводы осужденного

* Недаром Герцен придавал большое политическое значение участию военных. «Военные заставят его (Земский Собор) созвать». — Соч. Т. XVI. Стр. 133.

В. М. Обручева на каторгу из петербургской тюрьмы — картина совершенно исключительная. Здесь было обнаружено не только простое человеколюбие со стороны своей военной среды, но положительно скрытое сочувствие... Перед отправкой из тюрьмы Обручева протоирей Полисадов его исповедовал, долго с ним беседовал в таком тоне, будто многое понимал в сомнениях преступника и многому в его порицаниях сочувствовал. В момент причастия комендант ген. Сорокин поздравил преступника. Ген.-губ. кн. Суворов, приехав в крепость уже после обряда ломания шпаги, подбодрил Обручева, сказав, что можно еще дело поправить, а потом, обращаясь к свите, сказал: «Теперь, господа, правосудие над ним исполнено и наше дело — облегчить, насколько мы можем, его положение». Затем князь приказал выбрать самые легкие кандалы, сам их взвешивал и велел обшить замшей. Когда Обручева заковывали, плац-адъютант Пинкарнелли прослезился. Обручева облекли в халат с желтым бубновым тузом и шапку и вывели на платформу; появился комендант ген. Сорокин, который сам довел Обручева до кареты, обнял его в виду караула и поцеловал. До Шлиссельбурга кн. Суворов велел одному офицеру-фельдъегерю проводить Обручева, тот исполнил поручение и на прощание спросил по-французски о его последних желаниях, передать что-нибудь родным и т. д. Обручеву разрешено было, между прочим, взять с собой целую библиотеку (в том числе 45 томов Ж. Поля)...* Можно ли представить себе подобную картину отношений к политическому преступнику, напр., со стороны ген.-губернатора в начале XX века? Таково различие в бытовом отношении понятий политического преступления 60-х годов и конца 90-х и 900-х. Провожавшие Обручева были если не единомышленники, то, во всяком случае, люди, для которых преступление, за которое собрат попал в беду, не составляло препятствий столкнуться по очень важным, принципиальным вопросам жизни. Когда разразилось Польское восстание 1863 г., то в офицерской среде отношение к нему было очень далекое от какого бы то ни было энтузиазма. Очень многие офицеры считали эту войну братоубийственной, уклонялись от участия в ней всячески, а некоторые даже вызывающе. Так,

* В. Обручев. Из пережитого. — «Вести. Евр.», 1907. № 5.

напр., полк. Н. Н. Обручев открыто заявил, что он не желает участвовать в братоубийственной войне и, сложив с себя звание начальника штаба 2-й пехотной гвардейской дивизии, выступившей в поход, перешел на службу в Главный Штаб на должность управляющего делами военно-учебного комитета. Характерно для того времени, что Обручев никакому преследованию за это не подвергся, хотя многие, в том числе вел. кн. Николай Николаевич, не могли ему простить этой истории*. Оппозиционные, как и революционные течения среди военных продолжали развиваться, проникая во все их слои — и в армейских частях, и в гвардейских, в артиллерии, в военных училищах, напр., морском, где эти настроения имели уже некоторую традицию, в Константиновском, в Пажеском корпусе и проч. Корни и программы этого движения были разные, но почва, на которой они взращивались, и среда, которая их вскармливала, была одна и та же и обладала всеми данными для их роста. К моменту напряжения террористического движения народолюбцев, за период 1880—1883, по вычислению Богучарского**, всех военных, привлеченных по народолюбческим делам, оказалось 67. В большинстве случаев все это были обер-офицеры. Степень участия в революционном движении у всех у них была, конечно, различная, что сказалось и на их дальнейшей судьбе — небольшая часть их была казнена, большинство отделалось каторгой, крепостью, исключением со службы и т. д. Значение числа военных, привлеченных к суду за активную революционность, не надо ни преувеличивать, ни преуменьшать. Нелишне напомнить, что военная группа народной воли была чужда, по-видимому, крайних демагогических мер в своей пропаганде. Так, напр., ее устав строго запретил офицерам «заниматься самим пропагандою между нижними чинами. Офицер обязан был оказывать на них лишь культурное влияние и приобрести уважение и любовь солдат исполнительностью и вместе с тем гуманностью». Это очень характерно для оппозиционных настроений среди военных того времени. Обычно против «революционности» Скобелева выдвигают аргумент, что он «ненавидел «ниги-

*Газенкамф. Дневник. Изд. 2. Стр. 169.

** Из истории политической борьбы в 70—80-х гг. XIX века.— М., 1912.

лизм». Это несомненно так — Скобелев, как военный и по своей натуре был особенно щепетилен в вопросах дисциплины и порядка вообще. Изящно одетый, холерный, не забывавший надуться даже перед боем, Скобелев, разумеется, терпеть не мог этой внешней распушенности, к которой приклеен был ярлычок «нигилиста». Но, с другой стороны, при своей широте взглядов Скобелев умел разглядеть сущность под какой угодно формой. Припомним его фразу в письме к гр. Адлербергу: «Крайне разнообразны виды «нигилизма» — только цель единая. Тем хуже для тех, которые того не сознают. Мы живем в такое время, что люди склонны к крайностям. Если не с нравственной, то с психической точки зрения это вполне объяснимо». Кроме того, нужно сказать, что в серьезных выступлениях народовольцев внешние атрибуты «нигилизма» играли слабую роль и грубая «писаревщина» стала уже изживаться.

Что же касается программы военных организаций 80-х годов, то ее принципы не только не отходили, но, наоборот, широко вливались в общее русло конституционного движения в России. Если мы от народоправства «Великоросса» перейдем к народовольчеству, то увидим те же принципы народного суверенитета, политической свободы, представительного образа правления, т. е. как раз то, что очень широко и довольно открыто исповедовало русское интеллигентное общество 80-х годов и от чего не отделял себя и Скобелев. В знаменитом письме Исполнительного Комитета к Александру III, написанном Михайловским, дается торжественное обещание прекратить террор и вообще всякую насильственную деятельность и обратиться к «культурной работе на благо родного народа», если только правительство станет на конституционный путь. Ал. Михайлов писал из своего заключения, что «все отдаленное, все недостижимое должно быть на время отброшено. Социалистические и федералистические идеалы должны отступить на второй план дальнейшего будущего, и лозунгом должно стать земское собрание при общем избирательном праве, при свободе слова, печати и сходок». Яснее всех примирительную позицию в этом деле высказал Кравчинский, который писал, что «социализм не стоял и не стоит препятствием для объединения русской оппозиции: нам дороги интересы свободы всех русских, без различия партий, мы готовы защищать ее

во имя общего внеклассового чувства гражданской солидарности, которая существует во всех передовых странах — тем в большей степени, чем она культурнее. В вопросе политическом, составляющем злобу дня, наша программа есть именно программа передовой фракции русских либералов». Таким образом, в эту эпоху даже самую левую нашу общественность трудно обвинить в доктринерстве. При всей своей левизне и бунтарской психологии даже у Нечаева оказался своего рода «здравый» смысл, и его программа политических реформ, изложенная в его письме к Александру II, не могла от него отпугивать русских либералов переходной эпохи.

В военных революционных кругах настроение было соответствующее, и едва ли не справедлив Богучарский, утверждая, что военные признавали революционный переворот только как нечто неизбежное, ввиду упорства и косности правительства.

II.

У нас имеются сведения о причастности крупных воинских чинов к революционным планам левого крыла русской общественности. Разумеется, нельзя искать среди русского генералитета того времени революционеров того типа, которых знает наша эпоха великой революции, но такими, как мы видели, не были на самом деле и те военные, которые с кличкой революционера кончили жизнь на эшафоте. Но они были в неизмеримо большей степени, чем теперь, тесно слиты с общей военной средой, еще не отошедшей, по своему воспитанию и общим политическим вкусам, от широких интеллигентских масс русского общества. Вот почему у них очень часто в суждениях о внутреннем положении страны прорывались ноты и выражения, от которых впоследствии они не столько отрекались, сколько считали их «увлечениями молодости» и проч. Но *ненависти* к этим увлечениям молодости у них не было. Таким, напр., был ген. Драгомиров. Как бы мы ни относились к рассказу майора Тихоцкого*, которому будто бы Драгомиров сказал: «Что же, господа, если будете иметь успех — я ваш», — здесь нам интересна не

* «Былое». 1907. Сент. Стр. 199.

самая фраза ген. Драгомирова, полная оппортунизма, но важен самый факт разговора начальника Николаевской академии Генерального штаба с одним из членов военно-революционной организации о ее задачах и методах. Люди типа ген. Драгомирова предпочитали оставаться в стороне от движения, считая безумием связывать с ним свою судьбу, иногда, может быть, даже из-за карьерных соображений. Ген. Скобелев к ним не принадлежал, хотя и он немало заботился о своей карьере, но у него перед глазами стояли и идеи, которым он служил в полном смысле, не жалея себя. Такими идеями в этот период его жизни были для Скобелева судьбы славянства, связанные политически с судьбой России, и, в самое последнее время, вопрос о немецкой опасности вообще. Он был серьезно убежден, что вне политики, которая вела Россию на путь широкой поддержки славянства, к войне с германизмом, никакая другая политика не была мыслима без внутренних потрясений. И как на войне он смело приносил себя в жертву, так и в политике он шел к своей цели, не боясь для себя никаких осложнений. Как и И. Аксаков, Скобелев был убежден, что антигерманская политика была политикой национальной, способной дать стране не только цель для занятия достойного европейского положения, но и средство для борьбы со злом «нигилизма», подводя под это очень расплывчатое понятие все виды антигосударственных направлений. Это достаточно ясно подчеркнуто в дневнике Валуева в связи с его разговором со Скобелевым по поводу политического террора. Скобелев учитывал, что этот «нигилизм» является результатом глубокого русского движения, корни которого заложены в эпохе, из которой вышли и его, собственные общественные и военные идеалы, т. е. из эпохи 60-х годов. Вот почему, относясь к «нигилизму» с нескрываемым осуждением, Скобелев, однако, не мог не чувствовать в основаниях революционного движения глубокой народной правды, к которой он был чрезвычайно чуток. Верный своим привычкам к основательным рекогносцировкам перед началом всякого дела, Скобелев и здесь счел для себя необходимым не игнорировать движения, а поближе его узнать. Весьма возможно, что этим чувством, чуждым всякой доктринальности, и объясняется попытка Скобелева познакомиться с П. Л. Лавровым. В 1882 году, в бытность свою в Париже, Скобелев че-

рез своего адъютанта предлагал Лаврову свидеться где-нибудь в нейтральном месте, так как открытое свидание двух таких лиц, занимавших, каждый в своей сфере, выдающееся положение, было бы, конечно, неудобным. Лавров оказался подлинным доктринером — он наотрез отказался от свидания. Спустя три года С. А. Иванов спросил Лаврова о причинах отказа. «Да помилуйте,— воскликнул Лавров с искренним, неподдельным изумлением,— ну об чем бы я стал говорить с генералом Скобелевым?»*. Приходится очень жалеть, что это свидание не состоялось — в бумагах аккуратного генерала мы бы прочли точную передачу беседы, которая бы нам осветила многое в этом вопросе**.

Мы находимся в области косвенных заключений. Предполагаемое свидание Скобелева с Лавровым, равно как и все попытки Скобелева завести сношения с революционерами, имели, вероятно, отнюдь не «революционные» цели. Как сказано выше, Скобелев был в это время всецело занят будущей войной с Германией. Для этого он искал себе союзников. В этом направлении он работал, ратуя за создание франко-русского сближения, очевидно, для того же он хотел сблизиться с революционерами, стремящимися сбросить ту самую власть, которая, по убеждению Скобелева, вела антинациональную внешнюю политику, столь вредную, по его мнению, для подлинных интересов России. По мнению одного лица, хорошо знавшего Скобелева, в последнее время Скобелев создал себе такое кредо: правительство (в смысле старого режима) отжило свой век, но бессильно извне, оно также бессильно и внутри. Что может его низвергнуть? Конституционалисты? Они слишком слабы. Революционеры? Они также не имеют корней в широких массах. В России есть только одна организованная сила — армия, и в ее руках судьба России. Но армия может подняться только как масса, а на это ее может двинуть лишь такая личность, которая известна каждому солдату, которая окружена славой сверхгероя. Но одной популярной личности мало, нужен лозунг, понятный не только армии, но и широким

* «Былое». 1907. Сеит.

** Возможно, что в Архиве Скобелева в Главном Штабе имеются материалы и по этому вопросу. Жаль, что большевики до сих пор еще не добрались до этих документов и вообще очень мало интересуются личностью Белого генерала.

массам. Таким лозунгом может быть только провозглашение войны немцам и объединение славян. Этот лозунг делает войну популярной в обществе»*.

Несомненно, эта мысль Скобелева очень занимала, все его выступления последних месяцев сводились именно к укреплению той мысли, что наш главный враг — Германия, и этой последней идее Скобелев готовился служить прежде всего как военный. Тщательное и внимательное знакомство с германской армией на маневрах дало возможность ему составить основательное мнение о вооруженных силах противника, в войне с которым он предполагал выступить в роли главнокомандующего. В сущности, это не была пустая претензия, а общее признание. Ген. Ваниковский, военный министр, в разговоре с Перевцом так и выразился, что «главнокомандующим Скобелев был бы отличным». В этом же направлении Скобелев работал и как политик. Но здесь его поле деятельности было затруднено главным образом тем обстоятельством, что он, по своему служебному положению и по политическим условиям того времени, не мог свободно высказывать свои мысли. Он не был писателем-публицистом, мало того, в сущности, он не имел хорошей прессы, потому что аксаковская поддержка в «Руси» была осложнена целым рядом вопросов внутренней политики, которые разрешались Аксаковым и Катковым далеко не всегда в том направлении, которому сочувствовал Скобелев. В частности, катковская позиция в польском вопросе едва ли разделялась Скобелевым, о чем свидетельствует его переписка и неоднократные заявления им в печати. Воистинным и резким выступлениям Каткова суждения Скобелева о поляках были совершенно противоположны. Он несколько раз имел возможность подчеркнуть благородство польского народа и его культурное равноправие. В частности, Скобелев в противоположность многим своим современникам, решительно осуждал польские разделы. «Завоевание Польши я считаю братоубийством, историческим преступлением. Правда, русский народ был чист в этом случае. Не он совершал преступление, не он и ответственный. Во всей нашей истории я не знаю более гнусного дела, как раздел Польши

* Богучарский. Из истории политической борьбы 70—80-х годов XIX века.— М., 1912.

между немцами и нами. Это Вениамин, проданный братьями в рабство! Долго еще русские будут краснеть за эту печальную страницу из своей истории. Если мы не могли одни покончить с враждебной нам Польшей, то должны были приложить все силы, чтобы сохранить целостным родственное племя, а не отдавать его на съедение «немцам»*. Возвращаясь через Варшаву в Петербург по высочайшему вызову из Франции после своей беседы с сербскими студентами, Скобелев дал интервью польским журналистам. «Я желаю,— сказал он,— чтобы поляки были вместе с нами, как и все славяне. Правда, здесь находится русский гарнизон. Но если бы его убрали, то вы бы имели вместо него гарнизон германский»**. На это и вообще на речи о славянском единении поляки ответили по-разному. При сопоставлении Польши и Германии «Час» вспомнил разговор одного польского консервативного деятеля с Бисмарком, что захват Германией Польши поднял бы симпатии поляков к России, потому что связь Польши и России основана на психологии («Из двух зол легче выбрать наиболее старое»), истории и политической экономии. Конечно, из русской Польши трудно было ждать свободного мнения. Это и подчеркнул автор одного из писем из Парижа к Скобелеву — полк. Веленгловский («ancien Aide de Camp et chambellan de J. A. A. le duc Charles de Brunswick») «на 51 году своей ссылки». Само письмо и его тон показывают, что позиция Скобелева в славянском вопросе, а главное — тон, которым Скобелев говорил о поляках, положительно обязывали польских патриотов к ответу. В этом отношении письмо Веленгловского очень интересно — это свободный голос непримиримого эмигранта. По его мнению, «столь желательное и столь необходимое соединение славянских стран возможно только в том случае, если эти страны будут свободны...» Свобода — это необходимый стимул всего дела. Но Россия, будучи сама несвободной, не может дать свободу другим. И вообще, пишет Ве-

* Ср. очень близкую к словам Скобелева точку зрения проф. В. О. Ключевского: «Надобно было спасти Западную Русь от ополчения, но не следовало передавать Польшу на ополчение... Может быть, чтобы избежать вражды с народом, нам нужно было спасти его государство». — Курс русской истории. Т. V. Стр. 34.

** O. K. General Skobelew and the Slavonic course. London, 1883. Стр. 280.

ленгловский, современный режим России не может объединить Польшу — необходимы реформы в самой России, которые бы заставили забыть кровавое прошлое и т. д. «Мы, другие поляки (не в России), — отвечает Веленгловский на слова Скобелева, — не имеем выбора между гарнизоном русским или германским, потому что мы не хотим ни того, ни другого». Однако Веленгловский откровенно говорит, что в конечном счете поляки «tout en le regrettant» будут на стороне Германии, потому что ее иго более переносимо («car cette regime provisoire éphémère et comme tel assez supportable»). Но Веленгловский ничего не имеет против «свободной федерации» (по образцу Австро-Венгрии), куда Польша могла бы войти, «сохраняя свои национальные знамена». «Mais les fautes politiques ne se réparent, elles s'expient». На этом письме Скобелев сделал пометку: «Очень интересно. Переслать Аксакову»*.

Но были и другие отклики на речь Скобелева к сербским студентам. Так, среди поляков, живущих в Константинополе, появилась группа лиц, желавших соорганизоваться, чтобы «помочь братьям-славянам освободиться от германского господства». Эта группа поляков, возглавляемая неким Северином Тжинским, волонтером сербской войны 1876 г., поддерживалась редактором «*Courier d'Orient*» М. Genpietri и нуждалась в материальной помощи. Скобелев отнесся очень сдержанно к этому предложению — очевидно, самое имя Тжинского ему мало что говорило. «Необходимо запросить Михаила Григорьевича (Черняева), он, может быть, помнит и вообще даст ценный совет. Мы не настолько богаты, чтобы тратить иначе, как наверняка». Эта приписка характерна для осторожности Скобелева вообще.

Начало царствования Александра III, эпоха министерств гр. Лорис-Меликова и гр. Игнатьева были единственным моментом в новой русской истории, когда государственная власть и оппозиция, до революционных партий включительно, самым искренним образом сближались между собою. В своих программах-минимум, если можно будет выразиться современным термином, они дошли почти до максимальных уступок, т. е. до того момента, когда можно было бы людям с того и другого

* Арх. Б.-Б.

берега серьезно разговаривать между собою. На критике старого режима, его бюрократической гнилости сходились все — и правые, и левые. Были протянуты руки и с той и с другой стороны и названы ближайшие цели, которые оказывались, в сущности, общими. Идея народного представительства была той платформой, на которой можно было сгладить острые углы, с одной стороны — славянофильских доктринеров, с другой — доктринеров революции. «Что бы ни говорил ваш муж, — сказал в. к. Алексей Александрович А. Ф. Аксаковой после речи И. С. Аксакова в Славянском комитете в марте 1881 г., — а России придется в конце концов прийти к конституции». Это была очень точная формулировка спасительного момента в русской истории. Повторяю, здесь уже не играла бы роли форма этой конституции, по западному ли образцу, как это предлагал Чичерин, или в виде Земского Собора, как этого требовали славянофильские круги. Важен был самый факт «реформы». И в этом отношении план Земского Собора, задуманный гр. Игнатьевым к коронации, при всех своих юридических несовершенствах, представлял последний шанс для русского общества и правительства впрячься всем миром в полный смысл в русскую колесницу и вытащить ее из того тупика, в который она зашла. Императору Александру III нужно было делать выбор, и тяжелая ответственность лежит перед Россией на Победоносцеве, который руку приложил к этому, поистине злему, делу, и не только в тот момент, когда рассматривался лорис-меликовский проект, но, главным образом, при ликвидации попытки гр. Игнатьева. Министерство гр. Д. Толстого было подлинной гранью в истории России. Общество и власть окончательно расходились в разные стороны до нового круга начала XX века.

Говоря о ген. Скобелеве, как деятеле этого момента русской истории, менее всего можно говорить о нем, как о честолюбце и доктринере. Его широкие европейские взгляды и здравый смысл, несмотря на «славянофильствующую» политику, спасали его от политической узости его сторонников. В то время как О. Киреева (Новикова) истерически требовала поддержки Каткова и закрытия оппозиционных газет и журналов вроде «Вести Европы», «Рус. Мысли» и др., Скобелев писал о необходимости «сговориться» с «Голосом».

Чувство реальности не покидало этого человека даже в те моменты, когда смелость политического деятеля граничила в нем с авантюрой.

VIII. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ

I.

Последние годы ген. Скобелева заняты все время одной мыслью — защитой против агрессивных планов Германии. Для него, как военного человека, вопрос о будущем противнике России вылился в совершенно отчетливой форме, и, рядом с военной подготовкой к войне, он готовил дипломатическую и политическую почву для этой борьбы — обеспечение тыла со стороны революционеров, с одной стороны, и, с другой, искание мощного союзника — это все попытки одного порядка, служение одной национальной идее. Общее направление русской политики было в это время для воинственных и пылких выступлений Скобелева довольно неблагоприятно. Взаимная неприязнь к Александру III у Скобелева была не только личного характера. Он считал внешнюю политику нового императора недостаточно национальной. В этом на первый взгляд был какой-то парадокс. К покойному императору Скобелев питал большое доверие, даже в вопросах национальной политики, несмотря на то, что, по словам А. Ф. Тютчевой-Аксаковой*, Александр II «не был государем, популярным в истинном смысле слова, народ не чувствовал к нему притяжения, потому что в нем самом совершенно отсутствовала национальная струнка», а вот к Александру III, несмотря на его национальную внешность, его политику и жизнь, Скобелев относился очень подозрительно. Мало того, в 1882 году он уже не скрывал, что надежды на то, что «новое царствование откроет эру национальной политики и что правительство не будет больше продавать Германии интересов России», — рушатся, что при дворе держится определенное германофильское настроение и ведется немецкая интрига в семье государя, между прочим, через великих княгинь Марию Павловну и

* При дворе двух императоров. Т. 2. Стр. 228.

Ольгу Федоровну. Скобелев рассказывал А. Ф. Аксаковой, что, несмотря на русские шаровары, кафтан и меховую шапку, в которые был одет по новой форме в. к. Михаил, его жена за обедом грозила выйти из-за стола из-за замечания Скобелева заменить немецкую кокарду русской эмблемой. В таком возбужденном состоянии Скобелев очень долго беседовал с И. С. Аксаковым 9 января 1882 г., перед банкетом в годовщину взятия Геок-Тепе. Судя по запискам А. Ф. Аксаковой, Скобелев поставил в известность И. С. Аксакова о своей предполагаемой речи 12 января, возможно, что она была составлена вдвоем, причем, судя по словам Аксаковой, ее муж старался умерить воинственный пыл генерала.

Текст этой речи, произведшей такое впечатление в России и за границей, был воспроизведен в аксаковской «Руси»*, и есть основание предположить, что в нем сильно отразилась редакторская рука. Я не знаю, сохранился ли где-либо в скобелевских бумагах полный текст этой речи, но в моих руках был ее черновик, где набросано не только главное содержание, но формулированы наиболее острые ее моменты. По этому черновику, хотя написанному спешно и небрежно, видно, что эта речь была тщательно продумана (Скобелев вообще имел привычку обдумывать свои публичные выступления и готовиться к ним). Вначале Скобелев говорил о политическом значении празднуемого события и о том приятном чувстве, когда можно «опереться на слова врага, обманутого в своих надеждах». «Известный сэр Г. Раулинсон,— записывает Скобелев,— в своем сочинении «Россия и Англия на Востоке» еще в 75 году заявляет, что вражда ахалтекинцев поведет к необходимости строить форты от Каспия через Атрек к Мерву, что подобная решимость России вовлечет ее в расходы людьми и деньгами нескончаемые и что, главное, оттиснет от нас Персию и вовлечет Россию в политические осложнения, которые нарушат не в ее пользу политическое status quo в Ср. Азии». «Мм., гг.! Мы собрались праздновать годовщину падения многолетней туркменской твердыни. Посмотрим на дорожную нам далекую окраину и спросим себя, насколько оправданы предсказания талант-

* «Русь». 1882. № 5.

ливого британского (писателя?)». «Чем достигнуто?», — и далее идет похвальное слово кавказским войскам: «Слишком велико наследство, врученное начальнику славы, чтобы с такими войсками ему сердцем недорасти до духа войск, а сердце на месте на войне — значит, победа в кармане». Скобелев не скупился никогда на признания доблести войск кавказского корпуса (войска которого действовали под Геок-Тепе), здесь он к тому же подчеркнул, что лично для него это был «экзамен» (несомненно, на звание главнокомандующего). Покончив с юбилейной частью своей речи, Скобелев перешел к ее политической части и, чтобы подчеркнуть контраст между восторженностью воспоминаний и холодной действительностью, Скобелев на банкете отодвинул вино и взял бокал с водой. На банкете это произвело очень большое впечатление (и обошло все газеты!). Этот жест Скобелевым был предусмотрен, и в черновике против этого места сбоку лиловыми чернилами написано и подчеркнуто: «Здесь взять воду». И далее идет фраза, где каждое слово взвешено и обдуманно: «Господа, один из славнейших ветеранов эпохи великих войн начала этого столетия имел обыкновение говорить, что на войне убивают все одних и тех же. Недавний опыт, господа, и солдатское сердце уверенно подсказывает мне, что здесь собрались именно такие, о которых говорит маститый маршал. Не терпит сердце, чувство наболевшее, глубоко страдальческое просится и наружу высказаться в этой почтенной боевой семье: год тому назад Бог сподобил верою и правдою отслужить царю и России, в данную же минуту, когда мы, хотя и законно пируем, немецко-маджарские ружья направлены в славянские православные груди...» Это был прямой намек на восстание кривошиев в Южной Далмации, против австрийцев, которое в это время еще держалось. Далее, в заключение, у Скобелева замечается раздвоение. Первоначальный текст был набросан так: «Не может не настать час возмездия, господа, и тогда на иной окраине, против иного, сугубо более ненавистного врага, чем текинцы, вспомним наше боевое братство, вместе пережитое, преиспытанное, и твердо, как под Геок-Тепе, грудью станем за святое русское православное дело». Подобное заключение речи, бчевидно, показалось Скобелеву несколько рискованным и недопусти-

мым в выступлении ответственного начальника, и он набросал заключительную фразу с рядом поправок и вставок, говорящих о желании быть наиболее корректным и политичным. «Я недоговариваю,— мы знаем твердо... веруем в наше историческое предопределение и знаем на деле, как дорога сердцу цареву (вставлено черными чернилами — самодержавному) честь русского православного знамени (зачеркнуто: все близкое призванию и чести России)».

Речь Скобелева, полностью воспроизведенная в газете И. С. Аксакова, в общем соответствует плану-конспекту, намеченному Скобелевым, за исключением абзаца об интеллигенции, который в печатной речи занимает довольно большое место. Как можно объяснить, что такой существенный вопрос, который потребовал от оратора особого хладнокровия (замена бокала с вином стаканом воды!), совершенно отсутствует в черновике, где на тему об интеллигенции нет даже и намёка. Трудно предположить, что Скобелев не обдумал этого заранее, как и то, что И. С. Аксаков решился напечатать эту часть речи Скобелева в своей собственной редакции произвольно. В газете было напечатано, что, перейдя к внутреннему состоянию России, Скобелев сказал: «Опыт последних лет убедил нас, что если русский человек случайно вспомнит, что он, благодаря своей истории, все-таки принадлежит к народу великому и сильному; если, Боже сохрани, тот же русский человек случайно, скромно заявит, что русский народ составляет одну семью с племенем славянским, ныне презираемым, попираемым, тогда в среде доморощенных и заграничных иноплеменников поднимаются вопли негодования. Подобное заявление русского человека, по мнению этих господ, возможно разве лишь под влиянием вакханалии... Вот почему, повторяю, господа,— прошу позволения опустить бокал с вином и поднять стакан с водой. И действительно, престранно, господа, почему нашим обществом и отдельными людьми овладевает какая-то странная робость, когда мы коснемся вопроса, для русского сердца вполне законного, как естественный результат всей нашей 1000-летней истории. Причин к этому очень много, и здесь не время и не место их подробно касаться, но одна из главных — это, конечно, та прискорбная рознь, которая существует между известною частью

так иазываемой, иашей иителлигенции с русским народом. Господа, всякий раз, когда державный хозяин Русской земли обращался к своему народу, народ оказывался на высоте призвания и исторических потребностей минуты. С иителлигенцией же ие всегда бывало то же, и если в трудные минуты кто-либо банкрутился перед царем и народом, то, конечно, та же иителлигенция. Полагаю, господа, что это явление вполне объяснимое. Космополитический европеизм ие есть источник силы и может быть лишь признаком слабости. Силы ие может быть вне народа, и сама иителлигенция есть сила — только в неразрывной связи с народом».

Внимательно перечитывая эту часть речи Скобелева, на которую в черновике нет и намека и за которую, главным образом, ополчилась иа Скобелева либеральная пресса, мы ие можем ие видеть в иекоторых местах ее следы скобелевской живой речи — его собственный стиль проскальзывает здесь отчетливо, даже в синтаксическом построении фраз. Несомненно, это или подобное этому он действительно произиес, ии нападки на иителлигенцию, к которой причислял Скобелев и себя, в такой резкой форме у него иигде не проявлялись ранее и, в сущности, потом, в переписке, ие обиаруживались. Можно предположить ие без основания, что в этой части речи сказалось влияние И. С. Аксакова, при ближайшем участии которого выработывался текст этой речи. Несомненно, влияние Аксакова на Скобелева было, об этом говорит и переписка с ним Скобелева, и горячая поддержка генерала иа страницах «Руси», и проч. Мало того, это влияние И. С. Аксакова иа Скобелева было будирующим, что было замечено и современниками. «Бедовый человек Ираи Сергеевич,— говорил Н. Н. Обручев впоследствии,— бывало, покойного Михаила Дмитриевича Скобелева убеждаешь, урезонииваешь. Ну, вот, кажется, человек совсем успокоился. А он поедет в Москву, к Аксакову, и возвращается оттуда бешеный»*.

Скобелев ходился с Аксаковым во многом, в частности, в поддержке Земского Собора гр. Игнатьева, ии славянофильские взгляды Аксакова иа Петровскую

* Ю. Карцов. Семь лет на Ближнем Востоке.— Спб., 1906. Стр. 258.

реформу, напр., были совершенно чужды Скобелеву, и он не только не разделял критического отношения Аксакова к западноевропейскому парламентаризму, но его симпатии были на стороне всех конституционных проектов, припомним также, что он был сторонником политики гр. Лорис-Меликова, которую не терпел Аксаков и тем более Катков. Вообще национальная политика России для Скобелева отнюдь не была связана с какими бы то ни было националистическими тенденциями славянофилов; внешняя политика — вот единственная бесспорная область, в которой И. С. Аксаков и Скобелев сходились в мнениях в последние годы и в которой их устремления были более-менее едины. И тут нужно сделать оговорку — вероятно, на конституционное устройство Болгарии Аксаков и Скобелев смотрели по-разному, но, напр., в сочувствии Аксакова болгарскому объединению и в той позиции, которую он занял по этому вопросу впоследствии, ясно видно скобелевское наследство. Но в определении целей Балканской политики России — захвата Константинополя и Проливов, — а, главное, в определении врага — немцев, Германии — Скобелев находил в И. С. Аксакове полную поддержку. Если мы прочтем внимательно то место речи Скобелева, где говорится об интеллигенции, то мы заметим, что оно своим острием метит во внешнюю политику России, недаром она так органически связана с концом речи, где звучат уже определенные политические лозунги. И здесь, рассматривая речь Скобелева в исторической перспективе, мы должны признать, что у него были бесспорные данные упрекнуть значительную часть русской передовой интеллигенции не столько в отсутствии патриотизма, как огульно и грубо это делал Аксаков, но, главным образом, в отсутствии политического чутья и дальнозоркости. Сам Скобелев, судя по его дипломатическому интервью с сотрудником «Daily News» (уже после парижской речи), вовсе не был сторонником войны во что бы то ни стало, он даже заявил, что она ему ненавистна. «Я желал бы путем правды достигнуть того, что мои соотечественники считают достижимым только путем войны. Если же дипломатия закрывает глаза перед фактами, то нельзя надеяться, чтобы дипломатическая сдержанность привела к чему-либо хорошему... Нельзя примириться с тем, чтобы

населения, освобожденные от ига Магомета, подпали под ярмо Священной Римской империи. Славянам одинаково ненавистно и владычество турок, и господство иезуитов». Но если Скобелев не был сторонником войны во что бы то ни стало, то в России в это время было настолько паническое настроение, все были так напуганы Германией после Берлинского трактата, что у большинства была одна дума — избежать войны во что бы то ни стало. «Голос» твердил во время восстания кривошителей, что мы должны поддерживать в полной степени политику невмешательства и «всеми силами поддерживать дружеские сношения с соседнею державою», т. е. с Австро-Венгрией. Любопытно, что у «Голоса» в отношении буитовщиков-славяи появились даже тенденции охранительного характера. «Польза и благосостояние русского народа,— по его мнению,— вменяют нам в обязанность сохранить добрые отношения с такими державами, как Австро-Венгрия и Германия, которые представляют собою определенную силу и твердое государственное устройство». Такую же робкую позицию по отношению к немцам заняли и «Русские Ведомости», которые готовы были махнуть рукой на нашу Балкаискую политику и прямо заявляли, что «теперь России думать о возврате потерянного уже поздно, наше затруднительное внутреннее положение хорошо известно за границей, а потому, надо полагать, напрасные опасения, смутившие покой Европы, скоро рассеются и Австро-Венгрии дана будет полная возможность беспрепятственно отделить от Турции весь северо-восточный угол Балкаиского полуострова». Против этих-то политических и, в сущности, пораженческих настроений в русском обществе (включая и правительственные военные круги) и был направлен воинственный пафос ген. Скобелева; это была не пустая бравада, в его позиции было много внутренних правды.

Речь ген. Скобелева произвела огромное впечатление не только в России, но и за границей. Если вообще в те времена в России произнесение политических речей на банкетах было не в обычае, то тем более было необыкновенно слышать целую политическую программу в устах популярного генерала, командующего одним из корпусов на западной границе, вдобавок претендующего на роль главнокомандующего в буду-

щей войне. Аксаков напечатал текст речи в своей «Руси» целиком, Катков в своих «передовых» совершенно ее не коснулся, в толстые журналы она попала уже потом, после ее парижского продолжения, но газеты ее подхватили, и весь Петербург долго обсуждал ее на все лады. Положение Скобелева обязывало, и его выступление не могло быть безответственным. В «Правительственном Вестнике» последовало соответствующее разъяснение, генерал был дезавуирован, как сказали бы теперь, и Александр III наконец нашел удобный повод высказать свое неудовольствие — Скобелеву было предложено взять заграничный отпуск.

II.

Через несколько дней Скобелев был в Париже. Выбор места для отпуска отнюдь не свидетельствовал о желании отдыха, наоборот, Скобелев в Париже продолжал свою игру, и именно в Париже должен был завязаться узел новой международной политики — сближения с Францией, которое в России только еще намечали дальновидные люди, но больше теоретически. Скобелев был деятельным человеком идеи. Он бросился на подготовку этого сближения со всем жаром своей души, на свой страх и риск, не будучи никем уполномочен, как частное лицо. Но при его официальном положении малоконспиративные действия в этом отношении были, конечно, неудобны как для той, так и для другой стороны. Немало помешала деловой стороне и та шумиха, которой был встречен самый приезд знаменитого генерала, явившийся вообще сенсацией в Париже. Прежде всего на него откликнулись славянские элементы, в защиту которых были произнесены слова на юбилейном обеде, повлекшие за собою опалу-отпуск. 5 (17) февраля на квартиру к Скобелеву явилась группа славянских студентов балканских стран с приветственным адресом и с благодарностью за поддержку в петербургской речи. В ответ на приветствия Скобелевым были сказаны слова, попавшие на другой день в печать и создавшие политический инцидент огромной международной важности.

Здесь очень много неясного. Прежде всего, из кого состояла эта студенческая депутация? Сам Скобелев в письме к Аксакову пишет, что «сербские студенты были у меня на квартире». В сохранившихся в Архиве Белосельского-Белозерского подлинниках адресов собственно адреса *сербских студентов* не имеется, а есть адрес жителей города Крагуевца, покрытый 233 подпоясами. К сожалению, на нем нет даты, но зато есть фраза с указанием на парижскую речь («тронуты до дубины душе твоим речима, кое си у Петрограду и Парнзу» и т. д.), что заставляет предположить, что этот адрес прислан Скобелеву уже потом, после парижской беседы его со студентами. Но имеется адрес болгарских студентов (гораздо более пространный, чем сербский), подписанный семнадцатью лицами, на котором имеется дата: «Париж. 5/17 февруарий. 1882». Совершенно несомненно, что этот болгарский адрес был прочитан на приеме Скобелевым славянских студентов вообще, потому что в черновике восстановленной «речи», который, конечно, Скобелев сделал после приема, возможно, для печати, указывается на присутствие болгар в депутации. Возможно, что адреса сербских студентов не оказалось в Архиве Б.-Б. (что очень странно при наличии остальных адресов), но возможно, что его совсем не было, а сербские студенты устно приветствовали ген. Скобелева, а болгарские пришли с адресом. Сторонники Скобелева и сам генерал обычно утверждают, что, собственно говоря, никакой «речи» не было, а была беседа часа на два, в которой, вероятно, большая доза времени, если не исключительная, пала на долю генерала. В черновике письма к И. С. Аксакову из Варшавы от 18 февраля (2 марта) 1882 г. Скобелев пишет: «Для вашего сведения прибавляю: 1. Сербские студенты были у меня на квартире, и никакого официального приема им сделано не было. 2. *Говорил* я с ними долго и по душе; старался выяснить им всю опасность обезличиться в Париже в смысле народном, к чему так склонны все славяне; средством к этому выставлял православную нашу веру, как знамение религиозного и духовного единения, и, наконец, когда они сами коснулись немецких интриг, я им действительно сказал, что *Drang nach Osten* и для нас опасен, что немец враг всем славянам вообще и что вращиваться от немцев мы не в силах.

если отступим от почвы веры и власти в том смысле, как ее истари понимает народ славянский*». Последняя фраза очень обща по своему выражению, тогда как здесь все дело в деталях. В статье Камилла Фаргта в «La France» от 18 февр. 1882 г., которая появилась на другой день после разговора студентов со Скобелевым, ответная «речь» генерала была передана в очень решительных выражениях. «Если вы хотите, чтобы я назвал вам этого чужака, этого самозванца, этого интригана, этого врага, столь опасного для России и для славян... я назову вам его. Это — автор «натиска на Восток» — он всем вам знаком — это Германия. Повторяю вам и прошу не забыть этого. Враг — это Германия. Борьба между славянами и тевтонами неизбежна... Она даже очень близка. Она будет длинна, кровава, ужасна, но я верю, что она завершится победой славян». Достаточно сравнить эти слова Скобелева, помещенные во французской газете, с письмом к Аксакову, чтобы увидеть уточнение и заострение нюансов мысли, которая, сама по себе, не могла быть новостью: «Германия — это враг», — об этом нечего было говорить сербским студентам в период восстания кривошиев против Австрии. Что же касается вопроса о засилии иностранцев-немцев во внутренних делах России, то в этой части передача, по всей вероятности, правдоподобна. «Я вам скажу, я открою вам, почему Россия не всегда на высоте своих патриотических обязанностей вообще и своей славянской миссии в частности. Это происходит потому, что как во внутренних, так и во внешних своих делах она в зависимости от иностранного влияния. У себя мы не у себя. Да! Чужестранец проник всюду. Во всем его рука. Он одурачивает нас своей политикой, мы жертвы его интриги, рабы его могущества. Мы настолько подчинены и парализованы его бесконечным, губительным влиянием, что, если когда-нибудь рано или поздно

* В обоих адресах о немцах конкретно не говорится ничего. Стиль в них обычный для такого рода адресов. Только в болгарском адресе помимо общих слов признательности «за страдальцит и събратья с славяни, огнем стелб озари и охрабри заветинити и поборици в неравната им борба с угнетелите на славяиство» упомянуто, что «тоя блеск веспроизвежда в кой — силии краски осуществеленете на кой предии те наши надеждид — визобновленето на Сан-Стефанска Билгария». Арх. Б.-Б.

мы освободимся от него,— на что я надеюсь,— мы сможем это сделать не иначе, как *с оружием в руках!*» Это настроение Скобелева очень сходно с его выражениями по адресу немецкого засилья и в русской политике при русском дворе, записанными А. Ф. Аксаковой в ее дневнике, накануне произнесения Скобелевым своей юбилейной речи. И там и здесь немецкая интрига рассматривается как измена русским интересам, и даже ставится в связи с «присягой государю в верности самодержавию», данной в «надежде и с твердым убеждением, что новое царствование откроет эру национальной политики и что правительство не будет больше продавать Германии интересов России». Стоя на этой позиции, в сущности, Скобелев и бросает упреки русской интеллигенции.

При подобном настроении Скобелева того времени, его личной неприязни к Александру III и репутации в известных кругах генерала от «пронунциоменто», фраза об освобождении от иностранцев во внутренних делах «с оружием в руках» приобрела в глазах властей, несомненно, очень тревожный смысл. Прочтя в газетах эту речь Скобелева, русский посол в Париже кн. Орлов пришел в ужас и немедленно отправил мин. ин. дел Гирсу следующую телеграмму: «Посылаю вам почтой речь ген. Скобелева с кратким донесением. Генерал этот в своих выступлениях открыто изображает из себя Гарибальди. Необходимо строгое воздействие, чтобы доказать, что за пределами России генерал не может безнаказанно произносить подобные речи и что один лишь государь волен вести войну или сохранять мир. Двойная игра во всех отношениях была бы гибельна. Московская (?) его речь далеко не была столь определена, как обращение к сербским студентам в Париже». В письме, посланном следом за телеграммой, кн. Орлов, вставши на формальную точку зрения, намеренно заостряет выводы и, будучи противником всякой ссоры с Германией, очень опасается с этой стороны осложнений. По его мнению, по словам ген. Скобелева, «от государя требуется незамедлительное объявление войны, иначе он, якобы, будет принужден к тому волей своих подданных. Если бы вопрос мог ставиться таким образом,— пишет кн. Орлов,— то никакая дипломатия, никакое правительство не могли бы существовать. Наихудший из порядков —

это тот, при котором военные власти ставят себя выше дисциплины и сами нарушают те законы, соблюдения коих они должны требовать от других. Возвращаясь к вопросу дипломатическому, я сильно опасаюсь,— добавляет кн. Орлов,— как бы венский и берлинский кабинеты не были крайне разгневаны. Положение мне представляется чрезвычайно серьезным и заслуживающим большого внимания».

Разумеется, с точки зрения дипломатической и вообще служебной, Орлов был прав. Если в Германии стали кричать о падении дисциплины в русской армии (ср. фразу Вильгельма: «У моего племянника нет больше армии»), желая косвенным образом унижить и уничтожить ненавистного генерала, то Орлов, как дипломатический представитель России, был совершенно искренне возмущен подобным вмешательством в международные отношения корпусного командира с огромным именем и влиянием и, получив поручение лично улаживать возможные осложнения в Берлине, он писал оттуда, утверждая, что «лучшие генералы французской армии» встревожены за дисциплину после выступления Скобелева, тем более что «офицерам всех степеней повсеместно запрещается законом произносить политические речи». Но помимо, т. ск., чисто профессиональных возражений кн. Орлов усматривает в выступлении «храброго неосторожного генерала» крайне тревожный симптом и опасения, что полнота политической власти в России уже не принадлежит монарху. Это опасение слышится во всех донесениях Орлова, и он жаждет получить опровержение этого не только для успокоения взволнованной Германии, но и для себя лично. Орлов имел основания так думать, потому что газета «La France» рассматривала выступление ген. Скобелева в Париже именно как оценку подлинного отношения России к Германии и Австрии, которые после Данцигского свидания официально сделались очень сердечными. «Вот с каким доверием относится русский генерал к прочности соглашения, заключенного императорами в целях сохранения европейского мира! — восклицал Камилл Фаргг: — Если бы это заявление исходило от какого-нибудь непризнанного панслависта, от искателя приключений, его можно было бы рассматривать как плод работы, ведущейся славянским комитетом. Но ген. Скобелев является

одним из популярных людей в Москве». Словом, «сама Россия, сам славянофильский мир говорит его устами; он великий воплотитель национальных требований; московская администрация — москвичам, славянская земля — славянам». Из всего этого заключается, что в России «в национальном вопросе существуют некоторые течения, остановить которые московские самодержцы не в силах», и, говоря о «вздымающихся волнах» нации, Кам. Фаргт поясняет, что «там, где нет ни парламента, ни независимой прессы, там нация в тишине замышляет заговоры, сомкнутой массой движется к своей героической цели». Как видим, французы сделали больше, чем нужно было, в комментариях речи Скобелева, и, конечно, это не могло не взволновать Петербург...

Как известно, Скобелев был по высочайшему повелению экстренно вызван в Петербург, и кн. Орлов 10/22 февраля сообщил Скобелеву, что он уже телеграфировал Гирсу, что Скобелев выедет «завтра (т. е. 23 февраля), несмотря на лихорадку, которой он болен», и очень просил его действительно выехать в этот срок. Причем серьезно рекомендовалось ему выбрать маршрут, минуя Берлин, хотя бы через Голландию или Швецию. 11/23 февраля вечером Скобелев выехал из Парижа. В этот же день кн. Орлов выехал в Берлин.

III.

Как бы то ни было, общественно-политические сферы Центральной Европы были всколыхнуты. В частности, во Франции выступление Скобелева было подлинным событием в истории франко-русских отношений. Общественное мнение Франции приняло позицию Скобелева по отношению Франции как долгожданную, открывавшую огромные перспективы.

Франко-русские отношения тех месяцев, в которые пришлось Скобелеву внести свою лепту в общее дело, были довольно неопределенными*. Две великие страны переживали, каждая по-своему, потрясения своей политики. Франция изживала последствия фран-

* См. В. Nolde. «L'Alliance franco-russe».

ко-прусской войны и, расстратив во второй империи своих друзей в Европе, вместе с установлением нового режима, недостаточно ориентировалась в политической обстановке Европы и, будучи изолированной, искала себе друзей и союзников. Россия после Берлинского конгресса почувствовала трещину в своих старых отношениях с Германией. Нечто схожее было и во внутренних отношениях, характеризующих переходное время. Для русских политиков, остро переживших неудачи Берлинского конгресса, было вполне естественным, отворачиваясь от Германии, обращаться в сторону ее антагонистов. Но прежде чем говорить о новых союзниках, необходимо было окончательно покончить со старыми, и франко-русский союз был заключен только тогда, когда в России были испытаны все меры к восстановлению союза трех императоров и потеряна надежда видеть в Германии не врага, а друга. Несомненно, сближению Франции и России в сильной степени мешала разница режимов абсолютной монархии и республики революционного происхождения. И это касалось не одного только правительства. Каткову и Победоносцеву борьба партий в парламенте казалась игрой почти сатанинских сил*, не говоря уже о Леонтьеве, который в мечте о «независимой, многосложной и новой славяно-восточной цивилизации, долженствующей заменить романо-германскую», полагал, что «всяческое унижение Франции, как передовой нации Запада, должно быть дороже военной победы над Германией»**. Бросать германскую ориентацию, т. е. перестать искать ее поддержки, это значило, по его мнению, для русской дипломатии вступить в темный лес с опасностью запутаться. Но время делало свое дело. Уже одно то, что Франция и Россия находились в довольно беспристрастных отношениях между собою, спустя 25 лет после Крымской войны, уже говорило о возможности развития в этих странах новых направлений. Это был период доброго знакомства, в котором не было теплоты, но не было и ненависти. Целый ряд французских дипломатов работал в направлении сближения с Россией, и некоторые, вроде ген. Шанзи, были настолько

* См. «Собрание передовых статей» Каткова за 1882 г.

** Леонтьев К. Восток, Россия и Славянство. Т. 1. Стр. 289.

дальновидны, что обратили внимание на возможность установления финансовых связей между Россией и богатевшей Францией. Вообще же идея франко-русского союза очень медленно завоевывала свои позиции в русских правительственных кругах. Нужен был почти открытый отказ Германии от всех наших надежд на нее, чтобы русская дипломатия встала на путь союзных соглашений с Францией, даже без военных обязательств. Необходимо отметить, что некоторых русских общественных деятелей, которых не отталкивала революционная Франция, союз с нею пугал возможностью неизбежной войны. Скобелева, разумеется, эта сторона дела волновала меньше всего. Его роль в истории франко-русского сближения заключается в том, что он весь блеск своего имени и личного влияния открыто бросил на дипломатические весы и, не будучи ответственным дипломатом, непривычно откровенно для профессиональных политиков поставил этот вопрос на очередь.

Он был в контакте со многими политическими деятелями Франции, в том числе Гамбеттой, с которым виделся всякий раз, когда бывал в Париже. Гамбетта искал поддержки в России, и в этом отношении его пути сходились с планами Скобелева. В январе 1882 г. в Петербург приехала Жюльетта Адан, издательница «*La Nouvelle Revue*» и единомышленница Гамбетты. Ее поездка в Россию не лишена была политической подкладки, по крайней мере об этом трубили германские газеты. Победоносцев счел необходимым предупредить Александра III о замысле эмиссара республиканских партий. Адан была у И. С. Аксакова и произвела на него «самое лестное впечатление». Тогда же она познакомилась со Скобелевым и впоследствии описала эту встречу. По ее словам, Скобелев совершенно ясно формулировал свое впечатление от Парижа, где нет «настоящих патриотов», где, как и в России, все опасаются Бисмарка и подчиняются ему. Ж. Адан предложила Скобелеву приехать в Париж и сказать открыто, что «враг — это немец». На это будто бы генерал ответил, что его никто не знает в Париже и что он «боится Парижа, парижских газет». Возможно, что Ж. Адан слишком много приписывает себе в деле выступления Скобелева в Париже*, но весьма похоже

* J. Adan. Général Skobelew.— Paris, 1886.

на правду, что, действуя в одном русле политики, она подсказала генералу формулу его выступления в Париже. Толки о подготавливаемом повороте русской политики ходили давно, ясно было, какая общественная группа поддерживает это течение, но само течение было настолько еще лишено конкретных черт практической политики, что даже А. Ф. Аксакова, хорошо осведомленная о деятельности своего мужа, говорит очень туманно о планах Скобелева. «Скобелев не до конца открылся моему мужу», — пишет она и предполагает, что у него были очень воинственные замыслы. Характерно, что А. Ф. Аксакова находит вполне возможным, что «среди современного хаоса» люди сильной воли и страстного честолюбия, как у Скобелева, «легко могут захватить бразды и направить средства России по своему усмотрению». Очевидно, так же думал и кн. Орлов после речей Скобелева.

Скобелев приехал в Париж во второй половине января 1882 года. Падение министерства Гамбетты сильно расстроило его планы, министерский кризис отнюдь не способствовал каким бы то ни было переговорам с официальными лицами, особенно ему, как частному человеку. Скобелев это сразу почувствовал. 2 февраля н. ст. он пишет Маслову, что «несметно скучает» и что, «не будь крайняя необходимость окончательно выяснить счета покойной матушки, думал было о возвращении в 4 корпус... Невмоготу бездействовать, а с последними правительственными переменами во Франции круг доступного для меня стал уже». Едва ли у Скобелева была какая-либо определенная политическая миссия в Париже, да и попал он туда, в сущности, случайно. Появление славянских студентов с адресами явилось как будто чисто внешним и в то же время случайным поводом к политическому выступлению Скобелева, невольно развязав ему язык. Французская пресса, разумеется, старалась использовать самым широким образом частную беседу Скобелева со студентами, и, конечно, прежде всего во французских интересах. Как произошло то, что содержание более-менее интимной беседы Скобелева со студентами сделалось предметом гласности, совершенно не выяснено до сих пор. В неоконченном черновике письма к Аксакову имеется фраза: «Французская патриоти-

ческая печать воспо...» (конечно: «воспользовалась»), но кто передал текст речи Скобелева Камиллу Фаргту для использования ее в газете? Если в «La Nouvelle Revue» появилась речь Скобелева, аналогичная той, которая напечатана в «La France», за подписью Кам. Фаргта, то возникает тот же вопрос, каким образом она попала в газеты. Ив. Аксаков, безусловно, со слов самого Скобелева делает здесь кое-какие указания. По его словам, Скобелев, приехав в Париж в качестве частного человека и остановившись в собственном доме («оставленном ему матерью», рю Пентьери, 2), посетил г-жу Адан, издательницу «Нувель Ревю», где и познакомился с сотрудником этой газеты К. Фаргтом («Fargu»). Возможно, что содержание разговора со студентами стало известно Фаргту от самого Скобелева и затем через него попало в другие газеты. Скобелев сам признавался, что сделался жертвой газетной сенсации, и когда он, прочитавши утром свою речь в газетах, пошел в редакцию «Нувель Ревю», то там встретили его словами: «Простите, но умоляем вас: не отказывайтесь от ваших слов» — именно такая речь, такие слова о Германии сейчас крайне важны для Франции, потому что никто из французов не решился бы сейчас сказать этих слов по адресу своего врага. Любопытно, что так посмотрел на дело и сам Гамбетта, признавшись Скобелеву, что эта речь «уже оказала им, французам, великую пользу, воспламенив сердца патриотическим жаром и возбудив надежды на союз с Россией. «Cela a gris, comme une traînée de poudre — ликуют армия и флот», однако Гамбетта отметил, что в своей газете он был принужден, ради политической осторожности, «осуждать бестактность генерала». Возможно, что Гамбетта готов был использовать Скобелева до конца в своей политике, т. е. до возбуждения военного конфликта с Германией, — по крайней мере. М. де Вогюз*, посетивший 28 февраля, т. е. вскоре после разговора его со Скобелевым, Гамбетту, высказывает твердое убеждение, что Гамбетта хотел войны, надеясь втянуть в нее Россию, оставивши для Франции роль зрителя со свободными руками. Как мы увидим ниже, гр. Капнист подметил эти настроения в Париже довольно метко.

* «Journal». Стр. 296.

Для Франции крайне важно было подчеркнуть, что «враг — это Германия». Далее началось уточнение того, что было напечатано в словах Скобелева. 19 (7) февраля в газете «Вольтер» «Le Voltaire» Поль Фрейсинэ дал очень интересное интервью со Скобелевым. Генерал был в сюртуке, без всяких знаков отличия. «Он носит неподстриженную бороду, тонкую, белокурую, в форме веера. Глаза голубые, кроткие, голос звучный, вибрирующий. Генерал говорит по-французски почти без всякого акцента, произношение у него на редкость чистое». Французского журналиста поразило не только «многообразие познаний генерала, но и то, что он обстоятельно изучил все те вопросы, коими интересуется Франция. Об организации у нас военного дела, о нашей политике, о причастных к ней людях он высказывается крайне тактичным и совершенно справедливым образом. Это обаятельный и в равной мере сведущий собеседник». Характерно, в изложении Фрейсинэ, что Скобелев старался подчеркнуть, что он «отнюдь не в немилости», — полученные сведения о наименовании одного из строящихся судов на Каспийском море: «Генерал Скобелев» — подтверждают это. «Но если бы, — продолжал Скобелев, — моя откровенность и сопровождалась для меня неприятными последствиями, я все-таки продолжал бы высказывать то, что я думаю. Я занимаю независимое положение, — пусть меня только призовут, если возникнет война, остальное мне безразлично. Да, я сказал, что враг — это Германия, я это повторяю. Да, я думаю, что спасение в союзе славян, заметьте, я говорю: славян с Францией. Надо достичь этого. Надо достичь европейского равновесия, но уже не в том виде, как это понимал г. Тьер, потому что в том виде, в каком оно существует, оно уже нарушено. Надо его восстановить. Германия — великая пожирательница — это нам известно, — и вы сами, вы, особенно вы, увы, слишком хорошо это знаете. Восточный вопрос имеет большое, огромное значение. Именно через разрешение этого вопроса и может быть восстановлено то равновесие, о котором я говорил, — в противном случае останется лишь одна держава — Германия. Я сказал и повторяю, что верю в благополучное разрешение, которого я страстно хочу. Я особенно верю в то, что наконец поймут истину, что между Францией и славянами дол-

жен быть заключен союз. Для нас это — средство восстановить нашу независимость. Для вас же это — средство занять то положение, которое вами утрачено». В заключение генерал просил в интересах того большого дела, осуществления которого он всегда будет добиваться, — не создавать вокруг его имени большого шума. Надо признаться, что едва ли кто тогда формулировал основания франко-русского сближения с такой исчерпывающей полнотой и точностью.

Политическое состояние Франции в связи со скобелевскими выступлениями не без тонкости и остроумия осветил советник русского посольства гр. Капнист в письме к Гирсу от 14-го марта 1882 года. Капнист признает, что речь Скобелева «приняла размеры подлинного политического события» и была встречена во Франции с чувством живейшего удовлетворения. Но, по мнению Капниста, не симпатии к России и не жажда реванша захватывает Францию в настоящее время. Франции крайне выгодна всякая размолвка России с Германией, потому что при ней открывается возможность «возвратить без боя часть того, что было ею утрачено в 1870 г.». Такова в общем «задняя» мысль каждого француза, радующегося скобелевскому инциденту. Капнист дает убийственную характеристику самой большой партии, захватывающей почти всю Францию, во главе которой стоит сам президент Греви. Это огромная масса «трудящегося провинциального населения, которое работает, делает сбережения, увеличивает свои капиталы и пользуется материальным благосостоянием, не имеющим себе равного в Европе. В больших городах, особенно в Париже, партия эта опирается на все обеспеченные или богатые классы общества, которые, пользуясь благосостоянием, стремятся сохранить свои капиталы или же с азартом пускаются в различные спекуляции и предаются игре на бирже». Противоположная партия, по мнению Капниста, чрезвычайно малочисленна и разделяется на две группы: к первой принадлежит Гамбетта и его окружение. «Не задаваясь целью сохранить во что бы то ни стало, как того придерживается большинство нации, и не отвергая совершенно возможности войны, в случае если бы для ведения ее создались благоприятные условия, люди этой группы сознают всю трудность настроить страну на воинственный лад, поэтому они

также склонны больше к тому, чтобы использовать в интересах Франции всевозможные осложнения между Германией и Россией. В конце концов это сводится к тому же, к чему стремится и богатая буржуазная Франция, т. е. «продать свой нейтралитет как можно дороже». Что же касается партии реванша в собственном, точном смысле этого слова, то, по словам г-жи Адан, она состоит только из двух человек — ее и Поля Деруледа. Во всяком случае, настоящих реваншистов во Франции нет*.

Если несколько сгладить острые углы этих характеристик гр. Капниста, то получится картина, что буржуазная Франция не думает о реванше, не склонна бросаться в активную политику, а будет предпочитать выжидательную.

Что же касается ген. Скобелева, то, при всей его воинственности, у нас очень мало данных утверждать, что он был сторонником именно партии реванша. Не нужно забывать, что в вопросах чисто военного порядка Скобелев был человек очень осторожный, и бросаться в какие бы то ни было военные предприятия без надлежащей военной подготовки было не в его характере. «Германия — это враг» — формула определенного политического сознания, и произнесение ее еще не означает войны. И ранее, и теперь Скобелев более всего интересовался политическим делом Гамбетты. В июле 1881 г., в эпоху перелома русской внутренней политики, Скобелев «виделся довольно обстоятельно с Гамбеттой» и произвел на него большое впечатление; Гамбетта, по его словам, Скобелева «любил и уважал». Скобелева привлекала в Гамбетте черта... оппортунизма, за который его так травили слева, его упорная работа по согласованию противоречий политической жизни, его желание во что бы то ни стало сблизить все общественные силы для работы, особенно если это касалось таких кровных вопросов, как оборона страны. Мы видели, что, при всей своей стремительности и парадоксальности, у Скобелева были черты, в этом отношении схожие с Гамбеттой. Может быть, в нем сказывались навыки администратора, действовавшего при очень сложной обстановке и в условиях, не предусмотренных инструкциями и проч.

* «Красный Архив». Кн. 27.

Скобелев приехал в 1882 году в Париж как раз в дни падения министерства Гамбетты и в письме к Маслову сейчас же отметил, что «падение министерства произвело переполох, но значение Гамбетты, как передового деятеля в государстве, не поколеблено, и думаю, что было бы близоруко нам, русским, теперь в особенности от него отворачиваться»*. На этот раз свидание их состоялось при обстоятельствах, довольно сходных для обоих. Гамбетта только что потерпел крушение политическое, а Скобелев уже знал, по всей вероятности, и о телеграмме кн. Орлова и, возможно, и об ответе из Петербурга. Свидание состоялось во вторник, 20 февраля, в I с пол. дня у Гамбетты (на рю Сен-Дидье, 57). На другой же день Скобелев, очень точный в передаче деловых сношений, записал на пригласительном письме красными чернилами: «Был в час 21—II—82.— Свидание продолжалось два часа». Скобелев записывает беседу по рубрикам. Когда речь зашла, очевидно, о русской внутренней политике, в связи с деятельностью крайних партий, Гамбетта высказал мысль «о необходимости сдерживать «нигилизм» союзом с французской полицией, но так, чтобы русская и французская полиция шли по одной колее, и притом не заключая никаких договоров и не возбуждая либеральной чувствительности Франции». Нужно напомнить, что незадолго перед этим Франция, благодаря антипатии в левых общественных кругах, со стороны Виктора Гюго и др., отказала России в ее требовании выдачи Гартмана, одного из участников покушения в 1879 г. на царский поезд. Ведя внешнюю политику по руслу сближения с Россией, Гамбетта в свое время дал понять кому следовало, что «он будет делать все, о чем его будут просить, в смысле репрессивных мер против революционеров, находящихся во Франции». Требование о выдаче Гартмана поддерживал и французский посол в России ген. Шанзи. Теперь Гамбетта возвращается к инциденту, который был встречен в Петербурге с большим раздражением, способствуя охлаждению между странами, предлагает довольно казуистические, гибкие и характерные для него приемы. «Моя речь сербским студентам,— продолжает запись Скобелев со слов Гамбетты,— возбу-

* Арх. Бел.-Бел.

дила во Франции — армии, флоте, наконец, даже в депутатах — большое патриотическое воодушевление. Необходимо, как нам, так и французам, работать над разрушением в воображении людей страха германской легенды («travailler à détruire dans les imaginations la terreur de la légende allemande»). Скобелев сказал то, что было нужно Гамбетте, враг был назван громко. Но Гамбетта все время боролся против постоянного страха перед Германией, который был присущ большинству французов после поражения 1870 года. Освободиться от этого страха, как от господствующего убеждения в непобедимости Германии, было главным предметом заботы Гамбетты, без этого сознания была немыслима внешняя независимая политика. Разумеется, говорил Гамбетта и о себе, сказал, что «был вынужден принять власть, но чувствовал, что *его* время еще не пришло». Горечь недавней неудачи сказалась у него в отзыве о палате. По его словам, палата «умственно малоразвита и что у депутатов нет политических идеалов, что они более заняты своими выборными интересами, а не национальными вопросами», и вообще «с большим пренебрежением отзывался о западноевропейском парламентаризме». «Si vous avez le malheur d'y tomber, vous bavarderez pendant cent ans sans faire rien que vaille». Этот резкий отзыв о парламентаризме со стороны Гамбетты не нужно преувеличивать и видеть в нем принципиально-отрицательное отношение к парламентаризму вообще. Его отзыв о равнодушии и своекорыстии депутатов имеет достаточное основание, однако, несмотря на горечь своих суждений о конституционализме, Гамбетта рекомендовал России пойти в конце концов по пути представительного строя, хотя бы и в рамках национальной самобытности. Гамбетта знал, конечно, о крушении плана Лорис-Меликова, но до него дошли слухи, может быть, через того же Скобелева, о соответствующих проектах гр. Игнатьева, и это отразилось на дальнейших словах беседы Гамбетты со Скобелевым. «Гамбетта говорил, — записывает Скобелев, — о том, что государь окружен людьми неспособными, за исключением Игнатьева, который для него загадка. Игнатевист ли он или патриот? Говорил о необходимости к коронации стать на почву Земского Собора — «faire un plebiscite dans le sens des vieilles

idées nationales russes et surtout tenir honnêtement la politique nationale en mains». Раз уже зашла речь о национальной политике, то Скобелев, вероятно, стал развивать перед Гамбеттой свою национальную программу, славянскую по существу, которой он был занят в последнее время вместе с Аксаковым. Внешняя политика Гамбетты вызвала сочувствие в передовых кругах русского общества, и Скобелев говорил про «глубокое к нему (Гамбетте) уважение славянской партии». По впечатлению Скобелева, Гамбетта, «видимо, стал понимать связь вопроса Восточного с союзом, необходимым нам с Францией»*. Очевидно, Гамбетта, желая перетянуть Россию на сторону Франции, готов был идти в поддержке России и на более существенные жертвы...

По словам Аксакова, Скобелев перед отъездом еще раз виделся с Гамбеттой и обедал у него вместе с ген. Галифе. Речь шла также о сближении России с Францией, причем Скобелеву пришлось доказывать ошибочность политики Тьера на Востоке, подчеркнув роль России там как покровительницы славян. Скобелев сделал для Аксакова запись своих парижских впечатлений на 6 страницах, но напечатана она была только в отрывках**. Скобелев говорит, что во Франции он «встретил много инстинктивного, хотя еще не выяснившегося сочувствия, большое желание ознакомиться с отношением России и Германии к славянскому и балтийскому вопросам». Сознвая, что он оказался орудием, скорее, чужой (хотя и дружественной), нежели своей, политики, Скобелев, однако, сказал, что ему «не жаль случившегося». «Фарси напечатал то, что ему показалось интересным для пробуждения французского общества, со слов студентов, меня не спросясь. Я бы мог формально отказаться, но предупредили меня — Гамбетта и м-м Адан. Первый особенно настаивал на ее полезном впечатлении в молодежи, армии, флоте. Так как в конце концов все сказанное в газете «Ля Франсе» сущая правда и, по-моему, могло повести не к войне, а к миру, доказав, что русский царь — сила, то я и решился не обращать

* Арх. Бел.-Бел. См. также мою статью в «Пос. Нов.», № 5250. 8—VIII—1935.

** «Русь». 1883. № 1.

внимания на последствия лично для меня и молча-
нием дать развиться полезному, т. е. как у нас, так и
во Франции, законному и естественному недоверию к
соседу...»

Не выступив, таким образом, с официальным опро-
вержением в передаче своей речи во Франции, Скобе-
лев, однако, сделал это для Англии в беседе с коррес-
пондентом «Daily News».

Подводя итоги парижскому инциденту Скобелева,
приходится признать, что генерал явился в нем скорее
пассивным лицом, нежели активным политиком. Во вся-
ком случае, его неопытность в роли политического
деятели дала французской прессе возможность исполь-
зовать имя знаменитого генерала в данный момент
скорее в интересах Франции, нежели России.

IV.

Скобелев выехал из Парижа незамедлительно. По-
видимому, путь шел не через заказанный и враждеб-
ный Берлин, но и не через Швецию, как советовал
кн. Орлов, а через Вену и Варшаву. Можно себе пред-
ставить, с каким чувством ехал Скобелев в Россию.
Во всяком случае, в его личной карьере открывался
новый период. Судя по его собственным словам, здесь
была некоторая аналогия с вызовом его из Ферганы
в 1877 г., — о чем он сам упомянул в письме к И. С. Ак-
сакову. Сохранился черновик этого письма, написанного
18 (2) марта в Варшаве с «верною возможностью»,
т. е. с уверенностью в доставке, вероятно, с какой-
нибудь оказией, так как переписка этих лиц, как мы
знаем из письма Аксакова*, была предметом особого
внимания со стороны почтового ведомства. В этом
письме оскорбленное самолюбие сливается с негодова-
нием за антинациональную политику правящих верхов.
«Меня вызвали по Высочайшему повелению в Петер-

* «Я всегда не доверял письменному способу сообщения тех
мыслей и желаний, которые могут получить первенствующее зна-
чение», — писал Скобелев отцу еще в бытность свою в академии.
А Ив. С. Аксаков жалуется Скобелеву в письме от 21 мая 1882 г.:
«Хотел бы вам писать по почте, но к этому способу корреспонденции
при чудовищном развитии совершенно праздного любопытства в
почтовом ведомстве прибегаю неохотно». Арх. Б.-Б.

бург,— пишет Скобелев,— о чем, конечно, поспешили опубликовать по всей Европе, предварительно сообщив, как ныне оказывается, маститому и *единственному надежному* защитнику нашего родного русского царского дома — кн. Бисмарку... впрочем, с участием прибалтийских баронов и вообще культуртрегеров». Далее, в который раз, Скобелев вспоминает незабываемую обиду. «Я Петербург знаю — в 1877 г., по окончании ферганской войны, потратив на нее не более 500.000, захватив более ста орудий, с отрядом, никогда не превышавшим 3 тыс. человек, я был принят хуже последнего негодяя; теперь ожидаю гораздо худшего, ибо ныне «немец изволит быть недоволен». «Спокойно взглядываясь в положение дел, я предвижу отставку. Пруссаки давно этого добиваются, как я знаю, с того дня, когда перед Геоктеписским походом я отказался наотрез допустить к войскам племянника графа Мольтке; причем прямо высказал мнение, что позорно на русской крови и деньги учить будущего неприятельского офицера. Моя патриотическая совесть мне и теперь подсказывает, что я был прав, но в Берлине к этому не привыкли да и не любят*». Вообще «немец» в данный момент явился неким защитным цветом — немецкой интригой и только ею одною объясняется Скобелевым и его друзьями недовольство его политическими выступлениями последних месяцев. Все репрессии, которые посыпались на Скобелева после его приезда в Россию, вся эта «травля», по его выражению, вроде «запрещения офицерам конногренадерского полка принять от него обед в ответ на два обеда, которыми был удостоен», или запрета «послать свой портрет для помещения в дежурной комнате Австрийского полка, как того просили офицеры**», он рассматривает не как личный вопрос, а как «иллюстрацию силы немецкой партии***». Друзья Скобелева были также убеждены в этом, и В. Чичерина в письме к Скобелеву даже опасается, как бы «какой-нибудь проклятый немец его не подстрелил». Популярность Скобелева в определенных политических кругах стояла чрезвычайно высоко. Можно сказать больше: выступ-

* Арх. Бел.-Бел.

** См. об этом письма командира этого полка ген. Паюктына и переписку Скобелева с ген. Ваинновским. А. Б.-Б.

*** Письмо к О. А. Новиковой. Арх. Б.-Б.

ления Скобелева, столь необычные в быту тогдашней России, создали ему всероссийскую славу чуть ли не единственного человека, который может говорить царю правду, предполагая, что «ему (царю) будет стыдно» заподозрить в Скобелеве желание занять какое-либо высокое место. «Какое назначение может возвысить вас,— пишет ему О. А. Новикова,— разве вы уже не стоите выше всевозможных чиновников и министров. *Fais que dit advienne que rougga**. «Ради Бога, береги себя,— пишет Скобелеву В. Чичерина,— ты теперь принадлежишь еще более, чем когда-либо, России. Я, как старая нянька, пишу тебе, не сердись за глупые слова, но ты знаешь, что люблю тебя —

И вашей славою и вами,
Как нянька старая, горжусь».

Если, таким образом, мрачные мысли и готовность «надеть фрак» владели Скобелевым на пути в Россию, то сразу же, переехав границу, он сделался предметом горячих оваций и заверений со стороны многочисленных друзей (не без некоторого кликушества со стороны его усердных почитателей), не говоря уже о военной среде, близкой к Белому генералу по своим воинственным настроениям. Надо признаться, что высшие сферы были поставлены выступлениями Скобелева в очень тяжелое положение. О предполагаемой отставке, как это желал, возможно, император и некоторые из министров, не могло быть и речи — на такой вызов русской общественности и русской армии невозможно было решиться, кроме того, военный и административный авторитет Скобелева был так подлинно высок, что его отставка, несомненно, в гораздо большей степени подорвала бы устои армии, чем это сделал Скобелев своими политическими выходками. У ген. Скобелева, разумеется, было достаточно доброжелателей в высших кругах, чтобы смягчить предстоящий прием Александром III провинившегося генерала, который был, как политическая фигура, настолько свое нравен и влиятелен, что с этим приходилось счи-

* В этом отношении М. де Вогюз был очень недалек от истины, когда писал в своем дневнике, что популярность ген. Скобелева в России выше самого царя. Любопытно, что, подчеркивая этот факт и петербургские настроения, связанные с ним, Вогюз подходит к тому же фатализму, как и Новикова.

таться. По-видимому, в Петербурге долго думали, как бы обезвредить этого неугомонного генерала, который часто выставлялся как боевое орудие в руках таких политических деятелей, как И. Аксаков. Ген. Ванновский в разговоре с Перцем высказал в отношении Скобелева много очень интересных и вдумчивых суждений. Отдавая полную справедливость его талантам,— Ванновский считал Скобелева «человеком несколько опасным». «Нельзя ему доверить корпуса на западной границе,— сейчас возникнут столкновения с Германией и Австрией — может быть, он даже сам постарается их вызвать». Конечно, трудно предположить, чтобы корпусной командир в каком-нибудь Минске мог «вызвать столкновение с Германией»*, а с другой стороны, как печально признание со стороны военного министра, желавшего подальше отослать от западной границы полководца, который не только специально изучал силы врага, но и обладал возможностью готовить передовые войска для ближайшей войны. «Настоящее место Скобелева,— по мнению Ванновского,— подальше, напр., в Туркестане. С другой стороны,— метко замечает Ванновский,— Скобелева надо поставить самостоятельно. Главнокомандующий он был бы отличный, если же подчинить его кому-нибудь, то нельзя поздравить то лицо, которому он будет подчинен: жалобам и интригам не будет конца**». Таким образом, можно было ожидать, что Скобелев мог получить назначение вроде туркестанского генерал-губернатора. Сама по себе мысль назначить Скобелева начальником края, который он очень хорошо знал, имела свою логику и никого бы не удивила. В высших сферах Скобелев считался знатоком среднеазиатского вопроса,— незадолго до его приезда из Парижа ему был послан проект «Записки о военном управлении Сибири и Туркестана», а еще раньше, в январе 1882 г., он был назначен Председателем Комиссии по рас-

* В Германии думали так же, а возможно, только пугали опасностью от безответственных политикаиствующих генералов. Мысль эту определенно высказал в своих воспоминаниях Бисмарк: «Непосредственная опасность для мира между Германией и Россией,— писал он,— вряд ли может возникнуть иначе, как путем искусственного подстрекательства или благодаря честолюбию представителей русской или германской армии, вроде Скобелева, желающих войны до того, как они состарились, чтобы отличиться в ней».

** Перец Е. Дневник.— Лигд.

смотрению проекта об управлении Туркестанским краем. Между прочим, это назначение вызвало в Туркестане всеобщую радость, и по этому поводу ген. Троцкий, старый туркестанский соратник Скобелева, писал ему, что «Туркестан ждет могучую, сильную руку, которая разом собрала бы плесень и дренировала здешнее болото» («царствование Каблуковщины»). Троцкий думает, что было бы счастьем для края, если бы его начальником был назначен Скобелев. Тогда «воспрянет моя вторая, Туркестанская, родина от спячки и застоя. Все зашевелится и пойдет навстречу лучшему, доброму»*. Очень возможно, что на посту начальника края Скобелев чувствовал бы себя более самостоятельно, чем в роли корпусного командира в это трудное для себя время, но в тот период своей политической популярности, когда в Западной Европе загорелась его звезда, назначение его в далекий Туркестан, хотя бы и на высокий пост, могло рассматриваться только как почетная ссылка.

Чтобы смягчить личное нерасположение императора к Скобелеву, были нажаты многие пружины,— в этом направлении, напр., действовали и гр. Игнатъев, и Катков, который в передовых статьях «Москов. Вед.» старался сгладить впечатление Парижского выступления Скобелева, пользуясь поправками в интервью Скобелева с английскими и немецкими корреспондентами. Ванновский даже высказал Перцу мысль, что государь «любит Скобелева и сочувствует истинно национальному его направлению». Словом, ко дню приема (7 марта) во дворце острый период опасений всяких санкций по отношению к Скобелеву уже миновал, и самый прием прошел, по-видимому, благополучно**. Об этом у нас имеется свидетельство ген. Витмера, который передал это «со слов» ген. Левицкого, который, в свою очередь, передал это «со слов» дежурного свитского генерала в день императорского приема. «Скобелев вошел в комнату государя крайне сконфуженный и, по прошествии двух часов, вышел оттуда веселый и довольный, сказав, как говорят, ве-

* Арх. Б.-Б.

** Весьма возможно, что Александр III на этот раз вспомнил и истойчивые советы Победоносцева и вообще, по словам Перца, «сделал чрезвычайно большие успехи относительно приема представляющихся ему лиц».

село Гирсу, встретившему его, что государь задал ему «порядочную головомойку». «Не трудно сообразить,— говорит Витмер,— что если суровый император, не любивший шутить, принял Скобелева недружелюбно, то не мог же он распекать целых два часа. Очевидно, талаитливый честолюбец успел заразить миролюбивого государя своими взглядами на нашу политику в отношении Германии и других соседей»*. Возможно, что нечто подобное и было на самом деле, по крайней мере, по внешности отношение Александра III к Скобелеву сделалось очень доброжелательным. У нас есть прямые свидетельства об этом. Когда 20 апр. 1882 г. заседания по реформе военно-окружных управлений были прерваны и Скобелеву велено было «21-го представиться государю, а 22-го отправиться к «вверенному ему корпусу», то ген. Черевин делал при этом какие-то шаги перед государем в пользу Скобелева вообще, в результате чего государь «просил» Скобелева представиться не на общем приеме, а особо. Об этом «*commission*» ген. Черевина сестра Скобелева, Надежда (ки. Белосельская-Белозерская), сообщила брату с некоторыми любопытными подробностями. Со слов Черевина она пишет брату, что «*Sa majesté a parlé de toi avec beaucoup d'affection et elle est persuadé qu'elle peut compter sur toi et elle compte sur ton silence. L'empereur te fait dire, qu'il sera toujours content de te voir quand tu veux*». Очевидно, известное снисхождение и даже благорасположение со стороны императора к Скобелеву было куплено ценою взаимных уступок: со стороны генерала — необходимость «молчания». Едва ли можно сомневаться, что подобная уступка была взята у Скобелева не даром**. Но, этот обет бла-

* «Русская Старина». 1908. V. Де Воллан говорит, что во время аудиенции у государя Скобелев сказал: «Несу повинную голову, русское сердце заговорило». Государь будто бы со слезами на глазах принял эти слова и наилучшим образом принял Скобелева. («Очерки прошлого». — «Голос минувшего». 1914. № 6. Стр. 135.) Вероятно, где-нибудь имеется собственноручная запись Скобелева об этой аудиенции.

** О примиренческих вообще настроениях Скобелева можно судить по письму к сестре Надежде из Парижа от 29 июня 1881 г., в котором Скобелев отводит упрек сестры «*de ne pas être alle' au tu sais. Je tiens enormement á me dignité d'homme que bas on souvegarde trop difficilement. C'est un systeme qui peut être reussir,— mais moi j'en doute fort.*» Аpx. Б.-Б.

гораздмного молчания, принятый на себя Скобелевым, едва ли долго держался. Самоограничение в открытом высказывании своих политических взглядов Скобелева очень стесняло, иногда раздражало и порою приводило к угнетенному состоянию и меланхолии вообще. Но в это время имя Скобелева вообще приобрело само по себе уже оттенок оппозиционности, и им пользовались иногда как своего рода знаменем, чтобы оттенить, может быть, большую солидарность военных, сторонников скобелевского направления, против начинающегося бюрократизма в военном ведомстве. По словам Вогюэ, сам Скобелев продолжал вести себя довольно вызывающе по отношению к Александру III — «bгave son maitre». В это время начинается ряд обедов-чествований Скобелева от его бывших боевых товарищей и полков. Можно было представить, что там говорилось и о чем велись беседы,— в печать это не попадало, но, разумеется, доходило до начальства, доставляя ему много хлопот. Наконец сверху было обращено внимание на эти обеды, даваемые полками Скобелеву почти демонстративно, и ему было дано понять, что это считается неудобным, и, напр., на желание Скобелева ответить обедом офицерам Кегсгольмского полка, два раза чествовавшим Скобелева, последовало определенное запрещение. Сам Скобелев объяснил это происками немецких врагов. Командиром этого полка был ген. Панютин, пламенный соратник Скобелева при Шейнове. Офицеры этого полка просили Скобелева дать его портрет для помещения в дежурной комнате. В своем письме Панютин прибавил, что эта просьба офицеров «подтверждает его убеждение, что всякий видящий и слышавший вас уже очарован вами и всюду, куда вы его поведете,— пойдет». Это было уже после речи Скобелева в годовщину Ахал-Теке. Каким-то образом это письмо стало известно ген. Ванновскому, военному министру, а через него и дальше. Популярность ген. Скобелева возбуждала значительное беспокойство, и ген. Ванновский в личном письме к Скобелеву полагает, что желание кегсгольмских офицеров нужно отклонить, потому что, как он мотивирует, «оно может иметь вид, что офицеры сочувствуют речи Скобелева, присоединяются к известному политическому направлению», и Ванновский опа-

сается, что это внесет рознь в армию*. Опасения военного министра имели некоторые основания: популярность Белого генерала становилась всенародной и принимала иной раз необычные формы. Если возвращение из Ахалтекинской экспедиции было триумфальным шествием полководца после победы, то царские встречи Скобелева, напр., на маневрах 4 корпуса, не имели претендентов. Скобелева население встречало с хлебом-солью, а в Могилеве, где стояла лагерем 16 дивизия, его въезд в город поздно вечером был при свете факелов, среди войск, стоявших шпалерами; Скобелев, выйдя из экипажа, шел с непокрытой головой по улицам, запруженным народом... Очень своеобразно был встречен Скобелев в Бобруйске (крепость). У паперти костела генерал был встречен каноником Сенчиковским** в полном облачении и в сопровождении клира. Генерал слез с лошади и приложился к кресту. Сенчиковский несколько взволнованным голосом приветствовал Скобелева речью, а затем, повернувшись к церкви, запел по-русски: «Тебе, Бога хвалим» — и пошел к алтарю. За ним последовал со своим штабом и Скобелев. Церковь была ярко освещена и прекрасно убрана. Молебен был отслужен на русском языке. Затем уже был отслужен молебен и в русской церкви.

V.

Считая популярность ген. Скобелева в этот период его жизни всероссийской, нужно все же признать значение ее в политическом смысле сильно преувеличенным. Несомненно, личная власть над толпой у Скобелева была, обаяние его личности в среде преданных ему друзей было безгранично, и ген. Панютин был прав, что эти офицеры пойдут за Скобелевым всюду***.

* Арх. Б.-Б.

** Тем самым, который был известен своею попыткой вести католическую службу на русском языке. См. «Русь».

*** На одном обеде в Ахал-Теке, полк. Вержбицкий, соратник Скобелева по походу, сказал, что он «готов и на тот свет с Михаилом Дмитриевичем». Адъютант Скобелева Баранок попросил Вержбицкого записать его слова в записную книжку. Вержбицкий умер (в Тифлисе) в один и тот же год, день и час со Скобелевым (А. Ф. Арцишевский. М. Д. Скобелев. Очерк и его письма.— «Рус. Ст.». 1883. V.).

Однако и в этом направлении не нужно преувеличивать. Прежде всего, в самой армии было много людей, относившихся к Скобелеву с большим скептицизмом, напр., окружение ген. Радецкого, кн. Святополк-Мирского и др., где к Скобелеву относились, может быть, прямо враждебно. Что же касается войск, далеко стоявших от непосредственной близости к Скобелеву, то популярность его там была чисто боевая, военная и политического значения и оттенка не имела. Между тем в высших сферах Скобелева опасались именно как «генерала от прунциоменто», готового на какое угодно выступление, лишь бы сделать свою наполеоновскую карьеру. Но самая удобная почва для каких бы то ни было дворцовых переворотов в России складывалась в то время, когда Скобелев был еще в Ахал-Теке. Когда он приехал в Петербург, политическая обстановка уже определилась — Лорис-Меликов был в отставке, и судьба нового курса была уже почти решена без каких-либо возможных потрясений. Кроме того, если одно время в Петербурге и создавалась благоприятная обстановка для дворцового переворота, то, во всяком случае, не существовало той политической не только партии, но просто группы, которая бы стремилась к такому перевороту, во главе которого мог бы стать Скобелев. Политические течения, стоявшие к нему довольно близко, судя по многим данным — славянофильские, такую чисто революционную, по методу действия, позицию, конечно, не разделяли, а с народновольтцами и с их эпигонами Скобелев тоже не мог идти, потому что, по существу, у них были совершенно разные лозунги.

Если же мы обратимся к мнению и представителям широкой русской общественности, печати и проч., то увидим, что и здесь не было течения, которое могло бы поддержать ген. Скобелева в его политических выступлениях. В сущности, ни Аксаков, ни Катков не были его полными единомышленниками хотя бы уже потому, что некоторые либеральные доктрины, напр., свобода печати и конституционный вопрос, которым сочувствовал Скобелев, встречали на страницах реакционной печати ярую ненависть, да и вообще представить себе ген. Скобелева как политического деятеля, которого бы поддерживала только реакционная печать русского общества, — совершенно невозможно. Что же ка-

сается до либеральной публицистики, то здесь одно обстоятельство порождало острую неприязнь к беспокойному генералу, это — боязнь военных осложнений. Любопытно, общее мнение было, что Скобелев не видел для себя деятельности вне военных событий. Это мнение укоренилось столь прочно, что никто не считается серьезно с утверждением самого Скобелева, что он, в сущности, «ненавидит» войну. Эту мысль генерал высказывал неодиократию Ж. Адаи, В. И. Немировичу-Данчикю, ген. Духонину и др., причем если первой — в несколько кокетливой форме, слегка рисуясь, то последнему, наоборот, в минуты душевной скорби. Здесь мы находимся в области антиномии. Трудно предположить, чтобы кто-нибудь любил войну ради войны, меж тем существует не только военная профессия, но и вообще этот государственный фактор еще далеко не изжит на свете, и, следовательно, война имеет своих служителей, свой культ, почитателей, свою психологию, свою поэзию, свои чары и проч. Скобелев принадлежал к этой категории людей, будучи в ней человеком особо отмеченным. Он не был профессиональным политиком, хотя некоторые вопросы внешней политики, иапр., франко-русский союз, ближневосточная проблема, его очень интересовали и разрешались им в его представлении с чрезвычайной ясностью и убедительностью. Кроме того, он отлично понимал великое значение современной политики. «В наше время,— писал он,— не воскресить дипломатических влиятельных канцелярий, считавших династические соображения и тайну наиболее пригодными способами действия... Только политик в состоянии оценить всю необходимость несравнению широкой постановки вопросов народных, политических, социальных перед нервным, прихотливым, в высокой степени подозрительным сегодняшним мыслящим большинством в Европе и даже у нас; только политик признает, наконец, всю неотразимую силу печатного слова и, любя и уважая его законное общественное значение, увлечет его за собою во имя великой, в конце концов, всем одинаково дорогой государственной цели. Такие передовые могучие силы бывали во все века; вспомним Демосфена, Кромвеля, Петра Великого... В самом деле, не находится ли в наше своеобразно-переходное время дипломат старой школы к современному политику

в том же отношении, в каком находился наш крымский кремневый солдатик к союзнику, вооруженному Минье или Энфильдом?» Эти замечательные соображения Скобелева о существе и задачах политики в значительной степени освещают и обосновывают его собственные политические выступления. Но, как военный, он, с одной стороны, был склонен чаще, чем нужно было, предпочитать войну другим способам разрешения международных конфликтов, а с другой стороны, и международные вопросы, стоявшие тогда перед Россией и бывшие предметом скобелевского прогноза, были такого рокового свойства, что приводили к войне. К таковым нужно отнести вопрос о германской угрозе, нависшей над Россией со времени заключения австро-германского союза. «Принцип национальности — прежде всего, — говорит Скобелев. — Государство должно расширяться до тех пор, пока у него не будет того, что мы называем естественными границами, законными очертаниями. Нам, т. е. славянам, потому что, заключившись в узкие пределы только русского племени, мы потеряем все свое значение, всякий исторический *raison d'être*, нам, славянам, нужны Босфор и Дарданеллы как естественный выход к морю, иначе, без этих знаменитых Проливов, несмотря на весь наш необъятный простор, — мы задохнемся в нем. Тут-то и следует раз навсегда покончить со всякою сентиментальностью и помнить только свои интересы, сначала — свои, а потом можно подумать и о чужих... Наполеон Вел. отлично понимал это. Он неспроста открыл свои карты Александру I. В Эрфурте и Тильзите он предложил ему размежевать Европу... Он отдавал нам Европ. Турцию, Молдавию и Валахию, благословенный небом славянский Юг с тем только, чтобы мы не мешали ему расправиться с Германией и Великобританией... А мы что сделали? Сначала поняли, в чем дело, а потом начали играть в верность платоническим союзам, побратались с немцами. Ну, и досталось нам за это на орехи! Целые моря крови пролили да и еще прольются, будьте уверены, и все придем к тому же. Мы тогда спасли немцев. Это, может быть, очень трогательно с точки зрения какого-нибудь чувствительного немецкого романиста, но за этот взгляд мы заплатились громадными историческими несчастьями. За него мы в прошлую войну, имея у себя на

плечах немцев и англичан, попали в гордиев узел Берлинского трактата, и у нас остался неразрешенным Восточный вопрос, который потребует много русской крови».

Теперь, после того как перевернулась страница русской истории, связанная с Великой войной 1914—1918 гг., становится как будто очевидным, что мысли Скобелева о столкновении с Германией не были лишены реальных оснований, у военных имеется вообще своя логика в наблюдении над политической жизнью народов и особое чутье, связанное с войной,— и кто знает, не был ли прав Скобелев, призывая уже в 80-х годах к скорейшему разрешению конфликта между Россией и Германией? К чести Скобелева нужно сказать, что к этой проблеме, одним из этапов которой явилась Великая война, он отнесся с той добросовестностью, которая ему была вообще свойственна, как полководцу. Привыкнув учитывать уроки войны, Скобелев очень внимательно изучил врага, обнаружив при этом изумительное искусство приспособления к новым методам войны, вызванным новым временем и обстановкой. Понимал он и политическую обстановку войны с Германией, настаивая на франко-русском союзе и обеспечении английского нейтралитета посредством разграничения сфер влияния в Азии и угрозы серьезно разработанной демонстрации набега на Индию.

В сущности, в речах ген. Скобелева, направленных против Германии, не было того, что делает войну,— мало ли что может наговорить, в конце концов, безответственный человек, хотя бы и генерал действительной службы. Он всегда мог быть дезавуирован, получить отставку и т. д., что прекрасно понимали и в России, и за границей,— все дело было в том, что у антинемецкой позиции Скобелева была неотразимая историческая логика, от которой невозможно было уйти. Отсюда и всеобщее раздражение и волнение, которые произвели выступления Скобелева, сами по себе довольно невинного свойства. Скобелев подходил к русско-немецкому конфликту главным образом как военный. При всей его горячности, однако, трудно было думать, чтобы он стремился к сознательному конфликту, и опасения Ванновского, что Скобелев может нарочно вызвать столкновение, командуя корпусом, находившимся близко к границе, едва ли основательны, вряд ли это вообще воз-

можно, а бросаться очертя голову в войну, так, на «ура», было, во всяком случае, не в характере Скобелева. Он делал свое дело, несомненно, расширяя свои функции, другие, стоявшие у других сторон государственной жизни, делали свое. Войны не желал император, ее не хотели министры. Может быть, наиболее резкими противниками войны выступали мин. ин. дел Гирс и мин. фин. Бунге, очень враждебно отзывавшийся о генерале, который «желает быть фельдмаршалом»*. В записке Н. Х. Бунге, посланной им на имя Победоносцева, говорится, между прочим, о состоянии русских финансов. Рисуя их печальное состояние, Бунге совершенно определенно становится на точку зрения пацифизма. Говоря о сокращении расходов, он предлагает уменьшить «численность войска, придавая этой мере значение не только финансовое, но и откровенно политическое. Говоря о последних политических неудачах, Бунге ставит вопрос прямо: «Затянуть новую войну мы не могли не только потому, что война дорого стоит, но и потому, что, рискуя многое потерять, мы ни в коем случае не рискуем что-либо выиграть. Теперь вопросы: «Что лучше? Остаться в настоящем положении, постоянно конфузясь нашей немощи,— или принять открытую политику, при которой мы вперед заявили бы, что сокращаем наполовину нашу армию и флот, потому что не желаем путаться в европейские комбинации и, сосредоточиваясь на наших внутренних интересах,— их будем всегда защищать, как всегда защищаем». Решение этого вопроса Бунге предлагает единолично царю (может быть, поэтому и послана записка Победоносцеву, как фавориту царя), который на этом деле может пожать лавры всеобщего миротворца**». Разумеется, Россия, как великая держава, тогда могла позволить себе подобную роскошь, но сомнительно, чтобы это не могло не отразиться на обороне страны вообще. Но если и Главный Штаб был убежден, что мы воевать с Германией при тогдашней политической обстановке внутренней жизни не могли, то общественное мнение, переживши тяжелую войну и ряд тягчайших разочарований после Берлинского конгресса, было настроено единодушно против войны,

* См. «Дневник» Перца.

** Переписка К. П. Победоносцева. Т. 1. Стр. 148. О «сокращениях» же пишет и фон Дервиз, железнодорожный деятель, призывавший организовать «интеллигентную оппозицию» правительству.

желая направить внимание правительства на развитие культурной внутренней жизни страны. В этом отношении Скобелев казался многим и шовинистом, и вообще человеком, крайне вредным и опасным для мирного развития России. Очень характерной для этих слоев русского общества явилась брошюра гр. Петра Кутузова, изданная на французском языке в Берлине в 1882 году*. Написанная бойким пером, она производит впечатление разбором некоторых положений скобелевских выступлений, тем более что сама позиция ген. Скобелева была, строго говоря, элементарно-теоретична и только в самом своем существовании глубоко правдива. Кутузов прежде всего поражает то течение, к которому примыкает Скобелев. Не без иронии он сомневается, что Россия не имеет права играть роль покровителя славян, что у нее для этого недостает той культуры, которая, напр., имеется в Австрии. Что славянские народы, отданные под протекторат Австрии, напр., чехи, сумели сохранить свою самобытность, которая попирается в Русской Польше, и не является ли теперешнее заступничество за герцеговинцев и пособничество инсургентам таким же вмешательством во внутренние дела Австрии, каким явилось вмешательство в русские дела в эпоху польского восстания 1863 г.? Гр. Кутузов, не довольствуясь критикой позиций славянофилов, идет дальше и требует, чтобы Россия вообще отказалась от роли покровителя славян, утешаясь тем, что роль России «ne doit pas être le rôle de provocateur, mais consialiateur», и что в будущем России может принадлежать очень высокая роль «умиротворительницы» среди народов, к которым она придет не путем «железа и крови», или «с саблей в руке», но мирной политики, основанной на принципах либерализма, равенства и проч. Отвечая на выражение Скобелева, что мы «дома не у себя дома», гр. Кутузов объясняет «немецкое» преобладание в русской истории как «естественный результат нашей моральной и материальной слабости», не считаясь при этом ни с какой исторической перспективой. Говоря об агрессивных настроениях в речах Скобелева и приводя ноту русского мин. ин. дел, наполненную пацифистским настроением, он

* «Les vrais interets du Monde Slave et la paix Europeenne». (Réponse au général Skobelew) par comte Pierre Koutouzow.— Berlin, 1882.

становится на очень удобную в специфическом смысле позицию, упрекая ген. Скобелева в нелояльности по отношению к своему монарху, которому одному принадлежит власть в делах войны и мира, и что Скобелев узурпирует права императора, что в России вообще нет диктатуры, которую навязывает генерал, и т. д. Подобные приемы полемики и мысль поставить границы русской экспансии становятся нам очень понятными в брошюре, изданной в Берлине, как и уверения, что Россия воевать вообще не может, что у нас сейчас и внутри хлопот полон рот, и проч. Последние утверждения формально соответствовали действительности, как и то, что позиция воинственного генерала не одобрялась большинством русского общества. Очень характерен для берлинской брошюры гр. Кутузова и другой камень, брошенный им в дело ген. Скобелева, это — сомнение в помощи Франции в борьбе с Германией. Любопытно, что Кутузов не хочет верить, что свободолюбивая Франция может стать союзницей такой реакционной и отсталой державы, как Россия (в данном случае самодержавный режим в России Кутузовым использован в другом направлении и также против Скобелева). А Франция Кутузов намекает, что такая истомленная внутренней смутой союзница, как Россия, не может быть полезной для нее. Словом, уязвимые для критики места речей Скобелева, уязвимые уже потому, что их мысли, по условию их выражения, были сформулированы в общей, иногда очень афористической форме, Кутузовым использованы под углом одной видимой цели — отвлечь Россию от политики панславизма, так как Россия воевать не может и не хочет. В критике гр. Кутузова слышны определенные германофильские ноты, свойственные многим политическим деятелям той эпохи, в особенности в мин. ин. дел.

Можно было ответить ген. Скобелеву более достойно, и притом с русской точки зрения. «Вестник Европы» и занял в этом инциденте очень спокойную и достойную позицию. Журнал прежде всего констатирует, что в речах ген. Скобелева нет ничего такого, «чего не твердили бы раньше некоторые органы нашей прессы», и вообще никакого бы шума не произошло, если бы у нас «слово пользовалось большим почетом и простором, если бы застольные спичи, ответы депутациям и вообще все так наз. *discours de circonstance* были у нас явле-

нием столь же заурядным, как у наших западных соседей», тогда речи Скобелева были бы встречены, как и всякое другое «публичное заявление мысли», и краткого официального сообщения, слагающего с правительства всякую ответственность, было бы более чем достаточно, чтобы успокоить самую тревожную шепетильность». Журнал очень многое извиняет в «чувстве и увлечении» ген. Скобелева, он даже допускает, что ген. Скобелев вовсе не думает так, как его «истощенные коллеги», которые связывают наши дипломатические неудачи с корнями нашей народной или государственной болезни и, по выражению одной немецкой газеты, «хотят черта изгонять Вельзевулом»*. «Его ошибка,— по мнению журнального обозревателя,— заключается в том, что он не отделяет достаточно ясно возможное от желательного, не дает себе точного отчета в сравнительной важности обязанностей, лежащих на русском правительстве перед славянскими племенами, а также и перед русским народом; но эта ошибка всего более понятна, всего более извинительна именно со стороны человека, воспитанного войною, привыкшего видеть в ней естественный способ решения международных вопросов. Такой человек может ненавидеть войну или искренно думать, что он ее ненавидит,— и все-таки, считая ее необходимым злом, слишком скоро допускать в каждом отдельном случае ее необходимость». Переходя затем к критике скобелевских призывов к войне, «Вестн. Евр.» замечает, что «России теперь не до войны», что она положительно невозможна при нынешних обстоятельствах. «Вашему патриотизму будет стыдно, когда окажется, что иноземцам эти причины известны лучше, чем вам, патриоту, публично возвышающему голос от имени России. Вам будет стыдно, если окажется, что иноземец именно потому и отвечает вам: «Милости просим, мы готовы»,— что они ему известны лучше, чем вам»**. Таким образом, считая невозможным в русских интересах какие бы то ни было военные осложнения

* Хотя Скобелев иногда высказывал эти аксаковские мысли. См. «Дневник» Валуева.

** Этот упрек, обращенный к Скобелеву, едва ли справедлив: Скобелев очень хорошо знал врага. Кроме того, и в Германии относительно России в эпоху Бисмарка не было подобного сознания превосходства, несмотря на внутренние смуты, Россия считалась Германией очень опасным соседом в военном отношении.

с Германией, «Вест. Евр.» формулирует мысль, ставшую общей для подавляющего большинства русского общества: «Программа искреннего и мыслящего русского может быть только одна, очень простая и определенная, в которой первое место принадлежит миру и необходимым внутренним реформам, способным обновить страну, застоявшуюся в старых формах жизни, из которых она уже выросла»*.

Интересны прогнозы «Вестника Европы» и в отношении франко-русского сближения. Журнал думает, что эти надежды «не совсем безосновательны», что и «французы желают этого союза», но «единственно в своем интересе». Далее приводится большая выдержка из «Temps», посвященная речам ген. Скобелева, про которую мы знаем из разговоров Скобелева с Гамбеттой, предупредившим генерала об этой статье, написанной сдержанно по отношению к Скобелеву и к его выступлениям в Париже и полной некоторого опасения в отношении панславистских тенденций России. Мы знаем, что Гамбетта сознавался Скобелеву, что при всем его сочувствии речам генерала подобный тон статьи вызывался дипломатической необходимостью.

Что же касается правых газет вроде «Московских Ведомостей», то Катков в отношении Скобелева занимал очень странную позицию, гораздо более неясную и сбивчивую, чем Ив. С. Аксаков. Если Аксаков в «Руси» пытался всячески использовать речи Скобелева, внося в их комментарии многое от панславизма своего толка, что не разделялось и самим ген. Скобелевым, то Катков, наоборот, стремился во что бы то ни стало притупить острые углы скобелевских речей, используя довольно искусно все поправки Скобелева в интервью с корреспондентами разных газет, особенно английских. Проводя в это время политику сближения с Германией, Катков всячески старался заретушировать главный лозунг Скобелева о враге-«немце», утверждая, что в словах Скобелева «не было ни тени намека на какие-либо воинственные замыслы России», Скобелев только настаивал, чтобы «Берлинский трактат, каков бы он ни был, соблюдался в точности и некоторые резкие выражения, которые будто бы употребил Скобелев, за-

* «Вест. Евр.», 1882. № 3.

ключали в себе именно протест против поползновения австрийской политики нарушить в свою пользу точный смысл договора»*.

IX. ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

I.

В конце концов, как бы мы ни смотрели на результат личных отношений ген. Скобелева с имп. Александром III, можно сказать с достаточной определенностью, что политическая роль ген. Скобелева, ставшая такой яркой по внешности после его петербургского и парижского выступлений к лету 1882 года, могла считаться сыгранной. Эпоха «пронунциamento», когда возможно было ставить на «Бонапарта», если вообще таковые мечты были в голове Скобелева хоть на мгновение, уже миновала. Реакция вступала в полосу определенной консолидации, причем грозила опасность даже реформам предыдущего царствования. Положение ген. Скобелева в этот период было малоблагоприятным. Официально он оставался командиром 4-го корпуса, но перед ним теперь уже совершенно ясно стояла угроза назначения в Туркестан или Закаспийскую область — назначение, которое могло принести краю много пользы и дать возможность самому Скобелеву развернуться на самостоятельном административном поприще, но все это было уже серой жизнью, буднями, в которых скобелевскому темпераменту было не по себе. В сущности, у Скобелева оставалась блестящая возможность работы на любимом поприще — военном, по подготовке к будущей войне, в частности, перед ним мог стоять целый ряд серьезных дипломатических вопросов в сфере наших среднеазиатских отношений с соседями и проч. Но эта мирная деятельность для Скобелева теперь была непривлекательна, она его не зажигала, даже маневры мало увлекали его. Что касается до административных постов, то его характер не всегда был удобен для дипломатических выступлений и можно было думать, что при первой же служебной неудаче ореол героя не помешал бы его отставке, и Ско-

* Собрание передовых статей «Моск. Вед.» М. Н. Каткова. 1882. Стр. 128.

белеву, в конечном счете, грозило сделаться одним из тех деятелей эпохи Александра II, которые, будучи не у дел, доживали где-либо в российской глуши или в Ницце и т. д. Такая перспектива не могла не казаться Скобелеву безотрадной. Сходить со сцены как-то на нет после стольких блестящих авансов для человека его склада было бы чересчур прозаично. Правда, нужно сделать оговорку: Скобелев был человеком деловым, серьезным, знающим и трудолюбивым,— при его образовании, личной привлекательности и материальной независимости он, возможно, был бы на месте и в обстановке мирной деятельности не только военной, но и штатской — земской, общественной и проч., но в его личной натуре были какие-то, не особенно ясные до сих пор, черты игрока, авантюриста, которые при неудаче рисковали сломать человека. Личной жизни у Скобелева не было, не было семьи, и он не жалел себя как человек, вообще он *устал* и действительно жег свою свечу с двух концов.

Его служебное положение, несмотря на «худой мир» с императором, было очень непрочное. В Париже, в мае 1882 г., по словам де Вогюэ, он продолжал бравировать по отношению к Александру III и смотреть весьма пессимистически на будущее России. С правящими сферами, где, по словам М. Хитрово, «не встречается ничего, кроме апатии, мелкого эгоизма, гонок за местами и полного торжества посредственности»*, у Скобелева было мало общего. Для Петербурга он был всегда *Gefant terrible*, — не забудем, что воинская слава его была не без терниев, его военный гений вовсе не имел всеобщего, суворовского признания. Неудивительно, что настроение Скобелева после его приезда из-за границы было не из веселых. Мечты о лучшем будущем ему стали казаться все более неосуществимыми. Но иногда он по-прежнему загорался широкими планами. В письме к Скобелеву от 12.VI.1882 года из Гатчины Н. К. Шильдер вспоминает о каком-то разговоре с ним, о какой-то цели, какой-то волшебной стране, в которую страстно стремился Скобелев. Для определения своих стремлений Скобелев вспоминал при этом стихи Шиллера о таинственном «Vunderland». Н. К. Шильдер, перелиставши Шиллера, нашел это стихотворение — «*Sehnsucht*», прочтя которое целиком, он яснее понял душевное состояние своего

* Из письма М. Хитрово к Скобелеву от 2.VI. 1882. Арх. Б.-Б.

пылко́го собеседника. В этом стихотворении противопоставляются два мира — реальный и идеальный — и даются лозунги для поисков идеального мира.

Вот челнок колышет волны...
Но гребца не вижу в нем.

Кое-какие данные, правда, довольно фанстастические, касающиеся ближайших планов Скобелева того времени, имеются в воспоминаниях Д. Д. Оболенского. По его словам, Скобелев в июне 1882 г. распорядился обратить в деньги ценные бумаги, затем имелось в виду что-то продать в Спасском и т. д. Таким образом, предполагалось, что наберется около миллиона рублей. На эти деньги будто бы Скобелев хотел ехать в Болгарию, затеявая какое-то политическое предприятие. Но И. И. Маслов, которому Скобелев поручил производство всей этой финансовой операции, будто бы в июне сошел с ума, и денег в банке не оказалось. Несмотря на легкомысленную передачу этих сведений Оболенским*, вполне возможно, что какое-то предприятие политического характера Скобелевым финансировалось, и тогда понятны его настроения, отмеченные Н. К. Шильдером.

II.

К этому же времени относятся и попытки Скобелева радикально изменить свою личную жизнь, одинокую и неудавшуюся. В Минске, где находился штаб корпуса, которым командовал Скобелев, генерал пользовался исключительным вниманием всего города. Скобелев жил в большом одноэтажном доме, поддерживая широкое гостеприимство. После взятия Геок-Тепе он был единогласно избран почетным гражданином города Минска. Желая ответить городу какую-нибудь любезностью, Скобелев, по совету ген. Духонина, проектировал сделать взнос в фонд Минского общества благосостояния учащихся в размере нескольких тысяч рублей, на учреждение пособий воспитанникам учебного возраста всех исповеданий в 12-ти учебных заведениях города**. Ско-

* Д. Д. Оболенский. Наброски из прошлого.— «Истор. Вест.», т. 59.

** Арх. Б.-Б.

белев отличался вообще большою отзывчивостью и добро-
тою. При жизни отца, будучи обеспеченным им в срав-
нительно скромных размерах, Скобелев очень многих
поддерживал материально. Сделавшись впоследствии
обладателем очень большого состояния, он продолжал
свою материнскую помощь в больших размерах, внося
сюда свойственную ему регулярность. Так, в Минске
он приказал все свое жалование, в качестве командира
корпуса, «отчислять в особую запасную сумму», которая
расходовалась в виде выдачи денежных пособий нуж-
дающимся чинам корпуса, обращавшимся с просьбою
о «назначении им денежных вспомоществований». Ко
времени смерти Скобелева эта сумма перешла за 9 тысяч
рублей и была израсходована, причем 71 прошение
осталось неудовлетворенным вследствие смерти ще-
рого командира, который неоднократно подтверждал,
чтобы «просящим о пособиях никогда отказа не было»*.

К минскому же пребыванию Скобелева в последние
месяцы его жизни относится и развязка одного эпизода
его личной любовной истории. Как известно, по части
устройства своих семейных дел у Скобелева всегда было
неблагополучно. Женитьба его не удалась по причинам,
о которых трудно судить, и дальнейшие его отношения
к женщинам всегда были предметом постоянных пере-
судов и сплетен и, в конечном счете, составили в широких
кругах русского общества репутацию Скобелеву какого-то
распутника и проч. Здесь очень много слухов, и поло-
жительно нет документальных данных, чтобы судить об
этой стороне его жизни. В зрелые годы своей жизни
Скобелев не был ни кутилой, ни картежником, много
отдавался служебным занятиям и кабинетной работе.
Развлекаясь, он, по-видимому, иногда бросался в омут
очень грубых удовольствий. Но он не был чужд женской
дружбы и тосковал по семье. В Минске у него завязался
роман с некоей Екатериной Александровной Головкиной.
Она была учительница в каком-то из учебных заведений
Минска. Происходила она из бедной семьи, жила своим
трудом и даже помогала родным. Неизвестно, где и при
каких обстоятельствах познакомился с ней Скобелев.
Как всегда, тут были догадки темного свойства**. Есть
сведения, что в этом романе Скобелева с Головкиной

* Письмо ген. М. Л. Духонина к гр. А. Адлербергу. Арх. Б.-Б.

** См., напр., у М. де Воюэ об этих слухах.

принимала участие и военная среда Минска, которая, по своей безграничной любви к своему командиру, желала ему семейного счастья, которого так недоставало для душевного спокойствия генерала*. Что предметом его увлечения была девушка не из аристократических слоев общества, а из средних интеллигентских — отвечало давним, затаенным намерениям Скобелева, который, уставая от холостой жизни, мечтал о женитьбе, найдя себе подругу в трудовой среде. Еще на Балканах он говорил Верещагину о своей мечте жениться, напр., на «учительнице». В Минске эта мечта была близка к осуществлению. Е. А. Головкина перед нами вырисовывается довольно отчетливо по их переписке. В сентябре 1881 г. она пишет Скобелеву как «самому дорогому другу», которому она «вверила свою будущность» и за которую она «не боится». Из этого письма видно, что между ними что-то произошло, что она сделала какой-то «шаг», «всю трудность и всю глубину испытаний» которого она не в состоянии сообщить своим родителям (в Смоленске), потому что на них и без того тяжело отразились «слухи и сплетни», подобные минским. Мотивы сделанного ею «шага», по ее мнению, не поймут ее родные, — им останутся чужды ее «заветная дума, стремления, желания». «Они не поймут, что я стремлюсь всеми силами души моей к более деятельной жизни, что мне душно и тесно в той сфере, которая окружала меня, мне хочется более широкого поприща для труда, скажу больше, мне хочется страшной борьбы, жестокой и смертельной, за свое существование, тогда я скажу, что я отвоевала себе право жить, жить для вас. Да, Михаил Дмитриевич, в вас я встретила сильную, мощную натуру, она меня к вам приковывает; я сознаю, что, идя рука об руку с вами, я могу быть полезным человеком, а не слабым существом. Дайте мне право над вами, полное, бесконечное, я дам вам счастье, но счастье, которого вы не имели до сих пор; одно не забывайте, если все преклоняются перед вами, я — ни за что! Мое место подле вас, а часто и выше вас; моя цель оправдать ваши надежды, раз я достигну этого, я буду счастлива. Я без оглядки, смело отдаюсь той фатальной симпатии, которую почувствовала к вам, я хочу и сделаю для вас все то, что вы вправе желать от меня — и до людей мне дела нет. Одно не

* «Рус. Ст.». 1914. № 10.

забывайте,— я презираю толки, дразги, мелочи, но заставить других поступить так же не в моей воле. Побороть скептицизм моих родителей отказываюсь, слишком тяжелую и безотрадную жизненную школу пришлось им пройти. Итак, какой же окончательный вывод из всего сказанного мною? Среди близких родных я все же одна с тяжелыми думами, а друг далеко. Меня тревожит мысль о тех трудностях, которые вы встретите на первом шагу: лучше всего, если бы я смогла быть подле вас, мы были бы спокойнее»*.

Что можно сказать об авторе этого письма по этим строкам? Прежде всего, конечно, что это была девушка своего времени, из той породы молодежи, которая всегда искала «бури, как будто в бурях есть покой», трудов, подвигов, притом не мелких каких-нибудь, а обязательно больших (конечно, у жены ген. Скобелева не было бы недостатка в подобных возможностях!). Самое характерное здесь — определение ее личных отношений к предмету своей любви. Здесь нет безоговорочных признаний любящего человека, от этих строк веет холодком рассудочности. Но не будем заподозривать силу этой любви, потому что эти выражения ее — тоже знамения эпохи, которая пыталась «рассудку страсти подчинить». Надо сказать, однако, что и в письме Скобелева нас поражает прежде всего сухой деловой тон, который ни в какой степени не напоминает письмо любящего человека. Все это заставляет предполагать здесь не глубокую, сильную любовь, а простое увлечение, может быть, просто любовное недоразумение. Как далеко оно зашло — сказать трудно, но, видимо, какая-то грань была перейдена, которая поставила Головкину в положение «все скрывать». Мало того, ей приходится «окончательно проститься с Минском», и болезнь отца ускорила ее отъезд из Минска в Смоленск. Очень многое говорит и следующая мотивировка: «Нужно спешить оставить его (Минск), а то появляются просительницы с нежными интродукциями по поводу перемены, которая ожидает меня, слезно умоляя в заключение похлопотать место мужу, брату и т. д.». Одним словом, предстоит перспектива стать матерью-командиршей. Разлука ей тяжела, но она обещает «не унывать» и прибавляет: «А то, что сделано, не жалею и не пожалею». В заключение, в конце письма,

* Арх. Б.-Б.

имеется просьба (с большими извинениями и смущением, которые исключают всякие предположения о корысти и проч.) о некоторой материальной помощи в ее тяжелом положении,— помощи, от которой она отказалась при расставании в Минске. Не лишено значения, что это письмо, полученное Скобелевым в Петербурге, он немедленно отослал И. И. Маслову, прося его исполнить просьбу касательно денег (предлагая послать 1000 рублей в Смоленск, по возможности не называя фамилии, ибо «Смоленск городишко маленький, плодящий, как везде, сплетни»), а также высказаться, как другу, по существу: «Обдумайте хорошенько и передайте ваше впечатление»,— и тут же добавляет: «Мое — *хорошее*, ибо написано ее письмо дельно...» Очевидно, Маслов был посвящен в эти интимные дела Скобелева — в письме к Головкиной значилось прямо, что «она вверила ему (Скобелеву) свою судьбу» и т. д.

Таким образом, в октябре 1881 г. мы застаем Скобелева и Головкину почти на положении жениха и невесты. Следующее письмо, имеющееся в Арх. Б.-Б., полученное Скобелевым от Головкиной, помечено 28-м апреля 1882 г. Оно написано по-французски с окончанием — «*agreez l'assurance de respect*» etc, сухое, говорящее о «*la guine de nos projects*», в крушении которых Скобелев обвинял какие-то «обстоятельства». Что произошло между ними, какая черная кошка пробежала — мы точно не знаем, но канва разрыва чувствуется довольно ощутительно. За это время в жизни Скобелева произошло столько событий — петербургская и парижская речи, поездка за границу и т. д., что не будет удивительным, если за ними побледнели и потеряли свою силу непрочные брачные надежды. Головкина в своем письме упрекает Скобелева в недостатке доброй воли с его стороны и в том, что он за короткое время их знакомства мало сделал со своей стороны для того, чтобы ее узнать, на что он сбоку приписал «*sesi est vgai*». Итак, разрыв произошел, которого, по мнению Головкиной, добивались те, которым это нужно было сделать «*à tout prix*», и наконец произнесено было роковое слово «*le mot qui nous a seragé*». 19 мая Головкина ответила по-русски, уже более мягко, без той горечи и обиды, которыми дышало письмо от 28 апреля 1882 года. По ее ответам и по некоторым упрекам из письма Скобелева мы можем почти безошибочно понять причины разрыва, не зная повода к нему.

«Во второй раз делать несчастною страшно»,— пишет Скобелев, разорвав какие-то связи с Головкиной. Она упрекает Скобелева, что он мало думал о ней. «К лучшему ли,— пишете, Михаил Дмитриевич, толкнув человека в пропасть, вы спрашиваете, к лучшему ли? Стоит ли быть вашей женой, на это я вам раньше дала ответ, от слов своих не отрекаюсь. Я видела в вас прежде всего человека с хорошими задатками, но исковерканного жизнью и средой; предостережения, толки о вашей нравственной несостоятельности я презирала, я верила вам. Я верила, что честь моя вам равно свята, как и ваша собственная, что за нее вы твердо постоите. И что же? вы спасовали перед житейскими дрызгами, вы струсили перед продажным мнением, вы допустили очернить, оклеветать меня. *Одного сознания вашей вины мало, слишком мало.* Как поступить в данном случае, вы не можете знать. Соображения о войне оставьте, они возникли слишком недавно и не могут служить оправдательным стимулом ваших действий. К тому же о войне говорилось и ранее, и тогда она не являлась препятствием...» В заключение она просит Скобелева «не говорить более о своем увлечении...» и все-таки ждет ответа. «Прощайте, а может быть, до свиданья; хотелось бы по-прежнему пожать вашу руку, но, но пока не надо. Еще неизвестно, враги ли мы или нет».

Несмотря на наличие несомненного охлаждения, в письме Головкиной чувствуется любящая женщина, у нее еще теплится искорка надежды на благополучное разрешение вопроса о их браке. В своем ответе Скобелев тоже несколько колеблется произнести окончательное слово. 13 июня, незадолго до своего последнего отъезда из Минска, он пишет карандашом и очень тщательно черновик ответа Головкиной. «Я и теперь,— пишет он,— ни по внутреннему складу моих чувств и окончательных намерений, ни по силе сложившихся обстоятельств не могу еще признать себя способным говорить, как желаю и как *следует* — в форме окончательной». Но по всему письму видно, что это только мягкое вступление к правде, ибо «выяснилось» следующее: «1. Мы слишком мало знаем друг друга, чтобы, в особенности я, мог со спокойной совестью взять на себя ответственность за ваше будущее счастье. Мне в этом отношении ошибаться *еще раз* не приходится, а вам, полагаю, после сказанного обязательно перед собою еще раз подвергнуть всю обста-

новку тщательному личному анализу. 2. Беспредельно честные начала, лежащие в основании нашего *столь кратковременного знакомства*, заставляют меня сознаться, что я и теперь, не более прежнего, имел случай на деле вновь убедиться в своей неспособности к семейной жизни». (3-й параграф, говорящий об опасении «незаслуженно оскорбить мою бывшую жену и ее семейство», зачеркнут.) «4. Легальная сторона дела так затруднительна, что требует времени и основательной подготовки почвы. Вы, конечно, меня настолько знаете, чтобы ни минуты не заподозрить меня в желании так или иначе прикрывать свои решения легальными трудностями. Я обязан говорить вам всю правду, но, как видите, упомянул о них напоследок. Говорю прямо — трудность решений заключается *во мне самом, в моем недоверии к своим силам* и, отчасти, в опасении вовлечь вас в положение, в котором вы не найдете счастья, которого вы стоите, так как, повторяю вам, вы меня совсем не знаете».

Просмотрев внимательно эту переписку, мы вправе сказать, что в этом скобелевском романе не было подлинной любви, тем более страсти, уж очень странно для подлинно влюбленного читать призывы при вступлении в брак к «осторожности, выдержке и осмотрительности». Очевидно, здесь было увлечение, обоюдное, искреннее, которое, при отсутствии легальных затруднений могло бы и закончиться браком. Не важно, было ли отправлено это письмо, но Скобелев, зная себя, посмотрел правде в глаза, отказавшись от брака с Головкиной. В его жизни это была последняя возможность попытки хоть сколько-нибудь умерить тот огонь, которым он сам себя сжигал. Бесполезно гадать, принес ли бы этот брак Скобелеву семейное счастье, — он пошел своей дорогой, которая и привела его через несколько дней в роковой отдельный кабинет в Столешниковом переулке.

III.

Личные неприятности, связанные с разрывом с Е. А. Головкиной, сказались на подавленном настроении Скобелева накануне его отъезда из Минска. «Счастье только

в одной доброй семье. Там люди спокойны. Я вам очень и очень завидую,— говорил Скобелев ген. Духонину,— вы вернетесь домой, вас встретит семья, и вы забудетесь от волнующих вас мыслей — мало того, испытаете много радостей, видя возле себя вашу жену, не оставляющую вас даже на Шипке. А я? Вы уйдете, а я опять останусь один со своими мыслями... с терзающими меня сомнениями, со всею окружающей меня парадною обстановкой... Начинаешь думать, и опять ни до чего другого не додумаешься, что все на свете ложь, ложь!..» В последние дни, перед смертью, Скобелеву особенно ясно стало казаться, что он «свое дело выполнил, что ему идти вперед теперь невозможно, остается разве только размениваться». Чувствуя, что его роль полководца уже окончена, Скобелев в эти дни, ощущая в себе какую-то пустоту, ставит себе самому роковые вопросы. «Все на свете ложь! Все: и слава, и весь этот блеск — ложь! Разве в этом истинное счастье? Человечеству разве это надо? А ведь чего стоит эта слава! Сколько убитых, раненых, страдальцев, разоренных». «Кстати,— обратился Скобелев к Духонину,— вы человек верующий, религиозный; объясните мне, будем ли мы с вами отвечать Богу за массу людей, павших в боях?» Духонин пробовал было сослаться на учение церкви. «Вы это из катехизиса,— прервал его Скобелев,— я знаю, но что скажет голос совести? За что же, наконец, мы живем и наслаждаемся славой, добытой кровью братьев, сложивших свои головы?» Вся сила и знание этого состояния Скобелева, которое нам передал, как умел, ген. Духонин, и заключается в примитивной постановке вопроса, обращенного к себе. Для кондотьерской природы Скобелева трудно было найти успокоительные ответы. Он чувствовал, что, при его честолюбии, в современной ему России ему трудно будет развернуть свои дарования. Как умный и совестливый человек, он понимал, что ему необходимо приспособить себя к мирной деятельности, и своим природным чутьем он знал, что этот путь ведет в народную гущу, к сближению с народом. Вот почему он так много в последнее время говорил о своем хозяйстве в Спасском, о своей будущей деятельности на общественном поприще, особенно в области просвещения. Сюда же относится и тоска по семье. Но все эти рассуждения были от ума, даже от чувства, но не от природы. Скобелева тянуло к буре. Но теперь вставал вопрос о войне и о принципиаль-

ном отношении к ней. Его всегда упрекали, что он любит войну как войну. В беседе с Ж. Адан он утверждал, что войну ненавидит. На первый взгляд это кажется противоречивым, но это уже противоречие не только лично его, Скобелева, любящего радости наслаждения мирного времени, но каждого военного; для нас ценно именно сознание и ощущение этой антиномичности в скобелевской душе. В России этой эпохи еще держался запах пороха. «Россия теперь вся на Малаховом кургане,— говорил Скобелев,— мы опять отбиваемся от коалиции». Значит, опять война. «Как вспомню, что опять начнут валиться под пулями да под штыками мои солдаты... знаю, что надо... Лес рубят, щепки летят... Да ведь в каждой такой щепке целый мир. Ведь каждая такая единица, из которой мы складываем цифры убитых и раненых, носит в душе своей радости и страдания...» И Скобелев на последнем докладе ген. Духонина очень проникновенно высказал парадокс: «Я люблю войну, она моя специальность... Но в то же время и ненавижу ее». За что? Не за то, что она несет самому полководцу невыразимые страдания? Скобелев признавался не раз, что, в сущности, он свою славу создал на костях своих солдат. Но он страдал, когда его упрекали при этом в карьеризме, эгоизме и что все это «ради личной славы». Зная заботы Скобелева о солдатах и (как это ни странно, при огромных потерях в скобелевских боях на Балканах) его крайнюю осторожность в боях, где, в большинстве случаев, не было места случайности и необдуманности, можно поверить, как «ему было больно за эти бесчисленные жертвы». «Если бы вы увидели меня в бессонные ночи... Если бы вы могли заглянуть, что творится у меня в душе... Мне иной раз самому смерти хочется, так жутко, так страшно»*.

В таком мрачном настроении ген. Скобелев 22 июня выехал в Москву, получивши месячный отпуск. По обыкновению, он остановился в гостинице «Дюссо». Числа 25-го он и предполагал выехать в Спасское, где думал пробыть «до больших маневров», и звал к себе в гости ген. Гродекова**. В назначенный день отъезд почему-то не состоялся.

* «Русь. 1883. № 14.

** Любопытен конец письма к Гродекову: «А в Египте будет пифпафочка!!! Пусть бульдоги познают, как вкусно брать траншеи». Арх. Б.-Б.

Утром 25-го Скобелев дал знать И. С. Аксакову, что будет у него назавтра*. Обедая Скобелев с своим адъютантом Баранком. Скобелева не покидало мрачное настроение, все — «суета сует». — «А помнишь, Алексей Никитич, — обратился Скобелев к Баранку, — как на похоронах в Геок-Тепе поп сказал, что «слава человеческая, аки дым преходящий»... Подгулял поп, а... хорошо сказал...»

Вечером 25-го Скобелеву захотелось, очевидно, найти забвение в грубом чувственном кутеже. На углу Петровки и Столешникова переулка была гостиница «Англия», здесь жило очень много девиц легкого поведения, в том числе немка Ванда; она занимала в нижнем этаже флигеля роскошный номер и была известна всей кутящей Москве. В ее обществе и провел Скобелев последние часы своей жизни. Поздно ночью Ванда прибежала к дворнику и сказала, что у нее в номере скоропостижно умер офицер. Покойник был сразу признан, и прибывшая полиция быстро ликвидировала начавшуюся панику среди жильцов дома, немедленно переправив тело Скобелева в гостиницу Дюссо, в которой он остановился. Дали знать родственникам и проч. По рассказу кн. Д. Д. Оболенского, который будто бы застал Скобелева, «можно сказать, теплого», вскрытие тела происходило в присутствии гр. А. П. Баранова**. «Сердце оказалось настолько дрябло, что почти расплзлось»***.

О смерти Скобелева поползли всевозможные слухи, и она обросла такими легендами, что в них разобраться в настоящее время чрезвычайно трудно. Самая обстановка смерти этого человека, в жизни которого было так много подлинно высокого и красивого именно в соседстве со смертью, — была такова, что ее нужно было скрывать. Цензура не пропускала в газетах подробностей об этой кончине. Самая упорная версия, которая продолжает держаться до настоящего времени, говорит о том, что Скобелев был отравлен. Кем? Здесь слухи расходятся.

* Есть указания, что Скобелев лично был у Аксакова и принес связку бумаг на хранение, сказав при этом: «В последнее время я стал очень подозрителен» (М. Филлипов. Ген. М. Д. Скобелев. — СПб. 1894).

** Вскрытие производил прозектор Московского университета проф. Нейдиг. В протоколе было сказано: «Скончался от паралича сердца и легких, воспалением которых он страдал еще так недавно».

*** Кн. Д. Д. Оболенский. «Наброски из прошлого». «Ист. Вест.». Т. 59.

По одним версиям, это было дело рук немцев, что немка Ванда, которую в Москве прозвали «могилой Скобелева», действовала как агент Бисмарка. Эту версию очень поддерживала Ж. Адан, которая даже смерть ген. Шанзи и Гамбетты готова была поставить в том же ряду жертв Бисмарка, как и смерть Скобелева*. Каких-либо точных материалов, подтверждающих эту версию, у нас нет. Логически эта версия основывалась на непримиримой ненависти Скобелева к немцам и на той дикой радости, которая поднялась в немецкой печати по поводу смерти их даровитого противника. Странно, что сам Скобелев, так много говоривший о происках немцев в отношении себя, в данном случае оказался настолько легкомысленным, что сам пошел в эту ловушку. Но владелец ресторана «Эрмитаж», где в день смерти обедал Скобелев, заметил не без основания про Ванду, что «не будет она травить человека в своей квартире»**.

По другой версии, Скобелев был отравлен бокалом шампанского, присланным ему из соседнего номера какой-то подгулявшей компанией, пившей за здоровье Белого генерала. Здесь уже дело объясняют не немцами, а происками правительства Александра III. Народная молва говорила, что в дни предстоящей коронации предполагалось низложить императора и возвести на престол Скобелева под именем Михаила II. Не менее фантастические слухи были переданы впоследствии Дюбюком***. Будто бы ввиду антидинастических слухов правительство учредило под председательством в. кн. Владимира Александровича особый негласный суд из 40 человек, который большинством 33 голосов и приговорил Скобелева к негласной смерти, причем исполнение приговора было поручено какому-то полицейскому чиновнику.

Едва ли можно, хоть на минуту, допустить возможность такого суда, хотя эта версия имеет своих сторонников даже в настоящее время****. Скобелев слишком

*К сожалению, мне не удалось ни при жизни г-жи Адан, ни после ее смерти получить доступ к ее архиву. Впрочем, от наследников ее мне было передано, что в ее архиве никаких следов о ген. Скобелеве вообще не обнаружено, что, конечно, очень странно, так как сама г-жа Адан очень много писала об этих материалах, хранящихся у нее.

** Вл. Гиляровский. Мои скитания. Стр. 276.

*** «Голос Минувшего». 1917. №№ 5—6. Стр. 102.

**** Так, покойный В. И. Немирович-Данченко, по-видимому, был убежден в убийстве Скобелева «спадассинами Священной Дружины»,

мешал в высших сферах, и его неудобно было просто устранить. Говорят, что после запрещения военным чинам произносить тосты и речи Скобелев решил подать в отставку, но его отговорил ген. Н. Н. Обручев, сказав, что этим он поставит в затруднение правительство. На это Скобелев будто бы сказал: «Неужели вы ожидаете чего-нибудь от...»*. Самый вид Скобелева в момент смерти как будто противоречил всем этим слухам,— по словам Шукина, генерал был найден «голым, связанным и мертвым»**.

В сущности, в самой возможности ранней смерти Скобелева не было ничего загадочного и ненатурального. Может быть, хозяин «Эрмитажа» более всех был прав, когда сказал, что никто не отравлял Скобелева: «Был пьян и кончил разрывом сердца». Скобелев, по словам В. Верещагина, забыл, что ему не двадцать лет. В обстоятельствах искусственной возбудимости сердце Скобелева не выдержало. Это неудивительно. Его здоровье было не из крепких. Правда, он был вынослив и терпелив, но, по характеристике хорошо его знавшего как своего пациента д-ра Гейфельдера, Скобелев не отличался крепким здоровьем. У него были больны и желудок, и печень, и сердце, и Д. Д. Оболенский рассказывает, что как-то в ванне его «поразила дряблость его (Скобелева) все-таки молодого тела». Сыграли значительную роль и две сильные контузии, да и вообще у Скобелева была сильная склонность к аневризму. Последние месяцы его жизни отнюдь не способствовали его успокоению. Не умея, вернее, не желая устроить свою личную жизнь, Скобелев шел навстречу смерти с открытыми глазами. И она пришла, бесстыдная...

IV.

С раннего утра 26-го июня москвичей поразила весть о смерти Скобелева. Гостиница «Дюссо» осаждалась людьми самого разнообразного звания, пришедшими поклониться праху человека, чье имя стало националь-

убийстве, совершенном по приговору, подписанному без ведома царя одним из великих князей и Боби Шуваловым, считавшими этого будущего Суворова опасным для российского самодержавия» («На кладбищах». Воспоминания. Ревель, 1921. Стр. 69).

* Де Воллан. Очерки прошлого. «Голос Мин.». 1914. № 6.

** «Русский Архив». 1912. № 8.

ной гордостью. По единодушному свидетельству, это было подлинное народное горе, безутешное. Площадь перед церковью была запружена народом. Толпа целовала не только гроб, но и помост, на котором он стоял, после того как печальный и торжественный кортеж направился к Казанскому вокзалу. Гроб Скобелева, в цветах и венках, в полном смысле слова политых слезами, был перенесен в церковь Трех Святителей, что у Красных ворот, заложенную его дедом. Епископ Амвросий свою речь перед гробом Скобелева закончил следующими словами: «Ради любви его к нашему православному отечеству, ради любви к нему народа Твоего, ради слез наших и сердечной молитвы нашей о нем, паче же ради Твоей бесконечной любви, благоволительно приемлющей чистую любовь человеческую во всех ее видах и проявлениях, буди к нему милостив на суде Твоем праведном...»

К месту последнего успокоения тело Скобелева сопровождала часть войск под командой ген. Дохтурова. Траурный поезд из 15 вагонов с провожавшими прибыл 29 июня на ст. Ранненбург. Здесь он был встречен крестьянами села Спасского. Крестьяне разобрали венки, и печальное шествие пошло степной дорогой среди зеленых полей. Проходили селами, крестьяне служили литии даже под дождем. Помещики из соседних усадеб выезжали навстречу. День начался пасмурный, затем прошел сильный ливень с порывистым ветром. Через полчаса разведрилось, и вторая часть пути прошла под солнцем*.

У Спасского, у спуска на мост через реку, крестьяне пожелали нести гроб на руках: «С этого места мы и отца его, и мать носили на руках». Шествие с гробом прошло через усадьбу покойного, мимо небольшого дома, где он жил и перед которым была разбита клумба из золотистых цветов, изображавшая слова: «честь и слава». В старой церкви села, рядом с могилами отца и матери, лег последний из Скобелевых, владелец Спасского.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Смерть ген. Скобелева произвела огромное впечатление как в России, так и за границей. Перед лицом рока сгладились непримиримые оттенки в отношении к памяти

* «Всемир. Иллюстрация». 1882. № 704 и 706.

умершего генерала, что выразилось в единодушии скорби. Но в оценке его дарований такого единодушия не было. Едва ли не полнее всех их признание выразил Генеральный Штаб в надписи на венке: «Герою-полководцу, Суворову равному». Теперь, после полувека бурной истории и многочисленных военных опытов, можно сказать с полным убеждением, что в этой оценке Генерального Штаба не было преувеличений. Но тогда же, в печати, возникли упреки в этом, почти святотатственном, сравнении. В этом отношении обращает на себя внимание брошюра Г. Градовского, изданная через два года после смерти Скобелева* и пытающаяся дать оценку не только деятельности Скобелева, но и тому направлению, к которому он примыкал. Автор, будучи корреспондентом на театре войны, встречался с генералом на Балканах и, очевидно, много говорил о нем с военными. Градовский принадлежал к той категории русских публицистов, которые боролись с грубым шовинизмом некоторой части русского общества и против тех настроений, что-де, мол, «одного имени Скобелева достаточно, чтобы переделать Берлинский трактат» и т. д. Автор полагает, что идет вразрез с господствующими представлениями о ген. Скобелеве, и надеется, что «среди русских читателей не заглохла терпимость к чужому мнению». Надо сказать, что Градовский, развенчивая покойного популярного генерала, вовсе не был в особо трудном и одиноком положении, как старается показать. Мы видели, что Скобелев как политик был достаточно одинок и что большинство общественного мнения и правительство последних лет отнюдь не были на его стороне. Не давая ничего нового в этом отношении, Градовский предпочитает критиковать ген. Скобелева именно на том поприще, на котором и создана его слава,— военном; он собрал все обвинения и упреки, которые сыпались по адресу Скобелева с самых разнородных сторон. Градовский находит, что у Скобелева не было ума и таланта, необходимых для полководца, что его удачи и подвиги раздуты, а неудачи и промахи затушеваны. По его мнению, Скобелев ничем себя не проявил не только при переправе через Дунай, но и Плевненские бои и Ловча не только не подвиги, но иногда могут приравняться и к проступкам, что под Шейновым Скобелев попал лишь к шапоч-

* Г. К. Градовский. М. Д. Скобелев. Эюд по характеристике нашего времени и его героев.— Спб., 1884.

ному разбору, что здесь Скобелеву удалось «совершить с отрядом Святополк-Мирского ту проделку, которая не выгорела при Плевне относительно отряда Ганецкого», т. е. умышленно опоздать и явиться в критическую минуту в роли спасителя и проч. В настоящее время, после трудов Куропаткина, Леера, Зайничковского и др., от этих обвинений не осталось и следа. До какой степени сам Градовский не был на высоте необходимой в таких случаях осведомленности, показывает его суждение об Ахалтекинской экспедиции, которую он называет «ничтожной и которые выпадают на долю Англии чуть не ежегодно». Уже одно то, что Градовский все военные успехи Скобелева приписывает счастью, делает его отзыв о генерале дилетантским, и рецензент «Дела» справедливо припомнил по этому поводу поговорку Суворова: «Сегодня счастье, завтра счастье! Помилуй Бог, надо же когда-нибудь и уменье».

Обычный упрек Скобелеву в популярничанье и проч., конечно, выдвинут и Градовским. В сущности, Скобелев (и в этом его большая правда) сам никогда не отрицал рекламы вокруг своего имени, и, когда его упрекали в этом, он отвечал уничтожающим: «Попробуйте и вы!»

В настоящее время памфлет Градовского совершенно утратил свое значение и является только знамением времени.

Некий Вл. Марков в своих очень сумбурных воспоминаниях* рассказывает об отзыве М. Е. Салтыкова о ген. Скобелеве: «Разве это герой? Вся его слава дутая и пустая. Забубенная головушка, каких много. Эка важность какая: лезть драться. Сорви-голова, быть может, а не герой! Что пользы для России принес он?» Из дальнейшего изложения автора видно, что Салтыков рассердился на автора воспоминаний, тогда еще студента, который под свежим впечатлением смерти Скобелева принес в редакцию «Отеч. Записок» довольно бесталанное стихотворение. Что Салтыков на шумел на незадачливого стихотворца, это возможно, что он наговорил при этом много нелестного про Скобелева, это тоже возможно — Салтыков, как и большинство лиц его лагеря вообще, не ценили военной славы в такой степени, как люди, создавшие «скобелевский культ». Что думал на самом деле о ген. Скобелеве Салтыков, мы непосредственно

* «Рус. Ст.». 1913. № 1—2.

не знаем, но знаем, что написано о ген. Скобелеве в «Отечественных Записках», в редактировании которых принимал близкое участие и Салтыков. Этот журнал, по своим бытовым навыкам и общественному направлению, конечно, был далек от того времени почти иступленного тона, который мы встречаем по отношению к Скобелеву, напр., в «Руси» И. С. Аксакова. В «Отеч. Зап.» Скобелеву не посвящено специальной статьи, — о нем говорится вскользь, «по поводу внутренних вопросов», в том характерном для того времени стиле журнального обозревателя, который в настоящее время кажется слишком развязным. Но, вперемежку с мало идущей к делу полемикой против Каткова, в этой статье имеются строки с весьма серьезной оценкой ген. Скобелева. «Если у Скобелева не было, как у других полководцев, особенно громких побед и никто не знал его заветных дум и идеалов (никто, по крайней мере, из его многочисленных поклонников и друзей еще не сказал, в чем именно они состояли, да и вряд ли поручился бы за то, что он стал бы говорить и делать завтра), то все-таки у него были несомненные, в особенности для нашего времени, достоинства, которые и делали его популярным как среди солдат, так и в обществе; он не гнался за земными благами, не выпрашивал подачек и не захватывал казенных земель, не занимался гешефтами, мог спать и, по-видимому, даже предпочитал спать в траншее, а не на мягком тюфяке, он относился к солдату внимательно, не крал его сухарей и, подставляя его грудь под пули, подставлял рядом и свою. Это, говорю я, несомненные в наши дни достоинства, которым большинство даже удивляется. Скобелев — это какая-то в высшей степени непосредственная и в то же время что-то таившая в себе натура, натура недовольная и несчастная, при всем видимом счастье, натура отчасти романтическая и склонная к мистицизму, способная уложить более 20 тысяч человек в одну кампанию и плакать перед картиной сражения при Гравелоте, натура то разочарованная и не ставившая жизнь ни в копейку, то думавшая о будущем счастья, даже собиравшаяся помогать мужику, то тяготевшая к Москве, то говорившая о свободе народов». В этих немногих, но метких строках видна рука человека, который очень хорошо знал, что такое был генерал Скобелев, но что говорить о нем со всею свободой публицистического слова было нельзя. Автор

обозрения хотел бы определить Скобелева в «чисто художественном отношении» и здесь дает тоже очень меткий портрет. Кажется, по природе Скобелев был «одним из тех нетерпеливых людей, которые, настрадавшись и не видя исхода, начинают нетерпеливо рвать запутанный клубок жизни». Исходя из такого свойства скобелевской натуры, легко можно перейти к утверждению, что политика Скобелева являлась жестом отчаяния выйти из того тупика, запутанного «немцами» и «нигилистами», связь которых, пущенная в обиход Аксаковым, находила отклик и в Скобелеве. Из того «нисповедимого хаоса», в которое зашло русское общество на переломе двух царствований, выходов, конечно, было много самых разнообразных, но прежде всего стоял вопрос: выйти, лишь бы выйти... Куда именно? Этому вопросу Скобелев, по видимому, особого значения не придавал. Это мнение неизвестного автора, выразившего настроение редакции влиятельного журнала, очень остроумно. Очень корректно, но в то же время определенно журнал предполагает, что Скобелев как политик выступал как будто «не сам собою, а как будто кто-то толкал его сзади: фатум, обстоятельства или чья-то невидимая рука, смотревшая на него, может быть, просто как на прекрасное историческое мясо, могшее послужить для временного воплощения народного духа и национальной идеи». Допуская, что Скобелев был воплощением не одних только личных желаний и стремлений, журнал сомневается, «был ли он воплощением именно народного духа и стремлений» и (не без некоторой полемической иронии) с особенным ударением подчеркивает фразу «Московских Ведомостей», что «он возбудил и возвысил наши надежды и что, когда пробьет час великих дел, Скобелевы явятся на Руси», как вообще «из ее живых сил на новое дело появятся, Бог даст, новые деятели»*.

В «Отеч. Зап.» дан портрет Скобелева как бы со стороны, журналу незачем было полемизировать с политической памятью Скобелева — разница мировоззрений была слишком велика. В отзывах «Вестника Европы» прежде всего с полной отчетливостью отдается дань народной популярности генерала. «Мы едва ли ошибемся,— говорит автор «Из общественной хроники»,— если ска-

* «Отеч. Зап.», 1882. № 8. Стр. 236 и след.

жем, что в памяти и воображении народа Скобелев занял место рядом с Суворовым не только потому, что оба они слыли непобедимыми, но и потому, что оба умели проложить себе путь к солдатскому, а следовательно, и к народному сердцу. Это уметь дается не каждому: можно любить солдат не меньше, чем любил их Скобелев или Суворов, но не обладать искусством выражать эту любовь в тех формах, в которых она приобретает неотразимо обаятельную силу». Исходя из этого, «Вест. Евр.» совершенно не склонен, подобно «Руси», связывать эту народную любовь к Скобелеву с политическими идеалами генерала, — народная скорбь, — замечает журнал, — была бы не меньшей, если бы и не было ни петербургской, ни парижской речей Скобелева, ни его слез под стенами Константинополя и т. д. И журнал, перечисляя таланты умершего генерала, высказывается вполне убежденно, что при всех несомненных военных и административных талантах Скобелева он не был государственным человеком. Эти аргументы нам известны, и надо признаться, что в том смысле, в каком государственный опыт понимался в общественных условиях той эпохи и при неясных контурах политического мировоззрения Скобелева, этот отзыв «Вестника Европы» едва ли не справедлив. Скобелев умер признанным полководцем, но как государственный человек он был только в возможностях. Судьба его только привела к арее политической деятельности, но на ней ему места не нашлось, — в этом была трагедия его последних лет. В России Скобелева «обожали», но, в то же время и боялись: он был не по плечу той власти, которой служил, — она не знала, не могла придумать, что можно было сделать с этим талантливим, может быть, даже гениальным, генералом.

Но ему не было места и в среде, которая его знала, ценила и любила. Ген. Витмер, бывший профессор Академии Генерального Штаба и учитель Скобелева и большой почитатель его таланта, простодушно-правдиво рассказывает, как узнал он в Крыму о смерти Скобелева. «Ноги мои точно подкосило что-то, и я невольно опустился на стул... Но, опомившись, минут через десять я, не скрываю, перекрестился широким крестом: великое благо для России, — мелькнуло в моей голове, — что сошел со сцены этот талантливый честолюбец, возводивший войну в божественный культ. Задача наша — мир-

ное обновление, а он непременно втянул бы нас в войну!»*

Нет ничего ужаснее и символичнее этого признания! С таким примерно чувством говорили о смерти Пушкина, Лермонтова в высших сферах Петербурга. Большие люди не всегда по плечу современников. Правда, через 22 года, в Японскую войну, когда Скобелеву было бы только 62 года, Витмер признается, что «сколько раз приходилось говорить: «Господи, если бы был жив Скобелев!»

Расставаясь с героическим образом ген. Скобелева, нужно признать, что судьба, в конечном счете, была к нему милостива: она не дала ему славной смерти, но избавила его от медленного умирания. Но в народе память о нем не умерла. У него была кровная связь с Россией, с русским народом, народная любовь к нему была искренна и несомненна.

За каплю крови, общую с народом...

Сейчас же после смерти Скобелева пошла по Руси красивая и проникновенная легенда: «Будто Скобелев не умер, а, в виде бедного и гонимого властью странника, скитается по деревням, имея какое-то дело к народу»**.

Но «дело» его короткой жизни занимает серьезное и почетное место в истории России, которой он пламенно служил.

* «Русск. Ст.». 1908. № 5.

** «Общее Дело». 1882. № 50. Женева.



В.И.НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО

СКОБЕЛЕВ



ЛИЧНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ

Я уже говорил в прежних изданиях этой книги, что она — не биография Скобелева, а ряд воспоминаний и отрывков, написанных под живым впечатлением утраты в высшей степени замечательного человека. Между ними встречаются наброски, которые, может быть, найдут слишком мелкими. Мне казалось, что в таком сложном характере, как Скобелев, — всякая подробность должна быть на счету. Кое-где я привел взгляды покойного на разные вопросы нашей государственной жизни. С его убеждениями можно не соглашаться, но молчать о них нельзя. Разумеется, русскому писателю нельзя еще очертить убеждения Скобелева во всей их полноте. Он не был славянофилом в узком смысле — это несомненно. Он выходил из рамок этого направления, ему они казались слишком тесны. Ему было дорого народное и славянское дело. Сердце его лежало к родным племенам. Он чувствовал живую связь с ними, — но на этом и оканчивалось его сходство с нынешними славянофилами. Взгляды на государственное устройство, на права отдельных племен, на многие внутренние вопросы у него были совершенно иные. Если уж необходима кличка, то он скорее был русофилом. Письмо, полученное мною от его начальника штаба, генерала Духонина, после смерти Скобелева, между прочим, сообщает: в одно из последних свиданий с ним Михаил Дмитриевич несколько раз повторял: «Надо нам, славянофилам, сговориться, войти в соглашение с «Голосом»... «Голос» во многом прав. Отрицать этого нельзя. От взаимных раздражений и пререканий наших — один только вред России». То же самое не раз он повторял и мне, говоря, что в такую тяжелую пору, какую переживает теперь наше отечество¹, всем людям

¹ Писано в 1883 г.

мысли и сердца нужно сплотиться, создать себе общий лозунг и сообща бороться с темными силами невежества. Славянофильство понимал покойный не как возвращение к старым идеалам допетровской Руси, а лишь как служение исключительно своему народу. Россия для русских, славянство для славян... Живи сам и давай жить другим. Вот что он повторял повсюду. Взять у запада все, что может дать запад, воспользоваться уроками его истории, его наукою — но затем вытеснить у себя всякое главенство чуждых элементов, развязаться с холопством перед «чиновничьей и вообще правящей» Европой, с несколько смешным благоговением перед ее дипломатами и деятелями. «Ученик не лакей,— повторял он.— Учиться — я понимаю, но зачем же ручку целовать при этом?.. Они не наши, во многих случаях они являлись нашими врагами. А враги — лучшие профессора. Петр заимствовал у шведов их военную науку, но он не пошел к ним в вассальную зависимость. Я терпеть не могу немцев, но и у них я научился многому. А заимствуя у них сведения, все-таки благовенен перед ними не стану и на буксире у них не пойду. Разумеется, я не говорю о презрении к иностранцам. Это было бы глупо. Презирать врага — самая опасная тактика. Но считаться с ним необходимо. Между чужими есть и друзья нам, но не следует сантиментальничать по поводу этой дружбы. Она до тех пор, пока у нас с ними враги общие. Изменись положение дел, и дружбы не будет. Повторяю: учиться и заимствовать у них все, что можно, но у себя дома устраиваться, как нам лучше и удобнее». Никто более Скобелева не удивлялся взаимной нетерпимости разных литературных направлений у нас. Он никак не мог освоиться с тою мыслью, что при отсутствии политической жизни и свободы печати — борьба идей переходит в отдельную борьбу личностей. Ему казалось возможным сплотиться всем, составить общую программу, направить общие усилия к одной цели. С несколько комическою даже серьезностью он советовал: да вы сначала вкупе и влюбое поработайте, чтобы — отстоять свое существование, завоевать себе право на правду, а потом уж делитесь на партии, на кружки... Будущим идеалом государственного устройства славянских народов был для него союз автономий, с громадною и сильною Россиею в центре. Все они у себя делай внутри, что и живи, как хочешь, но — войско, таможня, монета

должны быть общими. Все за одного и один за всех. Я еще раз должен выразить глубокое сожаление, что об идеях и планах этого государственного человека гораздо правильнее пишут и говорят за границей, чем у нас. Жалкое положение отечественного писателя в этом отношении вне всяких сравнений, и поэтому мы поневоле ограничиваемся сказанным.

Родился М. Д. 17 сентября 1843 года. На первоначальное его воспитание, на склад этого замечательного характера более всего влияла мать — умная и энергичная Ольга Николаевна, урожденная Полтавцева. Покойный относился к ней с искренней любовью. «Она одна меня понимает, она одна меня ценит, — не раз повторял он. — Ах, если бы она могла со мной быть постоянно...» Скобелев настолько чувствовал нужду в человеке, с которым мог быть вполне откровенным, что после смерти матери он не раз просил свою тетку Полтавцеву: «Приезжай ко мне в Минск, ты меня избавишь от многого...» Насколько он был потрясен трагической кончиною Ольги Николаевны, видно из рассказов близких к нему людей. Она оставила в его душе все время не заживавшую рану. После этого на него стали находить припадки мрачности, глубокой, ни с чем несравнимой тоски и отчаяния. Он болезненно чувствовал одиночество. Он не раз жаловался на то, что около нет близкого, дорогого человека. Вот отрывок из письма его сослуживца, который правдиво рисует душевное настроение почившего героя:

«Мих. Дмитр. был в эту минуту весьма расстроен. Я старался изменить разговор и отвлечь его мысли в другую сторону. С этой целью я придвинул к себе портфель с докладом, но Скобелев, заметив это, объявил мне, что он сегодня не расположен заниматься делами. Затем он встал, взял меня под руку и стал прохаживаться по кабинету.

— Вы находите, что я очень взволнован сегодня?

— Да, и вам надо успокоиться!

— Это невозможно!..

— Почему?

— А потому! Все на свете — ложь, и счастье только в одной доброй семье. Там люди спокойны, откровенны. Я вам очень и очень завидую. Вы вернетесь домой, вас встретит семья, и вы забудетесь от волнующих вас мыслей, мало того, испытаете много радости, видя возле себя жену, не оставлявшую вас даже на Шипке, а я?..

Вы уйдете, я опять останусь один с своими мыслями... с терзающими меня сомнениями, со всею окружающею меня парадною обстановкою... Начнешь думать, думать и опять ни до чего другого не додумаешься, как до того, что все на свете — ложь и ложь!..

Болезненная струна, часто звучавшая в последнее время в душе Скобелева. И в то же время он говорил: тот, кто хочет совершить великое, должен быть один. Женская любовь — это ножницы, обрезающие крылья орлу.

— Со смертью матери — у меня оторвалось многое от сердца... И зажить оно не может. Все кровью сочится. К кому я пойду теперь, когда душа заболит?.. Вечно один и один... Сослуживцы?.. Я их глубоко люблю, знаю, и они меня любят, но это все не то. Тут я был сыном, другом... Один я знаю, — насколько я обязан ей, ее советам, ее влиянию. Она одна меня понимала. Ах, если бы она могла жить со мною постоянно...

Отец далеко не мог на него действовать таким образом. Отец был слишком суров, ограничен, формален. В старое время — отцы, действительно, являлись довольно строгим начальством для своих детей. Тогда даже ласка считалась вредно влияющей слабостью. С ним не мог ребенок чувствовать себя так, как с матерью, — это прошло и на всю остальную жизнь. С матерью он был весь нараспашку. Она знала его — со всеми его мечтами, планами, с тою интимною стороною жизни, которая бежала от парадной обстановки, от сослуживцев, от друзей.

Самым неприятным воспоминанием его детства был подлый и жестокий гувернер-немец, не щадивший самолюбия впечатлительного мальчонка. Независимый с самого раннего возраста, вспыльчивый, чрезвычайно подвижный — ребенок сразу подвергся всем прелестям германской муштры, еще усиливаемой презрением к русскому происхождению мальчонка. Скобелева «были прутком за всякий дурно выученный урок, за малейшие пустяки. Между гувернером и учеником установилась глухая вражда. Гувернер ухаживал за кем-то и, отправляясь к ней, надевал фрак, цилиндр и новые перчатки. Скобелев мазал ручку у дверей ваксой». Скобелев до такой степени ненавидел учителя, что, стиснув зубы, молчал под ударами, не желая криками и стоном доставить ему удовольствие. Зато в одиночку потом он плакал целые

ночи, воспитывая таким образом в себе с раннего детства ненависть к немцам, с одним из неприятнейших экземпляров которых он познакомился столь близко и столь основательно. 12-ти лет Скобелев был детски влюблен в девочку такого же возраста и катался с нею верхом. «Раз в ее присутствии гувернер-немец ударил его по лицу. Скобелев, взбешенный до последней степени, плюнул в него и ответил за удар пощечиной». Тут-то отец понял наконец, что такая система воспитания никуда не годится и ни к чему хорошему не ведет. Он отдал сына совсем в другие руки — Дезидерию Жирарде, державшему пансион в Париже. Грубый, тупой и подлый немец был заменен человеком совершенно противоположным. Мягкий, гуманный Жирарде и в ребенке умел уважать человека. Обладая громадным образованием, Жирарде — долго и после оставался для Скобелева идеалом благородства и честности. Круто изменившаяся воспитательная система принесла разом блестящие плоды. Жирарде, по счастливому выражению г. Маслова, стал развивать в Скобелеве религию долга. Привязавшись к Мих. Дм., он приехал с ним в Россию и более не разлучался. Впоследствии он приезжал к нему даже на войну, деля с ним ее боевые тревоги. После матери это была самая искренняя привязанность покойного. Когда я встретился со стариком на похоронах Скобелева, так и припомнил рассказы о нем. Передо мной был тип нежного, благородного и честного французского ученого, и тогда же мне пришло в голову, к каким последствиям, даже совершенно безотчетно, могло привести Скобелева незаметное, шаг за шагом, сопоставление Жирарде с первым гувернером — немцем.

Семья Скобелева хотела, чтобы он закончил образование в России.

Он поступил в Петербургский университет, но во время беспорядков в 1861 году должен был поневоле оставить его. Он слушал лекции по математическому факультету, хотя его тянуло совсем в другую сторону, и у себя дома, вместо университетских лекций, Скобелев просиживал над военными науками. Выйдя из университета, он поступил юнкером в кавалергарды и через два года, произведенный в корнеты, перевелся в гродненские гусары, чтобы принять участие в военных действиях в Царстве Польском. Под Меховым и в других делах он сразу выказал замечательную личную храбрость и воен-

ные способности вместе с великодушием к побежденным. По окончании восстания он поступил в Николаевскую академию генерального штаба, где по виду занимался как будто бы очень мало, а в действительности, разумеется, гораздо глубже других входил в дело. Тем не менее его считали не особенно «старательным», и только совершенно особый случай доставил ему возможность зачислиться в генеральный штаб. На практических испытаниях в северо-западном крае Скобелеву задано было отыскать наиболее удобный пункт для переправы через р. Неман. Для этого нужно было произвести рекогносцировку всего течения реки. Вместо того Скобелев прожил все время в одном и том же пункте. Явилась поверочная комиссия с генер.-лейт. Леером. Скобелев на вопрос о переправе вместо всяких разглагольствований, долго не думая, вскочил на коня и, подбодрив его нагайкой, прямо с места бросился в Неман и благополучно переплыл его в оба конца. Это привело Леера в такой восторг, что он тотчас же настоял зачислить решительного и энергичного офицера в генеральный штаб. Такая система переправы и потом практиковалась уже генералом Скобелевым. Перед переходом Дуная он в 1877 году сделал то же. Сбросив с себя платье, велел расседлать и размундштучить коня и в одном белье верхом переплыл в оба конца громадную реку. На маневрах, незадолго до смерти, он от кавалерийских полков требовал того же.

— Пусть у меня в корпусе подготовка кавалерии будет поставлена так, чтобы переправа вплавь не затрудняла ни больших, ни малых отрядов. Не знать препятствий на войне, уметь искусно преодолевать их — великие данные для победы, и я хочу вооружить вас подобным знанием! — обратился он к своим.

Вслед за тем он приказал на следующий день екатеринославским драгунам приготовиться к переправе всем полком. Появилось несколько удивленных физиономий.

— Как это вплавь, да еще всем полком?

— Я сам буду руководить переправой и за все последствия принимаю ответственность на себя! — ответил на это Скобелев.

На другой день, созвав всех офицеров и унтер-офицеров полка, он рассказал им в чем дело, и затем прибавил:

— Впрочем, к разговору лучше прибавить и показ. Дайте мне лошадь, только не степную, привычную, а воспитанную на конюшне!

Ему подали кровного английского скакуна. Он велел его расседлать, а затем разделся сам и в одном белье верхом на коне погрузился в глубь реки. Лошадь стала тонуть, нырнул и Скобелев, но, не потеряв духа, поводом направил лошадь на противоположный берег. Эта борьба на самом глубоком месте реки продолжалась минуты две, затем конь покорился Скобелеву и выплыл благополучно на намеченное место.

— В другой раз конь будет смелее и послушнее!

И Скобелев тотчас же повторил переправу. Конь поплыл спокойно и уже без сопротивления.

Перед последним его выездом из Минска Скобелев отдал все приказания для подготовки на предстоящие маневры к концу августа в Могилеве опыта переправы через Днепр целого отряда по военному составу из войск всех трех родов оружия.

Таким образом, еще юношей Скобелев уже показал то, чем он был впоследствии.

В 1864 году он посетил театр войны в Датскую кампанию, а через четыре года был назначен в Туркестан, где в 1869 году уже принимал участие в действиях генерала Абрамова на Бухарской границе. В 1870 году М. Д. был назначен на Кавказ, а в 1871 году уже состоял при полковнике Столетове в Закаспийском крае, где произвел скрытую рекогносцировку к Саракамышу. Это не входило в виды Кавказского начальства, вообще и впоследствии не особенно расположенному к молодому талантливому офицеру. Результатом было возвращение Скобелева в Петербург.

Об этом периоде его жизни рассказываются всевозможные басни.

Разумеется, как кипучая натура, Скобелев не мог оставаться в благоразумных пределах будничной, мещанской морали; молодость брала свое, а бездействие, часто вынужденное, толкало в бешеную жизнь местной золотой молодежи, убивавшей избыток сил на кутежи, на выходы, иногда доходившие до невозможного. Тем не менее большинство эпизодов, передающихся участниками этих оргий,— разумеется, вымышлено, как вымышлены не столько подлые, сколько просто глупые рассказы о том, как Скобелев — этот богатырь былинный — являлся

в то время будто бы изнеженным и трусливым бар-чонком. Все, что хотите, только не это. Разумеется, питерским хлыщам, являвшимся в Туркестан, глаза мозолил — некогда их бывший товарищ, делавший такую быструю карьеру и ослеплявший даже привычных к опасности людей львиною храбростью, отвагою легендарного витязя. Поэт войны и меча уже и тогда в сильные, резко намечавшиеся формы. Часто ему приходилось испытывать мужество подчиненных ему людей, и нам помнится, с каким комическим негодованием передавал один из баловней петербургского режима эпизод, в котором и ему самому случилось участвовать. Дело в том, что раз в экспедиции Скобелеву на пути встретился заключенный в глиняные стены и оставленный разбежавшимися сартами город. Скобелев, желая, вероятно, испытать, насколько он может положиться на храбрость только что прибывшего к нему петербуржца, — поручает ему осмотреть этот город.

— Вы мне дадите конвой?

— Нет, поезжайте в одиночку!

— Но там могут... — колебался тот.

— Вы, значит, трусите?

Приезжий, желавший показать себя не со стороны одной яркости перьев, но и как храброго молодчинищу, дал шпоры коню. Город он проскакал и, воротясь, доложил, что жителей нет.

— Я это, душенька, знал и без вас! — засмеялся Скобелев.

— Вот этого смеха я ему и до сих пор простить не могу. Помилуйте, за что он заставил меня испытать ужас одиночества в городе, предполагавшемся населенным врагом?..

В пояснение к этому нужно прибавить, что Скобелев, разумеется, не задумался бы сделать то же самое с тем различием, что его не остановило бы, если бы город не был оставлен, а жители его оказались на местах. В Алайском походе он делал и почище вещи — и не кричал о них, не рассказывал. Это было своего рода искусство для искусства, жажда ощущений. Спокойный формализм Петербурга ненадолго мог удержать Скобелева. Орел в курятнике зачух бы или вырвался оттуда. В Коканде открылись военные действия — он бросился в Среднюю Азию. «В 1873 году, командуя авангардом войск, действовавших против Хивы, М. Д. участвовал в делах под

Итабаем, Ходжейли, Мангитом, Ильялами, Хош-Купыром, Джананьком, Авли и Хивою, а также и в иомудской экспедиции. В августе того же года он произвел скрытую и опасную экспедицию к Ортакую. Уже тогда его встретил на боевом поле Мак-Гахан и посвятил ему одну из самых задушевных и блестящих страниц своего описания Хивинского похода». Через год после того мы уже видели Скобелева в Южной Франции. Поехал он в Париж, но, наскучив бездействием и заинтересовавшись партизанскими действиями карлистов, пробрался к Дон-Карлосу, оборонительные действия которого считал более достойными изучения, чем действия регулярной испанской армии. Тут он был свидетелем битв при Эстелье и Пепо-ди-Мурра. В данном случае Скобелев вовсе не являлся традиционным бонапартистом, для которого все равно, где бы ни драться, лишь бы драться. Он, как военный специалист, смотрел на это дело и брал свое, где его находил, вглядывался во все, что ему казалось полезным и заслуживающим более пристального наблюдения. Оттуда в Париж он вернулся с парюю попугаев, целою массою оружия и громадным количеством заметок и записок о партизанской горной войне, об обороне местностей не регулярной, а только что набранной из крестьян армией. «Мне надо было видеть и знать, что такое народная война и как ею руководить при случае». Враги Скобелева в данном случае обратили внимание на попугаев и упустили его наблюдения и заметки. Что же — всякому дорого свое!

«Вслед за тем Скобелев, сначала в должности начальника кавалерии, а затем как военный губернатор Ферганы и начальник всех войск, действовавших в бывшем Кокандском ханстве, принимал участие и руководил битвами при Кара-Чукул, Махраме, Минч-Тюбе, Андижане, Тюра-Кургане, Намангане, Таш-Бала, Балыкчи, Чиджи-Бай, Гур-Тюбе, Андижане — второй раз, Асса-ке, Коканде, Янге-Арыке. Он же организовал и без особых потерь совершил изумительную экспедицию, известную под именем Алайской. Тут ему приходилось совершать горные переходы через перевалы Сары-Магук на высоте 18 000 фут и Арчат-Даване на 11 000 футах. В последнюю Турецкую войну, при переходе Балкан, он воспользовался опытностью для подобных походов и сумел не потерять ни одного солдата от мороза и метели там, где у других вымерзали целые полки и дивизии.

Скобелев в это время был известен только в Туркестане.

Наезжавшие оттуда люди «белой кости» — разочаровавшиеся в своих упованиях на георгиевский крест и столь же быструю карьеру — бранили Скобелева как только могли. Явилась оскорбительная, разумеется, по их мнению, кличка Победитель халатников.

— Помилуйте, да разве может выйти что-нибудь из него? — сообщал мне один из таких.

— Почему же?

— Да ведь он со мной вместе в одном полку служил!

— За что же вы полк свой оскорбляете?

— Как так?

— Да разве из вашего полка ничего хорошего выйти не может?

— Нет, не то... Но я вместе с ним кутил... Помилуйте, в Тифлисе — мы петуха в пьяном виде подвергли смертной казни, с соблюдением всех предписанных на этот случай обрядов. И вдруг — герой, полководец, гений...

Я, разумеется, только расхохотался над этой наивностью.

Из моей книги видно, как здесь приняли Победителя халатников.

Гении Красного села и звезды питерских зал столкнулись с настоящей боевой силою. Результатами этого были случаи, от которых М. Дм. в первом периоде войны рыдал, как ребенок.

Здесь, в этом кратком, даже слишком кратком наброске о его прошлом мы не приводим рассказов о его деятельности в Турецкую войну — этому посвящена большая часть моей книги. По окончании войны Скобелеву недолго пришлось бездействовать. В Закаспийском крае тяжелая неудача постигла наш отряд, «руководимый неопытными начальниками». Поправить дело поручили Скобелеву, он блистательно выполнил это назначение. 12 января 1881 года — в то время, как благоприятели злорадствовали по поводу якобы неудач Скобелева, когда всюду расходились зловещие вести о том, что Скобелев в плену, что наши бегут из-под Геок-Тепе, — вдруг телеграмма принесла весть о падении крепости и полном разгроме этих легендарных богатырей-разбойников...

Удивительная жизнь, удивительная быстрота событий: Кокаид, Хива, Алай, Шипка, Ловча, Плевна 18 июля,

Плевна 30 августа, Зеленые горы, переход Балканов, сказочный по своей быстроте поход на Адрианополь, Геок-Тепе и неожиданная, загадочная смерть — следуют одно за другим, без передышки, без отдыха.

Смерть неожиданная... Неожиданная для других, но никак не для него... Я уже говорил о том, как он не раз выражал предчувствия быстрой близкой кончины друзьям и интимным знакомым. Весною прошлого года, прощаясь с д-ром Щербаком, он опять повторил то же самое.

— Мне кажется, я буду жить очень недолго и умру в этом же году!..

Приехав к себе в Спасское, он заказал панихиду по генерале Кауфмане.

В церкви он все время был задумчив, потом отошел в сторону, к тому месту, которое выбрал сам для своей могилы, и где лежит он теперь, непонятный в самой смерти.

Священник, о. Андрей, подошел к нему и взял его за руку.

— Пойдемте, пойдемте... Рано еще думать об этом...

Скобелев очнулся, заставил себя улыбнуться.

— Рано?.. Да, конечно, рано... Повоюем, а потом и умирать будем...

Прощаясь с одним из своих друзей, он был полон тяжелых предчувствий.

— Прощайте!..

— До свидания...

— Нет, прощайте, прощайте... Каждый день моей жизни — отсрочка, данная мне судьбою. Я знаю, что мне не позволят жить. Не мне докончить все, что я задумал. Ведь вы знаете, что я не боюсь смерти. Ну, так я вам скажу: судьба или люди скоро подстерегут меня. Меня кто-то назвал роковым человеком, а роковые люди и кончают всегда роковым образом... Бог пощадил в бою... А люди... Что же, может быть, мы ошибаемся во всем и за наши ошибки расплачивались другие?.. И часто, и многим повторял он, что смерть уже сторожит его, что судьба готовит ему неожиданный удар.

И это было не мимолетное скоропроходящее чувство, легкое расстройство нервов. Напротив.

Скобелев, как каждый русский человек, был не чужд тому внутреннему разладу, который замечается в наших лучших людях. Его постоянно терзали сомнения. Анализ

не давал ему того спокойствия, с каким полководцы других стран и народов посылают на смерть десятки тысяч людей, не испытывая при этом ни малейших укоров совести, полководцы, для которых убитые и раненые представляются только более или менее неприятною подробностью блестящей реляции. Тут не было этой олимпийской цельности, Скобелев оказывался прежде всего человеком, и это-то в нем особенно симпатично. Очень уж не привлекателен даже гениальный генерал, для которого ухлопать дивизию — то же, что закусить. Это не ложная и пагубная сантиментальность начальников, чуть не плачущих перед фронтом во время боя. В такие минуты Скобелев бывал спокоен, решителен и энергичен, он сам шел на смерть и не щадил других, но после боя для него наступали тяжелые дни, тяжелые ночи. Совесть его не успокаивалась на сознании необходимости жертв. Напротив, она говорила громко и грозно. В триумфаторе просыпался мученик. Восторг победы не мог убить в его чуткой душе тяжелых сомнений. В бессонные ночи, в минуты одиночества полководец отходил назад и выступал на первый план человек, с массою нерешенных вопросов, с раскаянием, с мучительным сознанием того, какой дорогой цены, страшной цены требует неумолимый занмодавец-судьба за каждый успех, в кредит отпущенный ею. Тысячи призраков сходились отовсюду с немим укором на бескровных устах — и недавний победитель мучился и казнился, как преступник, от всей этой массы им самим пролитой крови. Как кому, не знаю, а для меня такой живо и глубоко чувствующий человек гораздо выше каменных истуканов, для которых бой — математическая формула с цифрами вместо людей! В высшей степени интересно в этом отношении доставленное мне письмо¹ об одном из последних дней жизни М. Д.

Приведу из него некоторые отрывки.

«21 июня я имел последний служебный доклад у генерал-адъютанта Скобелева. Я его застал очень расстроенным, желтым.

— Не чувствуете ли вы себя больным? — спросил я.

— Да... Нужно заняться своим здоровьем... Дня через четыре я буду у себя в Спасском и начну правильное лечение!

¹ Письмо Михаила Лаврентьевича Духонина.

— Что у вас?

— Катарр и притом самое тяжелое, угнетающее состояние духа!

— Это всегда так бывает при подобных болезнях. Только такой сильный человек, как вы, должен бы совладать с собою!

— Я постараюсь...

Засим он начал разговор по поводу виденной им у меня картины, изображающей смерть майора Калитина со знаменем болгарской дружины в руке¹.

— Нравится вам она?..

— Вот завидная смерть... Я бы хотел покончить свою жизнь такую именно смертью — во главе моего четвертого корпуса!

— Ну, М. Д., в бою, даст Бог, четвертый корпус не дрогнет, а потому и смерти, подобной смерти Калитина, не понадобится!

— Да, вы правы. Разумеется, четвертый корпус не дрогнет... Но я все же хочу славной смерти или...

— Или что?..

— Умирать пора... Один человек не может сделать более того, что ему под силу... Я свое дело выполнил, и далее мне не идти вперед, а назад Скобелевы не пятились. Теперь мудреное время, и мне остается только «размениваться». Раз я вперед идти не могу — чего же жить?

Видимо, в этот день ему было особенно тяжело.

— Я дошел до убеждения, что все на свете ложь, ложь и ложь... Вся эта слава и весь этот блеск — ложь... Разве в этом истинное счастье? Человечеству — разве это надо?.. А ведь чего, чего стоит эта ложь, эта слава? Сколько убитых, раненых, страдальцев, разоренных!.. Кстати, вы человек верующий, религиозный... Объясните мне: будем ли мы с вами отвечать Богу за массу людей, которых мы погубили в боях?

— По учению церкви — убивать во имя воинского долга и присяги допускается. При погребении война она разрешает от этого греха!

— Вы это из катехизиса... Я знаю. Ах, это не то, совсем не то! Что скажет голос совести? За что же мы,

¹ Майор Калитин убит при защите Эски-Загры во главе болгарского ополчения, с его знаменем в руках, в тот момент, когда под напором бесчисленных таборов Сулеймана горсть наших войск должна была отступить.

наконец, живем и наслаждаемся славою, добытой кровью братьев, сложивших свои головы?..

Как симпатична эта черта в покойном!

Видимо, не дешево для его чуткой совести и глубоко страдавшего сердца достались эти лавры.

Несколько успокоившись, он стал говорить о хозяйстве в своем Спасском, о своих дальнейших намерениях, об устроенной там школе и приглашать своего собеседника и сослуживца приехать погостить к нему с женою. В то же время он послал приглашение к г. Хитрово...

— Там я успокоюсь, воскресну,— повторял он мне.— Вы знаете — там я положительно чувствую себя другим человеком...

И по приезде в Москву покойный кипел жаждою деятельности... Сотни планов рождались у него в голове... Сотни планов, и больших, и малых; впрочем, для него не было малого дела, он так же серьезно стоял на страже народных интересов, так же серьезно обдумывал устройство своих сельских школ, учреждение инвалидного дома, как серьезно готовился ко всевозможным случайностям будущего.

Но судьба готовила ему уже ту самую смерть, которую в тяжелые, редкие минуты хотел он сам.

За весь последний год, как и прежде, кругом кишмя кишели враги, росли зависть и злоба, и он болезненно чувствовал свое одиночество, жаловался на то, что около него нет близкого, дорогого человека... Скорбная нотка звучала иногда и в самые лучшие и светлые минуты его жизни.

— Дела впереди еще много!..— говорил он мне в Москве — Наши силы нужны... Всем следует сплотиться и отстаивать свое... Враг со всех сторон идет; неужели вы не понимаете, что Россия теперь вся на Малаховом кургане?

— Как это?

— Да так; мы отбиваемся опять от коалиции... Ото всюду нахлынули недруги... Разве это не войну они ведут с нами?.. Да, еще понадобятся наши силы... Одно страшно, жутко...

— Что это?

— Как вспомню, что опять начнут валиться под пулями да под штыками мои солдаты... Знаете, разумеется, надо... Сознаю, что надо... Лес рубят — щепки летят... Да ведь в каждой такой щепке целый мир... Ведь

каждая такая единица, из которой мы складываем цифры убитых и раненых, носит в душе своей и радости, и страдания... Ведь сколько мук опять... Да, знаете... я люблю войну, она моя специальность. Но, в то же время, я ненавижу ее... А внутри у нас! Что делается внутри — ведь это ужасно! Мы еще отвоевываем независимость другим племенам, даруем им свободу — а сами! Разве вы и я — не рабы? Настоящие рабы — бесправные парии, бессильные, разобщенные, вечно подневольные.

— Они думают,— говорил он нам,— о том, что для меня нет ничего лучше, как вести за собою войска под огонь и смерть... Они думают, что я это из эгоизма... Ради личной славы... Нет, если бы они увидели меня в бессонные ночи... Если бы могли заглянуть, что творится у меня в душе... Иной раз самому смерти хочется, жутко, страшно... Так больно за эти бесчисленные жертвы!..

I.

Громадная, молчаливая толпа перед гостиницей Дюссо. Обнаженные под палящим солнцем головы, заплаканные лица, растерянные взгляды... Со всех концов Москвы собралась и стоит она, храня благоговейную тишину. Только грохот дрожек по мостовой да крики полиции, усердно работающей, неведомо зачем, локтями и кулаками, нарушают безмолвие... С каждой минутой толпа эта растет и растет, набегают новые, наскоро крестятся и с упорною настойчивостью начинают вглядываться в два окна отеля, еще не занавешенные, как это распорядились сделать потом.

— Там?..— отрывисто спрашивают вновь приходящие.

— Ужели ж помер?..

В окнах, о которых мы говорим, под горячими лучами дня, пронизывающими их, мелькает то заплаканное женское лицо, то эполеты каких-то наскоро съехавшихся сюда генералов, то расшитый золотом мундир камергера. Что они ему? Что было между ними общего, когда еще жил он?

— На площади бы панихиду!..— слышится в толпе.

— Сказывают, еще и там не служили...

«Да неужели Скобелев умер?» И как-то невыносимо дика кажется эта мысль; видишь всю эту печальную обстановку смерти, этих растерянных людей, эти тысячи

молящихся и все-таки думаешь, что тут ошибка, недоразумение... Вот-вот выйдет кто-нибудь и объявит, что белый генерал очнулся... Но, увы,— не выходит никто... Народ видит в окна, как какой-то молоденький адъютант прислонился к стене и рыдает. Карета за каретой подъезжают к отелю, выходят оттуда сумрачные люди. Все точно ошеломлены горем. Как удар сверху — неожиданно. Еще не чувствуя боли — одно остоление на всех...

— Что же это, что это?..— слышится кругом, но едва-едва, пересохшие от тоски уста только шепчут, точно боясь нарушить загадочный покой этого мертвеца — любимца восьмидесятимиллионного народа, рокового человека, так рано отмеченного судьбою и так безвременно сбитого с ног бессмысленною, неведомо зачем и откуда налетевшей силой... Точно смыло его куда-то... Еще вчера был, работал, готовился к громадным делам, еще накануне сосредоточивал на себе тысячи надежд и упований... И вдруг!.. Было отчего потерять голову...

В подъезде гостиницы — встречаю знакомого... Слезы на глазах, такое же растерянное лицо...

— Послушайте, что это...

— А вот... вот... Вы больше, чем кто-нибудь, чувствуете эту потерю. Вы его знали лично...— видимо, удерживается, чтобы не разрыдаться,— в час панихида будет...

Слова срываются помимо его воли, мешаются...

В отделении, занятом покойным Михаилом Дмитриевичем, уже толпа... Молча раздвигается она, пропуская вновь прибывающих и так же молча сдвигается... Говорят шепотом, плачут тоже про себя, точно сдерживая рыдания, словно боясь нарушить торжественный покой человека, бессильно лежащего теперь там, за тою запертою дверью... Вот любимый адъютант Скобелева подполковник Баранок... В последний раз я видел его под Константинополем.

— При каких обстоятельствах... Опять увиделись... Скобелева нет уже.. И не будет такого, как он...

— Здравствуйте! — подходит ко мне другой адъютант, Эрдели.— Умер наш генерал...— и тут же отвертывается в угол, бессильно, неслышно рыдая...

Какие-то люди сиют... Очевидно, все за делом пришли... Вон сотрудник московских газет растерянно бежит из угла в угол... Вон фотограф Панов сел у двери, да

так и застыл... Вон какой-то армейский генерал расставил ноги посреди комнаты и заковался...

— Ваше превосходительство!..— подходит к нему кто-то...

— Громом пришибло-с... Громом-с... Вот после этого и верь-с... Правда-то где? Где правда?..

Тихо проходит вся в слезах дама... Родственница покойного... Шепчется о чем-то с генерал-губернатором Долгоруким — тот, очевидно, тоже еще не чувствует боли этой потери, а пока лишь ошеломлен ею... То встанет и ухватится за одну точку, то сядет и безнадежно разведет руки.

— Еще вчера веселый, сильный, здоровый... Смеялся, шутил над нами... Сегодня вбегают ко мне — пожалуйте, генерал умер!.. Обругал денщика, думаю, генерал шутит... Он часто так-то... Сам станет за дверью со стаканом воды. Вбежишь к нему в комнату, а он водой тебя... думал, и теперь... Осторожно вхожу... Лежит... Еще теплый, но совсем одеревеневший, а ведь и часу нет... О, Господи, Господи! — и Эрдели хватается за голову.

Двое врачей четвертого корпуса, Гелтовский и Бернатович, тоже здесь. Блестящий петербургский генерал с вензелями... Этот больше занят собственной своей особой. Я всматривался в лицо другого военного, рядом стоящего, и вспоминаю. Во время войны его называли первой шарманкою российской армии... Разлетается он к армейскому генералу, тот, видимо, еще не очнулся. Нос башмаком и красный, ноги колесом...

— Нужно признаться!.. Покойник был хороший генерал... Не дурной-с,— авторитетным тоном заявляет «первая шарманка».

Косолапый генерал пыжится... Пыхтит, краснеет.

— Если он был не дурной... Так мы с вами, ваше превосходительство, что после этого... в денщики к нему... Да и то, пожалуй, не годимся!

Паркетный генерал не унимался. Около стоит молодой офицер генерального штаба с черными, печальными глазами...

— Корпус много потерял в нем!.. И войско тоже!

— Не корпус и не войско, а весь народ, вся Россия, ваше-ство!..

В час назначена панихида... Едва-едва удалось добиться этого. Хотели служить ее на другой день только после вскрытия трупа... Высокий красивый архимандрит

с черными волнистыми волосами и расчесанной бородой как-то неуверенно, робко показался в дверях с причтом, да там и застыл... Легкий запах кипариса и ладана пронесся в воздухе. Солнечные лучи шире ложатся в комнатах, золотя густые эполеты, красным полымем вспыхивая на лентах и искрясь на звездах...

«Зачем эти живут?.. Зачем не они лежат там вместо него, всем дорогого, всем необходимого?» — шевелится на душе обидное сожаление...

— Знаете, какая разница между Скобелевым и этими?.. — слышится около.

— Какая?

— Разорвись тут граната, эти упадут — а он встанет...

— Его нужно вынести на площадь и показать народу!.. Он народу принадлежит, а не тем, которые только мертвому записываются в друзья!.. Пусть на площади служат панихиду — народ молиться за него хочет...

И глядя сквозь окна на эти благоговейные толпы, на эти глубоко взволнованные лица потрясенных людей, я верил, что только там, только они чувствуют, как следует, всю грандиозность этой потери... Им, именно им нужно было отдать его, чтобы ни напыщенные фразы, ни приторные слезы не оскорбляли его праха... Там он был бы своим между своими — там искренние слезы лились за него, там за него молились и страдали...

Кто-то в толпе стал рассказывать о последних часах жизни М. Д. Скобелева.

Слушал, слушал старик какой-то... Крестьянин по одежде...

— Прости ему, Господи, за все, что он сделал для нас, для России... За любовь его к нам прости да наши слезы не внемл ему во грех!.. И он человек был, как мы все... Только своих-то больше любил и изводил себя за нас...

И вся окружающая толпа закрестилась — и если молитва уносится в недостигаемую высоту неба — эта была услышана там, услышана Богом правды и милости, иначе понимающим и наши добродетели, и наши преступления.

В другой толпе рассказ шепотом.

— Был я у Тестова... Вдруг входит он и садится с каким-то своим знакомым... Я не выдержал, подхожу к нему... Позвольте, говорю, узнать, не доблестного ли Скобелева вижу? Дозвольте поклониться вам!.. Он веж-

ливо так встал тоже... С кем имею честь говорить? — спрашивает.— Бронницкий крестьянин такой-то, говорю. Подал он мне руку и так задушевно, по-дружески пожал мне мою!.. Ушел я, заплакал даже!

— Он простых любил, сказывают!

И целый ряд рассказов, один за другим, слышался в толпе. Появились солдаты, лично знавшие покойного...

Из спальни, где лежал труп, его вынесли наконец в небольшую комнату, которая еще ничем не была убрана. Первая панихида носила искренний характер. Сюда собрались только знавшие покойного. Не было еще и почетного караула. Когда я вошел сюда, на столе, покрытый золотой парчой, лежал Скобелев. Его не одели, и покров был натянут до подбородка... Громкие уже рыдания слышались кругом... Свет падал прямо на это изящное, красивое лицо, с расчесанною на обе стороны русою бородою, на этот гениально очерченный лоб, с темною массой коротко стриженных волос...

Совсем, совсем спокойное, только страшно желтое лицо... Он, когда волновался, делался гораздо бледнее, чем теперь... Точно заснул... Улыбка лежит на губах, и тоже безмятежная, ясная... Широкою полосой горят лучи на золоте парчового покрывала...

— Не тот покров, не тот покров!..— суетится кто-то позади.

— Чего вам? — спрашиваю я...

— Совсем не тот покров...

— Да вы-то кто?..

— Причетник... У нас для сугубых героев которые, есть егорьевский покров... А покойный-то — егорьевский кавалер ведь...

— Как будто не все равно!

Спит... Совсем спит... Кажется, вот-вот проснется и улыбнется нам своею молодою, изящною улыбкой, которая как-то еще красивее казалась на этом молодом и бледном лице... Спит... Только одно — муха вон ходит по лицу... На глаз забралась, ползет по реснице... Остановилась, почесала лапки... Смахнули ее — на нос пересела... Нет, умер!.. Волны лучей, льющихся в еще незанавешенные окна, придают странную жизнь этому неподвижному лицу... Точно не шевеля ни одним своим мускулом, оно как-то непонятно то и дело меняет выражение... Пришел кто-то, всколыхнулся воздух, вздрогнули разбросанные по сторонам волосы бороды... ?

— Вы знаете, что тут один купец сказал...— обращается ко мне.

— Что?..

— На первых порах он как-то протолкался... Смотрел, смотрел... Ишь, говорит, Михаил Дмитрич, при жизни смерти не боялся, а пришла она, умер — да и мертвый смеется ей!..

И действительно смеется...

Уже потом тень чего-то строгого, серьезного легла на это-и в самой своей неподвижности красивое лицо... Образовались какие-то незаметные прежде линии вокруг сомкнувшихся на веки глаз, у резко обрисованного носа... Невольно думалось, глядя на этот труп: сколько с ним похоронено — надежд и желаний... Какие думы, какие яркие замыслы рождались под этим выпуклым лбом... В бесконечность уходили кровавые поля сражений, где должно было высоко подняться русское знамя... Невольно казалось, что еще не отлетевшие мысли, как пчелы, роятся вокруг головы его, и какие мысли, каким блеском полны были они!.. Вот эти мечты о всемирном могуществе родины, о ее силе и славе, о счастье народов — дружных с нею, родственных ей, о гибели ее исконных врагов, беспощадной и бесповоротной гибели!.. Сотни битв, оглушительный стихийный ураган залпов, десятки тысяч жертв, распростертых на мокрой от крови земле... Радостное «ура», торжество победы, мирное преуспеяние будущего... Грезы о славянской свободе и вольном союзе славянских народов... И все — в этом комке неподвижного трупа, еще не разлагающемся, но уже похолодевшем... По крайней мере, когда мои губы коснулись его лба — мне показалось, что я целую лед... Вся эта слава, все обаяние — перенеслись в воспоминания. Все это будущее, надвигавшееся грозой на недругов, эти темные тучи — где рождается гнев неотвратимой бури, где, казалось, уже загорелись молнии, все это будущее уже стало прошлым, ни в чем не осуществившись... Человек показал, как много он мог сделать, показал, сколько гордой силы и гения дано ему, — чтобы умереть, оставив во всех его знавших горькие сожаления... А знала его вся Россия! И что за подлая ирония — дать человеку мощь ума, орлиный полет гения, дать ему бесстрашное мужество сказочного богатыря, сквозь тысячи смертей, сквозь целый ад провести его невредимым и скосить его среди глубокого мира и спокойствия... Какая

неостроумная, злодейская насмешка судьбы!.. И опять та же назойливая мысль: сколько с ним ляжет надежд и упований в черный, полный холода и мрака склеп... А теперь вон муха опять ползет по глазу... Под ресницу забирается, из-за которой орлиный взгляд легендарного витязя привык окидывать вздрагивающие от восторга и энтузиазма полки...

— Отчего он умер?..— слышится рядом.

— Говорят, от паралича сердца...

— Ну а когда мы с вами умрем... У нас будет ведь тоже паралич сердца?

— То же!

— Следовательно, это все равно, что умер от смерти?

— Да!

Снаружи, на площади — тоже немало было характерных эпизодов.

Шел мимо гостиницы Дюссо солдат, с георгиевским крестом... Видит толпу.

— Чего вы, братцы?..

— Генерал тутотка помер.

— Какой генерал?

— Скобелев...

— Чего?

Солдата на первый раз ошеломило.

— Скобелев померши!

— Скобелев помер?..— и солдат опамятовался.—

Ну, это, брат, врешь... Скобелев не умрет... Ен, брат, помирать не согласен!

— Говорят тебе, помер...

— Тут, брат, что-нибудь... А только Скобелев не помрет... Врешь... Это уж, брат, верно. Ему помереть никак невозможно!

И совершенно спокойно пошел вперед... Встретил своего.

— Дурень народ у нас!

— А что?

— Ему сказывают, Скобелев помер, ен и верит... Скобелев, брат, не помрет... Сделай одолжение... Может, другой какой, а только не наш!..

В первый же день явился едва держащийся на ногах старик с кульмским крестом на груди... Поклонился в землю, поцеловал в лоб генерала, отцепил свой кульмский крест, положил тому на грудь и ушел вон... Так и не узнали, кто он...

Потом явился другой ветеран, такой же дряхлый и слабый. Долго-долго всматривался в неподвижные черты усопшего.

— Один такой был, да и того Бог взял...

Помолчал несколько.

— Гневен Он на русскую землю... В гневе своем и покарал жестоко... Как Египет — древле... Так и нас теперь...

Вышел уже из комнаты, остановился в дверях. Обернулся.

— Тебе хорошо теперь, а каково нам-то без тебя!

Еще накануне Скобелев обдумывал громадные маневры, где преобразованная им кавалерия должна была бы по несколько раз вплавь переходить Днепр, горячо толковал об этом, читал, учился, делал сотни заметок для завтрашнего дня... И вот, когда пришел этот завтрашний день, уже некому осуществить эти блестящие замыслы...

— Хорошо, что покойник оставил планы свои и предложения...— слышится около.

— Почему хорошо?

— При случае ими можно воспользоваться!

— А кто кроме него самого, в состоянии выполнить эти планы?.. Где другой такой?..

«Со святыми упокой»,— слышится печальный мотив панихиды.

Все встали на колени...

И почему-то с удивительной ясностью вспомнилось мне в эти минуты все его прошлое... Целая эпопея, пережитая им... Картина за картиной, то под дождем болгарской осени, то в снеговых буранах балканской зимы, то в золотых, сожженных солнцем хивинских степях, то в волшебной рамке Босфора и Византии... Теперь пора рассказать о нем... Я был около него в тяжелые и радостные дни, с ним встречался и после, со мною он был откровеннее, чем с другими... О многом мы мыслили далеко не одинаково. Я не разделял его взглядов на войну, не понимал его боевого энтузиазма; мы подолгу спорили по разным вопросам народной жизни, но я его любил, я видел в нем гения, тогда когда вражда и зависть шипели кругом, когда змеинные жала не щадили этой нервной организации, этого живо чувствующавшего сердца... Мне выпала честь в прошлую кампанию первому рассказать о нем, о его подвигах и

доблестях, теперь я хотел отдать ему последний долг, нарисовав в беглых очерках не только богатыря, но и человека.

II.

Кажется, недавно, а в виду этого трупа уже легендой становится!

В июне 1877 года любовался я с Журжевского берега Дуная на Дунай.

Синяя ширь его была покойна. Ни малейший порыв ветра не колыхал заснувшую воду... Солнечные блики ярко расплывались по неподвижному зеркалу реки; направо, далеко-далеко, в полуденном зное и блеске точно млели низменные, сплошь заросшие свежим густолесьем острова... Из-за них чуть виднелись мачты спрятавшихся там по проливам судов. Заползали от наших орудий в свои убежища и — не шелохнувшись, только в бинокль рассмотришь, как едва-едва раздуваются пестрые флаги... Сегодня они, впрочем, бессильно повисли вдоль мачт... Еще дальше за ними — красивые черепичные кровли турецкого села и высокий минарет... Около вооруженный глаз различает и желтые валы батарей, и неподвижных часовых. Цапли на стрехе деревенской хатки торчат так же, как и турецкие солдаты. Зеленые облака садов приникли прямо к воде... Иной раз ветер тянет оттуда раздраженную струю густого аромата, в котором слились тысячи дыханий давно уже распустившихся цветов... Еще дальше направо — пологая гора, сплошь заставленная белыми палатками громадного лагеря. На самой вершине ее, точно зверь, притаившись перед последним прыжком, едва-едва намечается грозный форт Левант-Таби...

Я засмотрелся и на сверкающие воды Дуная, и на тихие берега его, погружившиеся в какую-то мечтательную дрему... Не хотелось верить в возможность войны и истребления здесь, среди этого идиллического покоя, едва-едва нарушаемого криком чаек... Вон из-за горы, на которой чуть-чуть наметился форт, виноградники, сады Рущука, целое море черепичных кровель, тополей, старающихся перерасти минареты, минаретов, все выше и выше поднимающих к безоблачному небу свои белые верхушки с черными черточками балкончиков,

с которых музины выкрикивают всему правоверному миру меланхолические молитвы когда-то торжествовавшего здесь ислама... Вон черные купы кипарисов... У самого берега броненосцы замерли в воде — белые трубы ни одного клуба дыма не выбросят в прозрачный воздух... Точно железное сердце их перестало биться, и крепкою броней покрытая грудь не дышит... Грузная масса главной мечети слепит глаза... И вершина, словно серебряная звезда, горит над городом... А вот и самая гавань с яркими флагами и вымпелами перед домами консулов, с целою стаей лодок, катеров, мелких пароходиков и с тысячами народа, сбившегося к воде.

— С кем имею честь? — слышалось за мною.

Смотрю — молодой, красивый генерал... «Слишком изящен для настоящего военного», — подумал я, но, всмотревшись в эти голубые, решительные глаза и энергическую складку губ, тотчас же взял свою мысль обратно.

— Я назвался.

— Очень приятно... Нелегкая у вас обязанность... Корреспондент — это бинокль, сквозь который вся Россия отсюда смотрит на нас. Вы ближайшие свидетели, и от вас зависит многое. Показать истинных героев и работников, разоблачить подлость и фарисейство... Я вас еще не видел. Я — Скобелев.

— Я был у вашего отца вчера...

— У паши? — сорвалось у молодого генерала... Он засмеялся. — Это моя молодежь отца пашой называет. Жаль, что я вас не видел. Вы где остановились?

Я сказал.

— Вот сейчас музыка начнется!

— Какая? — удивился я.

— Да вот видите ли: стоит отцу или мне показаться здесь, чтобы вон с той батарееки открыли огонь...

Музыка началась скорее, чем я ожидал... Белый клубок точно сорвался вверх с желтой насыпи турецкой батареи. Через три или четыре секунды послышался гул далекого выстрела, и, словно дрожа, в теплом воздухе с долгим стоном пронеслась вдалеке граната и шлепнулась в Дунай, взрыв целый фонтан бриллиантовых брызг...

— Недолет! — спокойно заметил Скобелев...

Вторая граната пронеслась над нами и разорвалась где-то позади.

— Перелет... Теперь, если стрелки хороши, должны сюда хватить...

Точно и не в него это, точно он зритель, а не действующее лицо.

Третья и четвертая граната зарылись в берег близко-близко, когда из Журжева прискакал молодой ординарец.

— Ваше превосходительство, пожалуйста...

— Ну что?.. Паша разозлился?

— Дмитрий Иванович сердится. Напрасно перестрелку начинаете!

Скобелев улыбнулся мягкой улыбкой.

— Ну, пойдем... Нечего делать!

Это было довольно обыденное удовольствие Скобелева, уходить на берег с небольшим кружком офицеров, а турецкая батарея точно только этого и ожидала, чтобы открыть огонь по ним.

— Зачем вы это делаете?

— Ничего... Обстреляться не мешает... Пускай у них нервы привыкнут к этому... Пригодится...

Иногда и сам «паша» присоединялся к молодежи. Он стоял под огнем спокойно, но все время не переставал брюзжать...

— Ну, чего ты злишься, отец? Надоело тебе, так иди... Оставь нас здесь!..

— Я не для того ношу генеральские погоны, чтобы всякой сволочи,— кивал он на тот берег,— спину показывать... А только не надо заводить... Чего хорошего? И чего доброго...

— Набальзамируют кого-нибудь?

Набальзамируют, на языке молодого Скобелева, значит — убьют.

— Ну, да... набальзамируют!

— Вот еще... куда им. А впрочем, на то и война... А то уж давно без дела торчим здесь — скучно. У нас в Туркестане живей действовали!

— С халатниками!..

— Да, с халатниками... Зато один против пятидесяти, случалось...

— Хотите, отец сейчас уйдет? — обращался к нам Скобелев, когда тот уж очень начинал брюзжать.

— Как вы это делаете?

— А вот сейчас... Папа... Я, знаешь, совсем поистратился... У меня ни копейки! — и для вящего убеждения Скобелев выворачивал карманы...

— Ну вот еще что выдумал... У меня у самого нет денег... Все вышли!

И, крайне недовольный, паша уходил назад, оставив их в покое.

Обрадовавшись этим, молодежь брала лодки с гребцами из уральских казаков и отправлялась для рекогносцировки по Дунаю — под ружейный огонь турок.

Это называлось прогулкой для мацону.

В сущности, тут было гораздо больше, чем кажется с первого взгляда. Во-первых, и казаки и офицеры при этом приучались к огню, приучались не только шутить, но и думать, соображать под огнем, во-вторых, развивалось удалство и презрение к смерти, столь необходимое истинно военным, а в-третьих; изучался Дунай с его островами и берегами. В одной из таких рекогносцировок участвовать привелось и мне. Небольшая рыболовная лодочка забралась в лабиринт лесистых островов Дуная, заползала во все закоулки. Точно выслеживала в них кого-то. Небольшой турецкий пикет, засевший где-нибудь, хотя бы с верхушек этих же деревьев, мог наверняка выследить нас всех.

— Ну, что, нервы молчат? — обернулся к нам Скобелев.

— Да!

— Значит, из вас прок будет!..

Вскоре после этого еду я в экипаже из Баниаса в Журжево...

По пути — двигаются маленькие отряды солдат, спешащих в Журжево, Слобозею и Малоруж к своим частям. День был жаркий, все обливались потом. Степь, переполненная солнечным светом, слепила глаза. Сзади, нагоняя нас, показалась кавалькада всадников — молодой Скобелев с двумя или тремя своими офицерами. Наехал на кучку солдат-пешеходов.

— Здорово, братцы!

— Здравия желаем, ваше-ство!

— Трудно идти... Жарко?

— Трудно, ваше-ство...

Солдаты скрючились, понурились... Ранцы оттягивают плечи, жидовские сапоги незабвенного Малкиеля жмут ноги. А тут еще по самую ступицу в песок уходишь...

— Ну-ко, попробую я с вами!

Генерал сошел с коня, отдал его казаку...

— Поезжай в Журжево... Прощайте, господа. Я прой-
дусь с этими молодцами...

И пошел пешком... Спустя минуту между солдатами
послышался смех, шутки... Толпа ожила... Песни запели...
Генерал подтягивает...

— О чем он говорил с вами? — спрашиваю потом
одного из них.

— Орел!.. Только как это он солдатскую душу по-
нимать может — чудесно... Точно свой брат... У одного
спрашивает, когда офицером будешь. Тот, известно, сме-
ется... Николи, ваше-ство, не буду. Ну, и плохой солдат,
значит... Вот мой дед точно такой же мужик был, как и
ты, из сдаточных... Землю пахал, а потом генералом
стал!..

— Он ведь наш!.. — заметил другой солдат.

— То есть как наш? — удивился я.

— Он самого правильного, как есть мужицкого,
приходу!.. — с гордостью подтвердил он.

— Из наших, брат, тоже — настоящие выходят. За
ним — как у Христа за пазухой!

— Сказывают, свонный дед прежде был Кобелевым,
а потом его, как произвели, — в Скобелевы пустили.

Потом такие прогулки с солдатами стали для Скобе-
лева обычным делом. Тут он знакомился с ними, но и они
его узнавали.

— Он, брат, к тебе в душу живо влезет!

— Он вот как, надо прямо говорить, сто сажень
скрозь землю видит!

— На него страху нет... Он себя окажет!

И действительно оказал...

III.

Первый раз под настоящим огнем его видели на
Дунае 6-го июня.

В четырех верстах от Журжева к востоку — казачья
вышка и построенная саперами хижина. Тут стоял пикет,
а около лагерь — 30-го донского казачьего полка, сотня
пластунов и небольшой отряд сапер. Это место называ-
лось — Малоружем. Напротив, на турецкой стороне Ду-
ная, — холм с сильным фортом, от которого вплоть до
Рушука тянулся фронт хорошо вооруженных батарей.

Оттуда на наш берег в Малоруж стреляли беспрестанно. Турки почему-то особенно не влюбились это место — совершенно достаточная причина, чтобы его полюбил Скобелев, ежедневно предпринимающий сюда поездки. Вся местность тут была изрыта турецкими снарядами. Скобелев живо приучил здешние войска не бояться гранат, и даже молодые солдаты считали постыдным кланяться туркам под выстрелами... Саперы рыли здесь, как кроты, выдвигая батарею за батареей, и любоваться их работой очень любил покойный... В день, о котором мы рассказываем, съехалась к пластунам целая кампания корреспондентов русских газет, гг. Федоров, Каразин и я. Пластунский лагерь весь состоял из рваных бурок, подвешенных на колья; палаток не полагалось этим молодцам, щеголявшим только своим оружием. Целый день рассказывали нам о характерных выходках Баштанникова (обезглавленного потом на Шипке турками, замучившими предварительно храброго и симпатичного офицера-пластуна) — любимца Скобелева. Баштанников вместе с молодым генералом, от нечего делать, придумывали всевозможные шутки. То они, бывало, наберут хвороста и, связав его наподобие челна, поверх сажают сноп, как будто казака в бурке, воткнут в него жердь, которая должна изображать пику, и пустят по течению Дуная. Турки присматриваются, присматриваются и вдруг по воображаемому пловцу откроют огонь — да всем берегом. Тысячи глупых выстрелов летят в пространство, разбуженные ими турки в лагерях выбегают, начинается тревога... Случалось, что по таким снопам хвороста били даже турецкие батареи. А то нароют на берегу за ночь земли, свяжут солому вроде медных пушек, да и выставят в импровизированные амбразуры. Турки, увидев отражение первых солнечных лучей на золотистых снопах, — открывают самый озлобленный огонь, тратят массы снарядов по этим новым, якобы за ночь выстроенным русскими, батареям... Ночью Скобелев вместе с пластунами зачастую переправлялся на ту сторону к туркам и хозяйничал у них вволю, удовлетворяя таким образом потребность своей непоседливой и неутомимой натуры...

— Это настоящий... Это — наш! — говорили пластуны о Скобелеве.

В ночь, о которой я рассказывал, пластуны, став в кружок, пели свои очень характерные, нигде до тех пор

мною не слышанные, торжественно-меланхолические песни, напоминавшие церковные молитвы. В сумерках южной ночи, когда вдалеке разгорались лагерные костры, а звезды все ярче и ярче мерцали с недосыгаемой высоты, песни эти производили глубокое впечатление.

— Мало, мало старых пластунов! — вздыхал Баштанников, оглядывая своих.

— А разве новые плохи?

— Нет, не то... А к тем сердце приросло... Вместе по ночам крались к врагам, высиживали в засадах... Кто в могилах, а кто дома обабился!

Потом стало их еще меньше... Это редкий и специальный род войска, а их заставляли ходить в атаку, как пехотинцев. Турки почти всех их перебили.

Костры разгорались, яркими пятнами выделялись они из густого сумрака далей... Позади стоял говор. Песни смолкли, только одна какая-то тоскливая доносилась издали, словно оплакивая кого-то...

— Что это?.. Будто щелкнуло вдаль... Еще и еще... Мы вскочили и бросились к лошадям... Сухая трескотня выстрелов усилилась... Нервное ожидание общего боя росло и росло... Лагерь с глухим шумом поднимался. Строили коней.

— Где полковой командир?.. — из мрака наехал прямо на нас казак.

— Чего тебе? — отозвался Д. И. Орлов.

Тот что-то прошептал ему...

— Вторая сотня на коней!

Спустя две или три минуты темная масса уже выстроившейся сотни двинулась по направлению к выстрелам. В пятидесяти шагах мы уже не различали ее движения.

Перестрелка разгоралась... Скоро вся окрестность гремела... Глушило остальные звуки... Вот точно звездочка прокатилась по небу...

— Ишь шрапнелями начал! Дело серьезное!

Гулкие удары орудий на минуту покрыли ружейную трескотню... Еще и еще...

Журжевские батареи стали отвечать туркам.

В это время на берегу, под выстрелами, в белом кителе, верхом на белом коне показался Скобелев.

Можно было подумать, что он на бал разрядился.

— Разве бой не бал для военного? — ответил он кому-то. — Вот теперь весело стало... Наконец!

— Неужели вы радуетесь бою?

— А что ж военному плакаться на него... Это наша стихия...

Уже тогда он поразил всех находчивостью, завидным умением думать и смеяться под огнем.

Стал закуривать папиросу... Шрапнель разорвалась у него над головой, рука со спичкой даже не дрогнула.

— Обидно видеть такое спокойствие...— заметил кто-то из его товарищей.

— У меня, голубчик, почти десять лет боевой практики позади... Погодите, через несколько времени и вы будете спокойны!

Но немного спустя, когда перестрелка замерла, когда темная южная ночь окутала опять нас своими поэтическими сумерками — Скобелев во весь карьер мчался в Журжево. Ветер дышал прямо в лицо ему, генерал несся быстро и, точно не довольствуясь этим, еще понукал разгоревшегося коня...

— Весело! — крикнул он кому-то, попавшемуся на встречу...

Так и веяло от него силою, жизнью, энергией...

Вскоре после этого, он с несколькими офицерами генерального штаба на берегу Дуная остановился во время рекогносцировки. Повернули коней кружком, головами один к другому, и начали обсуждать выгоды или невыгоды данной местности. Скобелев, так как тут был военный агент-иностранец, по-французски излагал свое мнение. В это время послышался какой-то грохот... Граната упала посредине круга, с визгом разорвалась, взрыла вверх целую тучу земли, обдала комьями лица совещающихся. И в то мгновение, когда каждому приходил в голову неизбежный вопрос: цел ли я, целы ли товарищи,— послышался нисколько не изменившийся голос Скобелева:

— Et bien, messieurs, resumons!..

И он с той же ясностью начал излагать свои выводы, как будто бы только что ничего не случилось, точно ветка хрустнула под копытом коня.

В это время армия уже отметила его... Он уже становился кумиром офицеров и солдат.

Богатырь, легендарный витязь вырастал и формировался в общем сознании боевой молодежи, и только тупоумие да педантизм смотрели на него с недоверием и завистью!..

И это недоверие, и эта зависть прекратились только со смертью Михаила Дмитриевича... Только теперь притаились они...

У нас, чтобы быть оцененным, чтобы получить только принадлежащее по праву — нужно умереть...

Подлое время и подлые люди!.. Сколько теперь вышло у него друзей — и как мало их было тогда...

Как он умел говорить с солдатами, знают те, кто видел его с ними. Они понимали его с полуслова, — и он их знал «дотла», как выразился один «из малых сих». Мне рассказывали, например, об уроке атаки на батарею, данном им новобранцам. Стояло их человек сто...

— Ну, братцы, как же вы пушку станете брать?

— А на уру, ваше-ство!

— Ура-урой... А вы умом-то раскиньте... Знаете ли, что такое картечь?.. Ну, вот бросились вы, ура закричали — неприятель выпалил из орудия, двадцать человек вас легло... Сколько вас теперь осталось? Восемь — десять... Уйдите двадцать человек... Это вот убитые, слышите ли?.. Их уже нет... Ну, а вы что будете делать, полвечей чтобы вышло?..

— А мы, ваше-ство, покуль он опять заряд, значит, положить, тут на него и навалимся... Штыкой его...

— Ну, теперь молодцы ребята... Значит, поняли меня. Пойдем кашу есть.

И генерал взял деревянную ложку у первого попавшегося солдата и засел за общий котел...

— Ен брат и ест-то по-нашему, — говорили они потом, хотя едва ли кто-нибудь другой был так избалован в этом отношении, как Скобелев...

Отсюда понятно, почему уже первое время прошлой войны, до перехода нашего через Дунай, популярность его в войсках Журжевского отряда росла не по дням, а по часам. Сначала ему удивлялись, потом невольно поддались могущественному обаянию Михаила Дмитриевича и привязались к нему, как дети. Я, разумеется, говорю о солдатах и о молодых офицерах. Очень многие в этот начальный период смотрели на него, как на чужого, как на победителя каких-то азиатских халатников. Ему уже и тогда завидовали, завидовали его молодости, его ранней карьере, его Георгию на шее, его знаниям, его энергии, его умению обращаться с подчиненными... Глубокомысленные индюки, рождавшие каждую, самую чохоточную идею с болезненными потугами, не пони-

мали этого деятельного ума, этой вечно работавшей лаборатории мыслей, планов и предположений...

— Как им любить его! — говорил один из лучших генералов прошлой войны, разом сошедшийся со Скобелевым. — Помилуйте, сидели они чинно за столом, плавно курлыкали, все это так хорошо и спокойно было; вдруг грохот: проваливается крыша, и прямо на стол сверху летит Скобелев с целым чемоданом новых идей, проектов, знаний о вещах, до сих пор этим индюкам не известных...

Дошло до того, что победителя халатников всякая гремучая бездарность и напыщенная глупость стали тритировать, как мальчика...

— Вам слишком легко, почти даром достались ваши Георгии... Теперь заслужите-ка их! — говорили ему, и самолюбивый Скобелев, знавший себе цену, целые недели потом ходил зеленый, с разбитыми нервами, измученный. Не тогда ли у него стала развиваться болезнь сердца, сведшая его в раннюю могилу, если только эта болезнь у него была?

Случалось так, что Скобелеву и говорить не давали. Питерские Наполеоны только фыркали, когда победитель халатников предлагал тот или другой план, а когда он переходил к действиям, его просто обрывали. Этого военного гения, которого академия теперь признала равным Суворову, даже прямо оскорбляли. Раз он сделал такую рекогносцировку, которую считал крайне необходимой...

— Ступайте и сидите у своей палатки, пока я позову вас! — высокомерно оборвали молодого генерала, и тот, приехав в Зимницу, заболел от тоски и обиды...

— Знаете, — обратился он ко мне, — брошу я все это, отпрошусь обратно в Россию и, когда кончится война, сниму военный мундир и стану служить земству... В деревню уеду... Верите, силы нет... Сознаешь, что делается не то, а скажешь, так хорошо еще, если внимание обратят... Трудно, ах трудно!

И часто слышались слезы в голосе молодого генерала, когда он возвращался после таких неудачных попыток.

Нужно отдать справедливость генералу Драгомирову. Он едва ли не первый оценил этот боевой гений в Скобелеве. Бывший военный министр Милютин тоже ранее других отметил молодого генерала.

IV.

А между тем он меньше чем кто-нибудь был доволен собой. В Журжеве, в Бии, в Зимнице точно так же, как потом в траншеях под Плевной,— Скобелев учился и читал беспрестанно. Он умел добывать военные журналы и сочинения на нескольких языках, и ни одно не выходило у него из рук без заметок на полях, по словам специалистов, и тогда уже обнаруживавших орлиный взгляд белого генерала. Интересно, в чьих руках находятся теперь эти книги. В высшей степени любопытно было бы проследить по ним, как мало-помалу из богатыря и витязя вырастал в Скобелеве полководец, «Суворову равный», по прекрасному выражению академии.

Учился и читал Скобелев при самых иногда невозможных условиях. На биваках, в походе, в Бухаресте, на валах батарей под огнем, в антрактах жаркого боя... Он не расставался с книгой — и знаниями делился со всеми. Быть при нем — значило то же, что учиться самому. Он рассказывал окружающим его офицерам о своих выводах, идеях, советовался с ними, вступал в споры, выслушивал каждое мнение. Вглядывался в них и отличал уже будущих своих сотрудников. Бывший начальник штаба 4-го корпуса генерал Духонин так, между прочим, характеризовал Скобелева:

— Другие талантливые генералы: Радецкий, Гурко — берут только часть человека, сумеют воспользоваться не всеми его силами и способностями. Скобелев, напротив... Скобелев возьмет все, что есть у подчиненного и даже больше, потому что заставит его идти вперед, совершенствоваться, работать над собой...

Иногда, среди товарищеских пирушек с молодежью, он вдруг задавал серьезные военные задачи. Стаканы в сторону, и тесный круг сдвигался еще теснее, задумываясь над решением запутанного боевого вопроса... Скобелев был молод — любил женщин, но по-своему. Он не давал им ничего из своего «я». Он говорил, что военный не должен привязываться, заводить семью...

— Игнатий Лойла только потому и был велик, что не знал женщин и семьи... Кто хочет сделать что-нибудь крупное — оставайся одинок...

Ему очень нравилась какая-то француженка в Бухаресте... Как-то он добился свидания с нею. Представьте себе ее изумление, когда посредине горячего разговора

он вдруг остановился, задумался, пошел к столу, вынул книгу и погрузился в чтение, по временам что-то отмечая на карте. Точно так же зачастую он уходил с обеда к себе наверх, и ординарцы, посылавшиеся к нему, заставляли его за книгами... Потом, чтобы не терять времени, он приказал своему адъютанту носить за собой постоянно записную книжку. Приходила генералу какая-нибудь счастливая идея, вопрос, и они сейчас же записались туда. Разговор с ним уже и в начале войны был очень поучителен. Он умел расшевелить ум у человека, заставить его думать... Для этого он не останавливался ни перед чем.

— Мало быть храбрым, надо быть умным и находчивым! — говорил он своим, хотя на храбрость людей у него была какая-то жадность. Узнав о каком-нибудь удалце, он не успокаивался, пока не переводил его в свой отряд... Для этого он пускался на всевозможные хитрости, дружил с офицером, упрашивал его начальство и в конце концов таки добился, что в дивизии у него были молодцы на подбор.

Не только молодому офицеру, но и солдату белый генерал был товарищем.

Едет он как-то в коляске. Жара невыносимая, солнце жжет... Видит, впереди едва-едва ковыляет солдат, чуть не сгибающийся под тяжестью ранца...

— Что, брат, трудно идти?

— Трудно, ваше-ство...

— Ехать-то лучше... Генерал воин едет, полегче тебя одетый, а ты с ранцем-то идешь, это не порядок... Не порядок ведь?

Солдат мнетя.

— Ну, садись ко мне...

Солдат колеблется... Шутит, что ли, генерал...

— Садись, тебе говорят...

Обрадовавшийся курилка (так мы называли малолетних армейцев) лезет в коляску...

— Ну, что, хорошо?

— Чудесно, ваше-ство!

— Вот дослужись до генерала, и ты будешь ездить так же!

— Где нам!

— Да вот мой дед таким же солдатом начал — а генералом кончил... Ты откуда?..

И начинаются расспросы о семье, о родичах...

Солдат выходит из коляски, боготворя молодого генерала, рассказ его передается по всему полку, и когда этот полк попадает в руки Скобелеву — солдаты уже не только знают, но и любят его...

Раз в Журжеве идет он по улице — видит, солдат плачет.

— Ах ты баба!.. Чего ревешь-то?.. Срам!..

Солдат вытягивается.

— Ну, чего ты... Что случилось такое?..

Тот мнетяся...

— Говори, не бойся...

Оказывается, получил солдат письмо из дому... Нужда в семье, корова пала, недоимка одолела, — неурожай, голод.

— Так бы и говорил, а не плакал. Ты грамотный?

— Точно так-с!

— И писать умеешь?

— Умею!

— Вот тебе пятьдесят рублей, пошли сегодня же домой, слышишь?.. Тебе скажут, как это сделать... Да квитанцию принеси ко мне...

Отзывчивость на чужую нужду и горе до конца не покидала Скобелева. Мне рассказывал Духонин, что Михаил Дмитриевич не брал никогда жалования корпусного командира. Оно сплошь шло на добрые дела. Со всех концов России обращались к нему даже часто с мелочными просьбами, то о пособии, то о покровительстве, то о заступничестве. Обращались и отставные солдаты, и мешане, и крестьяне... Раз даже какая-то минская баба прислала письмо о пропитом мужем полушубке. К чести Скобелева нужно сказать, что в этом случае для него не было ни крупных, ни мелких просьб. Он совершенно правильно рассуждал, что для бабы зимний полушубок так же нужен, как отставному притесняемому деревеню солдату — его пропитание. И ни одна такая просьба не была оставлена без внимания. Он посылал деньги, хлопотал, просил... В Москве раз я иду с ним по Никольской. Вдруг кидается к нему какой-то крестьянин.

— Сказывают, батюшко-генерал, ты самый и есть Скобелев?

— Я...

— Спасибо тебе, родимый... Вызволил ты меня... Из большой беды вызволил... Дай тебе Бог...

— Когда, в чем дело?.. Я ничего не понимаю!

— Писал я к тебе... Затеснила меня уж очень волость...

— Ну?

— А тут отставной солдат один был — пиши, говорит, к Скобелеву, ен услышит, будь спокоен... я и послал тебе письмо... А ты губернатору нашему приказал не трогать меня.. Меня и успокоили. Спасибо тебе, защитник ты наш...

Вот тайна этой изумительной популярности, вполне заслуженной покойным генералом.

— Тысячи писем приходилось писать и пособия рассылать таким образом! — сообщил мне Духонин.

— Ни одно письмо к нему не оставалось без ответа...

Решительность и способность к инициативе была в нем громадная и сказывалась во всем. Он и в других любил это качество.

— Отчего это вы не были с нами? — спросил он раз меня, после одного дела в Журжеве.

— Да я просил у вашего отца...

— У паши... Ну, и он отказал вам?

— Да...

— А вы вперед не спрашивайтесь, а прямо поезжайте... Если спрашиваетесь — значит, и вы сомневаетесь и другого заставляете сомневаться, можно ли... А коли прямо едешь, так и вопрос о возможности уже тем самым решен. Я вообще терпеть не могу спрашиваться... Берите на свою ответственность и не спрашивайтесь вперед!

Потом я оценил этот совет вполне...

Под конец журжевской стоянки и потом в Систове — Скобелеву приходилось уже невтерпеж. Слишком стали его травить доморощенные Александры Македонские.

Только было заикнется Скобелев о своем боевом опыте:

— Ну, вы опять про ваших халатников!.. Это совсем другое дело... Вы там по вашим степям черепахами ползали, а мы перелетим орлами.

— Крыльев-то хватит ли?..

— Весь план кампании так рассчитан: позавтракаем мы в Систове, пообедаем на Балканах, а поужинаем в Константинополе!

— Ну, давай Бог...

— Уж вас не спросим... Вам-то Георгии там легко доставались...

И куда смыло потом, после первого похода за Балканы и трех Плевен, этих высокомерных стратегов... Тише воды, ниже травы стали они, словно мокрые курицы опустили свои еще накануне встопорщенные крылья... У Скобелева раз о таком, ныне, впрочем, уже покойном герое, вырвалась меткая фраза:

— Сам себя разжаловал!

— Как это?

— Да из Александров Македонских — в Буцефалы. И чудесно под седлом ходит, всем аллюром!..

Больше всего в это время, как и потом, вредили Скобелеву его друзья. Не те боевые товарищи, которые действительно знали и любили его, а петербургская большесветная опрочеть, записавшаяся в дружбу к молодому генералу и, в виде вящего доказательства этой дружбы, рассказывающая о нем Бог знает что. Некоторые из них своевременно наезжали в Ташкент за Георгиями, прикомандировывались к Скобелеву в Фергану и, не получив крестика, с бешенством возвращались назад, распуская о Михаиле Дмитриевиче самые чудовищные слухи. Один, например, лично уверял меня, что Скобелев не храбр.

— Помилуйте, он трус... Совсем трус. Всего боится!

Встречаюсь я с ним после войны:

— А трус-то ваш богатырем оказался!

— Да ведь это корреспонденты его таким изобразили...

— Ну, а войска, а рассказы тысячи очевидцев?

— Тогда, значит, он из честолюбия!

Геок-Тепе заставило замолчать всех таких. Там уже при генерале не было корреспондентов — дело говорило само за себя.

V.

За несколько дней до 7-го июня Скобелев находился в нервном настроении.

Целые ночи он не спал. То рыскал вдоль берега, то с двумя-тремя гребцами из казаков объезжал дунайские острова, а раз даже перебрался на турецкую сторону и сам высмотрел, что у них делается около Рущука. Напрасно было говорить ему об опасности подобных предприятий. Всякая опасность — только еще более при-

давала в его глазах прелести задуманному делу. Без опасностей, без кипучей работы он начинал хандрить, скучать, становился даже капризен, как женщина. Но началась работа, и Скобелев был неузнаваем. Перед вами обрисовывался совсем другой человек... Исследовав Дунай с его островами и берегами, он нашел себе по ночам другое дело. Началась постройка батарей, которые старались замаскировать так, чтобы неприятель никак не мог к ним пристреляться. Молодой генерал вечером выезжал к саперным командам, соорудившим земляные насыпи, и только утром возвращался оттуда... Раз как-то солдаты заленились или устали, а профили батарей должно было непременно закончить к утру.

— Хорошо, если бы оттуда, так, сдуру, стрелять начали! — показал он на турецкий берег.

— А что?

— Посмотрите, как живо двинулась бы работа! С лихорадочною поспешностью стали бы строить!

И действительно, знание солдата ему не изменило. Не успел еще он окончить своей фразы, как по ту сторону точно открылось чье-то краснопламенное око. Открылось и опять смежило веки. Послышался гулкий удар дальнобойного орудия, и скоро граната с громким металлическим стоном разорвалась около батареи. Лопаты саперов заработали гораздо быстрее. Солдаты торопливо начали набрасывать землю, оканчивая брустверы и траверсы...

— Это всегда помогает! — обернулся к нам Скобелев.

— Когда вы спите? — спрашиваю я как-то у него.

— Я могу — сутки спать, не просыпаясь, и могу трое суток работать, не зная сна...

И действительно, счастливая организация Скобелева позволяла это. Когда было решено заградить минами течение Дуная у Парапана, тогда он совсем уже ушел в работу. И день, и ночь его встречали то там, то сям. Уже в самом начале войны обнаружилась в нем черта, с таким блеском выделившаяся впоследствии. Он не верил никому, всегда сам изучая местность. Никакими в этом отношении криками нельзя было заставить его сделать то или другое распоряжение. Он непременно ехал сам, вглядывался и находил много деталей, упущенных офицерами... Малейшая неровность местности, жалкий ручей, пригорок, — все это было слагаемыми для его комбинаций, выигрывавших ему бой. Так и в деле при Парапане.

Еще не успели определенно назначить день для минных заграждений,— как Скобелев уже изучил местность так, что бывшим тут же офицерам генерального штаба пришлось только удивляться ему. Для прикрытия смелой атаки миноноски «Штука» назначен был 15-й батальон, из знаменитой впоследствии 4-й стрелковой бригады, которую Скобелев прозвал «железною»... Когда батальон выстроили — командир, теперь уже не помню кто, обратился к солдатам:

— Охотники, вперед!

Весь батальон как по команде шагнул вперед.

— Это лучше! — заметил Скобелев.— По-моему, никаких охотников не должно быть... Каждый должен быть охотником! — И впоследствии Михаил Дмитриевич очень редко, в самых исключительных случаях, прибегал к этому приему. Он всегда старался доводить солдат до того, что среди них все были охотниками.

— Дело должно быть праздником для военного... Какие же тут охотники...

Было выбрано 120 солдат, к ним командировано трое офицеров. Вместе с сотней уральских казаков и полевой батареей это составило небольшой отряд прикрытия минных работ. Офицеры было повели их, когда Скобелев остановил пехоту.

— Пойдите... Так нельзя... Солдат должен всегда знать, куда и зачем он идет... Сознательный солдат в тысячу раз дороже бессознательного исполнителя... Уральцам я уже объяснил.

— Здорово, молодцы!

Те ему ответили.

— Знаете ли, куда вы теперь идете?..

Солдаты стали мяться...

— В Барабан, ваше-ство!

— Ну, все равно, ПарAPAN или барабан... А зачем?

— Турку бить!..

— Турка бить всегда следует... Как твоя фамилия?

— Егоров, ваше-ство!

— Видно, что удалой... Скоро георгиевским кавалером будешь... А только мы теперь вовсе не турку бить идем... Нам, брат, нужно другое дело обработать... Скоро мы на ту сторону Дуная перебросимся, поняли?..

— Поняли, ваше-ство!

— Ну, то-то... Сидеть-то у молдаван надоело... Все на одном месте. Здесь без галагана (мелкая румынская

монета) никуда не пустят... Да и работы солдату мало...

— Это точно...

— Ну, вот... Мы воевать пришли — а неприятель на той стороне, он к нам не придет — ему у себя чудесно, нам нужно его выбить оттуда... Выбьем ведь, орлы?..

— Рады стараться!..— повеселели солдаты.

— А чтобы выбить — нам нужно перейти через Дунай... Тут-то нам и достанется... Станем мы перебираться туда — турок-то ведь тоже не дурак, он на наши плоты да лодки мониторы свои пустит. Видели вы, какие мониторы, вон, что пыхтят у берега?..

— Видели, ваше-ство!

— Они нас и перетопят... Ну, а мы хитрее турка... Мы в воду такие мины погрузим, что ему сквозь них и не переплыть, только он на них наткнется, тут его и взорвет. Мы-то у него перед носом и перейдем реку...

— Рады стараться!..— сами уже отозвались солдаты, понявшие, в чем дело.

— Этот совсем не такой, как другие! — толковали потом между собой.— Этот умный... Понятный!.. Так на первых порах имя «понятого» генерала и осталось за Скобелевым.

Парапан — деревня по прямому направлению от Журжева в пятнадцати, а по дороге в двадцати верстах. Сады его сползают почти к самому берегу, на возвышении стоит отдельно большой помещичий дом, который на 7-е июня был занят штабом Скобелева. Ночь была ясная, теплая, такая, какие знает только благословенный Юг с его мечтательным сумраком, с волнами благоуханий, льющихся по ветру, с задумчивым шелестом деревьев и словно теплящимися, страстными звездами. Луна светила ярко-ярко, обливая трепетным сиянием раины садов, расстилая по неподвижному Дунаю точно серебряные сети... Именно казалось, что это не блеск месяца зыблется на его водах, а всплыли наверх и мерещутся влюбленному взгляду северянина сети какого-то сказочного рыбака... Едва-едва слышный, сонно бился прибой на отмелях... У противоположного берега чудилось словно заколдованное царство, заповедное, недоступное... Среди поэтического молчания этой ночи едва-едва слышались весла восьми лодок, в которых перебирались к острову Мечуку, накануне исследованному Скобелевым, пятьдесят человек стрелков и тридцать уральцев...

— Увидят их турки...— волновался генерал, когда среди лунного блеска показались на ярком зеркале Дуная черные, с черными силуэтами гребцов и солдат, лодки, вырезанные точно из агата... Но там, в этом заколдованном царстве «того» берега, было все тихо, и вполголоса раздававшаяся команда замирала в теплом воздухе южной ночи...

Остров был залит водою...

Генерал приказал закрепить лодки за стволы каштанов. Солдаты и казаки, сняв сапоги, засели на деревьях, и, будто водяные птицы, сбились на немногие сухие клочки земли и на болотины, только что освободившиеся от разлива. Все это — в полном молчании... Даже участвовавшие слышали только шорох ветвей да шелест раздвигаемой листвы. С нашего берега остров казался совсем безлюдным. От Молодежоса двинулось перед тем восемь паровых шлюпок, из них две миноноски... На пути им встречались мели — и вместо двух шлюпки явились сюда только к четырем часам, когда уже рассвело. Турецкий берег был залит так называемым «тыльным» светом солнца, так что Скобелев только с трудом, и то в туманных очерках, мог различить, что у них делается. Все дрожало там от этого блеска, контуры изменялись, расплывались, точно какая-то яркая дымка висела над этим красивым и зеленеющим гребнем...

— Ну, сейчас начнется! — обернулся Скобелев к своим.

— Что начнется?

— наших заметили!..

Потом оказалось, что зоркий глаз генерала действительно отличил на том берегу прискакавший туда турецкий отряд.

— Вот и пифпафочка!..— улыбнулся Скобелев, когда те открыли огонь по лодкам, уже начавшим погружать торпеды.

— Молодцы! — восхищался Михаил Дмитриевич.— Ишь, у самого берега работают... У меня всегда к морякам сердце лежало!

Действительно, наши катера заработали под носом у турок... Послышался сухой треск беглого ружейного огня с берега, все усиливающийся и усиливающийся. Можно было бояться больших потерь.

— Пора и нам!..— И, не ожидая приказанья отца, молодой Скобелев, официально только начальник его шта-

ба, а в сущности, командир всего отряда, приказал береговой батарее тяжелых орудий открыть огонь по этому, состоявшему из двухсот человек, скопищу. Расстояние оказывалось очень велико, но первый выстрел был случайно удачен, гранату разорвало в куче турок, которые рассыпались во все стороны.

Только через час явился турецкий вестовой пароход. Его тоже приветствовали выстрелами. Ответные снаряды не долетали до нас. Первый упал за версту до нашего берега, а второй разорвался у самого дула выпустившего его орудия... После одного из таких выстрелов пароход, очевидно, получил повреждение и стал отступать... Раз он было приостановился, но два паровых катера, служивших для обороны и вооруженных минами, направились на него... Выждав их на двести сажень, громадный пароходище этот постыдно повернул назад и поспешно ударился в бегство. Вдали в это время наши заметили скрывавшийся до тех пор монитор. Он уже открыл огонь... Тогда начальник шлюпки Наследника-Цесаревича «Штука» подошел к заведывавшему заграждением Новикову, которого все моряки дунайской нашей флотилии называли дедушкой. Этого Новикова душевно любил и высоко ценил Скобелев. Впрочем, и вся армия уже в Плоэштах знала «дедушку».

— Прикажете идти в атаку?

Новиков послал поцелуй вместо приказания.

— Кусните-ко его! — крикнул в свою очередь Скобелев. — Маленькая собачка, а зубы острые!.. За хвост его!

Я не стану описывать здесь эту замечательную атаку маленькой шлюпки, этой собачки с острыми зубами, по меткому выражению генерала. Бою при Парапане отведено несколько страниц моего «Года войны» (III том, стр. 79—91). Дело в том, что когда раненая «Штука» с своим раненым командиром отступала от монитора, то сей последний в паническом страхе улепетывал от нее... Только в три часа пополудни он опять стал подбираться к месту заграждений. В это же время на берегу показались дымки скрытно стоящих турецких полевых орудий, только что подвезенных сюда с ближайших, рушукских, батарей... Но монитор оказался очень благоразумным. Скобелев встретил его огнем из наших орудий, и тот поспешил поскорей опять уйти из сферы огня. Зато турецкие стрелки, засевшие в кустах, стали было выбивать наших

довольно метким огнем. Таким образом они повредили три минных барки...

— Возьмут, пожалуй!

И Скобелев, долго не думая, верхом бросился вплавь через Дунай.

Скоро его догнали лодки, посланные с берега, и вместе с капитаном Сахаровым — офицером генерального штаба — Скобелев, пересев в них, подплыл прямо под огонь турок. В виду неприятельских стрелков они выхватили два баркаса с минами, причем один, разбитый артиллерийскими снарядами, перетащили через косу под градом пуль, то и дело рвавшихся около гранат. Какой-то солдат стал было кувыркаться, кланяясь первой пролетевшей пуле.

— Знакомую встретил?.. Ну, поклонись еще раз на прощанье... Больше, брат, с ней не увидишься... Срам перед турецкой пулей голову клонить!.. Вот как надо стоять под огнем, видишь?

И пока другие тащили лодки — Скобелев стоял в самом опасном месте, куда больше всего был направлен огонь с неприятельского берега... Пули у самых ног его вливались в землю, другие около головы сбивали ветви с деревьев — он не двигался.

— Зачем вы это? — спросили у него.

— Нужно было спасти лодки... Солдаты спешили бы слишком и ничего бы не делали. Ну а тут видят, генерал стоит впереди. Позади-то им и работать легче... Не так страшно. Чего-де им бояться, если я не боюсь — везде пример нужен!

— Ну, убило бы... И в каком пустом деле...

— Я не привык делить дела на пустые и на непустые. Всякое, за которое я берусь, серьезно для меня... А если молодые солдаты заметят, что генералы шкуру берегут, так и они на свою тоже скупиться станут.

VI.

Через несколько дней после этого генерал начал делать свои знаменитые опыты, стараясь переплыть Дунай верхом.

— Неужели вы не боитесь? — обратился к нему один новичок военного дела — в дипломатическом мундире.

— Видите ли, душенька, вы имеете право быть трусом, солдат — может быть трусом, офицеру, ни чем не командующему, инстинкты самосохранения извинительны, ну, а от ротного командира и выше трусам нет оправдания. Генерал-трус, по-моему, анахронизм, и чем менее такие анахронизмы терпимы — тем лучше. Я не требую, чтобы каждый был безумно храбрым, чтобы он приходил в энтузиазм от ружейного огня. Это — глупо! Мне нужно только, чтобы всякий исполнял свою обязанность в бою!

Представители канцелярского режима в армии и блестящая плеяда парадных гениев и кабинетных мудрецов никак не могла помириться с красивым, полным обаяния, мужеством молодого генерала... Когда он стоял под огнем в своем белом кителе, на белом боевом коне, когда он, казалось, вызывал самую смерть, находя величайшее наслаждение в этом постоянном презрении к опасности, в этом сознании себя человеком, мыслящим, владеющим собою среди ада, в истребительном вихре оргии, которую мы называем войною, когда он сам точно напрашивался на неприятельский огонь — его тогда упрекали в рисовке, в желании щегольнуть своим удовольствием. Этим господам было невдомек, что гораздо лучше щеголять храбростью, чем громогласно провозглашать, нося военный мундир, фразы вроде: «я удивляюсь мужеству, но не понимаю его», «пускай умирают другие — а я уж покорный слуга», «отвага и глупость идут рука об руку». Гораздо лучше быть примером самоотвержения для солдат и молодых офицеров, показывать, что генерал, командующий отрядом, как и офицер, которому поручена рота, — должны прежде всего забыть о себе самом... Даже красивость этой отваги, если позволено будет так выразиться, умение быть изящным в огне — производит гораздо сильнее впечатление на окружающих, чем столь же почтенная, спокойная и простая храбрость, присущая вообще нам, русским. И когда Скобелев таким образом появлялся уже в начале войны под огнем, впереди, всегда веселый, разодетый, вдохновенный, лучезарный, как выразился о нем один из его поклонников, — мокрые курицы клохтали.

— К чему эта рисовка, к чему... Он просто хочет доказать, что недаром получил у халатников свои кресты!

В это же самое время наиболее простодушная и наиболее пронизательная часть армии (ребенка и солдата —

не надуешь) относилась к опальному герою совершенно иначе. Она отдавала ему справедливость и в молодом орленке, только что расправившем свои крылья, уже угадывала будущего полководца гениального... Я помню раз, мы шли вечером по лагерю близ Журжева. Из одной палатки раздавался говор. Вдруг послышалось имя Скобелева.

— Постойте... Это очень интересно узнать, что обо мне говорят солдаты.

— А если бранятся?..

— Тем лучше... Это хороший урок. Вы не думайте. Солдаты очень пронизательны при всем своем простодушии... Это такие нелицеприятные и неумолимые судьи!.. Несмотря на то, что этих судей держат в ежовых рукавицах!

— Да и дерут даже!

— Только не у меня! — вспыхнул он. — Я скорее расстреляю солдата, чем высеку его. Нет ничего более унижительного!

А в палатке действительно шел разговор о генералах.

— Нет, брат, Скобелев — это настоящий... Он, брат, русской природы. Он, что твой кочет, красуется!

— Ну уж и кочет!

— Известно. Храбрее кочета птицы нет. Ты видал, как кочеты дерутся? Они, брат, это ловко... И нарядные же... Кочет, брат, никого не боится. Потому он и красуется... Петух, брат, зорек — он свет сторожит!

— А наш-то? — и при этом солдат называл своего генерала.

— Наш — дудка!

— Как дудка?

— А так. Возьми ее, кто хошь, дуди с одного конца, а с другого она разговаривать будет... Настоящая дудка. А ен, брат, петух... Петух свет любит, как свет увидит, сейчас и кричит и всех разбудит...

В другой раз, поздно вечером, пришлось нам идти по Зимнице.

Опять послышался отрывочный говор, солдаты ссорились с кабатчиком.

— Вот ты сидишь при всей своей глупости, а мы пойдем да Скобелеву и скажем!

— А што мне Скобелев?

— Скобелев... Ты думаешь, он спрашиваться станет?

— И чего же он мне сробит?

— Возьмет тебя, да и под расстрел, чтобы ты православных воинов не грабил!

— А плевать я хочу на вашего Скобелева! — разозлился жид.

— Ты — плевать?.. Ах ты, подлое семя!.. Да ты знаешь, кто Скобелев?

И началась баталия... Солдаты от слов перешли к жестам, послышался гвалт избиваемого еврея...

— Нет, брат, мы за Скобелева постоим... Он нас в обиду не даст, а уж и мы его не оставим... Будь спокоен!

И для вящего спокойствия Израиля — они уж совсем набросились на него.

Разумеется, М. Д. не похвалил солдат за самоуправство, в этом случае, как и потом, он с негодованием отосился ко всякому самосуду.

Мне поневоле приходится писать отрывочно. Это не биография, а воспоминания; их никак не подведешь под одну систему. Нужно разбрасываться, рассказывать, перескакивать с одного на другое. Говоря об отношении Скобелева к солдатам, нельзя упустить того, с какою настойчивостью он развивал в них чувство собственного достоинства. Он в этом отношении гордился ими — и было, действительно, чем гордиться. Я не могу забыть одного случая, когда Скобелев остановил любимого из своих полковых командиров, ударившего солдата.

— Я бы вас просил этого в моем отряде не делать... Теперь я ограничиваюсь строгим выговором — в другой раз должен буду принять иные меры.— Тот было стал оправдываться, сослался на дисциплину, на глупость солдата, на необходимость зуботычин.

— Дисциплина должна быть железною. В этом нет никакого сомнения, но достигается это нравственным авторитетом начальника, а не бойней... Срам, полковник, срам! Солдат должен гордиться тем, что он защищает свою родину, а вы этого защитника, как лакея, бьете!.. Гадко... Нынче и лакеев не бьют. А что касается до глупости солдата, то вы их плохо знаете... Я очень многим обязан здравому смыслу солдат. Нужно только уметь прислушиваться к ним...

Когда впоследствии Скобелев командовал дивизией — он одного полкового командира, только что назначенного к нему, прямо выгнал за то, что тот в интересах дисциплины стал с первого дня культивировать солдатские зубы.

— Мне таких не надо... Совсем не надо... Отправляйтесь в штаб — писарей бить. У меня боевые полки к этому не привыкли!

И действительно — дух был поднят до такой степени, что когда, при переходе от Плевны к Шейнову, одного солдата за что-то хотели высечь, тот прямо явился к Скобелеву.

— Чего тебе?

— К вашему превосходительству... Меня полковник... хочет высечь.

— Ну?

— Прошу милости — прикажите суду предать!

— За что это тебя?

Тот сказал.

— По суду тебя расстреляют. И наверное расстреляют!

— Все под богом ходим... И так каждый день под расстрелом бывал... А ежели меня так обидят — так я и сам себя порешу!.. Прикажите под суд.

— Вот это солдаты! — радовался потом Скобелев. — Вот это настоящие. То, что мне нужно. Смерти не боятся, а боятся позора!

Его корпус всегда отличался таким духом. В мирное время он умел еще выше поднять в солдате сознание собственного достоинства. Какая трудная задача предстояла новому командиру корпуса. И как велика будет его нравственная ответственность, если он не сумел поддержать того же... Скобелев по долгу и по-товарищески (я нарочно подчеркиваю это слово) разговаривал с солдатами, и едва ли где-нибудь была так сильна власть офицеров, так строга дисциплина, как у него... Это был не из тех генералов, которые любят свои войска, когда те находятся от них на приличном расстоянии и кричат ура... Напротив, изнеженный, избалованный, брезгливый Скобелев — умел жить одною жизнью с солдатом, деля с ним грязь и лишения траншей, и так жить, что солдату это даже нисколько и удивительно не было...

— Видать сейчас, что от земли он! — говорили про него солдаты.

— Как это от земли? — спрашиваю я.

— А так, что дед его землю пахал... Вот и на нем это осталось... Он нас понимать может... А те, которые баре, тем понимать нас нельзя... Те по-нашему и говорить не могут...

А между прочим «попущения» в его отряде никому не было.

Товарищ в антрактах, на биваках, в редкие периоды отдыха — он во время дела являлся суровым и требовательным до крайности. Тут уж ничему не было оправдания... Не было своих, не было и чужих. Или нет, виноват, своим — первая пуля в лоб, самая труднейшая задача, самые тяжелые лишения.

— Кто хочет со мной — будь на все готов...

Удивлялись, что он дружился с каждым офицером. Еще бы. Прапорщик, по-товарищески пивший вино за одним столом с ним, — на другой день умирал по его приказанию, подавая пример своим солдатам. Дружба Скобелева давала не права, а обязанности. Друг Скобелева должен был следовать во всем его примеру. Там, где постороннего извиняли и миловали — другу не было оправдания и прощения...

VII.

Меня лично Скобелев поражал изумительным избытком жизненности. Я знал после только старика С. И. Мальцева — являвшего такой же избыток силы, энергии, инициативы во всем. Скобелев был инициатор по преимуществу. С быстротой и силой паровика он создавал идеи и проекты в то время, когда не дрался. Собственно говоря, я решительно не могу понять, когда он отдыхал. Отмахав верст полтора в седле — карьером, сменив и загнав при этом несколько лошадей, он тотчас же принимал донесения, делал массу распоряжений, требовавших не утомленного ума, а быстроты и свежести соображений, уходил в лагери узнать, что варится в котлах у солдат, мимоходом проверял аванпосты и, наконец, закончив все это, садился за книги, которые он ухитрялся добывать при самых невозможных условиях, и всегда серьезные, требовавшие напряжения мысли, — или с энергией глубоко убежденного человека, которому дороги его принципы, вступал в спор с Куропаткиным, со мною, с приехавшими к нему товарищами. Он приводил при этом в доказательство высказанного им тезиса целый арсенал исторических фактов, поименовывал безошибочно цифры, года и имена, указывал литературу данного вопроса. Нельзя было этого, он являлся к молодым офицерам и

под видом шутки начинал учить их тому или другому таинству военного дела... Это не был сухой ум, весь ушедший в свое дело. Напротив — и тут избыток жизненности выручал его. Я думаю, все близкие ему люди помнят обеды у Михаила Дмитриевича, где он развешивался весь в тесном кружке товарищей, умея отзываться на серьезный вопрос серьезно, на шутку шуткой, занимая окружающих мастерскими рассказами, полными юмора, метких определений, наблюдательности... Одному он был чужд всегда — сантиментальности. Ее — он ненавидел, над людьми, «зараженными» ею — тешился. Это, впрочем, будет видно из последующего нашего рассказа. Когда на такой обед попадал кто-нибудь из фазанов (военный хлыщ в малом чине, но облеченный в яркий мундир и притом «свободный от ума» — определялся этим именем), Скобелев умел весьма тонко и как будто незаметно заставить его высказаться. Помимо всяких намерений, медведь начинал плясать, показывая смеющейся публике все свои шутки и фокусы... И чем глупее были они, тем лучше чувствовала себя аудитория, состоявшая из загнанных армейцев. Являлось некоторое чувство нравственного удовлетворения. Разница — была не в пользу птицы, оперенной столь ярко и красиво. Когда подобный обед делался на боевой позиции или в траншее — фазану в предстоял еще десерт, очевидно, вовсе им не предусмотренный...

— Вы хотели осмотреть положение неприятеля? — вкрадчиво и мягко предлагал генерал.

Или:

— Вас, кажется, интересуют траншейные работы турок? — ласково-заманчиво обращался он к бедному фазану.

Неосторожная птица, счастливо улыбаясь, подтверждала все это.

— Ну, генерал, сейчас в холодильник его! — шептали адъютанты.

И действительно, Скобелев брал пернатое под руку и выводил... на открытое место между нашими и турецкими траншеями, часто сближавшимися шагов на 300 или даже на 150. Полоса эта обстреливалась постоянно.

— Это что такое... это, кажется, пули? — трепетал несчастный фазан. — Свищут как они. Однако тут и убить могут...

— Да! — равнодушно ронял Скобелев и медленно проводил его по «райской дороге». Райской потому, что, идя по ней, легко было попасть в рай. Представляю читателю судить о впечатлениях новичка. С выдержавшим такой искус Скобелев тотчас же мирился, и он делался своим в его кружке. В конце концов он довел дело до того, что фазаны стали осторожны и, несмотря на глупость этих птиц, перестали являться к нему на боевые позиции...

С каждым новым подвигом росла к нему и вражда в штабах.

Особенно — прежние товарищи. Те переварить не могли такого раннего успеха, такого слепого счастья — на войне. Они стали капитанами, полковниками, когда он уже сделал самую блестящую карьеру, оставив их далеко за собой. Когда можно было отрицать храбрость Скобелева, это ничтожнейшее из его достоинств, — они отрицали ее. Они даже рассказывали примеры изумительной трусости, якобы им обнаруженной. Когда нельзя было уже без всякого явного обвинения во лжи распускать такие слухи — они начали удальство молодого генерала объяснять его желанием порисоваться, но в то же время отмечали полную военную бездарность Скобелева. Когда и это оказывалось нелепым — они приписывали ему равнодушие к судьбе солдата. «Он пошлет десятки тысяч на смерть — ради рекламы. Ему дорога только своя карьера и т. д.». Явились легенды о том, как там-то он нарочно не подал помощи такому-то, а здесь опоздал, чтобы самому одному закончить дело, тут — радовался чужому неуспеху... Корреспонденты английских, американских, французских, итальянских и русских газет отдавали ему справедливость. Мак-Гахан, Форбс, Бракенбури, Каррик, Гаввелок, Грант помещали о нем восторженные статьи. Что ж из этого — они были им подкуплены! Когда, наконец, военные агенты дружественных нам держав, видевшие Скобелева на деле, стали отзываться о нем, как о будущем военном гении, — и на это тотчас же нашлись объяснения. Они, видите ли, хотели, чтобы Скобелев представил их к тому или другому ордену и т. д. Удивительно только, как они, эти жаждущие отличий иностранцы, не хвалили именно тех, кто их украшал всевозможными крестами. В конце концов — враги генерала даже во время Ахалтекинской экспедиции злорадно поддерживали слухи о том, что Скобелев

в плену, Скобелев разбит, и замолчали только после ее блестящего окончания. Тут уже говорить было нечего, зато над его трупом, в тот момент, когда кругом все, кому дорого русское дело, были потрясены,— эти господа живо записались в друзья к безвремению погибшему генералу.

Я сам помню эти фразы:

— Мне особенно чувствительна эта потеря! Меня так любил покойник!

— Мы с ним на ты были... Только я один понимаю всю великость этой потери...

— Я хороню своего лучшего друга!

Господи! Какая насмешливая улыбка показалась бы на этих бескровных, слипшихся губах, если бы они могли еще смеяться, какой бы гнев загорелся в глазах генерала при этих лобызаниях иудийских, столь обильно сыпавшихся на его холодное и гордое чело, прекрасное даже и после смерти...

И тут же рядом, в виде сожаления, проскальзывали довольно ядовитые намеки.

— Так ли ему умереть следовало!.. Ему бы нужно было пасть в бою — впереди своих легионов!

О, что за дело до того, как человек умер! Важно — как он жил и что он сделал... А до того, как умер,— не все ли равно. Поздние сожаления не воскресят его...

После Ахалтекинской экспедиции, когда нельзя было уже безнаказанно распускать слухи о бездарности генерала, во-первых, потому, что на самих рассказчиков начинала падать неблагоприятная тень, а во-вторых, потому, что легковерных слушателей больше не оказывалось — являлись иные приемы уронить его в общественном мнении. Скобелев оказывался честолюбцем...

— У него рот теперь так разинут, что не найдется куска, который бы удовлетворил его аппетиту...

Другие приписывали ему замыслы всемирного деспота. Со слов немецких газет, указывали в нем — вернейшем народнике — Наполеона... Глупость за глупостью рождались и быстро расходились в обществе, привыкшем во всем узнавать по слухам, верить сплетням, не умеющем отличать клеветы от правды.

Когда за завоевание Ахал-Теке его произвели в полные генералы и дали ему Георгия 2-й степени, Скобелев даже сделался мрачен. Это сохранилось и потом, когда он уже вернулся из экспедиции в Россию.

— Меня они съедят теперь! — говорил он мне...

— Скверный признак, слишком уж много друзей кругом... Враги лучше, тех знаешь и каждый ход их угадаешь... С друзьями не так легко справиться...

Надеюсь, читатели простят мне это отступление...

На меня покойный при первом нашем знакомстве произвел обаятельное впечатление.

Как в каждом крупном человеке, в нем и недостатки были крупные, но они ступеньками, прятались, когда он принимался за дело. Избалованный, капризный, как женщина, гордый сознанием собственного превосходства — он умел делаться приятным для окружающих его, так что они просто влюблялись в эту боевую натуру... Самый лучший суд есть суд подчиненных. Только эти беспристрастны, только они умеют верно определять личность — чуть ли не ежедневно сталкиваясь с нею. От них не спрячешься, их не надуешь, а эти судьи были все на стороне Скобелева... Они умели отличать раздражительность человека, несущего на себе громадную ответственность, работающего за всех, от сухости сердца и жестокости. Они прощали Скобелеву даже несправедливости, зная, что он первый сознает их и покается... Они не завидовали его любимцам, понимая, что чем ближе к нему, тем было труднее... Люди, рассчитывающие вкрась к нему в доверие, чтобы обделать свои личные делишки, — глубоко ошибались. Он видел их насквозь и умел пользоваться ими, их способами вполне. Человек такого воспитания и среды, к каким он принадлежал, иногда поневоле терпит около себя шутов — но эти шуты у него не играли никакой роли. Напротив!

— Его не надуешь. Он сам всякого обведет! — говорили про него.

— Он тебя насквозь видит. Ты еще задумал что — а он уже тебя за хвост держит и не пускает! — по-своему метко характеризовали солдаты пронизательность Михаила Дмитриевича.

Человеку, полезному его отряду, его делу — он прощал все, но зато уж и пользовался способностями подобного господина. В этом отношении покойный был брезглив.

— Всякая гадина может когда-нибудь пригодиться. Гадину держи в решпекте, не давай ей много артачиться, а придет момент — пусти ее в дело и воспользуйся ею в полной мере. Потом, коли она не упорядочилась, —

выбрось ее за борт!.. И пускай себе захлебывается в собственной мерзости... Лишь бы дело сделала!

Теория, пожалуй, несколько иезуитская, но в сложном, военном деле — действительно, всякая полезность на счету... В сущности, лазутчик военного времени и шпион мирного — профессии одинаковые. Более подлое занятие трудно найти. А между прочим, и теми и другими пользуются. Но если честное правительство гнушается сыщиками и шпионами мирного режима и только в самой отчаянной крайности прибегает к их неоднократным услугам, лазутчики военные являются необходимостью при всех условиях.

— Уж на что гадина, а нужна! — говорил Скобелев, и хоть сам никогда не входил в прямые сношения с этими господами, но был начеку и знал движения противника и условия местности, где ему приходилось действовать...

— В мирное время, где грозит прямая опасность всем солдатам, я бы эту сволочь разом выкинул! В военное время — она была нужна!..

VIII.

Умение пользоваться людьми у Скобелева было поразительное.

Приехал к нему как-то румынский офицер.

Во всех статьях, как следует, бухарестский джентльмен. Бриллиантовая серьга в ухе, зонтик от солнца в руках, талия, затянутая, в корсет, на щеках румяна... Блестящий мундир, шпоры звенящие, как колокола, на лице — пошлость и глупость неопишущая. Оказалось — отпрыск одной из знаменитых фамилий, в гербе которых окорок, потому что родоначальник когда-то торговал свиньями и за успешное разведение этих полезных животных возведен в дворянское, румынского княжества, достоинство. Шаркал, шаркал этот франт перед Скобелевым... На шее у него громадный Станислав, такой, какой носят на ленте сбоку. Точно икона...

— Нарочно заказал! — наивно признался этот Иоанеску или Попеску — не помню. — По собственному рисунку... Ваш — малозаметен...

Вид у него был столь внушительен, что солдаты на первых порах приняли его за самого «Карлу Румынскую», так они называли тогда князя.

Я диву дался, чего Скобелев возится с этим франтом.

Оказалось, что франт еще в мирное время целые годы жил в придунайской Болгарии — и сообщал массу интересных сведений о ней генералу, а потом этот блестящий представитель нарумяненного и затянутого в корсет молдаванского дворянства стал самым преданным поставщиком даже для солдат. Он и сапоги покупал в Румынии для нас и другие вещи. И все безвозмездно, только ради того, чтобы в свое время хвастаться дружбой со Скобелевым. А под Плевной этот же знаменитый потомок мудрого свинопаса, желая постоять за честь своего герба (золотой окорок на голубом поле), показал чудеса храбрости — отправляясь то туда, то сюда по приказанию Скобелева.

— Вот, братцы, — румын-то каким молодцом идет, — кидал своим Скобелев. — Нам-то, кажется, и стыдно пускать его вперед!

И те действительно бросались, чтобы не оставить румынам чести первой встречи с неприятелем.

Служил у Скобелева под началом некий, невиданный уже ныне, отправившийся *ad patres*, генерал.

Фальстаф с подчиненными — он был притчей во языцах. Трусоватый по природе, пуще всего дрожал за собственную жизнь, он тем не менее любил хвастаться мужеством, отвагой.

— Я и Скобелев, мы со Скобелевым! — только и говорил он.

— Знаете, я только в Скобелеве признаю опасного себе соперника!.. Как вам кажется, кто храбрее, я или Скобелев? — неожиданно обращался он к своему адъютанту.

Если тот уже обедал и не желал пообедать вновь, то отвечал:

— Разумеется, Скобелев.

— Не угодно ли вам отправиться домой и проверить, все ли бумаги и ответы готовы!..

И адъютант уходил спать. Если же он был голоден или на кухне у Фальстафа готовилось что-нибудь уж очень вкусное, то ответ следовал совершенно иного свойства.

— Знаете, ваше-ство, это еще вопрос — храбрее ли вас Скобелев... У него слишком пылкая отвага... — Вы — другое дело...

— Послушайте, юноша... Вы уже обедали?..

— Нет еще... Скобелев слишком бросается вперед... Тогда как вы...

— Вот что, оставайтесь-ка вы у меня обедать... Ну, так что же я? Говорите, не стесняйтесь... Я люблю слышать о себе правду!

— Вы именно вождь...

— Семен... Поддай бутылку красного вина на стол, нашего, того, которое я привез из Бухареста. Так я вождь?

— Да... Вы ничего не боитесь, но спокойно в убийственном огне располагаете ходом боя...

— Семен... К концу обеда, пожалуйста, заходи нам бутылочку шампанского...

Адъютант делался еще серьезнее и еще искреннее начинал хвалить своего генерала.

Раз этот Фальстаф сам себя живо описал так.

— Я, знаете, стоял в огне... Гранаты падают и здесь и там, и передо мной, и позади меня, и направо, и налево... Падают и все рвутся... А я, знаете, засмотрелся на картину боя и (замирающим голосом) так увлекся, что даже забыл о своем положении. В это время проезжал мимо Скобелев... Генерал обращается ко мне: «Я вам удивляюсь... Неужели вы не боитесь — мне жутко!..» В это время прямо перед носом у меня (каков нос!) лопается граната... Михаил Дмитриевич, вот мой ответ! Это я ему.

— Что же Скобелев?

— Молча пожал мне руку, вздохнул и поехал!..

Разумеется, шутники и насмешники рассказывали об этом Скобелеву, тот сам от души смеялся, но стал вдвое любезнее с Фальстафом...

— В первом бою он мне за свое хвастовство сослужит службу! — замечал он между прочим.

— Мы с вами, генерал, понимаем друг друга! — обращался к нему Скобелев.

Фальстаф рыдал от восхищения.

— Мы — боевые генералы, нам не в чем завидовать друг другу... Так... Скорей даже, я вам позавидую!

— О, помилуйте, ваше-ство, что ж тут считаться!

— Разумеется!

И Скобелев лукаво улыбался в усы... И действительно, в первом бою он подозвал несчастного и приказал ему вести вперед на редут свои войска.

— Покажите им, как мы с вами действуем... Замени меня!

И тот дрался как следует, одушевляя солдат.

«Соперничество родит героев!» — подшучивал потом генерал между своими...

— Ну что вы? — встретил он потом вернувшегося из боя льва.

— Я сегодня собой доволен! — величественно произнес тот.

— Это ваша лучшая награда!.. — сочувственно вздохнул Скобелев, но тем не менее, кажется, ни к чему его не представил.

— Могу сказать, я видел ад...

— И ад видел вас...

Генерал не выдержал, прослезился и бросился обнимать Михаила Дмитриевича.

Другой, уже под Брестовцем, тоже куда какой храбрый на словах, на деле всякий раз, как только предполагался бой, сейчас же начинал снабжать кухню Скобелева необыкновенными индейками или какой-нибудь особенно вкусной дичью...

— Некто прислал вам молочных поросят...

— И вместе рапорт о болезни? — с насмешливым участием спрашивал Скобелев.

— Точно так-с...

— Скажите ему, что завтра он может не приезжать на позицию...

Что и требовалось доказать, — как прежде исправные ученики оканчивали изложение какой-нибудь теоремы.

— Некто приказал кланяться и прислал вам гусей и индюка!

— Бедный, чем он болен?

— Индюк-с? — изумлялся посланный.

— Нет, генерал!

— Здоровы-с...

— Ну, так к вечеру, верно, заболит!

И действительно, ординарец вечером привозил рапорт о болезни.

— У него большая боевая опытность, — смеялся Скобелев. — Он как-то нюхом знает, когда предполагается дело. Его не надуешь...

— Зачем же держать таких?.. — спрашивали у генерала.

— А по хозяйственной части он незаменим! Я всю ее свалил на него — и отлично сделал... Посмотрите, как он ведет ее... В лучшем виде... И ведь старается... Вдвое против других старается... Отряд всегда поэтому обеспечен... Будь он не так часто «подвержен скоропостижным болезням» — наверное, солдаты хуже бы ели... Ну, и пускай его болеет, Господь с ним...

Другой — майор, совершенно соответствовавший идеалу армейского майора, с громадным брюхом, вечно потный, точно варившийся в собственном бульоне, имел Георгиевский крест, солдатский; так он нарочно спрятал его даже. Ни разу не надевал.

— Зачем вы это?

— Да как же... Я по хозяйственной части... А вы веси-ко Георгия... Вы знаете жадность Скобелева на георгиевских кавалеров?..

— Ну?..

— Он сейчас в бой пошлет... Благодарю покорно... Я человек сырой!

И кто поверит, что этот трус был любимцем Скобелева?!

А между прочим, это было так... Потому что никто другой не обладал подобною гениальностью добыть для целого отряда продовольствие в голодной, давно уже объеденной местности... Там, где, казалось, не было клочка сена, «храбрый майор» находил тысячи пудов фуражу...

— Сегодня вечером будет у нас маленькая пифпафочка!.. — незаметно улыбался Скобелев. — Вот, майор, вам случай получить Владимира с мечами.

— Да, — вспыхивал и начинал потеть майор. — Только у казаков сена нет... У суздальцев — хлеба!

— Ну-с?

— А я тут нашел в одном месте!

— Так и отправляйтесь и заготовьте!

Дело кончалось к обоюдному удовольствию. Майор избавлялся от ненавистной ему пифпафочки, а суздальские солдаты и казацкие кони наедались до отвалу.

IX.

Скобелев любил войну, как специалист любит свое дело. Его называли «поэтом меча», это слишком вычурно, но что он был поэтом войны, ее энтузиастом — не под-

лежит сомнению. Он сознавал весь ее вред, понимал ужасы, следующие за нею. Он, глубоко любивший русский народ, всюду и всегда памятовавший о крестьянине, — жалком, безграмотном и забитом, — смотрел на войну, как на печальную необходимость. В этом случае надо было отличать в нем военного от мыслителя. Не раз он высказывал, что начинать побоища надо только с честными целями, тогда, когда нет иной возможности выйти из страшных условий — экономических и исторических. «Война — извинительна, когда я защищаю своих и себя, когда мне нечем дышать, когда я хочу выбиться из душного мрака на свет Божий. Раз став военным, он до фанатизма предался изучению своей специальности. В настоящее время едва ли из германских генералов кто-нибудь так глубоко, так разносторонне знал военное дело, как знал его Скобелев. Он действительно мог быть щитом России в тяжелую годину испытаний, он бы стал на страже ее и в силу любви своей к войне пошел бы на нее не с фарисейскими сожалениями, не с сентиментальными оправданиями, а с экстазом и готовностью. Никто в то же время не знал так близко, во что обходится война.

— Это страшное дело! — говорил он. — Подло и постыдно начинать войну, так себе, с ветру, без крайностей, крайней необходимости... Никакое легкомыслие в этом случае непростительно... Черными пятнами на королях, императорах лежат войны, предпринятые из честолюбия, из хищничества, из династических интересов. Но еще ужаснее — когда народ, доведя до конца страшное дело, остается неудовлетворенным, когда у его правителей не хватает духу воспользоваться всеми результатами, всеми выгодами войны. Нечего в этом случае задаваться великодушием к побежденному. Это великодушие за чужой счет, за это великодушие не те, которые заключают мирные договоры, а народ расплачивается сотнями тысяч жертв, экономическими и иными кризисами. Раз начав войну, нечего уже толковать о гуманности... Война и гуманность не имеют ничего общего между собой. На войну идут тогда, когда нет иных способов. Тут должны стоять лицом к лицу враги, и доброта уже бывает неуместна. Или я задушу тебя, или ты меня. Лично иной бы, пожалуй, и поддался великодушному порыву и подставил свое горло, — души. Но за армией стоит народ, и вождь не имеет права миловать врага — если он еще опасен... Штатские теории тут неуместны... Я пропущу момент

уничтожить врага — в следующий он меня уничтожит, следовательно, колебаниям и сомнениям нет места. Нерешительные люди не должны надевать на себя военные мундиры. В сущности, нет ничего вреднее и даже более — никто не может быть так жесток, как вредны и жестоки по результатам своих действий сантиментальные люди. Человек, любящий своих ближних, человек, ненавидевший войну, должен добить врага, чтобы вслед за одной войной тотчас же не начиналась другая...

— Таким образом, если война так ужасна, то следует воевать только тогда, когда неприятель явился ко мне в страну?

— О, нет. Всякая страна имеет право на известный рост. Государство должно расширяться до тех пор, пока у него не будет того, что мы называем естественными границами, законными очертаниями. Нам, то есть славянам, потому что, заключившись в узкие пределы только русского племени, мы потеряем все свое значение, весь исторический *Rasion d'être*, так я говорю, что нам, славянам, нужны Босфор и Дарданеллы, как естественный выход к морю, иначе, без этих знаменитых проливов, несмотря на весь наш необъятный простор, мы задохнемся в нем. Тут-то и следует раз навсегда покончить со всякою сантиментальностью и помнить только свои интересы. Сначала — свои, а потом можно подумать и о чужих... Наполеон великий отлично понимал это... Он неспроста — открыл свои карты Александру Первому. В Эрфурте и в Тильзите он предложил ему размежевать Европу...

— Да, начать войны, где потом ручьями потекла бы кровь...

— А разве потом она не разливалась морями? Он отдавал нам Европейскую Турцию, Молдавию и Валахию, благословенный небом славянский Юг, с тем только, чтобы мы не мешали ему расправиться с Германией и Великобританией... Подумаешь, какие друзья!.. Это все равно, что я бы предложил уничтожить ваших злейших врагов, да еще за позволение, данное вами на это, стал бы сулить вам вознаграждение... А мы-то что сделали?.. Сначала поняли, в чем дело, а потом начали играть в верность платонических союзов, побратались с немцами! Ну, и досталось нам за это на орехи. Целые моря крови пролили, да еще и прольются — будьте уверены, и все придем к тому же!

— Мы тогда спасли немцев. Это, может быть, очень трогательно с точки зрения какого-нибудь чувствительного немецкого романиста, но за этот взгляд мы заплатились громадными историческими несчастьями. За него мы в прошлую войну, имея у себя на плечах немцев и англичан, попали в гордиев узел Берлинского трактата, и у нас остался неразрешенным Восточный вопрос, который потребует еще много русской крови... Вот что значит сантиментальность в истории...

— Я в союзы и дружбу между народами,— говорил мне Михаил Дмитриевич,— не верю... Этот род дружбы далек от равенства... В подобных союзах и в такой дружбе — один всем пользуется, а другой за все платит, один ест каштаны, а другой вытаскивает их из огня голыми руками. Один льет свою кровь и тратит деньги, а другой честно маклерствует, будучи не прочь ободрать друга в решительную минуту... Так уж, если заключать союзы, пусть в этих союзах другой будет жертвой, а не я. Пусть для нас льется кровь и тратят деньги, пусть для нас таскают из огня каштаны... А лучше всего в одиночку... Моя хата с краю, ничего не знаю, пока меня не задела, а задела — так уж не обессудьте, свое наверстаем...

Я привожу здесь мнения Скобелева как характеристику покойного. Лично я мог разделять или не разделять эти взгляды, все равно; дело не в том, каковы мои убеждения, а в том, что именно, по тому или другому предмету, думал один из замечательнейших людей нашего времени, даже едва ли не самый замечательный. Поэтому я и передаю их без всякого оборота на себя.

Скобелев за войною признавал, главным образом, экономическое значение. Непосредственных причин войн бывает две. Или сравнительно высокая цивилизация народа, начинающего войну со слабым соседом и противником, причем образованный народ, уничтожая слабейшего врага, рассчитывает обогатиться на его счет, захвативши его земли, и тем улучшить свое благосостояние. Так, например, были завоеваны Индия, Америка. Или, наоборот, беднейший народ нападает на высокую цивилизацию и пользуется ее плодами для улучшения своего положения. Таковы завоевания гуннов, вандалов, тевтонов, татар и т. под. Это — также принцип борьбы за существование...

Как-то у меня зашел с ним разговор о Польше.

— Завоевание Польши вызывалось соображениями, на которые можно смотреть разное, что касается до ее раздела, то я громко признаю это — братоубийством, историческим преступлением... Правда, русский народ был чист в этом случае. Не он совершил это преступление, не он и ответственен. Повторяю вам, во всей нашей истории я не знаю более гнусного дела, как раздел Польши между немцами и нами... Это Вениамин, проданный братьями в рабство!.. Долго еще русские будут краснеть за эту печальную страницу из своей истории. Если мы не могли одни покончить с враждебной нам Польшей — то должны были приложить все силы, чтобы сохранить целостным родственное племя, а не отдавать его на съедение немцам.

Впоследствии — он то же самое повторял г. Пушкиреву, который записал выводы Скобелева со стенографической точностью. Я привожу из них те, которые приходилось слышать и мне самому. Они так или иначе, но рисуют Михаила Дмитриевича чрезвычайно цельным человеком. Этот если чему отдавался, так безоглядно, и, высказывая что-либо, не прибегал к извинениям, недомолвкам. Он не боялся самого крайнего развития своей мысли, лишь бы это делалось логически. В нем было именно ценно то, что он всегда прямо, ребром ставил вопросы, очень мало обращая внимание на то, как они в данную минуту будут приняты обществом или властью... В этом была разгадка его силы, в этом было его значение как знамени для наших народников.. С его смертью — они потеряли знамя, потеряли вождя...

Вот что он не раз повторял мне, да и всем, с кем по делу приходилось ему спорить и высказываться.

Ему не раз доказывали полную невозможность войны в настоящее время. Он часто возвращался к этому вопросу и разбирал все возражения.

«Спросят, — говорил он, — как же вы будете воевать, когда у вас денег нет, когда ваш рубль ходит 62 копейки за 100? Я ничего не понимаю в финансах, но чувствую, что финансисты-немцы тут что-то врут».

«В 1793 году финансы Франции были еще и не в таком положении. Металлический 1 франк ходил за 100 франков кредитных. Однако Наполеон, не имея для солдат сапог, одежды, пищи, пошел на неприятеля и достал не

только сапоги, одежду и пищу для солдат, но и обогатил французскую казну, а курс свой опять поднял до 100 и даже за 100. При Петре Великом мы были настоль бедны, что после сражения под Нарвой, когда у нас не было орудий, нам пришлось колокола переливать на пушки. И ничего! После Полтавского боя все изменилось, и с тех пор Россия стала военной державой».

«А покорение России татарами?.. Что ж вы думаете, они покорили Россию потому, что курс их был очень хорош, что ли? Просто есть нечего было, ну, и пошли и завоевали Россию, а Россию завоевать не шутка!»

«Я не говорю: воевать теперь. Пока еще наш курс 62 копейки, можно и погодить, но немцы долго ждать не заставят и живо уронят его. Вот тогда будет война, тогда будет пора!»

«Еще я не понимаю, зачем нам на войну деньги? На нашей земле кредитный билет ходит рубль за рубль. Мы верим прочности нашего государственного устройства, и пусть у нас пишут деньги хоть на коже, мы им поверим, а в деле кредита это все, что требуется».

«Если бы Бог привел нам перенести войну на неприятельскую территорию, то враг должен за честь считать, ежели я ему заплачу за что-нибудь нашим кредитным рублем. Даже кредитные билеты я отдам с сокрушенным сердцем. Неприятель должен нас кормить даром. И без того наш народ нищий, по сравнению с нашими соседями, а я еще буду ему платить деньги, заработанные горем, бедой и тяжким трудом рязанского мужика. Я такой сантиментальности не понимаю».

«Господа юристы утверждают, что победитель должен быть великодушен с неприятелем, и за все, что взято голодным солдатом, должно быть заплачено. Творцы берлинского договора готовы сами обязать Россию заплатить контрибуцию, только бы доказать перед Европой, как мы великодушны».

— Господи! Как вспомнишь об этом,— воскликнул Михаил Дмитриевич,— так плакать хочется. Издержки войны они предоставили заплатить русскому народу, который и без того не может управиться с недоимками и загребущими лапами кулака!

Скобелев, впрочем, сам сделал опыт такого рода во время текинской экспедиции. По словам участников, в

ней все расчеты за продукты для продовольствия войск, до назначения Михаила Дмитриевича, производились на золото и серебро. Скобелев чуть не на третий день после своего приезда на место приказал все имеющиеся на лицо персидские металлические деньги разменять на русские кредитные билеты, чужих денег ни в каких расчетах с казной не принимать, а требовать у персиян русских бумажек. Затем, до него треть офицерского жалования производилась золотом, он велел выдавать бумажками, увеличив самое содержание, разумеется. В конце концов персы и туркмены бросились в полевые казначейства Закаспийского края — просить, как милости, принять персидское серебро рубль за рубль, хотя еще накануне давали 70 и 60 коп. металлических за наши желтенькие кредитки.

— Хорошо, — говорил Скобелев, — французским и немецким буржуа считать войну экономической ересью, когда у них ходит монета сто за сто, когда все сыты, работы вволю, растет просвещение... но когда приходится довольствоваться хлебом с мякиной, задыхаться в неоплатных долгах, когда русскому все равно, умирать ли от голода или от руки неприятеля, то он захочет войны уже по одному тому, что умирать в бою, по понятиям народа, несравненное почтение. При этом остается надежда остаться в живых, победить!

— Всегда, разумеется, найдутся сытые, имеющие спокойные, обеспеченные средства к жизни, как, например, капиталисты, купцы, в особенности чиновники, получающие верное содержание. Они будут против войны, даже с потерей государственной чести, но в этих случаях следует принимать в соображение экономическое положение массы простого народа, а не обеспеченных классов, питающихся невежеством, добродушием и слабостями. Впрочем, — прибавил Скобелев, — русские, в большинстве, так созданы, что когда вопрос коснется государственной чести, то даже сытые классы охотнее в тяжкую годину пойдут на жертвы, чем поступятся честью. Они будут ворчать на расстройство дел и все-таки принесут свой грош! Привожу рассуждения военного «без оборота для себя». Это делать приходится поневоле, я не могу забыть, как мне приписывали всевозможные глупости вроде проекта образования Болгарской губернии, в котором я столько же повинен, сколько в Иродовом избении младенцев.

Для Скобелева действительно каждое дело, которое он брал на себя, было серьезным. В этом отношении он не различал малых и незначительных от больших. К задуманному предприятию, хотя бы оно и выходило из пределов его специальности, он готовился долго и пристально и затем, если начинал его, то уж до мельчайших подробностей знакомый с условиями данной среды. Как-то М. Д. заинтересовался вопросами о путях сообщения в России, о железных дорогах и каналах, — не прошло нескольких недель, как он уже посрамил неожиданно наткнувшегося на него путейца, предложившего было Скобелеву поддержать какой-то совершенно невозможный проект. При этом Скобелев боролся его же оружием, техническими соображениями, вычислениями и т. д. Не доверявший никому в деле знания — он любил везде и всюду быть хозяином: не отступал при этом ни перед трудностью изучения, ни перед затратою времени. Если бы его назначили обер-прокурором Синода, я убежден, через месяц он явился бы перед святыми отцами во всеоружии знаний канонического и иного, подходящего к этому случаю устава. После крайне трудного перехода к Бии, по пути к Зимнице, я застал его в каком-то сарае румынского помещика. Скобелев бросился на сено и вытащил из кармана книгу.

— Неужели вы еще работать будете? У нас у всех руки и ноги отнялись от утомления!

— Да как же иначе?.. Не поработаешь — так и в хвост влетит потом, пожалуй!

— Что это вы?

— А французского сапера одного — книжка о земляных работах!

— Да вам зачем?

— Как зачем? — изумился Скобелев.

— Ведь у вас же будут саперные команды, специально знающие дело...

— Ну, это уже непорядок... Генерал, командующий отрядом, должен сам уметь рыть землю... Ему следует все знать, иначе он и права не имеет других заставлять делать... Свой глаз нужен везде!

Во время переправы через Дунай Скобелев, чтобы не оставаться бесполезным, взял на себя роль ординарца при генерале Драгомирове, на которую обыкновенно со-

глашались прапорщики, поручики и вообще мелко-
травчатая молодежь... Потом Драгомиров сам отдал
справедливость Михаилу Дмитриевичу в том, что тот и
ординарцем был превосходным, передавал приказания
по боевой линии, водил небольшие отряды в бой, обна-
ружив в самом начале его орлиный взгляд. Когда, взвол-
нованный громадной ответственностью, лежащей на нем,
Драгомиров еще сомневался в исходе сражения, Скобе-
лев, веселый и радостный, подходит к нему.

— Ну, поздравляю с победой!

— Как?.. Да ведь еще дело в начале!

— Все равно... Ты посмотри на лица твоих солдат!

И действительно, как военный психолог, Скобелев не
имел себе равного в настоящее время. Он положительно
угадывал. В каждую данную минуту знал настроение
масс и умел их направить как ему вздумается. На-
сколько он изучил солдата, видно будет из дальнейших
моих воспоминаний, но что он умел делать из него —
об этом верно порасскажут и другие близкие к нему и
знавшие его лица... Его сближала с солдатом, сверх
того, и действительная, глубокая любовь. Про Скобелева
говорили, что он, не сморгнув, послал бы в бой десятки
тысяч на смерть... Это верно. Он не был сантиментален,
и если брался за дело, то уж без сожалений и покаян-
ного фарисейства исполнял его. Он знал, что ведет на
смерть и без колебаний не посылал, а вел за собою...
Первая пуля — ему, первая встреча с неприятелем была
его... Дело требует искупления и, раз решив необходи-
мость этого дела, он не отступил бы ни от каких жертв...
Полководец, плачущий перед фронтом солдат, потому что
им сейчас же придется идти в огонь, едва ли поднял бы
дух отряда. Скобелев иногда прямо говорил людям:
«Я посылаю вас на смерть, братьцы... Вон видите эту
позицию?.. Взять ее нельзя... Да я брать ее и не думаю.
Нужно, чтобы турки бросили туда все свои силы, а я тем
временем подберусь к ним вон оттуда... Вас перебьют —
зато вы дадите победу моему отряду. Смерть ваша будет
честною и славною смертью... Станут вас отбивать — от-
ступайте, чтобы сейчас же опять броситься в атаку...
Слышите ли?.. Пока живы — до последнего человека
нападайте...» И нужно было слышать, каким «ура» отве-
чали своему вождю эти, на верную смерть посылавшиеся,
люди!.. Это уже не покорно, поневоле умирающие гла-
диаторы приветствовали римского Цезаря, а боевые това-

риши в последний раз клаивались любимому генералу, зная, что смерть их действительно нужна, что она даст победу... Жертва сознательная и потому еще более доблестная, еще более великодушная... Он, говорят, не любил солдата. Но ведь солдата, как и ребенка, не надуешь. Солдат отлично понимал, отлично знает, кто его любит, а кто не любит — тому он не верит и в свою очередь особенную признательность не платит. Пусть мне укажут другого генерала, которого бы так любили, которому бы так верили солдаты, как Скобелеву... Они сами, глядя в эти светлоголубые, но решительные глаза и выпуклый лоб, видя складку губ, говорящую о бесповоротной энергии — понимали, что там, где надо, у генерала не будет пощады и не будет колебаний... Как хотите, в подобных случаях и я кающихся Магдалии понять не могу; слабоиервные бабы в военных муидирах едва ли являются симпатичными кому бы то ни было... Тогда уходи и не служи делу, которое ты считаешь непрямым, злым, вредным. Гораздо проще, честнее. Скобелев любил солдата и в своей заботливости о нем проявлял эту любовь. Его дивизия, когда он ею командовал, всегда была одета, обута, сыта при самой невозможной обстановке. В этом случае он не останавливался ни перед чем. После упорного боя, измученный, он бросался отдыхать, а часа через три уже был на иогах. Зачем? Чтобы обойти солдатские котлы и узнать, что в них варится. Никто с такою неиваистью не преследовал хищников, заставлявших голодать и холодать солдата, как он. Скобелев в этом отношении не верил ничему. Ему иужио было самому, собственными глазами, убедиться, что в котомке у солдата есть полтора фунта мяса, что хлеба у него вволю, что он пил водку, положенную ему. Во время плевеиского сидения солдаты у него постоянно даже пили чай. То и дело при встрече с солдатом он останавливал его.

— Пил чай сегодня?

— Точно так-с, ваше-ство!

— И утром, и вечером?

— *Точно так-с!

— А водку тебе давали?.. Мяса получил, сколько надо?..

И горе было ротному командиру, если на такие вопросы следовали отрицательные ответы. В таких случаях М. Д. не знал милости, не находил оправданий.

Не успевал отряд остановиться где-нибудь на два дня, на три, как уже рылись землянки для бань, а наутро солдаты мылись в них. Он ухитрился у себя в траншеях устроить баню — как ухитрился там же поставить хор музыки... Когда началась болгарская зима — отряд его был без полушубков... Интендантство менее всего помышляло об этом. Что делать? Оказывалась крайняя нужда одеть хоть дежурные части. Полковых денег нет — купить в Румынии. Своих у М. Д. тоже не оказалось... Обратился к отцу... Но «паша», при всем своем добродушии, был скуповат.

— Нет у меня денег! Ты мотаешь... Это невозможно. Вздумал, наконец, солдат одевать на мой счет...

Через несколько дней Скобелев узнает, что в Боготу румын привез несколько сот полушубков.

— Поедьте в главную квартиру... — предложил он мне.

— Зачем?

— Полушубки солдатам куплю...

— Без денег?

— Паша заплатит. Я его подведу... — И Скобелев насмешливо улыбнулся.

Приказал ротным телегам отправиться за полушубками.

Приезжаем в Боготу... Скобелев прямо в землянку к паше.

— Здравствуй, отец! — и чмок в руку.

— Сколько? — спрашивает прямо Дмитрий Иванович, зная настоящий смысл этой сыновней нежности и почтительности.

— Чего сколько? — удивляется Скобелев.

— Денег сколько тебе надо?.. Ведь я тебя насквозь вижу... Промотался, верно...

— Что это ты в самом деле... Я еще с собой привез несколько тысяч... Помоги мне купить полушубки на полковые деньги. Ты знаешь, ведь я без тебя ничего не понимаю!

На лице у отца является самодовольная улыбка. Для него такие признания знаменитого сына были праздником.

— Еще бы ты чего-нибудь понимал!

— Как без рук без тебя... Я вообще начинаю глубоко ценить твои советы и указания! И чем дальше, тем больше!

Дмитрий Иванович совсем растаял.

— Ну, ну!.. Что уж тут считаться!

— Нет, в самом деле — без тебя хоть пропадай!

— Довольно, довольно!..

Старик оделся. Отправились мы к румынскому купцу... Часа три подряд накладывали полушубки на телеги. Наложат — телега и едет под Плевну, на позиции 16-й дивизии; затем вторая, третья, четвертая. Скобелев-старик в поте лица своего возится, всматривается, шупает и нюхает полушубки, чуть не на вкус их пробует. Так увлекся этим, что даже насмешливой улыбки сына не замечает.

— Я, брат, хозяин... Все знаю... Советую и тебе научиться...

— А ты научи меня!.. — покорствует Скобелев.

Наконец последняя телега наложена и отправлена...

И вдруг перемена декораций:

— Ну... Прощай, отец... Казак, коня!..

Вскочил Скобелев в седло... Румын к нему.

— Счет прикажете к кому послать?.. За деньгами...

— А вот к отцу... Отец, заплати, пожалуйста... Я потом отдам тебе...

Нагайку лошади — когда Дмитрий Иванович очнулся, и Скобелев, и полушубки были уже далеко.

«Noblesse obligé» и старик заплатил по счету, а дежурная часть дивизии оделась в теплые полушубки. Благодаря этому обстоятельству, когда мы переходили Балканы, в скобелевских полках не было ни одного замерзшего... Я вспоминаю только этот ничтожнейший факт, чтобы показать, до какой степени молодой генерал способен был не отступать ни перед чем в тех случаях, когда что-нибудь нужно было его отряду, его солдатам.

Потом старик-отец приезжал уже в Казанлык в отряд.

— И тебе не стыдно?.. — стал он урезонивать сына.

— Молодцы! Поблагодарите отца... Это вы его полушубки носите! — расхохотался сын.

— Покорнейше благодарим, ваше-ство!..

— Хорош... Уж ты, брат, даром руки не поцелуешь... Я только не сообразил этого тогда!

Хохот стал еще громче...

У отца с сыном были и искренние, и в то же время чрезвычайно комические отношения... Хотя оба в одних чинах, но сын оказывался старше, потому что он командовал большим отрядом, у него был Георгий на шее

и т. д. Отца это радовало и злило в одно и то же время.

— А все-таки я старше тебя!..— начинал, бывало, до-
нимать его сын.

Дмитрий Иванович молчит...

— Служил, служил и дослужился до того, что я тебя
перегнал... Неужели тебе, папа, не обидно?..

— А я тебе денег не дам...— находился наконец
Дмитрий Иванович.

— То есть как же это? — опешивает сын.

— А так, что и не дам... Живи на жалование...

— Папа! Какой ты еще удивительно красивый...—
начинает отступать сын.

— Ну-ну, пожалуйста...

— Расскажи, пожалуйста, мне что-нибудь о венгер-
ской кампании... Знаешь, о том деле, где ты получил
Георгия... Отец у меня, господа, молодчинище... В моих
жилах течет его кровь...

— А я все-таки тебе денег не дам!

Скобелев всегда нуждался. При нем никогда не было
денег, а между тем швырял он ими с щедростью римских
патрициев. Идешь, бывало, с ним по Бухарешту... Улич-
ная девчонка подносит ему цветок...

— Есть с вами деньги?

— Есть!

— Дайте ей полуимпериял!..

Офицеры — тоже все к нему. Не его дивизии, совсем
незнакомые, бывало... Едет, едет в отряд и застрянет
где-нибудь. Денег ни копейки. К Скобелеву...

— Не на что доехать...

— Сколько же вам нужно?..

— Да я не знаю...— мнется тот.

— Двадцать полуимпериялов довольно?..

— И десяти будет...

— Возьмите!

Забывая, кто ему должен, Скобелев-сын и сам забы-
вал свои долги. Страшно шепетильный там, где дело
касалось казенного интереса, в этих случаях собственные
счета он вел тогда спустя рукава.

И эксплуатировали его при этом ужасно. Разумеется,
большая часть таких пособий были безвозвратны... Ког-
да деньги истощались, начинались дипломатические пере-
говоры с отцом...

Зачастую тот решительно отказывал... Тогда Ско-
белев-сын в свою очередь начинал злиться.

- Ты до такой степени скуп...
- Ну, ладно, ладно. На тебя не напасешься...
- Ты пойми...

— Давно поиял... У меня у самого всего десять полуимперялов осталось в кармане!

— Вот, господа... — обращается, бывало, М. Д. к окружающим. — Видите, как он мне в самом необходимом пропитании отказывает!

Кругом хохочут.

— Я твоей скупости всей своей карьерой обязаи...

— Это как же? — удивляется в свою очередь Скобелев-старший.

— А так... Хотел я тогда, когда закрыли университет, уехать докаичивать курс за границу, ты не дал денег, и я должен был юнкером в кавалергарды поступить. Там ты мне давал денег, чтобы достойно поддерживать блеск твоего имени — я должен был в действующий отряд в Польшу перейти, в гусары. В гусарах ты меня не поддерживал...

— Только постоянно твои долги платил! — как бы в скобках вставлял отец.

— Ну! Какие-то гроши... Не поддерживал... Я должен был в Тифлис перейти... В Тифлисе жить дорого — я ушел от твоей скупости в Туркестан... А потом она же меня загнала в Хиву, в Ферганское хаиство...

— И отлично сделала!..

— Зато судьба тебя и покарала, судьба всегда справедлива!

— Это как же?

— А то, что я старше тебя теперь!..

— Мальчишка!

— Так не дашь денег?..

— Нет...

— Ну, так прощайте, генерал!

И они расходились.

Он очень любил своего отца, и им был горячо любим, но такие сцены постоянно разыгрывались между ними. Сыновия любовь его, впрочем, была совсем чужда сантиментальности. Как-то он очень сильно заболел в Константинополе. Недуг принял довольно опасный оборот. Скобелев-отец случайно узнает об этом. Встревоженный, он едет к сыну.

— Как же это тебе не стыдно...

— Что такое?

— Болен и знать мне не дал!

— Мне и в голову не пришло!..

Старик был очень расстроен. Скобелев-сын заметил это и извинился.

— Не понимаю, в чем же моя вина? — обратился он потом к своим.

В другой раз Дмитрий Иванович приехал в зеленогорскую траншею к сыну.

— Покажи-ко ты мне позиции... Где тут у тебя опаснее?

— Ты что ж это, набальзамириться хочешь? Или старое проснулось?

— Да что ж я, даром, что ли, генеральские погоны ношу?

И старик выбрал себе один из опаснейших пунктов и стал на нем.

— Молодец, паша,— похвалил его сын,— весь в меня!..

— То есть это ты в меня?..

— Ну, дай что-нибудь моим солдатам...

— Вот десять золотых...

— Мало...

— Вот еще пять...

— Мало...

— Да сколько же тебе?..

— Ребята... Мой отец дает вам по полтиннику на человека... Выпейте за его здоровье...

— Рады стараться... Покорнейше благодарим, ваше-ство!..

Старик поморщился, но в эту минуту ничего не сказал. Зато, когда пришло время уезжать:

— Ну, уж я больше к тебе сюда не приеду!

— Опасно?

— Вот еще... Не то... Ты меня разоряешь... Сочти-ко, сколько я должен прислать сюда теперь...

— Вот... Смерти не боится, а над деньгами дрожит. Куда ты их деваешь?

— Да у меня их мало...

Потом, когда Дмитрий Иванович умер, Скобелев мог вполне оценить мудрую скупость своего опекуна. Ему досталось громадное имение и капиталы, о существовании которых он даже и не предполагал:

— К крайнему удивлению своему, я богатым человеком оказался...

Скобелев с годами изменился. В нем не осталось совсем мотовства, но там, где была нужда, — он раздавал пособия щедрою рукою... «Просящему дай» — действительно, он усвоил себе этот принцип, вполне следовал ему всю жизнь. Его обманывали, обирали — он никогда не преследовал виновных в этом... Раз лакей утаил «три тысячи», данные ему на сохранение.

— Куда ты дел деньги?

— Потерял!

— Ну и дурак!

— Как же вы оставляете это? — говорили ему. — Ведь, очевидно, он украл их!

— А если действительно потерял, тогда ему каково будет?

В другой раз один из людей, которым Скобелев доверял, вынул бриллианты из его шпаги — и продал их в Константинополе... Хотел было дать делу ход, как вдруг узнает об этом Скобелев.

— Бросьте... И ни слова об этом!

— Помилуйте... Как же бросить...

— Срам!..

— Так нужно хоть бриллианты выкупить. Ведь сабля жалованная!

— Забудьте о них. Как будто ничего не случилось...

При встрече с виновным он не сказал ему ни слова... Только перестал подавать ему руку... Даже не прогнал его.

— Я его оставил при себе, ради его брата...

Потом этот брат, которого за отчаянную храбрость и находчивый ум любил Скобелев, еще ужаснее отблагодарил генерала за доброту и великодушие, внося в его жизнь самую печальную страницу, и заставил его еще недоверчивее относиться к людям...

XI.

Доступность Скобелева была изумительна.

Нужно помнить, что он принадлежал военной среде, среде, где дисциплина доходит до суровости, где отношения слагаются совершенно иначе, чем у нас. Тем не менее каждый, от прапорщика до генерала, чувствовал себя с ним совершенно свободно... Скобелев был хороший диалектик и обладал массой сведений — он любил спо-

рить и никогда не избегал споров. В этом отношении все равно — вольноопределяющийся, поручик, ординарец или другой молодой офицер: раз поднимался какой-нибудь вопрос, всякий был волен отстаивать свои убеждения всеми способами и мерами. Тут генерал становился на равную ногу. Споры иногда затягивались очень долго, случалось до утра, и ничем иным нельзя было более разозлить Михаила Дмитриевича, как фразой.

— Да что ж... Я ведь не смею возражать вам! Дисциплина!

— Какая дисциплина? Теперь не служба... Обыкновенно недостаток знаний и скудоумие прикрывается в таких случаях дисциплиной...

Он терпеть не мог людей, которые безусловно с ним соглашались...

— Ничего-то своего нет. Что ему скажешь — то для него свято. Это зеркала какие-то!

— Как зеркала?

— А так... Кто в него смотрится последний, тот в нем и отражается.

Еще больше оскорблялся он, если это согласие являлось результатом холопства...

— Могу ли я с вами не соглашаться, — заметил раз какой-то майор. — Вы генерал-лейтенант!

— Ну, так что ж?

— Вы меня можете под арест!

— Вот потому-то на вас и ездят, что у вас не хватает смелости даже на это...

— У нас всякого оседлать можно, — говорил Скобелев. — Да еще как оседлать. Сел на него и ноги свесил... Потому что своего за душой ничего, мотается во все стороны... Добродушие или дряблость, не разберешь. По-моему, дряблость... Из какой-то мокрой и слизкой тряпки все сделаны. Все пассивно, косно... По инерции как-то: толкнешь — идут, остановишь — стоят.

Больше всего он ненавидел льстецов. Господа, пытавшиеся таким путем войти к нему в милость, ошибались...

— Неужели он меня считает таким дураком? — волновался он. — Ведь это просто грубо... Разве я сам себя не знаю, что ж он вздумал мне же меня самого разъяснять... И не краснея... Так без мыла и лезет...

Зато прямоту, иногда доходящую до дерзости, он очень любил.

Ординарцы в этом случае не стеснялись...

— Вы всегда капризничаете и без толку придираетесь! — отрезал ему как-то молоденький ординарец.

— То есть как же это?

— Да вот как беременная баба...

— А вам, кажись, раио бы привычки беременных баб зиаать...

Молодой, полиый жизни, он ииогда просто шалил, как юноша...

— Ну, чего вы, ваше превосходительство, распрыгались... зазорио, — заметил ему адъютант. — Ведь вы геиерал...

Потом он стал куда серьезнее! Особенно после Ахалтекинской операции. Но когда я его встречал во время русско-турецкой войны, он умел с юношами быть юношей и едва ли не более веселым, шумным, чем они. Он умел понимать шутку и первый смеялся ей. Даже остроумные выходки на его счет нравились ему. Со всем не было и следа тупоумного богодыхаиства, которое примечалось в различных китайских идолах того времени... «Здесь все товарищи», — говорил он за столом, и действительно, чувствовался во всем дух близкого боевого братства, что-то задушевное, искреннее, совсем чуждое иизкопоклонству и стеснениям... К нему ииогда являлись старые товарищи, остаиовившиеся на лестнице производства на каком-иибудь штабс-капитанстве...

— Он с нами встречался, точио вчера была наша последняя пирушка... Я было вытянул руки по швам... А он «ну, здравствуй...» И опять на ты.

Разумеется, все это — не для службы. Во время службы редко кто бывал требовательнее его. А строже нельзя было быть... В этом случае глубоко ошибались те, которые воображали, что короткость с геиералом допускает ту же бесцеремоиноность и на службе. Тут он ииногда становился жесток. Своим он не прощал служебных упущений... Его дружба давала одио право — первым идти на смерть, показать «пример». Так это и поиимали в отряде. Где дело касалось солдат, боя, тут не было извинений, милости ииикогда... Мак-Гахан, с которым он был очень дружен, раз было суиулся во время боя с каким-то замечанием к нему...

— Молчать!.. Уезжайте прочь от меня! — крикнул он ему.

Полковник английской службы Гавелок, корреспондент, кажется, «Таймса», при занятии Зеленых Гор 28 октября указал ему на какой-то овраг, причем пустился в тактические назидания.

— Казак! — крикнул Скобелев.

Казах подъехал.

— Убери полковника прочь отсюда. Не угодно ли вам отправиться в Брестовец? — обратился он к Гавелоку по-английски.

Скобелева обвиняли в том, что он заискивает в корреспондентах, что этим только и объясняются те похвалы, которые они расточали ему.

Я уже говорил выше о том, какая это низкая и глупая клевета.

Он понимал права печати и признавал их. Он относился к прессе не с пренебрежением залитого золотом болвана, а с уважением образованного человека. Он давал все объяснения, какие считал возможными, разрешал корреспондентам быть на боевых позициях. Они разом входили в товарищескую среду, окружавшую его. Знание пяти иностранных языков позволяло ему входить в теснейшие отношения с английскими, французскими, немецкими, итальянскими корреспондентами, и те таким образом лучше и ближе узнавали его, но я, ссылаясь на всех бывших около Скобелева, свидетельствую, что перед нами у него не лебезили, и никакими особыми преимуществами мы в его отряде не пользовались. Напротив, у других в смысле удобств было гораздо лучше. Там корреспондентам давали казака, который служил им, отводили палатки и т. д. Ничего подобного не делалось у Скобелева. Когда один корреспондент попросил у него было казака, Скобелев резко оборвал его:

— Казаки — не денщики... Они России служить должны, а не вам!

Чем же объясняется, что, несмотря на эти неудобства, они постоянно приезжали именно к нему? А тем, что, помимо искренности отношений, тут всегда было занимательно. Не только во время боя, но и в антракте молодой генерал со своей неутомимой, кипучей энергией не оставался без дела. Он предпринимал рекогносцировки, приучал войска к траншейным работам, объезжал позиции... Было что смотреть, о чем писать. Кроме того — его общество оказывалось поучительным. Слышались и споры, и шли серьезные беседы, поднимались вопросы,

выходившие из пределов военного ремесла... В его штаб-квартире мысль не глохла, и скверный анекдот не заслонял живых общечеловеческих и научных интересов. Всякий, кто мог в этом принимать участие, здесь был дома. А главное, сам он был полон обаяния, к нему тянуло...

Благоприятели, разумеется, все это объясняли иначе...

Да позволено мне будет рассказать здесь один факт, касающийся меня лично.

После войны уже, года через полтора, еду в Москву. В одном купе со мной — военный. Сначала было он на меня пофыркал, потом успокоился и разговорился... Зашла речь о войне.

— Вы участвовали тоже? — спрашиваю я его.

— Как же. Только ничего не получил!

— Почему же?

— Четверташников при мне не было!

— Каких это?

— А которые с редакции-то по четвертаку за строчку... Скоропадентов... Они меня не аттестовали — я ничего и не получил!

— Разве корреспонденты представляли к наградам?

— А то как же-с?.. Газетчики в большом почете были!

Зашла речь о Скобелеве... Мое инкогнито для него было еще непроницаемо.

— Его, Скобелева, Немирович-Данченко выдумал!

— Это как же?

— Да так... Пьянствовали они вместе, ну, тот его и выдумал!

— Да вы Немировича-Данченко знаете?.. Лично-то его видели?

— Как же-с... Сколько раз пьяным видел... И хорошо его знаю... Очень даже хорошо!

— Вот те и на... А я слышал, что он вовсе не пьет!

— Помилуйте... Валяется... До чертиков-с!..

Под самой Москвой уже я не выдержал. Отравил генералу последние минуты.

— Мы так с вами весело провели время, что позвоьте мне представиться.

— Очень рад, очень рад... С кем имею честь?

— Немирович-Данченко...

— Как Немирович-Данченко?..

— Так...

— Тот, который...

— Тот, который...

Генерал куда-то исчез... На московской станции кондуктор явился за его вещами...

— Да где же генерал-то?

— Господь его знает, какой он...

— Да где же он прячется?

— Они сидят-с давно-с, давно уже... в... Запершись в...

Предоставляю читателю догадаться, куда скрылся он от четверташника и пьяницы.

Но это еще тип добродушный. Были и поподлее...

ХII.

Я пишу не биографию Скобелева. Моя книга — просто ряд отрывочных воспоминаний о нем. Поэтому я не рассказываю о всех военных операциях, в которых участвовал покойный. Желаясь познакомиться с ними может обратиться к моему «Году войны». Здесь только то, что я сам видел, и если из моего рассказа выдвинется перед читателем обаятельная личность Михаила Дмитриевича, если он станет ему так же близок и дорог, как близок и дорог он был людям, входившим с ним в тесные отношения, знавшим его не как генерала, по реляциям и письмам с войны, а как человека, то цель мою я сочту вполне достигнутой... Систематическая и полная биография — дело будущего. Теперь же, говоря о Скобелеве, я хочу только бегло обрисовать его портрет, это замечательный тип гениального русского богатыря, яркою звездой мелькнувшего на нашем тусклом небе, так быстро поднявшегося во весь свой рост перед целым миром, изумленным его подвигами, и так рано ушедшего от нас... Чем дальше, тем тяжелее и тяжелее становится эта потеря. Военные писатели, талантливый и хорошо знавший покойного А. Н. Маслов нарисуют его как стратега, как тактика, мое дело сказать о человеке... С каждым днем больше чувствуется отсутствие его. Невольно задаешься вопросом, кому нужна была эта смерть, какой смысл в этом роковом ударе... Шутка судьбы? Какая неостроумная, глупая шутка!..

После перехода через Дунай Скобелева мы видим и на вершинах Шипки, и под Плевной. Много у него в это время было горьких минут. Его еще не признавали.

В победителе халатников выделен только храброго генерала и больше ничего.

— Его надо держать в ежовых рукавицах!

— Его избаловали дешевые лавры в Средней Азии!

— Он может служить, — высокомерно синхронно третьи, — но за ним надо смотреть в оба!

А между тем он был неизмеримо сведущее и талантливее всех этих господ.

Я встретил тогда Скобелева в Тырнове.

— Где вы остановились? — спросил он меня.

— У «Белобоны»...

— Я найду к вам...

Видно, ему хотелось высказаться. Лицо подергивалось нервной улыбкой, он хмурился, разбрасывал себе бакенбарды во все стороны.

— Жутко!

— Что жутко?

— Да мне... Обидно... Видишь лучше их, знаешь все ошибки и молчишь.

— Зачем же молчать?

— Да разве «победитель халатников» имеет право голоса?.. Самые лучшие из них удивляются: чего я лезу... Видите ли, у меня все есть: и чин, и Георгий на шее... Значит, мне и соваться незачем... Дай другим получить что следует. Так с этой точки и смотрят на дело. А про то, что душа болит, что народное дело губится — никто и не думает. Скверно... Неспособный, беспорядочный мы народ... До всего мы доходим ценою ошибок, разочарований, а как пройдет несколько лет, старые уроки забыты. Для нас история не дает примеров и указаний... Мы ни к чему не хотим научиться и все забываем... Тоска... Разве так это дело делается?.. А вся беда от кабинетных стратегов...

Во вторую Плевну Скобелев был уже командиром небольшого кавалерийского отряда... Весь день он впереди, в стрелковой цепи, то одушевляя солдат, то подерживая слабые фланги... Весь день — никто его не видит отдыхающим. Он не оставлял седла даже во время пехотного боя, — служба прекрасною целью турецким стрелкам. Две лошади под ним убиты, третья ранена... Он лично ведет в атаку роту, командует сотней казаков. Наконец, когда началось отступление, он слезает с седла, вкладывает саблю в ножны, сам замыкая отходящую назад цепь. Не странно ли, что завоевателю Ферганы, Хивы,

человеку с уже громадной военной карьерой позади, приходится в данном случае быть не руководителем боя, а одной из исполнительных единиц и именно в такой обстановке, где его-то способности, кроме личной отваги, и не нужны были? Как второстепенный исполнитель он часто терял все свои боевые таланты. Нельзя, видя ошибки других, все-таки усердно служить им, невозможно выполнять программу, несостоятельность которой знаешь воочию... Это, между прочим, подало повод одному из лучших генералов характеризовать Скобелева более остроумно, чем верно:

— Как подчиненного, я бы его отправил назад; но если бы меня спросили, к кому я сам хочу идти в подчинение, я бы сказал: к Скобелеву!

Его талант развертывался в полном блеске там, где вся ответственность лежала на нем. Фергана, Зеленые Горы, переход Балкан, Шейновский бой, поход к Адрианополю, Ахал-Теке — доказывают как нельзя лучше справедливость этого...

Во время отступления от Плевны нужно было остановиться, чтобы, удерживая турок, дать возможность отойти нашим войскам. Что же делает Скобелев? С сотней казаков он отстреливается от громадных сравнительно сил неприятеля. Наконец велит себе подать бурку, ложится под огнем на нее и засыпает, приказывая не отходить отсюда, пока он не проснется. По нему бьют... Скобелев спит... Жалкая горсть казаков держится около, останавливая в почтительном расстоянии турок.

— Неужели вы спали?

— Спал...

— При таких условиях?

— Если надо — я могу спать при всяких условиях!

Все это объясняли фатализмом, да ведь мало ли какие можно придумать объяснения. Что-то других таких фаталистов я не видел!..

Затем следует блистательное дело под Ловчей, настолько известное, что о нем напрасно было бы повторять что-либо. Я воздержусь приводить эпизоды этого боя, так как я там не был. Третья Плевна, несмотря на то что Скобелев должен был отступить от занятых им с боя редутов, как будто разом открыла глаза всем. В нем увидели льва, перед ним преклонились те, в ком было чувство справедливости. Это поражение было равно блистательной победе. Тут уже Скобелев говорит, — к его го-

лосу прислушиваются... В пылу, в огне он наблюдает, изучает и тотчас же пишет следующие замечательные строки в своем донесении князю Имеретинскому. Мы их приводим, потому что они уже тогда показали в Скобелеве не только храброго генерала, но и опытного вождя. Скобелев объясняет причины, почему он отсрочил атаку.

«Важным соображением при этом, — писал он, — являлась необходимость усилить занимаемую нами позицию в фортификационном отношении, что, при прискорбном в эту кампанию отсутствии при войсках шанцевого инструмента в достаточном количестве, представляло немало затруднений. Люди рыли себе ровики частью крышками от манерок, частью руками. Для очищения эспланады виноградные кусты вырывали руками. По поводу недостатка шанцевого инструмента ввиду чрезвычайной важности в настоящей борьбе фортификационной подготовки поля сражения позволяю себе высказать несколько замечаний. Пехотная часть, бывшая в горячем деле, большею частью лишается шанцевого инструмента. Наш солдат, наступая по труднопроходимой, закрытой местности, особенно в жару, первое, чем облегчает себя — это бросает свой инструмент, затем следует шинель и, наконец, мешок с сухарями. Поэтому часть, достигнув пункта, на котором ей надлежит остановиться, не имеет возможности прикрыть себя от губительного огня неприятеля, что постоянно делалось пехотою: 1) в американскую войну; 2) в кровавую четырехлетнюю карлистскую войну и 3) теперь принято за правило турками. Ввиду этого казалось бы более целесообразным: или провозить инструмент вслед за атакующими, или иметь при полках особые команды, на обязанность которых и возлагать укрепление отбитых у неприятеля позиций. Нельзя не упомянуть также и недостаточности средств для устройства полевых укреплений, имеющих при отряде. При силе более 20 000 человек в отряде вашей светлости (адресовано князю Имеретинскому) имеется, и то случайно только, одна команда сапер в 35 человек при унтер-офицере и ни одного инженера, несмотря на существование инженерной академии, ежегодно выпускающей в нашу армию десятки специалистов... Сомнению не подлежит для меня теперь, что если бы французская армия второго периода кампании 1870 года, при современном вооружении пехоты и относительной слабости, в смысле решающем, дальнобойной артиллерии, строго бы дер-

жалась системы неожиданного стратегического наступления (преимущественно на пути сообщения, напр.), соединенного с безусловною тактической обороной, при помощи полевой фортификации, то кампания кончилась бы выгоднее для французов...»

Дни третьей Плевны — это целая поэма, полная блеска для одних, позора для других...

Я описал эту бойню в романе «Плевна и Шипка». Тут трем дням ее посвящены двадцать семь глав. Описывать ее здесь — нет надобности. Приведу только эпизоды, касавшиеся Скобелева.

— Наполеон Великий был признателен своим маршалам, если они в бою выигрывали ему полчаса времени для одержания победы, я вам выиграл целые сутки, и вы меня не поддержали!.. — с горечью сказал Скобелев, обращаясь к Непокойчицкому.

— До третьей Плевны, — говорил мне Скобелев, — я был молод, оттуда вышел стариком! Разумеется, не физически и не умственно... Точно десятки лет прошли за эти семь дней, начиная с Ловчи и кончая нашим поражением... Это кошмар, который может довести до самоубийства... Воспоминание об этой войне — своего рода Немезида, только еще более мстительная, чем классическая.

— Откровенно говорю вам — я искал тогда смерти и если не нашел ее — не моя вина!..

ХIII.

Из-за гребня пригорка выехал на белом коне кто-то, за ним на рысях несется несколько офицеров и два-три казака. В руках у одного голубой значок с красным осьмиконечным крестом... На белом коне оказывается Скобелев — в белом весь... красивый, веселый.

— Ай да молодцы!.. Ай да богатыри! Ловчинские! — кричит он издали возбужденным, нервным голосом.

— Точно так, ваше-ство!

— Ну, ребята... Идите доканчивать. Там полк отбит от редута... Вы, ведь, не такие... Вы, ведь, у меня все на подбор... Ишь красавцы какие... Ты откуда, этакий молодчинище?.. — остановил он лошадь перед курносым парнем.

— С Вытепской губернии, ваше-ство!

— Да от тебя от одного разбегутся турки...

— Точно так, ваше-ство, разбегутся!

— Ты у меня смотри... Чтобы послезавтра я тебя без Георгия не видел... Слышишь? Вы только глядите — не стрелять без толку. Идти вплоть до редута, не тратя пороху... В стрельбе ума нет. Стрелять хорошо, когда ты за валами сидишь и отбиваешься... Слышите?

— Слышим, ваше-ство!

— То-то. В кого ты будешь стрелять, когда они за бруствером? Им от твоих пуль не больно. До них надо штыками дорваться... Слышите?.. А ты, кавалер, не из севастопольцев? — обернулся он к Парфенову.— За что у тебя Георгий?..

— За Малахов, ваше-ство...

— Низко клаивяюсь тебе! — И генерал сиял шапку.— Покажи молодым, как дерется и умирает русский солдат. Капитан, после боя представьте мне старика. Я тебе имениного Георгия дам, если жив будешь...

— Рад стараться, ваше-ство...

— Экие молодцы!.. Пошел бы с вами, да иужио иовичков поддержать... Вы-то уже у меня обстрелянные, боевые... Прощайте, ребята... увидимся в редуте. Вы меня дожидитесь там?

— Дождемся, ваше-ство!

— Ну, то-то, смотрите: дали слово, держать надо... Прощайте, капитан!

Доехал генерал до оврага — видит, лежит в нем офицер... Еще несколько шагов сделал — офицер смущенио поднялся и откозырял... Генерал чуть заметио улыбнулся.

— Что, поручик, отдохиуть прилегли?

— Сапоги... ноги... — забормотал поручик, весь красный, чувствуя теперь только стыд, одии стыд и не искры трусости.

— Вы от той роты?

— Да-с...

— Экий вы рослый да бравый какой... Солдатам будет любо, глядя на вас, в огонь идти. Вы их молодцом поведете. Догоните поскорее своих да скажите вашему командиру, что я ему приказываю послать вас вперед с охотниками,— слышите?..

Генерал перешел в серьезный тон.

— Офицер не смеет трусить... Солдат может, ему еще простительно... Но офицеру нельзя... Идите сейчас... Ведите в бой свою часть... Ваша фамилия?

— Доронович¹.

— Ну, вот что... Я хочу услышать, что вы первым вошли в редут. Слышите? — Первым... Тогда и я забуду этот овраг и ваши сапоги... Слышите?... Забуду и никогда не вспомню... Помните — вы подадите пример... Прощайте! — И генерал, наклонясь, подал поручику руку. Тот с глубокой благодарностью пожал ее.

— Обещаюсь вашему превосходительству...

— Верю, поручик... До свидания в редуте!

Еще одно мгновение Доронович посмотрел вслед генералу и тотчас же бросился догонять своих.

По скату лепятся рассеянные солдаты какого-то полка. Они как-то вдруг, массами появились из лощины; точно муравьи поползли вверх. Видимо, перед решительным штурмом отдыхали там, собирались с силами. Густая внизу масса солдат редеет кверху, разбивается на кучки, быстро бегущие вперед. Кучки разбиваются на одиночных, опередивших своих товарищей... Эти одиночные зачастую вдруг останавливаются, как-то дико вскидывают руками и падают вниз. Вон она, эта подлая желтовато-серая насыпь; вон он, этот проклятый вал!.. Сколько еще жизней потребует он?.. Масса все ближе и ближе; расстояние сокращается между ее отделившимися кучками и этой серой насыпью. Быстро-быстро бегут люди. Из отставших отдельные солдаты вдруг, точно ни с того ни с сего, выносятся вперед, быстро перебегают расстояние, отделяющее их от тех, которые идут впереди, еще момент, и эти, только что казавшиеся отсталыми, уже смело цепляются вверх по скату. Вот обрывки какого-то «ура». «Ура» вспыхнуло направо, перекинулось налево, загремело в центре... Чу, кровожадная зловещая дробь барабана. Еще быстрее двигается снизу вверх боевая колонна. Но уже никакого порядка в ней, врассыпную, как попало... Вот целые тучи дыма заслонили редут; гора точно дрогнула и рассеялась с громовым треском... За этим залпом перебегающие выстрелы, новое облако дыма, новый залп... Какой-то, должно быть офицер, на лошади выехал из лощины; за ним солдаты бегут. Смело он шпорит коня; добрый степняк чуть не в карьер выносит его на крутизну ската... Еще одна минута, и всадник вместе с лошадыю катятся вниз обратно в

¹ Фамилия изменена.

эту же самую лощину, из которой только что выехали.

— Возьмут, капитан, возьмут наши! — бодро кричит Ивкову Доронович.

— Еще бы не взять!.. — радостно отвечает тот, следя, как расстояние между насыпью вала и серую массой солдат сокращается и сокращается.

— Еще бы не взять! Один удар только, и кончено!

— Как кстати в барабан-то ударилн...

Вон черные фигуры солдат все ближе и ближе; вон несколько копошатся у самого вала, видимо, остановились и своих созывают... А залпы оттуда следуют за залпами. Редут, точно живое существо, навстречу ободрившимся солдатам грохочет во все свои медные и стальные пасти, как дикобраз ошетиливается штыками... Ближе-ближе, у самого вала, наши. Могучее «ура» еще шире, как пламя, взрываемое ветром, раскидывается по всему этому скату...

— Господи!.. Вот подлецы-то! — с ужасом вскрикивает Ивков.

— Что? Что такое?

Капитан молча показал направо... Трусливая кучка солдат, отставшая от своих в то время, как эти почти добежали до валов, залегает и открывает по туркам огонь... К ним присоединяется все больше и больше солдат... Что-то недоброе предчувствуя в этом... «Ура» мрет, не разгоревшись вовсе; солдаты, бывшие у самых валов, тоже подхватывают огонь и давай постреливать, тратя на это всю энергию... Ружейный огонь льется, не умолкая... Наконец-то уже все остановилось... Кучка трусов заразила всех паникой... Очевидно, вперед уже не подадутся. Нельзя идти, стреляя, нельзя стрелять на ходу... Стрельба во время наступления — один из признаков трусости... Вот-вот пойдут назад, — нельзя же лежать под огнем... Назад еще хуже, чем вперед, больше потерь будет, а все-таки уже ни на шаг не подвинутся...

Полк разбился о редут...

Как будто волны, отхлынули оттуда солдаты и бегут вниз... Сначала задние поддались... Вскочили залегшие первыми трусы и стрелки в лощину, за ними остальные. Не все... то и дело кто-то спотыкается, падает и остается на месте: устилается мало-помалу скат неподвижными телами. Сколько уже чернеет таких! Какая масса их... Толпа разбилась на единицы... Она уже чужда внутренней связи; это люди, почти не узнающие друг друга...

Самые храбрые отступают молча, хмуро, в одиночку. Только кучка трусов сильно бежит назад, крича что-то идущим навстречу новым подкреплениям. Эти новые тоже поддаются панике и оборачивают тыл... А мертвых все больше и больше... Вон одно место ската совсем почернело. Должно быть, не один десяток там плотно улегся друг к другу... Не один десяток... Сжав зубы, Ивков подается вниз — быстро подается. Солдаты тоже понижают, в чем дело.

— Ах ты, Господи! — шепчет Парфенов. — Только бы еще одним разом, и конец делу...

— Эка беда какая!.. Без всякого толку — спужались...

— Стадо!.. Подлое стадо!.. — озлобленно бормочет Ивков, боясь, чтобы и с его ротой не случилось то же самое.

Вот передовые кучки бегущих навстречу.

— Куда вы — заскрипел на них зубами Ивков. — Трусы! Подлецы, негодяи!

Все приостановились было... Только один, совсем уже перепуганный солдатик сослепу бежит прямо на капитана...

— Трусы!.. У редута были — ушли... Срам!..

Харабов молча идет вперед, сознавая всю бесполезность упреков. Нельзя за себя отвечать в такую минуту... Самый храбрый человек может струсить...

— Ваше высокоблагородие, — ни с того, ни с сего набрасывается на него бегущий солдатик. — У самого турецкого редута был... У самого вала, ей-Богу... Только бы скакнуть — и конец... Я под валом первый стоял, — чуть не плачет он. — Только бы скакнуть, а тут кричат: «Назад, назад, назад!» Ну, все и побегли... Ах ты, Господи... Все и побегли...

Солдатик, весь красный, весь разгоревшийся, отчаянно жестикулирует.

— Кабы дружно было... — подтверждает другой и не оканчивает: пуля догоняет беглеца и укладывает его на мягкую землю...

— Что ж вы осрамитесь, ребята? — корит их Парфенов.

Солдаты взглядывают только в лицо ему и быстро бегут мимо.

— Это еще что за стыд!.. — слышится чей-то громовой голос позади. — Это что за табор бежит? Смирно!.. Из-под редута бежать... Срам! Не хочу я командовать

такой сволочью!.. Идите к туркам!.. Вы не солдаты!.. Ружья побросали, скоты!..— продолжает тот же новый голос.

Ивков оглядывается,— навстречу бегущим тот же Скобелев на своем белом коне.

— За мной! Я вам покажу, как бьют турок... Стройся!.. За мной, ребята, я сам вас поведу. Кто от меня отстанет, стыдно тому... Живо, барабанщики, наступление!..

Громкая дробь барабанов покрыла и грохот залпов, и рев орудий, то и дело выбрасывающих снопы огня и клубы дыма из амбразур турецкой батареи...

Медленно цепь подвигалась вперед. Сухие, нахмуренные лица солдат уже поводило гневом... Стиснутые зубы, зловещий огонь, загорающийся в их глазах, мало предвещали хорошего защитникам редута. Шли в одиночку, молча... Руки крепче стискивали холодные дула ружей; после недавнего возбуждения сердце билось спокойно, в голове, казалось, не было и мысли об опасности. На падавших товарищей уже не обращали внимания,— ни о чем не думалось... Свинцовые пчелы, густыми и шумными роями наполнявшие воздух, мало производили впечатления, совсем мало. Не потому, чтобы инстинктивно жизнь замерла,— нет, просто застыло все... Чему быть, того не миновать. «Дорваться бы скорее!»— только одно и шевелилось в мозгу этих обстрелявшихся уже людей, жадно смотревших на серую профиль редута, которую опять окутывало туманом. «Дорваться бы скорее!..» И когда шальная пуля жалила товарища рядом, когда он, как подкошенный, падал на мокрую землю, не сожаление шевелилось у уцелевших — нет, сказывалась только жажда расплаты, дикая злоба поднималась в груди, дикая, холодная, от которой сердце не билось ни скорее, ни медленнее, от которой и правильный шаг цепи не прибавлялся. Перед нею была лощина. Ивков озабоченно поглядывал в нее; цепь его шла отлично, лучше не один бы тактик и не пожелал, но в темном овраге придется дать минут пять — десять отдыху, не больше. Как бы все настроение не изменилось, как бы все эти сухие, озлившиеся лица не подернулись колебанием, нерешительностью, как бы из цепи одни не выбежали

вперед, это подало бы повод остальным сохранить свое положение позади, а потом совсем отстать.

— Братцы! Посмотрите, что они делают с нашими! — обернулся генерал, не сходявший с лошади.

Гул прошел по цепи, перебросился назад в следовавшие за нею звенья, сообщился колонне, которая уже, выставив несколько солдат на гребень пройденной Ивковым горы, сама осталась позади за гребнем, в прикрытии.

— Посмотрите, как эта сволочь наших раненых мучит!

Гул все рос и рос... Холодный пот выступал на лицах солдат. Парфенов, глядя на то, что совершалось около валов зловещего редута, заплакал навзрыд.

Из-за этой серой насыпи выбежали турки, поодиночке рассыпались на скате... Вон они наклоняются к нашим раненым... Какие-то крики застыли, всколебав на минуту холодный воздух. Крики эти растут... мольба в них, бешенство... Раненые, видимо, старались уползти, торжествующий враг позволял им это, чтобы, смеясь, тотчас же настигнуть ослабевших, исходивших кровью людей. Вон один из наших раненых приподнялся, неверною рукой выстрелил в подбиравшегося к нему низама. Тот пригнулся на минуту, потом выпрямился, кинулся к стрелявшему, и в одно мгновение такой дикий вопль, вырванный невозможною болью, донесся к нашим, что генерал решил тотчас же воспользоваться этой минутой озлобления.

— Ребята, без отдыха вперед!.. Бегом на этих скотов... Спасем уцелевших и накажем негодяев... Я сам поведу вас... Слышите?.. Поручик Доронович, ведите охотников!.. Займите вон ту траншею...

Быстро пробежали ложину — ни одного отсталого не было. Как был тих и безлюден этот овраг до того, таким и остался.

Скобелев уже далеко впереди. Пригнувшись, охотники взбегают по скату вверх... Гора вздрагивает от бешеных залпов... Точно валы эти трещат, рассядаясь на своих песчаных насыпях, точно лопаются и крошатся долговременные граниты... Не доходя до редута — узенькая траншейка; оттуда гремит перебегающая дробь выстрелов, кайма серого дыма от них, поднимаясь вверх, заслоняет собою редут... Скоро не она одна заслонила его, заслонил и туман, опять сгустившийся кругом. Редута не видно... Его только слышно... Гроза бушует в этой серой туче. Точно злые духи сорвались с адских

цепей и торжествуют в глубине этой мглы, смешанной с пороховым дымом, свое близкое торжество, точно сам царь тьмы, в гневе и грохоте бури, сходит сюда на кровавую тризну... Возбужденному мозгу могло бы показаться, что планеты сталкиваются, и, охваченные огнем, разлетаются на тысячи кусков, когда сквозь оглушительный треск перебегающей перестрелки гремят навстречу нашим цепям дружные залпы, сливая свой бешеный гром с яростным ревом стальных орудий... Целые тучи пуль несутся навстречу храброй горсти охотников, снопы картечи сметают с черного ската все, что встречается на пути; гранаты из дальних редутов, впиваясь в сырую землю, рвутся в ней на осколки, острые края которых точно высохли и разгорелись от жажды. Наверху тоже неладно: там лопаются шрапнели, точно чудовищные струны трескаются в воздухе под чьей-то могучей рукой. Лужами стоит кровь... В этих черных лужах барахтаются умирающие; предсмертные вопли тонут в грохоте бури... Навстречу идущим солдатам бегут, точно сослепу, раненые. Бегут, наталкиваясь на них, хватаются за товарищей, цепляются, точно в этом вся их надежда...

Доронович ничего уже не видит... туман кругом, в тумане бесятся остервеневшие духи ада. Он только и помнит одно — обет, данный им генералу... Да и нельзя забыть... В один из самых страшных моментов, когда, казалось, нельзя было вздохнуть, чтобы не подавиться картечью, в вихре этой бешеной бури пролетел мимо него Скобелев... Только на одно мгновение он увидел эту характерную фигуру, с разбросанными русыми бакенбардами, с раздувающимися ноздрями, с мягкими в обычное время, но теперь точно хотевшими оставить свои орбиты, разгоревшимися глазами, смело глядевшими туда, в самую темень, откуда рвалась гроза навстречу. Вихрем налетел, успев кинуть в цепь охотникам: «За мною, дети! Не отставать! Вспомните замученных товарищей!» Точно обожгло солдат. «Ура» вспыхнуло, но не то нерешительное, которое с час назад слышалось из рядов отступивших потом солдат... Нет, это совсем иное... зловещее, бешеное, точно хриплые глотки хотели перекрыть этот треск ружейного огня, этот рев стальных пастей...

— Помните, ребята, назад дороги нет... За мной!.. — кидает, в свою очередь, Доронович, не замечая, что по левому плечу его уже просочилась и бежит алая струйка.

«Не забывайте замученных», — вовремя брошено. Точно искра в порох упала... такой злобой вспыхнуло оно в солдатской душе... «Помните замученных... Ура!..» — все бешеной и бешеной разбегается кругом. Цепь позади, спотыкаясь, падая, хочет нагнать охотников; резервы сами двигаются, не ожидая команды... Раненые не остаются позади; они тут же, в рядах, — разве кость перебита, идти нельзя... Один худой, весь зеленый солдат, у которого в груди засела уже пуля, хрипло орет «ура», давится кровью, выплевывает ее и опять еще громче, еще более остервенело кидает свой вызов туче тумана и порохового дыма, окутавших зловещий редут.

Вихрем налетел генерал на другую окраину боя, под самой турецкой траншеей скользнул, на добром арабском коне, бросил флангам грозовой привет и вынесся вперед, сам обезумевший от гнева, от злобы, от жажды крови... Шпоры впиваются в белую кожу коня, рвут ее, нервно подергиваются губы, под глазами легли черные полосы... Воздуху! Воздуху! Дышать нечем... Вперед! Бей их, друзья!.. Никому не будет пощады! Мсти за своих!.. Запевайте громче свою бранную песню, кровожадные барабаны, — громче, чтобы заглушить в немногих рабских душах последний шепот жалости, последнюю жажду жизни... Громче направляйте барабаны эту злобой охваченную толпу... Гуще падай, туман, на облитые кровью скаты, гуще, темнее, чтобы никому не был виден ужас, творящийся здесь... Чтобы жало штыка встречало вражью грудь, а очи врагов не видели друг друга...

— Не останавливаться!.. Вперед! — хрипло кричит Доронович уже в занятой им траншее... — На плечах у беглецов ворвись в редут, ребята... За мной, друзья! — И, почти тут же, тяжелый приклад солдата опускался на голый череп обезумевшего от ужаса турка... Точно арбуз треснул, мозгом забрызгало окружающих.

— Вперед, охотники!.. Вперед! — выбегает Доронович из траншеи. — Вперед — редут недалеко...

— Сюда, охотники!.. — в вихре бури слышен голос Скобелева. — Сюда... — Здесь они, проклятые, здесь... Сюда, друзья!.. За мной, дети... Одним ударом возьмем...

Но последние слова его тонут в свисте картечи, в разъяренных залпах оттуда, от которых самый воздух, кажется, сможет оттолкнуть нападающих.

Ивков, Харабов — все тут... Какие-то офицеры из других частей... Все перемешалось, все одною бешеной

толпой несутся к реду... Тысячи побежали на скат — сотни уже упали... Сотни упадут сейчас, до вала добегут десятки... Что нужды? Лишь бы дорваться... Скорей, скорей в этот туман, откуда несется громкое «ура», откуда слышен ободряющий голос генерала... Скорей, скорей! Что нужды!.. Из лощины выбегают новые тысячи... Опять они на скате, и снова десятки добегают к валу... Тут уж все перепуталось, ничего не разберешь — стихия беснуется на просторе: пламя рвется вверх, вода затапливает землю, прорвав и залив жидкие плотины...

— Сюда, охотники! Сюда, друзья! — Точно ловчий в рог, сзывает Скобелев на травлю озлившуюся стаю собак... Покорные зову, все они тут, добежали к насыпи, и ливень свинца оттуда. Кажется, что редут этот дышит картечью.

На минуту разбросило туман, ветром повеяло с севера; но его холодный воздух не освежил эти разгоряченные лица, не пахнул свежестью в эти разгорячившиеся груди... Скорей, скорей!.. Рвутся остальные... В свирепой злобе своей, царапая землю, на место боя ползут раненые. Умирующие, приподнимаясь на руках, орут «ура», выбрасывая в этот предсмертный крик последние отблески угасающей жизни... Уже на штыках красные полосы... кровь бежит по дулам ружей, кровь на руках, лицах... Не разберешь — где своя, где чужая... Тщедушный, робкий Харабов неузнаваем: вырос, голова закинута назад, голос звучит металлическими нотами; рука так схватилась за шпагу, что, почти ломаясь, впиивается в рукоять; он бодро, смело и стройно ведет своих; Парфенов не отстает от него. Старику почудилась Балаклава... Малахов курган, как живой, вырос перед глазами. Вспомнил он тогдашнюю тоску сдачи после рокового боя — и хрипло бросает свое «ура» прямо в лицо врагам, уже стоящим на валах, уже ошестинившимся штыками. В сгустившуюся массу врывается картечь, расчищая улицы... И в эти промежутки вбегают новые бойцы... А из лощины поднимаются новые и новые тучи... Молодой парень тоже вспомнил старое, взял ружье за дуло и чистит себе путь прикладом...

— Алла, Алла! — также бешено несутся с валов... Какой-то мулла, в зеленой чалме и зеленом халате, вскочил на самый бруствер и выкрикивает оттуда свои проклятия... В упор кладет его Парфенов, и замирающее

«Алла» опять подхватывается обреченными на смерть таборами.

— Еще усилие, ребята, за мной!..

Скобелев врывается на насыпь редута, скатывается оттуда вниз, поднимается опять, весь покрытый грязью, облепленный ею, и хрипло зовет за собою солдат... На нем лица нет — что-то черное, кровавое, бешеное... Харабов, Доронович и Ивков уже на валах. Вскипает последний акт этой трагедии, последний и самый ужасный... Штыковой бой уже начался на окраинах... В амбразуру, откуда орудие напоследок, прямо в живое мясо густой толпы, выбросило картечь, вскочил генерал... штык его навстречу, уже коснулся груди... Но парень со своим ружьем тут как тут. Тяжелый приклад с глухим звуком встречает висок низама, и генерал уже впереди, не видя, кому он обязан своим спасением, не зная даже, какая опасность ему грозила... Зверь сказывался в нем, зверь и в этих врывающихся сюда толпах... Зверь, попробовавший крови; зверь, не дающий никому пощады... Никакой правильности в этом бою. В одном месте мы насели на турок — они подались; в другом — обратно... Здесь мы бьем, там бьют нас. Боевая линия изломана таким образом, что часто мы с тылу бьем турок, часто турки выбегают нам в затылок...

Редут взят.

Земляные насыпи, стальные орудия, серые шинели солдат, лица их и руки забрызганы кровью... Кровь стоит лужами внутри редута — лужи и вне его. Кровь испаряется в тумане, точно делая его еще тяжелей. Сапоги победителей уходят в кровь. Жаждающие отдыха после усталой беспощадной бойни садятся, ложатся в кровь... Кажется, что и сверху падает она с дождевыми каплями... Кажется, что эта мгла насквозь пропитана ею...

Защитники редута почти все остались здесь...

Кому удалось выбраться из-за этой земляной насыпи, тот улегся на скатах холма... Вон весь склон покрыт этими разбросанными, исковерканными телами.

Внутри повернуться негде.

Точно нарочно набили этот редут мертвецами. По углам их груды... Из-под них порою прорывается болезненный стон... На одну из таких груд с ужасом уже

смотрит Парфенов; старику помнится, что сюда, словно испуганное стадо, сбились бросившие ружья турки... На коленях стояли, кричали «аман»... Перед стариком — до сих пор эти умоляющие лица, эти руки, простертые к победителям; эти покорно склонявшиеся под солдатские приклады головы... И он в жару, вместе с другими, колот, и он убивал, просивших пощады... Парфенов недоуменно оглядывается — неужели никто не уцелел? Нет, все синие куртки лежат... вон разможенные черепа, груди, насквозь пробитые штыками... Истребление бушевало здесь, не зная предела... Милости не было никому... Страшно становится Парфенову... он оглядывается на своих: видимо, и другие чувствуют то же самое.

Нет ни в ком этого торжества победы, радостного ликования уцелевшей толпы. Молча сидят на брустверах... Дымки закуренных трубок курятся кое-где. Не слышно говора... Вон паренек — новичок в ратном деле — остановился над громадным турком, раскинувшимся в кровавой луже, и вглядывается в его лицо, — пристально всматривается, точно хочет допроситься чего-то. И на него пристально смотрит турок — только неподвижным, полным ужаса взглядом... Разбросил руки — и смотрит; и оба они — мертвый и живой — не могут отвести глаз один от другого..

Тихо едет генерал к редуту... Мрачно оглядывается он по сторонам, оценивая потери сегодняшнего дня... Вот он остановил коня над одним из офицеров... Тень скользнула по молодому лицу...

— Это кажется, Неводин? — оборачивается он к адъютанту.

— Точно так, ваше-ство!..

— Хороший офицер был. Георгиевский кавалер... Жаль... Скорей санитаров сюда!.. Собрать раненых!..

Молча выехал он в редут... Сошел с коня, вошел на бруствер.

Пытливо оглядывает окрестности...

— Спасибо, ребята, за службу,— тихо благодарит солдат.— Потрудились честно сегодня... Орлами налетели... Видел я, как дрались вы... Львы!.. Я счастлив, что команду такими молодцами... Устали?..

— Устали, ваше-ство...

— Отдохните... Полдела сделали... Теперь удержаться надо... Поручик Доронович!.. Сидите, сидите!.. Поздравляю вас с георгиевским крестом...

— Не заслуживаю, генерал...

— Это как?

— В овраге...

— Ну, душеюшка, вы двадцать оврагов заставили позабыть... Спасибо, ребята, еще раз!.. Вот и солище, кажется... Знамена на валы! — громко скомаидовал он.
Мертвый редут словно разом оживился...

Два батальонных знамени взвились над бруствером. Первый сегодня солнечный луч загорелся на их крестах, легкий ветер колыхнул и, словно паруса, развернул их полотнища... Один этот редут с своими знаменами был освещен солищем. Кругом все еще тонуло в тумане. Точно корабль в океане, неся куда-то этот клочок земли...

Умирующие, поднимая взгляды среди мучительной агонии, встречали свои знамена... Развеваясь над серыми валами, они точно призывали благословение небес на этот мир несчастья и муки...

— Майор Горталов, вы остаетесь командантом редута! — обернулся генерал к небольшому офицеру. — Могу я рассчитывать на вас? Тут иужию удержаться во что бы то ни стало...

— Или умереть, ваше-ство!..

— Подкреплений, может быть, не будет... Дайте мне слово, что вы не оставите редута. Это сердце неприятельской позиции... Там, — генерал кинул горькую улыбку, — назад, еще не понимают этого... Я поеду убеждать их... Дайте мне слово, что вы не оставите редута!..

— Моя честь поручой!.. Живой не уйду отсюда...

И Горталов поднял руку, как бы присягая.

Генерал обнял и поцеловал Горталова.

— Спаси вас Бог!.. Помните, ребята, подкреплений не будет — еще раз. Рассчитывайте только на себя!.. Прощайте, герои!..

Отъехав на версту, генерал оглянулся на редут. Весь он казался на высоте. Два знамени его в солнечных лучах гордо реяли над серыми насыпями.

Клубившийся кругом туман еще не окутал их своим однообразным маревом. Корабль, казалось, величаво несет в этом волиующемся океане свои паруса и мачты...

— На смерть обреченные! — И еще печальнее стал генерал, прощаясь взглядом с лучшими из своих сподвижников.

— Нас, значит, оставили совсем?.. Никого и ничего на помощь?.. После того, как все уже почти сделано?..

— Никого и ничего, ваше превосходительство! — козырял щеголеватый штабной.

— Значит, третья Плевна?..

И генерал не окончил.

Нервно стало подергиваться лицо, голос дрогнул, оборвался, и вдруг этот железный человек, спокойно тридцать часов выносивший все: и гибель лучших своих полков, и смерть друзей, и трагические переходы боя от поражения к победе и от победы к поражению, — зарыдал, наклоняясь над лукою седла... Окружающие отъехали на несколько шагов...

— Что это с ним? — удивленно шепнул штабной одному из ординарцев.

Тот только смерил взглядом эту чистенькую фигурку на чистом седле и отвернулся.

— Никого!.. Ни одной бригады... Ведь здесь все. Устоим — Осман уйдет...

— Ни одного полка свободного нет.

— А там? — вздохнул он на северо-восток.

— Берегут дорогу на Систово...

— Академические стратеги! — упавшим голосом проговорил ординарец.

— Только один Крылов... честная душа. Если бы не его шуйский полк, я бы не выручал тех, кто один против ста отбиваются теперь на моих редутах... Один против ста — львами!.. Сколько героев — и все это на смерть!..

Он выпрямился в седле и снял шапку.

— Слышите?.. — махнул он ею по направлению к редутам.

Огонь разгорался там с такой бешеною силой, что, казалось, в треске ружейных выстрелов и в реве орудий, не смолкавших ни на одно мгновение, рушились в прах все эти твердыни, стоявшие на страже Плевны... Силуэты редутов, еще недавно выделявшихся на сером небе, окутало густыми тучами порохового дыма... В этих тучах умирали львы; в этом дыму десятки таборов обрушивались на остатки героических рот, изверившихся в победе и не желавших спасения... Но грохот бойни, неистовые крики нападающих, ответные вызовы защищавшихся — вот все, что сказывалось на битве... Глаз не видел ничего... Казалось, само грозное божество смерти и истреб-

ления задышалось в этом стихийном дыму приносимых ему жертв...

— Слышите?.. Люди дрались и будут драться, но так их — не будет... Они лягут там... Они дали слово и умрут... Слышите?.. Их горсть, а вон какое «ура»... Прямо в лицо врагам... Окруженные со всех сторон. Раздавленные!.. Ну, что ж! Они сделали все... Невозможное оказалось возможным... Больше нельзя... Господа!..

Голос его дрогнул — опять... Пауза... Все пританли дыханье...

— Господа, мы отступаем... Мы отдадим туркам взятое... Сегодня — день торжества для наших врагов. Но и нам он славен... Не покраснеют мои солдаты, когда им напомнят тридцатое августа... Господа, мы уходим. Шуйцы прикроют отступающих... Вперед и скорее!..

Шпоры до крови разодрали белую кожу великолепного коня, который стремглав бросился по неровной и влажной почве... Ветер свистел мимо ушей вместе с пулями, уносящимися в даль... Бешено мчались всадники, точно от каждого мгновения зависела жизнь дорогих и милых людей... Молоденький ординарец сорвался с коня и покатился вниз, но ждать его было некому и некогда, и спустя минуту один он опять догнал генерала. У этого из-под закусенной губы проступила кровь, глаза безнадежно смотрели вперед и — ничего не видели, фуражка осталась в руках, и сплывшие волосы космами легли на лоб... Конь совсем обезумел под нетерпеливым всадником, мундштук рвал рот, и заалевшая пена разбрасывалась по сторонам от окровавленной морды... Штабной, спеша за генералом, вежливо, почтительно кланялся каждой пролетавшей мимо пуле, причем — если бы окружающим было досуг — они, разумеется, могли бы оценить, до какой степени удивительной гибкости и эластичности дошла шея этого доблестного и щеголеватого офицера...

— Вон они, вон они! — протянул руку генерал. — Вон они — видите?..

В тумане порохового дыма уже можно было различить неопределенную массу редута... Неопределенную потому, что вся она была загромождена людьми... Извне лезли озлобленные турецкие таборы, на валах стояли отбивавшиеся штыками наши. Видно было смутно движение новых масс неприятеля, стягивавшихся сюда, но ненадолго... Скоро новые клубы дыма совсем затянули эту

зловещую картину упорного боя, и всадники опять только слышали, но не видели его...

— Идут ли шуйцы?..— обернулся генерал...

— Они выдвинулись, готовы...

И снова бешеная скачка вперед, и снова остервеневший конь хочет точно перегнуть самый ветер...

В редуте уже совершался последний акт этой кровавой трагедии.

Отбивались штыками... Поднимаясь над бруствером, видели и впереди и позади только массы врагов... Они же густелись и налево... Казалось, этот одинокий корабль-редут вот-вот пойдет ко дну, утонет с жалкими остатками экипажа, когда-то многочисленного и сильного. Склоны холмов кругом, лощины были наполнены турецкими таборами. Турки озлобленно лезли отовсюду... Победа была несомненна... Умирающие львы уже не думали об обороне... Они знали, что позиция уходит в ненавистные руки, и думали только о том, как бы пасть с честью, как бы в последние минуты свои нанести удары посильнее, как бы подороже продать свою уже обреченную жизнь... В одном из редутов турки, уже ворвавшись, бешено дрались с нашими солдатами, задавливая их массой, умирая для того, чтобы на свежий труп встала тотчас же нога нового бойца, за которым ждали очередные остальные. Под ливнем свинца гибли и свои, и чужие... Сломав штыки, враги схватились и, хрипя, душили один другого, перехватывали горло, выдавливали глаза, раздирали рты... Часто умирающий, свалив в смертельном последнем усилии угасающей жизни своего врага, вгрызался в его тело судорожно сжимавшимися зубами и только под тяжелым прикладом, разбивающим ему череп, освобождал остервеневшего бойца... Парфенов, во весь рост стоя у самого края вала, отбивался штыком от нескольких рослых низамов, наступавших отсюда. Курносый парень уже со шрамом во все лицо, изодранный, бессознательно, вправо и влево отмахивался прикладом, зажмурив глаза и не видя, кого он бьет, чьи головы, чьи шеи встречает его приклад... Горталов, сумрачный и безмолвный, сложив руки, сидел посреди редута. Он был готов, этот капитан утопающего корабля,— он был готов к смерти, но час его не пришел, и он спокойно ожидал последнего напора роковых волн. В живой массе солдат рвались гранаты... Соединительная траншея кое-где уже была захвачена

турками, и там, в узком рве этом, шел свирепый бой одии на одии... Враги схватывались и гибли, утучия почву свою кровью... Схватывались в тучи порохового дыма, умирая, не могли различить над собою даже серого просвета неприветливого совсем осеннего сегодня неба.

Ордиарцы, посланные с приказанием отступить, не могли доехать до редутов, окруженных таборами... Сигналы слышались, но им не верили эти мужествеиные, решившие умереть люди. Из левого редута, впрочем (Абдул-бей-табие), кучка солдат двинулась навстречу своим, но все на первых порах, врезавшись в смежную гущу врагов, погибли там под штыками... Раненые падали и уже не могли надеяться на спасение... И здоровые не могли уйти, а этих и подавно унести было некому. Да и дожидаться турок не пришлось наиболее счастливым... Свои затоптали... Туда, куда направлялись наиболее сильные удары турок, туда, где громче гремели выстрелы, их торжествующие крики, кидались кучки защитников. Им некогда было разбирать, кого они топчут — своего или чужого. «Ох, Господи! Спасите!.. Куда-нибудь, в угол меня!.. Ой!.. Голубчики!.. Своего!..» — слышались хриплые, с иатугой вырывавшиеся из-под ног крики раненых и умирающих, но они бесследно пропадали среди царства смерти, торжества ужаса... Не одна рука и нога были в крови; сапоги солдат тоже покрывались ею. На земле, где не было мертвых и раненых, где не корчились умирающие, тоже стояли черные лужи крови... Падали лицом в них, спотыкаясь, опускали руки в эту кровь... Часто, потерявши от мук сознание, несчастный хватал за полу шинели, за ноги пробежавших мимо, но те, даже не оглядываясь, вырывались: помогать не было рук... Те, которые еще уцелели, знали, что через минуту и им придется лечь на землю и в острых болях мучительной смерти царапать землю судорожными, сведенными пальцами.

Харабов заметил налево свободную полоску ската. Тут турки разрединись, направляясь в атаку с фронта и с тыла.

— Не прикажете ли увести солдат туда?.. — обратился он к Горталову.

— Что? — спокойно поднял на него глаза, казалось, задумавшийся о чем-то майор.

Харабов повторил.

— Погодите... Нужно и знамена спасти... Они, во всяком случае, не должны достаться врагу... Что это?.. Откуда эти выстрелы?..

На минуту было вспыхнула надежда...

Горталов встал...

— Неужели подкрепления?.. Можете вы рассмотреть, что там?..

— Нет... Впрочем, видно. Это Скобелев... Только с ним не более батальона...

— А пушки, пушки оттуда слышите?..

— Слышу... Вот они открыли огонь опять... Одна батарея... Я думаю, он хочет прикрыть отступление!.. С такими силами отбить турок нечего и думать...

Горталов зорко всмотрелся туда и потом, не говоря ни слова, сошел вниз...

Надежды не было... Атака турок опять приостановилась, но надежды не было.

Момент, которого он ждал, наступил...

Этим моментом нужно было воспользоваться во что бы то ни стало... Турки отхлынули, очистив тыл... Теперь гарнизон редута может выйти... Теперь удобно начать отступление!.. В последний раз он собрал вокруг себя своих солдат, зорко, внимательно стал всматриваться в их лица... Все эти дорогие, близкие лица... которых он более уже не увидит... Вот они перед ним... Ждут его голоса... Смотрят прямо в глаза ему... Вот и знамя колышется над ними...

— Братцы!.. Идите, пробейтесь, пробейте себе путь штыками... Здесь защищаться нельзя... Штабс-капитан Абазеев, вы поведете их... Благослови вас Бог, ребята!.. Прощайте!..

И, сняв шапку, Горталов перекрестил солдат.

— Ну, с Богом! — громко, уже овладев собою, командовал он.

— А вы?.. — И все глаза обратились к нему с выражением тоски и боли.

— Я... Я остаюсь... Остаюсь с этими, — указал он на груды мертвых. — Скажите генералу, что я сдержал слово... Я не ушел из редута... Скажите, что я здесь... мертвый! Прощайте, ребята!..

Вот они направляются к горке... Вот они выходят... Вон эти серые фигуры, их уже нет в редуте... Сейчас корабль пойдет ко дну... Экипаж сел в лодки, отчалил. Один капитан на палубе, он не уплывает с ними... Он

должен погибнуть вместе со своим судном... Ветер сбивает прочь мачты. Волна за волной разбивает кузов, сейчас он рассядется... Сейчас... Ниже и ниже опускаются борта... Весь в белой пене, вал уже поднялся над ним...

Вот они за бруствером... В последний раз Горталов посылает им свое благословение.

«Спаси вас Бог!.. Спаси вас Бог!..»

И слезы на глазах. Он видит, как последние солдаты, оборачиваясь, крестят его... Он уже не может сдерживать рыданий... Раненые корчатся кругом... Они тоже остались здесь... Вот знамя мелькает... Прощайте, братья, прощайте... Прощайте!.. Пора... Пора!.. Турки не должны увидеть этих слез... Вон они уже бегут... Почуяли, что редут оставлен... Торжествующий рев освирипелой толпы... Рев ему навстречу... Стадо звериное мчится... Ураган несется... Пора!..

Спокойный и величавый, скрестив руки на груди, он медленно взошел на наружный край бруствера... Горталов, он один теперь на страже редута... Один, и никакого волнения уже не видать на лице этого капитана, погибающего со своим кораблем... Сколько их! Вот они у самых ног... Штыки... Взбегают на вал...

Вспененные гребни высоко-высоко поднялись над палубой...

Буря осилила... Корабля уже не видать под ними...

Горталов бьется на штыках... Последний вздох к небу... И разорванное на части тело героя безобразными кусками валяется на окровавленной земле...

Огонь рассыпанных по гребню следующего пригорка шуйцев заставил отхлынуть турок...

Путь к отступлению пока был открыт... Штыкам еще не было дела. Густясь по сторонам, враги довольствовались тем, что расстреливали солдат, вышедших из редута... Расстреливаемые — тем не менее — шли, сохраняя строгий порядок. Рассыпаться не хотели... Локоть к локтю, стройными рядами. Если бы не кровь на руках и на лицах, если бы в этой медленно движущейся массе не попадались раненые, которых товарищи несли на скрещенных ружьях, и раненые, которые сами шли, прихрамывая и опираясь на штыки,— можно было бы подумать, что это свежая часть, совершенно спокойно

идушая среди мирной обстановки обыкновенного похода... Даже равнение хранили эти доблестные остатки героических полков, выдержавших тридцатичасовой бой... Только озлобленно сведенные лица, глаза, горящие воспаленным блеском, выдавали волнение этих последних защитников редута... Изорванные знамена тихо колыхались над молчаливыми рядами. Несколько турецких значков, с золотым полумесяцем, шелестели тут же, развертывая по ветру начертанное на их полотнищах имя Аллаха... Казалось, эти последние свидетельствовали, что солдаты, уносившие их, потерпели поражение, которое, тем не менее, было выше всякой победы. Отступающие уносили с собой трофеи; они не только своего не оставили туркам, напротив, и ихнего им не отдали... Впрочем, нет — бросили то, чего нельзя было взять... Наше орудие стояло в редуте... Замок с него был снят. Его тащило несколько солдат...

— Эх, жаль!..— слышалось в рядах.— Орудие оставили!..

— Ничего... Что оно без замка?.. Неужели на руках тащить?.. Не утащишь. Пусть свиному уху достается... Ничего с ним не поделает...

— Наша пушечка гордо стоит, ишь она нос-то как задрала!.. Что твой инирал... Ее оттеда и на буйлах теперичи не увести! — говорили солдаты.

Оглядываясь, они видели спокойно стоявшего на валу Горталова... Они видели его открытую голову, смело обращенную туда, откуда на него шла неизбежная смерть... Они видели, как вокруг него разом выросла какая-то толпа... Как этого, не защищавшегося человека, опустившего свою саблю вниз, спокойно скрестившего руки, подняли на штыки... Они видели, как он бился на этих холодных и острых жалах... как его сбросили вниз. Они видели, как вслед за этим последним защитником оставленного редута темные волны турецких таборов стали перекатываться через валы, со всех сторон. В гвалте этого торжества не пропали бесследно отчаянные крики наших раненых, попавших в руки этих победителей. Отчаянные крики — крики, пронимавшие до самого сердца... Великодушные враги не хотели оставить умирающих умирать спокойно... Вся их ненависть, вся их изобретательность направилась к тому, чтобы придумать такие муки, каким нет имени на языке человеческого. Еще сумрачнее становились лица солдат, слышавших вопли

своих товарищей. Они слали варварам проклятия... Забывали боль собственных ран... Некоторые рыдали, и казалось, что эти измученные, сия не знавшие очи точили кровавые слезы по почерневшим лицам... Порывались назад — хотели отбить своих, но что могли бы сделать жалкие сотни людей из расстрелянных полков с десятками таборов, отовсюду наваливавших на оставленные редуты?.. Что могли бы сделать перераненные, утомленные львы? Разве только одно: отдать и себя в жертву бесчисленному стаду гиен, тешившихся страданиями, упивавшихся воплями мучеников, у которых не хватало силы даже для того, чтобы заслонить глаза свои рукою от подлых ятаганов, заносившихся над ними... Они не могли повериться, когда торжествующие победители раскладывали огонь на их окровавленных грудях; они только и могли вопиять к этому холодному, равнодушному небу, когда на их телах вырезали кресты, когда медленно, с наслаждением, регулярные войска, присяжные солдаты Турции, отрубали им по частям ноги и руки... И счастливы были те, кто исходил кровью, кто умирал скоро...

Под жестоким, перекрестным огнем стояли шуйцы, прикрывавшие отступление наших... Но они все-таки были счастливее. Падая, знали, что до них не дойдет враг; знали, что смерть их не будет вызвана лютыми муками... Тут умирали сравнительно спокойно... Видя, как остатки еще вчера сильных и здоровых полков уходят из редутов, наши безмолвно стояли под непрекращавшимся ливнем свинца... Никому не могло и в голову прийти — схорониться за ложины... Скобелев зорко смотрел на отступающих. Жадно считал он их ряды издали... Казалось, в нем еще жила надежда, что потери будут не столь велики, что смешавшиеся в одни ряды солдаты разных полков еще выйдут оттуда, что это — не все... Но увы!.. Черные массы наших медленно двигались там — и позади за ними не было уже здоровых... Только раненые лежали на скатах — раненые и мертвые... Одни ползли за своими, еще находя силы в порывах ужаса и отчаяния; другие оставались неподвижными, перевернувшись лицом вниз... Они, казалось, не хотели видеть, что ждет их, когда наши уйдут совсем...

— Как мало!.. Как мало!.. — нервно срывалось у Скобелева. — Какой ужасный день!.. И как уходят эти...

Посмотрите — ни суматохи, ни беспорядка. Вот люди!.. Пошлите сюда казака...

Весь точно высохший донец, на отощавшем степняке, трусцой подъехал к генералу.

— Ты знаешь, где генерал Крылов? Тебя я уже посылал? Сейчас поедешь опять...

Донец, два раза сломавший путь туда и обратно, только вздохнул. «Доля казачья — служба собачья!» — подумал он про себя.

Нервно набросал Скобелев несколько слов на лоскуте бумаги...

«Из редутов выбит... Отступаю в порядке, прикрываясь вашим шуйским полком... Mercı, g n gall...»

— Отдать этот листок генералу... Слышишь?.. Да живо!..

Нагайка стала поглаживать втянутые бока утомленного коня, затрусившего вниз, в ложину, по скату...

— Да... Если бы Крылов исполнил в точности приказ и не послал бы шуйцев, никому не пришлось бы выйти живым из этих редутов... Академическим стратегам не мешало бы подумать об этом!..— вырвалось у адъютанта... Скобелев только нервно отбросил по сторонам баки и еще зорче стал смотреть на отступающих...

— Сколько потерь, сколько потерь!..

— Шуйцам тоже солоно пришлось... К нам их прислали после боя... У них не осталось и половины, а теперь и остальные лягут!..

— Ужасный день!.. И к чему было держаться? Чего ждать?..

Все, что окружало здесь начальника отряда, точно ослабло и понурилось... Мысль не работала, ощущения точно притупились... Кругом валились мертвые, падали раненые — никому и в голову не приходило отъехать назад... Разве не все равно?.. Казалось, для того, чтобы отойти, нужно было больше мужества и энергии, больше усилий, чем для того, чтобы оставаться здесь, не трогаться с места, словно окостенев на нем.

Спит Гривица, спит Тученица, спит Радищево... Вот и турецкий редут, занятый нами,— единственный трофей двух дней упорного боя... Там костры; за кострами сидят

свежие румынские доробанцы; да и те молча глядят в огонь, потому что кругом трупов навалены горы; кровь везде: и под ногами, и на валах; острый запах ее бьет в нос... Сучья костра, попадая в эти черные лужи, шипят и тухнут, обвиняясь противным, кислым паром. Только на аванпостах бодрятся еще часовые... Выдвинулись вперед... Зорко глядят, не покажется ли где враг. Прислушиваются, не долетит ли что оттуда... Но нет... Ночь точно мертвая, и только одно воронье оглашает ее своими радостными, победными криками... Впрочем, нет... Чудится ли это возбужденному мозгу?.. В болезненно-расстроенном слухе рождаются звуки?.. Ловит их часовой и скоро догадывается, в чем дело... Да и как не догадаться? Сколько ужаса в отголосках этих, сколько мук в замрающих воплях... Холодный пот выступает на лбу; сердце точно смолкает и медленно бьется; ноги подкашиваются... Это оставшиеся там, позади. Это те, что валяются теперь, как падаль, между нашими и турецкими позициями... Это подает голос живой корм для воронья... Он чувствует свою участь и, не находя силы двинуться, оглашает поле недавней битвы мольбами и стоном...

Но горе побежденным!.. Горе!.. «Нет им пощады!» — слышится в торжествующих криках хищников, в довольном клекоте тех, которые уже долетели до боевых полей и опустылись на свои жертвы...

И еще сумрачнее, еще печальнее кажется молчание на наших позициях.

На скате, за кряжем Зеленых Гор, — костер... Он уже потух; красные угли из-под золы только мигают порою, как умирающий из-под опущенных век... Молча, глядя в огонь, сидит Скобелев... Ему не спится... Припоминается весь этот день... Вся эта битва. В военном энтузиазме шевелится проклятие войне... Отчего он не убит?.. Зачем он остался жить, похоронив свои лучшие полки, и горькое сознание ненужности бесплодно принесенных жертв шевелится в душе, и холодно ему становится, когда вспоминает он, каких именно людей он потерял сегодня... Как они дрались под Ловчей!.. С какой верой в него сегодня шли на смерть... Пошли и не вернутся более... «Не было ли ошибки в расчетах?» — шевелилось в душе острое жало сомнения... Не он ли виноват в их страданиях? Не он ли виноват в их смерти?.. И опять он проверяет миг за мигом все эти тридцать

часов безостановочного боя, и опять шевелится в душе горькое проклятье бездарности, сделавшей жертвы бесплодными, отнявшей у сегодняшнего дня тот именно венец победы, который один мог бы сделать весь этот бой не столь отвратительным, заставил бы забыть его ужас!.. Да где они, где эти еще вчера веселые, здоровые и бодрые люди? Где генерал Тебякин? Где Добровольский? Убит... Где смелый командир тринадцатого стрелкового батальона Салингре? Убит. Где Горталов? Умер на штыках... Тысячи убиты и ранены... Зачем? Кому нужна их смерть? И он все больше и больше кутался в солдатскую шинель, точно ему холодно становилось от всех этих воспоминаний именно теперь, наедине с этой ночью, с ее робкими, печальными, кроткими звездами, будто укорявшими его с высоты темного, равнодушного ко всему, и к победам, и к поражению, неба... Подымался ли в этом железном человеке обличающий голос: «Какому делу ты служишь?» Становился ли и ему понятен Каин с его томлениями?.. Он закрывал глаза, стараясь не видеть даже лица спящих... Но звучал в его душе голос невидимого обличителя. Точно в его грудь проникла холодная мертвая рука и беспощадно сжимала живое сердце... «Ты никогда не забудешь этого дня... Никогда!.. Погаснут громы войны, и всякий раз, когда ты будешь оставаться один на один, я буду приходить к тебе, я буду тебе напоминать о том, что случилось сегодня...» И он сам чувствовал, что эти поля никогда не изгладятся из его воспоминаний... Сам чувствовал, что в самые счастливые минуты торжества эти кроткие, робкие звезды будут смотреть на него с таким же печальным укором, эта холодная мертвая рука так же будет сжимать его живое, горячей кровью обливающееся сердце.

Шел мимо раненый... холодно ему казалось... Мигнул и на него умирающий огонек костра... Мигнул и замер. Побрел на него раненый солдат... Видит, начальство какое-то... Что ж ему! После такого боя разве оно страшно?

— Расступись, братцы, дай отогреться!.. И думать не хочет, какое тут офицерство собралось... Привалился к огню, разгреб его... Что ему, может быть, умрет сейчас. Упало все внутри — тоска!

— И огня-то мало! — угрюмо звучит его голос.— Не умели разложить. Эх!.. Доля, ты доля солдатская!..

Смотрит на него генерал... Красным шрамом исполосован лоб... Плечо в крови... На ноге кровь.

— Где ранен? — тихо спрашивает. — В редуте?

— Ранен?.. Тебе не все равно, где?.. Не в резервах же... — И невдомек ему, что генерал свой, — не различает воспаленный взгляд...

Молча смотрит генерал на красные угли точно проснувшегося костра. Он и не слышал ответа солдата, так машинально спросил.

— Ранен!.. Все ранены... Не сочтешь! — угрюмо говорит солдат, разгребая их. — Понавалено... Тыщи — лежать!

«Да, не сочтешь!.. Ты их вел на смерть... Где они?.. Зачем, за что? Что им за дело, им, расплатившимся за тебя, до идей, которым ты служишь?.. Необходимые жертвы!.. Да кому же они необходимы?.. Тебе. Таким же, как ты... Солдату необходимы?..»

И опять та же холодная, мертвая рука!..

Забылся было, к костру привалился... Что это?.. Кто-то шинель с него тянет...

— Что?.. — машинально отзывается генерал...

— Ты здоров... Мне надо... — еще угрюмее отзывается солдат, снимает шинель с него, завертывается и идет дальше...

Генерал следит за фигурой раненого, все больше и больше сливающейся с темнотой, и опять молча продолжает вглядываться в красные угли, вновь покрывающиеся серым налетом золы... Умиравший огонек слабее и слабее вздрагивает под нею, точно ему холодно, точно он также спешит завернуться в эту золу...

И опять безотвязные думы... Ах как кричит это воронье... Ноет внутри, в душе еще громче грозитя ему как-то... безотвязно!..

Далеко-далеко откуда-то слышится музыка... Что это, кому вздумалось праздновать? Должно быть, ужинают там веселые люди... Странное дело, как эти мотивы под стать крикам вороньих стай... Что-то жадное, как и в первых, что-то неумолимо-насмешливое... Звон бокалов в них чудится, довольный, веселый говор... Везде воронье!..

А огонек уже совсем завернулся в серую золу и заснул... Ах, если бы и ему, с его безотвязными думами, можно было заснуть... Если бы и его оставила эта холодная, мертвая рука... Не щемила бы сердце... Помолчи хоть на минуту, укоряющий голос!.. Закройте свои

печальные очи, небесные звезды... О, тучи, тучи! Где вы? Зачем теперь открыли вы этих безмолвных свидетелей!..

XV.

После третьей Плевны я встретил Скобелева в Бухаресте. Долго он не мог прийти в себя после этих ужасных трех дней. И в самом деле, поддержки его тогда бесполезно стоявшими на Систовском шоссе резервами, и 30 августа Плевна была бы взята, война не потребовала бы таких ужасных жертв, и добрая сотня тысяч жизней не вычеркнута из списков.

Скобелев отправился в Бухарест отдохнуть, собраться с силами, привести в порядок разбитые нервы... Впрочем, этот отдых был очень своеобразен. Он и тут не переставал работать и учиться. Румыны, видевшие его в ресторане Брофта и у Гюга за стаканом вина, в шумном кружке молодежи, скоро очень полюбили Скобелева, румынки еще больше. В тылу армии как это бывает во всех войнах — кутежи и распушенность шли об руку. От этих не было отбоя. То и дело он получал записки от той или другой бухарестской львицы с назначением встречи там или здесь, но записки эти сжигались без всяких дальнейших результатов... Ему иногда положительно приходилось запираяться. «Это какая-то Капуя!» — повторял он.

— Нужно бежать от порядочных женщин! — говорил Скобелев. — Именно от порядочных!

— Вот те и на!

— Военному непременно. Иначе — привяжешься, а двум богам — нет места в сердце... Война и семья — понятия несовместимые!

Я не могу забыть весьма комического недоразумения, случившегося тогда же. Какая-то валашка из Крайовы, весьма молодая, красивая и еще более эксцентричная особа, наслушавшись разных чудес о Скобелеве и узнав, что он в Бухаресте, разлетелась туда... Скобелев получает от нее восторженное письмо, в котором его поклонница сообщает, что завтра она сама явится к нему лично выразить свое удивление... Послание сожгли, а об ней — забыли. На другой день Скобелев сидит у себя с старым и дряхлым генералом С... Этот последний уже

надоел ему бесконечными рассказами о всевозможных кампаниях, в которых он участвовал, начиная чуть не со времен очаковских и покорения Крыма и кончая Севастополем. Вдруг входит к Скобелеву лакей.

— Вас спрашивает дама...

— Какая?

— Она передала свою карточку...

На карточке фамилия той же, которая прислала вчера письмо. Генерал поморщился. Слишком уж однообразно и скучно выходило это, но тут же ему пришла блистательная мысль одним ударом избавиться и от старого генерала, и от румынской красавицы. Он, зная слабость первого к хорошеньким личикам, обращается к нему:

— Ваше-ство, выручите меня!

— В чем?

— Да вот ко мне обратилась одна женщина... Мне — некогда... Совсем некогда... Выйдите к ней вы... Она меня никогда не видела... Скажите ей что-нибудь, ну хоть скажите, что вы Скобелев... Или просто извинитесь за меня.

С... улыбается... Ему нравится эта мысль...

— Я уж лучше скажу, что я — вы?.. А?

Он выходит к румынке, а Скобелев в это время запирается и садится за работу.

Генерал, явившийся Скобелевым, потом рассказывал свои впечатления.

— Помилуйте, дура какая-то... Набитая!..— Я ведь не таких, как она, в Венгрии видывал... В 48-м! И всего только тридцать лет назад! Что она думает, на диво мне все это?.. Мне только захотеть... У меня в Сегодине такая была!..

— Что же эта-то сделала?

— Посмотрела на меня да как расхохочется... С тем и ушла!.. Болтает что-то по-своему, сорока!..

Румынка встретила на другой день генерала Черкес, командовавшего калафатскими каларашами.

— У русских понятие о молодости очень оригинальное!

— А что?

— Помилуйте... Скобелев, по-ихнему, молодой генерал... Я его видела — просто старая обезьяна да и, к тому же еще, с облезшей шерстью. Хороша молодость... Что же у них называется старостью?

Несмотря на эти комические эпизоды, Скобелев был точно раздавлен впечатлением 30-го августа.

— Оно все время стоит передо мною... Не могу забыть... Кажется, пьешь, пьешь — захмелеешь даже... А тут опять вырастает в глазах этот бруствер, сложенный из трупов... Горталов, поднятый на штыки... Ужасно!..

— Я ведь знаете, совсем не сантиментален... Я признавал необходимость и возможность 30-го августа... А все-таки! Ведь и вина не моя — а спать не могу... Так все и чудится передо мною картина отступления от редутов... Крики в ушах эти...

Он пожелтел в это время, похудел...

— Нет, тут плохой отдых!

— Почему?

— На деле скорей забудется... А тут все впечатления этого проклятого дня донимают...

В Бухарест приехал Тотлебен. На пути за Дунай он останавливался тут на несколько дней... На первых порах он сошелся очень коротко со Скобелевым. Они даже казались неразлучны. Вместе обедали, вместе ужинали. У обоих было одно общее — отвага и привычка к боевой жизни. Оба одинаково недоверчиво относились к штатским генералам и тем героям мирного режима, которые, нося военный мундир, явились на боевые нивы с невинностью младенцев и кротостью голубей. К сожалению, две эти боевые силы — Тотлебен и Скобелев — недолго шли рядом. Слишком несхожи были их натуры, слишком разны взгляды на войну, на солдата... Один — весь осторожность, даже медлительность, спокойствие, заранее обдуманый план. Другой — орел, жадно накидывающийся на врага, находчивый, гениальный, даже способный в самом бою создать новую диспозицию, нервный, алчущий сильных впечатлений... Любимцем войск, разумеется, был второй, хотя роль первого под Плевной была, несомненно, полезнее... Потом, под Геок-Тепе, и Скобелев стал иным. С годами пришла рассудительность, поэт войны стал и ее математиком... В конце концов, он показал себя только в последнее время, и настоящего Скобелева мы бы увидели потом, в первую большую войну... До 1880 года он только развивался, складывался, рос... Все блестящие его качества до этого времени были лишь вспышками гения, отдельными лучами этой военной звезды, столь яркой, столь

быстро взошедшей, чтобы тотчас же потухнуть.

Нужно было видеть, как в Бухаресте его встречали раненые 30-го августа, чтобы понять, до какой степени солдат верно умеет ценить своих друзей и врагов... Впрочем, и не один солдат. У «Брофта» за обедом какой-то из штабных героев с громадными протекциями и потому блестящею карьерой вздумал было заговорить о молодом генерале в том пошловатом тоне, который почему-то считается у нас признаком самостоятельности мнений и даже принадлежностью хорошего общества... Говорил, говорил да и разошелся... Без удержу!..

Вдруг перед ним вырастает армейский офицер с подвязанной рукой...

— Молчать!.. Гнать!.. Когда вы надеваете на себя кресты, принадлежащие нам, когда вы снимете пенки со всего кругом, когда вы пользуетесь всеми выгодами дела, где мы знаем только одни тяжкие обязанности, мы представляем вам полную свободу действий. Мы не завидуем вашим лаврам. Но Скобелева — не трогать!.. Слышите ли — не трогать!..

Тот растерялся, сконфузился и извинился...

— Помните, это фанатизм какой-то... Они не позволяют говорить...

Увы!.. Несчастный не понял, что ему не позволяли только клеветать!

— У кого больше перебили солдат, как не у Скобелева?.. — заявляет другой. Это было еще до заморозения 24-й дивизии на Шипке, до Горного Дубняка, до перехода гвардии за Балканы.

— Да, но ведь никому другому и таких задач не полагалось, трудноисполнимых и стоящих стольких жертв...

Любовь солдат к нему была беспримерна.

Раз шел транспорт раненых. Навстречу ехал Скобелев с одним ординарцем. Желая пропустить телегу с искалеченными и умирающими солдатами, он остановился на краю дороги...

— Скобелев... Скобелев! — слышалось между ранеными.

И вдруг из одной телеги, куда они, как телята, свалены были, где они бились в нечеловеческих муках, вспыхнуло «ура»... Перекинулось в другие... И какое «ура» это было. Кричали его простреленные груди, губы,

сведенные предсмертными судорогами, покрытые запекающейся кровью!..

После одной из рекогносцировок едва-едва идет солдат, раненный в голову и грудь. Пуля прошла у него под кожей черепа. Другая засела ниже левого плеча. Увидев генерала, раненый выпрямляется и делает «на плечо» и «на караул». Совершенно своеобразное выражение солдатского энтузиазма.

Офицера, смертельно раненного, приносят на перевязочный пункт.

Доктор осматривает его, ничего не поделаешь... Конец должен наступить скоро.

— Послушайте,— обращается несчастный к врачу.— Сколько времени мне жить?

— Пустяшная рана...— начал было тот по обыкновению.

— Ну довольно... Я не мальчик, меня утешать нечего. Сам понимаю... Я один — жалеть некому... Скажите правду, сколько часов проживу я?

— Часа два-три... Не нужно ли вам чего?

— Нужно!

— Я с удовольствием исполню...

— Скобелев далеко?..

— Шагах в двухстах...

— Скажите ему, что умирающий хочет его видеть...

Генерал дал шпоры коню, подъехал. Сошел с седла... В глазах у раненого затуманилось...

— Как застилает... Генерал где?.. Не вижу!

— Я здесь... Чего вы хотите?

— В последний раз... Пожмите мне руку, генерал... Вот так... Спасибо.

Под Плевной умирающий офицер приподнимается...

— Ну, что наши?..

— Отступают...

— Не осилили?

— Да... Турков тьма-тьмушая со всех сторон...

— А Скобелев цел?

— Жив...

— Слава Богу... Не все еще потеряно... Дай ему...

Опрокинулся и умер с этой молитвой на губах за своего вождя...

В бою под Плевной, когда генерал уже в пятый раз бросился вперед в огонь, его обступили солдаты.

— Ваше-ство...

— Чего вам, молодцы?

— Невозможно на коне... Все с коней походили...

— Ладно...

И пробирается вперед верхом. Турки целят в близкого к ним всадника. Целый рой свицовых шмелей летает вокруг головы его.

— Чего на него смотреть! — глухо заговорили солдаты...

— Эй, ребята... Ссади-ко генерала с коня... Этак и убьют его!

Не успел Скобелев и опомниться, как его сняли с седла...

— Виноваты, ваше-ство!.. Иначе никак невозможно... — оправдывались они.

Потом в траншеях стает Скобелев на банкет бруствера... А турецкие позиции шагах в трехстах. Начинается огонь по ним...

Солдаты смотрят, смотрят.

— Этак не ладно будет!

И стайются рядом с генералом... Туда же... Тот, чтобы не подвергать их напрасной смерти, сходит и сам вниз...

Раенному в обе ноги нужно было отрезать их: одну выше колена, другую ниже. Ампутуруемый решительно отказался от хлороформа, потребовал трубку; доктор дал ему громадную. Страдальцу отрезали одну ногу — он и не простонал. Начинают резать другую... Солдат только затягивается табачком. Были при этом и сестры милосердия. Молоденькая не выдержала, уж слишком подействовало на нервы. Начинает рыдать; ее останавливают.

— Ведь это на раненого скверно подействует... Молчите!

— Не замай! — Солдат вынимает трубку изо рта. — Известно, ее бабье дело — пушай голосит!..

До того это было неожиданно, что все, несмотря на тяжелую обстановку всего окружающего, улыбнулись.

— Отчего это ты отказался от хлороформа?.. Ведь легче было бы!

— Нам нельзя этого!

— Почему же?.. Ведь все так делают...

— То все... А мы на особом положении, мы скобелевские!

Раз отряд снимался с караула, чтобы идти в рекогносцировку, донец останавливается и раскрывает подушку своего седла. (У донцов в этих подушках все их боевое имущество.)

— Чего ты?..— недоумевает сотник.

— Да вот, новый мундир выну, все лучше смерть принять в новом-то!

— Зачем новое-то портить?

— Да как же ваше-сбродие... Вон генерал говорит: каждый в бой, как к причастию, должен идти... И сам он всегда в новое одевается... Невозможно!

В скобелевском отряде заботились быть не только храбрыми, но и красивыми в бою. «Надо везде и показом брать!» — говаривал он. На показную сторону даже солдаты обращали внимание. Тот же самый донец, одевавшийся во все новое перед боем, не успел еще договорить своего ответа сотнику, как вдруг ему — шальная пуля в живот. Раны такого рода смертельны и мучительны. Везут на перевязочный пункт. В это время главнокомандующий объезжает позиции.

— Ваше высокоблагородие! — обращается он к офицеру, тоже раненному.

— Чего тебе?

— Чего бы мне ответить получше великому князю, когда он спросит меня? — заботится раненый...

За своих Скобелев всегда стоял горой... Их участь положительно была больна ему. Это армейская молодежь, беззаветно верующая в дело, беззаветно смелая, стала для генерала семьей, даже ближе семьи, если хотите.

— Я их не брошу и не оставлю никогда! — говорил он...

— Они все на моей душе теперь... Так работать, как они, почти невозможно.

— Ну, им и отличий больше!..— замечали другие при этом...— Будет с чем домой вернуться!

— Ну что же? Кто из них и останется целым, вернется домой, что толку. Какая у них будущность? Папенек, маменек, титулованных родственников — нет. Самые счастливые выйдут из службы с пансоном в 350 рублей или попадут в становые приставы... А ведь какая честная и даровитая молодежь!

И действительно, близ Скобелева и типы вырабатывались совсем особые.

Вот, например, хорошо образованный солдат. Он не хочет держать офицерского экзамена. Почему бы, думали вы?

— Разве позорно быть солдатом? По-моему, это великая честь, и остаюсь им!

Штаб, канцелярия скобелевской дивизии — в ста шагах от неприятеля, дни и ночи жили в траншеях. Писаря под огнем!.. Я уже в «Годе войны» рассказывал много об этом, теперь поневоле приходится повторить многое из этих эпизодов.

Вот, например, вольноопределяющийся рядовой Иванченко. До войны за год он был воспитанником классической гимназии в Москве. Ему только что наступило 15 лет, когда, увлеченный сербскими делами и зная, что его так не отпустят, он бежал от греков и от латинян, без паспорта пробрался через австрийскую границу, для того чтобы в Лемберге узнать об окончании войны. Что ему было делать? Назад возврата нет, да и семья примет крайне не ласково. Мальчик еще, он принимается за сельские работы, поступает к какому-то русину и в поте лица зарабатывает хлеб свой. Потом он попадает в Румынию к нашим старообрядцам. Они его делают у себя учителем русского языка. Дают ему избу, кормят, дело идет так хорошо, что у Иванченки оказывается уже тележка и лошадь. В это время начинается война с турками. Иванченко продает все, продает телегу, лошадь и определяется добровольцем-солдатом в румынскую армию. Вместе с румынами он участвует в гривицких делах, ходит в секреты, наконец там ему становится невтерпеж. Румынские офицеры так грубы со своими солдатами, что наши армейцы — идеал вежливости сравнительно с ними. Притом же Иванченке, как добровольцу, отпускается не пища, а по франку в день, и притом отпускается на бумаге, а не в действительности. Не умирать же с голоду. Явился в 16-ю дивизию к Скобелеву.

— Я есть хочу! — обращается он к генералу. — Возьмите меня к себе в дивизию!

— Ну, вот что, я вам дам денег, отправляйтесь к родным домой!

— Значит, тогда прощайте!

— А что?

— Потому что я драться хочу, более чем есть...
Останусь в таком случае с румынами!

— Что же мне делать с вами?

— Возьмите к себе!

— Да как же взять-то? Ведь вы числитесь в румынских войсках?

— Ваше-ству стоит только захотеть!

Тот его и определил в углицкий полк. С полком мальчик неразлучен — и в траншеях, и на турок ходит; и с солдатами недавний классик чувствует себя как нельзя лучше... Его очень любили и берегли. Встречается опять со Скобелевым.

— Ну, послушайте, миленький... Я вас хочу домой отправить. К родным.

— Они меня не примут!

— Я вам дам средство кончить курс. Назначу вам стипендию!

— А я сбегу все-таки опять сюда... Ведь из классической гимназии Скобелевым не выйдешь!

Так его Скобелев и оставил в походе...

Еду я раз со Скобелевым по Брестовцу — навстречу офицер. Истомленный, усталый...

— Ваше-ство... Послан к вам!

— Обедали?..

— Нет... Послан к вам...

— Ну, едем обедать, сначала...

— Помилуйте, я весь оборван!..

— У меня дам не будет!

После третьей Плевны идет Скобелев по Бухаресту. Поравнялся с офицером... Худой, в пыли весь, все старо на нем, отрепано...

— Какого полка?

Тот сказал.

— Что же вы здесь делаете?..

— Обедать приехал... Наголодались мы на позициях-то...

— Где же вы обедать будете?

— Да... не знаю... Совался я... Дорого, помилуйте... Невозможно даже... Да и как войдешь-то, в хороший ресторан стыдно и показаться...

— Вот еще. Чего же стыдиться? Трудов да боевых лишений?.. Пойдем со мною!

Берет того под руку, ведет к Брофту, угощает... Рекомендует знакомым.

Сытый и довольный, выходит офицер... Придя домой, в жалкий отелишко, где остановился, застаёт пакет от Скобелева.

«Обедая, вы позабыли около своей тарелки восемь полуимпериалов... Денег терять не следует. Посылаю их к вам!.. М. Скобелев».

Понятно — какое впечатление все это производило на молодежь.

Очевидно, что за любовь и Скобелев отвечал заботливостью. Кстати, один характерный факт: в скобелевских траншеях, когда генерал проходил мимо, солдатам было приказано не вставать. Это возмутило скалозубов. Скобелев же объяснил просто:

— Солдату отдых нужен. Коли он будет вскакивать, так или генерал не показывайся на позицию, не живи с ними, или солдат вечно будет в усталости.

XVI.

В октябре 1877 года, побывав на левом фланге нашей Дунайской армии и объехав затем позиции Гурко вокруг Плевно, я встретил в главной квартире М. Д. Скобелева. Штаб его расположен в Брестовце.

— Вы меня совсем позабыли... А Мак-Гахан приехал уже в Брестовец.

— И я на днях буду!

— Отлично... Я вот к «генералу» приехал! — указывает он на отца...

Я сообразил, что отношения между ними колеблются требованием денег с одной стороны и скупостью с другой.

— Приехал и жалею... Его Превосходительство сегодня не в духе...

— Ладно...

— А вы бы к старшим, генерал, относились попочтительнее... Вы знаете, что воинская дисциплина не допускает неуместных замечаний...

И оба расхохотались.

В Брестовец я выехал на другой же день...

— Где генерал? — спрашиваю я на улицах этого села, сплошь осыпавшихся гранатами с ближайших турецких позиций... Иной раз нельзя было выйти из болгарской землянки, чтобы у самых ног не шлепнулась пуля или

не просвистел мимо ушей осколок разорвавшегося где-то артиллерийского снаряда.

— Где генерал?

— А вишь, перестрелка с левого хлангу идет!.. — заметил солдат.

— Ну?

— Значит, это он объезжает позицию!

Я поехал на огонь. Наши громили Крышино, из ближайших турецких траишей действительно били по Скобелеву... Били залпами. Указание довольно ясное, где искать Михаила Дмитриевича. Действительно, смотрю, и оказывается, что с левого фланга нашего на белой лошади своей несется Скобелев, осматривая позиции. Мчится он не за цепью, а перед ней, не обращая внимания на град осыпающих его пуль... Издали уже я вижу фигуру генерала. Вот он остановился как вкопанный, шагов за двести до ложемента турок. Лошадь не шевельет ушами. Сам он высматривает турецкую позицию — а выстрелы неистово так и гремят оттуда...

— Что вы это напрасно подвергаете себя опасности? — заметил ему кто-то.

— Нужно же показать своим, что турки не умеют стрелять!

В сущности, он высматривает таким образом неприятельские позиции и потому всегда хорошо ориентирован и знает расположение турок столь же, сколько и свое... Очень часто, под кажущейся фанфаронадой, у него скрывалась серьезная цель, и так он достигал решения очень важных задач.

В четыре часа мы отправились к нему.

«Ак-паша», как называли его турки, Белый генерал, занимал в Брестовце землянку. Там он спал и работал. Во дворе большой шатер, куда ежедневно сходятся обедать до сорока — пятидесяти офицеров. Гостеприимство Скобелева не знало границ в этом отношении.

— А я жду теперь неприятностей из главной квартиры! — сообщил он.

— За что?

— Поддался личному впечатлению. Отдано приказание никого не выпускать из Плевно: ни турок, ни болгар...

— Зачем?

— А затем, чтобы еще тяжелее сделать положение осажденных... А тут из Крышина подъехало сорок подвод с ранеными христианскими женщинами и окровавлен-

ными детьми. Голодное все, жалкое... Ревут, просят их выпустить из этого железного кольца, которым мы охватили город...

— Вы их, разумеется, и выпустили?

— На все четыре стороны... А теперь за это влетит!

— Почему же узнают?

— Вот! Я сам донес об этом!

И кстати я вспомнил сцену, виденную несколько дней назад. Несчастную старуху, вышедшую из Плевно и попавшую на позицию другого генерала по его приказанию, гнали казаки назад в осажденный город — нагайками.

Не успел я здесь пробыть и трех дней, как 27-го октября вечером было получено из главной квартиры приказание занять первый кряж Зеленых Гор и укрепиться на нем. Подробности и значение этого дела рассказаны в моем «Годе Войны». Здесь же я заимствую из него только эпизоды, относящиеся непосредственно к Скобелеву.

Приготовления к делу начались с утра. Чистили ружья, перевозили поближе к батареям снаряды, собирали как можно более шанцевых инструментов, солдаты переменяли, по стародавнему обычаю, белье, надевали на себя все что имели лучшего. Начальники обходили свои части, готовя их к не совсем обычному ночному бою. Большинство солдат были новички. За них боялись особенно. В офицерах тоже оказывался большой недостаток, потому что убыль между ними еще не была пополнена, да и пополнить ее не из чего. Это особенно смущало. «Ах, где те, с которыми мы брали Ловец и плевенские редуты!» поминутно повторял Скобелев... Большинство их лежало уже в чужой земле, другие томились в лазаретах — назад редко кто возвратился; или раны не залечены, или после ампутаций пришлось уйти на родину калекой. Многие из нынешних офицеров были еще внове, их не знали вовсе, на оставшихся старых боевых товарищей смотрели с сожалением. Первыми пойдут в бой — показывая пример, первыми, разумеется, и лягут. Со стороны, в Брестовце и лагерях, не было заметно ничего особенного. Также целый день играла музыка, а в углицком полку с утра заливался хор песенников... День начался холодный, сырой и мрачный.

В четыре часа Скобелев выехал из Брестовца, по своему обыкновению, одетый с иголочки, свежий, даже

раздушенный. Тонкая фигура его на белой лошади действительно производила сильное впечатление в этот серый день, когда кругом до такой степени густился туман, что в полуверсте деревья казались какими-то смутными пятнами, точно там еще гуще лежала мгла. Скобелев тогда составлял для меня загадку. Неужели в этой железной груди нет места страху, опасениям, тоске, охватывающим каждого перед боем? Я обратился к нему с прямым вопросом.

— Жутко, разумеется. Не верьте, кто скажет вам иначе...

— Знаете, — продолжал он потом, припоминая разговор за обедом с английским полковником Гавелоком, — теперь не время рассуждать, критиковать, отчаиваться... Вы говорите — талантливым людям беречь себя следует... Умирать надо — и мы умрем с радостью, лишь бы не срамили России, лишь бы высоко держали ее знамя! Хорошо умереть за свою родину... Нет смерти лучше этой...

В серой мгле — какие-то темные массы. Подъезжаем ближе — бараки-землянки, стога сена... Перед ними стоят в боевом порядке роты и батальоны... Видишь только передних, позади все уходит в туман. Лишь бы не заблудиться — а то погода самая благоприятная. Можно подойти на сто шагов к неприятелю незамеченными, броситься на ура и еще двадцать шагов пробежать до первого залпа оторопевших турок. А в восьмидесяти — их пули уже менее грозны, все полетят над головами. От них больше вреда будет дальним резервам, чем атакующим частям. Прямо перед нами взвод охотников. Эти вызвались первыми броситься в турецкие шанцы и, при поддержке стрелковой цепи, переколоть неприятеля. Всмотриваюсь в лица охотников, этих заведомо отчаянных людей, и ничего в них сурового, грозного, воинственного. Простые серые солдатские лица, некоторые с наивной улыбкой, все — доверчивые... Охотники вытянулись, провожают глазами генерала. Один старается особенно — а на смерть идет... Видимо, хочется ему, чтобы на выправку его обратили внимание. Скобелев гладит его по лицу — солдатик вполне доволен. Генерал проезжает по рядам, разговаривает с ротами, именно — не речи произносит, не ораторствует, а разговаривает.

— Ну, что братцы?.. Как пойдем сегодня?..

— Постараемся, ваше превосходительство!

— Не осрамитесь?..

— Зачем же... Мы рады, ваше превосходительство!

— Помните, братцы, одно — не зарываться. Мы не Плевню брать идем, а только выбить турок из их траншеи и занять ее... Поняли?.. Следовательно, дорветесь вы до траншеи и садитесь туда...

— Постараемся...

— Ну, то-то... Помните, что тут не в храбрости, а послушании дело. Сказал тебе начальник: «Стой», — так хоть и желалось бы погнать неприятеля дальше — ни с места... А турок бояться нечего...

— Мы их не боимся!

— Ну, то-то... Помните Ловец, как мы их били?

— Помним, ваше-ство! — бодро звучало из рядов.

— Помните, как погнали их, а?..

— Они от нас тогда всей ордой побежали! — отзывается улыбающийся солдат.

— Ты был тогда со мной... Из старых, должно быть?

— Я с вашим превосходительством и редуты эти самые под Плевню брал!

Тот только тяжело вздохнул в ответ.

— Ну вот, братцы, видите. Дело не трудное. Раз уже мы эту Зеленую Гору брали... Наша была...

— И опять будет, ваше-ство!

Беседа, похожая на эту, повторялась в каждом батальоне. Скобелев узнавал своих старых боевых товарищей, припоминал с ними прежние атаки, просил солдат не забывать, что сегодняшнее дело не нападение на Плевню, а только занятие ближайших турецких позиций.

— Знаете, я ужасно боюсь за молодых солдат, — обращается к своим Скобелев. — Очень уж рискованное дело... Ночное, в тумане. Тут и старому, если он не привык, можно растеряться. Я не останусь, как хотел, в резерве, а сам поведу их... Ах, если бы здесь были туркестанские войска!.. Помните Андижан, Махрам?.. — спросил он у Куропаткина.

Старые боевые товарищи только перемигнулись молча, но видно было по лицам, что при одних названиях этих мест целый рой воспоминаний возник у обоих... «Помните, как при начале кампании думали у нас о туркестанцах? Про меня говорили, что мне и батальона поручить нельзя. На офицеров наших смотрели свысока — а они первыми легли здесь. Где все эти Калитины, Федоровы,

Поликарповы, Поповы? Кто в Эски-Загре, кто в Балканах зарыт!..

— А все-таки хорошее было время! — закончил Скобелев.

Владимирский полк мы встретили, уже проехав с полверсты вперед. Он выстроился боевыми колоннами на скатах лощины, там, где должен был оставаться резерв. В тумане очей красивы были эти сомкнутые черные массы, молчаливые, ни одним громким звуком не выдающие своей близости неприятелю. Турецкие позиции не более как в шестидесяти шагах впереди. Мы тревожно вглядываемся в непроницаемую мгlistую даль, с бьющимися сердцами ждем — вот-вот грянет оттуда первый выстрел чуткого часового, вся линия неприятельских траншей и ложементов оденется негаснущими молниями залпов, и под градом пуль, с глухими стонами, направо и налево, впереди и позади, станут падать в этих неподвижных еще толпах безответные солдаты. На нас мог наткнуться разъезд или секрет неприятельский. Еще несколько минут — и присутствие нашего отряда уже не будет тайной... Красивое зрелище перейдет в настоящую драму, и уже не до любования будет, когда длиною вереницей потянутся вниз носилки с ранеными и в хриплых криках атаки, в кроважном рокоте барабанов замрут предсмертные вопли умирающих.

Скобелев останавливается перед полками, снимает фуражку и крестится... Точно шелест пронесся в воздухе — крестятся солдаты и офицеры. Каждый читает про себя молитву... каждый уходит в самого себя... Кто знает, может быть, некоторым не останется даже мгновения, чтобы, падая, обратить свой взгляд к этому серому небу, по которому тяжело ползут низко нависшие тучи... Даже иностранцы поддаются торжественности этой минуты. Снимают шапки вместе с другими... В памяти почему-то неотступно встают картины далекого теперь прошлого. Родной дом, близкие и дорогие люди... Но это только минута.

— Стройся!.. — тихо звучит команда, и длинная цепь стрелков веером разбрасывается впереди... На лицах уже нет грусти, нет раздумья. В глазах у некоторых офицеров энтузиазм, команда звучит металлическими тонами, Скобелев уже впереди, красивая фигура его мелькает далеко перед цепью.

Высмотрел — вернулся... Что-то подробно объясняет охотникам.

Я в этот решительный час опять внимательно всматриваюсь в лица «охотников», этих людей, сознательно обрекающих себя на смерть. Ищу в них одушевления — ничего не бывало! Такие же серые, заурядные, казенные лица. Некоторые смотрят растерянно, озабоченно, другие только ждут команды и, по обыкновению, готовые ее исполнить, как на учении. Ни одного выдающегося. Точно на часы в караул идут, — а ведь, так сказать «добровольцы»... Невольно думается, что же их тянет туда — первыми в огонь, в силу чего они вызвались принять на себя залпы и грудью встретить турецкие штыки?..

Цепь тихо двинулась вперед. Фигура генерала все больше и больше уходила в туман... Скоро мгла окутала и черные черточки рассыпанных стрелков. Стало смеркаться, но ночь еще боролась с серым маревом...

— Слава Богу! Турки не замечают нашего отряда... Я начинаю верить, что дело обойдется без больших потерь! — шепчет кто-то около... Но как раз в эту минуту будит окрестность неуверенный, одиночный выстрел турецкого часового. Мгновение полного безмолвия... Сердце щемит... Другой выстрел — с другой стороны... Третий... Но все взвзброд... Вот завязывается трескотня направо... но только с одной стороны... Наши не отвечают... По звуку выстрелов, по интервалам, по одиночности их, видно, что турки еще не знают, в чем дело, а только насторожились, почуяли что-то такое... Точно люди стреляют сгоряча, не желая предупредить противника огнем, а прислушиваясь и еще не отдавая себе отчета, куда и зачем они посылают свои молнии.

— Наши подошли, должно быть, уже близко!

— Не видать... Впереди серый неясный туман...

— О, Господи! — раздался чей-то вздох позади.

Выстрелы все еще вперемежку.

— Ребята, за мной!.. — с одного конца до другого металлически звучит где-то в тумане громкий голос Скобелева, покрываемый общим ура атаки, оглушающим грохотом словно разом вспыхнувших залпов неприятеля и раскатом барабанов. Значит, опять он сам поведет их, обрекая себя на первую пулю, на первую смерть... Мы ничего не видим, но первые выстрелы уже обдали резервы горячим градом пуль... Несколько стонов замерло

в общем стихийном шуме незримой атаки... Отдаем коней казакам и двигаемся вперед. Ничего на пути. Свищут пули, доносится отголосок битвы... Вон что-то выделилось из тумана. Ближе и ближе... Раненный в ногу солдат идет назад, опираясь на ружье... Кто-то около корчится на земле...

— Батюшки, не оставьте... Не бросьте, голубчики...

— Где Скобелев?

— Где? Лезом лезет вперед... Что ему!.. Он не боится!

Иной раз сквозь грохот битвы мы слышим одушевляющий голос Скобелева. Точно орлиный клекот носится где-то в высоте.

— Куда проехать на батареи? — раздается в тумане. — О, черт вас возьми... Да откликнитесь же наконец кто-нибудь... Как к батарее проехать?! — кричит кто-то. Фигура всадника на минуту вырезывается из тумана и пропадает уже позади... Посылают приказание батареям залпами начать артиллерийский огонь против турок.

Стрелковая цепь сделала свое дело. Она выбила турецкие аванпосты из нескольких ложементов, которые едва можно различить в густом тумане и сумраке осенней ночи. Можно сказать, что на них наталкивались ощупью, так что, например, когда весь ряд их был уже захвачен нами, посередине оказался один, незамеченный. Турки, разумеется, оттуда убралась назад. Промедли теперь маленький отряд охотников с своим резервным взводом, и дело обошлось бы нам очень дорого. К счастью, как только маленькие ложементы были захвачены цепью, из-за них выдвинулась партия охотников со Скобелевым и поодаль от нее взвод резерва. Всего их было по пятидесяти человек в каждом. Трудно представить себе, как часто у Скобелева большие дела совершаются ничтожными силами. Из ста человек, двинувшихся вперед на турецкую траншею, по пятам за отступающими турецкими аванпостами шло не более двадцати. Это — самые решительные; поодаль двигалось человек тридцать, считавших постыдным отстать от своих. А половина осталась в пространстве между аванпостами, ложементами и турецкой траншеей. Залегла на землю и притаилась. Человек в этом случае делается очень глупым. Лежать тут гораздо опаснее, чем идти вперед. Практика настоящей войны вполне убедила нас, что главная опасность атакующих частей является в трехстах шагах от неприятеля и далее. Ближе начинается мертвое простран-

ство. Пули снопами летят над головой, вы слышите только их свист, жужжание, шипение — но можете даже не кланяться. Разве случайная ранит вас. Все это знают, все это видели, но трусы все-таки ложатся там, где пули падают, и не решаются идти туда, где они менее вредят. Это просто паника, когда человек теряет голову. Охотники бросились на неприятельскую траншею и в первый момент одним криком «ура» выгнали оттуда турок. Оставшихся прикололи, потому что, при сравнительной слабости партии, очень опасно было брать их в плен. Выбежав из своего закрытия, турки бросились врассыпную. В это время отставшие части стали одиночками подходить сюда, и по бегущим открыли сначала стрельбу залпами, а потом непрерывавшуюся пальбу рядами. Охотники быстро вошли во вкус. Известно, что как скоро возникает паника, так же скоро она и исчезает; между людьми, лежавшими еще недавно позади своих товарищей, нашлись такие, которые теперь бросались из траншеи в погоню за беглецами, настигали их у следующего ряда турецких укреплений и там уже били в упор, мало заботясь, что, опомнившись, турки могут забрать их живьем. Позади атаковавших частей, т. е. стрелковой цепи, партии охотников и взвода резерва двигалось десять рот Владимирского пехотного полка. Они не должны были принимать участия в наступлении, но, тем не менее, роль их была в высшей степени серьезна. Снабженные каждый шанцевым инструментом, они должны были как можно скорее вырыть траншею на том месте, которое еще ранее боя было определено на плане как крайний пункт наших будущих позиций. Траншея должна была вырасти на глазах.

Десять рот Владимирского полка привели сюда, расставили в одну шеренгу по всей линии будущей траншеи, и в то время как охотники с своим резервом, бывшие впереди, из наступления перешли в оборону и уже, в свою очередь, залпами отбивались от атакующих турок, неистово стремившихся отнять назад важную позицию первого кряжа Зеленых гор, владимирцы нервно, быстро работали лопатами, с каждой минутой все выше и выше воздвигая перед собой серый окоп бруствера. Турки их в это время буквально осыпали свинцовым дождем... По яркой линии огня в эту мгlistую тьму, прорезывающегося вперед, они видели, что в наступление перешли значительные силы врагов. Пули поражали лю-

дей, с злобным шипением уходили в рыхлую массу свежего окопа, жужжа, точно пчелы, носились у самых ушей, сливая свои разнообразные звуки с глухими стонами раненых и пронзительными воплями неприятельской атаки — а работа все-таки шла, не переставая.

Скобелев все это время находился впереди работающих.

— Он дерется, как прапорщик! — говорили о нем в тот день.

— Зато не прячется, как генерал! — замечали другие.

Никто не отдыхал, никто ни на минуту не оставлял лопаты. Многие ратавшие шеренги не прерывались ни на одном месте. Только откуда-то раздавался стон, и солдат, только что захвативши лопатой ком земли, падал в вырытую им яму — на его место сейчас же выдвигался новый: жертву боя санитары уносили назад, и работа опять шла упорно, безотходно... Через час турецкая атака была так сильна, что казалось, воздух мог бы раскалиться от этого сплошного дождя горячего свинца; направо и налево, впереди и позади падали такие густые массы, что на этом пространстве трудно было держаться чему-нибудь живому, но героизм и сила сделали свое дело. Пока проходил этот час, окоп рос, а в момент самого ожесточенного огня бруствер новой траншеи поднялся уже так высоко, что затомившиеся владимирцы могли, сложив лопаты, прислониться к нему и отдохнуть в полной безопасности. Дело было сделано, позиция для нас спасена... Уже в этот час, хотя все еще было в начале, мы могли торжествовать победу...

Между тем наш артиллерийский огонь тоже делал свое дело. С батареей правого и левого флангов у Брестовца, с радишевских и тученицких позиций, с Пернина и Медвена — громили турок.

Уже через час, когда насыпь была почти готова, от охотников прибежали назад сказать, что у них мало осталось патронов. На месте была организована доставка их; все время остального боя десять — пятнадцать человек проползали в тьме от строившейся траншеи на огни турецких залпов, отыскивали впереди наших охотников, снабжали их патронами, и так же благодаря этому почти всю ночь продолжалась перестрелка не ослабевая, огонь поддерживался неустанно, и туркам ни разу не дали подойти слишком близко к отнятой у них высоте.

В два часа ночи турецкая атака особенно усилилась. К неприятелю подошли значительные подкрепления. Но наши были уже прикрыты бруствером новой траншеи. Стрелков вернули назад, и начался второй период боя, уже более правильный в смысле обороны.

Во втором периоде дела бой вела уже новая траншея. Против турецкой атаки, направившей теперь главные силы против нашего левого фланга, на строящуюся соединительную траншею, действовали сплошным огнем из-за бруствера десять рот Владимирского пехотного полка, остальные пять рот его были в резерве. Солдаты, стоя за валом, били выдержанными залпами. Волнение уже улеглось, горячки первых минут не было, ждали команды, и по ней верхний гребень бруствера точно разом вспыхивал снопами огня, озаряя на одно мгновение непроницаемую мглу.

Спросят, где же все это время был Скобелев? Там же, где и всегда. Сначала с охотниками, потом в траншее, лично командуя ее обороной. Во время самых ожесточенных атак неприятеля молодой генерал вскочил на бруствер и, весь в пороховом дыму, в перебегающем огне выстрелов, ободрял солдат. В минуты сравнительной тишины он проходил за траншеей, беседовал с владимирцами, следил за тем, как росла грозная профиль бруствера, посещал резервы... В один из таких обходов он заметил, что в центре новых траншей у Нечаева люди стоят слишком жидко. Лично распорядился послать ему еще роту. Пройдя направо, он обращается к солдатам:

— Смотрите, братцы... Сейчас опять станет наступать неприятель. Я буду на левом фланге. У меня стоять молодцами. Умирать на своих местах, но не уступать позиции. Слышите?..

— Слышим, ваше-ство... Не беспокойтесь... Мы с Маневским! — раздаются голоса солдат.

Скобелев жмет руку Маневскому и идет дальше.

В это-то самое время наступил сравнительно момент тишины.

Скобелев, пользуясь им, скачет в Брестовец, чтобы послать оттуда донесение в главную квартиру главнокомандующему и в Тученицу — Тотлебену. Не успели еще написать двух слов, как на Зеленых Горах опять разгорелась перестрелка. Вскочив на первого коня, Скобелев перегоняет своих ординарцев, мчится назад, боясь

за судьбу новой позиции. Весь путь — осыпают пули. Ночью турки стреляют и в Брестовец, и в лощины за Зелеными Горами. Пули ложатся налево и направо, шрапнели рвутся в высоту, но спустя несколько минут целыми и невредимыми они домчались до подъема на занятой сегодня крыж.

Вот что случилось в отсутствие генерала на Зеленых Горах.

Турки стали бить амфиладными выстрелами по солдатам, которые только что начали рыть соединительные траншеи от главной к резервным. Две роты из новичков вследствие этого дрогнули, бросили ружья и давай Бог ноги. Это было не из передовых позиций — там, в траншее, отлично выдержали турецкую атаку солдаты Маневского и Нечаева, а, так сказать, из среднего промежутка между траншеями и резервами. Таким образом, когда впереди горел бой — вторая линия наша его выдержала.

Только что начальство стало взбираться на скат Зеленой Горы, как навстречу — расстроенная масса. Бегут врассыпную, во все стороны.

— Посмотрите, они бегут! — крикнул Скобелев.

И тут-то я удивился от души боевому психологу... Объятую паникой толпу — не остановишь угрозами, еще пуще напугаешь, пожалуй.

— Здорово, молодцы! — крикнул им навстречу Скобелев.

Крикнул весело, радостно даже.

Те приостановились... Даже послышалось «здравия желаем», только враздробь... Несмело...

— Спасибо вам, орлы, за службу!.. Героями поработали сегодня!

Еще минуту назад растерявшаяся толпа стала подбираться, показалось что-то наподобие строя.

— Горжусь я, братцы, что командую вами. Таких молодцов еще не было!

Беглецы совсем оправались уже. Строй — правильный... Видимо, очнулись.

Тут генерал делает вид, что только сейчас заметил у них отсутствие ружей.

— Это что ж такое? Где же ваши ружья, ребята? Молчание... Солдаты стоят потупившись.

Тоже томительное безмолвие. Полная перемена декораций и у Скобелева.

— Вы это что же?.. Ружья кинули — трусы... Бежать от турок... Позор, стыд! Сволочь этакая... Не хочу я командовать этакой дрянью... Вон от меня...

Солдаты совсем уничтожены. Стоят как приговоренные к смерти.

— Марш за мной!

Рота без ружей стройно идет за генералом, не перестававшим честить их... Пришли на позицию, взяли ружья.

— За мной!

Вывел их Скобелев в промежуток между турецкой и нашей траншеей, в самое опасное место, выстроил и давай производить им учение. Сам стал на наиболее подлом пункте, — между ними и турками.

— На плечо!..

Команда исполнена, но неуверенно... Нестроенно...

— Еще раз к ноге... На плечо!

Исполнено лучше.

— Еще раз... Вы у меня как на параде будете. На плечо!

Исполнено превосходно.

— На караул!

То же самое.

Таким образом он добился, что они под самым убийственным огнем исполнили все ученье как следует, с отчетливостью парада, и тогда уже он пустил их обратно в траншею.

Валы были уже готовы — но внутри могли помещаться только солдаты, работавшие их. Еще слишком узок был ров. Так что генерал, офицеры, начальник его штаба проходили перед траншеей, рискуя получить пулю в голову или верхнюю часть груди. В это время капитан Куропаткин замечает, что впереди, несмотря на приказание отступать, еще есть несколько стрелков, не решающихся идти назад. Он выходит перед траншеей.

— Капитан Домбровский! — зовет он к себе их командира. — Потрудитесь отвести остальных оттуда!

— Сделаю что могу! — отвечает тот и поднимает руку к козырьку. В это мгновение точно что-то шелкнуло около Куропаткина, и Домбровский падает вниз без стона. Подбегают к нему — пуля ударила в висок, убил Домбровского наповал.

Через полчаса наш отряд мог заснуть спокойно. Соединительная траншея от траншеи Маневского к резер-

вам была уже готова. Турки, повторив атаку в значительно больших силах, могли бы отнять левофланговую, нечаевскую, траншею — это было бы уже не важно. Маневрского и соединительная остались бы нашими. Опираясь на радишевский овраг, куда уже шли шуйцы, мы заснули спокойно... Бой на сегодняшнюю ночь был кончен. Турки, потеряв веру в возможность сбить нас с Зеленых гор, стали снова с своими атакующими частями на другие наши позиции. Сунулись было на брестовацкий левый фланг — отбили их; массами, точно тучи, надвинулись на правый фланг — и тоже бежали, оставив своих убитых и раненых. В обоих этих пунктах они были отброшены сидевшими в своих траншеях суздальцами. Кинулись было на правофланговую батарею, но тоже из передовых траншей их встретили таким убийственным огнем, что турки не дошли даже и на пятьсот шагов.

Возвращаясь назад в тумане, мы чуть не заблудились. В нескольких шагах от себя ничего не видно. Благодаря этому обстоятельству в руки наших солдат попала турецкая кухня, которую везли, с запасами вареной фасоли, на позицию. Турок-возница спокойно приехал в наш отряд и давай кричать на солдат, чтобы они посторонились. Заметив ошибку, он было задергал вожжами, чтобы повернуть лошадей, но его уже обступили со всех сторон и с громким хохотом приступили к исследованию турецких котлов.

XVII.

Серо и туманно было утро после этой памятной ночи, в которую защитники только что взятых позиций не знали отдыха. Кончился бой — опять за лопаты. Работа продолжалась и днем. Нужно было уширить и углубить траншею, утолщить ее брустверы, особенно наверху, где турецкие пули пронизывали гребень, прорезать banquetты, на которые бы могли становиться часовые, а в случае тревоги и все дежурные части отряда. Приводились в известность наши потери, причем оказывалось, что из строя вышло около 130 человек. Кто не работал, тот чистил ружья. Только немногие счастливицы могли заснуть на сырой холодной земле, кое-как завертываясь в серые шинели. В семь часов еще было темно, а солдатам уже доставили пищу. Сверх того владимирцы в бруствере

проделали маленькие ниши-печурки. Там раскладывались дрова, которые приходилось собирать под выстрелами, позади траншей. Оттуда курились дымки, и около огонька грелись зябнувшие группы солдат, пока в манерках поспевал им чай. Для генерала в центре траншеи было... точно вроде скамьи небольшое пространство земли, в нарочно прорытой ямке. Сюда положили соломы и здесь именно, завернувшись в бурку, отдыхал Скобелев.

Ему, впрочем, спать не пришлось. Поминутно он вставал и обходил позиции.

Раз даже сам взялся за лопату и показал, как нужно обминать верх бруствера.

— Вот видите, — обернулся он ко мне, — изучение саперного дела и пригодилось!

К полудню уже нельзя было узнать траншею. Внутри широкий ход. Трое могут идти рядом. Бруствер высок и толст настолько, что в середине его не пробьет граната. Ружья лежат не на гребне бруствера, а в нарочно проделанных для того в нем отверстиях. Банкеты по брустверу всюду. На них под ружье может встать целый полк. Самая траншея продолжена на версту и загнулась на правом и на левом флангах. Это египетская работа сравнительно с малым временем, потраченным на нее. Тем не менее не довольствуются этим.

— Вдвиньте мне сюда батарею... Ради Бога, устройте поскорее для нее амбразуру и брустверы, чтобы завтра ночью мы могли уже приветствовать турок отсюда гранатами... — торопит Скобелев Мельницкого, хотя солдаты сильно утомлены.

Мельницкий тоже устал до последней возможности, но сейчас же принялся за дело.

— Во сколько часов будет готово?..

— К полуночи!

— Нельзя ли поскорей?.. Я знаю, что как только стемнеет, турки попробуют отнять у нас траншею... Встретить бы их картечной гранатой...

— Часам к десяти завтра постараемся...

— Какой унтер-офицер у вас будет заведывать работой?

— Митрофан Колокольцев!

— Покажите мне его!

Красивый саперный унтер-офицер был приведен к генералу.

— Это ты, голубчик, вчера под огнем рыл траншею?

— Я, ваше превосходительство!

— Ну, вот что, молодец. Если ты мне к завтрашней ночи кончишь батарею, а ночью перед нашим левым флангом выроешь небольшой ложементик, послезавтра я поздравлю тебя Георгиевским кавалером!

— Постараюсь...

— Ну помни же...

— Коли не убьют — сделаю.

— А убьют, так умрешь честно, за свою родину...

— Слушаю-с...

— Уж если Колокольцев взялся — так будет сделано! — успокоил волнующегося генерала Мельницкий.

Местность между нашей новоявленной зеленогорской траншеей и турецкими позициями представляет унылую полосу поблекших кустов, мелкого дубняка, сухой лист на котором падает при малейшем прикосновении. В нескольких пунктах высятся грушевые деревья, тоже совершенно голые. Этими деревьями стали пользоваться турецкие стрелки. Они забирались туда и сверху вниз прямо уже в траншею били людей, мнивших себя в полной безопасности. Наконец это надоело нашим солдатам — они отправились на охоту «за дичью». Перепрыгнут через бруствер и подползают сквозь кусты к дереву. Только что турецкий стрелок наметит новую жертву в траншее, как из-за кустов гремит выстрел и дичь, ломая сучья, с глухим стоном падает вниз...

Вдоль траншеи вообще выросло уже много могил. Убитых зарывали тут же; читали над ними молитву, солдаты крестили свежевыкопанную яму — и затем от человека уже не оставалось ничего на божьем свете, ничего, кроме воспоминаний да слез в далекой деревушке, где напрасно будет ждать семья своего радельца и кормильца...

Чем ближе подходил вечер, тем все становилось беспокойнее. Офицеры постоянно выходили на бруствер, всматривались в сумерки, уже слившиеся даль в одну непроглядную, мгlistую полосу. Часовым было велено глаз не спускать с пространства перед траншеей. Унтер-офицерам приказано не спать и постоянно проверять часовых.

Скобелев несколько раз обошел траншею.

— Отнюдь не стрелять, — приказывал он. — Лучше скажи... Подходят турки — только приготовьтесь. Чем они ближе, тем лучше. Дула держите ниже, чтобы по коман-

де не бить ворон через голову, а прямо в неприятеля попадать. Без команды отнюдь не смей курка спустить никто. Вскочит турок на бруствер — тут-то и праздник, прямо на штыки их принимай... Не первый раз нам их бить, ребята!.. Ну, как ты станешь целить, если турки наступать начнут? — обращается он к часовому.

Тот взял прицел.

— Ну в ворону и попадешь. Вот как нужно!

И он показал ему.

— Пожалуйста, господа офицеры, объясните солдатам, как делать это! — добивался Скобелев.

Стрельба со стороны турок все усиливается и учащается. Солдатам иной раз и хотелось бы открыть перестрелку, да начальство следит за этим. Нервы у отряда напряжены. Несколько беспорядочных выстрелов со стороны наших часовых, и все вскочат на бруствер для бестолковой трескотни, воображая, что турки вот-вот, близко, и готовится нападение. Турки тоже подхватывают — и пошла писать. В результате — лишняя тысяча зарядов (...).

Когда совершенно стемнело, Скобелеву доставили обед в траншею; тут же согрели самовар. Туман все густел и густел; шум шагов в траншее, говор замирали; зарево костров, разложенных тут, высоко отражалось в мгле осенней ночи. По этому отсвету преимущественно целили турецкие часовые...

Скоро стало очень холодно. Сидя на банкетках и опираясь спиной о бруствер, спали солдаты, точно на серой массе торчали серые выступы земляных горбин.

Впереди, по направлению к турецким позициям, в пятидесяти шагах еще можно различить кусты и деревья, — дальше только огоньки выстрелов в расстоянии двухсот или трехсот шагов обнаруживают присутствие неприятеля. Когда в кустах слышится шорох, часовой настораживается. Минуту спустя оказывается, что это наш секрет перебирается или какой-нибудь зверек ползет подалее от этих беспокойных мест.

Темнее и темнее становилось... тише — турецкая стрельба. Точно и им надоело... До меня доносится бред офицеров... Видно, и у них расходились нервы после всех пережитых ощущений... «Стойко держись...» — шепчет кто-то... И опять тишина, точно все притаились здесь, точно в этой траншее стоял я один в царстве мертвых... Потухли и костры, не шелохнется и сухой

лист на дереве... Только часовые все пристальнее и пристальнее вглядываются в темную даль... Чу! Что-то словно шарахнулось за бруствером — и замерло опять... Нет, вот опять шорох... положительно слышны чьи-то крадущиеся шаги... Часовой встрепенулся и понизже, по направлению шороха, передвинул дуло ружья... Прислушиваешься с бьющимся сердцем, широко раскрытые глаза пристально всматриваются в туман и тьму.

— Не стреляй... — доносится шепот из-за бруствера. — Свой... из секрета!

— Чего там?..

— Не стреляй... разбуди генерала... Турки выходят из своей траншеи, строятся...

— К ружью! — грянуло позади.

Оборачиваюсь — Скобелев уже у бруствера.

— К ружью, ребята!.. На бруствер... Снять секреты!..

Генерал сквозь сон расслышал шепот, проснулся, вовремя подхватив последнюю фразу солдата, передавшего сведения о движении турок.

Суматоха на минуту — проснувшиеся солдаты стали на банкет и взялись за ружья. Головы их над гребнем бруствера. Точно в заколдованном царстве, все проснулось в одну минуту.

XVIII.

— Я знал, что сегодня будет атака! — шепчет Скобелев. — Смотрите же, братцы, молодцами стоять! Выдерживай его на близком расстоянии, стреляй по команде. Господа офицеры, к своим частям...

— Сунется враг на бруствер, в штыки принимай! Ну, как ты его встретишь? — обращается генерал к новичку.

— А вот! — И тот показал снизу вверх штыком.

— Молодец... Однако я боюсь, что турки могут прорваться где-нибудь, — говорит генерал Куропаткину. — Мы их, разумеется, выгоним, но на полчаса они надевают суматохи. Приблизить резервы...

Несколько минут еще — и точно ожили дали... Все, что впереди было погружено в мертвое молчание, загрело выстрелами. Турки обнаружили себя. По свойственной им манере они и теперь подходят, стреляя.

— Сколько их?..

— По линии огня нужно определить! — И Скобелев высматривает таборы, стоя на бруствере.

Впереди, во тьме, дымится линия зловещих ружейных огней. На версту, по крайней мере, они растянуты... По густоте огня видно, что и в глубину наступающие части значительны, что это не развернутый строй, а сомкнутые массы подходят. Огни все ближе и ближе. Над головами у нас свистят, жужжат и стонут тысячи пуль.

Пули ударяются в валы и с шипением уходят в них, другие о деревья бьются... Будто кто-нибудь расплавленный свинец в воду льет, точно такой же звук...

Чем тише наша траншея, тем неистовее трескотня ружейного огня у турок. Мы молчим и выдерживаем их ближе...

Турки уже видны близко. Линии их — шагах в семидесяти. При красном блеске выстрелов видны ружья и какие-то массы позади. С трескотней ружейного огня сливаются ожесточенные крики «алла!..» Где-то на правом фланге у турок даже «ура» наше гремит...

— Батальон — пли!

Момент оглушительного залпа. Черный гребень траншеи на мгновение весь одевается в золотую кайму...

Залпы тоже слышатся и направо, и налево...

— Не давайте им успокоиться. Пальба рядами! — командует Скобелев.

Вот заговорили картечницы... Вот грянули наши брестовацкие батареи. Турки из Кришина тоже отвечают... Несколько шрапнелей разорвало далеко впереди. Одна турецкая граната прямо в массы своих попала.

— Еще залп!

Опять треск, точно земля рушится под вами. Но сегодня турки удивительно настойчивы. Они уже в сорока шагах. В рядах их смерть, а они все идут вперед... Положение становится серьезным. Скобелев вскакивает уже на бруствер и командует обороной траншеи. Точно орел для него — эти огни залпов и их отсветы. Защитники траншеи в дыму, озаренном красным бликом огня. Мимо них несутся тысячи пуль, некоторые у самой головы впиваются в бруствер, извлекая искры из его землистой массы... Голос Скобелева не смолкает ни на минуту. Он слышен и на правом, и на левом фланге траншеи. Он прямо в лицо врагу кидает свои бешеные звуки. Залпы становятся чаще. Какой-то хаос царит кру-

гом, теряешь голову — и сознание отказывается служить тебе.

— Слава Богу! Отбили... — слышится около.

Всю ночь за бруствером по пространству, где шла атака турок, двигаются огоньки. Сначала было наши часовые встревожились, и раздалось несколько выстрелов.

— Не смей стрелять, разве вы турки? Они своих убитых и раненых убирают...

В семь часов в траншее после утомительной ночи, солдаты приуныли. Во всем усталь и томление... Сыро, холодно. Пахнет кровью...

— Вот я их подбодрю! — говорит Скобелев, и через час является оркестр владимирского пехотного полка.

Музыка — в окопах, в ста шагах от неприятеля! Но если бы вы видели, как ободряюще подействовало это на утомленных солдат. Народный гимн аккомпанировался залпами наших батарей, перестрелкой часовых и громкими аплодисментами картечных. Только что он кончился, с конца в конец грянуло оглушительное «ура», в котором, точно в море, утонули и выстрелы ружей, и рев наших орудий... Потом — знакомые уже этому отряду звуки плевненского марша. Музыка сегодня играла до вечера, и с тех пор каждый полк является в траншею с своим оркестром. Сами солдаты стали просить музыки.

— Мы забыли войну, — говорит Скобелев. — Наши отцы были лучшими боевыми психологами и понимали влияние музыки на солдата. Она поднимает дух войск. Наполеон — бог войны — хорошо сознавал это и водил атаки под громкие звуки марша...

Немного спустя Скобелев отправился на другие позиции. Как только он показался у ложементов — турки сейчас же по ак-паше открыли трескотню беспорядочных выстрелов. Генерал поблагодарил солдат за отбитые ими атаки, построил их и приказал выбрать двух наиболее выдающихся молодцов в Георгиевские кавалеры. Когда в ложементе солдаты построились и указанные ими двое кавалеров вышли вперед, скомандовали «на караул» и приказали горнистам играть «честь». Под аккомпанемент турецких выстрелов на солдат были навешены кресты, причем генерал заявил, что он начал с этого полка именно потому, что он не принадлежит к его дивизии. «Своим раздаст потом». Назад в траншею Зеленой Горы было два пути: сравнительно безопасный, через Брестовац, мимо правофланговой батареи, и очень опасный, на пря-

мик, как раз посредине между нашими и турецкими траншеями. Нечего было и сомневаться в том, что Скобелев выберет второй путь, воспользовавшись случаем осмотреть, не изменили ли и турки своих позиций. Когда мы вернулись в траншею, батарея была уже почти готова. «Сегодня ночью мы им покажем свои пушки!» — радовался Скобелев.

В два часа ночи решили «показать неприятелю пушки». Из четырех орудий дали залп. Огнем его на минуту выхватило из тьмы и грозный профиль нашей траншеи, и полосу поблекших кустов позади него... Зарыв разрыва обнаружило также черные гребни турецких брустверов. Картечь, по-видимому, причинила неприятелю некоторый вред, ибо залпы оттуда стихли, и было заметно, что в центре турки отодвигаются назад.

Батарея, таким образом, была готова, и Митрофану Колокольцеву, саперному унтер-офицеру, следовал Георгий. Колокольцев честно под огнем сделал свое дело и уцелел только чудом. Генерал с утра спрашивал его — оказалось, что он послан в Брестовац. Скобелев вложил Георгия в пакет, на котором написал:

«В траншеях, 31 октября 1877 года.

Унтер-офицеру Колокольцеву, согласно обещанию, за распорядительность, мужество и храбрость, оказанную в деле с 29 на 30 октября. За Богом молитва, за царем служба не пропадает. От души поздравляю тебя, уважающий Михаил Скобелев».

Когда дописывался этот конверт, Колокольцев явился сам. Сейчас же были построены солдаты в траншее, и под звуки «военной чести» полкового оркестра Колокольцеву надели Георгия.

— Ну, теперь, позволь пожать твою руку! — обратился к нему генерал. И Скобелев протянул ее Колокольцеву. Когда, уже с крестом на груди, Колокольцев шел назад, сами солдаты в траншеях вставали и отдавали ему честь. На глазах у него были слезы.

XIX.

— На обоих флангах своих турки роются в земле. По направлению и характеру работ видно, что здесь собираются поставить батарею, чтобы приветствовать нас продольными выстрелами, — докладывают Скобелеву.

— Пускай ставят орудия. Все равно наши будут. Пойдем ночью и отнимем!

К вечеру началась опять губительная работа наших батарей; брестовацкая и радишевская были по зеленогорским позициям турок. Пристрелялись отлично: почти не было бесполезных выстрелов. Вечером в нашей траншее слышалось торжественное «Отче наш» и «Коль славен».

Пел весь полк, стоявший сегодня здесь. С его пеннем сливалось пенне резервов на Зеленой Горе и суздальцев в Брестовце. Ночь была тиха, и звуки разносились так далеко в ее величавом безмолвии. Луна светила ярко, тумана не было. Ночью Скобелев пробовал свои орудия и картечницы, обстреливая турецкую траншею продольными выстрелами. Только что все было успокоилось, неприятель ни с того ни с сего стал угощать залпами. Гребень их траншей осветился весь красным заревом несмолкающего ружейного огня. Наш бруствер тоже оделся в золотую кайму. Ветром относило назад серые клубы дыма. Постреляли с полчаса — а толку никакого. Наши уже давно не отвечают, а турки все не могут успокоиться. Наконец и у них стала замрять перестрелка. Только несколько часовых со стороны неприятеля забрались на деревья и оттуда бьют прямо в траншею. Сначала в гребень стали попадать, потом ухитрились прорезывать тонкие люнеты гребня пулями, зарывавшимися в глину рядом с безмятежно спавшими солдатами.

— Должно быть, секреты плохо поставлены у нас! — слышен голос Скобелева.

— Почему?

— Одного убило... Их могут видеть турки. Нужно сейчас же найти другие места для секрета!

— Я сейчас пойду! — говорит Гренквист.

— Нет, этим уж я распоряжусь...

— Турки по вас начнут бить прицельно. Ведь тут расстояние до них самое малое!

— Пускай бьют!

И Скобелев с своими ординарцами перепрыгнул через бруствер. Сердце щемило за него. Вот-вот шальная пуля, которых так много носится по этому пространству, положит конец этой блестящей жизни. И досада брала на молодого генерала. Точно без него некому развести секреты и выбрать им места. Нельзя же, в самом деле, все делать самому. Эти полчаса, которые

Скобелев пробыл за бруствером под огнем, весь отряд провел в крайнем беспокойстве. Нечего и говорить, что мы сейчас же по всей линии прекратили огонь. Иначе и свои пули могли бы задеть генерала и его спутников.

— Ах ты, Господи! — мутило солдат. — Ну, как они уложат его, сердешного...

— Никто, как Бог... Бережет его — ну, и цель...

— Заговорённый. Что ему!

— В Хиве, сказывают, заговорили!

По солдатской легенде, «хивинец» девять дней и девять ночей возил Скобелева по «Хиве неверной» и заговаривал. Потом девять дней и девять ночей Скобелеву есть и пить не давали и все заговаривали, пока совсем не заговорили, так что пули проходят насквозь, не причиняя Скобелеву ни малейшего вреда.

Пока генерал разводит секреты, опишем его оригинальное жильё в траншеях.

Сегодня оно уже улучшено. Вырыта яма, в которой можно вытянуться во весь рост. Земля в ней убита очень плотно. Из Брестовца привезли кровать. Поставили стол и несколько табуретов. Крышу настлали из плетня, добытого в соседней деревне. На плетень навалили соломы, на солому землю. Передняя часть крыши открыта, и через отверстие в землянку залетают пули. Кто-то доставил сюда железную печурку, к которой мы ночью приходили греться, когда уже слишком пронимало холодом. На столе карты, планы и бумаги. Скобелев почти не отдыхал. Он во время, свободное от турецкой атаки и наших работ, или читает, или пишет. Как не похож он на тех воинственных генералов, которые обыкновенно устраиваются с полным комфортом, верстах в десяти за линией огня, и если приезжают в свои дивизии, то в нарочито спокойное время. Перед землянкой, в более широком месте траншеи, на холоду ежились все мы: ординарцы Скобелева, штабные из главной квартиры, начальник штаба Куропаткин, полковник Мельницкий. Сегодня на этой высоте семь градусов. На мое счастье, мне уступили бурку, а то пришлось бы мерзнуть. Да и в бурке коробит от холоду. Солдаты сидят у огня и греют руки.

— Знаете что, господа? — слышится из темноты чей-то голос.

— Кто это говорит?

— Давайте отучим генерала рисковать собой!

— Как это отучишь?

— А вот заметили вы, что он терпеть не может, если с ним рядом в опасных пунктах выставляются и другие?

У Скобелева действительно есть эта черта. Рискуя собой, он всегда заботится о безопасности других.

— Всякий раз, как он выставится на баикете либо за бруствер уйдет, сейчас же давайте и мы с ним гурьбой!

— Чудесно!

Скобелев не заставил себя ждать. Он вернулся оттуда, из-за бруствера, расставив наши секреты. В эту минуту разгорелась перестрелка, и генерал выставился над бруствером, как раз против неприятельского огня. Вокруг сейчас же образовалась целая толпа; ординарцы, штабные, офицерство все тут было.

— Что вы, господа, стоите тут... Пули дожидаетесь, что ли? — обращается к ним Скобелев.

— Мы имеем честь находиться при вашем превосходительстве! — отвечает один из ординарцев, прикладывая руку к козырьку.

Понял и расхохотался.

Повторили другой и третий раз — и Скобелев, пожимая плечами, должен был сходить с бруствера.

Скажут, что человек бравивирует. Это, разумеется, так, но все-таки делается не без толку: началась стрельба у неприятеля, и он хочет по линии огня узнать, какими силами тот располагает. Доносят ему о работах у турок — лично убеждается, что они предпринимают. Другой бы положился на донесения своих подчиненных; он полагается только на себя и на свой глаз.

XX.

На сегодняшний день была назначена раздача Георгиевских крестов. Больше всех получили саперы, потому что при занятии и укреплении Зеленых Гор они оказали самые важные услуги. Потом следуют артиллеристы скоростной батареи картечиц.

Вслед за тем разыгрался совсем неожиданный эпизод, который произвел на солдат сильное впечатление. Надевая кресты владимирскому полку, Скобелев дошел до унтер-офицера одной из рот, дрогнувших в памятную ночь 28-го октября.

— Извини меня, но я не могу дать тебе Георгия!.. Того ошеломило... Потемнел весь, бедняга.

— Ты, может быть, и заслуживаешь его, пусть тебя ротный командир представил к именному кресту. Но пойми, что я теперь раздаю ордена людям, выбранным самими солдатами. А имеет ли право выбирать твоя рота, которая хотя потом и поправилась, но вначале осквернила себя отступлением? Как ты думаешь, можно позволить трусам присуждать Георгиевские кресты?

— Никак нет... Нельзя, ваше превосходительство...

— Так ты уж извини меня, а креста я тебе не дам!

Потом наступил черед тех рот, которые в ночь 28-го октября бежали, бросив работу на соединительных траншеях.

— Я их не хочу знать, передайте им это. Слышите?

— Слышим, ваше-ство!

— Я не считаю их своими... Я не буду здороваться с ними. Я не хочу замечать их... Они опозорили ваш славный полк, который так доблестно дрался под Ловцем... Помните эту битву?

— Помним! — грянуло со всех сторон.

— Передайте же им... Господин полковник, — обратился Скобелев к полковому командиру, — я вас прошу раз навсегда сообщить офицерам: кто из них в деле будет оставаться позади, тому не место в моей дивизии... Пусть у меня отберут ее, а иначе я не хочу командовать, как таким образом.

Я забегу несколько вперед.

Скобелев после этого действительно не замечал опальных рот. Здороваясь с остальными, мимо этих он проходил молча и не глядя на них. На солдат это действовало.

— Долго ли это продлится?

— Когда мне нужно будет сделать что-нибудь смелое, где потребуются надежные люди, я возьму именно эти роты и убежден, что они пойдут за мною всюду. Ну, потом расцелуемся, и всему конец... Это хорошая наука. После неудач наших я замечаю, что войска, особенно же пополненные резервами, совсем не те, что прежде. Их нужно опять воспитывать...

В защиту этих рот нельзя было привести того обстоятельства, что дело было ночное, в тумане, что резервами пополнены эти роты более других. Все обстоятельства были тут для неуспеха дела.

— Ведь именные Георгии выше голосовых?

— Да!

— Отчего же вы лучшим солдатам даете именно менее важные — голосовые кресты? — спрашиваю я у одного офицера.

— А вот отчего. Голосовой он получит сейчас и счастлив, а к именованному представишь — ранее трех месяцев не утвердят, а к тому времени беднягу двадцать раз убить могут!

Сегодня Скобелев придумал, как обеспечить от неожиданного штурма свой отряд: именно, перед траншеей разбросать телеграфные проволоки. Турецкий телеграф кстати же остался тут, Пусть хоть эту службу со-служит.

— В франко-прусскую войну, — говорит Скобелев, — германские войска делали то же самое, и результаты были удовлетворительные. В самые темные ночи французы, подходя, путались в проволоке, и шум ее предупреждал часовых об опасности.

Через час, когда я проходил по траншее, несколько связок проволоки лежало наготове.

На сегодняшнюю ночь наконец было получено разрешение произвести эспланаду.

Ночь скверная. Сырая, дождливая... Грязь, в грязи люди. На банкетах мокро — на этой мокроте сидим... Сверху брызжет крупными каплями. Бурку хоть выжми... Виноградные сучья в печурках, проделанных в массе бруствера, только дымят, не давая тепла и света. Чад так и стелется — дышать трудно... Часовые ежатся, солдаты привалились один к другому.

Часов в десять вызвали цепь, которая должна будет прикрывать наши работы перед бруствером.

В полном безмолвии темные фигуры поднялись на темную насыпь, в сером тумане ночи на одно мгновение мелькнули над бруствером с прямыми линиями ружей, торчком черневшими в воздухе, и не успели мы еще взглянуться, как гребень был пуст... Минуту за бруствером слышался шорох, крадущийся, подбиравшийся точно к чему-то... Наша траншея погрузилась в мертвую тишину. Приказано было не отвечать туркам. Сегодня вообще не желательно вызывать их. Позади, шагах в двухстах от нашей траншеи, роется и возводится редут. Если начнутся бестолковые залпы неприятеля, в траншею попадет не много, а в работающих позади — все. Я слышу

звуки лопат и шуршание выбрасываемой земли, только подойдя к самому редуту. Роят чрезвычайно тихо, так что послезавтра это укрепление будет не совсем приятным сюрпризом неприятелю, хотя оно и предпринимается с исключительно оборонительной целью. В темноте слышится нервный, недовольный голос Скобелева, он опять не спит всю ночь.

Рабочих для эспланады сосредоточили на том же левом фланге. Им следовало производить работу как можно тише. Так же тихо перевалили через бруствер. Сейчас же за бруствером начались перепутавшиеся между собой кусты виноградника, чрезвычайно затруднявшие движение из траншеи вперед, если бы мы предприняли его. Сверх того, этими кустами мог бы воспользоваться неприятель и подобраться к нам незамеченным. Тихий шорох работы скоро разгорелся. Мы отличали за бруствером и шелест осыпающейся листвы, и треск обламываемых сучьев, и стук лопат в перепутанную корнями землю, и скрип стволов под пересекавшими их ножами. Чем громче становилась работа в унылом молчании этой сырой и холодной ночи, тем тревожнее мы. Санитары были наготове с своими носилками. Тревога сообщалась всей траншее. Солдаты, в начале ночи спавшие, встали и, прислонясь к брустверу, следят за работой. Они сдержаннее нас... Разве только вырвется у кого-нибудь: «И чего они шумят, дьяволы!»

Шум работы, производимой эспланадой, точно все удаляется и удаляется от нас, ближе к туркам... Это еще страшнее. Тише у нас — громче туда, по направлению к этим, вероятно, не спящим уже, таборам.

— Ну, теперь борони, Боже!.. — вздыхает часовой... — Совсем, должно быть, подошли... Чуть ошибка — сейчас будет тамаша!

— Кто это сказал — тамаша? — спрашивает в темноте голос Скобелева. Я не понимаю, как это он ухитряется оказываться везде.

— Я! — оборачивается часовой.

— Верно, из Туркестана?

— Точно так...

— Что же ты без Георгия... оттуда?..

— Два есть!.. — обиженно возражает часовой.

Скобелев не выдержал. Еще минута — и он перелезает через бруствер и присоединяется на той стороне к солдатам, уже подсекающим кусты в ста шагах от нас.

— Слава Богу, сегодня, кажется, все удастся...— слышится опять его нервный голос. Вернулся...

Но, как нарочно, в эту самую минуту у турок, на их правом фланге, соответствующем нашему левому, участились выстрелы. Видимо, уже не один человек стреляет... видимо, тревога растет и расплзается по всей это траншее... Вот залп... Другой...

— Ах скверно...— слышится около.

На нашем бруствере показывается несколько фигур.

— Вы что? — встречает их Скобелев.

— С работы, ваше благородие...— не различают они его.

— Кончили?

— Нет... турки стреляют... нельзя...— говорят порывисто, задыхаясь.— Видимо-невидимо турок...— слышится стереотипная в таких случаях фраза начинающейся паники... Солдаты грузно опускаются в траншею.

— Вам страшно?... Товарищи работают, а вам страшно? — злится Скобелев.— Стройся!

Перевалившись к нам, солдатики строятся.

— Марш опять на работу, да живо, а то, вот вам Бог, пойду и перед турецкой траншеей произведу вам ученье... Вы меня ведь знаете...

Четверо или пять фигур идут опять через бруствер.

— Господа офицеры, следите за тем, чтобы люди делали свое дело как следует...

Немного спустя послышался стук топоров. На звуки их направились выстрелы турок. Еще немного — и на бруствере опять целый ряд черных фигур.

— Ну, что?

— Все кончили отлично...

— Раненых нет?

— Ни одного. Переключку сделали по пути. Эспланату кончили, место очистили... Деревья подрублены.

— Слава Богу. Спасибо вам, братцы! — благодарит их Скобелев.

Солдаты после удавшегося предприятия очень оживлены. Говорят, смеются. Но это только на минуту... Усталь берет свое, и траншея опять погружается в мертвое молчание... Рабочие, как есть, ложатся в грязь, дождик все чаще и крупнее, плотнее заворачиваются в шинели, и без того намокшие... Стрелки, защищавшие рабочих, остались в ложементх за бруствером. Нам еще хуже теперь...

Оказывается, мы как раз вовремя вздумали строить землянки. Еще несколько таких ночей, и в отряде бы появились больные.

Солдаты после работы возвращались назад ползком, так что выстрелы турок все пронесли у них над головами.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I.

Туманное, серое утро 2-го ноября... Кажется, еще холоднее, чем ночь. Все стало сегодня сумрачным. Солдаты варят чай в манерках. Дым стелется по траншее и ест глаза — топят печурки.

Турки за ночь тоже приготовили нам сюрприз. Шагах в ста от нас, в сером тумане, выдвигается грозный профиль неприятельской траншеи. Земляной вал виден довольно хорошо весь, с своими зубчатыми гребнями, с отверстиями для ружей. Вон у них часовой выставился весь. На сером фоне — серая фигура в шинели. Капюшон опущен на голову. Как близко...

Смело они приблизились земляными укреплениями к нашим траншеям. Скобелев волнуется. «Нужно наказать их за дерзость, — говорит он, — да еще, кстати, и обезопасить себя на будущее время от подобных работ с неприятельской стороны. В такой близости от нашей траншеи турки легко могут обстреливать наш отряд продольно. Фронтальный огонь их за бруствером безопасен, амфиладный мог бы вырвать у нас из строя ежедневно пятьдесят — шестьдесят человек».

Задумали опять ночную атаку. Но войска состоят преимущественно из молодых солдат. Ночное дело может их спутать. Генерал нашел средство сделать каждому солдату вполне понятным план атаки и все подробности предприятия.

Всем унтер-офицерам и фельдфебелям той части, которая должна будет идти ночью, приказано собраться на правом фланге близ митральез.

— Садитесь, ребята, вокруг! — приказал он им.

Я первый раз присутствовал при военном совете, составленном из дивизионного командира и — его солдат!.. Судя по непринужденности последних, видно было,

что это повторяется уже не первый раз, что они к этому привыкли. И действительно, мне потом рассказывали, что перед своими предприятиями этот генерал делает то же самое.

Вокруг Скобелева сели фельдфебель и унтер-офицеры суздальского полка. Солдаты расселись потом кучками за ними. Все это вперило взгляды на генерала, все это жадно ловило его слова.

— Вот что, братцы. Ночью сегодня будет дело, и мне надо потолковать с вами, чтобы все вышло толком.

— Мы рады... — слышалось кругом.

— Я не доволен своей дивизией. Совсем она не та, что была прежде... Новых много! Пришли из России... Не бывалые еще!

— Ваше дело, дело старых солдат, — учить их...

— Приобвыкнут, ваше-ство!

— Ну вот, видите. Турки подошли к нашему левому флангу на сто шагов. Видели вы их траншею?

— Видели... Нет, не видели...

— Кто не видел, тому полковой командир покажет. Траншея их может сильно помешать нам, и потому надо их наказать, во-первых, за дерзость, а во-вторых, отвадить их от этого напередки!

— Как не надо... надо! Он нонче оттуда прямо к нам стреляет, ваше-ство...

— Ну вот, видите. Для этого я задумал вот что. Отряд, в котором вы унтер-офицеры будете, ночью сегодня, с барабанами позади, должен пробраться к туркам. Дойти до траншеи как можно тише. За двадцать шагов крикнуть «ура», барабанщики забьют тревогу. Броситься в траншею, переколоть, кто попадется под руку, выгнать оттуда турок. Захватить их ружья. За каждое ружье я даю по три рубля сам, слышите?

— Слышим, ваше-ство!

— Вся сила турок в ружье. Они не солдаты. Отнял у него ружье — вред; убил ты его, а ружье им оставил — они и не почешутся. Сейчас же нового найдут... Как только заметите, что турки переходят в наступление и, идут на вас большими силами, — сейчас же за траншею и залечь за их бруствером с этой стороны. Отнюдь не стрелять — слышите? Когда начальник скамандует — тогда только бить залпами. Наступит их много — отступайте, но толково, медленно, отстреливаясь. Если же долго не будет атаки турок, то траншею их и зарыть

можно... Если увидите, что идет табора два на вас,— подавайтесь назад, но тихо, стройно, отстреливаясь по команде, помните, что залпов, да еще дружных, он страсть не любит!

— Ему залпы за первую неприятность... — отзывается молодой солдат.

— Ну, то-то... Отступая, забрать не только всех раненых, но и убитых тоже, если будут. Помните, что, если вы хотя одного там оставите, лучше мне и на глаза не попадайтесь. И видеть я вас не хочу...

— Зачем оставлять, ваше-ство!

— То-то, христианами будьте... Поняли вы теперь мысль?

— Поняли!

— А ну-ка, ты, повтори, что нужно делать? — обратился он к рыжему громадному унтеру, все время точно в рот вскочить к Скобелеву собиравшемуся. Тот повторил; оказывается, понял толково.

— Ну а ты, что станешь делать, если турки наступать начнут?

И на это последовал удовлетворительный ответ.

— Смотрите же, ребята... Вы должны быть молодцами; докажите, что вы те же молодцы, с которыми я Ловец брал и плевенские редуты!

— Докажем!

— Ну, братцы, может, кто-нибудь что сказать хочет?

— Я, ваше-ство! — выдвинулся молодой унтер-офицер.

— В чем дело?

— Выходить из траншеи через бруствер прямо нельзя. Турецкие секреты близко, они сейчас и заметят... Лучше мы с флангов выйдем и прокрадемся...

— Молодец! Спасибо за совет... — поблагодарил его Скобелев... — Не всегда только так делать можно!

— Ну, теперь, г. полковник, покажите им турецкую траншею и всю местность от нашего бруствера до них. Только осторожно, из амбразур. А унтер-офицеры потом объяснят солдатам!

— Я в первый раз в жизни вижу такой военный совет! — обратился я к Скобелеву.

— Иначе нельзя с толком дело делать. Я и тридцатого августа точно так же, перед взятием турецких редутов, поступил!

Когда мы шли назад, попался фельдфебель.

— Ну, смотри же... Чтобы все у тебя вышло чисто. Выбери надежных. Дрянь с собой не бери!

— Татар позвольте оставить здесь?

Скобелев поморщился. Видимо, это предложение было ему крайне неприятно.

— Да разве ты на них не надеешься?

— Не надеюсь!

— Твое дело, только мне это куда как не нравится!

И действительно — его коробило ужасно...

— Да много их у тебя?

— Человек восемь...

— Ну, оставь их... Экая гадость какая, с первого же раза недоверие показывать; а нельзя — дело рискованное, слишком рискованное...

Сегодня в нашей траншее музыка суздальского полка. Она вместе с полком ходила еще недавно в атаку. Некоторые трубы прострелены — и Скобелев настоял, чтобы они остались такими же; как и пробитые знамена, они не должны меняться на новые...

Совсем темно уже... Мы замечаем, что туман, стоявший несколько дней и ночей и столь желанный для дела нынешней ночи, начинает развеиваться. На небе мелькает несколько робких звезд, месяц прорезывается сквозь серебристый пар.

— Скверно...

— В десять часов нельзя начать... Нужно около двенадцати. Только стемнеет, наверное.

Кашин, полковой командир, суетится больше всех.

Обходят траншею. Солдаты, которые должны идти, уже собраны в трех пунктах. Но еще одиннадцать часов, и очень светло. Туман, как нарочно, рассеялся...

Траншея погружалась в мертвое молчание. В лицах что-то тоскливое, приуныли люди...

И не верю я, чтобы на душе, у кого бы то ни было, не было жутко. Скобелеву жутко, всем жутко. «Нужно» — потому и идут.

— Ну, ребята, пора... Смотрите же — молодцами... — слышится шепот Скобелева. — Теперь я посмотрю, как выходит лучше, через бруствер. Все или с флангов?

И Скобелев перебирается через бруствер. Все тихо у турок, только обычные рассеянные выстрелы... Скобелев прошел через всю линию и вошел в траншею с левого фланга ее.

— Нет, через бруствер лучше. Ну, с Богом!..

Двадцать пять человек авангарда перебираются туда. Часть отряда переходит бруствер в другом месте, остальные справа присоединяются к ним.

— Смотрите же, — дает последнее приказание Скобелев. — За бруствером выстроиться, идти в одну линию, так, чтобы локоть к локтю был, чтобы солдат чувствовал своего товарища! (Как военный психолог, он понимает все ободряющее значение этого приема.)

Тихо все там, за бруствером. Притаились они, что ли? Становимся на банкет, вперьяем взгляды в даль... нет, вот они — движутся вперед смутной линией... Минуты, мгновения или часы проходят?.. Вся душа перешла в глаза и в ухо... Только видишь и слышишь, чувствуя, что внутри все замерло.

— Урра! — неистово гремит в торжественном молчании ночи, подхватываемое зловещим рокотом барабанов и моментально вспыхивающими там же ружейными залпами, выстрелами...

— Урра! — И тут же обрывком, диссонансом, доносится чей-то отчаянный стон.

Как и во всяком бою, часть отряда поддалась панике, отстала и назад лезет на бруствер с стонами и восклицаниями: «Батюшки, убили, голубчики, смерть!»

— Кого убили?

— Всех убили, всех; мы только вышли...

Другие просто молча пробираются назад и прячутся в траншею.

— Назад! — кричат им.

Но стоны делаются еще громче. Паника, как круг на воде, разливается по траншее. Солдаты соскакивают с банкета и кучатся внизу... В это же время более мужественные действительно дерутся и умирают там, впереди.

Судя по этим вернувшимся людям, нам в первую очередь кажется, что дело не удалось. Сейчас нужно ожидать атаку неприятеля.

— На бруствер, молодцы! — бодро звучит команда Скобелева. — Встретим их, как следует русским. На бруствер, ребята! Ружья на прицел, стрелять по команде. Дула ниже!

Несколько выстрелов слышится из нашей траншеи, выстрелов без команды, со страху, панических.

— Кто там стреляет? В своих попадете. Наши там!

— Братцы, что же вы в своих-то? — слышится отчаянный крик за бруствером. Смятение в траншее на

левом фланге сильнее. На правом люди стоят молодцами.

Минуты проходят, как мгновения. Хрипло раздается команда. По всей неприятельской линии залпы. Несколько гранат уже разорвались позади нас. Вот шрапнель яркой звездой вспыхивает над нами.

— Ах, это уже не те! — вздыхает Скобелев...

— Напрасно, — останавливает его Куропаткин. — Правый фланг и центр траншеи в полном порядке...

Через бруствер лезет целая кучка.

— Куда вы? Трусы... — насакивают на них.

— Да мы раненого несем! — сурово, злобно звучит в ответ.

Действительно, в суматохе слышны болезненные жалобы и в душу проникающие стоны.

Раненого сносят вниз, но в это время по траншее, для подкрепления левого фланга, идет рота. Ей навстречу беспорядочная кучка только что вернувшихся, объятых паническим страхом солдат, слепо, без толку пробирающихся на правый фланг. Раненый ускользает из рук носильщиков и падает на землю. Масса проходит во тьме через него. На нем суетятся, топчут его. Из-под ног всей этой массы слышатся болезненные стоны, отчаянный вопль, мольбы... Но кому какое дело! Всяк рвется скорее добраться до места.

— Господи, Господи... — замирает внизу все тише и тише голос; под конец он только хрипит, видно, сил нет кричать от боли...

А испуганная толпа, как река, несется через несчастного.

— Да есть ли в вас душа, дьяволы! — орет кто-то. Люди приходят в себя.

Паники этой на левом фланге было несколько минут, но они выросли в целые часы... Так живо отпечатались в душе каждая подробность этого ужасного эпизода... Прошли эти минуты — и порядок водворился всюду...

Только теперь вернулись назад те, кто действительно побывал в неприятельской траншее и сделал свое дело. Кашин — какой-то растерянный, без шапки.

Вот как все было.

Наступающие две роты за сорок шагов дошли до траншеи незамеченными. Тут часовые дали по ним два залпа. Они крикнули «ура» и смело бросились на бруствер. Турки разбежались направо и налево, точно отхлынули от нашей атаки. Солдаты, вскочив в траншею,

перекололи в ней оставшихся и, согласно программе захватив ружья, перешли опять через бруствер и за-
легли за ним. В это время один из командиров рот
(в деле было две), Цытович, падает и опять поднимается.
Пуля прошла ему в ногу. Он под влиянием жгучей боли
теряет сознание и инстинктивно идет назад. Его дого-
няет фельдфебель.

— Ваше благородие! Вернитесь, за вами вся рота
хлынула. Отступают!

Цытович ничего не слышит...

Другая рота лежит и выжидает неприятеля. Только
что он двинулся — встретила его залпом. Но таборы
турок растут и растут. Точно туча выплывает из-за
горизонта... Приходится отступать и этой роте. Все про-
странство между нашей траншеей и турецкой покрывает-
ся возвращающимися назад солдатами. Раненых большей
частью поднимают. Двух убитых несут. Неприятель захва-
тывает опять свою траншею — торжествующее «алла»
его разносится по окрестностям. Залпы оттуда... Оказы-
вается раненым и второй ротный командир. Солдаты
отступают медленно, отстреливаясь, чтобы удержать не-
приятеля от атаки с его стороны, — это удастся пока...

— Все ли раненые здесь?

— Двое, кажется, там остались!

Санитаров посылают за ними. Те покорно переле-
зают за бруствер. Раненых собирают...

Вернувшихся из огня солдат, натерпевшихся страху,
отсылают в соединительные траншеи. Турки, наверное,
перейдут в наступление, и очень энергическое, а раз
уже побывавшие в огне и отступившие войска только
распространяют панику между защитниками траншеи.

— Ну, что? — набрасываются на Кашина, когда он по-
казывается в траншее.

— А вот! — И он к самому носу вопрошающего
поднес рукав своего мундира — простреленный.

— А рука сама цела?

— Рука цела... Ах подлецы!

— Да кто подлецы?

— Нет, где моя шапка? — хватается он за голову.

— Напрасно вы думаете, что дело не удалось! —
слышится в стороне чей-то хладнокровный голос. —
Солдаты исполнили все, что им было приказано. —
Ворвались в траншею, перекололи, кого застали там,
взяли несколько турецких ружей и вернулись назад.

Ведь в этом и была суть сегодняшнего предприятия!
— Я боюсь за левый фланг и иду туда! — слышится голос Скобелева.

Куропаткин принимает на себя правый, в центре распоряжается Мельницкий. Траншея — уже в порядке. Солдаты оправились — ждут. Мы в одном ошиблись. Хотели наказать турок — и вызвали их решительную атаку... Видимо, они готовятся броситься на нас с превосходными силами. Таким образом, мы сегодня наказываем их своими боками, и если они одолеют, то поплатимся вновь приобретенными позициями... Сейчас должен решиться вопрос — кому будет принадлежать первый кряж Зеленых Гор.

Густой огонь турецких выстрелов все ближе и ближе.

Турки идут на нас в атаку со всех сторон.

Силы их громадны...

Стройных, красивых атак я не видал. Все это делается в величайшей суматохе. Кучка решительных людей идет вперед, остальные мечутся, снуют, бегут назад, поселяя в резервных частях панику. В безобразном хаосе все делается как бы стихийно, само собой. Иногда сами атакующие думают, что дело потеряно, когда оно выиграно. Часто в траншеях позади громко бранят наступающие роты, судя по рассказам бежавших назад трусов, а между тем в конце концов предприятие оказывается исполненным хорошо. Так точно и в ночь на 3-е ноября. Где же тут изображения наших баталистов с стройными рядами солдат, красиво рвущихся вперед за картинно развевающимися знаменами?

Не успели наши солдаты вскочить на бруствер, как на правом фланге — в сорока шагах, на левом — в шестидесяти — открылась линия неприятельского огня. С неистовыми криками, в количестве, самое меньшее, двенадцати таборов, турки ломились на нас. Ломились беспорядочною массою, осыпая нас тысячами пуль, точно рой пчел, жужжавших над головами. Огонь был таков, что освещал не только дула, но и лица и линии неприятельской атаки. Одновременно с этим показали себя и кришинские пушки. С пронзительным стоном пролетали гранаты и рвались далеко позади, там же лопались в высоте и шрапнели, вспыхивая красными огнями над погруженными в мрак лощинами... Только одна граната лопнула против нашей батареи, между нею

и бруствером, выхватив из траншеи шесть жизней... Признаюсь, в тот самый момент, когда я ждал беспорядочной защиты, суматохи, судя по недавней нашей атаке, солдаты в траншее поразили меня изумительной правильностью действий. Что значит разница между нападением и обороной! Те же самые, которые бежали тогда назад в паническом страхе, теперь хладнокровно стояли на банкетах бруствера, выдерживая на себе неприятеля.

— Ребята, не стрелять без команды... Возьмите ниже... — слышались позади приказания офицеров.

Неприятель близится. Мертвое молчание нашей траншеи точно не наводит ужаса на таборы. Сам Осман-паша здесь. Слышатся приветственные клики низама и ободряющее властное слово. Огонь турецких выстрелов выдает эти таборы, освещая даже массу атакующих. Они вот-вот здесь, у самой траншеи. И жутко стоять тут лицом к лицу, но ноги точно приросли, не хочется сойти назад за бруствер.

— Рота — пли!.. — так и село у меня в ушах. Оглушающий треск залпа...

— Рота — пли! — слышится правее, и такой же грохот там.

Команда точно удаляется от нас к флангам.

— Заряжай, ребята, скорее!

В сером пороховом дыму я вижу нервно, порывисто работающих солдат. В течение шести минут оттуда, где стою я, уже четыре залпа пустили прямо в лицо турецкой атаке — вдруг новые команды, но в ответ слышатся рассеянные, одиночные выстрелы.

— Это что?

— Да экстракторы не действуют! — жалуется один из солдат.

Ружья Крнка показали себя. После четвертого выстрела щелкает, щелкает солдат экстрактором — патрон все сидит себе в дуле. Нужно выбивать его шомполом. И теряется, в самую горячую кипень, масса дорогого времени.

Атака на правом фланге подошла к нам на двадцать шагов. Но тут же не роте, а целому батальону скомандовал сам Скобелев:

— Батальон — пли!

И тысяча выстрелов слилась в один оглушительный хаос; тысяча пуль из хорошо положенных ружей

вырвала десятки и сотни жизней в неприятельских таборах. Момент молчания, затем только стук экстракторов... Громкие стоны и вопли впереди, во тьме перед траншеей, и точно вся местность всколыхнулась там... Топот, крики, удаляющийся шум людской массы. Атака отбита... Но ненадолго... Не прошло еще и пяти минут, как мы слышим опять впереди движение лавины шагах в ста, оставливающееся перед нами.

— Их строят для нового наступления. Я боюсь одного, чтобы они не прорвали где-нибудь траншею. Положение серьезно, может быть, придется лично защищаться каждому. Советую вынуть револьверы! — говорит нам Скобелев шепотом.

Мы это и делаем. Нервное волнение растет, с лихорадочным нетерпением стараемся рассмотреть, что такое впереди, за черною линией бруствера. Унылые рожки турок запели свои сигналы, и во тьме вспыхнула опять густая полоса ружейного огня... Полоса эта все ближе и ближе... Но она движется гораздо скорее, чем в первый раз, видно, что турки хотят взять стремительностью натиска. У нас с глухими стопами падают люди в глубь траншеи с брустверов... Раненых окажется много. Прямо навстречу мне идет кто-то, шатаясь как пьяный... Уже лицом к лицу различаю я солдата, схватившегося рукою за грудь. Точно он хочет удержать в ней что-то... А сквозь прижатые к груди пальцы струится нечто, кажущееся ночью черным... Он даже не стонет...

Скобелев проходит мимо... Залпы наши идут стройно... Атака турецкая и на этот раз отбита. Я отправляюсь за генералом.

— Сегодня они, очевидно, задались целью выбить нас... Они еще никогда не нападали так настойчиво... Сейчас, верно, начнется третья атака... Ай!.. — схватывается генерал за бок. Я услышал перед этим только звук, точно что-то шлепнуло около.

— Что такое, что с вами?.. — заговорили все.

— Тише... Меня сильно задело... — Скобелев прижимает ладонь к боку. Мельницкий подхватывает его.

— Оставьте... Разве можно?.. Солдаты видят... — шепотом говорит он. — Здорово, молодцы! — особенно громко приветствует он солдат. — Поздравляю вас, славно отбили атаку!

— Рады стараться! — слышится с бруствера.

— Смотрите же, честно стоять!.. Послужите, братцы, России! И еще бросятся — и еще отобьем. Ведь турки сволочь, ребята?

— Точно так, ваше-ство!

— Ну, то-то же... Чего их бояться...

— Вы ранены? — подбегает Гринквист...

— Ваше превосходительство!.. На свое место!.. Что бы ни случилось, ребята, дружно стоять, держись один за другого... Помните — умереть на местах и не отдать траншеи... Вся Россия смотрит теперь на нас...

— Ура! — вспыхивает около Скобелева и гулками перекатами разносится по флангам.

— Ах как больно, однако! — шепчет Скобелев под этот крик.

— Идите в землянку скорей!

— Нет. Весть, что я ранен, распространится по всей траншее. Нужно идти на левый фланг. — И он отправляется туда ободрять солдат: «Сохраним это место для наших братьев... Мы его кровью добыли. Не дешево оно нам стоит...» Минута была действительно торжественная. В эту ночь, будь турки посмелей и понастойчивей, они могли бы броситься в самую траншею, и нам каждому пришлось бы самому защищаться и защищать себя лично. Разумеется, мы бы опять отняли траншею. Но чего бы это нам стоило?

— Не отдадим, ваше-ство! — слышится отклик.

Траншея была пройдена, мы все наконец вошли в землянку. При огне лицо Скобелева казалось слегка побледневшим. Снимают полушубок, Скобелев раздевается и...

— Да где же она?..

— Что такое?.. Кто она?

— Раны нет! — радостным голосом замечает Куропаткин.

— Как нет? — Кровь кидается в лицо Скобелеву.

— Так... Поздравляю с контузией! — громко вскрикивает кто-то.

Тут только Скобелев опускается на кровать.

— Но как больно было, как далеко отдалась, а я думал, что она оцарапала глубоко. Скорее одеваться. Болит, да делать нечего, нужно идти.

Мы осматриваем полушубок: оказывается, что пуля ударила в правый бок, там, где клапан застежки, отодрала его и, пробив полушубок, сильно ушибла тело.

Контужен был Скобелев внутри траншеи, где обыкновенно спят, где пребывание считалось самым безопасным.

— Здорово, молодцы! Спасибо за службу! — через несколько мгновений уже звучал опять в траншее голос Скобелева под гвалт и треск новой атаки турок. Она теперь гораздо неистовее, чем в первые два раза, и направлена главным образом на фланги. Скобелев, Мельницкий и Куропаткин берут подкрепления и кидаются туда усилить их. Неопытные ротные командиры делают ошибку, торопясь стрелять, — от этого опять много возни с экстракцией ружей Крнка и огонь не так густ. В эту минуту я наблюдаю в первый раз залп у турок. До сих пор они стреляли сплошным огнем, часто, но не залпами. Впрочем, этот был из очень неудачных и больше не повторялся... Фитильные гранаты из гладкоствольных турецких орудий, как ракеты, взвиваются над нами, оставляя огнистый след в высоте... Турки переняли наше «ура» и выкрикивают его на своем правом фланге.

Еще несколько минут — и атака отбита. Неприятель уходит, чтобы не возобновлять ее сегодня, но из своих траншей бьет нас ружейным огнем. Все с томлением ждут утра. Всех мучит одна мысль — о потерях этой ночи. Хорошо, если вышло человек двести... Только что рассвело, произвели поверку, и оказалось, что эта ночь стоила нам ста тридцати человек убитыми и ранеными.

Еще одни сутки я провел здесь — и на следующую ночь Скобелев был вновь контужен в плечо. Эта контузия в первый момент сшибла его с ног...

Зеленогорская траншея уже теряет для меня, как для корреспондента, интерес. Дело в том, что окончательно решена блокада, и штурмовать мы ничего не будем. Все жертвы, принесенные здесь, оказались напрасными...

8-го ноября я уехал в Бухарест — отдохнуть дня три-четыре.

II.

Скобелев обладал редкою справедливостью по отношению к своим подчиненным. Он никогда не приписывал себе успеха того или другого дела, никогда не упускал случая выдвинуть на первый план своих ближайших сотрудников. Всякий раз, когда его благодарили, он и в

частном разговоре, и при официальных торжествах заявлял прямо:

— Я тут ни при чем... Все дело сделано таким-то...

Несколько раз он при подобных случаях прямо указывал на Куропаткина как на виновника данного успеха, и в самых сердечных выражениях, так что никому не приходило в голову, что это только скромность победителя...

— Я вам, братцы, обязан! Это вы все сделали...

— Мне за вас дали мои кресты! — говорил он солдатам, и не только для того, чтобы воодушевить их...

Он действительно верил в громадное значение солдата.

— Генерал может только подготовить отряд, дать ему боевое воспитание, затем выбрать позицию и пометить первые моменты боя... Потом вся его роль — в массивировании войск, в сохранении резерва наготове. В каждом сражении ставят момент — стихийный. Тут уж никто ни при чем. Можно подавать пример личным мужеством, находчивостью — но это и каждый офицер тогда может и должен!.. Действует масса — она идет, она как-то бессознательно выбирает направление, она крушит неприятеля, она выигрывает победу... И зачастую генерал здесь уже ни при чем.

Все время после занятия Зеленых Гор, вплоть до падения Плевно, Скобелев дружится и, как говорят, на короткую ногу сходится со своими солдатами. Да и не со своими, с чужими также. В этом не было заигрывания популярности, нет. Его органическая потребность тянула его к солдату, он хотел изучить его до самых последних изгибов его преданного сердца. Он не ограничивался биваками и траншеями. Сколько раз видели Скобелева, следующего пешком с партиями резервных солдат, идущих на пополнение таявших под Плевно полков. Бывало, едет он верхом... Слякоть внизу — снегом сверху... Холодно... Небо в тучах... Впереди в белом мареве показываются серые фигурки солдат, совсем оловянных от голодовки, дурной погоды и усталости.

— Здравствуйте, кормильцы!.. Ну-ка, казак, возьми коня!

Скобелев сходит с седла и присоединяется к «хребтам». Начинается беседа. Солдаты сначала мнутя и стесняются, потом генералу удается их рассмешить, расшевелить, и, беседуя совершенно сердечно, они добиваются до позиций. В конце концов каждый солдат,

попадая в свой батальон, несет вместе с тем и весть о доступности Белого генерала, о любви его к этой серой, невидной, но упорной силе. Войска, таким образом, еще не зная Скобелева, уже начинают платить ему за любовь любовью...

Или, бывало, едет он — навстречу партия «молодых солдат», по-прежнему — новобранцев.

— Здравствуйте, ребята!

— Здравия желаем, ваше-ство...

— Эко, молодцы какие!.. Совсем орлы... Только что из России?..

— Точно так, ваше-ство!

— Жаль, что не ко мне вы!.. Тебя как зовут? — останавливается он перед каким-нибудь курносым парнем.

Тот отвечает.

— В первом деле, верно, Георгия получишь?.. А? Получишь Георгия?

— Получу, ваше-ство!..

— Ну, вот... Видимое дело, молодец... Хочешь ко мне?

— Хочу!..

— Запишите его фамилию... Я его к себе в отряд возьму...

И длится беседа... С каждым переговорит он, каждому скажет что-нибудь искреннее, приятное...

— Со Скобелевым и умирать весело! — говорили солдаты.— Он всякую нужду твою видит и знает...

И действительно, видел и знал. От интендантов он отделялся всеми мерами. Просто не пускал их к себе иной раз. Ротные и батальонные командиры были озабочены продовольствием своих солдат.

— Они наживаться ведь могут! — заметил ему как-то сторонник интендантского режима в армии.

— Кто — командиры? Да мне до этого дела нет!

— Как это дела нет?

— Разумеется, нет. Если солдат получает у меня хлеба и мяса вволю, чай и водку, если на моих офицеров нет жалоб ниоткуда, если население ими довольно — что же мне за дело до остального...

И действительно, его солдат кормили как нигде. Меньше всего болела его дивизия; и после Балканского перехода, и двухдневного боя под Шейновым, среди истомленных, бледных и голодных других отрядов скобелевский предстал перед главнокомандующим в таком виде, что Великий князь изумился и воскликнул:

— Это что за краснорожие?.. Видимо, сытые совсем... Слава Богу, хоть один на мертвецов не похожи!

Зато же и солдаты понимали и ценили эту заботу.

Если кто-нибудь из чужих геиералов спрашивал их:

— Вы какой дивизии?..

Или:

— Какие вы?..

Они не называли ни дивизии, ни полка, ни роты. На все был один ответ:

— Мы — скобелевские, ваше-ство!..

И в этих иемногих словах звучала гордость, слышалась созиание своих заслуг, своего привилегированного, добытого кровью положения...

Скобелевец-солдат, как солдаты четырнадцатой дивизии на Шипке, — были совершенно отдельными типами армии. Эти и ходили козырями, и говорили молодцами, не стесняясь, и вообще ни при каких обстоятельствах не роняли своего достоинства... «Это что за петухи такие?», «Ну и ферты!» — вырывались восклицания у тех, кто еще не был знаком с ними. К солдатам других отрядов, даже к гвардии, они относились с некоторым превосходством... Они и одеты были чище, и больше следили за собой... Нравственность их не оставляла желать лучшего. Когда был занят Адрианополь в течение первой недели исключительно 16-й дивизией, ни в городе, ни в окрестностях не случилось ни одной кражи, ни одного грабежа. Уже потом, когда на смену пришли другие войска, началось другое хозяйничание... С пленными скобелевцы обращались тоже гораздо лучше, чем другие... Те ели с ними из одного котла.

— Такие же солдаты, как и мы, только в несчастии, значит... Ему ласка нужна.

Раз я сам слышал эти сердечные выражения их сочувствия в участи бедняков-аскеров.

— Бей врага без милости, пока он оружие в руках держит, — внушал им Скобелев. — Но как только сдался он, амиину запросил, пленным стал — друг он и брат тебе. Сам не доешь — ему дай. Ему нужнее... И заботься о нем, как о самом себе!..

И заботливость эта сказалаь после шейниовского боя, когда пленные были распределены поротию и ели у солдатских котлов вместе с нашими... Я помюю в этом отношении один весьма курьезный разительный пример.

Когда на Шейновском кургане был уже поднят белый флаг, Скобелев поскакал по направлению к круглому реду. Навстречу — партия пленных. Один из сопровождавших ее солдат ударил турецкого аскера прикладом. Боже мой! Как разом освирепел Скобелев...

— Это что за нравы? Г. офицер...

Конвоирующий офицер подошел к Скобелеву.

— Я отниму у вас саблю вашу... Вы позор русской армии... За чем вы смотрите?.. Стыд!.. У вас солдаты бьют пленных... Это черт знает что такое...

Офицер что-то забормотал в свое оправдание.

— Молчать! — И он дал шпоры своему коню. Я думал, что он растопчет офицера.

— Еще оправдываться!.. Бывают случаи, когда в плен нельзя брать; когда силы равны, малы или пленные могут быть опасны, тогда пленных по печальной необходимости расстреливают... Слышите? Но не бьют. Бить пленных может только мерзавец и негодяй. Офицер, спокойно глядящий на такую подлость, — не должен быть терпим... Палачи!.. Фамилия ваша?

Тот пробормотал ее.

— Не советую вам никогда попадать в мой отряд... А ты, как ты мог ударить пленного? — наскочил он на солдата. — Ты делал ему честь, дрался с ним одним оружием, он такой же солдат, как и ты, и только потому, что судьба против него, потому, что сила на твоей стороне, ты бьешь безоружного!..

После уже я говорю ему:

— Как согласить это противоречие? Вы сами говорите, что врага добить надо!

— Да, врага вооруженного, врага, который может еще вредить. Врага слабого, разбитого, беззащитного нельзя тронуть. Пленный — раз вы его взяли в плен, а не убили — святой человек... Об нем надо заботиться так же, как и о своих...

И действительно, пленные всегда были накормлены и укрыты от непогоды у Скобелева.

Только не под Плевной.

Там сразу на наших руках оказалось 40 000 пленных, и при таких обстоятельствах, когда продовольствие даже своей армии внушало серьезные опасения... Для пленных приготовлено ничего не было. Главнокомандующий поручил их отцу Скобелева, и между ним и сыном были постоянные препирательства из-за этого.

Скобелев-сын, назначенный военным губернатором Плевны, постоянно добивался у отца:

— Ну, чем, ваше превосходительство, вы сегодня накормите турок?

— А тебе что за дело?

— Одного барашка на 40 тысяч человек прислали?

— Ну уж, пожалуйста! К тебе не обратимся!

— Да мне и дать вам нечего... Я тебе, отец, знаешь, что посоветую в интересах военной дисциплины и нравственного воспитания вверенных тебе турок?

— Что?

— А ты им брось барана, они с голоду на него накинутся, ты за беспорядок барана назад... Таким образом, и бараны будут целы, и туркам жаловаться не на что — сами виноваты...

И с трудом удерживаясь от бешенства на нераспорядительность главной квартиры, запирался у себя. Впрочем, сейчас же выходил посылать за «своими» и вел совет, как накормить всю эту голодную массу. Пока он был здесь — не умирали. Не то случилось, когда пленных «погнали» через Румынию. Тогда они в массах узнали, несчастные, что значит голодная смерть.

Он тогда же предложил поместить пленных в их редуты, где бы в землянках они могли быть укрыты от снега и холода, но это почему-то не было принято.

На его позицию не раз являлись турки-перебежчики, и этих кормили, прежде чем отправить дальше.

Когда четвертый акт плевенской трагедии окончился и Плевна пала, румыны бросились в город и начали грабить кого ни попало. Тотчас по назначению Скобелева военным губернатором он позвал румынских офицеров.

— Господа! Я должен вас предупредить, чтобы не ссориться больше с вами... Ваши солдаты грабят город!

— Мы победители, а победители имеют право на имущество побежденных...

— Ну, во-первых, вы с мирными жителями не воевали, следовательно, и не побеждали их, а во-вторых, подите и предупредите своих, что я таких победителей буду расстреливать... Всякий, пойманный на мародерстве, будет убит как собака. Так и помните... Пойдите... Ваши обижают женщин — представляю вам судить, насколько это гнусно... Знайте — ни одна жалоба не останется без последствий, ни одно насилие — не будет безнаказанным.

Турки его прозвали справедливым.

— Для него нет различий... Что свои, что чужие... Если мирные, он не даст в обиду...— говорили они об ак-паше.— Одно только, зачем он болгарским дружинам приказал конвоировать пленных?

Когда Скобелеву передали это, он очень ясно объяснил свой взгляд на дело.

Болгары до сих пор были рабами. Нужно, чтобы они поняли, что теперь они граждане и воины. Я приказываю именно им сопровождать прежних своих господ в плен не для того, чтобы последним дать почувствовать всю тяжесть его, а чтобы первые выросли до сознания своей независимости и равноправности с ними!

В Плевне мы нашли массы турецких раненых и больных... Частью они уже умирали, частью уже умерли, частью подавали надежды на выздоровление. Болгары забили окна и двери этих госпиталей, да и сам Осман, пока был еще в городе, не обращал на них особенного внимания.

— Когда нужно драться, лечить некогда,— говорил он.— Раненые и больные — лишняя тягость. Султану и Турции они не нужны. Лучше, если скорее умрут... И без них дела много!

Скобелев относился иначе. Он сейчас же принялся за устройство гигиенических пунктов и командировал целую тучу врачей и санитаров, занявшихся турками. После его посещения мечети, где были сложены раненые турки, они говорили:

— У вас лучше, чем у нас, теперь мы видим это!

— Почему?

— Ваш ак-паша и турок посещает, врагов своих, а наш Осман никогда не видел нас!

III.

В день боя под Плевно, последнего, закончившего эту страшную эпопею плевенского сидения, Скобелеву было приказано принять в командование гвардейскую бригаду. По первоначальной диспозиции она должна была составить резерв. Когда полковник Куропаткин доставил Михаилу Дмитриевичу приказание Ганецкого — вести ее за середину расположения гренадерского корпуса, вместе с 16-ю пехотной дивизией — и они уже двинулись,

тогда на месте боя залпы замерли, тишина сменила недавний грохот сражения, и только опанецкие орудия изредка еще посылали гранаты за р. Вид... Скобелеву дали знать, что турецкая армия сдается. Гвардейская бригада и 16-я дивизия остановились.

Это потом поставили в упрек Скобелеву.

Командующий этою бригадой написал даже рапорт на Скобелева, обвиняя его в том, что он не хотел дать возможность отличиться его войскам, не ввел их в бой сейчас же, желая будто бы выделить свою 17-ю дивизию.

Уже по пути на Балканы я спросил об этом у Скобелева.

— Да, во-первых, и 16-я дивизия не принимала никакого участия в деле... — возразил Скобелев. — А во-вторых, я почитаю за величайший военный талант того, кто возможно меньше жертвует людьми. Достигать больших результатов с возможно меньшими потерями — вот моя задача, как я ее понимаю... Не так ли?..

— Я сам думаю, что солдаты гвардейской бригады далеко не разделяли воинственных претензий командира.

— Еще бы... Сверх того, знаете, удайся Осману прорваться — все ведь нужно было предвидеть, — важнее всего было бы, что? Иметь под руками свежие войска. Что тут рассказывать, вот вам пример: при Маренго Мелас везде прорвал линию французов. Австрийцы считали уже сражение выигранным; поручив победоносно шествующую вперед армию и преследование французов Цаху, генерал Мелас сам уехал в Александрию писать реляцию о полном поражении французов... Наполеон тоже считал дело проигранным, но соперник его по военным талантам, Дезе, остановил первого консула. «Одно сражение мы проиграли — начнем сейчас же другое!» У Дезе оставалась не тронутою и не потерпевшей одна дивизия в 9000 человек... Останови он в тот же момент австрийцев — они бы его разом смяли... Но ведь никакой победоносный марш не выдерживает расстояний. Через несколько верст австрийцы запыхались... Дезе отступил и занял Маренго. Австрийцы наконец из развернутого строя свернулись в походные колонны, и, когда поравнялись с Маренго, Дезе бросился на них с консульской гвардией и разбросал победоносных австрийцев, так что реляцию о поражении врага нужно было писать уже Наполеону!

— Что ж из этого?

— А то, что в сражениях такого рода всегда надо иметь под руками свежие и сосредоточенные резервы, которые и решат, в случае чего, победу. Если бы я ввел, т. е. если бы я имел время ввести, в боевую линию свою дивизию и гвардейскую бригаду, у нас резервов бы уже не было вовсе!.. А впрочем, если бы я получил приказание как следует, я бы его исполнил... В таких случаях не дело подчиненного рассуждать...

Хотя, разумеется, есть таланты, которые не могут быть подчиненными... Слишком рано они обнаруживают орлиный взгляд и насквозь видят промахи своих начальников... Как при этих условиях беспрекословно исполнять их приказания?..

При первой встрече с Османом-пашою в Плевне Скобелев обратился к нему с искренним приветствием:

— Я рад видеть доблестного турецкого генерала, отваге и талантам которого так завидовал во время осады...

Осман тоже не остался в долгу:

— Русский генерал еще молод, но слава его уже велика... Скоро он будет фельдмаршалом своей армии и докажет, что другие могут ему завидовать, а не он другим...

В Плевне Скобелев занимал небольшой дом... В первые же дни Государь Александр II выразил желание по пути на смотр гренадерского корпуса позавтракать у Михаила Дмитриевича. Он приехал к нему в полдень. Самого генерала к завтраку не пригласили, он, как хозяин, только распоряжался им... издали! Скобелев было принял это за немилость, как вдруг к нему обращается покойный Император:

— Покажите-ко мне дом! Вы, господа, оставайтесь!

Скобелев повел его в другие комнаты; там Государь вдруг остановился, порывисто обнял и поцеловал его наедине.

— Спасибо тебе, Скобелев!.. За все... за всю твою службу — спасибо. И он еще раз поцеловал его.

В Плевне Скобелеву не пришлось отдохнуть совсем. Готовился переход через Балканы, ему доставалась в этом блистательном деле прошлой войны одна из главных ролей. Он писал в главную квартиру, делал заготовки, пополнял вооружение и снабжение своего отряда целую массу необходимых вещей. В то же время ему приходилось заботиться о порядке в только что занятом

городе, водворять на жительство возвращавшихся туда турок, мирить их с местным населением... В последнем случае он, впрочем, не церемонился. Тех, кто обижал возвращавшихся туда турок, — подвергали строжайшей ответственности...

— Это, ребята, помните, — говорил он солдатам. — Это уже не враги... Это друзья... Пока это такие же подданные Государя, как и вы... И обязаны вы поэтому защищать их как своих родных... А кто их обидит — так будет иметь дело со мною. Чего я не советую вам...

Отдыхал он только за обедом, и тогда к столу его собиралась самая разношерстная публика. Тут были и генеральские погоны с вензелями, и полушубки случайно толкавшихся в Плевно армейских офицеров. Бархатный воротник генерального штаба рядом с оборванным кафтаном вольноопределяющегося солдата, черные куртки корреспондентов — с бараньими куртками какого-нибудь болгарина, тоже приглашенного сюда. Но не одно это отличало общество, собиравшееся у Скобелева. Здесь всюду чувствовался дух боевого товарищества — различий не было, не было и исключительных вниманий... Шум стоял в столовой, говорил и возражал, кто хотел. Полуграмотный казацкий хорунжий чувствовал себя дома, как дома чувствовал себя наезжавший сюда образованнейший из прусских военных Лигниц.

— У тебя кухмистерская какая-то! — шутил старик Скобелев, попадая в эту разношерстную толпу.

Сам Скобелев, с каждого своего объезда Плевны, возвращался к себе с целой толпой гостей. Случайно встреченный офицер, ординарец, молниеносный марс полевого казначейства — все это «привлекалось к законной ответственности», т. е. к обеду.

— У меня всем за столом есть место! — говорил он, и гости, потеснясь немного, пропускали вновь приехавших.

Ввиду такого широкого гостеприимства не последним лицом был Жозеф, тип всесветного авантюриста, несколько месяцев назад тому на осле приехавшего к Скобелеву и через месяц на осле же уехавшего от него. Это был полуфранцуз-полунтальянец, уроженец Каира, воспитывавшийся в Бруссе, бывший поваром в Тунисе, открывший потом кафе в Варне. Не заплатив своим кредиторам в Варне, он бежал в Индию — там занимался какими-то темными промыслами и в конце кон-

цов попал в Румынию, откуда явился поваром к Скобелеву. Это был какой-то шут гороховый, потешавший всех, от генерала до денщика... Когда Скобелев был в зеленогорской траншее, этот Ватель ни разу не решился посетить его, отсылая свой обед с казаками. Когда турки довольно старательно начали обстреливать Брестовец, Жозеф совсем потерял голову. Желая пошутить над ним, Скобелев потребовал личного его появления в траншее.

— Скажите генералу, что если он прикажет мне самому пойти в это глупое место, то я возьму свой чемодан и осла и скажу «адье»!

Немного погодя он прислал другое заявление.

«*Mon général!*.. Мне надоели и турецкие пули, и русские солдаты, которые даже и под гранатами спят, «*comme les ours*». Это не входило в наши условия, почему я и прошу ваше превосходительство принять меры, чтобы турки отнюдь не обстреливали моей кухни, ибо я человек свободный и умирать вовсе не желаю...»

В следующий раз, когда Скобелев приехал в Брестовец сам, — к нему явился мосье Жозеф.

— Ну, мосье Жозеф, что вам угодно?

— Я пришел узнать, *mon général*, вошли ли вы в сношение с турками, чтобы они не стреляли в мою кухню?..

— Входил... Но Осман-паша сказал, чтобы я лично послал вас к нему для объяснений... Будьте готовы. Завтра утром вам завяжут глаза и...

— Я не согласен... Я не могу быть парламентаром, я не хочу, наконец!

— Завяжут глаза и отведут в Плевно...

— Я буду протестовать... Я обращусь ко всей Европе...

Кругом расхохотались. Жозеф понял, что над ним смеются.

— Вы трус, мосье Жозеф!

— Быть храбрым я не обязывался по условию...

Когда Плевно пало, мосье Жозеф опять подал повод к бесконечным насмешкам на свой счет. Как-то является он к Скобелеву.

— Что вам?..

— Я пришел требовать должного!.. — И Жозеф принял мрачный вид.

— Именно?

— Я месяц держался здесь под огнем... В мою кухню специально стреляли турки... Для них, вы знаете, топ *général*, для них нет ничего святого! Но я все-таки держался. Вы на Зеленых Горах, а я здесь, в Брестовце... И потому мне следует крест!..

— Какой крест?

— Георгиевский... *St. George*! Какой дается всем храбрым...

— Да ведь вы не обязались быть храбрым по условию...

— Если бы это входило в условие, то за храбрость мне бы полагалось жалование... Так как это сверх условия, то я требую себе крест. Вы всем медведям-солдатам дали кресты, я тоже хочу...

— Вы с ума сошли, мосье Жозеф!..

— Моп *général*!.. У меня есть в Каире престарелая мама... Обрадуйте ее. Если она увидит меня с крестом, она простит мне увлечения моей юности!..

Увы, так его тапал и осталась необрадованной.

— Денщик со мной не разлучался и не выходил из огня, а я и ему не дал креста, потому что он слуга, а не солдат. Этак мы до того дойдем,— намекал он на всем известные факты,— что и кучеров, и поварят, и всякую сволочь украсим военными орденами, а те, кто за нас умирает, никогда не дождутся знака отличий!

IV.

В скобелевском отряде ни разу не практиковался обычай вешать кресты на прислугу. В других крестами щеголяли денщики и кучера разных генералов, здесь — никогда. Круковский, денщик Скобелева, живший с ним в траншее, не смел и думать о таком отличии... Раз было он заикнулся...

— Ступай в строй и заслужи... За чистку сапог Георгиевские кресты не вешают...

Вообще тут они доставались не даром.

Обыкновенно, когда присылают голосовые кресты на роту, то солдаты приговаривают их не наиболее храбрым, а наиболее влиятельным и богатым вольноопределяющимся. Скобелев никогда не допускал ничего подобного... Вот как это делалось... Подъезжает он к роте.

— Выбрали, ребята, кому кресты?

— Выбрали, ваше-ство...

— Кому же?

— Фельдфебелю — первый! — рапортует ротный командир. — Потом вольноопределяющемуся такому-то...

— Вот что, ребята, кресты должны доставаться не фельдфебелям, а тем, кто действительно стоит этого... Слышите? Самым храбрым... Поняли меня?

— Поняли, ваше-ство...

— Ну вот... Так опять сделайте-ка выбор при мне. Господа офицеры, уйдите, пусть солдаты сами!

По второму выбору кресты достаются тем же.

— Смотрите, ребята, нечестно, если вы лучших оставите без крестов. Сделайте еще раз выбор!

И если по-третьему разу все-таки кресты достаются влиятельным лицам, тогда и Скобелев навешивал их.

Раз, в одном случае, на вопрос Скобелева:

— Кому, молодцы, кресты приготовили?

— Я назначил их такому-то и такому-то... — сунулся было ротный командир.

— А вы какое право имеете на это?.. Вы, капитан, чего суетесь не в свое дело?.. Отнюдь не сметь впредь! Назначать голосовой крест — священное право солдата, а не ваше...

Зачастую, если несмотря на переголосовку, кресты все-таки доставались вольноопределяющимся и фельдфебелям, Скобелев приказывал представить этих отличившихся к именованным, а голосовые все-таки давали простой армейской курилке.

— А то им ничего и никогда не достается!

На Георгиевские кресты Скобелев смотрел в высшей степени серьезно...

— Главное, чтобы они не попадали шулерам! — говорил он. — Или осторожным игрокам!

— Как это?

— А так... Часто иной при генерале бросится вперед — ну, и крест. А так он за другими прячется. Это и есть шулера. Осторожными игроками я называю тех офицеров, которые храбры до креста, получив же его, успокаиваются и начинают опочивать на лаврах, берегут свою драгоценную жизнь... Поняли вы меня? Это все равно что игрок сорвет крупный куш и забастует... Георгиевский крест обязывает... Кто носит его на груди, должен быть во всем примером... Его место в бою — впереди...

И действительно, такой взгляд на «кавалеров» был у скобелевских солдат. Во время сражений в смутные моменты, когда человеческому стаду нужны вожаки, солдаты сами кричали: егорьевцы, вперед!.. Кавалеры — показывай дорогу!..

Таким образом, серебряный крест был зачастую вестником, предтечей креста деревянного. Во всяком бою первыми убитыми оказывались в свалке Георгиевские кавалеры...

— Отчего вы не дадите такому-то Георгиевского креста? — часто просили Скобелева люди, власть имеющие.

— Почему... Да мой Круковский больше его заслужил. Хоть в траншеях со мной был!

— Да ведь солдатский крест — чего он стоит!

— Стоит, если мои солдаты за него жизнью жертвуют... Пускай в других дивизиях он достается даром — я у себя этого разврата не потерплю.

И тотчас же начинается потеха.

— Круковский, ты хочешь крест?

— Хочу, ваше-ство!..

— Ну, иди в строй... Заслуживай...

— В строй не хочу...

— А я тебя отправлю от себя!

— Как же вы-то сами без меня обойдетесь?.. Не может этого быть!

С близкими к нему лицами Скобелев был совсем юношей. Избыток жизни сказывался в этом. Он постоянно шутил, смеялся, школьничал. Если не с кем было — с денщиками.

— Обезьянка! — Круковский не отзывается, молчит.

— Обезьяна, тебе говорят...

Тоже молчание.

— Круковский!

Тот мрачно подходит...

— Отчего же ты не являлся?

— Потому что ваше-ство обезьяну кликало...

— Значит, ты обиделся?..

— Звестно, обиделся!..

— Ну, так поцелуй меня!.. — И Скобелев протягивает ему щеку.

Круковский целует.

— Ну, теперь не обижаешься?

— Никак нет!

— А все-таки обезьяна...

Особенное удовольствие доставляло Скобелеву выходить по утрам умываться в промежуток между нашей и турецкой траншеей... Круковский должен был следовать туда за ним. Турки, разумеется, тотчас же начинали обстреливать их.

— Ваше превосходительство... А ваше превосходительство!

— Ну? Чего тебе?

— Что я вам хочу сказать!

— Что?

— Вы бы шли в траншею мыться...

— Мне и здесь хорошо... А хочешь, я тебя за трусость на часы поставлю?..

Круковский мнется...

— Ну, чего же ты молчишь. Хочешь?

— Не хочу...

— А я все-таки поставлю...

— А тогда кто же вам служить будет?..

— Ну, пошел вон, трус!..

И, ошарашенный позволением уйти с опасного места, Круковский живо убирается оттуда.

V.

Приготовления к походу за Балканы шли безостановочно. Со дня занятия Плевно до дня выступления дивизия не отдыхала. Приготовляли и чистили оружие — скупали все деревянное масло в городе для этого. Ружья Крика никуда не годились, Скобелеву пришла в голову блестящая мысль вооружить хоть один батальон превосходными Пибоди-Мартини, во множестве находившимися в арсенале Плевны.

Я помню, какой гвалт подняло это в некоторых кружках.

— Это позор! — кричали там. — Русскую армию вооружать турецкими ружьями!

Скобелев слушал их и совершенно спокойно перевооружил стрелков углицкого полка.

— Если бы было достаточно артиллерийских снарядов, так я и артиллерию свою снабдил бы турецкими орудиями. Я не считаю позором отнять у неприятеля то, что у него лучше... Весь вопрос в том, чтобы сделать ему побольше вреда!

— Этак вы и под турецкими знаменами пойдете? — замечали ему.

— Нечего сказать, хорошее сравнение!.. Разве знаменами дерутся, разве знамена оружие?..

— В истории не было примера...

— Ну, это вы врете! — И он сейчас же выставил целый ряд доказательств того, что величайшие полководцы прибегали к этому средству... У себя нет — возьмем у неприятеля. Если у нас, положим, не хватает своего хлеба — так не стыдно пользоваться складами турецкими, потому что это не наше, а неприятельское?..

— Я и ранцы уничтожу!

— Совсем по-турецки, значит?

— Да, хорошему учиться не мешает... Если бы я не с турками, а с китайцами воевал да подметил бы у них что-нибудь порядочное, сейчас же перенял бы... Сделайте одолжение!

И действительно, страшно отягощающие солдата ранцы были уничтожены и заменены холщовыми мешками, что вышло и легче, и удобнее... Закупка сапог, полушубков, фуфаек шла повсюду. За три недели в Габрове были заказаны выюки и выючные седла, заготавлился неприкосновенный запас сухарей, крупы, наливали в бочонки спирт... И главное, заслуга Скобелева была в том, что все это было сделано помимо интендантства... У интендантства требовали того, другого...

— У нас ничего нет! — откровенно ответили эти господа Скобелеву.

Предусмотрительность генерала дошла до того, что заранее было куплено на каждый полк по 60 голов рогатого скота. До гор они должны были везти запасы, а в горах служить пищей... Остальные дивизионные командиры, приходя в какую-нибудь местность, требовали продовольствия и подвод. Население, совсем разоренное уже, оказывалось несостоятельным. Движение войск замедлялось, начиналось истребление неприкосновенного запаса сухарей... Здесь же подводы и корм являлись в одном и том же. Корм шел на ногах и вез войсковые грузы. Заботливость Скобелева о солдатах дошла до того, что весь запас уксуса и кислоты, бывший у плевенских торговцев, все сапоги, всю кожу, все бараньи шкуры были куплены... По всему пути Скобелев сам лично наблюдал, чтобы солдаты отнюдь не оставались без горячей пищи. В метель на вершинах Балкан, где

у других вымораживались целые полки, у Скобелева солдаты имели похлебку и вдоволь мяса! Сделано было еще и другое распоряжение, над которым на первых порах смеялись ужасно. Солдатам приказано было нести по полену сухих дров.

— Чего он еще не придумает! — говорили о генерале.

— Уж если Скобелев приказал, значит, у него есть что-нибудь на виду! — заметил на это главнокомандующий.

И действительно, когда дошли до балканских вершин, то из этих сухих поленьев солдаты сразу устроили великолепные костры. У других отрядов рубили росший на горах лес, сырой, только чадивший и курившийся, не дававший углей. У нас сразу получалась масса углей. Солдаты приваливали к нему и до утра засыпали в сравнительном тепле. Замороженных поэтому не было вовсе!

— Новые сапоги берите!..— предупреждал солдат генерал, проезжая мимо них, когда они выступали уже из Плевны за Балканы.

Переход этот настолько был превосходно организован, что по всему пути, хотя отряд останавливался в маленьких деревушках, от их населения не поступило ни одной жалобы...

— Смотрите, братцы, не обижайте болгар и турок... Они — мирные жители... За первых вы деретесь, свободу им своею кровью завоевываете, следовательно, они вам друзья и братья; а вторые, если остались на своих местах, не ушли от вас, значит, они верят доброте русского солдата... А обманывать такую веру и грешно, и стыдно...

Картины нашего перехода до Габрова я оставляю в стороне. О них было уже сказано мною, и я описал их достаточно во втором томе «Года войны». Расскажу только некоторые эпизоды, не вошедшие туда. В Сельви заболел тифом один из лучших скобелевцев — доктор Студитский, который потом был убит под Геок-Тепе.

— Что мне делать, как мне его оставить здесь?..— волновался Скобелев, очень любивший покойного.

— Прикажите начальнику округа позаботиться о нем...

— Начальник округа здесь хам... Он ничего не делает... Послушайте, это ваша обязанность, подумайте,

как устроить это?.. Вы и он носите черный сюртук, вам ближе всего... Мне некогда: весь отряд на моих руках ведь...

Я отправляюсь к начальнику округа. Это был жандармский капитан, служивший по гражданскому управлению и зависевший от кн. Черкасского. Рассказываю ему о болезни Студитского.

— А мне что за дело? Поместите его где хотите... У меня на руках свое дело!

Я начинаю красноречиво излагать ему заслуги больного, работавшего в Черногории, в Сербии, у нас на Зеленых Горах, под Плевно.

— Он и заболел-то от любви к человечеству. Он заразился, подавая помощь туркам на плевенском боевом поле...

— Все это прекрасно... А только мне нет никакого дела... У меня нет времени на это... Я не брат милосердия!..

«Ну, погоди же, — думаю. — Ты у меня зашевелишься».

— Жаль, очень жаль, капитан!.. Как будет огорчен князь Черкасский, когда узнает о болезни Студитского!

— А что?.. При чем тут князь?.. — наострил уши начальник округа.

— Да я не знаю, могу ли я... Это семейная тайна...

— О, мне можете... — заволновался тот. — Я умею хранить тайны...

— Знаете... Студитский ведь жених... У Черкасского есть племянница...

— Я сейчас... Сейчас... Велю его перенести к себе... Сию минуту. Назначу надежнейших болгарок ходить за ним... Бедный, бедный молодой человек!.. Как жаль, как жаль... Скажите генералу, чтобы он был спокоен... Я сделаю все... Все сделаю... Как родного сына!..

По ревностной энергии, вдруг охватившей моего капитана, я убедился, что все дело устроено и Студитского будут беречь как зеницу ока.

Вернулся к Скобелеву. За обедом, когда все собрались, рассказал это. Громкий хохот встретил великодушную готовность капитана...

После, уже под Константинополем, когда Студитский был совершенно здоров, Скобелев говорит мне:

— А вы знаете финал этой истории?

— Нет...

— Князь Черкасский встречается со мною и спрашивает меня: «У вас есть доктор Студитский?..» — «Есть», — говорю. — «Ну, так поздравляю вас с таким подчиненным». — «А что?..» — «Да то, что он самозванец». Я изумился. «Как же, помилуйте. Приезжаю я из Сельви... Встречает меня капитан, начальник округа, и с первого слова: «Ваше сиятельство, здесь жених вашей племянницы, доктор Студитский, долгое время болен у меня... Я со своей стороны...» — И давай живописать свое усердие. «Помилуйте, — говорю, — у меня никакой племянницы!..» Тот даже ошалел...

Разумеется, Скобелев объяснил князю, в чем дело.

— Знаете, — говорил потом по этому поводу Скобелев, — надо всегда уметь пользоваться не только способностями, доблестями и достоинствами людей, но и их пороками... Разумеется, ради честного дела. Не для себя и не в свою пользу... Это в военном деле — необходимость...

— Следовательно, рыцарь Баярд был не на высоте требований боевых... — возразил кто-то.

— Рыцарь Баярд действовал на свой счет только, армией он не командовал. Я бы посмотрел теперь на рыцаря Баярда!

И сейчас же — целый арсенал исторических указаний, фактов, примеров.

Память у него была необычайная... Это позволяло ему при каждом случае обращаться к прошлому. История была для него школой, исторические события — уроками. Он находил в них подтверждение своим предприятиям... Ошибки прежних полководцев являлись для него предупреждением.

— Послушайте, да это какой-то профессор! — изумился Лигниц после первого знакомства со Скобелевым.

— Трудно сказать, чего в нем больше, ума или знаний! — резюмировал свои впечатления военный агент Северо-Американских Соединенных Штатов Грант.

Все это завоевывало Скобелеву симпатии одних, и напротив, раздражало против молодого генерала других. Для меня Скобелев был отличным мерилom для определения ума и бездарности. Как только начинают, бывало, ругать его, отрицать его талант — так и знаешь: формалист и дурак или завидующая душа! Все же молодое, умное, способное относилось к нему с понятным уважением и даже обожанием.

VI.

Солдаты Радецкого и Скобелева — в ущельях Янтры побратались между собой. Одни других считали достойными товарищами. Постоянно по пути встречались эпизоды, характеризовавшие эту боевую дружбу. Идет, например, углицкий полк, навстречу — солдат 14-й дивизии, отстоявшей Шипку. Стал ферттом и ноги раздвинул, по словам известной армейской песни: «руки в боки, ноги врозь»!

— Ну, братцы, четырнадцатая дивизия не выдала, смотри и шестнадцатая не выдавай!

— Не бось, не выдадим... Защитим...— слышится из рядов.

В другом случае встречаются две партии солдат.

— Вы скобелевские?

— Точно!

— Ну, а мы Радецкого... Все равно, значит, что одно...

— Теперича, коли бы да нас вместе, что бы сделать можно. На Шипке нас мало было...

Взгляд солдат был как нельзя больше верен.

Скобелев и Радецкий действительно в то время были двумя боевыми противоположностями. Скобелев — весь пыл, огонь, находчивость, боевой гений, Радецкий — терпение, мудрая осторожность, расчет. Оба одинаково храбры, одинаково любимы солдатами. Впоследствии и Скобелев под Геок-Тепе усвоил себе и осторожность, и расчетливость стратега, отчего, разумеется, еще более вырос... Разница между этими натурами лучше всего обнаружилась в Габрове. Скобелев, хорошо знавший положение дел, рвался за Балканы, горой стоял за немедленный перевал через горы и затем движение к Адрианополю. Радецкий был против этого. Зимний поход такого рода, через кручи и вершины, засыпанные снегом, по ущельям, куда и летом не забирается живая душа, пугал его. Он писал и телеграфировал в главную квартиру, умоляя оставить это предприятие, называл его невозможным, неисполнимым. Он ставил на вид, что турки сами уйдут, когда Гурко прогонит Сулеймана, что Вейсильпаше вовсе не будет расчета держаться в своих орлиных гнездах и пустить к себе русскую гвардию. Генерал только упускал из виду, что, отступив, турки займут превосходно укрепленный редутами и башенными фортами

Адрианополь, а тогда нечего будет и думать о скором окончании войны... Люди, окружавшие Радецкого, держались того же мнения. Начальник его штаба, храбрый и симпатичный генерал Дмитровский, прямо говорил нам, что или мы все погибнем в долине Казанлыка, или не дойдем до нее, застрянув в горах. Когда Скобелеву говорили о возможности отступления, он резко ответил:

— Отступления не будет ни под каким видом!.. Я иду таким путем, по которому спуститься можно, а назад подняться нельзя...

— Что же вы сделаете в крайнем случае?

— Пойду впереди своих солдат — в лоб турецкой позиции, возьму штурмом гору св. Николая. Или погибну... Тут выбора не может быть...

Великий князь поддержал Скобелева, и переход был решен бесповоротно. В тот же день генерал отдал приказ по войскам своего отряда, который я привожу здесь целиком:

«Нам предстоит трудный подвиг, достойный постоянной и испытанной славы русских знамен. Сегодня, солдаты, мы начинаем переходить Балканы с артиллерией, без дорог, пробивая себе путь в виду неприятеля, через глубокие снеговые сугробы... В горах нас ожидает турецкая армия. Она дерзает преградить нам путь. Не забывайте, братцы, что нам вверена честь отечества, что за нас теперь молится сам Царь-Освободитель, а с ним и вся Россия. От нас они ждут победы. Да не смущает вас ни многочисленность, ни стойкость, ни злоба врагов. Дело наше — свято, с нами Бог!..

Болгарские дружинники! Вам известно, зачем державною волею русские войска посланы в Болгарию! Вы с первых дней показали себя достойными участия русского народа. В битвах, в июле и августе, вы заслужили любовь и доверие товарищей — наших солдат. Пусть будет так же и в предстоящих боях. Вы сражаетесь за освобождение отечества, за неприкосновенность родного очага, за честь ваших матерей, сестер и жен, за все, что на земле есть ценного и святого. Вам Бог велит быть героями...»

Нужно было слышать, какое «ура» гремело в ответ на чтение этого приказа по войскам, в виду громадных гор, вершины которых уходили в небеса, закутавшись в снеговые тучи. По головокружительным скатам едва намечи-

вались серые полосы дороги, пропадающей в мареве вечернего тумана. Дальше и пути уже не было.

— Кручи и пропасть будут по сторонам!..— говорил Скобелев солдатам.— Мы с вами пройдем там, где и зверю нет пути...

— Пройдем, ваше-ство! — кидали они своему любимому вождю...

— Орлы мои!.. Нас не собьет и буря с пути... Нет нам преграды!..

— И не будет, ваше-ство!..

— Вот так... Хорошо с вами жить и умирать легко... Покажем им, что русского солдата ни горы, ни зимние метели остановить не могут...

— Ура! — гремело из десятков тысяч грудей, уже достаточно истомившихся на прежних походах.

Слезы выступили на глазах Скобелева.

— Как же с этими солдатами,— обернулся он к нам,— не наделать чудес... Вы посмотрите на эти лица. Разве для них есть невозможное?.. Спасибо, товарищи, я горжусь, что командую вами!.. Низко кланяюсь вам!

И, сняв шапку, он поклонился своему отряду.

Еще более громкое, стихийное «ура» всколыхнуло вечерний туман и раздалось по ущельям, в даль, заставленную мрачными вершинами...

Тем не менее трудности пути были ясны каждому солдату, и скоро, очень скоро оживление сменилось сосредоточенным молчанием людей, готовящихся к мучительному подвигу.

— Идем товариство выручать!..— изредка только слышалось в рядах.— Семей месяц на Шибке сидят — ослобонить надо!..

Перевал через Балканы, признанный таким военным авторитетом, как Мольтке, невозможным останется навсегда в истории. Скобелевцы могут с гордостью сказать, что они совершили его без всяких потерь, благодаря превосходной организации этого похода... Взойдя на первый холм, они увидели перед собой крутой подъем. Ветер свеял с него недавний снег, осталась скользкая обледенелая поверхность. Солдаты скатывались и падали с нее, гремя ружьями, котелками, шанцевым инструментом. Добравшиеся до верху тяжело дышали, отдыхали, прислонясь к деревьям, или просто ложились на снег в полном бессилии. Падая и скатываясь, напрасно хотели удержаться руками — руки скользили по гладкой поверх-

ности... Одолев это, находили перед собой еще более пугающую преграду, но уже засыпанную снегом. В снег этот уходили по грудь, шли вперед в его рыхлой массе. Поворачивали направо, налево, уходили опять назад, огибая отвесы диких скал, вспазывали по лестницам, образуемым выступами их, падали с этих лестниц, скользя по льду, образовавшемуся на них... В лесу тропа была до того узка, что солдатам пришлось идти гуськом. Отдыхали через каждые двадцать пять — тридцать шагов. И какие это шаги были: солдат с натугой вытаскивал ногу из снеговой глыбы, потом ступал вперед, опять погружаясь в вязкую массу. Под ногами снег расплзался, ноги расходились, приходилось падать и, скрипя зубами, подниматься опять. Какое-то хрипенье слышалось кругом. Падая, каждый принимался прямо с земли есть снег. Все чаще нужно было кусты раздвигать руками, какие-то колючки впивались в лицо, резали его, обращали платье в лохмотья. С артиллерией была мука, десятифунтовки бросили позади. Их нельзя было и думать взвести сюда. Горные орудия на саночках — тело отдельно от лафетов — шли лямкой. Солдаты, наклонившись головой вперед, хрипя, тащат их на лямках... Всего мучительнее было взбираться на горы, после того как, поскользнувшись, скатывались вниз. Иной раз пять-шесть совершает такое восхождение, и всё с одинаковым неуспехом. По сторонам зияли бездны. Вдоль них пришлось лепиться, точно муха, ползти по горе. Одолели его — попали в такие сугробы, где тонули по горло в снегу. Двигались уже не ногами в них, а как-то напирались всем корпусом вперед, выдавливали для себя место... Все было мокро на себе: и сам, и платье... А выберешься — морозом охватывает, так что шинель коробится, рубашка деревенеет и на волосах разом образуются куски льда. Солдаты пробовали садиться отдыхать на снеговые глыбы, так они сползли вниз. Стали наконец садиться и ложиться на дорогу. Через них и по ним ходили, наступали на лицо, на грудь, на руки, те только стонали и опять поднимались, чтобы до последних сил идти вперед. Иной раз снег проваливался, и солдаты попадали на дно воронки... Скобелев тут же, между солдатами, ободряет одних, понукает других, посмеивается над третьими. Откуда берутся у него силы? Он более других утомлен, потому что у него не было отдыха вовсе... Раз он как-то заснул в снегу... Кругом сейчас же

встали солдаты, чтобы на генерала не наступили проходящие мимо...

— Невозможный переход!.. — обратился к нему кто-то.

— Тем лучше, что невозможный! — отвечал он.

— Почему?

— А потому, что турки не ждут нас отсюда. Полководец именно при защите и должен опасаться якобы невозможных позиций. Невозможных для штурма, для обхода... Их-то он и должен иметь в виду...

— Обыкновенно на них не обращают внимания!

— И глупо делают. Умный враг с них-то и начнет... Смотря какие солдаты, если такие, как мои, — с ними всякую невозможность одолеешь...

На одной площадке солдаты совсем упали духом. Усталость дошла до крайности... Казалось, нельзя было ступить шагу...

— Еще одну гору, голубчики...

— Трудно... ваше-ство! — упавшими голосами отвечают ему.

— Наверху каша будет, товарищи... Ну-ко, для меня постарайтесь...

И солдаты поднимаются и идут с новыми силами...

Дошли до первого ночлега на Ветрополье — и действительно, там был и суп, и каша. Дорылись до земли, из готовых поленьев разложили костры и живо в котелках сварили свою похлебку. Говядина и крупа были для этого на солдатах... За ночь, несмотря на мороз, ни одного больного не было.

На другой день — такой же утомительный переход, но уже под огнем турецких позиций.

Тут уже весь день целиком, даже звериных тропок не было.

Куруджа ужасающей кручей обрушивается вниз. На дне пропасти — белый пар. Вчера еще могла бы здесь пролететь только птица. Ночью уральские казаки устроили тропу. Легли в снег и проползли, обмяв его под собою по отвесу. Назад прошли на ногах, продолжая обминать, потом провели своих коней. Когда солдаты шли по этому карнизу, направо стеной поднималась гора, налево стеною она обрушивалась вниз. Бездна тянула к себе, голова кружилась, тошнило. Двое сорвались туда — и безвозвратно. Кое-где тропа эта идет наклонною плоскостью, тут разве крылья ангелов могли удержать солдат. Я до сих пор не понимаю, как они миновали

эти места. И когда большая часть отряда была еще на этой адской крутизне, Скобелев впереди уже проводил рекогносцировку по направлению к Имитле. Под ним опять убили лошадь; ранили Куропаткина... Тут уж каждый шаг доставался с бою...

— Бог его знает, откуда у него равнодушие и спокойствие!..— говорили офицеры.

Стоя на выступе горы под густым огнем турок, Скобелев здесь набрасывал кроки долины Роз. Ему оно нужно было для дальнейших соображений. Завтра — бой, всякая неровность местности имела громадное значение.

Он чертит под огнем так же уверенно, изящно, как бы у себя в кабинете...

Подробного рассказа о переходе Балкан, о боях 26-го, 27-го декабря, о занятии Имитли я здесь не передаю. Этому посвящена значительная часть второго тома моего «Года войны». Отмечу только здесь, что этот героический поход не сломил энергии Скобелева. В ночь на 27-е я его застал уже в ущелье, выходящем в долину Казанлыка. Он лежал у костра, слегка прикрывшись пальто... Рядом хрипела и билась умирающая лошадь... Откуда-то изойливо садился в ухо крик раненого солдата... С ним кто-то заговорил.

— Не мешайте! — оборвал он...

— Да...— вдумчиво проговорил он.— Наконец завтра или послезавтра решится дело... Или запишем еще одну славную битву в нашу историю, или... умрем!.. Честнейшая смерть еще честнее победы, дешево доставшейся... Во всяком случае — отступления нет... Спуститься можно было. Подняться — нельзя...

— Генерал Столетов... Возьмите две роты казакского полка и одну углицкого... Выберите турок из Имитли и займите его...

— Вам бы заснуть теперь? — посоветовал ему кто-то.

— Казак, коия... Некогда спать... В Казанлыке выспемся...

И он поехал осмотреть выход в долину.

VII.

Я не буду описывать ни рекогносцировки 26 декабря 1877 года, ни последовавшего затем занятия Имитли, ни дела 27 числа, когда Скобелев, желая хоть чем-то

помочь князю Мирскому, но имея под руками еще слишком мало войск (три четверти отряда еще оставалось в горах), сделал демонстрацию на шейновский лес. Всему этому отведено достаточно места в прежних моих описаниях войны; я возьму из них только несколько строк о бое 28 декабря, едва ли не самом блестящем деле шипкинской эпопеи. Это было последнее крупное сражение в эпоху 1877—1878 года, и тут Турция потеряла свою последнюю армию.

Сырой и туманный был этот славный день. Мгла окутывала дали, серое небо точно давило вершины Балкан. В ущельях курился туман; сады и рощи деревень в долине Роз казались облаками, охваченные отовсюду мглою... Лысая гора, резко обрисовывающаяся среди окружающих вершин, тогда вся пряталась... Ее мы видели плохо.

Еще свет робко-робко пробивался на востоке, когда Скобелев уже объезжал шейновское поле. С зарею поднялись солдаты, из Имитли едва-едва доносился грохот орудий, стучавших по окрепшей за ночь почве... Суздальский полк еще находился в Балканах, как и вся наша артиллерия, за исключением батарей, вооруженной горными пушками. Там же застряли стрелковый батальон и две дружины болгарского ополчения...

Не успело солнце подняться, как полки уже выстроились... Солдаты были очень оживлены; зная их суеверие, Скобелев, объезжая ряды, повторял:

— Поздравляю вас, молодцы! Сегодня день как раз для боя — двадцать восьмое число... Помните, двадцать восьмого сдалась Плевна... А сегодня мы возьмем в плен последнюю турецкую армию!.. Возьмем ведь?

— Возьмем... Ура! — звучало из рядов...

— Заранее благодарю вас, братцы...

В десять часов передовая позиция была уже занята отрядом графа Толстого, выстроившимся в боевой порядок.

— Выдвиньтесь на хороший ружейный выстрел! — приказал ему Скобелев.

Сам генерал стал в центре. По обыкновению вокруг сгруппировались ординарцы, позади него развернут был его значок, следовавший за ним всюду — и в Фергане, и в Хиве, и в Плевно. Среди мертвого безмолвия разом заговорили горные пушки нашей батареи, когда впереди показалась турецкая кавалерия, развернувшаяся перед

Шейновым... Против нас оказалось пятнадцать турецких орудий... Сосредоточенный огонь их был направлен сегодня исключительно против группы Скобелева...

— Господа! — обернулся он. — Не угодил ли вам раздаться... Разбросайтесь пошире... Иначе перехлопают нас...

— Сегодня моя жизнь иужна! — в виде пояснений сказал он потом. — Куропатки ранен, его нет. Если меня убьют, некому будет принять команды...

Мы разъехались на довольно большое пространство...

— Сейчас к туркам подойдет подкрепление! — озабоченно проговорил Скобелев.

— Почему вы знаете?

— А слышите?

В грохоте турецких батарей стали выделяться отдельные звуки рожков. Турки подавали сигналы. Скобелев усилил наш левый фланг и выдвинул ополчение к Шипке, где, по его мнению, были три табора турок.

— Оии, подлецы, догадаются, что у нас только орудия малого калибра!.. Нужно обмануть неприятеля... Поставьте людей у орудий! — приказал генерал.

Вторая боевая линия вышла на позицию с музыкой и с песнями. Развернутые знамена слегка колыхал ветер... Около 11 часов турки сосредоточили свой огонь против нашего левого фланга. Тогда Скобелев послал туда стрелков углицкого полка... Люди начали падать... По массе пуль, несущихся навстречу, видно, что турки собрались здесь не менее как в количестве пятнадцати таборов... Да столько их еще позади — в редутах и фортах, защищающих с юга шипкииские позиции. Скобелев делается все серьезнее и серьезнее... Лицо его озабоченно как никогда...

— Если меня убьют, — снова оборачивается он к окружающим, — то слушаться графа Келлера. Я ему сообщил все...

На нашем левом фланге все разгорается и разгорается перестрелка, там уже перешли линию огня и находятся в самом пекле. Шейново кажется отсюда примыкающим к Балканам. Перед этим пунктом несколько холмов, они заняты турками. Их следует взять во что бы то ни стало... Оттуда особенно сосредоточенный огонь... Роты, видимо, хотят их обойти с фланга; ни на минуту ружейный огонь не стихает, напротив, растет и растет, сливаясь с отголоском маршей вступающих в боевую линию

полков. Наши «Пибоди» пока идут не стреляя. Мы под огнем, но сами огня не открываем. На одну минуту перед курганами стрелки угличские приостанавливаются... Слышится команда, разворачивается цепь и беглым шагом бежит, охватывая курган дугою... Залпы и беглый огонь у турок доходят до иступления. Наконец наши у курганов, бой в штыки, слышио «ура», и на вершине холмов показываются угличане, радостно размахивая ружьями и созывая остальных. Турки вереницами бегут к лесу и занимают его опушку... По этому пути легко узнать их отступление. Меткий огонь наших стрелков уложил их так густо, что еще издали видишь среди белеющих снегов какую-то черную полосу до самого леса.

— Молодцы, угличане! — замечает Скобелев... Меня винили за Зеленые Горы... Вы помните, каких нагнали ко мне солдат для пополнения уничтоженных под Плевнюю полков... Что это были за трусы... Разве можно было с ними драться... А теперь полюбуйтесь на них... Как стойки они... Вот вам и Зеленые Горы. В две недели дивизия получила боевое воспитание...

Курганы почернели от людей, занявших их. Снизу до верхушек густо засели стрелки, но ненадолго. Нужно было пользоваться минутой и продолжать атаку... Вот цепь опять развернулась, двинулась вперед — идет быстро, хорошо... Позади двигаются еще люди... Огонь у турок делается отчаяннее. Вдруг, точно к ним явилось подкрепление, залпы зачастились, турки выбегают из опушки леса; наше наступление встречают убийственным огнем с фронта. На левом фланге угличан показываются черкесы, на правом наши точно приостановились, колыхнулись... Двинулись назад... Еще минута, и наша цепь, отстреливаясь, волнообразно отступает за курганы. Одну минуту Скобелев боится, чтобы они и их не отдали. Нет, курганы остаются за нами.

Неприятельская кавалерия и не думает отступать... Она заскакала во фланг нам и теперь маневрирует между нами и Шипкой... Подскакивают черкесы в одиночку, ругаются по-русски и сейчас же во всю мочь улепечивают назад. Книнулись было за ними казаки, и давай тоже джигитовать...

— Ну, я теперь этих фокусов в седле не люблю... Прикажете, чтобы слушали команду, а не кувыркались... Мне акробатов не надо. Пошлите прямо две сотни допцов в атаку!

Те, опустив пики, помчались, развернув фронт, на турок... Точно ураганом просвистели мимо. Турки их выдержали шагов на двести и, дав глупый залп наудачу, опрометью шархнулись по направлению к Шипке.

— Граф Толстой ранен! — подъезжает ординарец к Скобелеву...

— Э!..— с досадой проговорил генерал.— Терять Толстого в такую минуту... Он нужен... Жаль, жаль... Пускай Панютин примет команду...

Резервы ближе и ближе передвигаются к линии боя...

— Как стройно идут они...— любитесь ими генерал...

Каждый подходит с музыкой и ложится в ложину— «до востребования». Туман рассеивается... Горные стремнины обнажаются, и в эту минуту заметно, как к ним, точно тень от облака, скользят вниз турецкие таборы.

Из второй линии в передовую послан для усиления весь углицкий полк... Дело близко к решающему моменту; смотря на обстановку боя, мы любимся стройностью движения угличан, которые развертываются, как на параде, и с развернутыми знаменами, под музыку, красиво входят в боевую линию... Сражение распространяется по всей линии передового отряда. На левом фланге у отступавших к курганам стрелков вспыхивает «ура» и перекидывается из роты в роту по всему расположению войска, из передовой линии в резервы. Скоро вся долина, занятая нами, гремит от восторженных криков. Стрелки на левом фланге вторично бросаются в атаку, неудержимо выбивают первую линию турок, вскакивают на бруствер траншеи, заложенной в лесу, оттуда скоро вырываются к нам сюда красные языки пламени... Слышны вопли побежденных и новое торжествующее «ура» владимирских и углицких стрелков. Начинается тот период боя, когда стихийная сила заменяет одну волю, когда управляющий боем может только усилить, направить, но не прекратить движение, не помешать ему. Солдаты, видимо, рвутся вперед... Скобелев еще хочет выдержать момент, зная, что позади резервов мало.

— Суздальский полк и две болгарские дружины пришли...— докладывает ординарец.

— Турки окружены нашей кавалерией с тыла...— сообщает другой...

— Мы вошли в соединение с Мирским — вот записка от князя...

— Ну, с Богом теперь!..

И Скобелев перекрестился.

Точно дрогнуло все под гулкий рокот барабанов, возвестивших общую атаку... Пришлось останавливать солдат, кипевших боевою энергией. «Ну, теперь победа верная!» — крикнул Скобелев, глядя на своих солдат.

Я не описываю здесь эпизодов этого колоссального боя, совершившихся в горных туманах у Радецкого, и в левофланговой обходной колонне у князя Мирского. Книга эта исключительно посвящена Скобелеву, почему в этом наброске я говорю только о его участии в шейновском бое.

Углицкий и казанский полки и пятая дружина болгарского ополчения с изумительно красивой стройностью двинулись вперед под густым огнем неприятеля. Наши шли без выстрела. В этот день они не выпустили почти ни одного патрона и исключительно работали штыками... До опушки леса они шли точно церемониальным маршем, под музыку, в ногу. На параде так не ходят... У опушки полки развернулись побатальонно и почти под сплошным огнем, пронизавшим их, кинулись беглым шагом вперед... Чтобы менее было потерь в известные моменты, люди залегли в канавы и потом по команде перебежали к следующей... С еще большим ожесточением рвались в бой болгары... Один батальон, против которого был направлен особенно сосредоточенный огонь, приостановился. Два раза отдали ему приказание «вперед» — ни с места. Точно столбняк напал. Тогда командир подскочил к батальону, выхватил знамя из рук знаменищика и с ним кинулся в огонь. Как один человек, бросились солдаты... Их напор был так неудержим, что первый ряд ложементов и траншей моментально оказался у нас в руках... Передовая турецкая позиция была атакована по приказанию Скобелева одновременно — казанцами слева, угличанами справа.

Закипел штыковой бой. Не просили и не давали пощады. Коли безмолвно, сжав зубы... Солдаты только старались не глядеть в глаза защищавшимся. Это очень характерная черта. Закалявая, солдат никогда не смотрит в глаза врагу. Иначе «взгляд убитого всю жизнь будет преследовать»; это убеждение, общее всем.

Линия неприятельских стрелков, стоявшая все время здесь, не ушла никуда — вся осталась на месте. Как они сбились к брустверу, так и легли там. Густо легли,

точно второй вал у вала... Раненые, падая, схватили врагов и душили их, в бессилии находили еще возможность зубами вцепиться в солдата, пока тяжелый приклад не раскраивал черепа... Болгарское ополчение дралось столь же ожесточенно, еще злобнее, если хотите, потому что тут вспыхнула племенная ненависть...

Когда первые ложементы были взяты, до отдыха еще оказалось далеко... Перед солдатами оказался укрепленный лагерь турок и их редуты.

Укрепленный лагерь был не что иное, как деревня, где каждый плетень, заваленный землею, являлся бруствером траншеи, каждый дом — блокгаузом. Тут бой шел, разбиваясь на мелкие схватки. Стреляли со всех сторон. Тут можно было затеряться... Упорно защищали эту позицию турки, но угличане и казанцы выбили их штыками отсюда.

— Знаете,— оборачивается Скобелев,— опушки рощ, деревни часто переходят из рук в руки... Я боюсь, чтобы турки не бросили сюда все, что у них есть, и не отняли занятых угличанами позиций... С свежими силами они могут сделать много против изнуренных солдат...

Ввиду этого генерал передвинул из резервов еще батальон, который, дойдя до места, сейчас же окопался.

— Если наши войска дрогнут, траншея эта будет служить им опорой, чтобы прийти в себя и опять броситься на турок.

Но опоры не понадобилось.

Увлечение солдат росло. Они крушили все на своем пути. За укрепленным лагерем попался им редут... Никто не знает, вскакивали ли сюда первыми те или другие солдаты, полк как будто прошел через редут, не останавливаясь в нем; минуты остановки не было, а между тем позади, когда угличане шли на следующий, остались между брустверами груды тел и раненых. Оказывается, что защитники редута были перебиты штыками... Налево был другой редут, сильнее. Взять его с фронта было невозможно. Батальон казанского полка обошел его с тыла, и так неожиданно кинулся на турок отсюда, откуда его никто не ожидал, что таборы бросили оружие и в ужасе только подымали руки вверх, крича навстречу нашим солдатам: «Аман! Аман!».

Еще два редута было взято штыками... В следующем турки, заметив, что наши их обходят, бросились было все

на угличан, но казанцы развернулись в длинную линию и открыли огонь такой, что редкий из турок спасся. В этом единственном случае наши стреляли. Повторяю еще раз, вся работа 28 декабря была сделана штыками. Поэтому и потеряли мало. Я нарочно останавливаюсь на этом, чтобы показать, до какого идеального совершенства Скобелев довел своих солдат. Солдат, атакующий врага без выстрела,— образец дисциплины и выдержки. Трудно поверить, какой соблазна стрелять по неприятелю, а не ждать штыкового боя... Хотя за закрытием редутов ружейный огонь наступающего врага приносит очень незначительный вред обстреливаемым.

В два без четверти деревня, со всеми укреплениями, была взята.

Движение угличан и остальных на правом фланге было гениальной диверсией Скобелева. Он сначала массировал свои войска на левом фланге и упорно повторял атаки там. Затем, заметив, что турки сосредоточили свои силы против нашего левого фланга, он внезапной переменой фронта перешел в наступление с правого. Таким образом, турки были не только обмануты, но обнажили и обессилили ключ своих позиций. Без этого блестящего хода игра этого дела, пожалуй, не могла бы быть выиграна, и турецкой армии не был бы дан этот последний и решительный шах и мат. После блистательных атак Скобелев выстроил перед Шейновым владимирский полк и во главе его уже сам хотел нанести туркам решительный удар в центре.

— Ну, братцы, за мной теперь. Ваши товарищи честно сделали свое дело, кончим и мы как следует!

— Постараемся...

— Смотрите же... Идти стройно... Турки почти уже разбиты... Благословясь, с Богом!

Солдаты сняли шапки, перекрестились. Оркестр заиграл марш, и под звуки его стройно двинулись в атаку. Настроение солдат было действительно восторженное. Шли смело, блестяще, отсталых не было...

Не успели мы доехать до лесу, как навстречу нам стремглав скачет ординарец Скобелева — Хараинов, без папахи, и издали еще машет рукой. А подъехал — говорить не может от усталости.

— Ваше-ство... турки подняли... белый флаг...

— Как, где?... Не может быть так скоро... Ну, господа, за мной скорее!

VIII.

Я до сих пор не могу забыть этого безумного, радостного чувства победы. Несешься вперед, дышишь полной грудью, и все-таки кажется, что воздуха и простора мало... Скобелев рвет шпорами бока своему коню... Конь стрелой мчится вперед, а генералу все кажется медленно. Ветви ему хлещут в лицо... Не чувствуешь даже, как позади остаются ручьи и овраги. В одном месте брызнуло водой — даже не моргнули... Вперед и вперед... Из рядов несется радостное, торжествующее «ура» владимирцев, бегом следующих за генералом... Не замечаешь трупов, разбросанных по сторонам. Уже потом, анализируя пережитые ощущения, смутно припоминаешь, что чуть не из-под копыт коня поднимались какие-то люди с простреленными грудями, с окровавленными головами, протягивали к тебе руки... Приходят на память другие, схватившиеся друг с другом, да в момент смерти так и закалились... А там, в горах, еще не знают... Там еще идет бойня, люди падают, умирают, мучаются, дерутся...

— Вся ли армия сдается? — голос Скобелева стал хриплым каким-то.

— Таборов десять бежало!

— Харанов! Стремглав сейчас же к Дохтурову... Слышите?.. Пусть кавалерию вдогонку... Чтобы ни один человек не ушел у меня. Поняли?

И еще глубже шпоры вонзаются в белую кожу коня, и еще бешенее мчит он генерала вперед и вперед.

— Имею честь поздравить ваше-ство! — наскокивает какой-то офицер.

— С чем?

— Казачий № 1 полк под началом самого Дохтурова обскакал бегущих турок с тылу, бросился в шашки, несколько сот положил на месте и взял в плен...

— Сколько? — нетерпеливо перебивает генерал.

— Шесть тысяч человек.

— Спасибо... Счастливый день.

Впереди — депутация нам навстречу. Доктор и санитары со знаками красной луны. Высоко над головами держат они большие листы бумаги — женевские свидетельства. Около наши солдаты толпятся.

— Пусть убирают своих и чужих раненых... Обещать полную безопасность... Солдаты! Это не пленные, слышите?

— Слышим, ваше-ство!

— Это свободные люди... Доктора! Они будут помогать и нашим, и туркам, поняли?.. Они — друзья наши... Смотрите же у меня, не обижать.

И опять безумная скачка вперед... Тут уже груды трупов... Массы раненых... Опушка — громадная долина... Мы останавливаем коней...

Вспоминаешь ли ты, недвижно лежащий теперь под этим парчовым покрывалом, ты, сомкнувший зоркие очи свои, эту минуту счастливого торжества, когда так легко дышалось тебе, когда, казалось, весь простор перед тобой был тесен для твоего счастья... Где твоя сила, где эта мысль, быстрая, как молния, и могучая, как она?.. Хотелось взять его за плечи... Крикнуть прямо в это мертвое лицо... Победа, генерал, победа!.. Но, увы! Он уже не шевельнется на знакомый привет, и восторженное «ура» торжествующих полков уже не способно зажечь этот тусклый, из-под опущенных ресниц, едва-едва светящийся взгляд...

Душно... Душно... Тоска давит, плакать хочется над тобою... Кто уложил тебя так рано, тебя, перед которым в бесконечную даль уходили подвиги, торжества?.. Тебя, венчанного славою, тебя, так рано узнавшего ее тернии...

Хороша была эта долина, рядом у опушки оставленного позади леса, открывшаяся перед нами... Вон налево руины Шипки, под грозными массами крутых отсюда и резко очерченных Балкан... Вон внизу на холмах целый фронт редутов... Из-за их брустверов видны солдаты, тускло мерещутся штыки... Но это солдаты наши и штыки наши. В других еще стоят красноголовые турки, но уже молча, сложив свои ружья... Залпы только гремят еще на вершинах шипкинского перевала.

— Где же белый флаг? — нетерпеливо спрашивает Скобелев.

— Правее!

Там за рекой — правильные колонны каких-то войск... Там еще туман. Не разобрать в его желтоватом освещении, свои или чужие...

— Была не была, едем! — Скобелев решительно дает коню шпоры.

Вода ручьями брызжет из-под копыт лошадей, прямо в лицо нам... С того берега гремит «ура» — наши!..

— Где же белый флаг? — кидает им с ветру, с бегу Скобелев.

— Позади, ваше-ство!

Мы проскакали мимо... Опять бешеный карьер... Вот редут, сплошь заваленный мертвыми и ранеными... Вон большой холм, точно сахарная голова. Снизу вверх спирали траншей... Не видать земли, все усеяно красными фесками... Ярко, пестро. С верхушки во все стороны грозно смотрят крупновские орудия, выше их еще медленно разворачиваются и полощутся в воздухе два белых флага.

— Мерзавцы! — срывается с губ у Скобелева.

— Кто мерзавцы?.. — удивляюсь я.

— Разве можно было сдать такую позицию...

— Да и защищать нельзя... Обошли кругом...

— Защищать нельзя... Дратся можно, умереть должно!..

Как будто из тумана выдвигается фигура какого-то офицера... Он подносит Скобелеву саблю пленного паша...

— Кто командует?..

— Вейсиль-паша!

— А Эйюб?

— Эйюба давно нет!

— Как он сдался?

— Без всяких условий... На милость победителя!

— На милость?..

— Точно так!

— Возвратить сабли пленным, свято сохранить их имущество, чтобы ни одной крохи у них не пропало... Предупредите, за грабежи буду расстреливать!..

Навстречу кавалькада... Только не наши... Совсем не наши... И кепи чужие, и мундиры не те, к которым уже привык взгляд.

Впереди Вейсиль. Мясистое лицо с низко нависшими бровями. Суровое, некрасивое.

Скобелев подает ему руку и говорит несколько приветливых слов.

Турки мрачны. Им тяжело, невыносимо тяжело.

— Сегодня гибнет Турция, такова воля Аллаха! Мы сделали все!

— Вы дрались славно, браво... Переведите им, что такие противники делают честь... Они храбрые солдаты!

Им переводят...

— А все-таки мерзавцы, что сдали такие позиции! — заканчивает он про себя.

Отовсюду восторженные крики... Отовсюду стихийное «ура»... Лица солдат возбуждены, лучезарны.

— Спасибо, друзья, спасибо, товарищи... Спасибо, мои орлы! — кричит им Скобелев в свою очередь.

— Сколько у них было людей и пушек? — спрашивает он, кивая на пленных. Тем переводят.

— Тридцать пять тысяч войска и сто тринадцать орудий!

— И сдались!.. Хороши генералы...

Турки, сходя с редута, окружали нас сплошной стеной... В их массах слышалось: «Ак-паша, Ак-паша...» Все они нетерпеливо пробивались взглянуть на Скобелева.

— Что они говорят? — обернулся Скобелев к переводчику.

— Говорят, не мудрено, если их победили, русскими командовал ак-паша, а с ак-паша драться нельзя...

Наверху еще шел бой... Скобелев слушал-слушал и вспыхнул.

— Передайте наше: если через два часа турки в селении Шипка и на высотах не положат оружия, я их буду штурмовать и — никому пощады!

— Они сейчас же сдадутся!.. — струхнул Вейсиль...

Издали послышалась музыка: развернутый, под распущенными знаменами, подходил владимирский полк.

— Сейчас, сейчас...

— Я хочу им сам отдать приказание положить оружие... Господа, останьтесь здесь... Передайте туркам, что я сам еду с ними...

И Скобелев поехал, со всех сторон окруженный вооруженными турками.

Двое или трое следовало за ним из русских.

— Однако наше положение странно!..

— Ну, вот еще!..

— Да как бы вы поступили на месте турок? — спрашиваю я.

Скобелев расхохотался.

— Во-первых, на их месте я бы не был...

— Ну, а если бы?

— Разумеется... Сейчас бы в шашки...

Впоследствии, под Геок-Тепе, он сделал еще лучше. После штурма и взятия крепости Скобелев едет в еще не сдавшийся Асхабад. Ему навстречу семьсот текинцев в полном вооружении в праздничных костюмах — цвет текинского войска...

Скобелев обратился к ним с каким-то укором... Они изъявили свою покорность...

— А если вы попробуете восстать, то я вас накажу примерно...

— Текинцы никогда не лгут!..

— Если так, то, господа, не угодно ли вам ехать обратно... Передайте текинцам, что они составят мой конвой...

И свершилось небывалое. Генерал один, окруженный семьястами отчаянных врагов, верхом, поехал в Асхабад... Двадцать верст они сопровождали его...

И, разумеется, ни его прежние победы, ни страх его имени не могли ему создать такой популярности между ними, как эта победа...

С той минуты он стал кумиром всего племени текке.

IX.

Какая разница с Плевно. Там пленные долго оставались некормленными. Им пришлось жить на открытом воздухе, в грязи и снегах болгарской зимы. Здесь все было сделано, чтобы смягчить участь несчастных. Они ели вместе с нашими солдатами у котлов; накануне еще Скобелев отдал приказание:

— Заготовить в солдатских котлах двойной запас пищи!

Через три часа по сдаче турки уже получили ее, ночью они спали в землянках и редутах, а утром, под конвоем болгарского ополчения, их отправили в Габрово.

— Горе узнали мы потом, у Ак-паши горя не было! — говорили они.

Солдаты, усталые от боя, не ложась спать, готовили кашу туркам, наши офицеры разобрали турецких к себе и оказали им широкое гостеприимство, паши приютились у генералов. На Шипке не умер ни один пленный, в Плевно они умирали сотнями.

— Если хоть десятая доля такой заботливости встретит нас в России, наши семьи могут быть спокойны! — говорили они.

— Смотрите, ребята, турки теперь друзья вам! — говорил Скобелев солдатам.

— Слушаем, ваше-ство! — отвечали они.

— Нет большего позора, чем бить лежачего... А они теперь несчастные, лежачие... Так ведь?

— Точно так, ваше-ство!

— Пока у них были ружья в руках, их следовало истреблять; раз они безоружны, никто не смей их пальцем тронуть... Оскорблять пленного — стыдно боевому солдату...

И действительно, отношение скобелевских солдат к ним было искренне и задушевно.

Через день после боя вдоль Балкан, в долине Казанлыка, в две шеренги выстроились легендарные солдаты легендарнейшего из вождей... Одушевленный, счастливый, сняв шапку, мчался мимо них Скобелев.

— Именем отечества благодарю вас, братцы!.. — бросал он им свой привет.

— Урра! — звучало вслед ему, и фуражки летели в воздух, и в глазах этих новых легионеров русского цезаря было столько любви и преданности, что у Скобелева долго потом навертывались слезы на глазах.

Этот момент талантливый Верещагин В. В. выбрал для своей картины.

Потом, уже в Казанлыке, я встретил Скобелева.

Он был мрачен... Интриги опять начались кругом, но это уже достояние истории. Теперь я пока молчу о них... Пусть нечистая совесть его врагов при жизни и его друзей после смерти сама заговорит. Более беспощадной Немезиды нет и не будет.

— Разумеется, вы с нами? — обратился ко мне Скобелев.

— Да...

— Завтра я вступаю в Адрианополь...

— Разве отряд ваш отдохнул?

— Я сегодня объехал свои войска: спрашиваю, нужен ли вам отдых, братцы... хотите ли вы дать туркам время оправиться?.. — Никак нет, — ответили они. Ну и поведу их... У них есть свой point d'honneur...

— Именно?

— Им хочется раньше гвардии прийти... Куда прийти, не знают, потому что о существовании Адрианополя они узнали только теперь... Думают, что в Константинополь веду их...

— Да ведь в Константинополь мы и идем!

Скобелев вспыхнул.

— Да разве иначе можно?.. Иначе нельзя... Нужно дать России это удовлетворение... Мы можем остановиться только на Босфоре!

И остановились потом на Босфоре, только не дойдя до Стамбула!..

В Казанлыке Скобелеву не было ни минуты отдыха, да во время отдыха он и сам никуда не годился, становился нестерпимо капризен, всем недоволен...

Это была деятельная боевая натура, которую спокойствие утомляло гораздо более, чем самая кипучая, самая безотходная работа... Если не было дела, он выдумывал его... Любимую в то время поговоркою его было: «Россия не ждет, отдыхать некогда, отдых в могиле...» И действительно, он нашел свой отдых только под парчовым покрывалом, доставленным в отель Дюссо из Заиконспаского монастыря. Он боялся отдыха...

— Ничего так не развращает, как спокойствие; ничто так не обессиливает, как отдых!

Борьба была для него необходимостью, жизнью... Я думаю, все помнят, что он делал в редкие антракты между двумя походами, сражениями. Другие, высунув язык, падают, бывало; от усталости, а он сядет в седло да отмахнет на подставных лошадях карьером верст сто двадцать. Это у него называлось отдыхом. Вернется, обольется водой, проспит несколько часов — и опять свеж, опять готов на трудное предприятие... Или отправится куда-нибудь к офицерам своего отряда и вместе с ними и солдатами проводит целые дни. Для него в это время не было более задушевного общества. Кружок главных квартир тяготил его. Там не свое. Там он или спорил, резко, бесцеремонно обрывая фазанов, или угрюмо молчал. Отводил душу, только попадая к отцу. Тут или он трунил над ним, или старик прохаживался насчет сына...

— Ну, что хвост-то тебе обрубили наконец? — спрашивал отец, когда молодой Скобелев возвращался от Непокойчицкого.

— Нет!

— Жаль!

— Почему же жаль?

— А потому, что уж ты распустил его...

— Ты вот что... Денег не даешь, а смеяться смеешься...

— И не дам!

— Подожду я, отец, когда тебя отдадут мне под команду!

— Ну?

— Тогда я тебя за непочтительность под арест посажу...

И оба смеются...

Когда на Зеленых Горах Скобелева в ночь на 8 ноября контузило, приезжает к нему отец, Скобелев лежит в постели, больной совсем.

— Ну, наткнулся наконец... И чего суешься... чего суешься... — начал выговаривать старик.

— А все твой полушубок...

— Как это мой?

— Так твой...

Скобелев был очень суеверен. Накануне отец ему подарил черный, теплый полушубок, в котором его контузили — тотчас же. Через два дня он опять надел его — его контузили опять.

— Возьми, пожалуйста, свой полушубок... Ты дай мне лучше деньгами...

— Неужели ты веришь, что тебе полушубок этот принес несчастье?..

В Казанлыке отцу Скобелева дали отдельный отряд...

— Ну, чего, отец, ты ко мне вчера не явился?

— Как это? — удивился тот.

— Как являются к начальству, в полной парадной форме...

— Да, я ведь не к тебе под начальство!

— Жаль!..

— Почему это?

— По всей справедливости следовало бы!

Поздно ночью в Казанлыке возвращаюсь я к себе домой верхом. Ни зги не видно. Навстречу мне другой всадник. Улочка узенькая.

— Эй, кто там? — кричу я... Держи правей.

— Это вы?.. — называет меня по имени Скобелев.

Я тоже сейчас узнал его по голосу.

— Куда вы?

— А тут в одну деревню!

— Зачем?

— Попаду к рассвету... Хочу узнать, как моих солдат кормят теперь; как начнут варить им похлебку и кашу, я уже там буду... Ненароком. Поедем вместе!

И мы отправились.

Чем дальше, тем его заботливость о солдате росла все больше и больше. Он сердцем болел за него. И всякая несправедливость, нанесенная солдату, живо чувствова-

лась им, точно эта обида направлена была именно на него одного... Он бледнел, когда при нем рассказывают о том, как в такой-то дивизии солдаты голодают, как в другой их секут, как в третьей их изводят бесполезной муштрой...

Х.

Переход Скобелева от Казанлыка к Адрианополю навсегда останется в военной истории. Никогда еще не случалось пехоте совершать с такою быстротою походы, которые едва-едва под силу и кавалерии. Масса силы, воли и энергии, обнаруженная при этом случае генералом, едва ли привела бы к подобным результатам, если бы дивизия его не получила такого блестящего военного воспитания. Отдыхать ей совсем не пришлось. 28-го декабря была взята в плен армия Вейсиль-паши после утомительного перехода от Плевны к Габрову, трехдневного мучительного пути по Балканам и упорного сражения в долине Казанлыка. А первого января авангард скобелевского отряда уже выступил из этого города к Малым Балканам. Все это движение со дня падения Плевны носит головокружительный характер. Мы точно хотели вознаградить себя за долгие стоянки перед армией Османа. Главная квартира Великого князя помещается чуть не на аванпостах, наши войска, частью с запада, частью с севера, бесприменными переходами стремятся поскорее стать у ворот Константинополя...

— Вот такой поход по мне, это я понимаю! — говорил Скобелев. — Еще несколько дней подобного перехода, и нас никто не остановит. Мы докатимся до Босфора!

По всему этому пути то с боя брали турецкие позиции, мосты, железнодорожные станции, то занимали новые города, поспешно очищавшиеся турками. Кавалерийские отряды, стараясь осветить местность, уходили как можно дальше вперед, но, к крайнему удивлению их, вечером густые массы пехоты настигали всадников и располагались на ночлег в одних и тех же пунктах с ними. Одушевленные недавними победами войска скобелевского отряда делали чудеса. Михаил Дмитриевич, которого трудно было удивить чем-нибудь, рассказывал о них с восторгом.

— Чего нельзя сделать с такими солдатами! Помилуйте, Тырновский мост адрианопольской железной дороги один эскадрон нашей кавалерии атаковал так стремительно, что четыреста пехотинцев турецких не выдержали и отступили... Вообще напрасно думают, что кавалерия бессильна относительно пехоты... У меня на этот счет свои взгляды. Я в эту войну присмотрелся к способу действия кавалерии... В мирное время займусь ее маневрами, и в первую большую европейскую кампанию покажу, что может сделать с пехотою конница, хорошо приспособленная и умеющая пользоваться местностью. Говорят, что у нас кавалерии нет... Оно, если хотите, правда. Где же будет настоящая кавалерия, если все в ней сводится к тому, чтобы лошадь была в теле, подобрана как следует... Тут парад убивает дело... Но уже и теперь я знаю полки, совсем иначе действующие. Дохтуров вот понимает, что нужно делать.

Кавалерия на этот раз действительно показала себя. Она брала стремительной атакой уже горевшие мосты. Обскакивала отступавших турок... Становилась впереди обозов. Отхватывала целые поезда, с вагонами и локомотивами. Как только начиналось дело и на нее наседали турецкая пехота, откуда ни возмись являлись скобелевцы и поддерживали своих. Часто кавалерия врвалась в города, еще занятые турецкой пехотой, и не отступала от превосходящих сил ее, а держалась, зная, что через час, через два по пятам ее явятся свои и дело будет выиграно... Изумительные переходы этого периода прошлой войны, я думаю, до сих пор памятны и солдатам, и офицерам. Случалось, сделают тридцать — сорок верст и только что расположатся на отдых, как их опять двигают дальше. И при каких условиях совершал Скобелев этот поход. По пояс в грязи, под холодным дождем, в насквозь измокших шинелях. По пути то и дело встречались наполненные жидкою слякотью ямы и ухабы!.. Лошади отказывались служить, а люди все шли и шли, исполняя и за измученных коней трудную работу. Делая шестидесятиверстные переходы в день, сверх того еще таскали пушки... Один полк, например, только что добрался до Хаскиоя, только что было расположился на отдых, как вдруг — назад в Германлы. Вернулись в Германлы и провели часть ночи. Нужна была дневка, чтобы восстановить силы, как вдруг выезжает сам Скобелев.

— Поздравляю, братцы, с походом в Адрианополь...

Ни с каким другим генералом солдаты не сделали бы подобного... С ним, мрачные, сосредоточенные, усталые, но шли и шли... Когда уже слишком было трудно, тогда сходил с коня Скобелев, вмешивался в ряды... Раз после семидесятиверстного перехода силы у людей окончательно упали, а впереди явились сведения о движении таборов египетского принца Гассана. Скобелев подъехал к людям.

— Голубчики... Напоследок... Неужели же у самого Адрианополя да мы осрамимся...

Поднялись солдаты... Пошли... Ноги отказываются, едва-едва бредут.

— Товарищи... Ну-ко еще переход; вечером кашей накормлю...

И солдаты, смеясь, пошли так быстро, что не только изгнали Гассана, но еще отрезали у него хвост, т. е. захватили громадные обозы и сто верблюдов... Впоследствии они все были в дивизии у Скобелева.

— Это наши верблюды... Походные... Она животная добрая, настоящая солдатская скотина...— хвалили они верблюдов.

Одно, о чем заботился по всему этому пути Скобелев,— чтобы солдаты у него были постоянно накормлены. Всюду — на походе, в бою, в пустынном безлюдье и только что занятом городе — одинаково: горячая пища являлась в свое время, и люди ели до отвала.

— С ними все можно сделать, нужно уметь!

— Отчего же другим не удавалось делать такие переходы?

— Видите ли, душенька,— любимое слово Скобелева,— нужно, чтобы генерал пользовался громадным авторитетом у солдат, чтобы они его любили... Тогда сделаем все. А то и другое приобретается не сразу... И не даром. Раз это есть и в самом, сверх того, энергия ключом бьет, бояться нечего. Чудеса сделать можно... Понимаете, чудеса... Разве не чудо — сравнить пехоту с кавалерией. Никуда у меня кавалерия уйти не могла, чтобы полки ее мои не нагнали... А это для меня — практика...

— Для чего?

— А для того, чтобы в большой европейской войне неожиданно сосредотачивать и массировать войска в самых немислимых пунктах. Если придется нам схватиться с немцами, я всегда постараюсь против одной их дивизии

поставить своих две. А для этого нужно приучить солдат к неустойчивости... Ни расстояние, ни погода не должны его пугать... В этом залог успеха...

Когда отдыхал и спал Скобелев во время этого сказочного похода, неизвестно... Силы его отряда во всяком случае были так незначительны, что, помимо этих громадных переходов, солдатам, останавливавшимся на ночлег, приходилось еще окапываться...

— Чего же торопиться так? Три дня не сделали бы разницы! — спрашивали его.

— Как?.. По другую сторону Марицы, параллельно с нами, шли таборы Абдул-Керим-паши... Адрианополь являлся, таким образом, призом, который достанется быстрейшему. Явятся они раньше, засядут в адрианопольские форты, и тогда прощай надежда на скорое окончание войны!.. Тут расседать коней некогда!

Движение это было столь быстро, что воображавшие встретить русских только в Казанлыке Сервер и Намык-паши пришли в ужас, встречая массы беглецов по дороге.

— Где москов? — спрашивали они.

— Москов близко!

Наконец в шестидесяти верстах за Адрианополем Намык и Сервер, пораженные, наткнулись на аванпосты Скобелева.

— Чей отряд? — спросили у своих.

— Ак-паши!

До того это было неожиданно и так потрясло старика Намыка, что он зарыдал, откинувшись в глубь кареты... Через час к ним подъехал почетный конвой от Скобелева. Генерал принял их у себя...

— Не хотят ли паши отдохнуть и переночевать здесь? — обратился он к ним.

— Нет, нет... Ни за что!

— Почему же?

— Если мы остановимся на ночь, то вы будете уже за Адрианополем... А когда мы доедем до главной квартиры, то вы и к Стамбулу подойдете!

И действительно, не успели наши добраться до главной квартиры, не успели выслушать условий перемирия, первым пунктом которого была сдача Адрианополя, не успели они еще расположиться на отдых, как их разбудил, кажется, полковник Орлов.

— Что такое? — всполошились те.

— Великий князь, главнокомандующий, приказал сообщить вам, что уступка Адрианополя больше уже не требуется...

— Что значит это?

— Сегодня утром Скобелев уже занял Адрианополь!

— Этого не может быть. В Эдирне, верно, уже Сулейман...

— Сулейман разбит и бежал в Фракийские горы!

Скобелев торжественно вступил в Адрианополь. Массы народа высыпали ему навстречу. Цветы и венки летели под ноги его коня. Болгарки, осиротевшие после казненных и убитых отцов, мужей и братьев, прорывались к нему, целовали ему руки и ноги, тысячи благословений слышалось кругом... У самого города генерал обратился к своим войскам:

— Я надеюсь, братцы, что вы не опозорите себя здесь самоуправством. Нас принимают как друзей, и мы должны себя держать как друзья. Не смей ничего и не у кого трогать... Если найдутся между вами люди, способные красть и грабить, чему я не верю, не хочу верить, я без церемоний расстреляю их... Но я знаю, что этого не будет... Солдаты мои не способны на это!..

— Рады стараться, ваше-ство!

— Первое время вас поместят в дома, из которых, пока население не привыкнет к вам, не выходите...

И действительно, солдат первый день не видно было вовсе на улицах города.

Запертые лавки открылись, спрятанные товары появились на прилавках, торговля закипела вовсю. Население города благодарило войска за изумительный порядок, прислало солдатам всевозможных припасов. Через два дня, когда солдаты стали уже ходить по городу, их всюду принимали как друзей. В некоторых лавках отказались принимать у них деньги. Солдаты насильно отдавали их.

— Бери, бери, нечего.. Мы, брат, свои... Не говори потом, что братушко обидел тебя... У нас, брат, на это строго...

Две недели порядок в Адрианополе не нарушался вовсе...

Ни одного грабежа, ни одной кражи, ни одной драки в городе... Ни разу и никто не явился с жалобой на солдат... «Нам и при турках не было так хорошо. Еще никогда торговле и промышленности так не покпро-

вительствовавали в Эдирне!» — говорили адрианопольцы. Ушел Скобелев, город заняли другие отряды, и недавнее спокойствие сменилось совсем другим.

Это, впрочем, не входит уже в программу нашей книги...

— Спасибо, братцы,— говорил Скобелев своим полкам, оставляя Адрианополь.— От души спасибо. Вы высоко подняли честь русского солдата... Вы доказали, что мирному населению вы не враги, а друзья, что вы защита каждому, кто не идет на вас с оружием в руках... Спасибо вам, страшным в бою и добрым на отдыхе!..

— Ну, полдела кончено! — говорил он в Адрианополе.— Мои солдаты имеют полное право гордиться этим переходом от Казанлыка сюда... И главное, знаете, почему?

— Быстротою и стремительностью?

— Этого мало... При быстроте и стремительности мы не растеряли солдат... У нас не было отсталых... Скажите, пожалуйста, встречали моих солдат или струковских кавалеристов позади?

— Нет!

— Вот оно и есть... В таком походе — и отсталых нет... Пришли в Адрианополь — больных не оказалось. Вот почему я и мои солдаты можем гордиться этим эпизодом. А теперь давай Бог поскорее добраться до Константинополя.

XI.

Адрианополь, турецкое Эдирне, до сих пор мерещится нам какою-то далекой поэтической грезой... Это — город изящных Джамий, венчаный, словно короной, мечтью Селима, с ее четырьмя минаретами. Это — мусульманская Москва, вторая столица султанов, полная для оттоманского народа воспоминаний о прежнем блеске и славе... Мы въезжаем туда с понятным волнением. Скобелев там остановился в доме Амед-Юнус-бея — пустом, оставленном его жителями. Хозяин, известный предводитель башибузуков, один из ренегатов, бывший христианин, теперь озлобленный, ненавистный христианам турок, палач мирного населения, разумеется, не имел права рассчитывать на любезность русских. Зато дом его был идеалом восточного жилья. Невиданную до тех пор роскошь обнаруживал этот мусульманский палаццо, с его

переполненными тропическими растениями, зимними садами, мраморными залами, поэтическими фонтанами, полными тишины и неги кельями гарема, зеркальными стенками и красивыми лестницами. Лепные и расписные потолки смотрелись в кристальные воды внутренних бассейнов, тропические цветы, орошаемые алмазной пылью фонтанов, распространяли тонкое благоухание по широким залам... Скобелев выбрал ту самую простую комнату, в другой поместился его штаб. В Адрианополе отдыха было мало. С первого же дня делались поездки в окрестности, рекогносцировки в Чорлу и Гадем-Кюй. Сверх того, возня с консулами и администрацией турецкого города тоже не мало отнимали времени у Михаила Дмитриевича. Тут он, в первый раз и совсем неожиданно для главной квартиры, обнаружил свои административные способности. Короткий период его управления Адрианополем был замечателен в полном смысле слова. Потом, начиная от последнего мусульманского бегуша и кончая банкирами и капиталистами Эдирнэ, все вздыхали о нем.

— При ак-паше было гораздо лучше. Ак-паша не давал нас в обиду...

— Скобелев справедлив. Для него нет своих или чужих... При нем никаких недразумений не случилось!

Здесь же Скобелеву пришлось расстаться с оригинальным ординарцем из турок. В шейновском бою он спас от смерти молодого турецкого офицера.

— Куда мне деться? — спросил тот.

— Пусть едет за мной!

Тот и остался при Скобелеве. Мы много смеялись, видя, с какой важностью турок следует всюду за генералом, не оставляя его ни на шаг. Потом оказалось, что он серьезно привязался к Михаилу Дмитриевичу. Он не отставал от него, как не отстает собака от господина, шел по пятам. В Казанлыке он был всюду, где был генерал. В конце концов он стал передавать поручения туркам, собирать всевозможные сведения, справки... Сделался совсем ординарцем.

Стали его было спрашивать о позициях турок в шейновском бою — отвечает охотно. Сам указывает, куда лучше идти, откуда удобнее атаковать.

— Вот патриотизм!.. — злился Скобелев. — А ведь храбрый офицер был. С превосходными солдатами и такими офицерами турецкая армия далеко не уйдет.

Бросьте — не спрашивайте его... Офицер не должен быть лазутчиком!.. А впрочем...

И Скобелев расхохотался, поймав себя на сантиментальности.

Тотчас же он чудесно воспользовался сведениями, сообщенными ему турками...

— Их нельзя судить с нашей точки зрения!

Тем не менее меня интересовал этот субъект. Я через переводчика по окончании боя обратился к нему с вопросом: «Как он может служить врагам своего отечества?»

— Потому, что это ак-паша... А ак-паше всякий служить поставит себе за честь... Таких генералов нет... И по Корану выходит то же!

— Вот те и на... Это же каким образом?

— Коран говорит: победителю повинуйся... Нет силы высшей, как сила меча!

В Адрианополе было полное убеждение, что Турция уже не будет, что все ее европейские провинции присоединятся к России. Когда Скобелев созвал к себе улемов, они ему ответили то же, что и ординарец из турок ответил мне.

— Мы обязаны повиноваться победителю! — говорили они.

— А если Адрианополь отдадим болгарам? — возразил Скобелев.

— Болгары нас не завоевали, и по Корану мы восстанем и истребим их... Нас завоевали русские силою меча, и они только имеют право быть нашими господами...

— И если они будут так же справедливы, как ты, — отозвался седой как лунь старик, — то мы благословим Аллаха, карающего нас... С русскими жить можно!

— Ничего не тронул, ни имущества нашего, ни наших жен. Когда армяне и греки вздумали было вместе с болгарам обидеть нас, воспользоваться нашим достоинством — ты вступился за турок, ты стал нам защитой. Пусть белый царь отдаст тебе в управление этот Вилает — мы ничего не хотим больше!

— Сами турки не верят, — говорил Скобелев, — что мы когда-нибудь вернем им Адрианополь... Неужели мы его не удержим за славянами?.. Этого не может быть...

Потом я встретил его на фортах Адрианополя... Адрианополь укреплен гениально, и если бы Сулейман, или Абдул-Керим, или Вейсиль, отступая, заняли их,

здесь бы выросла такая Плевна, что первая, остановившая нас на шесть месяцев, поблелела бы перед нею. Их всех двадцать семь, и они расположены правильным фортом вокруг города, на ружейный выстрел один от другого. Каждый полк, который двинулся бы в атаку, подвергнулся бы огню, по крайней мере, двух такных редутов. Они поразили Скобелева удивительным приспособлением к местности... «Вот мастера-то...»; «Вот гениальные инженеры!» — повторял он, осматривая их.

— Не так, как у нас!..

— Почему?

— А потому, русский инженер начнет строить, вперед можно знать — по книжке выстроит... Как в книжке, так и у него... А тут и форму, и расположение форта определяет не книжка, а местность.

И действительно, мы видели здесь и четырехугольные, и овальные, и вытянувшиеся длиною волнистою линией. Везде чистота и изящество работы было удивительное. Всюду каменные траверсы, рассчитанные так, что, откуда бы не был огонь, ни орудия, ни склады, ни люди не подверглись бы малейшей опасности... Из каждой амбразуры открывался обстрел дороги, лощины, гор. Амбразуры были прорезаны так, что полоса обстрела могла быть определена произвольно. Насыпи башенных редутов были сделаны в совершенстве.

— Лучше нельзя... Лучше нельзя... — повторял Скобелев. — Посмотрите, у них каждый форт имеет свою физиономию. Нет рутинных утвержденных чертежей. Простор частной инициативы талантливых инженеров полный!.. Посмотрите-ка на № 5-й... Он вытянут извилиной по узкому гребню горы. С одной стороны он обстреливает Марицу и ее берега, с другой — все эти оставленные и разоренные деревушки. Каждая извилинка его даст новое направление огню...

— Как можно сдать такие позиции?.. — злился Скобелев. — Знаете... Досадно, что Сулейман не занял их...

— Вот-те и на...

— Вы меня не поняли... Я рад... Но инстинкты военного — совсем иное... У меня сейчас же вот явилось желание взять их боем... Какая слава!.. Взять штурмом такой редут — не то что плевенский...

И, воодушевшись, он начал уже располагать войска, указывать пункты, откуда бы он начал атаку, подступы,

по которым бы повел он ее, овраг, который бы дал ему возможность укрыть резервы и предпринять обходные движения...

— Они воображают, что этого редута нельзя разгромить артиллерийским огнем... А я бы вон там поставил дальнюю батарею... Отсюда бы мог подходить тихой сапой... Рылся бы, рылся. Нос к носу стал, а там — первая удобная ночь, «ура», и в штыки...

И план за планом так и посыпались у Скобелева...

Ничего — ни малейшей неровности местности, ни малейшего пригорка — не упускал его зоркий глаз... Невозможное действительно становилось возможным и недоступное — доступным.

— Верьте мне, при хороших войсках и опытных генералах и офицерах — нет неприступных крепостей... Гибралтар можно взять, не то что эти форты... Разумеется, если уверить себя, что этого вот нельзя, так и ум утратит силу... Прежде всего нужно иметь дерзость, при знаниях и таланте, — а остальное все приложится... Расчет и дерзость. Масса войск, превосходное оружие, чудесная артиллерия... Вот видите, лошина...

— Вижу.

— Вот этой лошиной я бы в тыл к ним пробрался и стал хозяйничать. Еще раз повторяю: нет неприступных позиций... Решительно нет. Бывают позиции, которые требуют слишком много жертв, так что овчинка не будет стоить выделки. Это верно. Но если уж говорить о принципе, так всякую позицию взять можно... При современном состоянии вооружения Измаил был совсем неприступен, а расчесал же Суворов турок и взял крепость!

ХII.

Из Адрианополя Скобелев двинулся на Чатальджу.

— Если это этап, дневка, я готов помириться, но если после придется остановиться, не дойдя до Византии, то готов извериться во всем. Посмотрите, что это за чудесная страна. Со времен Олега русские стремились сюда... Неужели же мы остановимся у цели?

И действительно, чудную страну проходили мы.

Стоял еще январь, а уже безоблачные, голубые небеса благоговейною тишиною веяли на еще не проснувшуюся землю.

Сады и рощи стояли безлистые, но в воздухе уже изредка проносился тонкий аромат каких-то ранних цветов... Города и села поражали нас художественной пестротой. Тонкие минареты стройно рисовались в прозрачном воздухе, арки мечетей красиво изгибались над прохладными входами, за которыми густился загадочный мрак, едва-едва озаряемый маленькими лампочками турецких мечетей. Плоские кровли казались ступеньками каких-то чудовищных лестниц, разбегавшихся во все стороны. Ветер нес навстречу теплые волны иного, не нашего воздуха, немного ласкающего. По ночам откуда-то доносилась нервная, печальная, вздрагивающая песня мусульманского юга, и из-под низко опущенных покрывал порою женщины метали на нас то полные ненависти, то сверкающие любопытством взгляды... Зеленые чалмы и халаты мулл, красные куртки албанцев, пестрые накидки молодежи — все это сливалось в какой-то яркий, красивый калейдоскоп... По вечерам, когда утихал гомон многотысячной толпы, издали доносилось меланхолическое роптание фонтанов... Кристальные струи, выбегая из желобов, сделанных в мраморных, золотую вязью покрытых досках, падали в такие же мраморные водоемы. В одном месте, по пути, Скобелеву прислали букеты, неведомо как собранных цветов... Еще не пришла их пора, и таких в окрестностях не было.

— Откуда это?

— Благодарность... От турецких женщин...

— От каких турецких женщин? — изумился он.

— От женщин Казанлыка, Эски-Загры и Адрианополя... За то, что честь их не была нарушена, за то, что неприкосновенность гаремов свято соблюдалась вашими войсками!

«Совершенно напрасно, русские ведь с женщинами не воюют!..»

Скобелев, далеко не равнодушный к прелестям природы, восхищался этими местами по-своему.

— Какие позиции! — восклицал он. — Вот где Турция должна была бы защищать свою неприкосновенность. Первая линия защиты — Дунай, вторая — Балканы,

третья — Малые Балканы и четвертая здесь... Если бы у них было так организовано, долго еще война бы не кончилась...

По пути он вел упорные споры с окружающими по совершенно отвлеченным вопросам, скакал в карьер и злился на возможность того, что дальше Чатальджи мы не двинемся.

Только что приехав в Чатальджу и получив приказание не двигаться дальше, он ночью, с одним ординарцем, отправился тайком на нейтральную полосу. Произвел рекогносцировку Гадем-Киойских позиций и всей местности, так что, не удайся перемирие, найди турки войска, чтобы поставить их здесь, Скобелев уже имел бы понятие о том, как отбить эти позиции, как вести атаку на них... В то самое время, когда, глубоко веруя в ненужность дальнейших военных действий, все успокоилось, полковник Гродеков вместе с генералом сняли планы этой линии и изучили все ее детали...

После Адрианополя я уже мог любоваться только на Константинополь. На остальное не хотелось и смотреть. В памяти вставала все время чудная картина Эдирне, только каким я его видел в последнюю минуту, когда только что поднявшееся солнце облило розовым заревом свои мраморные мечети этой мусульманской Москвы... Точно окрашенные румянцем крови, висели над городом четыре грациозных минарета Селима... Вспоминались и серые силуэты башен Эски-Серая и развалины римской крепости... Тянуло опять назад...

Чатальджа в трех верстах от станции железной дороги. Отряд весь расположился кругом, в самом городе, дома тотчас же переполнились массой офицеров, штабов канцелярий... Не прошло нескольких дней, предприимчивые греки и левантинцы открыли здесь бесчисленные кафе, еще немного погодя чуть не в каждой улочке закрасовались рестораны, а еще спустя немного из Царьграда налетела международная саранча — девицы легкого поведения, немки, француженки, итальянки, армянки, гречанки... Войска, натерпевшиеся от невольного поста в Болгарии и на Балканах, стали отводить душу всюю. Червонцы тратились щедрою рукою, вино лилось всюду, от генерала до прапорщика, — всем жилось весело... Как вдруг, слов-

но гром грянул над отрядом, разнеслась весть о перемирии.

— Неужели мы не займем Константинополь!.. — взволновался Скобелев.

Ему говорили о возможности коалиции... Он повторял свое:

— Слепому счастье служить... Мы не можем отступить. Это вопрос нашей народной чести... Мы не можем опустить своего знамени, мы можем подписать самый великодушный мир (пока великодушия я не понимаю), но подписать его в Византии!.. Это удовлетворение должно быть дано войскам. Следует занять Галлиполи — и не одно английское судно не прорвется к Босфору... Теперь или никогда... Прав тот, кто владеет!.. Европа не подыметя. Она вся уйдет на брюзжание и дипломатические угрозы!

— А если?

— А если... Вернее, что она только отхватит себе тоже клочок медвежьего ушка...

— Это невозможно... Я не верю, не хочу верить этому... Неужели нам, триумфаторам, старые девы дипломатии и публичные женщины биржи будут предписывать условия... Не может, не должно этого быть... Иначе почти стыдно быть русским...

— Будьте уверены, что проигрывают всегда малодушные и уступчивые...

— Уступка эта крута. Начнешь сбегать — не остановишься, пока внизу не окажешься... А нам уступать теперь, после блестящего похода, после стольких пожертвований... Полноте!..

Торжество перемирия здесь не было торжеством!.. Ему не радовались. Не радовались покою, отдыху, безопасности... Здесь предпочли бы новые побоища, только чтобы дело было кончено с честью для России.

Демаркационная линия и нейтральная полоса, представлявшие собою совсем пустынную и безлюдную местность, тянули к себе Скобелева... Деревни, на расстоянии этих пятнадцати верст, были очищены. Ни одного часового, ни одного солдата на редутах и фортах, ни одной старухи в селах. Только одичавшие голодные псы прятались в оставленных домах. А между тем турки могли смело гордиться укреплениями этой полосы. Даже адрианопольские уступали им...

Скобелев приходил в восторг от них...

— Вот бы этого строителя к нам... Это гений инженерного искусства.

Я слышал, что потом в Константинополе Скобелев познакомился с ним. Это оказался природный турок, Ахмет-паша, толстый, опухший, по-видимому, неподвижный... Полуграмотный турок, не знавший ни одного иностранного языка...

— Турки опередили в этом отношении даже европейское военное искусство. Они, в последние два столетия, вели только оборонительные войны. Было время научиться... С турецким Тотлебенем Скобелев сошелся отлично... Тот даже показал ему укрепления Константинополя и планы, еще имевшиеся в проекте.

— Как это удалось вам?

— А я подпоил его! Он, как и все турки, не совсем равнодушен к шампанскому!

Главный из фортов этой полосы, имевшей позицию Санджак-Тепе, был срисован самим Скобелевым...

— Знаете, этим ключом ничего не отопрешь!

— Почему?

— А потому, что добраться до него трудно, нужно взять пять больших фортов. А зайдем Санджак-Тепе, окажется, что этот ключ к замку не приходится вовсе, потому, что за ним такие же ключи...

Скоро выяснилось, что приказание остановиться на пути к Константинополю и не идти далее было получено из Петербурга... Оно вовсе не следовало из главной квартиры действующей армии. Потом его объясняли изменившимися политическими условиями.

— Жаль, что государя нет здесь при войсках!..— говорил Скобелев.

— Все равно. Дипломатия работала бы так же!

— Нет... Тут окружающая среда уравнивала бы влияние дипломатов.

— Им ведь все равно, дипломатам... У них своя наука, свои таинства. А у наших, сверх того, и отечества нет вовсе... Им главное, чтобы их считали не русскими варварами, а образованными европейцами. И ради этого они готовы на все... Вы их не знаете, а я рос с ними. Все эти господа — мои хорошие знакомые... Для них Россия — ноль. Нет более эгоистичной среды, как эта... Оно понятно — иностранное воспитание, вечно жизнь за границей!

— Да ведь и вы воспитывались за границей!

— У Жирарде, да!.. Но вы знаете, каково было мое воспитание? Не слышали?

— Нет!

— Сначала у меня воспитателем был немец — несправедливый, грубый, подлый... Положительно подлый. Я ненавидел его, как только можно ненавидеть... С тех пор уже немцы были мне не по душе. Потом как-то он ударил меня, тринадцатилетнего мальчика, при девочке, которая мне ужасно нравилась... Ударил без всякого повода с моей стороны. Я не помню, что я сделал... Вцепился в него и заостенел. А знаете ли, чему учил меня этот прохвост? Тому, что Германия для России все. Что все в России сделали немцы, что в будущем Россия или должна служить Германии, или погибнуть. Не было целого мира — была одна Германия... И ненавидел же я ее, от души ненавидел!..

— Это издавна у вас развивалось!

— Да!.. А потом отец прогнал немца, которого поставили ко мне, чтобы дисциплинировать меня, и который только ожесточил меня... Меня послали к Жирарде... в Париж. Вот противоположность-то! Я до сих пор люблю Жирарде, больше чем родных моих. Этот, напротив, учил меня любить родину, внушал, что выше отечества нет ничего на свете, говорил, что, как бы ни было унижено оно, нужно с гордостью носить его имя... Это был человек в полном смысле этого слова... В полном! После грубых ругательств и побоев я встретил мягкость, внимательность, деликатность. Мне если что и запрещали, то не с ветру, не потому, что так хотел воспитатель, а тотчас же объясняли, почему нельзя. Я с ним свет увидел... Я глубоко благодарен этому человеку. Он меня заставил учиться. Внушил любовь к науке, к знаниям... Вот в Петербурге или в Париже, я с ним познакомлю вас...

Увы, познакомиться с этим благородным воспитателем гениального вождя пришлось при иных условиях! Над изголовьем мертвого, над недвижным уже лицом Михаила Дмитриевича я увидел плачущего старика.

— Кто это? — спрашиваю.

— Жирарде! — отвечали мне...

И он пережил его... Он, больной старик, этого полного жизни и силы молодого человека!..

Нашу стоянку у Константинополя долго не забудут войска скобелевского отряда.

Со дня на день ждали приказа двинуться и занять Царьград. Турки уже очищали там свои казармы для наших войск.. Население готовило цветы и флаги, христиане поднимали головы, на азиатском берегу Босфора отделявали дворец для султана, и то только на первые дни... По его повелению готовились объявить столицей Оттоманской империи и его резиденцией Брюссу, до такой степени никто, даже с турецкой стороны, не допускал и мысли, что мы можем отступить от Константинополя. Ночью, по узким улицам Стамбула, низко опустив свои капюшоны, ходили патрули, потому что само оттоманское правительство хотело удержать народ от могущих быть при вступлении русских или на виду его беспорядков. Даже нашим врагам казалась дикою мысль остановиться у ворот столицы и не занять ее хотя на время... На берегах Босфора толпы солдат и офицеров стояли у пристани в ярком мареве чудного сказочного города, сверкающего впереди под полным тишины и неги безоблачным небом. У самых ног наших с поэтическим шумом разбивались голубые волны Мраморного моря. Белый маяк гордо высился из его пенистой массы... Дальше, в лазуревом просторе, сияли полные невиданной до того роскоши острова Принцевы, далеко-далеко за Мрамарой чуть мерещился азиатский берег своими снеговыми вершинами. Можно было бы подумать, что это серебряные облака, если бы они не были так неподвижны... А прямо на север раскидалась Византия, с ее бесчисленными мечетями и дворцами. Та Византия, о которой так мучительно, словно задыхаясь на безграничном просторе, столько веков мечтала отыскивающая выхода к южному морю Россия, та Византия, к которой, правы или неправы, но постоянно стремились лучшие сыны славянского мира. Мы различали и беломраморные стены ее киосков, и тонкие минареты ее бесчисленных Джамий, и величавые купола Софии, Изедина, Омара, Мурада, Баязида, вокруг которых легкими кружевами нависла резная, из камня, паутина... Десятки тысяч кровель и башен взползали на ее холмы и терялись в темных пятнах кипарисовых рощ, в зеленых облаках садов... Дивным сном каким-то казался этот

Рим европейского Востока, этот Рим славянства, за который пролилось так много слез и крови, так много слез, что казалось, слейся вместе,— они бы затопили его до самых верхушек мусульманских храмов, до самой башни Сераскериата и Галаты... По ночам туда же обращались восторженные взгляды — мириады огней зажигались на этом берегу, точно какое-то легендарное чудовище лежало там у тихих, ласкающихся волн Босфора, сторожа его своими бесчисленными, пламенными очами... Мы постоянно ездили в Константинополь. Военные надевали, разумеется, штатское платье, представляя что-то до такой степени нелепое, что при одном виде друг друга принимались неудержимо хохотать... Я уже жил в Гранд-отеле «Люксембург»... Рано утром, я еще был в постели, как кто-то постучал ко мне.

— Войдите!

Смотрю, Скобелев в штатском платье.

— Вот каким образом русские генералы должны появляться в завоеванном городе... Я, знаете, все-таки не верю... Мне кажется, что даже наша дипломатия наконец опомнится... Я со дня на день жду приказаний вступить в Константинополь...

— Говорят, наши войска не готовы!

— Не знаю, чьи это наши. У меня под ружьем сорок тысяч. Я через три часа могу быть здесь... Позор, стыд!..

Как это ни странно, могу засвидетельствовать, что я в св. Георгии (около Византии) видел, как Скобелев разрыдался, говоря о Константинополе, о том, что мы бесплодно теряем время и результаты целой войны, не занимая его.

— Теперь уже нельзя занять, после мира...

— Какой это мир!.. Разве такого мы вправе были ждать... Вы увидите, что ценою нашей крови мы дадим все врагам России и ничего не получим сами. Я предчувствую, что все выиграет Австрия и враги славянства. Наконец, чего они стесняются? Я прямо предложил Великому князю самовольно со своим отрядом занять Константинополь, а на другой день пусть меня предадут суду и расстреляют, лишь бы не отдавали его... Я хотел это сделать, не предупреждая, но почему знать, какие виды и предложения есть. Может быть, это и так случится!..

Действительно, когда даже турки вокруг Константинополя возвели массы новых укреплений, Скобелев не-

сколько раз делал примерные атаки и маневры, занимал эти укрепления, показывая полную возможность овладеть ими без больших потерь. Раз таким образом он ворвался и занял ключ неприятельских позиций, с которых смотрели на него аскеры, ничего не предпринимавшие. Порою Скобелев тогда живее других чувствовал всю нелепость нашего великодушия или трусости, называйте, как хотите, живее потому, что лучше всех понимал, что действительную силу на всякого рода конгрессах нам может дать только обладание Константинополем.

— Я бы созвал сюда конгресс и сам бы председательствовал на нем. А вокруг триста тысяч штыков на всякий случай... Тогда бы и разговаривать можно!

— А если бы Европа пошла против нас?

— Бывают в истории моменты, когда нельзя, даже преступно быть благоразумным, т. е. слишком осторожным. Наша честь не позволяет нам отступить. Нужно еще несколько столетий ждать, чтобы обстоятельства сложились так же выгодно, как теперь... Вы думаете, бульдоги полезут воевать с нами... Никогда. Они много-много, что сорвут куртаж в виде клочка Сирии... Да, наконец, теперь и рассуждать некогда. Мы здесь — это наше... И защищать это свое мы должны до последней капли крови.

— Вы же не думаете, чтобы теперь же Константинополь сделался русским городом!

— Я не дипломат... Я не знаю, почему бы ему не быть вольным городом с русским гарнизоном... А относительно коалиции — не так легко ее составить, как вы думаете. Во-первых, некому пока и невыгодно воевать с нами... Разумеется, если мы станем малодушничать, так до коалиции доплетемся. А пока я не вижу ее необходимости... Представьте, что бы сказала Европа, если бы в виду ее требований, оскорбительных для нашей народной чести, государь обратился бы к своему народу...

— То есть как?

— А так... Созвал бы своих и сказал: довел я русское дело до конца, теперь вся Европа на нас ополчается. Отдаю дело в ваши руки... Какой бы взрыв патриотизма последовал, какие бы невиданные силы явились... И не отступились ли бы сантиментальные девы европейской дипломатии от нашей народной воли, от нашей защиты своего противу всяких покушений...

Говоря, что он не дипломат, Скобелев был очень скромн. В Константинополе он так сумел сойтись с Лейярдом, что неведомо какими путями, но знал всю подноготную английских разведчиков, надежд и происков. Лейярд, этот враг наш по преимуществу, души не чаял в Скобелеве, английская колония Константинополя носила его на руках... Он был кумиром даже женщин, принадлежащих к этой колонии. Они все были за него...

— Я должна сказать откровенно, что ненавижу русских! — встретила его одна из них, когда Скобелева познакомили с нею.

— А я — в красавице вижу только красавицу... И преклоняюсь перед нею, не думаю, к какой нации она принадлежит! — ответил ей Скобелев.

Потом эта самая леди (очень влиятельная) бегала за ним, как собачонка.

На завтраках у Скайлера, на обедах у Лейярда Скобелев познакомился с англичанами и вывел одно:

— Они сами боятся, они сами не готовы к войне вовсе... Они, как азартные игроки, будут решительны, но только до решительного момента. Когда он настанет, они на все пойдут...

В этот день, когда он посетил меня в Константинополе, он был особенно взволнован.

— Нам остается одно, — говорил он, — или перейти в разряд второстепенных держав и потерять все свое значение, или же — пойти на все... Иногда поражение не бывает так пагубно, так ужасно, как сознание своего унижения, своего бессилия... Вы знаете, если мы теперь отступимся, если постыдно сыграем роль вассала перед Европой, то эта победоносная, в сущности, война гораздо более сильный удар нанесет нам, чем Севастополь... Севастополь разбудил нас... 1878 год заставит заснуть... А раз заснув, когда мы проснемся, знает один Аллах, да и тот никому не скажет!

— Скверно, скверно. Под Плевной лучше себя чувствовал я, чем теперь. Душно, выйдемте на улицу... Пойдем завтракать к Мак-Гахану!

Я оделся, мы вышли...

Не успели мы сделать нескольких шагов по Grande rue de Pera, как навстречу нам — что-то совсем необычное по платью. Красная феска на голове, разорванный русский офицерский сюртук, сверху офицерское турецкое

пальто. Скобелев даже забыл, что он представляет собою в данный момент мирного штатского.

— Это что, кто вы такой?..

— Пленный... русский.

— Не стыдно ли вам так одеваться?.. Не стыдно ли... Уж если выходите, то не надевали бы на себя неприятельского мундира... Срам!.. И это русские...— обернулся он ко мне, когда мы подходили к Hotel d'Angleter, где стоял Мак-Гахан.

— А знаете...— немного спустя обернулся он ко мне.— Может быть, ему, бедному, просто нечего надеть было... Я ужасно каюсь в своей вспышке... Как залезешь в душу к пленному?.. Настрадался он здесь, поди. За что я его оборвал?

— Мне ужасно стыдно! — заговорил он опять, уже у Мак-Гахана.— Сделайте ради меня, о чем я вас прошу! — обратился он ко мне.

— Что вам угодно?

— Сколько у нас всех есть денег... У меня несколько золотых, это мало. Впрочем, я еще займу у Мак-Гахана!

Взял у того столько же, сколько у меня или больше, не помню...

— Съездите в Сераскериат, где наши пленные, там их трое или четверо офицеров и несколько солдат, и передайте им это...— И он вручил мне пятьдесят полуимпералов.— Главное, выразите им от меня сожаление... Скажите, что я извиняюсь... Вы это сумеете... Я бы сделал это — но мне в Сераскериате показываться нельзя!

Я сел верхом на первую попавшуюся лошадь, которые на улицах Константинополя заменяют извозчика, и поехал в турецкую часть города «Стамбул». До Сераскериата едва добрался. Массы войск собрались туда зачем-то... В Сераскериате обратился к чиновникам. Те сначала и ухом не повели, но, узнав, что я русский, моментально изменили свое обращение.

— Нужно разрешение от Реуф-паши, чтобы видеть пленных!

— А где Реуф?

— Уехал в Сан-Стефано к вашему главнокомандующему!

— Кто заведует пленными?

— Майор такой-то...

— Ведите меня к нему!

Толстый майор, неподвижный и флегматичный, даже и не слышал, кажется, что я ему говорю. Я повторил еще раз, та же история.

— Да говорит ли он по-французски? — оборачиваюсь я к провожатому...

— Нет!..

— Есть ли кто здесь, знающий этот язык?

— Есть даже хорошо владеющий русским!

Позвали этого. Оказался из наших крымских татар. Теперь офицер.

Он изложил мое требование «майору».

— Майор говорит, что нельзя!

— Передайте ему, что я отсюда не уйду до тех пор, пока не увижу пленных. Останусь здесь и днем, и ночью!

И в подтверждение своих слов, я постарался принять на софе более удобное положение.

Мир-алай (майор) всколыхнулся немножко... Стал сосать свою трубку и с недоумением поглядывать на меня.

— Можете вы ему дать какой-нибудь пешкеш? — спросил у меня крымский татарин.

— Не дам и этого! — показал ему кончик ногтя...

Они заговорили между собой... Прошло несколько минут.

— Хорошо, он согласен вас пустить к пленным, но с условием, что я вас будут конвоировать и еще двое...

— Это мне все равно!

Два черкеса султанской гвардии повели меня в каземат, где были наши пленные.

В коридоре они мне указали одну дверь... Сами за мною не пошли.

Я застал там двух офицеров, одного из них именно того, которого так оборвал Скобелев.

Это был, кажется, казацкий хорунжий. Я передал поручение Скобелева и деньги... Вернулся...

— Ну, что?.. — нетерпеливо бросился ко мне Скобелев.

— Ничего... Отдал деньги...

— Обижен он... Вы извинились от меня?..

— Да...

— А он-то, он?

Я успокоил Скобелева.

— Все-таки это непростительная выходка, что там ни говорите... Напишите мне, в виде записки, в каком виде

вы застали пленных... Это позор, что до сих пор мы их не вытребовали... Хотя я не одобряю...

— Чего это?

— Как можно в плен сдаваться офицеру...

— А что ж делать?

— Что делали на Шипке. В револьвере шесть патронов, пять в неприятеля, шестой в себя...

— А может быть, ему жить хочется...

— Тут принцип важен... Что жизнь... Нужно всегда быть готовым к смерти... Жизнь одного — ноль...

Спустя несколько дней Скобелеву пришлось разыграть довольно комическую роль.

Приехал он в Константинополь, остановился у меня.

— Пойдем вечером в «Конкордию», там поют француженки...

— Едем?

— Ну, вот. Зачем обращать на себя внимание!

Мы отправились... Одна из этих интернациональных девиц пристала к Михаилу Дмитриевичу... Тот стал ее снабжать полуимпериалями, которые она тут же проиграла в рулетку.

— А знаете... Очень приятно сознавать, что никто тебя здесь не знает... Быть в положении *le bon bourgeois*... Я отдыхаю в этом отношении здесь... Положительно в неизвестности есть доля хорошего...

В разговоре с француженкой он то и дело употреблял фразы: мы, штатские...

Наконец надоело... Сходим мы вниз по лестнице... Вдруг интернациональная девица догоняет нас сверху.

— У меня к вам просьба!..— начинает она.

— Какая?..

— Позвольте с нашей труппой приехать к вам и дать несколько концертов...

— Это куда же ко мне? За кого вы меня принимаете?

— О, *mon général*... Мы все вас знаем... Вы — генерал Скобелев. Ак-паша!

— Мы, кажется, разыграли сцену из «Птичек певчих»,— обратился ко мне Скобелев.— Вот тебе и вся прелесть инкогнито!

На безделье, как и всегда у него, впрочем, уходило много времени. С утра до ночи он со своими офицерами рекогносцировал позиции вокруг Константинополя, объезжал войска, делал маневры, примерные атаки, занимался организацией нескольких растрепанных в походах полков

и, спустя самый непродолжительный срок, довел их опять до блестящего состояния. Потом, когда все кругом болело тифом и лихорадками, один скобелевский отряд не давал ничего лазаретам... Стоило только где-нибудь показаться болезни, чтобы Скобелев сейчас же появлялся там, поднимал врачей и ставил на ноги весь медицинский персонал. Места расположения его солдат всегда были образцом по тому порядку, который царствовал в них. Все было предусмотрено. Совершенно оправившиеся люди готовы были опять к дальнейшим подвигам.

— Нельзя успокаиваться, господа... Будет время отдыхать потом... А теперь зорко смотрите вокруг!

Между прочим, тогда же я слышал одну фразу.

— Что делает Скобелев? — спрашиваю у какого-то солдата.

— А ен, как кот округ мышеловки, у этого самого Константинополя ходит... То лапкой его пощупает, то так потрется...

— Я очень боюсь одного... — говорил один из влиятельных в армии генералов.

— Чего?

— Да как бы Скобелев нам бенефиса не устроил!

— Какого это?

— Да в одно прекрасное время проснемся мы и узнаем, то Скобелев залез ночью в Константинополь, со всем своим отрядом!

По отношению к этому даже разгул константинопольский принес ему известную пользу.

Я потом видел его кроки и записки, где были означены все улицы, которыми надо были идти в Стамбул, намечены пункты для разных боевых операций... Короче, гуляя по Константинополю, якобы для собственного удовольствия, он его изучил так, что, начнись бой на его улицах, Скобелев сумел бы воспользоваться каждою их извилиной, каждым их закоулком...

— Он ничего мимо ушей и глаз не пропустит! — говорили о нем после.

И действительно, ничего не пропускал.

Он так любил знать, что делается кругом, быть всегда настороже всякого рода событий, знать, с кем иметь дело, что не прошло двух недель, как он уже дотла изучил Константинополь. Все его партии, мусульманские кружки, глухой протест поселившихся там черкесов, сплоченную силу улемов, незаметное каждый раз

нарастание и наслоение новых начал в населении этого восточного города, чиновников блистательной Порты, военных Сераскерната. Казалось, что он собирается быть турецким министром — до того точны и обстоятельны были его сведения. Редакции Бассирета и Вакита, французских, английских и итальянских газет, издававшихся там, греческих писателей, живущих в Византии, купцов — все и всех уже знал Скобелев, их взгляды, со всеми их мечтами, программами...

— Зачем это вам? — спрашивали его.

— Такая привычка... Я везде люблю быть дома... Терпеть не могу пробелов и недомолвок...

Я уже выше говорил, что быть при нем офицеру — значило учиться. Нигде справедливость этого так не подтверждалась, как в Константинополе. Туда офицеров, молодежь отпускали обыкновенно на два, на три часа — кутнуть на просторе и затем вернуться на работу... Беда была, если такой отдыхающий, вернувшись, не привезет с собой каких-нибудь полезных сведений.

— Вас, душенька, и отпускать не стоит... Ничем-то вы воспользоваться не сумеете...

— Он у вас удивительный! — говорил о Скобелеве один грек, кажется, Варварци...

— Почему это?

— Я у него вчера был... Случайно зашла речь о чисто хозяйственных интересах города, оказалось, что он их знает; понимает... Я совсем потерялся, когда он начал говорить мне о проектах водопровода, поданных нашими греками, о новом мосте вместо галатского, который мы хотим строить... Я даже спросил его, не жил ли он прежде в Константинополе.

Один из стамбульских улемов, бывший в Георгии, выразился так же:

— Ак-паша мог бы быть хорошим мусульманином!

— Отчего?

— Он Коран знает!

И не только знал, но и цитировал его зачастую...

В Скобелеве в это время уже сказывались замечательные черты характера. Один из военных, которые обладают незавидною способностью лазить без мыла в глотку, сошелся с ним в Константинополе. Генералу он очень понравился, потому что это обстоятельство не мешало ему быть храбрым человеком и остроумным собеседником. Завтракая в Hotel Angletter, он, как будто

нечаянно, начал передавать Скобелеву всевозможные сплетни...

— Вы знаете, генерал, вы бы остановили своих рыцарей!

— Каких это моих рыцарей?

— Офицеров, близких к вам!

— В чем я их должен останавливать?

— Во-первых, они здесь кутят...

— А мы с вами, полковник, что теперь делаем?..

— Какое же сравнение!..

— Нам, значит, можно, потому что у нас есть деньги на шампанское, а им нельзя, потому что у них хватает только на коньяк?

— Ну, и еще за ними водится грешок!

— Какой?

— Они вовсе вам не так преданы, как вы думаете!

— Ну, уж это вы напрасно... Я их всех и хорошо знаю!

— Да вот-с, не угодно ли, один из них про вас рассказывал...

И началось бесцеремонное перемывание грязного белья...

— А теперь я назову вам фамилию этого человека...

Но Скобелев в это мгновение схватил того за руку...

— Пожалуйста, ни одного слова больше и, ради Бога, без фамилий. Я слишком люблю своих рыцарей, слишком обязан им, слишком. Вся кампания они, по одному приказанию моему, шли на смерть... Я не хочу знать, кто это говорил, потому что не желаю быть несправедливым. Поневоле такая несправедливость может прорваться когда-нибудь в отношении к человеку, повиному только в том, что под влиянием стакана вина он разоткровенничался при человеке, не заслуживающем такой откровенности...

И Скобелев тоном голоса нарочно подчеркнул эту фразу:

— Да-с... Не заслуживающим!

Когда завтрак кончился и полковник откланялся, Скобелев позвал человека.

— Заметил ты лицо этого господина?

— Точно так-с!

— Помни, что для него меня никогда нет дома!

Занимая уже довольно высокий пост, он не раз сталкивался с людьми, которые старались выиграть в его

мнению и выдвинуться вперед, унижая своих товарищей...

— Я их слушаю поневоле, ушей не заткнешь,— говорил Скобелев,— но в уме своем, в графе против их фамилий, ставлю аттестацию «подлец и дурак». Подлец — потому что клеветает про других и, главное, про своих товарищей, дурак — потому что передает мне это, точно у меня у самого нет глаз во лбу, точно я не умею отличить порядочного человека от негодяя...

Один из его подчиненных очень нуждался в то время; Скобелев хотел ему помочь и не знал как. Призывает наконец того и говорит: «Вам присланы деньги из России... Вот они»,— и придвигает горсть золота. Тот, разумеется, схватился за нее, даже не спросив, от кого. Проходит несколько времени, он является опять к Скобелеву.

— Что вам?

— Я пришел узнать, не прислали ли мне еще денег из России?

— Прислали... Я забыл отдать вам... Вот они...

Потом этот франт отблагодарил по-своему Скобелева, обокрав его.

В следующий раз он поручил ведение своего хозяйства офицеру. Тот недели через две накатал ему счет тысяч в пять-шесть.

— Это невозможно... Прикажете проверить? — спросили у него.

— Ни под каким видом. Вина прежде всего моя — потому что я назначил его сам... Заплатить и не слова об этом. Разумеется, впредь ему денежных поручений не давайте никаких. Это раз... Если бы это были деньги общественные или чужие — другое дело... Немного погодя я найду, что ему не к лицу моя дивизия, и он сам уберется из нее!

Расставался со своими он вообще неохотно и долго не прощал тем, кто оставлял его сам...

— Я люблю Н. Н., он храбрый человек, полезный, только я не возьму его к себе!

— Отчего?

— Он меня оставил... Это было сделано не по-товарищески...

О тех же, которые меняли свой мундир на полицейский, Скобелев потом и слышать не мог.

— Не говорите мне о них... Храбрый боевой офицер — и так кончить.

Когда у него просили за них, он обрывал прямо:

— Ни слова, господа... Вперед говорю, ничего не сделаю... Он с голоду не умерал... Я этого рода оружия терпеть не могу, вы сами это знаете!

Один из таких явился к нему и, «рыдая», начал рассказывать обо всех условиях своей новой службы.

— Жаль мне вас...

— Примите меня опять к себе...

— Ну, уж это извините... За что же я буду оскорблять своих офицеров?.. Я вам дам один совет — выходите в отставку...

В Константинополе и под ним шли у него нескончаемые споры...

Начиналась эпоха Берлинского конгресса, уступок, дипломатических подвохов... Скобелев мучался, злился... Он не спал целые ночи.

— Что будет с Россней, что будет с Россней, если она отдаст все!.. И даже не все, если отдаст часть, уступит хоть кроху из сделанного ею. Зачем тогда была война и все ее жертвы!..

Я помню последний вечер, в который видел его.

Мы сидели на балконе дома в Сан-Стефано... Прямо перед нами уходил в лазоревый сумрак далее ласковые, полные неги волны Босфора... Точно женщина, с мелодическим шепотом текли они к тихому берегу... У пристани едва-едва колыхалась лодка... На горизонте серебряные вершины малоазийского Олимпа прорезывали ночную темень... Зашел разговор о будущем славян. Скобелев, разумеется, стоял за объединение племен малых в большие...

— Никогда ни серб, ни чех не уступят своей независимости и свободы за честь принадлежать России!

— Да об этом никто и не думает... Напротив, я рисую себе в будущем вольный союз славянских народов, племен. Полнейшая автономия у каждого, одно только общее — войска, монета и таможенная система. В остальном живи, как хочешь, и управляйся внутри у себя, как можешь. А что касается свободы, то ведь я говорю не о завтрашнем дне... К тому времени, пожалуй, Россия будет еще свободнее их... Уже и теперь вольный воздух широко льется в нее, погодите... Разумеется, мы все потеряем, если останемся в прежних условиях... Племена и народы не знают платонической любви... Этак они сгруппируются вокруг Австрии и вместе с нею

оснуют южнославянскую монархию... Тогда мы пропадем!

— Почему же?

— Потому, что при помощи Австрии католичество широко разовьется у них... Оно захватит все и всех, и в первом спорном вопросе славяне южные пойдут против северных, и будет эта братоубийственная война торжеством немецкой челяди... Но это невозможно и невозможно... Если мы запремся да от всех принципов новой государственной жизни стеной заслонимся — дело плохо... На это хватит у нас государственной мудрости... А пока наше призвание охранять их, именно их... Без этого мы сами уйдем в животы, в непосредственность, потеряем свой исторический *raison d'être*!

— Мой символ краток: любовь к отечеству, свобода, наука и славянство!.. На этих четырех китах мы построим такую политическую силу, что нам не будут страшны ни враги, ни друзья. И нечего думать о брюхе; ради этих великих целей принесем все жертвы... Если нам плохо живется, потомкам лучше будет, гораздо лучше!

Мы замолчали...

Волны, как ночь, становились темнее, громче и громче ластились к берегам... Двурогий месяц прорезался на горизонте, тихий, красивый...

— Да, у него хорошо сказалось бы это! — проговорил Скобелев точно про себя.

— Что, у кого?

— У Хомякова... Пришло на память его... Помните его орла?

Лети, но в горнем море света,
Где силой дышащая грудь
Разгулом вольности согрета,
О младших братьях не забудь!..

Совсем тихо начал он, но чем дальше, тем голос его все креп и креп:

На степь полуденного края,
На дальний запад оглянись:
Их много там, где брег Дуная,
Где Альпы тучей обвилась,
В ущельях скал, в Карпатах темных,
В Балканских дебрях и лесах,
В степях тевтонов вероломных,
В стальных татарина цепях!
И ждут окованные братья,
Когда же зов услышат твой,

Когда ты крылья, как объятья,
Прострешь иад слабой их главой...
О, вспомни их, орел полиочи!
Пошли им громкий свой привет!..
Пусть их утешит в рабской ночи
Твоей свободы яркий свет!..
Питай их пищей сил духовных,
Питай надеждой лучших дней,
И хлад сердец единокровных
Любовью жаркою согрей!..
Их час придет! Окрепнут крылья,
Младые когти подрастут,
Вскричат орлы и цепь иасилья
Железным клювом расклюют...

И это будет!.. Будет непременно!

— Когда? — несколько скептически переспросил я.

— А вот когда у нас будет настолько много «пищи сил духовных», что мы будем в состоянии поделиться с ними ею; а во-вторых, когда «свободы нашей яркий свет» действительно будет ярк и целому миру ведом...

— А до тех пор?

— А до тех пор надеяться, верить, не опускать голову и не терять своего сродства с народом, сознания своей национальности!

В это время издали, с моря, послышалась вдохновенная песня, смелыми взмахами своих крыл уносившая в это темное южное небо с его яркими звездами... Пело ее несколько голосов... Видимо, певцы были одушевлены, видимо, всех их соединяло что-то общее...

— Вы знаете, что это поют они? — спросил Скобелев.

— Нет!

— Я тоже не знал. Но спросил, мне сказали... Слышу уже не в первый раз... Это греки, молодые греки из константинопольских лавок. Торгаши, а поют о будущей славе эллинов, о всемирном могуществе Греции — о том, что и это море, и этот вечный город будут принадлежать им, о том, что все народы придут и поклонятся им и даст им новая Греция, этим новым варварам, свет науки, сладость мира и величие свободы... Вот о чем поет маленькая, совсем крошечная Греция, эта инфузория Европы... И посмотрите, с каким увлечением, с какой силой и страстью!.. А мы!.. Эх, скверно делается даже...

Скобелев прощался со мною у себя в отряде... Я оставил его тогда сильного, здорового, бодрого...

Он еще складывался. Он не был велик, но уже в нем являлись задатки великого вождя... За год войны он стал гораздо серьезнее. Многие увидал и многому научился.

— Чего вам послать из Питера?..

— Книг, книг и книг... Все, что за это время было выдающегося и талантливое... Большого удовольствия вы мне не можете сделать...

Я вывез с собою несколько восторженное удивление к этой богато одаренной натуре, и все, что я слышал потом о действиях Скобелева, все, о чем он писал мне, только питало это чувство. В эпоху общего недовольства, когда все, под влиянием Берлинского конгресса и малодушия нашей дипломатии, опускали руки и вешали головы, когда будущее заволакивалось тучами и последние лучи солнца бесследно пропадали в их мглистом сумраке, Скобелев не потерял своей энергии, ни жажды дела. Напротив, он, как солдат, стоял на своем посту. Когда жены — мироносицы дипломатии расчленили Болгарию, Скобелев сейчас же занялся там организацией гимнастических союзов, вольных дружин, общин стрелков... Он сам учил их ратному делу, неутомимо бросался из одного города в другой, в одном делал им смотры, назначал им для обучения своих офицеров, в другом заставлял рыть укрепления, приучал окапываться, сажал своих солдат за валы этих траншей и редутов и по несколько дней производил с болгарями маневры, приучая их брать такие укрепления; потом он сажал туда болгарских солдат и, командуя ими, приказывал русским солдатам нападать, а сам с болгарями отбивался от них. В антрактах он мирил сербов с болгарями, воодушевлял румелийцев речами; обладая удивительною способностью кратко и метко формулировать целые понятия в одну энергетическую форму, вводил в сознание народа убеждение его кровного родства с теми или другими славянскими племенами... Умел поднять в них дух и, главное, делиться с ними тою жизненностью, которая была ключом в нем самом... «Вы там совсем растерялись, писал он мне в Петербург, до того запутались, что и разобраться не можете, а мы тут не теряем времени и замазываем бреши, пробитые Берлинским конгрессом... Если мы и оставляем им Болгарию расчлененной, четвертованной, то зато оставляем в болгарях такое убеждение в необходимости рано или поздно слиться, что все эти господа скоро восчувствуют, сколь их

усилия были недостаточны. А вдобавок к этому оставим мы в так называемой Румелии еще тысяч тридцать хорошо обученных народных войск... Эти к оружию привыкли и научат при случае остальных. Все эти гимнастические дружества и союзы, разумеется, могут быть разогнаны, но они свое дело сделают и при первой необходимости всплывут наверх... Приедете — увидите сами!..»

— Вы знаете, кто меня научил не терять бодрости и не опускать рук? — говорил он впоследствии.

— Кто?

— Паук!

— Как паук?..

— Да так... Гулял я раз, вижу паутину, взял я да и снял ее прочь. Вы думаете, паук растерялся? Нет, забегал по уцелевшим нитям и давай опять работать живо, живо... Без всякого антракта... На другой день я иду, на этом же месте новые паутины, только гораздо лучше укрепленные... Вот вам пример!..

Таким образом, Скобелев оставил по себе в Болгарии такую память, какую удастся редким...

— Когда нам нужно будет восстать, он явится к нам... Он поведет и нас, и сербов, и черногорцев... И тогда горе будет швабам!

Это мог сказать всякий мальчишка в Румелии.

— Он сумеет сплотить и научить нас!

И за ним действительно пошел бы весь южнославянский мир... Представляю себе, какое ужасное впечатление там произвела эта неожиданная смерть!.. Как там рыдали и молились за него...

В первый же день после его смерти выхожу я из гостиницы Дюссо.

На улице бросается ко мне Станишев, образованный болгарин... Он схватил меня за руку и зарыдал...

— Мы все потеряли в нем, все... Он был нашей надеждой, он был нашим будущим...

— Вы видели его, неужели он умер?..

Едва ли по ком-нибудь лились такие искренние слезы...

— Болгария плачет теперь, как осиротелая мать над единственным своим сыном!

Уже в Петербурге я получил телеграмму из Тырнова. «Правда ли, что наш Скобелев умер?.. Весь город в слезах, в каждом доме стенания... Крестьяне толпой идут из Самовод и других сел убедиться в этом народном несчастье... Из горной деревушки Рышь прислали ко мне

депутата узнать... Женщины и дети в слезах... В церквах за него молятся... Долго не будет у славянства такого героя!..»

И еще бессмысленнее казалась эта смерть, еще ужаснее...

Я возвратился к нему, стал над ним, всматривался в это покойное, неподвижное лицо, допытывался, зачем ушел он, он, до такой степени необходимый, дорогой. Кругом к вечерней панихиде устанавливали комнату цветами и деревьями, явились лавровые венки, приподнимали эту беспробудную голову, декорируя ее розами... В углу монахиня читала псалтырь... Пахло ладаном...

И эта рука, пугавшая целый мир, бессильно сложена теперь на груди. В кровавом блеске сражений она уже не укажет торжествующим легионам врага, этот громкий голос, сзывающий орлят, стих в разбитой и неподнимающейся груди... зоркий взгляд застыл и только, тусклый, слезится из-под опущенных ресниц.

— Знаете, мне кажется, это сон какой-то! — шепчет рядом кто-то. — Сон, мы проснемся — и все это выйдет чепухой...

Ввели двух часовых, поставили над телом.

Один из них смотрел-смотрел на это безжизненное лицо... Плакать не сметь — на часах, а слезы так и падают по щекам на бороду... И смахнуть их нельзя!..

XIV.

После войны я долго не видел Скобелева... Он в это время уже совсем определился, и наши убеждения далеко разошлись. В его письмах, очень редких, он так же резко и бесповоротно ставил вопросы и так же удачно очерчивал людей и события, как и прежде... Корпусом своим он был доволен, но обстановка мирной и спокойной деятельности оказывалась ему не по душе. По возвращении из Болгарии он писал: «Теперь я могу с чистой совестью отдохнуть, да и пора. Силы разбились несколько. Съезжу в Париж, отведу душу...» А через два месяца: «Эта будничная жизнь тяготит. Сегодня, как вчера, завтра, как сегодня. Совсем нет ощущений... У нас все замерло... Опять мы начинаем переливать из пустого

в порожнее. Угасло недавнее возбуждение, да и как требовать от людей, переживавших позор Берлинского конгресса. Теперь пока нам лучше молчать — осрамились вконец!..» Тем не менее он крайне интересовался всем, читал и работал, стал изучать Пруссию и, съездив туда на маневры, успел настолько ознакомиться с германской армией, что наши добрые соседи уже и тогда были сим несколько обеспокоены. Из своих бесед с берлинскими генералами, из знакомства с прусской армией Скобелев вынес глубокое убеждение, что там серьезно готовятся к войне с нами...

— Мы опять разыграем роль глупой евангельской девы... Опять война застанет нас врасплох!

И он начал самым деятельным образом готовиться к ней. Едва ли была хоть одна брошюра по военным вопросам Германии, которая бы не прочитывалась им, их военные журналы тоже... Он изучил страну вдоль и поперек, объехал всю границу и, не отдыхая на лаврах, продолжал упорно работать, работать и работать...

— Теперь такое время — на часах надо стоять... Недаром меня солдаты кочетом называли; сторожить приходится, чуть опасность — крикнуть в пору!

Он тогда же подметил, что пруссаки хотели скрыть новую роль кавалерии, подготовленную ими для будущей войны. Скобелев с быстротой, поистине гениальной, схватил это и целиком перенес к себе, развив и видоизменив многое по собственному соображению. Немцев он понимал как никто. Дружбе их он и прежде не верил, на благодарность их не рассчитывал вовсе. Царство Польское, со всеми его боевыми позициями, было изучено им с такою подробностью, что записки его по этому предмету должны быть необходимым материалом для будущих наших генералов при случае. Он разрабатывал и тогда уже план войны с честными маклерами и добрыми нашими союзниками. Я здесь, разумеется, не вправе говорить об этом плане... По остроумному выражению М. Е. Салтыкова (Щедрина), через двадцать лет мы прочтем о нем в «Русской старине» у г. Семевского. Встретившись с ним наконец, я застал его таким же возбужденным, полным энергии, каким привык видеть и прежде. Он приехал в Петербург, похоронив отца...

— Я, к крайнему своему удивлению, оказался богатым человеком!.. И рад этому!

— Еще бы!

— И не за себя. Теперь моим боевым товарищам помогать стану... Я думаю отставных солдат селить у себя. Дам им какие-нибудь занятия, чтобы они не думали, что едят хлеб даром... А умру — село Спасское по завещанию обращу в инвалидный дом...

— Что так рано умереть собираетесь?

— Да ведь вот отец... За день до смерти я с вами спорил; все под Богом ходим... В одном я убежден, что умру не сам... Не вследствие естественных причин...

— Ну, вот!

— Есть не одни предчувствия на это!.. Ну, да что толковать...

Немного спустя начались переговоры с ним о назначении его в Ахал-Теке.

Он сам хотел и добивался этого. Во-первых, боевая жизнь была ему по вкусу, а во-вторых, по тому высказывавшемуся глубокому убеждению, что в степях Теке отчасти решался Восточный вопрос...

— Тут связь большая. Чем больше у нас будет обаяния на Востоке — тем лучше... Трудно только поправлять дела после всех этих гениев. Притом вы не знаете кавказской администрации...

— Нет!

— А я ее знаю, она с женской ревностью относится ко всему... Скорее мешать будет мне, чем поможет...

Приготовления к этой экспедиции шли у него с лихорадочной быстротой. Только что приехав из военного совета, он садился, писал записки по разным деталям этого предприятия, входил в сношения с целю массой лиц, которым поручалось то или другое дело, обдумывал и предупреждал разные подготовлявшиеся ему дружеские услуги разных благоприятелей. Близкие к нему люди в это время с ног сбились. На Моховой, в доме Дивова, образовалась маленькая главная квартира. Тогда еще полковник Гродеков и другие его адъютанты ходили какие-то ошалелые, бледные, истощенные.

— Отдыхать некогда... Некогда, господа, за дело!..

— Когда он спит — Бог его знает... У нас руки огваливаются... — говорили они.

С утра до ночи в приемной у него толпились военные, или ожидавшие назначения, или уже получившие его... Ближайшие его сотрудники съехались уже... Остальных, как, например, капитана Маслова, он сам звал к себе.

— Трудное дело, страшно трудное! — то и дело повторял он. — Много войск взять нельзя, и без того эти разбойники дорого стоят России; а если не покончить с ними, сейчас же все наши туркестанские владения на волоске будут... Сверх того, мы уже и предварительно истратили пропасть!.. А там еще интендантство это. Если я получу назначение — я сейчас же начну с того, что всю хозяйственную часть армии передам людям, которых я знаю, а интендантов отправлю обратно на кавказский берег... Там у них, знаете, на каждый казенный ремешок по пяти чиновников приставлено. Войска превосходные — но их не умели вести!

Нужно сказать правду, что и кавказская администрация особенно нежных чувств к Скобелеву не питала. Нам рассказывали, что некоторые даже у себя панихиды служить отклонились по покойнике. Помилуйте, в эту тишь да гладь — вдруг ворвался такой беспокойный и деятельный человек...

— Ну, ему там тоже готовят встречу... — говорили мне.

— Ничего не поделают...

— Ну, как сказать... У нас там такие свистуны есть!..

Скобелев прекрасно знал это и готовился ко всякой случайности...

— Они из Ахал-Теке хотели себе маленький Дагестан сделать!

— Как это?

— Так, на десятки лет раскладут это дело. Все, кому нужны чины, ордена, отправились бы туда, делали набеги и опять уходили. Армяне-подрядчики крали бы себе в карманы казенные миллионы. К услугам всех этих людей являлись бы и стихии, и тифы всякие!.. А графа государственного расхода из года в год все росла бы и росла. Ведь на Кавказе, знаете ли, все они, эти чиновники, голодные. И плодущие же. У них семьи не по кошельку. Детьми их Господь благословляет, ну, все это и выкармливается на казенных харчах. Ну, а я уже слуга покорный, я солдата грабить не позволю... Этого у меня не будет...

— Найдут средства и при новых порядках красть!

— Посмотрим... Я ведь церемониться не стану. Беспощадно расстреливать начну за это. Тут доброта — хуже жестокости. Будь добр к этим отцам семейства — у тебя войско от тифа вымрет да десятки миллионов

народных денег без толку уйдут... А это, знаете, просто: сегодня судил военно-полевой суд, а завтра расстрелял... Ан другим-то и не повадно!..

XV.

Ахалтекинская экспедиция М. Д. Скобелева известна всем. Тут уже это никто не мог выдумать, он сделал ее без корреспондентов, и его друзья не могут сослаться на то, что подвиги молодого генерала преувеличены были якобы покладистыми людьми. Все время в Петербурге и Москве распространялись о нем и о его судьбе, судьбе его отряда самые преувеличенные слухи, так что штурм текинской крепости и завоевание самого оазиса были для всех полною неожиданностью... Тот, кто хочет ближе познакомиться с этим периодом деятельности Скобелева, может обратиться к книге одного из ближайших его сотрудников и личных друзей — А. Н. Маслова «Завоевание Ахал-Теке». Это превосходный дневник участника экспедиции, в живых и талантливых очерках рисует стратегические планы Скобелева, и его личную жизнь, и быт его отряда в золотых песках прикаспийской пустыни. Серьезная книга, поэтому читается с интересом романа, и незаметно фигура генерала выделяется из нее полною жизнью, со всеми характерными особенностями... Михаил Дмитриевич живым человеком выдвигается из деталей этого дневника. А. Н. Маслов, бывший свидетелем хивинского и ферганского походов Скобелева, по целым месяцам гостивший у него в Спасском и переписывавшийся с покойным, лучше чем кто-нибудь знал эту сложную, интересную личность народного богатыря, легендарного витязя современной России... Он пишет свои воспоминания о нем, и я заранее приветствую эти записки... В них выскажется много упущенного мною, а при художественном таланте ее автора она будет ценным вкладом в нашу историческую литературу.

После Ахалтекинской экспедиции я встретился со Скобелевым случайно.

Я не знал, что он в Петербурге. Вечером — на улице он окликнул меня:

— Отчего же вы не приехали ко мне, в Ахал-Теке?

— Да ведь вам же первым ^ж«условием» поставили — отсутствие корреспондентов!

— Все равно... Помните, что я вам ответил в Журжеве?

— Что?

— «А вы не спрашивайтесь...» А вас ждали в отряде, было много из ваших старых боевых товарищей...

Я в этот раз, всмотревшись в Скобелева, увидел в нем громадную перемену.

Видимо, заботы по командованию экспедицией не прошли для него даром.

Он осунулся, обрюзг... На лбу прорезались морщины, между бровями легла какая-то складка... В глазах была та же решительность, та же энергия в лице, но от всего Скобелева веяло чем-то только что пережитым, печальным... Я разговорился с ним...

— На меня произвела такое влияние не сама экспедиция... Хотя были ужасные моменты. Войск мало, неприятель силен... Ну, да это что! Не таких бивали!.. Смерть матери — вот что меня в сердце ударило... Я долго себе представлял ее зарезанною... И кем же, человеком, всем обязанным мне, решительно всем!.. Я был первые дни после того как потерянный!.. И до сих пор еще она стоит передо мною... Точно зовет меня... И знаете, мне кажется, что и самому-то осталось недолго жить...

— Полноте, в 37 лет!..

— Да... Слишком много горючего материала кругом... Слишком много... И столько разных благоприятелей — что не совладать с ними... Открытый враг не страшен... Впрочем — отдохнув в Париже, успокоюсь...

Как Скобелев отдохнул в Париже, всем известно... Эта натура не знала отдыха и не понимала его...

После его парижской речи — мы опять не виделись долго, очень долго... Только за несколько недель до его смерти я встретил генерала в Москве... И это было наше последнее свидание. Я его нашел в «Славянском базаре», опять совсем оправившимся, здоровым, сильным, веселым... Когда я выразил это — он рассмехался.

— Я всегда так, когда дела много, крепну... Так и теперь... Занятий у меня по горло, готовлюсь к крупному делу... И, сверх того, немцы доставляют мне много, очень много удовольствия!

— Каким образом?

— Очень уж шнельклопсы разозлились на меня... То какой-нибудь унтер-офицер вызывает меня на дуэль, то сентиментальная берлинская вдова посылает мне проповедь о сладостях дружбы и мира, то изобретатель особого намордника для собак называет его Скобелевым и обязательно сообщает об этом, то юмористические журналы их изображают меня в том или другом гнусном виде... Я знаю, вы были против моей парижской речи... Но я сказал ее по своему убеждению и не каюсь... Слишком мы уж малодушничаем. И поверьте, что если бы мы заговорили таким языком, то Европа, несомненно, с большим вниманием относилась бы к нам... Наши добрые соседи — тоже, пока мы поем в минорном тоне, являются требовательными и наглыми, как почувствовавший свою силу лакей; но когда мы твердо ставим свое требование, они живо поджимают хвосты и начинают обнаруживать похвальную скромность!.. Я не враг России... Больше чем кто-нибудь я знаю ужасы войны; но бывают моменты в государственной жизни, когда известный народ должен все ставить на карту... И поверьте, эти господа не рискнут на войну с нами. Они ловко пользуются нашими страхами, забирают нас в руки, показывая одно пугало за другим, но как только мы, в свою очередь, им покажем когти, они первые в кусты... Только, знаете, надо показывать когти-то разом и решительней... Чтобы они чувствовали!

И тут же он мне передал целый ряд событий и встреч в России и за границей, которые, к сожалению, по обстоятельствам, не зависящим от меня, не могут быть помещены в эту книгу...

Немного спустя пришел к нему Ладыжинский и Хлудов... Мы сели завтракать. Пошли разговоры о нынешнем положении России, тягостном и в экономическом, и в нравственном отношении... Видимо, это живо волновало Скобелева, и он тут же дал несколько метких определений и характеристик государственных деятелей, с которыми, в настоящее время, приходится иметь дело нашему отечеству... Результаты беседы вышли в высшей степени неутешительны...

— А все-таки будущее наше... Мы переживем и эту эпоху... Хватит сил... Слава Богу — не рухнет от этого Россия...

И, мало-помалу оживляясь, он начал читать наизусть стихи Тютчева и Хомякова... Читал он их великолепно, придавая каждому поэтическому образу особенный блеск и колорит, каждой фразе более сильное выражение... Наконец не выдержал, увлекся, пошел к себе наверх и принес оттуда только что вышедшие новые издания этих поэтов, присланные ему Аксаковым...

— Я не надоел вам?..

— Напротив...

Зашел разговор о печати — и Скобелев высказался вполне за ее свободу.

— Я не знаю, почему ее так боятся. За последнее время она положительно была другом правительства. Все крупные хищения, все злоупотребления были указаны ею именно. Я понимаю, что то или другое правительственное лицо имеет повод бояться печати, ненавидеть ее. Это так; но почему все правительство относится к ней с такой подозрительностью, почему только и думают о том, как бы ее ограничить? Если хотите, при известном положении общества печать — это спасительный клапан. Излишек недовольства, желчи — уходит из нее... У нас даже писатели только и говорят, что об ограничении того или другого литературного исправления; мне кажется, что и со стороны консерваторов это не совсем ловко. Нельзя же, в самом деле, запретить высказываться всем, кто не согласен со мною. Для власти, если хотите, свободная печать — ключ. Через нее она знает все, имеет понятие обо всех партиях, наперечет видит своих врагов и друзей. В Швеции вот, например, судят воров — специальные суды, а суд присяжных ведает печатью. У нас, напротив, грабители и хищники пользуются благами суда гласного, а литература карается административно!

И действительно, в этот же день к Скобелеву при мне приехал один из московских издателей. Я ушел на время к Ладыжинскому, руцукскому консулу, остановившемуся там же... Когда я вернулся к Скобелеву, он, улыбаясь, передал мне следующее:

— Вы знаете, у печати нет более злейших врагов, чем она сама!

— Почему это?

— А потому, вот, например, человек и умный, и просвещенный... А знаете ли вы, за что он главным образом набрасывается на Игнатьева?

— За что?

— За то, что тот не хочет закрыть «Голос» и «Русскую мысль». Не может же, в самом деле, правительство быть органом той или другой газеты и принимать на себя ее защиту... Ведь этак мы дойдем Бог знает до чего. Что касается до меня — я никогда не питал раздражения против печати. Когда она ополчилась на меня за мою парижскую речь (которой, между прочим, я никогда не произносил!) я счел нужным признать это совершенно честным и уместным с ее стороны. Они писали по убеждению, по-ихнему — я был вреден в данную минуту. Раз уверен в этом — подло молчать! Точно так же, как и я был вполне уверен, что, молчи я в Париже, это бы не сделало мне чести. В силу этого я бы никогда не принял никакого административного поста. Бить врага в открытом поле — мое дело. А ведаться с ним полицейским миром — слуга покорный. Вот Аксаков — совсем другое дело... Я горячо люблю Ивана Сергеевича и никогда не слышал от него ничего подобного. Ни разу при мне он не сослался на необходимость зажать рот тому или другому...

Зашел разговор об издателе «Руси».

— Он слишком идеалист... Вчера он это говорит мне: народ молчит и думает свою глубокую думу... А я так полагаю, что никакой думы народ не думает, что голоден он и деваться ему некуда, выхода нет — это верно... Вы только что объехали добрую половину России, расскажите-ка, что творится там?

Я начал ему передавать свои впечатления. Рассказал ему о заводах, где, несмотря на совершенство производства, половина рабочих распушена по домам, потому что наша таможенная служба вся направлена на поощрение иностранных фабрикантов и заводчиков; рассказал об истощении почвы, о крайнем падении скотоводства, о том, что нищенство растет не по дням, а по часам.

— Это ужасно... Ужасно... Еще вчера я то же самое говорил, мне не верили... Преувеличиваю я, видите ли...

Нашему разговору помешал какой-то русский немец... Явился с Владимиром в петличке и давай приседать...

— Что вам угодно?

— Я хочу делать большой канал...

— Где, куда?

— Соединяйт два моря... Арал и Каспий... Для обогащения всей России. Благодетельство есть это, ежели соединяйт!

Насмешливая улыбка скользнула по лицу Михаила Дмитриевича.

— Я же тут при чем?

— Я пришел, ваше превосходительство, просить рекомандательства и содействия моему проект, который...

— Пожалуйста, расскажите мне его сущность...

Скобелев сел, сел и полковник, желающий облагодетельствовать Россию. Началось долгое и скучное изложение всех выгод будущего канала... Скобелев изредка только вставлял замечания, совсем разбивавшие выводы автора замечательного проекта. Видно было, что вся эта местность как нельзя лучше известна Михаилу Дмитриевичу...

— Сколько нужно на ваше предприятие?

— О, в сравнений с благодетельством народов пустяк!

— А например?

— Если правительство согласно затрачивайт сорок — пятьдесят миллионов...

Скобелев опять усмехнулся.

— Разумеется, разумеется... Только уже заодно, полковник, не будете ли вы так добры указать, где взять эту маленькую сумму...

— Столь великий страна... — начал он и опять утонул в целом море всяких рассуждений.

Так я и не дослушал этого замечательного проекта, оставив Скобелева на жертву новому Гаргантюа, обладающему аппетитом в размере сорока миллионов рублей...

Часа через полтора я вышел с ним, мы условились поехать к ***, впоследствии изменившей своему благородному прошлому. Она в Лондоне преспокойно играла роль политического и полицейского агента, не стесняясь ни сыском, ни доносом.

На улице он встретил одного из прежних своих подчиненных, уже в отставке... Этот окончил войну в малом чине, и, по-видимому, судьба не особенно ему благоприятствовала. По крайней мере одет он был очень плохо. Бывший офицер хотел было юркнуть от Скобелева в сторону, но тот его заметил...

— Н. Н. Это еще что такое?.. Бегать от старых боевых товарищей!

— Ваше превосходительство... Я не смел.. Я так одет!

— Да за кого же вы меня принимаете?.. Это перед дамами одевайтесь... Опять вы не зашли ко мне... Вы знали, что я здесь?

— Как же... Читал-с!

— Ну?..

— Я теперь в таком положении!

— Ужасно это глупо, в сущности... Прямо бы ко мне и могли обратиться... Храбрый и честный офицер, вы имеете полное право требовать моего содействия...

Я сейчас же узнал прежнего Скобелева. В этом он совсем не изменился.

— И помилуйте... Я опустилс...

— Не вижу этого. Вот те, которые променяли военный мундир на более выгодный, опустилс... Сегодня я уезжаю с курьерским поездом в Петербург. Давайте-ка мне ваш адрес... Не нужны ли вам деньги?.. Смотрите, с товарищами не церемонятся. Сотня-другая меня не разорит, а как только я вам найду место, вы мне их сейчас же уплотите...

— Нет... У меня хоть еще месяца на два хватит...

— Нужно — пишите... Стесняться со мною глупо... А вам я на днях и местечко приищу...

Я встретил этого офицера уже на похоронах. Шел он одетый с иголки. Видимо, судьба, на которую он пенял так, уже изменилась к нему.

— Это он все... Я и не знал ничего... Только приезжает ко мне здешний *** и говорит: сегодня получил письмо от Скобелева, он рекомендует вас. Этого мне достаточно... И разом предложил место... Я теперь совсем доволен... Третьего дня узнал, что он приехал, собрался идти благодарить, и вот... Это, знаете, последний... Боевой товарищ... Именно товарищ, хоть я и поручик — а он полный генерал. Таких уже нет... Теперь мещанское время, подлое... Всякий лакеем делается... Повысят его в дворецкие — он уже к кучеру свысока относится...

Хозяюку мы встретили в обществе двух англичан, с которыми Скобелев тотчас же заговорил по-английски... Они с чувством, близким к восторгу, прислушивались к каждому слову его... Один из них высказался даже...

— Вы первый приучили нас заочно полюбить даже врага!

— Почему же я враг?

— Кто же другой может создать нам затруднения в Индии, как не вы...

— Там нам нечего делать. Мы отлично можем ужиться бок о бок!

— Да это вы говорите корреспондентам, а те сообщают в газетах... Но мы не так наивны...

Тонкая улыбка показалась на губах Скобелева.

— Могу вас уверить, что таково мое убеждение... Если мы можем с вами столкнуться, так ближе!

— Не дай Бог... Море дороже всего!

— Да, богатому человеку, а не голодному, которому терять нечего... Впрочем, у нас с вами есть общий враг!

— Кто это? Немцы, верно?

— Да... У них теперь широко рты разинуты, флот ваш и ваша торговля едва ли могут им особенно нравиться.

— Мы это знаем...

Когда они ушли, Скобелев начал передавать свои и мои впечатления из поездки по России:

— Где же исход? Где исход?

— Запереть границу для иностранного ввоза тех предметов, которые у нас самих производятся. Раз навсегда поставить на своем знамени «Россия для русских» и высоко поднять это знамя... Ради этого принципа — не отступать ни от чего... Заговорить властно, бесповоротно и сильно... И, сверх того, внутри у себя сделать многое.

— Что же именно?

И Скобелев изложил целую программу, давно, очевидно, обдуманную, обработанную во всех ее деталях, охватывающую все стороны народной нашей жизни. К сожалению, она не может быть приведена здесь...

Целый вечер, до отхода поезда, мы оставались одни. Скобелев отдался воспоминаниям, рассказывал много интересных событий, перешел к настоящему и будущему России, но во всем у него звучала печальная нотка... Я поехал вместе с ним на железную дорогу. Он всю дорогу говорил не переставая.

— Знаете, мне кажется, мы видимся с вами в последний раз!

— Что за малодушие! — вырвалось у меня.

— Как знаете... Что-то говорит мне, что моя песня спета...

Он, впрочем, несколько раз в этот день повторял то же и при Ладыженском, и при Хлудове.

— Я не переживу этот год, верно... Хоть не хочется умирать совсем. Сделать еще европейскую войну, разбить исконных врагов России, уничтожить их, и тогда — из списков вон... Только этого не будет... Ну да что, впрочем...

Шел дождь, было холодно... Ни зги не видно около, тускло мигали слезящиеся фонари... Тоска невольно закрывалась в душу.

— Ну, довольно! Как это пели у меня солдаты:

На врагов с улыбкой взглянем —
С песней громкой в бой пойдём...
Смерть придет — смеяться станем,
И с улыбкою умрем!..

Больше я уже не видел Скобелева.

В этот свой приезд в Москву он дал мне знать, что ждет меня к себе обедать; я собрался к нему, но утром ко мне в гостиницу вбежал лакей...

— Генерал умер...

— Какой генерал? Мне-то что за дело?..

— Скобелев... Скобелев умер!

— Убирайся к черту... Что за глупые шутки...

Лакей заплакал... Я понял, что случилось действительно великое несчастье... Бросился в Hôtel Дюссо.

Предчувствие оправдалось...

Михаила Дмитриевича не стало...

XVI.

На другой день после смерти Михаила Дмитриевича мне едва удалось пробиться в комнату, где он лежал...

Теперь уже не было вчерашней суетни и толкотни. Из Петербурга наехали близкие к нему люди; у самого тела выросла и все время стояла вся в слезах его сестра, Надежда Дмитриевна, не отводившая взгляда от гордой и красивой головы брата... «Зачем так рано?» — читалось в этом взгляде, полном глубокой тоски... Тусклый свет восковых свечей теперь отражался на вензелях, камергерских мундирах, звездах, генеральских эполетах. Тем не менее у самого трупа сплотились, точно не желая от-
дать его никому, даже самой смерти, его адъютанты и

состоявшие при нем... На желтом, страшно желтом лице Скобелева проступали синие пятна... Губы слиплись, слились... Глаза ввалились... И весь он как-то ввалился... Ввалилась грудь, так что плечи с эполетами торчали вперед, ввалилась шея, точно голова была отделена от нее... Вокруг благоухали только что распустившиеся розы и лилии... Массы венков были разбросаны кругом. Они совершенно покрыли и золотую парчу покрывала, едва-едва поблескивающего из-под них... Тем не менее и теперь это мертвое лицо не казалось мертвым... Несмотря на ввалившиеся глаза, на заострившийся нос, на слипшиеся синие губы, на пятна. Чудилось, что он спит, не так, как всегда, а строгий, серьезный, смеживший свои веки под впечатлением какой-то глубокой думы. Вот-вот проснется и окинет всех изумленным взглядом: чего собрались сюда, зачем эти тускло горящие свечи, эти пышные розы, льющие в спертый воздух свое благоухание...

— А мы живем!..— слышится в стороне скорбный голос.

Оглядываюсь... Старик-генерал не сводит глаз с этого молодого лица.

— И в какое время — когда ему открывалось широкое поприще, где бы он мог развернуться всеми своими силами...

У дьякона, участвующего в панихиде, прерывается голос от слез, несколько раз он невольно смолкает и начинает опять... Вон другое заплаканное лицо простого солдата... Это любимец покойного, Бражников, ходивший за его лошадьми... Он качает головой, точно упрекает Скобелева, зачем он ушел отсюда... Толпа на площади выросла за ночь. Она залила ее всю...

— Совсем небывалое дело!..— слышится чей-то доклад генерал-губернатору.— Со всех сторон, сел — масса идет народ сюда... Со всех заводов. Рабочие отказались работать... Из Серпухова, из Богородска, отовсюду тянутся толпы!

И действительно, на площади уже целое море... Улицы, прилегающие к ней, запружены народом... Народ на крышах домов, на кремлевской стене... На фонарях держатся, уцепившись руками... И все это молчит, как будто они боятся своим горем нарушить покой его — уже ничего не слышащего... Ничего не видящего... Отставных солдат — сотни, тысячи в этой массе... Только

они говорят: рассказывают толпе, каков он был, как он любил их, любил народ. И сколько в этом бесхитростном рассказе слышится преданности ему... Около меня передает какой-то офицер:

— Иду я в толпе, слышу, солдат один говорит: «Так мы его любили, что, кажись, какой бы бой ни был, понеси его перед нами мертвого, разом бы снесли все прочь...» И действительно, они шли за ним... Неслись, как волны, прорвавшие плотину, как волны могучие, неукротимые, не знающие, или, лучше, не замечающие сопротивления... Те, кому удалось стать у самой гостиницы — без шапок. Всякий раз, как до них доносится отголосками пение певчих, они крестятся... Крестится и толпа за ними...

— На площади бы панихиду! — опять слышится кругом...

— Священников сюда... Мы все хотим...

Но, чего-то испугавшись, полиция молчит...

— Это ведь демонстрация будет, помилуйте!.. — говорит один из блюстителей порядка...

К полудню толпа уже не увеличивается, а уплотняется, на том же пространстве — стали новые сотни и тысячи народа. Если бы не крики городских да не ругань жандармов, сослепу кидающихся в эти толпы неведомо зачем, то тишина кругом казалась бы мертвою...

Наконец панихида окончена... Сестра покойного, плававшая до тех пор безмолвно, зарыдала теперь, когда гроб ее брата подняли на руки, чтобы пронести его в церковь Трех Святителей, на самом краю Москвы, у железной дороги, по которой его повезут в имение...

Гул пошел по площади. Гул этот донесся до нас, поднявших этот гроб.

Наконец отворили дверь на площадь... Наконец в ее просвете народ, целые сутки тщетно ожидавший его, увидел в цветах венков его лицо... Мы нарочно подняли изголовье гроба... И не успели еще вынести его на улицу, как раздалось такое рыдание, которого до тех пор никогда не слышал...

— Москва плачет... — доносится до меня.

— Народные похороны... — говорит кто-то рядом. И действительно, мы видим, что они народные... Площадь, улица — единственно доступны народу, и тут-то

он показал себя... К чему были эти меры предосторожности... народ себя вел гораздо лучше, чем его пестуны. Мы шли, со всех сторон охваченные целым морем голов.... Как во сне, я припоминаю эти заплаканные лица, которым не было и числа, эти десятки тысяч рук, поднимающихся, чтобы издали перекрестить своего любимца. Черные сюртуки, изящные дамские платья — и тут же грязная, потная рубаха рабочего, сибирка крестьянина... Никто их не подготовлял, никто не организовывал подобного торжества, печального, но величавого, величавого именно подавляющей массой народа, в рамке этих кремлевских стен и башен... Взглядывая по сторонам, я видел, как кланялись ему эти всклокоченные головы, как мозолистые заскорузлые руки крестили загоревшую грудь, видную из-под откинутого ворота рубахи... Вон, эти из деревень, должно быть, в лаптях они... На колени встали, когда мимо несли его... В более узких улицах народ точно старался врасти в стены домов, очищая ему дорогу; на широких площадях он раздавался, открывая коридор, по которому мы несли его.

Да, действительно, это народ хоронит, народ его оплакивает... Теперь только видно, как народ умел отличать и узнавать друзей своих, как за любовь он платит любовью... Окна, балконы домов полным-полны... Мало, очень мало равнодушных лиц... Они теряются, их не видать совсем... Чуть не пол-Москвы мы прошли так, когда вдали показались Красные ворота, а за ними церковь Трех Святителей... Вся эта площадь залита сплошь толпой... Ей нет конца... Когда мы проходим мимо улиц, разбегающихся направо и налево, в них, насколько они доступны взгляду, видны все те же толпы... Эти не нашли себе места, они ничего не увидят, но ждут молча все в том же благоговейном молчании.

— Мы хороним свое знамя!..— говорит Хитрово.— Где теперь человек, вокруг которого сошлись бы все?.. Где такое сочетание самых разнообразных условий и такая ранняя слава?..

Церковь Трех Святителей уже полна... Ночью я заехал еще сюда... Улицы так же были заняты народом... Терпеливо ожидал он своей очереди поклониться в последний раз праху... В церкви в два ряда подходили к гробу крестьяне. Венки за венками приносили вновь... Сотни их разрывали, раздавая желающим, но церковь все еще была полна ими... Углы тонули под зеленью, стен

и икон не было видно за венками... У гроба дежурили адъютанты покойного... В темноте, из цветов, едва-едва выделялись русая, широко расчесанная на обе стороны борода, светлые усы и чуть заметный абрис страшно похудевшего лица... Я долго стоял тут, приглядываясь и прислушиваясь.

— Упокой его, Господи! — крестит это лицо какой-то старик-крестьянин.

— Послужил ты нашей матушке России...— говорит другой, глядя в эти неподвижные черты.— Честно послужил... Дай тебе Господи царство небесное.

Вон инвалид едва-едва подвигается через церковь, стуча деревяшкой по каменному полу... Добрался... Смотрит на Скобелева...

— Не скажешь... Не скажешь уже теперь... За мной, за мной, ребята!..— прерывающимся от слез голосом шепчет он.— Не скажешь... Орел ты наш! — И, отмахнувшись от чего-то рукой, уходит прочь.

Молятся сотни — безмолвны. Подойдут, тоскливо взглянут в лицо, поцелуют сложенные на груди руки — понурясь, идут прочь.

— Насилу достигли до тебя!..— говорит другой старик.— Живой, ты наш был, а как помер, так сейчас тебя и отняли...

И сколько нежности, сколько искреннего чувства слышалось во всем этом.

Один из близких знакомых покойного ворвался в церковь, кинулся к гробу, зарыдал и, обезумев, схватил Скобелева за плечи и хотел вынуть... Едва удалось отвести...

Я отошел к стороне... Отсюда была видна часть мертвого лица... Мигание свеч придавало ему какое-то странное выражение... Точно мертвец делал попытки проснуться и не мог... Смотрел, смотрел я — и вдруг, до поразительности ясно, представилась мне картина недавнего, совсем недавнего былого.

Пологий скат, покрытый серою от дождя травой...

Тихо по нем вверх движется цепь стрелков... Сзади едва-едва доносится топот следующих за цепью колонн... Туман кругом, ни зги не видно... Позади цепи идет Скобелев... Зорко всматривается он вперед, точно хочет различить в этом тумане, где притаился редут... Вот оттуда неуверенный выстрел, всполохнувший часового, другой, третий...

— Вперед, ребята!..— металлически громко крикнул генерал, раздвинул стрелков, вышел перед ними...— Вперед, ребята... Барабанщики — атаку... Ура!

И вспыхнуло, и гремит ура... От звена к звену, от одной колонны к другой... А его уже не видно — он уже в самом пекле боя, перед своими солдатами... В пекле боя, охваченного туманом... Только порою сквозь залпы слышится его ободряющий, веселый голос...

А люди идут и идут прощаться с ним...

На другой день вся церковь была окружена войсками.

На панихиду съехались высшие чины наших войск — откуда возможно было поспеть... У гроба Скобелева стояли Радецкий, Ганецкий, Дохтуров... Черняев, заплаканный, положил серебряный венок от туркестанцев... Кругом сплошную стеною сомкнулись депутаты от разных частей армии, от полков, которыми командовал Скобелев... Венки за венками... Некуда уже ставить их.

— Послушайте! Есть кто-нибудь от Тотлебена?

— Нет никого!

— И телеграммы не было? — слышится тот же удивленный голос.

— Нет!

— Да ведь Тотлебен командует военным округом, где расположен корпус Скобелева?

— Да!

— Странно!

— Нас самих удивляет...

Над гробом такая же неподвижная, полная тоски, сестра покойного и по-прежнему не сводит глаз с лица его.

К панихиде приехали из Петербурга Великие князья, Алексей и Николай.

Все спешно и жадно всматривались в черты покойного... Еще час-два — и он будет окутан вечным мраком. Есть что-то глубоко трогательное в этих последних минутах, когда свет Божьего дня падает на холодный уже труп... Тут уже не отводишь взгляда от него... Целым роем воспоминания носятся кругом... Звучат памятные фразы, отрывая от себя покойного... Воскресает то, что, казалось, совсем уже замерло в душе... С какою-то болью доискиваешься, что отразилось, застыло на этом лице в последние мгновения жизни, когда перед ним широко открылась дверь в иной мир... Что увидел он за эту дверь?..

Архимандрит Амвросий, личный друг Скобелева, начал свое прощальное слово... Тихий голос его растет и растет... Проникает в сердце... Точно слезами, каплет каждый звук этой речи... Сам он смотрит прямо в лицо покойному, точно говорит ему одному, и чудится иам, что и тот слышит его, что и у того на лице отразилось благоговейное чувство... Все в церкви замерло... Только и носятся эти проинкинутые душевным волнением слова...

«За любовь его к народу, за любовь народа к нему, за наши слезы ради собственной Твоей бесконечной благодати прости ему, Господи!..» Торжественным призывом уносится в высоту звучная фраза.

Голос Амвросия оборвался... Кто-то громко зарыдал в толпе...

Прощаются... В последний раз целуют и кланяются покойному... Крышка гроба уже тут... Не совладав с собою, Абазьев бросается вон из церкви. Плачут все уже... Нет равнодушных и спокойных... Гроб поднимают Великие князья... Опять народ и площадь.

К утру в Москве собралось все население окрестностей...

Земли не видно... В целом, широко разлившимся море людей потонули дома... Гроб проносят под триумфальными воротами...

— Хоть мертвый дождался!..

— Это шествие триумфатора, а не похороны генерала...

Вот и вокзал...

На платформе — траурная беседка из черного кашемира с белыми Георгиевскими крестами... Вагон, тоже весь обтянутый черным кашемиром, уже стоит здесь... Громадная пальма срезана под веичик.. Широкие листья ее раскидываются под потолком вагона. Гроб ставят туда... Первый удар молотка...

Грохот залпов... Трескотия ружейных выстрелов, гулкие удары пушек...

Не он ли несется впереди боевого урагана?.. Не он ли ведет в огонь свои дружины?.. Именно в этом адском грохоте привыкли слышать и видеть его... Я смотрю на других — и, видимо, тоже на них нахлынули эти воспоминания... Душат они... Выбегаешь скорей из этой беседки на воздух... Залпы погасли, одни колокола бьют тревогу над Москвою...

Поезд для тех, кто сопровождает его, готов... Через полтора часа едем...

— Да, это действительно народные похороны...

— Не везет нам... Все талантливые люди мрут... Теперь простор посредственности!..

— Один за другим!.. Разве умер дух Скобелева?.. Нет, он остался...

— Да, но не будет его самого, человека вечного протеста противу всякой рутины... Нет знаменн...

— Он являлся именно тем типом боевого вождя, которого французы называют *le grand capitaine!*..

— Ну, теперь и в Питер пора, ваше превосходительство...

— Да, знаете, он точно, герой, герой... А только довольно...

— Я вам скажу, теперь спокойнее будет...

— Что же, теперь и нам умирать надо, жить нечего!..

Ловя эти взаимно противоречащие фразы, я едва-едва выбраюсь из блестящей толпы, окружающей гроб...

— Кажется, что в каждой семье отец, брат или друг умер... Осиротели все мы...

— Бедная Россия!.. Народная волна захватывает меня и уносит на площадь... Отсюда я едва-едва выбраюсь на улицу.

* * *

Народные похороны стали чisto народными, когда поезд наш тронулся.

У меня до сих пор не прошло это глубокое впечатление... Все мы, находившиеся на этом скорбном поезде, были подавлены величием встречи, сделанной своему любимцу народом... Если бы не боялся навлечь на себя упрек в преувеличении, то сказал бы, что вагоны наши двигались до Рязани по коридору, образованному массами народа, столпившимися по обеим сторонам полотна... Это было что-то до сих пор неслыханное. Крестьяне кидали полевые работы, фабричные оставляли свои заводы — и все валило к станциям, а то и так, к полотну дороги... За Москвой на несколько верст стояла густая масса народа... За городом сейчас же мост. Тут по обе стороны его не видно было окрестностей за людьми... Под мостом, где можно, тоже столпились они. У самого полотна многие стояли на коленях... Все это под жар-

кими лучами солнца, натовившееся от долгого ожидания. Грандиозность общей картины так влияла, что мы поневоле пропустили множество характерных подробностей... Уже с первой версты поезду пришлось поминутно останавливаться. Каждое село являлось со своим причтом, со своими иконами. Крестьяне служили по пути сотни панихид... Большая часть сел вышли навстречу с хоругвями — совершенно исключительное и небывалое явление... На всех лицах живо отпечатлелись волнения этих дней!..

Медленно двигался этот поезд в живой, глубоко чувствовавшейся и так ярко сумевшей выразить свое горе массе... В одном месте более четырехсот крестьян стояло с зелеными ветвями в руках, и мирный шорох их издали казался шелестом невидимых крыльев в воздухе... Следующая деревня тоже вся сбежалась к полотну и, как увидела наш поезд с траурным вагоном впереди, вся как один человек опустилась на колени. Только одни хоругви величаво колыхались над нею да старческий голос священника уносился в голубую высь, с мольбою упокоить его, этого легендарного витязя и народного любимца, со святыми... Деревни, далекие от станции, сходились прямо к рельсам, и так как поезд здесь не останавливался, то они начинали свои литии при виде его и кончали, когда мы их оставляли позади... Мимо других поезд проносился быстро, только мельком показывая молящимся в отворенную боковую дверь вагона покрытый парчой и бесчисленными венками гроб с стоявшими по углам его дежурными... Смутно и до сих пор слышится мне этот грустный, стихийный, однообразный ритм наскоро повторявшихся молитв, наскоро потому, что иногда поезд поневоле двигался ранее, и священник оканчивал панихиду, уже издали благословляя прах Скобелева... Смутно представляется вся эта стихийная, однообразная земская сила, оторвавшаяся от работы, чтобы в последний раз поклониться своему земскому богатырю. Ночью она была тиха до Рязани, даже легкий ветерок, дувший днем, уснул — иногда впереди горели сотни огней: это крестьяне выходили со свечами и зажигали их в ожидании поезда... Раскольничье село вышло без попов, но пели свои гимны, печальный напев которых долго носился в воздухе.

В нашем поезде ехал Чарльз Марвин, корреспондент английских газет... Он был поражен...

— Это и у нас было бы невозможно...— повторял он.

И накануне кто бы поверил чему-нибудь подобному...

В Рязани весь вокзал залит народом... Полиция усердно работает локтями и кулаками... Но это не мешает... Скоро местных держиморд куда-то оттеснили, и Скобелев был сплошь окружен народом... Сотни венков разорвали и бросали их людям, и те уносили их с собой как святыню. Новые венки приносили крестьяне и горожане. Были наиболее между ними — из васильков, из ромашки... За Рязанью шел дождь, под дождем стояли всю ночь и мокли толпы в ожидании нашего поезда. В конце концов казалось, что это не похороны одного человека, а совершается какое-то грандиозное явление природы... Перед этой столь величаво выраженной волей народа, признавшего Скобелева за то, что он был, меркли и зависть, и тупая вражда... Отныне если они и подымутся опять, то уже не будут страшны его памяти... Жалки и тусклы покажутся они каждому...

Так поезд подошел к Раненбургу... Тут ждали гроб крестьяне села Спасского...

Последние версты они несли его на руках, в серых сермяжных кафтанах, в лаптях...

Как кому, а меня это тронуло больше, чем вынос тела в Москве.

Легенда умерла и схоронена... Что займет ее место посреди повседневной пошлости и будничной посредственности?..

XVII.

Скобелев у карлистов

Осенью 1882 года я был в Италии. Смерть Скобелева, ее причины, ее внезапность и загадочность интересовали всех. Встречаясь со мною, знакомые, не знаю уже в который раз, заставляли меня повторять рассказ об этом событии. За границей интерес к нему был едва ли еще не сильнее, чем у нас. Я говорю, разумеется, про печать, а не про народ. На немецком языке вышла книжка, сейчас же разошедшаяся в продаже, в Италии продавали брошюр много о том же. Нужно сказать правду — иностранцы ценили покойного гораздо лучше,

чем мы, особенно немцы. Когда прошел первый восторг, вызванный смертью Скобелева, они сейчас же отвели ему надлежащее место, причислив М. Д. к первым полководцам последнего времени. Военные журналы дали добросовестную оценку «врагу Германии», а один авторитет прусской военной науки прямо заявил, что смерть Скобелева равняется для немцев выигранной кампании. Прав ли он был или нет — другой вопрос. Дело в том, что во всем сказывалось признание гения покойного генерала и еще не вполне рассеявшаяся боязнь, которую возбуждал он в наших добрых соседях. Из Специи в Ливорно мне пришлось ехать мимо Реджио. В вагоне со мною оказался итальянский офицер генерального штаба, который, узнав во мне русского, сейчас же заговорил о Скобелеве. Как оказалось, он знал его лично. Они вместе были на маневрах в Германии, и мой спутник передавал мне много комических подробностей о том, как Скобелев ухитрялся узнавать тайны германского военного дела, как он исследовал местность в Познани, как он сумел даже проникнуть в некоторые немецкие крепости, заноса по вечерам свои наблюдения в памятную книжку под рубрику «на всякий случай».

— Мы все изумлялись, когда он спит. В семь он уже был в седле, а в девять вечера садился за работу и, просыпаясь в два-три часа ночи, мы еще видели его за ней. Исписал он тогда массу бумаг, и, судя по вырвавшимся у него случайно фразам, он настолько глубоко узнал и изучил германскую армию, что, надень на него прусский мундир, он был бы вполне на своем месте. Еще больше его беспокоила германская кавалерия, и ее-то он наблюдал особенно пристально. В то же самое время он умел настолько обворожить пруссаков, что они, все не страдающие излишком любезности, не умели и не могли ему отказывать ни в чем. Поэтому Скобелев проникал в такие тайны, о которых мы не могли и мечтать. Император Вильгельм не раз заявлял, что он его любит как сына, и Скобелев действительно никогда не мог без почтительного волнения говорить о маститом вожде германского народа. Зато от дружеских излиятий других немцев он умел уклоняться так, что они оставались под его обаянием вполне, и в то же время отношения с ними ни к чему не обязывали Скобелева. Мы могли только удивляться дипломатическим способностям русского генерала, который только в одном не мог сдержи-

ваться — в своей глубокой антипатии к Бисмарку, которого после Берлинского конгресса он ненавидел всеми силами своей энергической и не знавшей ни в чем середины природы. В этом отношении Скобелев не постеснялся даже гласно выразиться, что, не будь Бисмарка, два племени — Славянское и Германское, — века еще могли бы прожить добрыми соседями. У них были бы разные политические дороги, на которых они бы могли вовсе не встречаться. «Насколько я благоговел перед Бисмарком до Берлинского конгресса, настолько же я его ненавижу после его. И поверьте, — оканчивал он, — если когда-нибудь будут чудовищные боины между нами и немцами, если прольются реки крови — Каинном этих убийств будет не кто иной, как Бисмарк!..»

Откровенен он был, впрочем, только с итальянцами и французами.

Наша беседа уже заканчивалась, когда в нее вмешался один сидевший тут же итальянец.

— У нас есть хороший знакомый Скобелева!

— Кто такой?

— Дон Алоиз Мартинец!

— Испанец?

— Да!

— Как он попал к вам?

— Да ведь около живет дон Карлос со своею женой Маргаритой. Дон Алоиз принадлежит к числу немногих людей, оставшихся с ним разделить изгнание. Это для меня интересный тип. Он встретился со Скобелевым в отряде дон Карлоса и подружился с вашим генералом. Когда было получено известие о смерти его, дон Алоиз плакал как ребенок. Он рассказывает массу интересных подробностей о нем.

— Теперь он здесь?

— Неделю назад я еще видел его!

— Застану я его, как вы думаете?

— Если он не уехал в Испанию!

— Зачем?

— Они часто делают политические экскурсии. У нас их всех узнают по общей примете: у всех карлистов неизменно в петлице белый цветок маргаритки. Они носят его в честь своей королевы. Дона Алоиза чуть не расстреляли за это в Барселоне, куда он явился, не сняв знака своей партии!

— Это человек храбрый, значит?

— Да. Он весь изранен. Шрамы на лице, рука на перевязи. Он не только кровь свою, но и богатство отдал дон Карлосу...

Помимо рассказов о Скобелеве, которые я мог бы записать, дон Алоиз представляется и вообще интересным типом. Я ненавижу карлистов, стремящихся в конце XIX века навязать Испании старые лохмотья филипповских времен с св. Германдадой включительно. Но нельзя отказать им, во-первых, в преданности делу, безнадежному, которому они служат стойко, а во-вторых, в известной «романтичности», окружающей все их действия. У меня был «циркулярный билет», позволявший путешествовать и останавливаться путешественнику в какой ему угодно местности, по означенной в этом билете линии рельсового пути. Простившись с моими спутниками и взяв у сеньора Велутти адрес дон Алоиза, я остался там.

— Был уже вечер. Горы с мраморными ломками вблизи (Карара недалеко отсюда) уходили в лазурные сумерки. На их вершинах только еще догорала золотая прощальная улыбка солнца. Старый собор всею своею громадою точно давил узкую улицу с домами, помнившими времена Гвельфов и Гибеллинов, какой-то мрачный памятник неожиданно выдвинулся из глубокой ниши. Развалины замка молча доживали свой век с пестреньким коттеджем рядом, точно разбогатевшего мещанина, веселого, краснощекого и улыбающегося, поставили бок о бок с забытым рыцарем, на сгорбившемся теле которого едва держались старые, почерневшие латы... Тут же недалеко был «альберго», в котором мне предстояло провести ночь. Я послал свою карточку к дон Алоизу с вопросом, когда мне будет позволено навестить старого карлиста. Через несколько минут мальчишка-итальянец, горланя вовсю и еще издали что-то сообщая мне, показался перед балконом локанды.

— Что ему надо? — обратился я к «камерьеру», понимавшему французский язык.

— Дон Алоиза нет. Он у дон Карлоса, но жена ждет его каждую минуту, так что, ежели сеньору русскому будет угодно, он может сейчас же отправиться и будет принят с величайшим удовольствием...

Я обрадовался. Таким образом, еще в ночь мне являлась возможность выехать, чтобы к утру попасть

в Пизу, в которой на следующий день именно и было назначено торжественное служение в знаменитом соборе, причем должны были петь два известных итальянских певца. Их, впрочем, так много, что читатели, надеюсь, извинят меня и слабость моей памяти.

Ночь уже совсем окутала старый город. Из-за стрельчатой башни собора прорезывался острый рог молодой луны. В окна его, сквозь цветные стекла, лилось на улицу мягкое сияние. В соборе шла служба, и торжественные звуки органа едва-едва слышались здесь. Веселая говорливая толпа катилась волной по каменным мостовым, перекрикиваясь с красавицами, выглядывавшими из окон высоких старых домов. То там то сям вспыхивала и обрывалась песня. Вот из третьего этажа какого-то дома, на котором балконы держались, очевидно, по недоразумению, вынеслась на улицу давно забытая у нас ария. «Ricevi da labri dell'amica il bacio estremo», — звучно пело сильное сопрано того особенного только Югу свойственного тембра, где мощь взятого полною грудью звука соединяется с удивительно нежною окраскою его.

Под окном тотчас же собралась толпа.

— Bravo, bravo, bravissimo, bravo!.. — аплодировала она, когда последняя высокая нотка умерла в теплом воздухе тосканской ночи.

Отсюда шел узенький переулок налево. Тут-то, в еще более старом, подслеповатом доме, и жил когда-то знатный и богатый испанец дон Алоиз Мартинец. Каменная лестница вела к нему снаружи. Видно было, что по ней мало ходят. В щелях поднялась трава, и какая-то ящерица скользнула из-под самых ног у меня, когда я поднимался на сырые ступени.

Мальчик, который привел меня сюда, взбежал наверх, тотчас же вернулся, и за ним обрисовался на высоте третьего этажа силуэт женщины со свечою в руках. Она вся была одета в черное.

Это оказалась жена дон Алоиза.

Она ни слова не говорила по-французски, и мы поневоле молча сидели в гостиной, маленькой и бедной, так и веявшей на меня лишениями и нищетой долгого изгнания. На стене виден портрет красавца дон Карлоса, такой же портрет, только миниатюрный, она носила на груди на тонкой золотой цепочке. Плотнице черного знамени с белым крестом висело с дровка, прислонен-

ного в угол. Здесь не было даже ковра, чтобы прикрыть каменный пол убогой комнаты. Зато приемы испанки были полны величавого достоинства. Любая королева могла бы поучиться у нее. Я думаю, изгнанница, принимая у себя в замке, не могла бы быть более великолепной. Черные глаза ее смотрели очень строго из-под резко очерченных бровей. Жене дон Алоиза было не менее тридцати пяти лет, но она сохранила следы поразительной былой красоты. Южанки, впрочем, стареют рано; другие в этом возрасте являются уже совсем дряхлыми развалинами. Наше обоюдное молчание продолжалось очень недолго. Внизу послышался шум шагов — и минутой спустя в комнату вошел высокий и стройный испанец с седыми короткими волосами на характерной прямой голове, резко очерченные линии которой, глубоко сидевшие гордые глаза говорили о силе воли, об энергии этого одного из последних могикан карлистского движения. Вместе с ним был какой-то патер, по высочайше утвержденному для всех дон Базилио образцу — обрюзглый, толстый, с крупными сластолюбивыми губами и масляными, сладко смотревшими на вас глазами. Я отрекомендовался. Холодность и сдержанность дон Алоиза тотчас же прошла, когда он узнал, зачем я пришел к нему. Он радушно пожал мне руку, и суровое лицо осветилось точно изнутри, когда он проговорил, вздыхая:

— Какая это важная для вас, русских, потеря... Как глубоко вы должны ее чувствовать... Как горька она должна быть вам, вам, знавшему лично этого человека. Один раз его увлек бой. Это было в ущельях Сьеры-Куэнцы. Наши, подавляемые численным превосходством неприятеля, побежали. Вдруг, откуда ни возьмись, сам генерал — крикнул на них, пристыдил, выхватил черное знамя у здорового пиренейского крестьянина и пошел с ним вперед. Его, разумеется, догнали вернувшиеся карлисты, и мятежники (так дон Алоиз называл правительственные войска) были отбиты!

— Ну, что, не выдержали? — спрашивал я его потом.

— Не могу видеть трусов, к какой бы они партии ни принадлежали!

Это был совершеннейший тип рыцаря. Два или три дня спустя наши напали на путешественников, между которыми были дамы. Разумеется, к святому делу нашего

короля приставали вместе с благороднейшими и убежденными защитниками его прав всякие другие люди. Случались беглые, разбойники. К таким-то в руки попались туристы. Скобелев случайно наехал на это приключение и с револьвером в руках бросился на защиту женщин. Если бы не подоспели мы, ему бы пришлось плохо!

— Почему?

— Видите, бандиты ведь не рассуждали. Все, что не попадало в их руки, они считали своею законною добычей. Нас, испанцев, не удивить храбростью, мы умеем прямо смотреть в лицо смерти, но Скобелев и нас изумлял. В нем было что-то рыцарски-поэтическое. Он был красив в бою, умел сразу захватить вас, заставлял любоваться собою. Вы знаете, наши пиренейские крестьяне как его прозвали?

— Как?

— Братом дон Карлоса! Они так и говорили: русский брат нашего короля!

У меня чуть не сорвалось с языка, что такое сравнение вовсе не польстило бы Скобелеву, да вовремя я удержался.

— Почему он так рано уехал от вас?

— Да распространился слух, что русские прислали его нам на помощь. Ну, он и уехал. Могли бы выйти затруднения, а ему не хотелось подавать повода к разным толкованиям!

— Много работал он?

— Ведь вы знаете, что мы очень старательно укрепляли горы. Так он, бывало, после утомительного боя не пропустит ни одной там работы. Следил за всем. Изучал. Тоже ни одного горного перехода не упустил, до мелочности наблюдал, как мы организовывали перевозку артиллерии, снарядов по козьим тропинкам. Раз он даже, когда лошадь сорвалась с кручи, вовремя обрезал ей постромки и таким образом спас медную пушку, которую надо было доставить на скалу. Одного он не любил.

— Именно?

— Много пешком ходить. Бывало, во что бы то ни стало, а добудет себе лошадь. Раз даже на муле взобрался на одну гору. И ездить же он мастер был. Такого неутомимого всадника даже между нами не оказалось. Он нам очень много помог даже. Оказалось,

что ему хорошо известен способ фортификации в горах.

— По Туркестану, верно?

— Да. Он у нас учился нашим приемам, а нам сообщал свои. Он первый научил наших топливо носить в горы на себе, по вязанке на человека. Таким образом, уходя от мятежников на вершины наших сьерр, мы не страдали там от холода и от недостатка горячей пищи. Потом это усвоили у нас все. Меня в нем поражала одна замечательная черта — Скобелев способен был соп атоге работать, как простой солдат. Сколько раз мы заставляли его за, по-видимому, мелочными делами, в которые он уходил, как в крупные. Еще одна черта была в нем. Он чувствовал какую-то неодолимую потребность узнать все а fornd в местности, куда попадал случайно. Что ему, например, до нашего пиренейского крестьянина? По-видимому, дела нет, а уже в конце второй недели там он одарил нас сведениями о быте, знанием мельчайших подробностей испанского солдата. Я уже не говорю о его военной учености. История наших войн была ему известна, так что он не раз вступал в споры с Педро Гарсиа, много писавшим у нас по этому предмету, и как это ни обидно для испанского самолюбия, а, нужно сказать правду, Скобелев выходил победителем в этих спорах. У нас в горах, среди страшно пересеченной местности, он умел так запоминать самый незначительный уклон или извилину ущелья, фигуру горного хребта, что там, где он раз проехал, уже не надо было делать рекогносцировок и посылать летучие отряды для освещения местности. Я еще тогда в нем предвидел великого полководца и государственного человека!

— Вот это последнее многие именно и отрицают в нем!

— Я могу сказать только одно. У нас в отряде он сумел нравственно подчинить себе почти всех, хотя все знали, что он нашему делу вовсе не сочувствует и считает победу его гибельной для Испании...

Когда я уходил отсюда, дон Алоиз вышел проводить меня.

Золотой рог луны уже высоко поднялся над великолепной массой громадного собора. Толпы на улицах становились малочисленнее и реже. Изредка звучали счастливые праздничные напевы благополучной Италии... Не хотелось уезжать из этого уголка.

Из писем М. Д. Скобелева

В виде письма к одному из своих друзей, И. С. Аксакову, Скобелев начал было писать свои мемуары. Они так и остались неоконченными, но мы приведем из них все, что возможно. Вот написанная рукой Скобелева их программа: 1) Впечатления при выезде из Москвы. 2) Несколько слов о петербургской речи. Нет связи между нею и парижскою, разве только ненависть, высказанная немцами всех оттенков. 3) Впечатления, вынесенные из Франции. Славянское студенчество. *Madam Adam. Camille Farcy. Gambetta. Freycient*. Английская пресса. 4) Мое возвращение. Варшава. 5) Приезд в Петербург. 6) Гатчина. 7) *Status quo*.

«Для вас, конечно, не осталось не замеченным,— пишет Скобелев,— что я оставил вас, более чем когда-либо, проинкнутый сознанием необходимости служить активно нашему общему святому делу, которое для меня, как и для вас, тесно связано с возрождением пришибленного ныне русского самосознания. Более чем прежде ознакомясь с нашею эмиграцией, я убедился, что основанием общественного недуга в значительной мере является наше отсутствие всякого доверия к положению наших дел. Доверие это мыслимо будет лишь тогда, когда правительство даст серьезные гарантии, что оно бесповоротно ступило на путь народий как внутренней, так и внешней политики, в чем пока и друзья, и недруги имеют полное основание болезненно сомневаться. Боже меня сохрани относить последнее к Государю, напротив того, он все более и более становится единственной надеждой среди Петербургского всерешающего бюрократического небосклона, но Он один, с графом Игнатьевым их всего двое, этого мало, чтобы даже времени побороть петербургскую растлевающую мглу... Кстати, чтобы к этому более не возвращаться, я имел основание убедиться, что даже эмиграция в своем большинстве услышит глас правительства, когда Россия заговорит по-русски, чего так давно, давно уже не было, и в возможность эту она положительно верит.

Под впечатлением свидания с Вами, Вам понятно слово сердца и убеждение, вырвавшееся у меня 12 января на Геок-Тепинском обеде. Дня два спустя, а не до того, я видел гр. Николая Павловича, и он, упомянув о возбуждении иностранных послов по поводу сказанного, посо-

ветовал мне поторопиться отправлением в Париж. Очевидно, хотели замять дело, и никто тогда не предвидел того, чему суждено было случиться, менее других, конечно, гр. Николай Павлович.

Тяжелое, не скрою, впечатление произвела на меня Пруссия во время переезда. Комментирование моих слов сердца и святого убеждения было в полном разгаре, и сколько наглой лжи, пошлых себялюбивых немецких, обидных России толкований пришлось всюду читать и всюду слышать. Слишком много на Руси, и особенно в Петербурге и за границей, таких господ, которые считают за честь присоединиться к подобному лаю... а потому они и не страдают. Сознаюсь, я переехал французскую границу глубоко раздраженный и огорченный, особенно тою бесцеремонностью, с которою немцы преподавали австрийцам не щадить православной крови!.. (*Ostreich muss im Sinn haben cout que cout mit seinem slavischen Aufstande energisch aus Ende zu kommen* и т. п.)

Во Франции, напротив того, я нашел много инстинктивного, хотя еще и невыяснившегося сочувствия, большое желание ознакомиться с соотношением России и Германии к Славянскому и Балканскому вопросам, а также впервые рождающегося в умах некоторых желания понять связь Славяно-Русских отношений к Франции в смысле возвращения последней утерянного положения в Европе завоеванием двух отнятых провинций и линий Рейна с наступательными на ней тет-де-понами...

В отношении последнего, как бы немцы ни старались затемнить этот вопрос путем купленной печати и им особенно за последние годы присущих интриг, сознание необходимости войны живет во Франции, и нет такого правительства, которое бы было в состоянии удержать от вмешательства Францию, если бы обстоятельства сложились невыгодно для Германии. Народною поговоркою нынешнего поколения стали слова кн. Метерниха: *«Less Allemands ont cela debon, que lorsqu'on les but bien fort et qu'on les pousse dans un coin ils y restent d'ordinaite; mais quand ils sont les plus forts, c'est le «devergondegedela brutalite» — Espenons que ce siècle ne finira pas avant que nous ayons eu prouver une fois de plus le premie»*, — прибавляет француз...

Полагаю, что Вы признаете извинительным, что в таком настроении сердца и головы я сближался с

известною частью печати, желающей нам сочувствовать, более страстно, чем осторожно... Этим воспользовались с целью доброй, и, как мне теперь ни трудно, мне не жаль случившегося.

Что сказать Вам про приписываемую мне речь сербским студентам? Ее я, собственно, никогда не произносил. Да и вообще никакой речи не говорил. Пришла ко мне сербская молодежь на квартиру, говорили по душе и, конечно, не для печати. С. Fagcy напечатал то, что ему показалось интересным для пробуждения французского общества и со слов студентов, меня не спросив.

Я бы мог формально отказаться от мне приписываемой речи, но переубедили меня и Гамбетта, и madam Adam. Первый особенно настаивал на ее полезном впечатлении в молодежи, армии и флоте; так как, в конце концов, все сказанное в газете «France» сущая правда и, по-моему, могло повести не к войне, а к миру, доказав, что мы — сила, то я и решился не обращать внимания на последствия лично для меня и молчанием дать развиваться полезному, т. е. пробуждению как у нас, так и во Франции законного и естественного недоверия к немцу.

Мысль о том, что «крамола» в значительной степени создана Берлинским конгрессом и некоторыми разочарованиями, последовавшими за окончанием прошлой войны, не раз высказывалась Скобелевым. Вот что он пишет к одному из своих друзей: «С глубоким радостным волнением прочел я глазами и в особенности сердцем передовую статью в № 53 «Руси». Это честное русское слово возобновило в моем представлении недавнее столь тяжелое, чтобы не сказать позорное, прошлое. Стояние в виду Константинополя, якобы с целью надругания над родными знаменами, преступный индеферентизм к русской чести и интересам, дипломатически вынужденное отступление к Адрианополю, при громких ликованиях не только врагов, но, что тяжелее, и всего нерусского в русских мундирах и виц-мундирах, плач оставленных на жертву православных братий, вверивших нам свою судьбу, глумление британского флота и, наконец, окончательные результаты берлинского самобичевания. Тогда уже для слишком многих из нас было очевидно, что Россия обязательно заболит тяжелым недугом нравственного свойства, заразительным, разлагающим. Опасение высказалось тогда открыто, патриотическое чувство, увы, не обмануло нас! Да, еще далеко не миновала опасность,

чтобы произвольно не доделанное под Царьградом не разрушилось бы завтра громом на Висле и Бобре. В одно, однако, верую и исповедую, что наша «крамола» есть в весьма значительной степени результат того почти безвыходного разочарования, которое навязано было России мирным договором, не заслуженным ни ею, ни её знаменами. В истории есть один пример подобного же губительного нравственного падения, вызванного причинами схожими, это могущественная тогда Испания после сражения при Лепанто. У нее также отшибло память сердца, и люди, ошеломленные свидетели отрицательного для родины мирового события, не в силах были передать потомкам идею святости и незыблемости государственного идеала. Поколение, сражавшееся при Лепанто, оставило истории лишь одно имя — автора «Дон Кихота», безрукого Сервантеса, гениальная сатира которого потрясла до основания католическую, монархическую и рыцарскую Испанию, уготовив вековое падение этой страны. Сервантес — тот же русский нигилизм, *Caveant consules*».

* * *

Парижская речь, никогда не произносившаяся Скобелевым, произвела понятный переполох. Скобелев был вызван назад в Петербург, и вот что в пути он писал по поводу ожидавшего его в Петербурге. Письмо это из Вильно.

«Наскоро пишу несколько слов; вероятно, до очень скорого свидания, так как меня известили, что меня ожидает неудовольствие Государя и отставка. Какую пользу в отставке я смогу принести отечеству, об этом поговорим после.

Пишут, что Стоян Ковашевич тяжело ранен...

В Варшаве как офицеры, так и солдаты меня встретили восторженно. Был в офицерском собрании Австрийского полка. Опять заставили говорить.

Вообще очень отраднo было убедиться, что нетрудно пробудить чувство доброе в нашей среде, конечно, если не глумиться над всем народным и не забывать систематически.

В течение нескольких часов пребывания в Варшаве я был поставлен в соприкосновение с представителями тамошней печати. Люди всех оттенков в привислен-

ском крае, по-видимому, крайне опасаются германского нашествия. Даже тяготение к Австро-Венгрии будто слабее, ибо «все-таки нам будет еще хуже, чем теперь, так что лучше из трех зол выбирать меньшее... Тем не менее я вынес убеждение, что при создающихся, по-видимому, ныне международных отношениях из известной фракции польского общества можно будет извлечь пользу. Об этом впоследствии подробнее.

Петербург — аристократический (в смысле, конечно, Пушкинской родословной) и интеллигентно-либерально-чиновничий остался верен себе.

Теперь на очереди требование об отставлении меня от службы...

Мне не жаль ни своей службы, ни себя лично; я воспитал себя для служения идеалу... я не честолюбец, как меня выставляют немцы, в грубом значении этого слова. Жаль только, что влиятельный Петербург ощущает и теперь какое-то неодолимое блаженство купаться в грязном омуте отечественного унижения. В следующем письме постараюсь документально (отчасти) выяснить, что мы достигли этим случайным для всех неожиданным переполохом, вызванным приписываемую мне речью. Моя совесть мне, однако, подсказывает, что Господь избрал меня в данном случае орудием мира, а не войны. Что теперь сделалось, заставило и Германию призадуматься.

Если несомненно, что льющаяся кровь в Боснии и Герцеговине есть первая параллель, заложенная Бисмарком против величия России, то можно также надеяться, продолжая начатое в Париже, путем литературного сближения, постепенно провести в французскую, столь восприимчивую публику сознание связи, существующей ныне между законным возрождением балканских и австрийских славян и возвращением Франции Меца, Страсбурга, а быть может, и всего течения Рейна. Но надо работать. Конечно, наше дело только популизировать эту мысль путем печати; но несомненно, что и это послужит к вящему охлаждению невыносимой заносчивости Берлина и хоть несколько ослабит лакейскую зависимость нашу. Недавно один из влиятельнейших людей во Франции так сказал об немцах:

«Le but maintenant est d'ébranler la légende de l'inouïable Allemagne; le reste viendra de pres dans notre pays,— ne voyez vous pas que même quelques paroles lancees a l'avenglette, par un général, en conge beur

font perdre la tête d'une manière inconvenante; et cela s'explique,— l'Allencand en Europe est comme le voleur: il a peur du gendarme».

Здесь немцы селятся доказать, что мои слова о немцах во Франции потерпели фиаско. То же будто и в Москве, но во Франции это не так. Подробности до следующего раза, когда буду спокойнее».

Опасения Скобелева не оправдались.

В высшей степени интересен рассказ о его приеме в Петербурге. К сожалению, его нельзя еще передать в печати. Можно сказать только одно — что он выехал отсюда полный надежд и ожидания на лучшее для России будущее...

Переписка Скобелева с разными лицами дает богатый материал для описания и определения этого сложного характера. Вот, например, как он отделял свои личные выгоды и отношения от общих государственных польз. Приводим в высшей степени интересное письмо его, где он говорит об одном из самых близких ему людей. Над этим письмом эпитафия:

Не брошу плуга, раб ленивый,
Не отойду я от него,

Покуда не прорежу нивы,
Господь, для сева твоего.

(1858. А. С. Хомяков).

«Вчера узнал совершенно случайно, что *** писала о предстоящем к Пасхе назначении Графа А. Л. Адлерберга Министром Иностранных Дел. Я знаю Графа более 30 лет. Люблю и уважаю его, чего, конечно, никогда не забуду. Тем не менее меня глубоко потрясла возможность подобного исхода. Более тяжелого удара нельзя нанести национальной партии. Я так высоко ценю талантливость Графа Александра Владимировича, его твердость в убеждениях и неспособность к компромиссам в этом отношении, что думаю, если он прöderжится несколько месяцев, наша внешняя политика свернет опять, и на очень долго, в старую колею 1863 года. Очевидно, он навязан Европою, лучше сказать, Берлином и теми из влиятельных своих, о которых мы говорили.

Боюсь, очень боюсь этого назначения, и верьте, недаром...

Если сообщаемый слух осуществится, обстановка, в обширнейшем смысле слова, может, а по-моему, должна измениться *du tout, au tout*. Иначе Граф не останется. При скором свидании поговорим обстоятельно. А теперь,

пока, постараюсь проверить мое мнение en politique il ne suffit pas d'entendre une doch... Дай Бог, чтобы я во всем ошибался!!!

Еще несколько слов о Графе. При всех его несомненных дарованиях, при всей его безупречной, высокой честности не думаю, чтобы он мог оставить по себе серьезный след даже в смысле осуществления его собственных политических идеалов.

Он дипломат старой школы, быть может, в лучшем значении слова; но он, думаю, не политик. В наш век не воскресить дипломатических влиятельных канцелярий, считавших династические соображения и тайну наиболее пригодными способами действий. Мы это видим на своих дипломатах, до сих пор воспитанных в несельсеровских традициях. Не касаясь личностей, ибо есть люди с русским сердцем и талантливые во всяком ведомстве (Тегеранский, Зиновьев), справедливо сказать, что перед отечеством наша дипломатия, хотя бы с 1863 года, конечно, служила службу даже хуже интендантства!!

В самом деле, не находится ли в наше своеобразно-переходное время дипломат старой школы к современному политику в том же отношении, в каком находился наш крымский кремневый солдатик к союзнику, вооруженному Минье или Эндфильдом?..

Только политик в состоянии оценить всю необходимость несравненно широкой постановки вопросов народных, политических, социальных перед нервным, прихотливым, в высокой степени подозрительным, сегодняшним мыслящим большинством в Европе и даже у нас; только политик признает, наконец, всю неотразимую ныне силу печатного слова и, любя и уважая его законное общественное значение, увлечет его за собою во имя великой, в конце концов, всем одинаково дорогой государственной цели. Таковые передовые могучие силы были во все века; вспомните Демосфена, Кромвеля, Петра Великого... но особенность нашего времени заключается именно в том, что люди иного закала стали немыслимы и в силу вещей останутся явлением мертворожденным.

Кавур, Гарибальди, Бисмарк, Гамбетта. Биконсфильд, Гладстон, Митхад-паша... вот типы современных политиков. Как бледны перед этими Бейст, Шувалов, даже Горчаков, в котором все-таки нельзя отрицать хоть искры народного самосознания...»

Разумеется, Скобелев во многом ошибался. Но если бы я мог привести его магистральные убеждения и взгляды, между ним и нами вовсе не так уж была бы глубока бездна. По множеству мостов он мог перейти к нам и мы к нему. Случайность или преступление оборвало эту жизнь в самом начале. Служение, настоящее его служение народу только начиналось. Куда бы оно привело и его, и этот народ?.. Обстоятельства его смерти таковы, что тут конца нет вопросительным знакам. О них потом, в лучшие времена.

СОДЕРЖАНИЕ

Владимир Дробышев. Суворову равный...

6

*Н. Н. Кнорринг. Генерал Михаил Дмитриевич Скобелев.
Исторический этюд*

13

*В. И. Немирович-Данченко. Скобелев: Личные воспоминания
и впечатления*

277

Белый генерал: Предисл. В. В. Дробышева.—
Б43 М.: Патриот, 1991.— 539 с.— (Отчизны верные
сыны).

В книгу вошли два произведения, практически не известные советскому читателю: исторический этюд Н. Н. Кнорринга «Генерал Михаил Дмитриевич Скобелев» и личные воспоминания и размышления военного писателя и журналиста В. И. Немировича-Давченко «Скобелев».

Для массового читателя.

Б $\frac{4702010201-001}{072(02)-92}$ 55-92

ББК 84.Р7

БЕЛЫЙ ГЕНЕРАЛ

Художественный редактор **Т. А. Хитрова**
Технический редактор **В. А. Авдеева**
Корректор **И. С. Судзиловская**

ИБ № 5218

Сдано в набор 25.05.90. Подписано в печать 23.04.91. Формат 84×108^{1/32}. Бумага книжно-журнальная. Гарнитура литературная. Печать офсетная. Усл. п. л. 28,56. Усл. кр.-отт. 30,68.

Уч.-изд. л. 30,97. Тираж 100 000 экз. Заказ 6611.

Изд. № 1/е-413.

Издательство ЦК ДОСААФ СССР «Патриот».

129110, Москва, Олимпийский просп., 22.

Типография издательства «Самарский Дом печати»

443086, г. Самара, пр. Карла Маркса, 201.

Уважаемые читатели!

*Напишите, понравилась ли вам эта книга.
Свои отзывы присылайте по адресу: 129110,
Москва, Олимпийский проспект, 22. Изда-
тельство ЦК ДОСААФ СССР «Патриот».*

В 1991 ГОДУ В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ПАТРИОТ»
ВЫХОДЯТ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ
БИБЛИОТЕКИ «ОТЧИЗНЫ ВЕРНЫЕ СЫНЫ»:

Бек А. А. ВОЛОКОЛАМСКОЕ ШОССЕ.

Эта книга принадлежит к числу лучших произведений о Великой Отечественной войне. Глубоко и правдиво изображены события и герои обороны Москвы 1941 года. Показываются психология ратного подвига, моральная стойкость советских бойцов — воинов дивизии И. В. Пафилова, образ которого — в центре повествования.

Давыдов Ю. В. ТРИ АДМИРАЛА.

Бурные, драматические судьбы воссозданы в книге, написанной Юрием Давыдовым, автором многих исторических повестей и романов, лауреатом Государственной премии СССР. Жизнь Дмитрия Сенявина, Павла Нахимова, Василия Головинина была отдана морю и кораблям, овееяна ветрами всех румбов и опалена порохом. Не фавориты самодержцев, не баловни «верхов», они служили Отечеству и в штормовом океане, и на берегах Греции, и в японском плену, и на бастионах сражающегося Севастополя...

Карпенко В. В. ТУЧИ ИДУТ НА ВЕТЕР.

Книга об активном участнике гражданской войны, организаторе красных конных частей на Дону, из которых позже выросли легендарные конармии, — Борисе Моисеевиче Думенко.

Уничтоженный по клеветническому навету в 1920-м, герой был реабилитирован лишь спустя сорок четыре года.





